ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

Алексей Карпов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей ®

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1008

(808)

Алексей Карпов

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2001

УДК [947+957]"10"(092)
ББК 63.3(2)41
К26

© Карпов А. Ю., 2001
© Издательство АО «Молодая гвардия»
художественное оформление, 2001

ISBN 5-235-02435-4

ОТ АВТОРА

Безвестный киевский книжник, один из творцов русской летописи, трудившийся без малого тысячу лет назад, нашел удивительно точные слова для того, чтобы определить историческую миссию князя Ярослава Владимировича, героя этой книги. «Так бывает, — писал он, обращаясь к жанру притчи, излюбленному в древней Руси, — некто землю разóрит (то есть распашет. — *А. К.*), другой же насеет, иные же пожинают и вкушают пищу неоскудевающую; так же и сей. Ибо отец его, Владимир, землю взорал (распахал. — *А. К.*) и умягчил, рекше Крещением просветив; сей же насеял книжными словесами сердца верных людей; а мы пожинаем, учение приемлюще книжное»[1].

Автор этих слов принадлежал к поколению сыновей и внуков князя Ярослава — но слова его в полной мере могут быть отнесены и к нам. Ибо если собственно Крещение Руси, то есть исторический выбор, на тысячелетие определивший судьбы страны и народа, явился великой заслугой отца Ярослава князя Владимира, то на долю Ярослава и книжников его поры выпали осмысление и уяснение этого исторического выбора, выработка тех нравственных и политических основ жизни общества, которые впоследствии и получили название Русского Православия и которые в значительной степени определяют нашу жизнь и по сей день. И в этом смысле жизнеописание князя Ярослава является прямым продолжением жизнеописания его отца, князя Владимира Святославича (Владимира Святого), которое вышло в свет в серии «Жизнь замечательных людей» несколькими годами раньше[2].

Но личность князя Ярослава Владимировича, несомненно, заслуживает внимания и сама по себе. Имя его знакомо нам еще со школьной скамьи, а время его правления (1019—1054) справедливо отмечено в учебниках как «золотой век» Киевской Руси. Едва ли не единственному из правителей России князю Ярославу посчастливилось войти в историю с прозвищем «Мудрый» — пожалуй, наиболее лестным и наиболее почетным для

любого государственного мужа. Правда, в летописи или в других памятниках древнерусской общественной мысли мы не найдем или почти не найдем этого прозвища: книжники средневековой Руси именовали Ярослава «Великим» (так, например, в «Слове о погибели земли Русской») или «Старым» (так в «Слове о полку Игореве») — но ведь и эти прозвища показывают отношение потомков к князю. В сознании русских людей Ярослав навсегда остался *идеальным* правителем, одним из устроителей и радетелей Русской земли, впоследствии — вопреки ясно выраженной воле самого Ярослава — распавшейся на отдельные враждующие друг с другом княжества.

Впрочем, само слово «мудрый» имело в древней Руси несколько иное значение, чем сейчас. «Сий же *премудрый* князь Ярослав...» — писал о нем киевский летописец XII или начала XIII века, один из редакторов Ипатьевской летописи[3], и слова эти имели в виду не одну только оценку выдающихся умственных способностей князя, но и его благочестие, богобоязненность, стремление к божественному устроению всей жизни. Ибо «страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум» (*Иов. 28: 28*). А потому мудрость и благочестие в принципе не различались, соединяясь в понятии «*богомудрости*» — высшем проявлении человеческой мудрости. И этим качеством древнерусские книжники в полной мере наделяли киевского князя.

«Был муж тот праведен и тих, ходя в заповедях Божиих...» — вот еще одна характеристика Ярослава, принадлежащая диакону Нестору, одному из самых знаменитых писателей древней Руси, автору «Чтения о святых мучениках Борисе и Глебе» (конец XI — начало XII века). Зная историю утверждения Ярослава на киевском престоле — а он принял власть над Русью в результате длительной и кровопролитной борьбы, — трудно согласиться с такой оценкой. Но это оценка *идеального* князя, которому по определению должны быть присущи перечисляемые Нестором качества. Именно таким *идеальным* князем представлялся Ярослав и Нестору, и книжникам более поздней поры. «И [хотя] был хромоног, — вспоминал о физическом недуге князя Ярослава автор Софийской Первой летописи, — но умом совершен, и храбр на рати, и христиан любил, [и] сам книги читал»[4]. Или, как в пространном и излишне велеречивом варианте той же похвалы в знаменитой Степенной книге царского родословия (XVI век): «Аще же и хромоног бяше, но благоразумным велемудрием преудобрен, во бранех же храбр и мужествен бе, наипаче же Божий страх имея; от благого же произволения и отеческим богомудрственным стопам правоверно последуя и все православные догматы по Бозе трудолюбно утвер-

жая и все христианские законы непревратно исправляя и прочие благочестивые уставы не умаляя, ни превращая, но паче сугубо наполняя... на святость и на украшение Богом дарованной им державы»[5].

Но это лишь один из возможных портретов князя. Источники знают и другого Ярослава — более приземленного и далеко не всегда оказывающегося на высоте своего положения. Летописцы, писавшие при жизни князя или спустя немного времени после его кончины, отмечали не только его успехи и свершения, но и его явные промахи и неудачи, приводили красноречивые примеры не только его рассудительности и благочестия, но и его чрезмерной жестокости и неблагодарности, злопамятности, малодушия или даже трусости, которые князь проявлял в самые ответственные минуты жизни. Историков новейшего времени это обстоятельство нередко ставило в тупик. Привыкшие к тому, что придворный историограф должен лишь восхвалять и прославлять своего князя, и забывающие о том, что летописец далеко не всегда ощущал себя *придворным* историографом и с совсем иными целями, нежели простое желание угодить князю, брался за свой труд, они были склонны видеть в подобном изложении событий нечто явно враждебное Ярославу. А отсюда делался вывод о существовании глубокой пропасти, разделявшей княжескую власть и общество в годы его княжения, о крайней неприязни, которую подданные питали к своему князю, о пренебрежении Ярослава к нуждам своей страны. Так в трудах историков второй половины XX столетия сложился еще один образ Ярослава — некоего «хромоногого, трусливого, но властолюбивого князя, опиравшегося на наемное войско и готовившего народу суровые статьи княжеского закона»[6].

Каким же на самом деле был этот человек? Увы, мы вряд ли сможем ответить на этот вопрос. Наверное, он не был святым. Но по меньшей мере несправедливо было бы назвать его корыстолюбивым хищником, пекущимся только о личной выгоде.

Признаемся сразу: мы не готовы предложить читателю разгадку Ярослава. И дело не только в том, что у нас нет права судить великого человека, вынося ему обвинительный или оправдательный приговор. Просто мы слишком мало знаем о нем. Историк, пишущий о временах древней Руси, вообще поставлен в заведомо невыгодное положение: в его распоряжении настолько мало источников и источники эти настолько отрывочны, путаны и противоречивы, что сложить из них хоть сколько-нибудь целостную и достоверную картину происходившего — дело почти невозможное. Даже внешняя, самая общая канва биографии Ярослава может быть намечена лишь сугубо

гипотетически, едва различимой пунктирной линией. Едва ли не каждое свидетельство источников о нем требует кропотливого текстологического исследования (в большинстве случаев еще не проведенного); едва ли не каждое деяние, совершенное им, вызывает различные и даже взаимоисключающие трактовки ученых. Датировки многих — и при том важнейших — событий его жизни колеблются в пределах десятилетий; относительно многих его военных походов ученые спорят даже не о том, чем они были вызваны и какие последствия имели, а были ли они вообще на самом деле...

Не раз и не два по ходу работы над книгой автор впадал в уныние или даже отчаяние, ибо князь Ярослав не становился для него ни ближе, ни понятнее по мере того, как книга приближалась к концу. Слишком многое так и осталось на стадии домыслов и предположений: зачастую автор отчетливо видел возможность прямо противоположных трактовок того или иного свидетельства источников — и далеко не всегда был уверен в правильности той, которой отдавал предпочтение (отсюда, между прочим, столь обширные примечания, составившие значительную часть книги). И, пожалуй, единственное, что побуждало его все же продолжать свой труд — помимо вполне понятных соображений как финансового, так и морально-этического порядка, — так это осознание того, что даже простая сводка внешних фактов биографии князя (до сих пор так и не осуществленная в исторической литературе), более или менее полный анализ источников, хотя бы косвенно освещающих его деятельность, могут оказаться небесполезными для будущих жизнеописателей Ярослава Мудрого, которые, надо надеяться, окажутся удачливее и талантливее автора настоящей книги.

Яко же бо се некто землю разорить, другыи же насееть, ини же пожинають и ядять пищю бескудну, тако и сь. Отець бо сего Володимер землю взора и умячи, рекше крещеньемь просветив, сь же насея книжными словесы сердца верных людии, а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное...

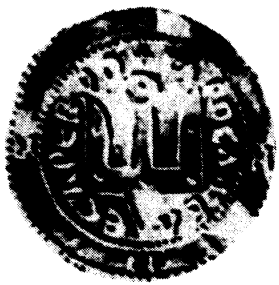
«Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку, статья 6545 (1037) года

...Ярославова эпоха вообще завершает по-своему организационную работу Владимира и закладывает основы политического быта Киевской Руси, надолго определившие ход русской исторической жизни.

А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории. Киевская Русь

Глава первая

ДЕТСКИЕ ГОДЫ. КИЕВ



Детские, самые ранние годы Ярослав, вероятно, провел не в самом Киеве, но в ближнем сельце Предславино, принадлежавшем его матери, княгине Рогнеде. Сельцо находилось на берегу речки Лыбедь, впадавшей в Днепр. Сейчас это, можно сказать, ручей, но во времена Владимира и Ярослава Лыбедь была вполне судоходной, и взору княжича из окна материнского терема могли открываться не только давно освоенные киевлянами городские предместья, пашни и огороды, но и речная гладь, по которой то и дело сновали княжеские челны, купеческие ладьи и лодки простолюдинов — свидетели той бойкой, ни на минуту не прекращающейся жизни, что бурлила вокруг.

Мать Ярослава, Рогнеда, до времени оставалась любимой женой князя Владимира. Он явно для всех благоволил ей, предпочитая ее остальным своим женам и многочисленным наложницам, был частым гостем в ее покоях и охотно оставался здесь на ночлег. Рогнеда и родила ему больше детей, чем четыре другие законные (или, по-русски, «водимые») жены князя, — четырех сыновей и двух дочерей.

История женитьбы Владимира на Рогнеде хорошо известна и подробно описана в летописи. Некогда Рогнеда была сосватана за Ярополка, брата Владимира, тогдашнего киевского князя. Но вот Владимир, княживший в Новгороде и враждовавший с Ярополком, также предложил ей свою руку, заслав сватов к ее отцу, полоцкому князю Рогволоду.

На рис. — изображение родового княжеского знака Ярослава Владимировича. Сребреник Ярослава. Оборотная сторона.

Этот Рогволод вел свой род от варягов и пришел в Полоцк откуда-то из заморья. «Хочешь ли за Владимира?» — спросил Рогволод свою дочь. Та отвечала словами, исполненными не только гордости и высокомерия, но и явного презрения по отношению к Владимиру: «Не хочу разуть робичича, но Ярополка хочу». (Владимир был сыном Малуши, ключницы своей бабки, княгини Ольги, то есть «робичичем» — рабыниным сыном.) Слова эти стали известны Владимиру и его дяде и воспитателю Добрыне, Малушиному брату. Разгневанные и оскорбленные, они собрали войско, состоявшее из новгородцев, представителей других окрестных племен, а также наемников-варягов, и двинули его к Полоцку. Город пал на удивление быстро. Рогволода, его жену и двух сыновей убили по приказу Владимира и Добрыни. Но еще прежде Владимир надругался над Рогнедой на глазах ее отца и матери и, в насмешку, назвал ее саму «робичицей». «И нарек он имя ей — Гориславa», — заключает свой невеселый рассказ летописец.

Рогнеда внешне смирилась. Ласки ненавистного насильника-мужа, да его дорогие подарки, да честь и поклонение от окружавших ее слуг и рабынь — казалось, это все, что оставила для нее жизнь. Но пошли дети — радость и забота любой женщины, неизменное воздаяние за перенесенные муки. Как всякая мать, Рогнеда должна была обрести счастье в своем многочисленном потомстве. Впрочем, по обычаю русичей, сыновья недолго оставались возле нее. По достижении трех или четырех лет их забирали из покоев княгини и, совершив обряд постригов (ритуального обрезания пряди волос, означавшего превращение дитя в отрока), препоручали заботам «кормильца» — дядьки-воспитателя, назначавшегося из числа ближних бояр князя, иногда его родственников. А вот девочки большей частью оставались возле матери и могли по-настоящему скрасить ее далеко не беспечальную жизнь. Ярослав, кажется, оставался при матери дольше других своих братьев, значительно превысив установленный обычаем срок. На это были свои причины, и мы поговорим о них чуть позже.

Уже после заключения брака и рождения первых детей Рогнеда испытала новое тяжкое потрясение, виновницей которого на сей раз была сама. Летопись рассказывает об этом так.

Вскоре после рождения Рогнедою сына Изяслава Владимир взял себе новых жен и стал проводить время с ними. Рогнеда вознегодовала за то на своего супруга. Однажды, когда тот пришел к ней в опочивальню и уснул на супруже-

ском ложе, она решилась на убийство. Сильная и страстная натура, она, вероятно, не могла и не хотела принимать жизнь такой, какая досталась ей; она ничего не забыла и ничего не простила — ни старых обид, ни новых унижений. Рогнеда уже занесла нож над спящим князем, но тут Владимиру случилось проснуться. «И схватил он ее за руку; она же сказала ему: "Опечалена я, ибо отца моего ты убил, и землю его полонил меня ради, и вот ныне не любишь меня с младенцем этим". И повелел ей Владимир обрядиться во все убранство цесарское, словно в день свадьбы, и воссесть на постель светлую, чтобы, придя, убить ее. Она же сделала так и вложила в руку сыну своему Изяславу обнаженный меч, и научила его: "Когда войдет отец твой, выступи и скажи ему: отче! или ты думаешь, что один здесь?"» И вошел Владимир, и произнес Изяслав эти слова. И отвечал Владимир ему: «А кто думал, что ты здесь?» «И опустил меч свой, и созвал бояр, и поведал им обо всем. Бояре же сказали ему: "Уже не убивай ее ради дитя сего, но восстанови отчину ее и дай ей и сыну своему". Владимир построил город, и отдал им, и нарек имя городу тому — Изяславль...»[1]

Когда произошли эти драматические события? В летописи мы не найдем ответ на этот вопрос. Но обратим внимание на то, что Изяслав, старший сын Рогнеды (по крайней мере, так полагал летописец), пребывал при матери, находился в ее опочивальне. Следовательно, он еще не вышел из младенческого возраста. В то же время Изяслав оказался в состоянии удержать в руках тяжелый отцовский меч и произнести внятную фразу, обращенную к отцу. Наверное, можно предположить, что ему было не менее трех или четырех лет (но вряд ли и больше). Рогнеда стала супругой Владимира зимой или весной 978 года. Значит, «предславинская драма» относится, скорее всего, к 982—983 годам.

Но если так, то летописец не вполне прав, говоря, будто княгиня уже тогда навсегда удалилась в Полоцкую землю вместе с сыном. Владимир вряд ли оставил ее своим вниманием, и, очевидно, Рогнеда и позже одаривала его детьми. Она покинула князя (причем также не по своей воле) лишь после того, как Владимир принял крещение и взял в жены византийскую царевну Анну, сочетавшись с ней христианским браком (это произошло в 989 году).

Сохранением жизни и мужниным прощением Рогнеда была всецело обязана своему малолетнему сыну. Подняв по указке матери руку на своего отца и обнажив против того меч (хотя бы даже лишь прикоснувшись к нему), Изяслав принял на себя преступление матери, даже усугубил его —

но тем самым спас Рогнеду от княжеского гнева. Наказание Владимира и «приговор» бояр были обращены уже прямо к нему — Владимир осудил своего сына, «выделил» его, то есть изгнал из своего рода, предоставил ему особый удел — наследство его деда по матери Рогволода. Отныне потомки Изяслава — «Рогволожьи внуки», по выражению летописца, — не будут признаваться наследниками Владимира, потеряют права на Киев и «Русскую землю», довольствуясь своим Полоцком.

Но вот вопрос: появился ли к тому времени Ярослав на свет? Ведь он тоже был Рогнединым сыном[2]. И на этот вопрос мы можем ответить лишь предположительно. Дело в том, что дата рождения Ярослава (хотя она и приводится во многих изданиях, в том числе словарях и энциклопедиях) нам в точности не известна.

Обычно рождение Ярослава относят к 978 году. Об этом, казалось бы, свидетельствует «Повесть временных лет» — древнейший летописный свод из дошедших до нашего времени, из которого мы черпаем бóльшую часть наших сведений о Киевской Руси. Так, в статье 1054 года (6562-го, по принятой в древней Руси системе счета лет от «Сотворения мира») летописец рассказывает о смерти князя: «...Живе же [Ярослав] всех лет 70 и 6»[3]. Если к моменту смерти Ярославу было 76 лет, то, значит, родился он в 978 или 979 году. (О возрасте Ярослава сообщается и в статье под 1016 (6524) годом, рассказывающей о его вокняжении в Киеве: «Бе же Ярослав тогда 28 лет»[4]. Правда, известие это как будто относит рождение князя к 988 или 989 году, но, скорее всего, в текст закралась ошибка, на которую обратил внимание еще наш первый историк Василий Никитич Татищев, живший в XVIII веке. Вместо цифры «28» должно читаться: «38» — именно такое чтение присутствовало в рукописях, бывших в распоряжении Татищева, но не сохранившихся до нашего времени[5]. Следовательно, и здесь летописное известие ориентировано на 978 или 979 год как год рождения князя.)

Но дата эта вряд ли может быть признана верной. Ведь та же летопись называет Ярослава лишь третьим сыном Рогнеды: «...От нея же роди (Владимир. — *А. К.*) 4 сыны: Изеслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода...»[6] А значит, Ярослав родился не ранее 980 года, а возможно, еще позже. Историки полагают, что навязчивые указания на возраст киевского князя объясняются тенденциозным стремлением летописца представить Ярослава старшим сыном Владимира, что отнюдь не соответствовало действительности[7].

Как известно, всего Владимир имел двенадцать сыновей.

Старшим летопись называет Вышеслава, родившегося от некой «чехини» (или, по предположению некоторых позднейших источников, от скандинавки). Вторым был либо Изяслав, либо Святополк — пасынок Владимира. Мать последнего, вдову Ярополка, бывшую греческую монахиню, привезенную в Киев князем Святославом (отцом Владимира и Ярополка) «красоты ради лица ее», Владимир «залежал» «непраздною», то есть беременной. Он убил Ярополка, взял его вдову в качестве военной добычи, своеобразного трофея, и сделал своей супругой. Рожденный же ею сын был усыновлен князем. «От греховного корени зол плод бывает, — писал позднее киевский летописец, имея в виду последующую судьбу окаянного Святополка, князя-злодея, убийцы своих братьев. — Во-первых, потому что была прежде мать его черницею, а во-вторых, залежал ее Владимир не по браку, но как прелюбодеец... Был тот от двух отцов — от Ярополка и от Владимира»[8]. Но это рассуждение летописца-христианина. Для язычника же Владимира вопрос так не стоял: усыновленный им Святополк всецело почитался как его сын и не отличался в этом отношении от других его сыновей.

Насильно взятая в жены Рогнеда родила, как мы уже говорили, четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава и Всеволода. Позднее Владимир поимел еще двух жен — «другую чехиню» (в отличие от первой, родившей ему Вышеслава) и болгарыню (родом, кажется, из волжских, а не дунайских болгар). От чехини родились два сына — Святослав и еще один Мстислав. Впрочем, имя этого второго Мстислава называют не все списки «Повести временных лет». В другом месте та же «Повесть...» упоминает в числе сыновей Владимира Станислава, а согласно свидетельству ряда летописей, он и был сыном «другой» чехини[9]. Болгарыня же родила Владимиру Бориса и Глеба — будущих князей-мучеников, великих русских святых. У Владимира было еще два сына — Судислав и Позвизд — но имен их матерей «Повесть временных лет» не сохранила.

Перечень сыновей Владимира дважды приведен в летописи и один раз в «Сказании о святых князьях-мучениках Борисе и Глебе», написанном неизвестным автором в XI веке. Однако расположены ли эти имена в строгом порядке старшинства, мы не знаем. Ярослав занимает в перечне — в разных списках — третье или четвертое место: после Вышеслава, Изяслава и (в большинстве списков) Святополка[10]. Относительно старшего Мстислава (сына Рогнеды) ясности нет. Известный в русской истории князь Мстислав Владимирович Тьмутороканский определенно был младшим бра-

том Ярослава Мудрого («ты еси старейший брат», — говорил он Ярославу в 1024 году), и ничто не свидетельствует о том, что эти два князя были единоутробными братьями. (Родство по матери, как правило, связывало братьев особо тесными узами; Ярослав же и Мстислав открыто враждовали друг с другом.) Так что «старший» Мстислав — если он вообще существовал, а не попал в летопись по ошибке — скорее всего, умер еще в детстве. Во всяком случае, никакого следа в русской истории он не оставил.

Несомненно одно: Ярослав входил в число старших сыновей Владимира. Впоследствии, когда дети несколько подросли и киевский князь решил распределить между ними отдельные части своего государства, Ярославу достался Ростов. Еще позже, после смерти Вышеслава, он получил вместо Ростова Новгород — прежний удел старшего из Владимировичей.

Обширная семья Владимира Святославича — тогда еще далеко не Святого — отнюдь не представляла собой единое целое. До своего крещения в 987 или 988 году князь вел жизнь бурную и, можно сказать, разнузданную, с удовольствием предаваясь всяким телесным наслаждениям. Помимо законных («водимых») жен, у него имелось множество наложниц: «300 в Вышгороде, да 300 в Белгороде, да 200 на Берестовом, в сельце», как с осуждением писал летописец, может быть, и преувеличивая в цифрах. Но и наложницы не могли удовлетворить князя-сластолюбца: «ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц растлевая». Неудивительно, что многочисленное потомство князя жило отнюдь не дружно и постоянно враждовало между собой.

Более всего братьев и сестер сближало тогда родство по матери. Но судьба сыновей Рогнеды сложилась слишком поразному, и какого-то особого «клана» в составе княжеской семьи они не образовали. Изяслав, как мы знаем, еще ребенком отделился от остального «семени» Владимирова и уехал в построенный для него город Изяславль в Полоцкую землю. «Тихий, и кроткий, и смирный, и милостивый» (как отзывался о нем позднейший летописец), этот князь умер в 1011 году, оставив после себя малолетних сыновей — Всеслава и Брячислава. Последний со временем станет одним из самых деятельных и воинственных русских правителей и много будет воевать с Ярославом.

Трагичной, по-видимому, окажется участь другого сына Рогнеды — Всеволода. Этот князь будет посажен отцом в городе Владимире на Волыни, но очень рано — уже в 90-е годы X века — исчезнет из русской истории. По некоторым

сведениям, около 994—995 года он отправился в Швецию — свататься к шведской княгине Сигрид Гордой. Скандинавские саги рассказывают о страшном конце, который принял «конунг Виссавальд из Гардарики» (так скандинавские саги называют Русь): Сигрид напоила его и всю дружину, а ночью повелела поджечь дом, в котором они отдыхали, — «и сгорели... те, кто был внутри, а тех, кому удалось выбраться, убили»[11].

И все же в потомстве Рогнеды нашелся по крайней мере один человек, с которым Ярослава будут связывать исключительно теплые, нежные отношения. Этим человеком стала его сестра Предслава. После смерти матери (последовавшей в 1000-м или в самом начале 1001 года) она, очевидно, осталась жить в сельце на Лыбеди, которое, может быть, и получило свое название по ее имени. В это время Ярослав пребывал уже вдалеке от Киева — в Ростове, а затем уехал в Новгород. Но брат и сестра сохранили дружеские отношения и переписывались между собой. Забегая вперед, скажем, что Предслава окажет брату неоценимую услугу после смерти их отца Владимира (1015 год), когда между братьями начнется жестокая кровопролитная война за власть. Судьба Предславы окажется также трагичной. Но об этом нам еще предстоит говорить, и не скоро.

В те времена (как, впрочем, и во все другие) судьбу человека во многом определяли привходящие обстоятельства: среда, в которой он родился, его физические данные, наличие доброго советчика, воспитателя. Но в конце концов решающая роль принадлежала самому человеку — его воле, способностям, умению справиться с теми трудностями, которые ставила перед ним жизнь.

Ярослав родился в княжеской семье. Его происхождение, казалось, позволяло ему без труда преодолеть путь, отделяющий княжича от князя. Ибо он был сыном великого Владимира, внуком храброго Святослава, потомком Игоря и Ольги, с одной стороны, и гордых Рогволода и Рогнеды, с другой. И тем не менее на своем пути к признанию и власти Ярослав столкнулся с трудностями бóльшими, нежели остальные его братья, да и подавляющее большинство других русских князей X и XI веков. Дело в том, что Ярослав от рождения был хром. Этот недуг, пожалуй, мог не только осложнить ему жизнь, но и сделать его вовсе не годным к роли правителя — ибо князь, по определению, обязан быть сильным и умелым воином, отменно владеющим мечом, не-

утомимым в походе, способным предводительствовать дружиной и вести ее за собой. Беспомощный князь вызывал лишь презрение окружающих; его ждала либо позорная смерть, либо жизнь, оставленная из жалости, — жизнь пленника, прихлебателя, кормящегося за чужой счет, или (в христианские времена) бесправного инока, заточенного в монастырь.

Ярослав смог преодолеть свой физический недостаток. Уже одно это характеризует его как человека в высшей степени волевого, наделенного сильным характером. Тот, кто может побороть самого себя, кто еще в юности научается терпеть и превозмогать — боль ли, чужие насмешки, собственную неполноценность, — тот, как правило, оказывается способен в будущем добиваться своего и в противостоянии с другими людьми.

О хромоте Ярослава сообщают русские летописи. Уже будучи взрослым человеком, новгородским князем, он открыто подвергался осмеянию: его презрительно называли «хромцом». Но Ярослав, оказывается, умел жестоко мстить своим обидчикам. В истории это далеко не единственный пример того, как физический недостаток компенсируется железной волей, сильным характером, а нередко еще и чрезмерной жестокостью, стремлением ответить на унижение и насмешку утверждением своей силы, унижением другого. По преданию, хромцами были гуннский вождь Аттила и среднеазиатский правитель Тимур — едва ли не самые жестокие завоеватели в истории человечества. Ярослава мы, конечно, не поставим в один ряд с ними. Но можно предположить, что и его характер во многом сформировался под влиянием физического недуга и необходимости постоянно противостоять насмешкам и пренебрежению со стороны окружающих.

Автор так называемого Тверского сборника — летописного свода, созданного в Твери в XVI веке, но вобравшего в себя множество сведений из более ранних летописцев, в том числе киевского происхождения, — рассказывает о том, что Ярослав в течение долгого времени не мог встать на ноги: он находился при своей матери Рогнеде, «бе бо естеством таков от рождения». И лишь после крещения самого Владимира, а затем и его жен и детей, Ярослав чудесным образом «встал на ноги свои и стал ходить, а прежде того не мог ходить»[12].

Несомненно, перед нами предание — но предание, отразившее реальные события и реальные воспоминания о необычном детстве княжича, ставшего впоследствии киевским

князем. Известие тверского летописца нашло точное подтверждение в данных антропологов, изучавших костные останки Ярослава Мудрого. Как известно, киевский князь был захоронен в мраморном саркофаге в Киевском Софийском соборе. В отличие от гробницы его отца Владимира саркофаг Ярослава уцелел — как уцелел, несмотря на все перестройки и разрушения, сам Софийский собор. В январе 1939 года саркофаг был вскрыт, хранящиеся там останки князя извлечены наружу и подвергнуты тщательному анатомическому и рентгенологическому исследованию, так что теперь мы можем судить о характере его заболевания вполне определенно и объективно.

Ярослав действительно от рождения был хромым. Современные медики ставят ему однозначный диагноз: князь страдал правосторонним диспластическим коксартрозом, или, другими словами, врожденным недоразвитием правого тазобедренного сустава, а также правого коленного сустава[13]. Причем болезнь была выражена у него в очень сильной форме. К концу своей жизни князь едва мог передвигаться и испытывал жестокие боли во всем теле — ногах, руках, шее, позвоночнике.

Это заболевание проявляется, в частности, в том, что ребенок, как правило, позже, чем обычно, начинает ходить. Задержка достигает года — полутора лет, а в отдельных случаях и большего срока. Видимо, именно такой случай имел место в отношении младенца Ярослава. Князь действительно встал на ноги позже, чем его сверстники. Это и осталось в памяти киевлян и отразилось на страницах Тверской летописи.

По обычаю русичей, в три или четыре года мальчика сажали на коня, совершив над ним предварительно обряд постригов. В отношении Ярослава этот обряд был совершен, наверное, значительно позже. Но на коня Ярослав все-таки сел. Вероятно, он и впоследствии — вплоть до последних лет жизни — чувствовал себя в седле увереннее, нежели на земле. Привычка к передвижению верхом сыграла определенную роль в его жизни. Надо сказать, что современные детские врачи-ортопеды лечат заболевание, которым страдал Ярослав, с помощью специальных распорок, в которые помещают ребенка. Во времена Киевской Руси такой методики, конечно, не существовало. Но пребывание верхом на коне благотворно влияло на мальчика — седло выполняло те же функции, что и позднейшие специальные распорки.

Итак, в конце концов Ярослав начал ходить, одержав первую и, пожалуй, самую важную в своей жизни победу.

Наверное, она далась ему немалым трудом. Но организм перестроился: мышцы взяли на себя дополнительную нагрузку, компенсировав врожденный недостаток. В детские и юношеские годы Ярослав сумел освоить и воинскую науку, приобрел все те навыки, которые необходимы будущему князю. До времени его, вероятно, отличала лишь своеобразная походка — немного переваливающаяся, «утиная», характерная для людей, страдающих подобным заболеванием. Но к ней легко было привыкнуть — и самому Ярославу, и окружающим его людям. Беда придет позднее — уже в зрелом возрасте, когда болезнь даст о себе знать по-настоящему. Вот тогда-то Ярославу потребуется все его мужество для преодоления недуга.

Поворотное событие в жизни Ярослава естественным образом совпало с поворотным событием в жизни всей его семьи и всего Русского государства. В 987-м или в начале 988 года князь Владимир Святославич принял крещение. Этому предшествовали его переговоры с посланниками византийских императоров-соправителей Василия и Константина, просивших киевского князя о военной помощи против мятежников Варды Склира и Варды Фоки*. Взамен Владимир потребовал от императоров руки их сестры, порфирородной царевны Анны, и гордые правители Ромейской империи вынуждены были согласиться на неслыханное и унизительное для них требование северного «варвара» — конечно, лишь при условии его крещения.

Путь Владимира к христианству оказался и долгим, и сложным. Не сразу он решился на крещение. Владимир всерьез обсуждал со своими боярами и «старцами градскими» возможность принятия иной веры, принимал проповедников от мусульман, евреев и латинян и долго и обстоятельно беседовал с ними о преимуществах их вероучения, сам направлял «добрых и смысленных» мужей для «испытания вер» в чужие страны. Даже после крещения (которое, по всей видимости, произошло в Киеве) князь, как можно предположить, не сразу и не вполне изменил свой образ жизни и свои убеждения. Греки «сольстили», то есть обманули его: после того как многочисленный и хорошо вооруженный русский корпус прибыл в Византию и принял самое активное участие в подавлении мятежа, они вовсе не поспе-

* Об обстоятельствах крещения князя Владимира подробно рассказывается в книге «Владимир Святой».

шили исполнить свое обещание и не отправили в Киев царственную невесту. Летом 988 года князь напрасно выступил к днепровским порогам, куда должна была прибыть Анна; он так и не дождался ее. По некоторым сведениям, именно тогда в Киеве был убит поставленный в митрополиты Русские бывший севастийский митрополит Феофилакт. Разгневанный Владимир двинул свои войска в Крым, на греческий город Херсонес (который русские называли Корсунью), и после длительной осады взял его.

Теперь, наконец, Василий и Константин вынуждены были подчиниться. Анна приплыла в Корсунь, где и состоялось ее бракосочетание с киевским князем. Долгие месяцы осады и ожидания Анны, пребывание в Корсуни совершенно изменили Владимира: князь принял новую веру уже не только на словах, но на деле. Может быть, этому способствовала тяжелая болезнь, которая — по свидетельству летописи и княжеского Жития — приключилась с ним незадолго до свадьбы.

Летом или осенью 989 года Владимир с Анной вернулись в Киев. Их сопровождали «корсунские и царицыны попы» — священники-греки из Херсонеса и Константинополя, а также многочисленные святыни, вывезенные князем из завоеванного города, — кресты, иконы, церковная утварь, мощи святого Климента и его ученика Фива, принявших мученическую смерть в Херсонесе. Князь вез с собой и языческие изваяния — два «медных капища» и квадригу медных коней, которые впоследствии были поставлены возле церкви Святой Богородицы Десятинной в центре Киева. Кроме того, из Корсуни везли целые глыбы мрамора, каменные блоки, фрагменты отдельных зданий. Казалось, в Киев переезжал весь Херсонес, без остатка. Среди всего этого великолепия имелись и две мраморные гробницы. В одной из них доведется обрести последнее пристанище самому Владимиру, в другой — его сыну Ярославу...

Княжичи, по-видимому, не сопровождали отца в корсунском походе и дожидались его в Киеве. Вместе со всеми киевлянами они радостно встречали здесь победоносную русскую рать. Христианский Бог вступал в Киев прежде всего как бог княжеский, как еще один трофей, добытый в борьбе со «льстивыми» греками — может быть, именно этим объясняются те легкость и непосредственность, с которыми киевляне принимали его. Принимали, разумеется, главным образом внешне, поверхностно — ибо глубинный переворот в мировоззрении редко совершается в пределах одного поколения.

Как и его братья, Ярослав был свидетелем того зримого торжества христианства, которое наступило в Киеве после возвращения Владимира. Вероятно, на его глазах и по повелению его отца прежние языческие кумиры были ниспровергнуты с обильно политого жертвенной кровью «Перунова холма»: одних изрубили, других предали огню. Идол же Перуна, главное киевское божество, привязали к конскому хвосту и отволокли к «Ручаю» (вероятно, к Почайне, притоку Днепра). «И приставил Владимир 12 мужей — бить его жезлием, — рассказывает летописец. — ...Когда же тащили его по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди, ибо не приняли еще святого крещения. И, притащив, бросили его в Днепр, и приставил Владимир мужей, сказав: "Если где пристанет к берегу, отпихивайте его, пока не пройдет пороги, и только тогда оставьте его". Они же исполнили то, что им повелели...»[14]

Старые боги уступали место новым. Уступали явственно, зримо для каждого. В свое время мы уже согласились с мнением исследователей о том, что действия Владимира отнюдь не сводились к простому унижению или поруганию Перуна и других деревянных истуканов, как это представлялось позднейшему летописцу-христианину. За всем, что происходило тогда в Киеве, стояла тысячелетняя традиция: старых языческих богов провожали в последний путь — подобно тому, как вплоть до недавнего времени в деревнях каждый год провожали с нарочитым плачем и причитаниями (а иногда, наоборот, с разнузданным весельем) соломенные чучела Масленицы или Костромы, Ярила или Купалы — жалкие подобия некогда грозных языческих божеств. Их провожали для того, чтобы «похоронить» — предать огню или воде, «иссечь» на части — и это ритуальное действие обозначало не что иное, как уход старого и приход нового времени года, нового отсчета жизни. Так же и во времена Владимира проводы (или, лучше сказать, похороны) Перуна, уплывавшего по водной глади реки, явственно обозначали наступление времени новых богов и новой веры. Приставленные Владимиром мужи должны были проследить за тем, чтобы идол не прибился к берегу до тех пор, пока не покинет пределов обитаемого славянами мира, того жизненного пространства, которое они считали своим и границей которого служили днепровские пороги, отделявшие Русь от чужой и недоброй Степи. Так, наверное, до́лжно было провожать не поруганного, презираемого беса, но по-прежнему могущественного бога — с соблюдением древних обычаев и обрядов, можно сказать, с соответствующими почестями[15].

Отрок Ярослав, как и подавляющее большинство киевлян того времени, был язычником. Ритуальные проводы Перуна имели для него совершенно ясный, определенный смысл. Могучий бог, изваяние которого проволокли через весь город, оставлял Киев своим покровительством на попечение новому, еще более могущественному защитнику.

Вместе с кумиром Перуна язычество уходило из Киева, из Руси. Но в мироощущении русских людей оно будет сохраняться в течение еще долгого времени, сосуществуя с новым, христианским пониманием мира, переплетаясь с ним, приспосабливаясь к нему...

За свержением идолов последовало крещение киевлян. Вначале, вероятно, Владимир крестил своих сыновей и других членов семьи, которые должны были подать пример остальным киевлянам. Имеющиеся в нашем распоряжении источники ничего не сообщают об этом важнейшем событии в жизни сыновей Владимира. Сохранилось лишь позднее и не слишком достоверное предание, читающееся в так называемом «Киевском синопсисе», который был составлен в XVII веке в Киево-Печерском монастыре. Согласно этому преданию, все двенадцать братьев приняли крещение вместе, в «единой кринице», или источнике, получившем с того времени название Крещатик[16]. Крещатицкий источник (небольшой ручей) протекал в глубоком овраге вблизи впадения Почайны в Днепр. Позднее это место киевляне стали почитать как святое, а в начале XIX века здесь соорудили часовню с высокой кирпичной колонной, украшенной золотым крестом на серебряном шаре, — памятник Крещению Руси.

При крещении княжичи получили вторые, христианские имена. В древней Руси они почти не употреблялись в обычной жизни, поэтому мы знаем лишь некоторые крестильные имена сыновей Владимира. Так, будущие князья-мученики Борис и Глеб получили имена Роман и Давыд, Святополк был наречен Петром, Мстислав — вероятно, Константином. Ярослав получил при крещении имя Георгий, данное ему в честь святого мученика, жившего в III — начале IV века и принявшего мученическую смерть при римском императоре Диоклетиане.

Со временем великомученик Георгий станет одним из наиболее почитаемых святых на Руси. Широкое распространение в древнерусской письменности получат его Житие, а также сказания о его многочисленных посмертных чудесах, совершенных им в Византии и славянских землях. Духовный стих о «Егории Храбром», возникший в народной сре-

Русская земля в X — начале XI века.

де, сделает святого Георгия освободителем и устроителем всей Русской земли[17]. Но самым популярным на Руси станет, конечно, знаменитое «Чудо святого Георгия о змие и о девице» — увлекательная сказочная повесть, переведенная с греческого языка и рассказывающая о победе юноши Георгия над чудовищным змием, жившем в трясине близ некоего города Ласии (или Лаосии) и пожиравшем одну за другой местных девушек. Георгий одолел змия не оружием, но силой честного креста и тем самым спас от неминуемой смерти дочь правителя города царевну Елисаву. Жители города, пораженные чудом святого, уверовали в Христа и кресги-

лись. Так святой получил еще одно имя, под которым был прославлен и в греческих, и в славянских землях, — Георгий Победоносец.

Князь Ярослав, несомненно, хорошо знал Житие своего небесного покровителя. Память святого Георгия праздновалась Церковью 23 апреля, и этот день Ярослав, наверное, старался проводить в храме, отмечая его как свой особенный личный праздник. Образ Победоносца, победителя свирепого и отвратительного чудовища, впоследствии будет вдохновлять его на ратный подвиг.

Но это в будущем. Пока же отрок Ярослав пребывал в Киеве, где разворачивались поистине судьбоносные для Руси события.

Мы не знаем, был ли Ярослав непосредственным очевидцем всеобщего крещения киевлян в водах реки Почайны[18], о котором рассказывают летопись и различные редакции Жития князя Владимира. Но он, конечно, знал о том, что его отец разослал по всему городу глашатаев, которые должны были явить народу повеление князя: «Если кто не придет завтра на реку — богат ли, или убог, или нищий, или раб — да будет противник мне». Это открытое провозглашение христианства княжеской верой, а отказывающихся принять крещение — личными врагами князя, наверное, сыграло определяющую роль в судьбе киевлян, а затем и всего Русского государства. Впоследствии очень точно выразит эту сторону Крещения Руси современник и сподвижник Ярослава Мудрого киевский митрополит Иларион в своем знаменитом «Слове о законе и благодати»: Владимир повелел креститься всей земле своей, «чтобы... всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старцам, боярам и простым людям, богатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему сие, ибо благочестие его было сопряжено с властью»[19].

И действительно, повинуясь княжескому призыву, множество киевлян — «люди всех возрастов: мужи, и жены, и младенцы» — сошлись на берег «русского Иордана» (как впоследствии будут именовать реку Почайну), где их уже ждали «царицыны и корсунские попы», чтобы совершить надлежащие обряды и прочитать положенные молитвы. Люди, выходившие из речного потока, конечно, не могли измениться в одночасье; большинство из них едва ли понимало смысл совершенного над ними обряда. И тем не менее это событие коренным образом изменяло и их жизнь, и,

особенно, жизнь их детей и внуков, жизнь всех последующих поколений русских людей.

Сыновья Владимира были тогда еще детьми: даже старшему из княжичей едва ли минуло одиннадцать лет. Они находились как раз в том возрасте, когда новое воспринимается легко и естественно, когда человек впитывает новые ощущения и впечатления, легко приспосабливается к изменившимся обстоятельствам жизни, когда закладываются основы мировоззрения. Стоит ли удивляться тому, что большинство братьев прочно усвоят новое, христианское понимание мира. Относительно многих из них — в том числе и относительно Ярослава — мы можем сказать это наверняка.

Приобщение Владимира к христианству резко разрывало сложившиеся связи внутри княжеской семьи. Теперь Владимир отказывался от всех своих прежних жен, оставляя единственную законную — Анну. И его «водимые» жены, и его наложницы должны были покинуть князя. Владимир дозволил им сочетаться браком со своими «передними мужами» — боярами и дружинниками, причем предоставил выбор самим женщинам. Несомненно, это можно считать милостивым решением с его стороны. Однако не все из жен согласились на такую милость. Автор Тверской летописи приводит красивую легенду о том, как отвечала на предложение своего супруга гордая и своенравная Рогнеда: «Я, быв царицею, не хочу стать рабой земному царю или князю, но хочу уневеститься Христу и восприму ангельский образ». Сказав это, Рогнеда, действительно, постриглась в монахини, приняв новое имя — Анастасия. Согласно другому преданию, именно тогда она и удалилась к своему сыну, в город Изяславль, где поселилась в построенном для нее монастыре[20].

Тверская летопись относит именно к этому времени чудесное исцеление младенца Ярослава. Услыхав речь матери, он будто бы вздохнул из глубины сердца и со слезами произнес слова, исполненные недетской мудрости и искреннего благочестия: «О мать моя, во истину царица царицам и госпожа госпожам! Ибо восхотела ты переменить славу нынешнего века на будущую славу и не восхотела с высот на нижнее соступить. Тем же блаженна еси в женах!» Но эти слова, конечно, домыслены летописцем, как домыслена и вся трогательная сцена расставания любящих и соревнующихся в благочестии матери и сына. Мы уже отметили то, несомненно, рациональное зерно, которое содержится в

рассказе тверского летописца. Но приурочивать исцеление Ярослава именно к Крещению Руси и удалению Рогнеды в монастырь (то есть определенно к 989 году) вовсе не обязательно. Это приурочение вполне могло принадлежать позднейшему книжнику, обработавшему предание в подобающем христианском духе.

Изгнание прежних языческих жен отнюдь не ущемляло прав рожденных ими сыновей. Все они оставались законными наследниками и сопричастниками отцовской власти. Это, конечно, не вполне соответствовало христианским нормам морали и византийскому праву, но зато естественно вытекало из сложившихся норм межкняжеских и внутрисемейных отношений. Более того, согласно летописи, как раз после крещения Владимир сажает своих сыновей на княжение в отдаленные города своего государства, делая их одновременно своими наместниками в отдельных областях и своими соправителями в пределах всего государства.

Судя по свидетельству «Повести временных лет», раздача городов происходила в несколько приемов. Сначала уделы получили старшие Владимировичи. Вышеслав был посажен на княжение в Новгород — город, в котором в свое время княжил сам Владимир. Вероятно, вместе с ним в Новгород отправился и умудренный опытом Добрыня, дядя Владимира и до недавнего времени его советчик и наставник почти во всех делах. Пасынок Святополк получил в управление Туров на реке Припять, главный город в земле дреговичей и важный центр на западе Русского государства. В числе старших Владимировичей получил свой удел и Ярослав, которого отец отправил на княжение в Ростов.

В биографии Ярослава это событие имело очень большое значение. Он превращался в настоящего князя, правителя обширной, хотя и не слишком заселенной области. Мы уже немало говорили о непростом детстве Ярослава, о его болезни, о том, как поздно он начал ходить и приобщаться к княжескому ремеслу, чтобы понять: всем, что произошло с ним тогда (в том числе и своим поставлением в Ростовскую землю), он был в первую очередь обязан самому себе. Ярослав добился признания отца, который увидел в нем полноценного князя, способного представлять его власть в удаленной от Киева, труднодоступной и трудноуправляемой области, а значит, вполне поверил в него. И это признание стало первым шагом Ярослава на пути к будущему признанию и будущей власти над всей Русью.

Глава вторая

РОСТОВ

Признаемся сразу: мы не располагаем никакими сведениями о ростовском периоде жизни князя Ярослава Владимировича. В летописи сохранилось единственное упоминание о его посажении отцом в этот город — и это всё, что нам достоверно известно. Поздние же легенды и предания (которых, как мы увидим, сохранилось немало), к сожалению, не могут претендовать на историческую достоверность; на их основании нельзя делать и каких-либо выводов биографического характера.

Увы, это удел всех историков, пишущих о давно ушедших эпохах. В их распоряжении всегда ничтожно мало материала. В особенности это касается тех из них, которые — надо полагать, по излишней самонадеянности — берутся за произведения в биографическом жанре. В самом деле, годы, которые Ярослав провел в Ростове, возможно, были самыми важными в его жизни. Ведь в этом городе происходило формирование его личности, становление его как князя — политика и государственного деятеля. Но мы, повторюсь, ничего не знаем об этом.

Внутренний мир любого человека — если только он не оставил после себя подробных и откровенных дневников — сокрыт за семью печатями и редко становится достоянием биографа. Чаще мы вынуждены довольствоваться описанием внешних проявлений человеческой жизни — его действий, совершенных им поступков, или — если речь идет о

На рис. — сребреник князя Ярослава Владимировича. Лицевая сторона с изображением святого Георгия.

биографии художника — более или менее вдумчивым анализом его творчества. Биограф же, взявшийся за жизнеописание человека, жившего за тысячу лет до него, часто лишен и этой возможности. Как ни прискорбно, но мы не знаем *ни об одном* поступке или действии Ярослава до 1014 года, то есть до достижения им по крайней мере тридцатилетнего возраста! Если мы и можем (на основании антропологических данных) догадываться о некоторых обстоятельствах его самых ранних, детских лет, то все его отрочество, юность, молодость — то есть «золотая пора» жизни — скрыты полной мглой нашего неведения.

Возможно ли преодолеть подобное затруднение? Или разумнее было бы описывать жизнь князя, начиная со зрелого возраста, когда в распоряжении биографа появляются хоть какие-то факты, хоть какие-то показания источников? Ведь в ином случае автор книги сталкивается с опасностью воссоздания вымышленной биографии своего героя, проецируя его последующие деяния (о которых мы также далеко не всегда можем судить с достаточной степенью уверенности) на предшествующий, «темный» период, домысливая те или иные черты его характера. Мы не рискнем вставать на этот скользкий путь. Но не решимся и опустить вовсе несколько десятилетий жизни героя нашего повествования, как будто их совсем не существовало. Посвящая целую главу ростовскому княжению Ярослава Владимировича, мы попытаемся наметить если и не контуры его подлинной биографии, то по крайней мере контуры тех обстоятельств, в которых происходило становление его личности, а заодно еще раз проанализируем те немногочисленные источники, которые имеются в нашем распоряжении.

Прежде всего попытаемся уточнить хронологию ростовского княжения Ярослава. Мы не знаем точно, когда именно он оказался в Ростове и как долго пребывал в этом городе. Летопись рассказывает о начале княжения старших сыновей Владимира под 6496 (988) годом. Но этот год надо считать условным, поскольку в него вместилось слишком много событий. И возвращение Владимира из корсунского похода, и крещение киевлян, а в их числе и сыновей Владимира, происходили, очевидно, уже в следующем, 989 году. Так что Ярослав мог уехать в свой новый город во всяком случае не ранее этого времени. Наверное, мог сделать это и позднее. Но никакими дополнительными сведениями на этот счет мы не располагаем, поэтому будем считать 989 год

началом его княжения в Ростове, помня о всей условности и приблизительности этой даты.

Имя Ярослава упоминается в той же летописной статье еще раз. Сразу после сообщения о его посажении в Ростов летописец продолжает: «Когда же умер старейший Вышеслав в Новегороде, посадили Ярослава в Новегороде, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме...» Далее рассказывается о княжении остальных сыновей Владимира: «...Святослава [посадил Владимир] в Деревех (Древлянской земле. — *А. К.*), Всеволода во Владимире (на Волыни. — *А. К.*), Мстислава в Тьмуторокани». Позднейшие летописи и отдельные редакции «Сказания о князьях-мучениках Борисе и Глебе» прибавляют к этому перечню и города, в которые были посажены младшие Владимировичи: Станислав получил в удел Смоленск, Судислав — Псков, а Позвизд — Волынь (или, более определенно — Луцк на Волыни)[1]. Но когда происходило это новое перераспределение волостей внутри Владимирова семейства, мы не знаем, как не знаем и того, в одно ли время получили Владимировичи свои новые уделы, или этот процесс растянулся на несколько лет.

Итак, Ярослав покидает Ростов после смерти своего старшего брата Вышеслава. Однако год этого события не обозначен летописцем. Вообще надо сказать, что события второй половины княжения Владимира Святославича (после 997 и до 1014 года) почти совсем не отражены летописью. Большинство летописных статей оставлено пустыми: летописец проставлял лишь тот или иной год (например: «В лето 6510») и сразу же переходил к другому. Вероятно, в его распоряжении имелись лишь случайные выписки из княжеского помянника, ведшегося в Киевской Десятинной церкви — главном храме Киевской Руси Владимировой поры. Оттуда в текст летописи попали лишь записи церковного характера, в том числе и сведения о преставлении членов княжеской семьи:

«Преставися Малъфредь. В се же лето преставися и Рогънедь, мати Ярославля» (под 1000 годом).

«Преставися Изяслав, отець Брячиславль, сын Володимерь» (под 1001 годом).

«Преставися Всеслав, сын Изяславль, внук Володимерь» (под 1003 годом).

«Пренесени святии в Святую Богородицю» (то есть в Десятинную церковь; под 1007 годом).

«Преставися цесариця Володимеряя Анна» (под 1011 годом)[2].

И это всё. Других записей, до 1014 года, в «Повести вре-

менных лет» нет. Надо полагать, что имя Вышеслава в помянник Десятинной церкви не вошло. Мы не знаем, чем это объясняется. Но из-за этого мы не можем установить год оставления Ярославом Ростова.

Позднейшие источники содержат две различные версии времени смерти старшего Владимировича. Первая из них приведена в знаменитой «Степенной книге царского родословия» — грандиозном историческом своде летописного характера, составленном в Москве в начале 60-х годов XVI века духовником царя Ивана Грозного протопопом Андреем, ставшим вскоре, под именем Афанасия, московским митрополитом. Рассказав о «праведном житии» сыновей Владимира («един единаго благодеяньми превосхождаше и всегда в законе Господни поучихуся и до конца в заповедех Господних преспеваху»), автор летописи — без обозначения дат — пишет особо о тех из них, которые преставились прежде самого Владимира: «Первый от чад Владимеровых, иже бе старейший во братии Вышеслав, с миром преставися. Потом же и Рогнеда преставися...» Далее, согласно с «Повестью временных лет», сообщается о смерти Изяслава и Анны. Рогнеда, как мы знаем, умерла в 1000 году (или в начале 1001 года). Получается, что Вышеслав умер ранее этого времени[3].

Откуда автор Степенной книги извлек эти сведения, неизвестно. Похоже, что в рассказе о Владимировичах он пользовался краткими сведениями «Повести временных лет», лишь расцвечивая их собственными соображениями о вероятном благочестии прирожденных сыновей Крестителя Руси. Следовательно, можно предположить, что имя Вышеслава попало в его повествование по догадке: старший из Владимировичей, скорее всего, и должен был скончаться раньше своих братьев.

Другую версию находим в «Истории Российской» Василия Никитича Татищева, русского историка первой половины XVIII века. В работе над «Историей» Татищев пользовался летописями, которые не дошли до нашего времени. Вероятно, из одной из них он заимствовал сообщение, датированное 6518 (1010/11) годом: «Преставися в Новеграде Вышеслав, сын Владимиров. И дал Владимир Новгород Ярославу, а Борису — Ростов, Ярославлю отчину...»[4]

Данное сообщение также не подтверждается другими источниками. Однако историки, как правило, принимают названную Татищевым дату, полагая, что в конечном счете она может восходить к какой-то достаточно древней летописи новгородского происхождения. (Новгородское происхожде-

ние имеет целый ряд летописей, бывших в распоряжении Татищева, но не сохранившихся ныне.) В Новгороде же дату смерти своего князя могли знать наверняка. Опять же условно будем и мы считать 1010 год годом завершения ростовского княжения Ярослава, помня, однако, об относительности и этой датировки.

Но если так, то Ярослав провел в Ростове более двадцати лет, о которых мы практически ничего не знаем. Впрочем, кое о чем, наверное, можно догадываться.

Так, надо полагать, что во время малолетства сыновей Владимира реальная власть над той или иной областью оказывалась в руках «мужей», посланных Владимиром вместе с ними. С некоторой долей вероятности мы можем назвать имя опекуна Ярослава. В летописной статье 1018 года, рассказывающей о войне Ярослава со своим братом Святополком Окаянным и польским князем Болеславом, говорится о воспитателе Ярослава: «Был у Ярослава кормилец и воевода именем Буды» (или Будый)[5]. «Кормилец», по-древнерусски, — воспитатель, наставник. Буды, очевидно, был правой рукой Ярослава в Новгороде, откуда Ярослав пришел с войском в Киев. Но в Новгороде Ярослав княжил уже будучи взрослым человеком и не нуждался в воспитателе. «Кормилец» был нужен ему раньше, в Ростове.

Уместно заметить, что в событиях 1018 года Буды проявит себя отнюдь не с лучшей стороны. Именно он явится главным виновником поражения Ярославова войска. Возможно, в делах управления землей он был более сведущ и уж наверняка отличался личной преданностью Ярославу, раз князь взял его с собой в Новгород и сделал своим воеводой. Следовательно, с именем Буды можно связывать те изменения, которые в княжение Ярослава произошли в Ростове и Ростовской земле. А изменения эти были весьма существенными.

Ростов, куда был посажен на княжение Ярослав, принадлежит к числу древнейших городов Северо-Восточной Руси. «Повесть временных лет» упоминает его уже в летописной статье 862 года, в знаменитой легенде о призвании варягов: согласно летописи, обосновавшийся в Новгороде Рюрик, легендарный предок всех русских князей, стал раздавать своим «мужам» города во владение: «овому Полотеск (Полоцк. — *А. К.*), овому Ростов, другому Белоозеро»; «и по тем городам суть находники (пришельцы, завоеватели. — *А. К.*) варяги, а первые насельники (обитатели. — *А. К.*): в Новго-

роде словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря». Упоминается Ростов и под 907 годом, в тексте договора, заключенного с греками князем Олегом: греки обязались платить дань не только на всех воинов Олеговых, но и на отдельные русские города — «первое на Киев, также на Чернигов, и на Переяславль, и на Полоцк, и на Ростов, и на Любеч, и на прочие города, ибо по тем городам сидели великие князья, подвластные Олегу»[6]. «Великие князья» — по-видимому, местные правители, признавшие власть киевского князя. Судя по тексту договора, один из таких правителей княжил и в Ростове. Но существовал ли в действительности Ростов в IX веке, или мы имеем дело с позднейшими добавлениями летописца, как полагает ряд исследователей[7], сказать трудно.

Начальная история Ростова вообще во многом неясна и полна загадок. Так, название города, несомненно, славянское[8], в то время как сам город возник в землях финно-угорского племени меря и был первоначально населен мерянами, о чем, собственно, и сообщает летописец: помимо уже цитированного текста о «первых насельниках» Ростова, об этом свидетельствует и начальная, недатированная часть «Повести временных лет», в которой рассказывается о расселении славянских и финно-угорских племен на территории Восточно-Европейской равнины: «...а на Ростовском озере меря, и на Клещине озере меря же». Археологи, которые вполне отчетливо выявляют археологические памятники этого финно-угорского племени, отмечают достаточную точность летописца: мерянский союз племен, действительно, занимал обширную область от верховьев реки Мологи на севере до муромского течения Оки на юге и от реки Клязьмы на западе до Галичского озера на востоке[9]. «Ростовское озеро» (современное Неро) и Клещино озеро (на котором впоследствии будет поставлен город Переяславль-Залесский) находятся в центре этой территории.

Однако археологически история Ростова прослеживается лишь с середины X века; вопреки прямому свидетельству летописи следов существования города в IX веке (может быть, пока?) не обнаружено. Правда, на месте Ростова находился мерянский поселок, предшественник города; возможно, он существовал и в IX веке или даже раньше[10]. Но он ничем не выделялся среди других мерянских поселений и отнюдь не господствовал над этим относительно населенным и освоенным земледельческим районом, расположенным вокруг богатого рыбой озера Неро.

Город возник на не слишком удобном месте — открытом,

лишенном каких-либо естественных оборонительных рубежей, у самой кромки Ростовского озера. Исследователи сравнивают его с так называемыми «виками» — открытыми торгово-ремесленными поселениями, распространенными в Скандинавии, Прибалтике и на Руси в IX—XI веках. Большинство таких «виков» не получило развития в последующее время; Ростов в данном отношении представляет собой исключение.

А между тем совсем рядом с Ростовом — в 15 километрах к югу от города, на возвышенности в глубокой излучине реки Сары (или Гды, как называют ее нижнее течение), в VIII—X веках находилось крупнейшее мерянское поселение, можно сказать, город, бывшее, очевидно, главным племенным центром мерян. Археологи называют его Сарским городищем, а в источниках начала XIII века оно именуется просто «городищем» — то есть заброшенным, ранее существовавшим городом. Какое-то время Сарское городище и Ростов существовали рядом друг с другом. Но первое быстро приходило в упадок и в начале XI века прекратило свое существование[11], в то время как второй бурно развивался. Загадка гибели Сарского и возвышения Ростова не разрешена до сих пор, хотя на этот счет было выдвинуто несколько различных предположений. Для нас эта загадка представляет особый интерес — прежде всего потому, что необратимые изменения во взаимоотношениях двух поселений происходили именно в период ростовского княжения Ярослава и, очевидно, при его непосредственном участии.

Мы не имеем никаких письменных свидетельств на этот счет. Но тем ценнее для нас данные археологии, которые в последнее время все активнее вводятся в научный оборот.

Исследователи, изучающие раннюю историю древнерусских городов, сделали исключительно ценное наблюдение. Оказывается, подобные Сарскому поселения известны вблизи многих других древних русских центров. Так, рядом с Новгородом (и притом еще прежде него) существовало так называемое Рюриково городище — вероятное место пребывания первых новгородских князей и дружины; рядом со Смоленском обнаружено и исследовано едва ли не крупнейшее в древней Руси поселение, известное как Гнездово; рядом с Черниговом — так называемое Шестовицкое городище; рядом с Ярославлем — комплекс поселений, известных как Тимерево, Михайловское, Петровское. Причем все названные поселения, развивавшиеся на протяжении нескольких столетий (в основном VIII—X века), прекратили свое существование приблизительно в одно и то же время — на

рубеже X и XI веков. Этот факт, несомненно, требует объяснений.

Долгое время археологи считали возможным говорить о своеобразном феномене «переноса» древнерусских городов[12]. Так, в Рюриковом городище видели непосредственный предшественник Новгорода, в Гнездово — первоначальный Смоленск, в Сарском — древний Ростов. Может быть, это и верно — но лишь отчасти и лишь применительно к некоторым городам. При этом «перенос» города, разумеется, нельзя понимать буквально, поскольку многие из названных центров (в том числе Сарское и Ростов) в течение более или менее длительного времени существовали параллельно друг другу. Но могли «переноситься» — и, вероятно, переносились — определенные функции того или иного города как центра округи, а в отдельных случаях — и его название. В истории древней Руси подобные случаи известны и по показаниям письменных источников. Так, в конце X века, при князе Владимире Святом, происходит своеобразное «переоснование» Переяславля на реке Трубеж, а в середине XII века князь Юрий Долгорукий переносит на новое место и северный Переяславль (Переяславль-Залесский) на Клещине озере. Отождествление первоначального Ростова с городищем на Саре — пожалуй, единственная возможность согласовать противоречия между данными археологических исследований и «Повестью временных лет», определенно знающей Ростов как главный город Мерянской земли в IX — начале X века.

Бурный рост Ростова, продолжавшийся в течение последующих столетий, начинается именно со времени княжения в этом городе князя Ярослава Владимировича. Но почему Ярослав (или, точнее, его отец) избрал для пребывания князя это вполне заурядное и ничем не примечательное поселение, а не гораздо более развитое во всех отношениях городище на Саре? Теория «перенесения городов» не объясняет сути явления, не дает ответ на этот вопрос, равно как и на другой: почему процесс «перенесения городов» — если он действительно имел место — наиболее активно протекал именно в конце X — начале XI века? Очевидно, что этот процесс отражает какие-то существенные, глубинные изменения, происходившие в Киевском государстве в это время.

Реформа государственного управления, выразившаяся, в частности, в распределении городов между сыновьями Владимира, сыграла исключительно важную роль в истории Киевского государства. Историки определяют время правления Владимира как время становления государства в привычном

для нас смысле — с определенными внешними границами, определенными органами управления, более или менее четкой системой подчинения областей верховной княжеской власти. Прежняя самостоятельность отдельных племен, при которой их зависимость от Киева ограничивалась лишь признанием власти киевского князя да выплатой оговоренной дани, отходила в прошлое. Коренным образом менялась и сама система сбора дани, являвшаяся основой государственной власти прежних киевских правителей. Как известно, при бабке Владимира княгине Ольге постоянным местом сбора дани становятся так называемые «погосты» — центры княжеского влияния в отдельных, как правило, удаленных от Киева областях. Эти «погосты» еще не были городами в полном смысле этого слова; они представляли собой укрепленные пункты, места пребывания представителей княжеской администрации и княжеской дружины. В основном такие «погосты» возникали по соседству со старыми племенными центрами. По-видимому, их жители обладали правом экстерриториальности, а значит, «погосты» противостояли «земле», в которой находились, и в большинстве своем являлись чужеродными, искусственными образованиями, не имевшими достаточного запаса устойчивости и жизнеспособности[13]. Нечто подобное имело место и в других областях Европы, например, в Скандинавии, где рядом друг с другом также сосуществовали племенные центры («туны») и королевские усадьбы-станы («хусабю»), и таким образом каждый административно-территориальный округ имел два центра, «очевидно, представлявших две различные системы власти: формирующуюся королевскую с зачатками государственного управления... и местную, восходящую к племенному строю»[14].

При Владимире ситуация меняется. В отдельные области Руси на княжение направляются сыновья киевского князя — такие же прирожденные носители княжеской власти, как и сам Владимир. В их лице княжеская власть, прежде отстраненная и отчужденная от племенного земельного строя, приходит в непосредственное соприкосновение с ним; начинается долгий процесс взаимопроникновения двух систем власти, их сращивания друг с другом. Сыновья Владимира не только осуществляют фискальные функции, обеспечивая сбор дани с местного населения в пользу киевского князя (с этим справлялись и прежние «погосты»), не только охраняют те или иные торговые пути (а большинство «погостов» возникает именно вблизи важнейших водных путей древней Руси), но и непосредственно управляют местным населением вместо прежних племенных вождей или

упоминавшихся в источниках «светлых князей». Как следствие, происходит сближение, а затем и слияние прежде противостоявших друг другу старых племенных центров округи и экстерриториальных дружинных поселений.

Процесс этот происходил не везде одинаково. Князья Владимировичи, по-видимому, могли поселяться как в племенных центрах — и тогда надобность в особых экстерриториальных поселениях попросту отпадала, так и вне их пределов — и тогда эти новые княжеские центры как бы подминали под себя прежние. Для Северо-Западной и Северо-Восточной Руси второй путь получил, кажется, большее распространение: поселение князя вне града было здесь делом обычным, что можно видеть на примере Новгорода, Мурома, предположительно Смоленска. Так что и поселение Ярослава вне главного центра Мерянской земли не должно вызывать удивления. Современный Ростов, скорее всего, представлял собой не что иное, как княжеский «погост», противостоявший старому племенному центру — Сарскому городищу[15]. И именно при Ярославе он приобретает черты настоящего города — с разнородным, разноэтническим населением, с княжеским двором и посадом. Главное же — он принимает на себя функции властного центра, стольного града всего княжения, и в этом отношении полностью заменяет Сарское городище, которое тем самым оказывается обречено на постепенное угасание. Население Сарского, по-видимому, перебирается в Ростов.

Надо полагать, что личность самого ростовского князя играла в этом процессе не последнюю роль. Ниже мы увидим, что Ярослав обладал достаточной волей и достаточным упорством в достижении целей, чтобы суметь настоять на своем. История утверждения Владимировичей в подвластных им землях знала и другие примеры, когда сыновьям киевского князя не удавалось подчинить своей власти ту область или тот город, в которые они были направлены отцом.

Так, из одного (правда, довольно позднего) источника известно, что младшему брату Ярослава, князю Глебу Владимировичу, так и не удалось установить свою власть над Муромской землей, населенной еще одним финно-угорским племенем — муромой. В Сказании о житии и о чудесах муромского князя Константина и его сыновей Михаила и Федора, известном также как «Повесть о водворении христианства в Муроме» (памятник XVI века), рассказывается о том, что Глебу также пришлось поселиться вне города, но с совсем иными последствиями для себя: «Егда прииде святой Глеб ко граду Мурому, и еще тогда неверни быша людие и

жестоцы, и не прияша его к себе на княжение, и не крестишася, но и сопротивляхуся ему. Он же отъеха от града 12 поприщь на реку Ишню и тамо пребываше до преставления своего си отца» (то есть до 1015 года)[16]. И если Ярославу, в конечном итоге, удалось подчинить своему влиянию Мерянскую землю, то Глеб, по-видимому, этого сделать так и не смог. Более того, по свидетельству источников, большей частью он пребывал вовсе вне пределов своего княжества — либо в Киеве, при отце, либо в Ростове в период княжения там своего единоутробного брата Бориса[17].

Методы упрочения княжеской власти в той или иной области были, по-видимому, также разными — причем не только мирными, но и военными. Об этом свидетельствуют данные археологов, отмечавших значительные различия между бедными по инвентарю погребениями местного финно-угорского населения и богатыми дружинными захоронениями с оружием (славянскими или скандинавскими)[18]. Но можно полагать, что и меряне, и чудь, и другие неславянские племена Северо-Восточной Руси в целом спокойно воспринимали власть Рюриковичей, в том числе и установление непосредственной княжеской власти на местах. Во всяком случае, никаких следов насильственного уничтожения старых финно-угорских поселений археологами не зафиксировано; прежние племенные центры в основном угасали как бы сами собой[19]. Нелишне будет отметить и такой факт: и в X, и в XI веках, и позднее представители местного финно-угорского населения входили в состав правящей прослойки Киевского государства, в том числе и в самом Киеве. Как известно, это вообще стало особенностью России, которая не только возникла как многоэтническое государственное образование, но и на протяжении почти всей своей истории отнюдь не обеспечивала представителям, выражаясь современным языком, «титульной» национальности каких-либо особых, исключительных прав на обладание высшими государственными должностями.

Что же касается Ростова, то этот город на протяжении всего домонгольского времени оставался многоэтническим: в нем жили и славяне, и меряне («чудь»). Здесь существовал особый «Чудской конец»[20], жители которого даже после христианизации Ростова поклонялись идолу языческого бога Велеса (или Волоса). И ни Ярослав, ни его преемники на ростовском княжении, по-видимому, не предпринимали каких-либо особых, чрезвычайных усилий для искоренения мерянского язычества или, тем более, для насильственной славянизации местного неславянского населения.

Политика консолидации государства, стирания различий между отдельными племенными образованиями, которую проводил князь Владимир Святославич и продолжить которую доведется его сыну князю Ярославу Владимировичу, нуждалась в определенном идеологическом оформлении. Закономерно поэтому, что именно на исходе X века традиционное язычество с присущими ему родоплеменными культами сменяется христианством — религией классового общества, не знающего «ни еллина, ни иудея» или, перефразируя слова апостола Павла применительно к древнерусскому обществу, «ни кривича, ни древлянина, ни чудина, ни варяга», но лишь христианина, поклоняющегося единому Богу и признающего власть единого князя. В свою очередь, христианизация Руси явилась мощным фактором укрепления древнерусской государственности, упрочения власти киевского князя в масштабах всей страны.

Распределение отдельных земель между сыновьями Владимира, помимо прочего, имело в виду и распространение христианской веры в отдаленных землях Киевского государства. Нет сомнений, что вместе с княжичами в их новые владения отправились и священнослужители — как греки, так и славяне, которые должны были способствовать христианскому просвещению края. В свое время мы уже говорили о том, что христианство насаждалось в древнерусских землях не силой, а преимущественно мирным путем, прежде всего словом, убеждением. В первую очередь, новая вера распространялась среди правящих кругов государства и охватывала княжеские города. Именно князья, в том числе сыновья Владимира, становились естественными проводниками христианского влияния.

К сожалению, древнейшие источники и, прежде всего, «Повесть временных лет» ничего не сообщают о распространении христианства в Северо-Восточной Руси в годы правления там князя Ярослава. Показания же книжников более позднего времени, увы, не внушают доверия. Это относится и к рассказу знаменитой Никоновской летописи — крупнейшего летописного свода Московской Руси, составленного в первой половине — середине XVI века при митрополичьей кафедре. Ее авторы называют просветителями Ростовской и Суздальской земель самого князя Владимира, а также легендарных киевских митрополитов Михаила и Леона, якобы поставленных на Русь константинопольским патриархом Фотием, на самом деле жившим за сто с лишним лет до описываемых событий. В 992 году, по сообщению той же летописи, в Ростов был поставлен первый епископ — не-

кий Феодор, которого летописец также называет ставленником «блаженнаго патриарха Фотея Константиноградскаго»[21] — поразительный анахронизм, почему-то не замеченный книжниками XVI века.

Причины появления подобных легенд* ясны. Книжники Владимирской, а потом и Московской Руси старались обосновать прямую преемственность стольных городов своих княжеств с прежним Киевом, а опосредованно — и с Константинополем, столицей всего православного мира. Важно было подчеркнуть тот факт, что новая христианская вера насаждалась здесь самим равноапостольным князем Владимиром — Крестителем Руси, а также иерархами греками, ставленниками знаменитейшего из византийских патриархов. Показательно, что имена первого ростовского епископа Феодора и его преемника Илариона — легендарных современников Владимира и Ярослава — появляются впервые в Житии святого Леонтия Ростовского — подлинного просветителя Ростовского края, жившего не ранее середины — второй половины XI века[23]. Это Житие, составленное при знаменитом князе Андрее Юрьевиче Боголюбском (не ранее 60-х годов XII века), стало программным произведением Владимиро-Суздальской Руси. В нем, как и в других сочинениях, вышедших из-под пера владимирских книжников

* В XVIII и XIX веках в Ростове и его окрестностях возникают легенды совсем иного рода, в которых фигурируют и князь Владимир, и его сыновья, ростовские князья Ярослав и Борис. Некоторые из таких преданий — несомненно, чисто книжного, даже сказочного и притом очень позднего происхождения — приведены в так называемом «Хлебниковском летописце», дошедшем до нас в обработке ростовского краеведа и сочинителя А. Я. Артынова. Мы найдем здесь рассказы о крещении ростовцев самим князем Владимиром и «владыкой Киева Михаилом» 15 июля 989 года (день памяти св. Владимира) и об основании в тот же день Ростовского Успенского собора и церкви во имя святых мучеников Кирика и Улиты в ближнем к Ростову селе Угодичи (уроженцем которого, кстати, был сам Артынов); об открытии в Ростове тогда же училищ «для обучения юношества»; об особой любви князя Ярослава Владимировича к «волости Угож» (Угодичам), которую князь якобы часто посещал «ради звериной охоты»; о разрушении Ярославом языческого капища и построении им в 997 году церкви в честь великомученика Георгия в Белогостицкой слободе Ростовского уезда (близ Белогостицкого монастыря на реке Вексне)[22]. Разумеется, в этих рассказах нет никакого «исторического зерна»; они отнюдь не основаны на каких-то местных преданиях, но полностью вымышлены позднейшими историописателями, стремившимися к приукрашиванию и удревлению истории своего родного города или села. Остается лишь удивляться тому, что некоторые даже профессиональные историки пытаются строить на их основании какие-то гипотезы относительно истории Северо-Восточной Руси и христианизации Ростовского края.

той поры (в их числе и самого князя Андрея Юрьевича), обосновывалась особая роль Ростова и Владимира как прямых преемников и даже соперников Киева, а также идея церковной независимости Владимиро-Суздальского княжества от Киева. Так, сам епископ Леонтий, бывший в действительности постриженником Киевского Печерского монастыря, превращен здесь в грека, уроженца Константинополя; пожалуй, отсюда всего один шаг до того, чтобы представить его предшественников ставленниками главы всей Православной церкви.

Возможно, имена Феодора и Илариона стали известны авторам Жития из несохранившегося помянника Ростовского Успенского собора. Но когда именно они жили, мы не знаем. Известно лишь, что оба покинули свою епархию, не стерпев враждебности местного населения[24].

Так что же, получается, что в нашем распоряжении вообще нет никаких достоверных известий о распространении христианства в Ростовской земле в княжение Ярослава? Это не вполне так. Мы имеем некоторые данные на этот счет, но эти данные скорее «отрицательного» свойства, и свидетельствуют они о крайне слабой христианизации даже Ростова (не говоря уже о Мерянской земле в целом) и в XI, и в XII веках, и даже позднее.

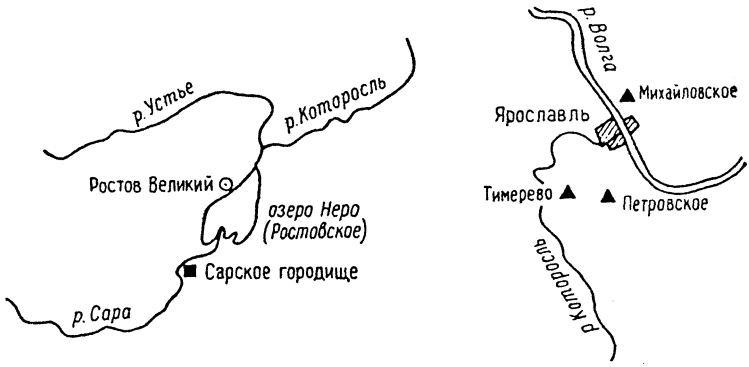
Конечно, Ярослав и его «передние мужи» должны были предпринимать усилия по утверждению новой веры, прежде всего в стольном городе своего княжества. Так, именно при Ярославе была поставлена первая ростовская церковь — деревянный Успенский собор, о котором современники говорили как о «дивной и великой церкви», какой «не бывало никогда и не ведомо, будет ли». «Создана же была от древ дубовых и была чудна и зело преудивлена». Церковь эта сгорела в 1160 году, в княжение Андрея Боголюбского, который повелел создать на ее месте новый каменный Успенский собор. Позднейшие летописи (например, Воскресенская и Тверская; обе XVI века) сообщают, что простояла эта церковь 168 лет. Если доверять этим сведениям, то построена она была в 992 году[25].

Заметим, что именно при разборе сгоревшей деревянной церкви и строительстве новой каменной были найдены мощи ростовских епископов Леонтия и Исайи, живших в XI веке. Тогда же началось их церковное прославление как святых покровителей Ростовской земли. И надо сказать, что именно Леонтию — то есть представителю следующего за Ярославом поколения русских людей — суждено было стать подлинным просветителем Ростовского края. Житие свято-

го рассказывает о том, с какими трудностями столкнулся он, поучая людей в христианской вере. В конце концов, язычники «устремились... на святую его главу, помышляя его изгнать и убить»[26]. Епископ Владимиро-Суздальский Симон, один из авторов Патерика Киево-Печерского монастыря, живший в XIII веке, сообщает даже о гибели епископа Леонтия от рук язычников: «Его же невернии много мучивше, бивше, и се третий гражданин (небесный) бысть Русскаго мира... венчася от Христа, его же ради пострада» (или, в других списках: «его же ради убьен бысть»)[27]. Исследователи уже давно предположили, что гибель ростовского епископа могла явиться следствием народного восстания, охватившего Ростовский край около 1071 года (об этом выступлении подробно рассказывает «Повесть временных лет»)[28]. С закоснелым язычеством местных жителей пришлось столкнуться и преемнику Леонтия на ростовской кафедре святителю Исайе, умершему после 1089 года[29]. Но и в XII, и в первой половине XIII века часть жителей Ростова по-прежнему открыто поклонялась языческим богам. Из Жития еще одного ростовского подвижника, преподобного Авраамия, основателя Ростовского Богоявленского монастыря, узнаем о том, что в Ростове, на «Чудском конце» города, стоял идол языческого бога Велеса. По преданию, Авраамий сокрушил его тростью святого Иоанна Богослова и основал на этом месте православную обитель[30].

Княжеская же власть старалась не обострять религиозные противоречия в обществе, выполняя присущую ей роль гаранта социальной стабильности. Верования значительной части населения, прежде всего неславян, по-видимому, вообще оставались вне поля зрения киевских и местных князей, которые заботились лишь о своевременной и полной уплате ими полагавшейся дани. Но как представляется, именно подобные неторопливость и осмотрительность власть предержащих в религиозном вопросе и приводили к тому, что христианство постепенно, но верно «врастало» в русскую почву и с течением столетий сделалось поистине народной религией.

Пожалуй, более или менее определенно мы можем говорить еще об одной стороне деятельности Ярослава в Ростовском крае. Укрепление княжеской власти и княжеского влияния в той или иной области, как правило, сопровождалось ростом новых княжеских городов, принципиально отличавшихся по своему устройству и управлению от старых цент-



Ростов и Ярославль. Схема расположения (по И. В. Дубову).

ров племенных владений. На южных и западных окраинах Киевского государства такие города строил отец Ярослава Владимир, в Северо-Восточной Руси — сам Ярослав.

Предположительно мы можем назвать один такой город, построенный в период ростовского княжения Ярослава. Это Ярославль, названный так по имени самого князя. (Ярославль — притяжательная форма к имени Ярослав, то есть «Ярославов город».) Точное время его основания неизвестно, однако историки отмечают, что Ярославль тесно связан с Ростовом, и именно ростовский князь должен был проявить заинтересованность в построении города. Ярославль расположен при впадении реки Которосль в Волгу, Которосль же вытекает из ростовского озера Неро. Следовательно, построение Ярославля, прежде всего, имело целью охрану пути от Ростова к Волге[31].

Новый город возник далеко не на пустом месте. В древности здесь проходил великий Волжский торговый путь, связывавший страны Северной Европы с Волжской Болгарией и Хазарией, а через них с еще более далекими и богатыми странами арабского Востока. Вблизи нынешнего Ярославля в IX—XI веках существовали крупные поселения, названные археологами по именам близлежащих деревень — Тимерево, Михайловское, Петровское[32]. По крайней мере одно из этих поселений — Михайловское — считают поселением дружинного типа, княжеским «погостом» и сторожевым пунктом на великом Волжском пути; остальные два, скорее всего, представляли собой селения или своего рода «протогорода» со смешанным, мерянским и славянским, населением. Все они угасли в начале XI века, то есть уже по-

сле вероятного времени построения Ярославля и приблизительно тогда же, когда прекратили свое существование Сарское городище под Ростовом, Гнездово вблизи Смоленска, Рюриково городище под Новгородом. Очевидно, все эти поселения не вписывались в новое устройство Русского государства. Княжеский город Ярославль с самого начала возник как центр округи, форпост княжеского влияния в Верхнем Поволжье и взял на себя, помимо прочего, функции охраны торговых путей, проходивших по Волге.

До нас дошло несколько преданий об основании города. Все они, несомненно, имеют позднее происхождение (во всяком случае, сохранились в записях не ранее конца XVIII века) и, как можно догадываться, основываются на двух очевидных фактах — названии города, в котором без труда угадывается имя его основателя, и изображении медведя на городском гербе.

Однажды, рассказывается в одном из таких преданий, князь Ярослав шествовал из Новгорода в Ростов: сначала сушею, а затем, на судах, по реке Волге. Он решил осмотреть здешние места и остановился на берегу Волги, на том месте, где стоит ныне город Ярославль. Место это так понравилось князю, что он повелел устроить здесь город и назвал его своим именем. Тогда же Ярослав поставил и деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла — первую в городе. «И потом шед той великий князь Ярослав в Ростов и прислал всяких мастеров, перевел многих переведенцев жити в нем (Ярославле. — *А. К.*), и тако бысть начало граду Ярославлю». Основанию города предшествовало драматическое событие: во время шествования князя «проливом из Которосли в Волгу» на него напал медведь, «коего с помощью свиты своей (Ярослав) убил; пролив же потом наименовал речкою Медведицею». В память этого события князь якобы и даровал городу герб, изображающий медведя[33].

Ярославский герб с изображением медведя с секирой на плече известен по крайней мере с XVII века[34]. Возможно, на его происхождение повлияло название речки Медведицы, одного из рукавов Которосли (позднейший Медведицкий, а затем Медвежий овраг). Но историки отмечают значительное распространение культа медведя в Верхнем Поволжье с древнейших времен и допускают, что ярославский герб может отражать и какие-то древние, еще дохристианские верования жителей этих областей[35].

Едва ли ярославское предание имеет отношение к реальному Ярославу. Но само представление о схватке князя с неким свирепым зверем в какой-то степени может отражать то

непримиримое противоречие, которое реально существовало между молодой, но набирающей силу княжеской властью и уходящей в глубокое прошлое корнями местной племенной традицией. Первая подминает под себя вторую и в конечном счете побеждает ее. Но хотя, согласно преданию, ярославский медведь и гибнет от руки князя, все же гибель его оказывается далеко не окончательной, ибо он продолжает свое существование в качестве изображения на ярославском гербе — подобно тому, как продолжила свое существование и тысячелетняя традиция славянской (и не только славянской) дохристианской культуры, вплетенная в ткань культуры православной.

Что же касается сцены охоты князя Ярослава на берегах Которосли, то она — при всей очевидной вымышленности повествования — представляется вполне обычной и правдоподобной. Во времена Киевской Руси охота была занятием по преимуществу княжеским. Охотясь в тех или иных лесах, князь как бы обозначал свое присутствие и закреплял свою власть над данной территорией. По-видимому, добыча зверя (тем более такого «хозяина» леса, как медведь) неким таинственным образом превращала самого охотника во владыку тех мест, откуда происходил убитый им зверь. Любопытно, что среди фресок Киевского Софийского собора, созданных при князе Ярославе Владимировиче, сохранились изображения княжеской охоты, в том числе именно на медведя. Одетый в нарядную белую рубаху, окаймленную по вороту и подолу широкой тесьмой, и круглую шлемовидную шапку, всадник поражает копьем ужасного зверя. Всеми своими движениями он удивительно напоминает святого Георгия Победоносца, каким изображают его на иконах. (Напомню, что святой Георгий — небесный покровитель князя Ярослава Мудрого.) Историки высказывают предположение (впрочем, едва ли доказуемое): не изображен ли на этой фреске сам создатель собора князь Ярослав Владимирович?[36]

Еще более красочна другая легенда о начале города Ярославля, которая была записана в XVIII или XIX веке и дошла до нас в виде особого «Сказания о построении града Ярославля». Эта легенда представляет чрезвычайный интерес, поскольку сообщает уникальные сведения о князе Ярославе в период его ростовского княжения, то есть именно в то время, когда никаких других известий о нем не сохранилось. Поэтому остановимся на ней подробнее.

«В те годы, когда великий князь Киевский Владимир просветил землю Русскую светом христианской веры, — начинает свой рассказ автор Сказания, — тогда сей христолю-

бивый князь дал сыновьям своим каждому град во владение; град же великий Ростов с областью передал сыну своему Борису, а после — брату его Ярославу». (Как видим, автор путает очередность княжения первых ростовских князей.) В Ростовской области, «не на мнозе пути от града Ростова, яко на 60 поприщь», на берегах рек Волги и Которосли, находилось «некое место». «И сие место бысть зело пусто» — лишь высокие «древеса» да «травяные пажити» (луга) окружали его. На этом месте находилось селище, называемое «Медвежий угол»; жили в нем «человецы поганыя веры» — злые язычники, которые никому не подчинялись и творили грабежи и кровопролития, а кроме того, занимались охотой и рыбной ловлей и держали у себя множество скота для своего пропитания. Они поклонялись идолу Волосу, «сиречь скотьему богу». Этот Волос, «в нем же бес живя», стоял посреди логовины, называемой Волосовой, из которой по обычаю выгоняли на луга скот. «Сему многокозненному идолу» была сотворена и «кереметь» (святилище) и приставлен особый волхв, который должен был поддерживать неугасимый огонь. Когда приходило время первого выгона скота, волхв закалывал тельца и телицу; в обычное время в жертву приносили диких животных, а в особых, исключительных случаях — и людей. Волхв был весьма почитаем язычниками. Но худо приходилось ему, если возле идола угасал священный огонь: в тот же день волхва отрешали от «керемети»; люди избирали другого служителя Волосу, и тот закалывал прежнего жреца и бросал его труп в пламя.

Так жили они в течение многих лет. Но вот, «в некоем лете», случилось благоверному князю Ярославу плыть на ладьях с сильною и великою ратью по Волге. На правом берегу Волги, неподалеку от селения Медвежий угол, князь увидел, что некие жестокие люди пытаются захватить торговые суда, плывущие по Волге. «Купцы же на суднех сих крепко обороняшеся, но не возможе одолети силу окаянных», так что разбойники уже предавали их корабли огню. Увидев все это, князь Ярослав приказал своей дружине устрашить и прогнать беззаконных, чтобы спасти невинных. И храбро приступила дружина княжеская на врагов, так что те в великом страхе устремились прочь. Княжеское войско и сам князь Ярослав погнались вслед за ними и, благодаря молитвам, догнали окаянных у того места, где «некое сточие водно» (то есть речка Медведица) впадает в реку Которосль. За речкой этой и находилось упомянутое селение Медвежий угол. Князь поучил людей тех, «како жити и обиды не творити никому же», а более всего молил их оставить богомерз-

кую свою веру и креститься. «И люди сии клятвою у Волоса обещали князю жить в согласии и оброки ему давать», только не хотели креститься. После этого Ярослав возвратился в свой престольный город Ростов.

Спустя некоторое время князь снова решил отправиться в Медвежий угол. На этот раз он явился с епископом, пресвитерами и диаконами, а также с мастерами и воинами. Однако когда он входил в «селище», жители выпустили из «клети» «некоего люта зверя и псов», дабы те растерзали князя и бывших с ним людей. «Но Господь сохранил благоверного князя; секирою своей он победил зверя, а псы, яко агнцы, не прикоснулись ни к кому из них». Ужаснувшись этому, безбожные и злые язычники пали ниц перед князем и «быша аки мертвы». Благоверный же князь возгласил людям тем мощным гласом: «Кто вы? Не те ли люди, кои клятвою уверяли пред вашим Волосом верно служить мне, князю вашему? Какой же он бог, если клятву, пред ним сотворенную, сами преступили и попрали? Но знайте, что я не на потеху звериную и не на пир многоценного пития испить пришел, но победу сотворить!» И слыша всё то, не могли люди ни единого слова вымолвить в ответ.

На следующий день князь Ярослав вынес из своего шатра икону Божьей Матери с Младенцем и отправился с епископом, и с пресвитерами, и со всем священническим чином, и с мастерами, и с воинами на берег Волги, на остров, образуемый самой Волгой, Которослью и упомянутым выше «проточием водным». Здесь, на «уготованном месте», сам князь водрузил деревянный крест и положил основание храму святого пророка Илии. Посвятил же Ярослав храм сему святому потому, что именно в день его памяти (отмечаемый 20 июля) победил «хищного и лютого зверя». «Затем христолюбивый князь повелел народу рубить древеса и очищать место, на котором умыслил создать град. И так начали делатели строить церковь святого пророка Илии и град созидать». Князь назвал город в свое имя — Ярославлем, и населил его христианами, а в церкви поставил священников, диаконов и прочих церковных служителей.

Однако на этом Сказание еще не заканчивается. Оказывается, что когда возник город Ярославль, «насельники» Медвежьего угла продолжали жить отдельно и по-прежнему поклонялись идолу Волоса. Однажды в той области случилась великая засуха. Опечаленные люди обратились со слезными молитвами к Волосу, чтобы тот послал дождь на землю. В это время мимо «керемети» Волосовой проходил некий священник Ильинской церкви. Услыхав плач и возды-

хания, он стал говорить людям, что негоже им молиться бездушному истукану, но лучше вознести молитву истинному Богу. Когда люди пришли в город, благочестивый пресвитер повелел им стать вне церкви, а сам вместе со всем священническим чином воззвал к Господу, Пречистой Его Матери и святому пророку Илии. Люди же пообещали креститься, если в тот день дождь прольется на землю. И в ту же минуту на небе появилась грозовая туча, и начался дождь. Пораженные чудом люди восславили Бога, а кумир Волоса и все святилище его предали поруганию, разрушению и огню. После этого жители Медвежьего угла с радостью отправились к Волге, где и приняли, наконец, святое крещение.

На месте же, где стояла «кереметь Волосова», начались многие «страхования»: то раздавалось звучание «сопелей» и гуслей, какое-то непонятное пение, то виднелось некое «плясание»; скот, когда его пасли вблизи Волосовой логовины, оказывался подвержен необычайной худобе и недугу. Люди полагали, что так проявляется гнев их старого бога, превратившегося в беса, и жаловались священнику. Тот дал совет: поставить на месте прежнего святилища церковь во имя святого Власия, епископа Севастийского. (Святой Власий в представлениях людей древней Руси как бы «замещал» языческого бога Волоса — и по созвучию имен, и по «совмещению» функций: оба почитались как покровители домашнего скота.) И действительно, когда храм был поставлен и освящен, бес перестал творить «страхования» и портить на пажитях скот, и люди восприняли это как зримое чудо угодника Божия.

«Так построися град Ярославль и создася сия церковь великаго угодника Божия Власия, епископа Севастийскаго», — завершает автор Сказания свой рассказ[37].

Кажется очевидным, что в Сказании соединились два предания, или, лучше сказать, два сюжета — об основании двух ярославских церквей: Ильинской и Власьевской. (Напомню, что еще одно предание, которое мы приводили выше, связывает основание города с церковью святых Петра и Павла.) Подобные предания, как правило, возникают среди клира того или иного храма и обычно значительно удревняют его историю. Но ярославское Сказание по своему содержанию далеко выходит за рамки обычных церковных преданий. Попробуем разобраться, в какой степени оно основано на местных легендах, а в какой представляет собой чисто книжный продукт творчества позднейшего историописателя.

«Сказание о построении града Ярославля» было опубликовано в 1877 году священником ярославской Власьевской

церкви Алексеем Николаевичем Лебедевым, который сообщил, что обнаружил его в «одной старинной рукописи», среди рукописных записок архиепископа Ростовского Самуила Мислявского, занимавшего ростовскую кафедру в 1776—1783 годах[38]. Известно, что архиепископ Самуил действительно собирал сведения по истории ярославских церквей и вообще проявлял большой интерес к ярославской старине. По запросу ярославского наместника А. П. Мельгунова он подал особую записку «Церкви города Ярославля в 1781 году», где имеются сведения и об Ильинской, и о Власьевской церквях; однако никаких свидетельств знакомства Самуила со Сказанием о Ярославле не обнаружено[39].

Столь же очевидно, что Сказание в том виде, в каком его опубликовал А. Н. Лебедев, не может считаться древним памятником. Язык его однозначно свидетельствует о том, что оно было записано не ранее конца XVIII — начала XIX века, причем автор тщательно, хотя и не слишком умело, *подделывался* под древний язык[40]. Историк и археолог Николай Николаевич Воронин, которому принадлежит наиболее обстоятельное исследование ярославского Сказания, сделал еще одно наблюдение: в 1876 году тот же А. Н. Лебедев опубликовал «Сказание о построении Вознесенской церкви в Ярославле» (рассказывающее о событиях XVI века); язык этого сочинения «совершенно тождественен» языку «Сказания о построении града Ярославля», и нет никаких сомнений в том, что оба памятника вышли из-под пера одного и того же автора. По словам Лебедева, «Сказание о построении Вознесенской церкви» также извлечено им из рукописных «Записок» архиепископа Самуила[41]. Следовательно, возникает вполне естественное подозрение: не являются ли оба памятника сочинениями самого Самуила или же Алексея Лебедева? Сам Н. Н. Воронин склонялся к тому, что запись легенды, действительно, принадлежит архиепископу Самуилу Мислявскому, однако последний имел под рукой подлинное древнее сказание, основанное на местных народных преданиях о построении города Ярославля и отразившее реальные события, происходившие в Ярославской области в первой половине XI века[42]. Последующие исследователи также достаточно высоко оценивали информативность и историческую ценность этого памятника, игнорируя наблюдения Н. Н. Воронина и принимая лишь его окончательный вывод[43]. А между тем кажется очень вероятным, что перед нами предание не просто очень позднего, но чисто книжного происхождения.

В его основе, несомненно, лежит уже известная нам ле-

генда об убиении Ярославом медведя, навеянная, скорее всего, ярославским гербом. На эту легенду наслоились предания о построении двух ярославских церквей — Ильинской и Власьевской, может быть, в противовес той версии, которая объявляла древнейшей ярославской церковью Петропавловский собор. Причем первое предание составляет основную часть всего Сказания, в то время как второе — о построении Власьевской церкви (напомним, той самой, в которой служил А. Н. Лебедев) — присоединено к нему, по-видимому, чисто механически. Наверное, можно назвать и возможные книжные источники ярославского сказания — это Житие преподобного Авраамия Ростовского (в одной из поздних редакций) и «Повесть о водворении христианства в Муроме».

Некоторые следы существования предания об основании князем Ярославом Ильинской церкви обнаруживаются в литературных памятниках начала XIX века. Так, в статье, опубликованной под именем некоего М. А. Ленивцева в 1827 году, приводится местное ярославское предание, имеющее очевидные черты сходства со «Сказанием о построении града Ярославля». Согласно этому преданию, князь Ярослав во время своего ростовского княжения «для потехи выезжал с охотниками ростовцами и со своими боярами на звериную ловлю». В дремучем лесу при берегу Волжском, перейдя рукав, протекающий из реки Которосли в реку Волгу (то есть речку Медведицу), он встретился с «превеликою медведицею», с которой вступил в охотничий бой и убил ее. Осмотрев окрестности, продолжает Ленивцев, Ярослав повелел рубить лес и расчищать место для будущего города. Потом, «на Ильин день», он опять прибыл на то же место. Князь захватил с собой из Ростова «всяких мастеровых людей» и из порубленного заранее леса заложил рубленый город. На месте же убитого им зверя из того же леса князь заложил и церковь во имя святого пророка Илии[44].

Налицо два ключевых момента ярославского Сказания: двукратное посещение Ярославом места будущего города (во второй раз — на Ильин день) и основание вместе с городом Ильинской церкви, срубленной «из того же леса» мастерами-ростовцами. Очевидно, что М. А. Ленивцев не знал Сказания в том виде, в котором оно сохранилось в публикации А. Н. Лебедева: иначе он не преминул бы ввести в свой рассказ колоритное название «Медвежий угол» и зловещие подробности о культе Волоса. Но не означает ли это, что текст, записанный М. А. Ленивцевым, отражает более раннюю версию легенды? Если это так, то «Сказание о построении града Ярославля», скорее всего, возникло позднее.

Исследователи отметили черты сходства с ярославским Сказанием еще одного произведения начала XIX века — драмы писателя Павла Юрьевича Львова «Великий князь Ярослав I на брегах Волги. Повесть о построении города Ярославля», опубликованной в Москве в 1820 году под впечатлением посещения автором Ярославля за два года до этого[45]. В повести Львова также сообщается о единоборстве Ярослава с «ужасным медведем», а кроме того (на что исследователи обращают особое внимание), говорится о культе «Волоса». Но Львов прямо называет свои источники: в частности, сведения о Волосе он заимствовал из Жития преподобного Авраамия Ростовского[46]; кроме того, он использовал «Ядро российской истории» А. И. Манкиева, «Историю» В. Н. Татищева, «Географический словарь» Аф. Щекатова (переиздание «Словаря» Л. М. Максимовича) и другие сочинения. «Сказание о построении города Ярославля» в число этих источников не входило. В драме Львова при желании можно найти некоторые (не бесспорные) текстуальные параллели к ярославскому Сказанию. Так, медведь назван здесь «зверем лютым», сообщается о животных, «на пажитях пасомых». Если все же говорить о текстуальной зависимости одного произведения от другого, то, в свете вышесказанного, скорее можно предположить, что повесть Львова повлияла на Сказание, чем наоборот. Это также ведет к выводу о том, что Сказание появилось на свет заведомо после смерти архиепископа Самуила Мирославского, то есть является подделкой.

Итак, скорее всего, пользоваться данными Сказания нельзя. Красивая легенда, столь ярко высвечивающая для нас ростовского князя Ярослава — бесстрашного победителя медведя, мудрого и благородного правителя, покровителя слабых и покорителя злых и жестоких, ревнителя законов и христианской веры, — оказывается не более чем мистификацией. Но вместе с тем некоторые черты Сказания (и других легенд о Ярославле), по-видимому, более или менее верно отражают начальную историю этого города, ставшего уже в XI веке главным центром всего Верхнего Поволжья. Жители этих мест, действительно, очень долго держались старых языческих верований. В 70-е годы XI века именно Ярославль станет центром большого восстания, охватившего и Белоозеро, и Ростов, и другие города Северо-Восточной Руси (именно в связи с этим восстанием Ярославль в первый раз и упоминается на страницах «Повести временных лет»). Правдоподобна, как мы говорили выше, и изначальная связь Ярославля с Ростовом, стольным городом Ярославова княжения.

Вполне возможно, что именно ростовцами заселялся новый княжеский город на Волге, противостоявший старым мерянским поселениям (прежде всего Тимеревскому) так же, как противостоял Сарскому городищу сам Ростов.

Наверное, в годы своего ростовского княжения Ярослав неоднократно посещал Киев и в той или иной степени принимал участие в решении общерусских дел. Источники лишь один раз упоминают о коллективном участии сыновей Владимира в управлении страной. В так называемом Церковном уставе князя Владимира (позднейшем памятнике, в основе которого, вероятно, лежит подлинная грамота, данная князем Киевской Десятинной церкви Пресвятой Богородицы) читаем: «И сгадав аз с своею княгиною Анною и с своими детми, дал есмь (суды церковные. — *А. К.*) Святой Богородици и митрополиту и всем епископом»[47]. Можно предположить, что установление церковной десятины и церковных судов было не единственным поводом для обращения Владимира к авторитету всего княжеского семейства. Вероятно, он и в других случаях принимал важные решения, лишь посовещавшись («сгадав») со своими сыновьями.

Общегосударственным делом в годы княжения Владимира стала война с печенегами, продолжавшаяся в течение всех 90-х годов X века и первых десятилетий следующего. К борьбе с кочевниками Владимир привлек все население страны. В эти годы он основывает несколько крепостей на южных границах Руси и населяет их «лучшими мужами» «от словен (новгородских. — *А. К.*), и от кривичей, и от чуди, и от вятичей»[48]. Мерян в этом перечне нет. Трудно сказать, объясняется ли это удаленностью Ростовской земли от Киева или какими-то иными обстоятельствами. Возможно, Ярослав намеренно отстранялся от участия в печенежских войнах, стремясь в первую очередь обеспечить покой и стабильность в своих собственных владениях, и отец не препятствовал ему в этом.

События, происходившие в Киеве в годы ростовского княжения Ярослава, несомненно, имели к нему самое прямое отношение. Он узнавал о них с некоторым запозданием, поскольку дороги в те времена были труднопроходимыми и гонцы не скоро могли преодолеть расстояние, разделявшее Киев и Ростов.

Известие о смерти Рогнеды должно было сильно опечалить ростовского князя. Как мы знаем, Ярослав оставался

при матери дольше своих братьев и, скорее всего, был очень привязан к ней.

Спустя год скончался Изяслав, старший брат Ярослава, также Рогнедин сын. Его смерть, напротив, никак не могла повлиять на судьбу Ярослава. Ведь отец обособил Изяслава от остальных сыновей, выделив ему Полоцк. Изяславу наследовал его малолетний сын Всеслав, а затем другой сын Брячислав. Возможно, Ярослав не одобрял отцовского решения и смотрел на Полоцк как на свою «дедину», на которую имел прав не меньше, чем Изяславичи. Но поделать ничего он, конечно, не мог.

Зато смерть Вышеслава, старшего из Владимировичей, стала еще одним поворотным событием в его жизни. Как мы уже знаем, Ярослав получил удел Вышеслава — Новгород. К этому времени он не был старшим из сыновей Владимира — таковым признавался княживший в Турове Святополк, усыновленный киевским князем и получивший все права его прирожденных сыновей. Летописи рассказывают о неприязни, которую Владимир будто бы испытывал к своему пасынку. Но проявилась она, кажется, лишь в последние годы жизни Владимира. Мы не знаем, почему киевский князь после смерти своего первенца оставил Святополка в Турове. Возможно, Святополк сам не горел желанием покидать свой город; возможно, Владимир имел какие-то планы относительно будущего своего приемного сына (так, около 1013 года он женил Святополка на дочери польского князя Болеслава). Во всяком случае, перевод ростовского князя в Новгород свидетельствовал о добром отношении Владимира к Ярославу. Вероятно, и Ярослав проявлял себя в эти годы послушным сыном, полностью покорным отцовской воле.

Будущие события, однако, показали, что такое его поведение было далеко не искренним.

Глава третья

НОВГОРОД. МЯТЕЖ

Перевод Ярослава в Новгород лишний раз подтвердил полноту отцовской власти над ним. Сыновья Владимира являлись хозяевами в своих владениях — но лишь постольку, поскольку отец признавал их таковыми. Это было в порядке вещей: князей связывали не столько межкняжеские, сколько внутрисемейные отношения. Ярослав не мог не подчиниться отцу. Но, помимо прочего, выбор Владимира должен был вполне устраивать его: Новгород стоял выше в своеобразной иерархии русских городов, нежели Ростов. Когда-то в Новгороде княжил сам Владимир, еще прежде — его отец Святослав, а совсем уж в давние времена — и Рюрик, легендарный предок всех русских князей. Именно из Новгорода пришел в Киев «вещий» Олег, державший на руках младенца Игоря, прадеда Ярослава.

Во времена Рюрика новгородским князьям подчинялась и Мерянская земля, а в Ростове сидел ставленник новгородского князя. Впоследствии зависимость Ростова от Новгорода исчезла, сменившись зависимостью правителей обоих городов от киевского князя. Как сам Ярослав не подчинялся своему старшему брату Вышеславу, так и сменивший его на ростовском княжении Борис правил здесь независимо от ставшего новгородским князем Ярослава. Это обстоятельство, возможно, вызывало некоторые сожаления со стороны последнего, затратившего немало сил на укрепление и под-

---

На рис. — новгородская печать князя Ярослава Владимировича. Лицевая сторона с изображением князя.

чинение себе Ростовской земли. Как мы увидим, Ярослава и позднее будут связывать с Ростовом и ростовскими боярами нити приязни и взаимной поддержки.

В предыдущей главе мы согласились датировать смерть Вышеслава (условно!) 1010 годом. Предположительно в том же или в следующем году Ярослав отправился в Новгород. Наверное, по дороге он должен был заехать в Киев, чтобы получить отцовское благословение и распоряжения по устройству новгородских дел. Что и говорить, крюк немалый, более чем вдвое увеличивший продолжительность пути.

В те времена путешествовали в основном зимой или летом. И в том, и в другом случае дорогой служили русла рек — летом по ним плыли на челнах, зимой по замерзшему льду путешествовали верхом или в санях. Дорога требовала неослабного внимания, ибо и сами реки, и их поросшие лесом берега таили немало опасностей. В пути проводили недели и месяцы, полные напряженного труда, а иногда и ратных подвигов. Даже в XII веке русские князья ставили себе в заслугу, помимо военных походов, далекие и опасные путешествия. Дорога давала время и для раздумий, позволяла поразмыслить о том, что человек оставлял за спиною и что ожидало его впереди.

Мы не знаем, сколько времени Ярослав провел в Киеве, где ему, вероятно, пришлось дожидаться установления нового (санного или речного) пути. Если он задержался здесь надолго (а это не исключено), то мог застать печальное событие — смерть и похороны «царицы» Анны, супруги князя Владимира; краткая летописная запись датирует ее кончину 1011 годом. Возможно также, что это известие стало одним из первых, полученных Ярославом уже в Новгороде.

Ярослав вряд ли испытывал добрые чувства по отношению к женщине, сыгравшей роковую роль в судьбе его матери. Сын Рогнеды, он не забыл ее унизительного разрыва с Владимиром и нарочитого пострижения в монахини, а потому не мог искренне скорбеть о мачехе. Одно обстоятельство, пожалуй, должно было даже радовать его: за годы своего замужества Анна, кажется, так и не принесла Владимиру сыновей. Источники позволяют говорить лишь о ее дочерях, а может быть, даже об одной дочери — Марии-Добронеге, ставшей впоследствии супругой польского князя Казимира I. (Предполагают также, что еще одной дочерью Анны была Феофана, будущая супруга новгородского посадника Остромира, с которым судьба тесно свяжет самого Ярослава, а затем и его сына Изяслава; впрочем, о судьбе обеих женщин мы поговорим позже.)

Из Киева Ярослав должен был отправиться по самому знаменитому и самому оживленному русскому торговому пути того времени — «из Варяг в Греки» (точнее, из «Грек» в «Варяги»): вверх по Днепру, а затем через систему волоков до Ловати и далее по реке Ловать до «великого озера» Ильмень; из этого озера вытекал Волхов, на котором стоял Новгород. В отличие от Владимира, некогда проделавшего тот же путь ребенком, Ярослав плыл в Новгород зрелым, едва ли не тридцатилетним человеком. Не исключено, что он бывал в Новгороде и раньше. Но теперь он ехал туда как князь, ехал править своей землей. Он имел уже достаточный опыт, чтобы оценить преимущества своего нового княжения, не просто удаленного от Киева и других центров Руси (столь же удалена была и Ростовская земля), но способного противостоять им, сильного и экономически, и политически, как бы «нависающего» над ними. Новгородская земля — своего рода ключ ко всей Руси. Предшествующая история не раз подтверждала это.

Правитель Новгорода, конечно, должен был подчиняться киевскому князю (тем более, если этот князь приходился ему отцом). В Киев из Новгорода шла ежегодная и весьма значительная дань, размер которой определялся в две тысячи гривен. Новгородские воины — как, впрочем, и представители всей остальной Руси — принимали участие в войнах, которые вел Владимир. В первое десятилетие после крещения Владимир и сам наведывался в Новгород и, вероятно, принимал непосредственное участие в управлении городом. Но в последние годы жизни он, кажется, отказался от каких бы то ни было поездок и предпочитал жить в своем сельце Берестовом под Киевом. При условии своевременной уплаты дани новгородский князь мог действовать совершенно самостоятельно в своем городе и тяготеющих к нему областях.

При этом тысяча гривен (треть всей новгородской дани) новгородский князь по обычаю тратил на себя лично и на свою дружину. Это было вдвое меньше того, что он отчислял в Киев, но и тысяча гривен составляла весьма значительную сумму по тем временам, едва ли доступную для ростовского князя, каким был Ярослав в недавнем прошлом. Дружина, которую мог содержать правитель Новгорода, уступала по численности разве что киевской.

Новгородские князья вели вполне самостоятельную внешнюю политику. Исторически им подчинялись соседние земли, население которых составляли как славянские племена (ильменские словене, часть кривичей), так и инородцы, финно-угры (чудь, весь, часть мери). Новгород был тес-

но связан со всей Прибалтикой и Скандинавией — «Варяжскими» землями. По договору, заключенному еще «вещим» Олегом, город уплачивал варягам ежегодную дань в размере 300 гривен — «мира для». «И давали (дань) варягам до смерти Ярославовой», — особо оговаривает летописец[1].

Между прочим, это свидетельство остается не вполне ясным. Платил дань, несомненно, весь Новгород. Но кто был получателем дани? Под «варягами», упомянутыми летописцем[2], вряд ли может пониматься какое-то конкретное государственное образование (скажем, раннешведское государство). По-видимому, Олег установил дань именно в пользу варяжской (главным образом, скандинавской) дружины. Ее состав постоянно менялся; на смену погибшим или убывшим приходили новые воины-наемники; одно поколение сменялось другим. Но вновь прибывшие могли рассчитывать на строго оговоренное вознаграждение; в свою очередь, новгородцы, выплачивая «варяжскую» дань, могли рассчитывать на присутствие в их городе хорошо организованного отряда воинов-профессионалов. Годовая плата дружинника-скандинава составляла приблизительно гривну в год (это подтверждается как древнерусскими, так и скандинавскими источниками)[3]. Получается, что постоянная варяжская дружина в Новгороде насчитывала до трехсот человек — это, заметим, весьма внушительная для того времени цифра. Другое дело, что присутствие такого отряда чужаков порой оказывалось вовсе не желательным и, как мы увидим из последующего повествования, могло вызывать жестокие конфликты в городе.

Согласно свидетельству скандинавских саг, новгородские князья, в свою очередь, собирали дань с населения Восточной Прибалтики и, вероятно, Карелии. Характерную зарисовку того, как именно происходил сбор дани в то время, оставил нам автор Саги об Олаве Трюггвасоне, знаменитом норвежском короле, который свои детские годы провел в «Хольмгарде» (Новгороде), при дворе «конунга Вальдамара» (отца Ярослава князя Владимира), а еще прежде того побывал в плену у эстов на острове Эйсюслу (нынешний Сааремаа); его хозяин, местный землевладелец («бонд»), сильно привязался к мальчику и воспитывал его как собственного сына. В то время на службе у «конунга Вальдамара» находился норвежец Сигурд, приходившийся Олаву дядей по материнской линии: он «был в такой великой чести у конунга, что... получил от него большое имение и большой лен*, и

---

* Здесь, очевидно, имеется в виду право на сбор дани с определенной территории.

поставил он его ведать дела конунга и собирать дань конунга по всем волостям». Однажды случилось так, что Сигурд приехал за данью в то самое селение, где жил Олав. «Сигурд въехал в то селение с большой дружиной и подобающими ему спутниками». Бонд Эрес, хозяин Олава, «хорошо приветствовал Сигурда, потому что он должен был собрать земские дани с тех волостей и с каждого дома и наблюдать, чтобы все было правильно уплачено». Только тогда, когда дела были улажены, Сигурд заговорил с Эресом о выкупе Олава, которого он узнал и признал своим племянником. С большим трудом ему удалось уговорить эста продать мальчика, уплатив 9 марок золота — вдевятеро больше, чем за обычного невольника его возраста[4]. Впоследствии, по рассказу той же саги, и сам Олав подчинил власти «конунга Хольмгарда» некоторые «города и волости», ранее отнятые у него некими «язычниками», «присвоившими себе его владения и честь». «И много иноземных народов подчинил он власти Вальдамара конунга... Так ходил он каждое лето в поход и совершил много славных дел, а по зимам был у Вальдамара конунга»[5].

Разумеется, рассказ саги, записанной в конце XII века в далекой Исландии, имеет лишь отдаленное отношение к новгородским и вообще русским реалиям, отражая самые общие представления скандинавского сказителя о служении героя саги некоему могущественному правителю. Однако у нас нет оснований не доверять свидетельству скандинавского источника о сборе дани в пользу «конунга Хольмгарда» в землях эстов и других соседей Руси[6]. (Ведь Олав, в конце концов, попал-таки в Новгород, а этого, по-видимому, не могло произойти, не окажись в месте его пребывания Сигурд или кто-либо другой из наемников-скандинавов из Хольмгарда.) Впрочем, сам факт сбора дани в те времена вовсе не означал присоединения той или иной области: дань платили, прежде всего, чтобы обезопасить себя от нападения. Нередко она носила эпизодический и притом скорее ритуальный, нежели реально-экономический характер. Надо сказать, что и во времена отца Ярослава князя Владимира Святославича (а именно о них повествует Сага об Олаве Трюггвасоне), и позднее, во времена самого Ярослава, в Восточной Прибалтике хозяйничали прежде всего скандинавы — и отнюдь не всегда представлявшие интересы «конунга Хольмгарда» или правителей каких-либо других государственных образований. По большей части эти искатели приключений и военной добычи действовали на свой страх и риск. Надолго удержать эти земли хотя бы в номинальной

зависимости от Новгорода едва ли представлялось возможным. Но правители Руси никогда не теряли к ним интереса, ибо Восточная Прибалтика представляла собой своего рода северные врата великого торгового пути, шедшего из Северной Европы в Византию и страны Востока, и обладание ею таило немало выгод. Впоследствии, когда Ярослав станет киевским князем и начнет проводить жесткую линию на подчинение Восточной Прибалтики Руси, он, несомненно, будет учитывать предшествующий опыт сбора дани в этих землях правителями Новгорода.

Новгородский этап жизни Ярослава почти так же беден на источники, как и предшествующий ростовский. Исключение составляют лишь последние годы его пребывания в Новгороде, когда Ярослав открыто выступит против отца, а после смерти последнего начнет войну со своим нареченным братом Святополком. Все, что происходило до этого, покрыто мглою неведения, и нам, к сожалению, вновь приходится довольствоваться лишь самыми общими соображениями, касающимися как Новгорода в целом, так и жизни самого Ярослава.

Начальная история Новгорода не менее загадочна, чем начальная история Ростова. Так, до сих пор не найдено удовлетворительного объяснения самому названию города: по отношению к какому своему предшественнику он мог быть назван «новым»? Согласно «Повести временных лет» и другим авторитетным источникам, Новгород, несомненно, существовал в IX веке, однако археологически его история прослеживается лишь с первой половины — середины X столетия[7]. При этом летопись сохранила две противоречащие друг другу версии основания города: согласно одной из них, начало Новгороду положил князь Рюрик: «И пришел к Ильменю, и срубил городок над Волховом, и прозвал: Новгород»[8]. По-другому, Новгород был основан славянами еще до призвания варягов: «Словене же сидели около озера Ильмень, и построили град, и нарекли его Новгород»[9].

По-видимому, некоторые из этих загадок могут быть прояснены, если мы примем высказывавшееся и ранее предположение, согласно которому Новгородом первоначально называлось так называемое Городище, находящееся в двух километрах от города, у самых истоков реки Волхов из озера Ильмень. (В XIX веке городище получило в исторической и краеведческой литературе не вполне корректное, но верное по существу название Рюриково Городище.) Как

установлено современными археологами, именно оно служило местом пребывания князя и княжеской дружины до начала XI века*, то есть до времени утверждения в Новгороде князя Ярослава Владимировича[10]. Хорошо укрепленное поселение господствовало над округой по крайней мере с IX века. Оно носило ярко выраженный дружинный характер, причем выявлено несомненное присутствие здесь воинов-скандинавов. По всей видимости, первоначально Городище представляло собой факторию или сторожевой пункт на северном отрезке великого торгового пути «в Греки» и восточные страны. Здесь же обосновались и варяжские правители Новгородской земли, а затем, надо полагать, и представители киевской княжеской администрации[11].

Ярослав, по-видимому, оказался первым новгородским князем, который перенес свою резиденцию из Городища непосредственно в Новгород, или, точнее, в то поселение, которое существовало на месте современного города на Волхове. К началу XI века оно также представляло собой уже весьма значительный центр — прежде всего потому, что именно здесь находился новгородский Торг (название которого, кстати, в славянской форме сохранилось в скандинавских сагах). Во всяком случае, Ярослав стал первым из князей, чье имя осталось в микротопонимике Новгорода.

Ярослав поселился на правой, «Торговой», стороне Волхова; здесь поставил он свой двор, ставший местом пребывания последующих новгородских князей и получивший название «Ярославово дворище», сохранившееся до наших дней. «...Жил великий князь Ярослав на Торговой стороне, близ реки Волхова, — писал позднейший новгородский летописец, — где ныне церковь каменная Николая Чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище»[12]. Это не самое удобное для проживания место в городе, но, вероятно, к началу XI века оно оставалось свободным от плотной застройки, а потому и было выбрано князем.

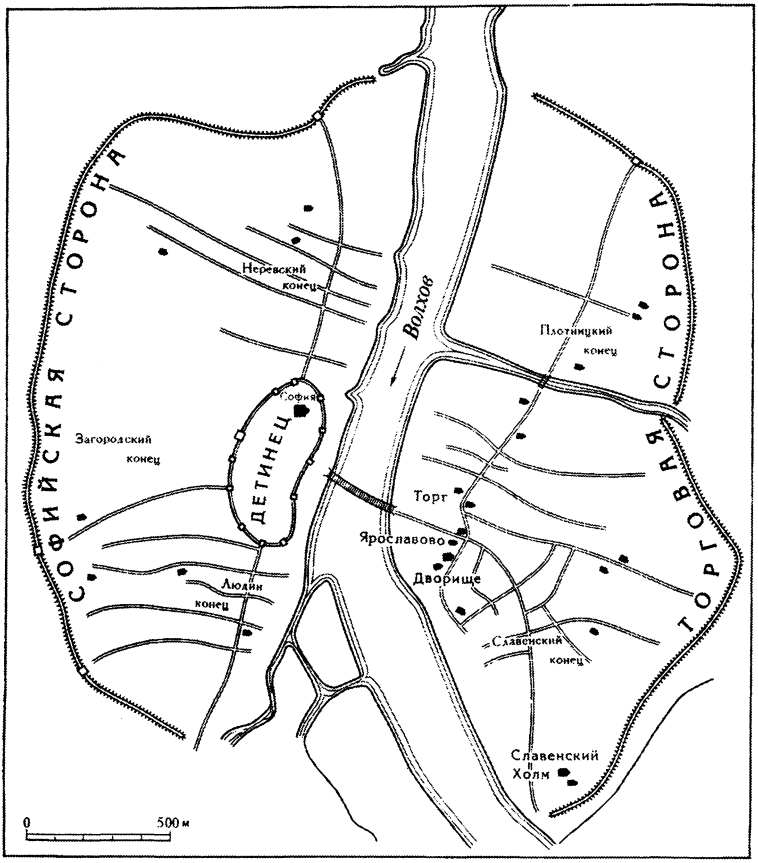
Как свидетельствуют данные археологических исследований, «Ярославов двор» выглядел отнюдь не неприступным княжеским замком. Кажется, он не был даже защищен какими-либо особыми укреплениями и по виду мало чем отличался от соседних дворов местных новгородских бояр[13]. Да и в последующие века «Ярославово дворище» оставалось вне стен новгородской крепости («детинца»), который возник на противоположной, «Софийской», стороне Волхова. Это от-

* В XII веке Городище вновь становится местом пребывания новгородских князей.

личало Новгород от большинства других русских городов. Впрочем, у Ярослава имелась еще одна, загородная резиденция, в которой он проводил значительную часть времени. Она располагалась в сельце Ракома, к югу от Новгорода.

Трудно сказать, насколько добрые отношения сложились у Ярослава с местной новгородской аристократией. С одной стороны, в конфликте с Владимиром и последующих войнах новгородцы, несомненно, будут поддерживать своего князя, выступившего выразителем их кровных интересов и их горячей заинтересованности в высвобождении из-под опеки и экономического гнета Киева. С другой же стороны, мы столкнемся и с явными проявлениями враждебности Ярослава по отношению к новгородским «мужам», и с неприязнью последних к своему князю. Это может объясняться различными причинами — как излишней властностью новгородского князя, так и особыми традициями Новгорода, в управлении которым значительную роль играло вече, а кроме того, вероятно, уже в те времена, епископ, глава местной церковной организации, и тысяцкий, стоявший во главе городского ополчения — «тысячи».

Первую из названных должностей во времена Ярослава занимал человек далеко не заурядный. Достаточно сказать, что епископ Иоаким Корсунянин бессменно возглавлял Новгородскую церковь в течение первых сорока двух лет ее существования. Он был поставлен на кафедру, вероятно, в 989 или 990 году и пребывал на ней вплоть до своей смерти в 1030 году[14]. Епископ Иоаким, по-видимому, с самого начала — то есть еще до появления здесь Ярослава — пренебрег Городищем и избрал для своего поселения небольшой, естественно защищенный островок на «Софийской» стороне Новгорода, образованный двумя рукавами впадающего в Волхов ручья. Помимо собственных хором владыки, здесь был поставлен храм святых Иоакима и Анны, который позднейшие новгородские летописи называют первым каменным храмом Новгорода. Владычный двор имел укрепления; как полагают исследователи, именно они стали ядром будущих укреплений всего Новгорода[15]. Здесь же, вблизи владычного двора, находился деревянный собор Святой Софии. Новгородские летописцы восторженно отзываются о нем как о «честно устроенной и украшенной» церкви, имевшей 13 «верхов», то есть глав[16]. Эта деревянная церковь, сгоревшая в 40-е годы XI века, явилась предшественницей будущего каменного Софийского собора, которому суждено было на века стать символом и олицетворением средневекового Новгорода.



План Новгорода (по Б. А. Колчину).

Грек Иоаким прибыл на Русь в свите князя Владимира Святославича после победоносного завершения корсунского похода. Владимир, несомненно, хорошо знал его. Тесные, скорее всего дружеские, узы не могли не связывать епископа Иоакима с другим знаменитым корсунянином — Анастасом «Десятинным», одним из ближайших сподвижников князя Владимира и вероятным настоятелем Киевской Десятинной церкви. В свою очередь, Анастас Корсунянин пользовался, по-видимому, безграничным доверием Владимира Святославича: именно ему князь поручил церковную десятину. В ведении Анастаса находились как сбор десятой части всего княжеского «имения», так и распределение средств

по киевским и прочим русским церквам и епископиям. Скорее всего, Анастас был приставлен и к сокровищнице Владимира: во всяком случае, мы увидим его в качестве блюстителя княжеского добра в событиях 1018 года, когда Анастас перейдет на службу к захватившему Киев польскому князю Болеславу.

Возможно, что Иоаким и Анастас переписывались друг с другом. А если так, то новгородский епископ имел прямой доступ к одному из самых могущественных людей того времени. Каждый шаг Ярослава в Новгороде становился известен в Киеве и Берестовом и мог истолковываться в нужном для Иоакима свете.

Одним из наиболее влиятельных новгородских бояр при князе Ярославе Владимировиче был Константин Добрынич (или Коснятин, как называют его летописцы) — сын знаменитого Добрыни, дяди и «кормильца» Владимира, некогда руководившего едва ли не каждым шагом своего питомца. Владимир отправил Добрыню в Новгород вскоре после своего вокняжения в Киеве в 978 году. Если учесть, что Добрыня и до этого, в годы княжения в Новгороде малолетнего Владимира, по существу единолично управлял городом, то не трудно понять, каким авторитетом пользовались здесь и он сам, и, впоследствии, его сын.

Когда Добрыня умер, неизвестно. Летописи в последний раз упоминают о нем в связи с крещением Новгорода и Ростовской земли в начале 90-х годов X века[17]. Если Добрыня был жив во время княжения в Новгороде старшего сына Владимира Вышеслава, то, вероятно, он выполнял при нем роль «кормильца» и наставника, как некогда при его отце Владимире. Но при Ярославе его, кажется, уже не было в живых. После своего ухода в Киев в 1016 году Ярослав посадит на посадничество его сына Константина[18]. Очевидно, что и в предыдущие годы Константин играл в городе весьма заметную роль. В том, что это был человек решительный и волевой, умевший настоять на своем, нам еще предстоит убедиться. Помимо всего прочего, Константин приходился Ярославу двоюродным дядей по отцовской линии, а значит, мог смотреть на него едва ли не как на младшего или, по крайней мере, равного себе. Вероятно, такое отношение сильно раздражало Ярослава; впоследствии неприязнь выплеснется наружу, и дело закончится трагической развязкой.

О составе двора самого Ярослава нам сказать практически нечего. Мы уже упоминали имя «кормильца» князя — некоего Буды. В отличие от Константина Добрынича он был предан лично новгородскому князю, и Ярослав вполне мог

положиться на его верность. Но Буды едва ли принадлежал к числу людей талантливых или, по крайней мере, удачливых во всех своих предприятиях. Утверждая в городе свою власть, Ярослав должен был надеяться прежде всего на самого себя, да еще, наверное, на наемников-варягов, коих в его дружине становилось все больше. «У конунга Ярицлейва всегда было много норвежцев и шведов» — такую характеристику дают князю Ярославу Владимировичу скандинавские саги, в которых он, как мы увидим, будет играть весьма заметную роль[19].

При Ярославе в Новгороде возникает особый, вероятно, укрепленный «варяжский двор» — место постоянного пребывания наемников-скандинавов. В летописи он именуется «Поромонь двор» — название, в котором прежде видели имя некоего новгородца Поромона, но которое теперь объясняется из скандинавских языков как искаженное farmanna gardr — «купеческий двор», «двор для приезжающих»[20]. В скандинавских сагах мы найдем и описание этого двора, построенного по личному распоряжению Ярослава: «...Ярицлейв конунг велел выстроить каменный дом и хорошо убрать драгоценной тканью. И было им (варягам. — *А. К.*) дано все, что надо, из самых лучших припасов»[21].

Совсем недавно мы получили уникальную возможность взглянуть на князя Ярослава Владимировича в период его княжения в Новгороде, представить себе — хотя бы в самых общих чертах — его внешность. В 1994 году на Троицком раскопе в Новгороде, в слое начала XI века, археологи обнаружили свинцовую печать, на одной стороне которой изображен святой Георгий, небесный покровитель князя Ярослава, а на другой — сам князь, о чем свидетельствует надпись: «Ярослав, князь Руский»[22]. Погрудное изображение князя сохранилось на удивление хорошо: мы видим человека в княжеском плаще (корзне), скрепленном у правого плеча массивной круглой фибулой (застежкой), в высоком остроконечном шлеме, верх которого завершен шишечкой. Широко посаженные глаза, лицо кажется волевым, умным (конечно, насколько можно судить по схематическому и к тому же не слишком четкому изображению). Борода отсутствует. (Это не должно удивлять: борода отсутствует и на известных изображениях на монетах князя Владимира Святославича, отца Ярослава; не было ее и у князя Святослава, что специально отметил византийский историк Лев Диакон, описавший внешность русского князя либо по личным впечатлени-

ям, либо со слов людей, присутствовавших на его встрече с византийским императором Иоанном Цимисхием. Вероятно, обычай рощения бороды появился у русских князей позже, под влиянием греков.) Сильное впечатление производят торчащие пики усов — «кавалерийских», как бы мы выразились сегодня. По-видимому, длинные усы являлись своего рода признаком княжеского достоинства. Судя по описанию Льва Диакона, такие усы носил князь Святослав, дед Ярослава; увидим мы их и на изображениях Владимира Святославича и Святополка Окаянного. Но усы Ярослава, пожалуй, заметно превосходят их. Конечно, изображения на княжеских печатях и монетах нельзя считать портретами в нашем понимании этого слова. Но резчик, делавший штемпели для печатей, несомненно, старался передать какие-то черты сходства с оригиналом. Это касается и общего облика новгородского князя, и уж наверняка его пышных и длинных усов.

Скандинавские саги, которые подробно и много рассказывают о «конунге Ярицлейве» из «Хольмгарда» (правда, уже после начала его войны с братом Святополком), позволяют выявить и некоторые черты характера новгородского князя[23]. Судя по их рассказам, Ярослав, несомненно, был умен, хитер, можно сказать, изворотлив и весьма властолюбив. Как мы увидим, все это подтверждается и русскими источниками, да и всей историей его княжения. Согласно сагам, Ярослав был также чрезвычайно осторожен, пожалуй, даже несколько трусоват. Но князю, наверное, и не обязательна была безрассудная личная храбрость: времена Святослава, смело бросавшегося в битву, миновали, и князь все более выступал не вожаком следующей по его стопам дружины, но полководцем, определяющим общий ход сражения. С другой стороны, саги порой изображают Ярослава как человека раздражительного, крутого, подверженного гневу, но в то же время отходчивого и во всяком случае способного к компромиссу. Это последнее качество не раз будет выручать его не только в личной жизни, но и в политике.

Еще одно качество «конунга Ярицлейва», отмеченное авторами саг, — чрезмерная скупость, даже жадность. Здесь, впрочем, надо сделать одно отступление. Отношение к богатству, прежде всего к золоту и серебру, в те времена существенно отличалось от нынешнего. Князь *обязан* был щедро одаривать свою дружину, делиться с нею своими богатствами. Такое одаривание имело не столько практический, сколько обрядовый, ритуальный характер. Так было и на Руси в эпоху первых киевских князей, так было и в Скандинавии в эпоху викингов: получая дары от вождя, его сподвижники и со-

ратники получали таким образом частицу его военной удачи, в конечном счете и его власти; это дарение явственно ставило их на определенную ступень социальной лестницы, обозначало их принадлежность к кругу людей, лично связанных с князем и сопричастных ему[24]. Поэтому скупость должна была казаться скандинавским сказителям не просто отрицательной, позорной чертой характера, но качеством, недостойным князя, подрывающим самые основы его власти. Однако сегодня мы можем взглянуть на это несколько по-другому. В эпоху Ярослава отношения между князем и дружиной существенно меняются. Сакральное понимание обряда дарения как выражения связи между дарителем и получателем дара уступает место отношениям иного рода — экономическим и собственно социальным, отношениям прямой зависимости и подчинения дружинника своему князю. Так что чрезмерная скупость Ярослава может быть понята нами и как свидетельство определенного высвобождения князя из обременяющих его пут вековых обычаев и традиций.

Конечно, мы не найдем в сагах объективной или полной характеристики Ярослава. Саги — источник сложный для изучения, представляющий собой не отчет о каких-либо реальных событиях, но их эпическое изложение, в котором реальное переплетается с выдуманным, а герои, как правило, действуют так, как должен действовать идеальный герой в тех или иных обстоятельствах. Саги изображают русского князя в его взаимоотношениях со скандинавами, которым авторы саг, безусловно, благоволят. И поэтому, подчеркивая достоинства своих главных героев, норвежских конунгов, саги неизбежно оттеняют не самые привлекательные черты в характере «конунга Гардов», то есть Ярослава. И все же его изображение в сагах исключительно ценно для нас, поскольку, пускай и с оговорками, сделанными выше, русский князь предстает здесь во многом именно таким, каким запомнился он своим современникам-иноземцам.

Немногое мы знаем о личной жизни Ярослава той поры. Ко времени новгородского княжения он уже был женат. Русские источники ничего не сообщают о его первом браке, хотя кажется совершенно очевидным, что к тридцати годам князь не мог не обзавестись супругой.

Единственное упоминание о первой жене князя содержится в «Хронике» немца Титмара Мерзебургского, современника Владимира и Ярослава (он умер в декабре 1018 года): рассказывая о вступлении в Киев войск польского кня-

зя Болеслава Храброго летом 1018 года, Титмар отмечает, что в плен к Болеславу в числе прочих попала и жена князя Ярослава Владимировича[25]. Но кем была эта женщина и когда именно Ярослав женился на ней, неизвестно[26]. Поздняя русская традиция, казалось бы, позволяет назвать ее имя — Анна: так, по свидетельству новгородских источников XV—XVII веков, звали жену князя Ярослава, гробница которой и по сей день покоится в Новгородском Софийском соборе рядом с гробницей сына Ярослава новгородского князя Владимира. В 1439 году архиепископ Новгородский Евфимий II обновил обе гробницы, установив церковное почитание блаженного князя Владимира и «матери его Анны»[27]. Но это отождествление, принадлежащее церковным властям XV века, сегодня не может считаться основательным. Известно, что матерью Владимира Ярославича была вторая жена Ярослава — дочь шведского конунга Олава Шётконунга Ингигерд, получившая при крещении имя Ирина и умершая в 1050 году. По всей вероятности, она похоронена в Киеве, а не в Новгороде[28], и уж во всяком случае ей не может принадлежать новгородское захоронение[29]. Впрочем, о судьбе первой жены князя Ярослава Владимировича нам еще предстоит говорить на страницах книги.

Считается, что в Новгороде у Ярослава родился сын, названный в крещении Ильей. «Повесть временных лет» ничего не знает о нем. Его имя упоминается лишь в перечне новгородских князей, читающемся в Новгородской Первой летописи младшего извода (памятник XV века): «И родися у Ярослава сын Илья, и посади в Новегороде, и умре»[30]. Известие это, по-видимому, извлечено из какого-то новгородского княжеского помянника (о церковном происхождении записи свидетельствует упоминание крестильного, а не княжеского имени). Но у нас есть основания сомневаться в реальности существования этого, неизвестного по другим источникам княжича[31]. В принципе, не исключено, что Илья — крестильное имя другого сына Ярослава, новгородского князя Владимира; появление имени Ильи в перечне новгородских князей (наряду с имеющимся там же именем Владимира) может быть результатом дублирования одного и того же известия, в котором речь идет о поставлении в Новгород старшего сына Ярослава.

Реальная, более или менее известная нам биографии князя Ярослава Владимировича начинается с 1014 года, когда новгородский князь в первый раз выступает на авансце-

ну русской истории как самостоятельно действующий политик. Именно с этого времени у нас появляется возможность и для относительно связного изложения тех событий, в которых он принимает участие. Но прежде нам придется коснуться событий несколько более ранних — иначе мы не в состоянии будем объяснить те причины, которые толкнули Ярослава на извилистый и рискованный путь политических интриг и осложнений.

Около 1013 года Владимир женил своего пасынка Святополка, княжившего в городе Турове на западе Русского государства, на дочери своего давнего врага, польского князя Болеслава I, известного также под именем Болеслава Храброго или Болеслава Великого[32]. Русские источники ни словом не упоминают об этом браке. Зато о нем сообщает современник событий, немецкий хронист Титмар Мерзебургский. Этот брак, ознаменовавший завершение очередной русско-польской войны, должен был, вероятно, положить конец многолетней вражде между Русью и Польшей. На деле, однако, вышло совсем не так. Вместе с Болеславной в Туров прибыл и ее духовник, бывший колобжегский епископ Рейнберн. Этот немец-аскет, отличавшийся, к слову сказать, особым рвением в борьбе со славянским язычеством, стал ключевой фигурой в хитроумной комбинации, задуманной, вероятно, самим Болеславом. «По наущению Болеслава», пишет Титмар, Святополк вознамерился «тайно выступить» против Владимира; узнав об этом, киевский князь схватил и епископа Рейнберна (которого он, очевидно, считал главным зачинщиком заговора), и своего приемного сына вместе с его супругой и заточил всех троих — «каждого в отдельную темницу»[33]. Епископ Рейнберн вскоре скончался. Святополк же и дочь польского князя пребывали в заключении до самой смерти Владимира летом 1015 года.

Местом пребывания опального князя, по всей вероятности, стал Вышгород — хорошо укрепленный княжеский город-замок близ Киева. Из последующей истории Святополка Окаянного мы узнаем, что он, даже став киевским князем, с исключительным доверием будет относиться к вышгородским «боярцам», а те, в свою очередь, останутся его преданными сторонниками. По-видимому, Святополк успел найти с ними общий язык за время своего заточения.

Историки не пришли к единому выводу относительно заговора Святополка. В самом ли деле он имел место, или мятеж явился плодом распаленного воображения Владимира, чьей-то усиленной клеветы на туровского князя? И какова истинная роль во всех этих событиях Болеслава Польского?

Ответы на эти вопросы могут быть лишь предположительными. И все же та версия событий, которая изложена Титмаром Мерзебургским, представляется весьма вероятной. Напомню, что Святополка считали на Руси «от двух отцов» — наследником и Ярополка, и Владимира. Согласно языческим представлениям, усыновление (тем более совершенное после того, как Владимир официально признал мать Святополка своей супругой) полностью заменяло настоящее отцовство. Но при христианском взгляде на существо брака поступок Владимира был не чем иным, как насилием и прелюбодеянием, а Святополк оказывался законным сыном одного лишь Ярополка и, значит, приобретал права на киевский престол или, во всяком случае, на свою «часть» в Киевском государстве даже при жизни Владимира. И не Рейнберн ли, может быть, по указке Болеслава, растолковывал это Святополку?

Русские источники знают о неприязни, которую Владимир испытывал к своему приемному сыну. Правда, они объясняют ее необычными обстоятельствами появления Святополка на свет: «От греховного бо корени зол плод бывает... потому и не любил его отец, что от двух отцов был — от Ярополка и от Владимира». Напомним, что мать Святополка, «грекиня», прежде была черницей, захваченной в полон и насильно расстриженной Святославом. (Поэтому русские источники дают Святополку еще одно зловещее прозвище — «росстриженич», то есть сын расстриженицы[34].) Но мы уже говорили, что летописец иначе, нежели сам Владимир, глядел на происходящее и явно приписывал Владимиру свое собственное, отягощенное знанием последующих событий отношение к князю-преступнику и братоубийце. Неприязнь Владимира к пасынку возникла далеко не сразу, иначе он не посадил бы его на княжение в Туров. Но неприязнь эта должна была питаться какими-то действиями или помыслами самого Святополка.

Мы очень мало знаем об этом человеке, которому суждено было сыграть столь важную роль в жизни героя нашей книги. Бóльшая часть его жизни, как и жизни самого Ярослава, осталась нам неизвестной. В изображении летописцев Святополк сразу же предстает закоренелым злодеем, князем-убийцей, «Поганополком»; его имя становится едва ли не нарицательным, а деяния — хрестоматийно отталкивающими. Место реального князя прочно занимает в истории образ абсолютного, так сказать, идеального злодея. Между тем Святополк — личность историческая, живая, а значит, наделенная разнообразными, а не одними лишь отталкива-

ющими качествами. Как мы увидим впоследствии, его поступки отнюдь не всегда будут вызваны злобой, стремлением к кровопролитию во имя кровопролития. Святополк успеет проявить себя и как вполне здравомыслящий и даже дальновидный политик.

Итак, нам немногое известно о Святополке как о человеке. Однако кое-что мы знаем более или менее определенно. Думаю, что без большого риска ошибиться мы можем предположить, что сам Святополк, действительно, смотрел на себя прежде всего как на потомка Ярополка, а не Владимира. В нашем распоряжении имеется уникальный и вполне объективный источник — монеты самого Святополка, которые он чеканил в Киеве во время своего недолгого пребывания там в 1015—1016 и 1018 годах. Эти монеты во многом подобны монетам его предшественника Владимира, похоже изображен на них и сам князь с регалиями княжеской власти. На оборотной стороне монет — так же, как и у Владимира, — родовой княжеский знак Рюриковичей, но не Владимиров трезубец, а двузубец, восходящий к родовому знаку его деда Святослава и, вероятно, отца Ярополка[35].

Первоначально планы Святополка едва ли простирались на Киев или, тем более, на всю Русскую державу. До времени его могло устраивать и самостоятельное, независимое от Владимира правление в Турове. Это, кстати говоря, было вполне на руку и его тестю Болеславу. В те годы Болеслав постоянно враждовал с германским королем (а с 1014 года императором) Генрихом II и был заинтересован в мире на своих восточных границах.

Тем не менее, узнав о случившемся, продолжает Титмар, Болеслав «не переставал мстить чем только мог» киевскому князю. Его гнев объяснить не трудно: ведь в заточении оказались не только его зять и колобжегский епископ, но и его родная дочь. В чем именно заключалась эта месть, мы точно не знаем. Вероятно, именно Болеслав спровоцировал нападения на Русскую землю печенегов, с которыми его связывали союзнические отношения*. Об одном таком нападении, случившемся уже в последние дни жизни князя Владимира, рассказывает русская летопись; впрочем, речь об этом впереди.

---

* В 1013 году Болеслав привлек печенегов к союзу и вместе с ними напал на Русь. Тогда, правда, между его воинами и печенегами произошла ссора, и Болеслав приказал перебить своих прежних союзников. Но, вероятно, конфликт удалось преодолеть; во всяком случае, в дальнейшем Болеслав опять будет действовать против русских в союзе с печенегами.

Попытка туровского мятежа Святополка, возможно, имеет еще одно объяснение. Вероятно, именно в это время (хотя неизвестно точно — до или после начала мятежа) Владимир приблизил к себе одного из своих младших сыновей, Бориса, что заметно изменило расклад сил в княжеской семье. Русские источники вполне определенно увязывают эти события. Когда начал помышлять «окаянный Святополк», как бы погубить ему блаженного Бориса, рассказывает диакон Нестор в «Чтении о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», «уведал о том благоверный отец их, послав, привел к себе блаженного Бориса, опасаясь, чтобы не пролилась кровь праведного»[36]. Владимир послал за Борисом в Ростов[37], и послушный сын не замедлил поспешить в Киев, где отец поручил ему главенство над своей дружиной — а это по существу означало признание его полноправным киевским князем и, очевидно, наследником киевского престола.

Историки теряются в догадках относительно причин предпочтения, выказанного Владимиром Борису[38]. Борис был младше и Святополка, и Ярослава. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он не получил удела вместе со старшими Владимировичами[39], а в дальнейшем довольствовался Ростовом, откуда был выведен Ярослав. А потому и Святополк, и Ярослав не могли не считать себя обойденными. Особенно обидным, надо полагать, казалось Ярославу то обстоятельство, что Борис был призван отцом из Ростова — того самого города, который прежде принадлежал ему самому.

Реальная биография князя Бориса Владимировича также почти неизвестна нам. В Житиях святых князей-мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба изображены идеальные образы первых канонизированных русских святых. Но за их иконописными ликами, увы, трудно разглядеть реальные черты ростовского и муромского князей, участников и жертв жестокой политической борьбы, начавшейся на Руси в последние годы пребывания Владимира Святославича на киевском престоле и особенно после его смерти.

Вот как, например, изображает князя-мученика автор статьи «О Борисе, како бе взором», включенной в анонимное «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе» в Успенском сборнике XII—XIII веков:

«Сей благоверный Борис был благого корени, послушлив отцу, покоряясь во всем ему. Телом был красив, высок, лицом кругл, плечи широкие, тонок в чреслах, очами добр, весел лицом; борода мала и ус — ибо молод еще был. Сиял

по-царски («светяся цесарьскы»), крепок телом, всячески украшен — точно цветок цвел в юности своей; в ратях храбр, в советах мудр и разумен во всем, и благодать Божия процветала в нем»[40]. «Так и светились» братья сии, «словно две звезды светлые посреди тьмы» — а это уже слова диакона Нестора из «Чтения о житии и о погублении Бориса и Глеба».

В «Чтении» Нестора мы найдем и некоторые, хотя и чрезвычайно общие и неконкретные сведения о жизни Бориса до начала его политической карьеры. Когда блаженный пришел в разум, рассказывает писатель, «исполнился он благодати Божией и стал брать книги и читать их, ибо научен был грамоте; читал же жития и мучения святых и так молился со слезами: "Владыко мой, Иисусе Христе, сподоби мя, яко единого от тех святых, и даруй мне по стопам их ходить. Господи Боже мой! да не вознесется мысль моя суетою мира сего, но просвети сердце мое на разумение Твое и заповедей Твоих, и даруй мне дар, его же даровал от века угодникам Твоим. Ты еси Царь и Бог истинный, иже помиловал нас, изведи нас от тьмы ко свету, ибо Тебе есть слава во веки веков"». И когда молился он так и отбивал часы, продолжает Нестор, брат его меньший Глеб, бывший еще дитем, сидел подле него и слушал блаженного, ибо пребывал с ним день и ночь неотступно и слушал его всегда. И многую милостыню раздавали братья «нищим, и вдовицам, и сиротам», во всем уподобляясь своему отцу, князю Владимиру, прославленному своим великим милосердием и нищелюбием. «Любил же отец их, видя на них благодать Божию».

Нестор, единственный из всех авторов, сообщает о женитьбе князя Бориса Владимировича; причем, по его словам, это произошло еще в то время, когда княжич пребывал в Киеве: «Благоверный же князь [Владимир], видя, что приспел возраст блаженному Борису, восхотел сотворить ему брак». Как и подобает святому, с детских лет возлюбившему Божественное, а не земное, Борис отнюдь не хотел вступать в брак, но умолен был боярами своими, да не ослушается воли отца. «Се же блаженный сотворил не похоти ради телесной, не будет того, — особо подчеркивает Нестор, — но закона ради цесарского и послушания ради отцу». Уже после этого отец послал Бориса «на область... юже ему дасть...», а юного Глеба по-прежнему оставил у себя. «Блаженный же Борис многое милосердие показал во области своей, не только к убогим, но и ко всем людям, так что все чудились милосердию и кротости его, ибо был блаженный кроток и смирен»[41].

Трудно сказать, что в этом описании отражает действительные обстоятельства жизни князя Бориса Владимировича, а что является данью благочестивой традиции или своего рода агиографическим штампом. Борис ведет себя так, как подобает вести себя святому, будущему мученику: он отказывается от мирских радостей, проводит дни в чтении и молитве, он милостив и нищелюбив и во всем покорен отцу. Автор Жития Бориса и Глеба, преподобный Нестор, один из самых знаменитых писателей древней Руси, создавал свое произведение по всем канонам агиографического жанра. Он в совершенстве знал византийскую и славянскую житийную литературу и использовал лучшие ее образцы для создания своего произведения. Читая Жития, мы не должны забывать о том, что этот жанр литературы в принципе не является биографическим в нашем смысле этого слова. Фактическая канва событий отступает в нем на второй план; земное, случайное, присущее каждому отдельному человеку, отбрасывается как несущественное; происходит, говоря словами одного из самых проницательных исследователей древнерусской житийной литературы Георгия Петровича Федотова, «растворение человеческого лица в небесном прославленном лике»[42].

Так, юный возраст Бориса и особенно Глеба, кажется, представляет собой именно такое агиографическое преувеличение. Церковь прославляет Бориса и Глеба в том числе и за их непротивление старшему брату Святополку. Отсюда, вероятно, проистекают эпическое старейшинство Святополка и эпическая же юность святых страстотерпцев. Об их истинном возрасте мы, к сожалению, ничего не знаем. Матерью святых братьев летопись называет некую «болгарыню». Вероятно, можно предположить, что та оказалась в гареме князя Владимира после заключения мира с волжскими болгарами в 985 году. («Болгарами» на Руси одинаково называли и волжских, и дунайских болгар.) Следовательно, родились Борис и Глеб не ранее 986 года. По-видимому, это произошло еще до Крещения Руси, а значит, ко времени смерти Владимира (1015 год) братьям было не менее двадцати семи лет[43]. Опять же условно мы можем предположить, что около 1010 года Борис был отправлен отцом в Ростов, а Глеб, вероятно, несколько позже[44], — в Муром. Еще прежде своего поставления на самостоятельное княжение Борис обзавелся супругой (это обстоятельство, кстати, никак не помогает определить его возраст). Детей он, кажется, так и не заимел; во всяком случае, в источниках не содержится никаких намеков на их существование.

Итак, мы не знаем причин, которыми руководствовался Владимир, приближая к себе Бориса. Но существуют ли вообще вразумительные объяснения поступкам такого рода? Всегда ли мы в состоянии объяснить предпочтение, которое оказывают родители тому или иному своему ребенку? Видимо, Борис оказался ближе Владимиру — может быть, по каким-то своим душевным качествам, может быть, по складу характера. Раз Владимир доверил сыну свое войско, то, значит, был уверен и в его способности повести за собой дружину. В общем, нет смысла гадать; в данном случае нам приходится принимать события такими, какими они предстают перед нами в свидетельствах источников.

Что же касается Ярослава, то полученное им из Киева известие о заточении одного из его братьев и внезапном возвышении другого не могло не взбудоражить его. Если мы правильно определяем хронологию или, по крайней мере, очередность происходивших событий, то именно этим отчасти можем объяснить тот шаг, на который, согласно летописи, новгородский князь решился в 1014 году. А шаг этот оказался не просто неожиданным, но, можно сказать, беспрецедентным, во всяком случае по меркам древней Руси.

«Ярослав же был в Новгороде, — рассказывает «Повесть временных лет», — и, по уроку, давал в Киев две тысячи гривен из года в год, а тысячу раздавал в Новгороде гридям (дружинникам. — *А. К.*). И так давали все посадники новгородские, а Ярослав не стал давать сего в Киев, отцу своему».

Отказ от уплаты «урока» (оговоренной дани) был прямым вызовом Киеву и означал отвержение Ярославом отцовской власти над собой и власти Киева над Новгородом. Именно так воспринял происшедшее киевский князь: «И сказал Владимир: "Требите пути и мостите мосты", ибо хотел на Ярослава идти, на сына своего, но разболелся»[45].

Так Русь оказалась перед угрозой новой войны — на этот раз не просто междоусобной войны между братьями, но войны отца с сыном. Пожалуй, это случилось впервые в истории Руси, хотя мировая история знает немало примеров такого рода. Ярославу пришлось переступить через вековые традиции и обычаи, нарушить устоявшиеся законы. Если его сводный брат Святополк действовал тайно, исподтишка, организуя заговор против приемного отца, то Ярослав бросил отцу вызов открыто. Для этого у него имелись некоторые основания — Новгород, в котором он правил, был отделен от Киева труднопроходимыми лесами и болотами, и ему, во всяком случае, не грозила немедленная расправа, подобная той, что Владимир учинил над Святополком. Нов-

город был сильнее и в экономическом, и в политическом отношении. Сама история этого города неоспоримо доказывала возможность его существования вне границ Киевского государства. Бросая вызов отцу, Ярослав, несомненно, опирался на экономический потенциал Новгорода, а также на единодушную поддержку новгородцев, для которых ежегодная выплата в Киев двух тысяч гривен была тяжелым и унизительным бременем. К тому же после объявления Владимиром войны у него имелось довольно времени для принятия ответных мер — ибо на расчистку путей и наведение мостов и переправ, конечно, должен был уйти не один месяц. Все, что мы знаем о Ярославе, говорит о том, что он действовал хладнокровно, продуманно, учитывая возможные последствия каждого своего шага.

О главном таком шаге, предпринятом им в ответ на угрозы отца, летописец сообщает уже под 1015 годом, в следующей летописной статье, начало которой, впрочем, дублирует предыдущую летописную запись: «Хотел Владимир идти на Ярослава; Ярослав же, послав за море, привел варягов, боясь отца своего...»[46]

Ярослав в точности повторял действия самого Владимира, которые тот, будучи новгородским князем, предпринял за тридцать семь лет до этого, во время войны со своим братом Ярополком: тогда Владимир тоже обратился за помощью к варягам, с которыми Новгород связывали постоянные прочные договорные отношения, и привел в город сильную варяжскую дружину. И теперь наемники-скандинавы с готовностью отозвались на призыв его сына: датчане, шведы, норвежцы, исландцы, а также, вероятно, выходцы с южного побережья Балтики поспешили на зов Ярослава, рассчитывая на поживу, которая ожидала их в случае успеха. Новгородцы, по-видимому, готовы были терпеть их присутствие в городе, как готовы были и сами сражаться под знаменами своего князя против ненавистных им киевлян.

Судя по тому, что в летописи рассказ о противоборстве Владимира и Ярослава читается в двух смежных летописных статьях, события разворачивались на рубеже 1014—1015 годов. Год в древней Руси начинался в марте; следовательно, в действительности речь идет о зимних месяцах и начале весны 1015 года. Ярослав, по-видимому, несколько поспешил: в ту пору войну начинали летом или, самое раннее, в конце весны; наемники же прибыли в Новгород заранее и

потому обречены были на вынужденное бездействие. Как известно, это редко идет на пользу воюющей стороне.

Минули май, а затем и первая половина июня. Владимир так и не начал военных действий. Он был уже стар, во всяком случае по меркам своего века; к старости приспели и болезни. Одна из них, в конце концов скосившая князя, помешала ему выступить в поход против непокорного сына. По некоторым сведениям, Владимир намеревался направить в Новгород против Ярослава своего любимца Бориса и именно с этой целью поручил ему дружину. Польский хронист Ян Длугош, живший в XV веке и пользовавшийся в работе над своей «Хроникой» ранними и, возможно, не дошедшими до нас русскими летописями, вообще сообщает о том, что столкновение между Киевом и Новгородом все-таки состоялось: Ярослав будто бы собрал войско из варягов и печенегов (!) и подступил к Киеву, но затем, уже после смерти отца (умершего от огорчения, причиненного ему сыном), был разбит киевлянами, причем киевские войска возглавляли Борис и... Святополк[47]. Но это свидетельство едва ли можно признать достоверным. Скорее всего, Длугош смешивает события, которые происходили до и после смерти Владимира. И киевские, и новгородские источники согласно свидетельствуют о том, что до войны между Ярославом и Владимиром дело тогда так и не дошло.

Что же касается Святополка, то в сложившихся обстоятельствах он скорее являлся союзником, а не противником новгородского князя. Оба они в равной степени выступали против отца и особенно против Бориса, посягнувшего на их права наследников отцовской власти. Правда, какими-либо сведениями об их контактах друг с другом мы не располагаем.

В самом конце весны или в первых числах июня 1015 года Киев постигла еще одна напасть — очередное нашествие печенегов. «Владимир находился в великой печали, оттого что не мог сам выйти против них, — рассказывает неизвестный автор «Сказания о Борисе и Глебе» — еще одного житийного произведения, посвященного святым братьям. — И... призвав Бориса... предал в руки ему множество воинов»[48]. Наверное, это была та самая рать, которую Владимир готовил к войне с Ярославом. Переправившись через Днепр, Борис с воинами двинулся в сторону Печенежского поля, навстречу врагам.

Было ли то обычное нашествие кочевников, привыкших грабить богатые земли Руси? Или действия печенегов кто-то умело направлял извне? Последнее предположение отнюдь не кажется досужей выдумкой: ведь мы уже знаем, что пе-

ченеги являлись союзниками польского князя Болеслава — того самого, чьи дочь и зять год с лишним томились в темнице князя Владимира. Месть Болеслава киевскому князю, о которой сообщает Титмар Мерзебургский, как раз и могла выразиться в натравливании кочевников на Русь. Но нашествие печенегов оказалось на руку даже не столько Святополку, сколько Ярославу, который избавился таким образом от войны с собственным отцом. Разумеется, у нас нет оснований предполагать, что и он приложил руку к печенежскому набегу. Но зато лишний раз мы можем убедиться в объективном совпадении на тот момент интересов Ярослава, Святополка и Болеслава Польского.

Между тем печенеги, кажется, и не собирались разорять Киев и другие русские города. Узнав о приближении княжеского войска, они вернулись обратно в степь, и Борису так и не пришлось сразиться с ними. Появление печенегов в русских пределах выглядит скорее демонстрацией силы. Похоже, что кочевники и в самом деле должны были отвлечь внимание киевского князя от иных, внутренних событий в Киевском государстве.

В свою очередь, не спешил и Ярослав. Наемное варяжское войско по-прежнему пребывало в Новгороде, однако поведение его становилось все более вызывающим. Как поступали наемники в захваченных ими городах в средние века (да и в иные времена), мы хорошо знаем. Вынужденное бездействие разжигает не лучшие страсти в обремененном оружием человеке, а все окружающее представляется ему созданным не для чего иного, как для удовлетворения собственных пагубных страстей и желаний, столь легко достижимых с помощью силы. «Было у Ярослава много варягов, и насилие творили они новгородцам и женам их», — читаем мы в «Повести временных лет». Новгородский летописец выражается чуть более определенно: «В Новгороде же тогда Ярослав кормил множество варягов, боясь рати; и начали варяги насилие творить на мужатых (то есть замужних. — *А. К.*) женах»[49].

Но Новгород отнюдь не был завоеван варягами, и поведение чужаков переполнило наконец чашу терпения горожан. «Сказали новгородцы: “Сего мы насилья не можем стерпети”; и собрались ночью, и перебили варягов в Поромоне дворе» — том самом, который служил местом постоянного пребывания скандинавских наемников в Новгороде. Подробности ночной резни нам неизвестны, но, судя по последующей расправе Ярослава над новгородцами, на «Поромоне дворе» была перебита не одна сотня человек. Так Новгород оказался расколот на два восставших друг против дру-

га лагеря, причем расколот не только по этническому признаку: новгородцы выступили против наемников, приглашенных в город князем и подчинявшихся только князю. Война внешняя, так и не начавшись, переросла в войну внутреннюю — войну в стане самого Ярослава.

В описании происшедших событий версии киевского и новгородского летописцев существенно расходятся. Автор «Повести временных лет» сообщает, что Ярослав, разгневанный на новгородцев, удалился в свою загородную резиденцию на Ракому. При некоторой доли фантазии его отъезд можно принять за бегство и объяснить опасениями за собственную жизнь, страхом перед разгулом страстей, царившим в городе. Но согласно Новгородской Первой летописи младшего извода, автор которой, вероятно, был более осведомлен о характере происходивших событий, Ярослав с самого начала мятежа пребывал за городом («а князю Ярославу тогда в ту нощь сущу на Ракоме»). Получается, что мятеж в городе начался в его отсутствие — а это выглядит, пожалуй, более правдоподобно.

Во всяком случае, события явно вышли из-под контроля новгородского князя, и Ярослав спешит исправить положение. Однако на первый взгляд он действует совсем не так, как следовало бы ожидать: он вроде бы прощает убийц. «Уже мне сих не кресити» (то есть не воскресить) — так, согласно «Повести временных лет», он отвечает новгородцам и приглашает к себе на Ракому «нарочитых», то есть знатных, мужей — тех самых, что накануне «иссекли» варягов. Новгородская Первая летопись и здесь говорит несколько по-другому: Ярослав призвал на Ракому «воев славных тысячу». Но «тысяча», в данном случае, не точное обозначение численности приглашенных Ярославом «мужей»[50], но те же самые «нарочитые мужи», входившие в состав особой новгородской военной организации — «тысячи». В отличие от княжеской дружины «тысяча» составлялась самими новгородцами и, по-видимому, подчинялась князю только в ходе военных действий, но не в мирное время.

Новгородцы безбоязненно явились к князю. Наверное, они чувствовали свою правоту и к тому же никак не ожидали подвоха, всецело полагаясь на княжеское слово. «Уже мне сих не кресити» — это своеобразная формула отказа от родовой мести, формула примирения[51], принятая в те времена, когда слово произнесенное вполне заменяло письменный договор. Но, оказывается, Ярослав лукавил. Приглашая «нарочитых мужей» на Ракому, он с самого начала замышлял хладнокровное и жестокое убийство.

Княжеский двор на Ракоме стал средоточием всех верных князю сил. У Ярослава имелось немало варягов, и, конечно, далеко не все из них были иссечены во время ночной резни. Уцелевшие, спасшиеся, бежавшие из города, равно как и те, кто по какой-то причине отсутствовал в ту ночь в Новгороде, собрались возле Ярослава. С князем была и его личная дружина, также в значительной своей части состоявшая из варягов и потому жаждавшая отмщения за недавнее избиение своих сородичей. Так что Ярослав хотя и не обладал после случившегося равенством в силах, все же мог надеяться силовыми методами восстановить свою пошатнувшуюся власть. Новгородцы, наверное, понимали это. Если они и решились прийти к князю, то это можно объяснить как данным им княжеским словом, так и их уверенностью в том, что они восстали отнюдь не против князя, но лишь против зарвавшихся чужеземцев, нарушивших неписаные законы своего пребывания в городе, а следовательно, и основы власти самого новгородского князя. Ярослав же, по-видимому, считал иначе.

Мы не знаем подробностей его расправы над новгородцами. Летописи сообщают об этом кратко: Ярослав «позвал к себе нарочитых мужей, тех, которые иссекли варягов, и, обольстив их, иссек», — читаем в «Повести временных лет». «Другие же (из тех, кто участвовал в ночном избиении варягов. — *А. К.*) бежали из города», — добавляет автор Новгородской Первой летописи. Так была обезглавлена верхушка Новгорода, убиты наиболее предприимчивые, наиболее энергичные горожане, те, кто способен был с оружием в руках отстаивать свою честь, честь своих жен, а возможно, — в случае необходимости — и честь самого князя.

Обычай в те времена требовал мстить за убитых сородичей. У варягов, поступивших на службу к Ярославу, могло и не быть прямых родственников; пришельцы на Руси, они не имели здесь ни корней, ни прочной опоры. Но, влившись в дружину новгородского князя, они превращались в его «чадь», становились членами условной княжеской семьи, и сам князь предоставлял им отныне защиту и покровительство, отвечал за их жизнь и безопасность. С этой точки зрения действия Ярослава были оправданы или, по крайней мере, объяснимы.

Конечно, он действовал жестоко и коварно, хитростью и лживыми обещаниями заманивая к себе новгородцев. Но хитрость и коварство — особенно в тех случаях, когда они приносят успех, — легко находят себе оправдание в глазах современников и потомков. У Ярослава имелся хороший

пример для подражания: некогда его прабабка Ольга так же хитростью отмстила древлянам, убившим ее мужа, киевского князя Игоря. Правда, одно и притом весьма существенное отличие в действиях Ярослава имелось. Он мстил за смерть чужаков, иноземцев, убивая при этом своих соплеменников, новгородцев, тех самых, чьим князем он был.

Напомним, что за несколько десятков лет до Ярослава его отец, князь Владимир, только что захвативший с помощью тех же наемников-варягов стольный Киев, оказался в схожей ситуации: варяги потребовали от него выкуп, разорительный для горожан. Но Владимир не пошел на поводу у своих воинов; он, также при помощи хитрости, сумел обмануть их и удалил из города, защитив и свою власть, и жизнь, и имущество киевлян. Ярослав этого сделать не захотел или не сумел. Его выбор оказался прямо противоположным: князь встал на сторону наемной дружины.

Мы не станем оценивать действия Ярослава по меркам нашего века — ничуть не менее жестокого и коварного, чем век минувший. В те времена, о которых идет речь, жизнь человеческая стоила много меньше, а честь — тем более княжеская — гораздо дороже, чем сейчас. Отметим лишь, что резня на Ракоме высвечивает многие черты в характере новгородского князя, в первый раз столь живо явившиеся перед нами, — его решительность, способность действовать предельно жестоко, хладнокровно, расчетливо; его коварство, его готовность нарушить только что данное слово ради достижения поставленной цели; готовность к отмщению тем, кого он считал своими обидчиками. Но это еще не весь Ярослав. Последующие события — и мы очень скоро убедимся в этом — покажут нам иного Ярослава, выявят иные стороны его столь неоднозначного облика.

Описываемые события могут быть датированы относительно точно. Резня на Ракоме (как и предшествующая ей резня в самом городе) имела место в самом конце июля — начале августа 1015 года. Ярослав находился в это время в тревожном ожидании предстоящего столкновения с отцом. Он, несомненно, ждал вестей из Киева, но формальное объявление войны препятствовало обмену информацией между враждующими городами. Взвинченное состояние находящегося в неведении Ярослава также способно объяснить нам его поспешные, но — как выяснится очень скоро — не до конца продуманные действия.

Между тем именно в эти летние месяцы 1015 года на юге Руси началась цепь трагических событий, в корне изменивших ход всей русской истории.

Ярослав ждал вестей из Киева. Но, как это часто бывает, вести обрушились на него внезапно, и совсем не те, на которые он рассчитывал.

«Той же ночью, — продолжает летописец свой рассказ о резне на Ракоме, — пришла к нему весть из Киева от сестры его Предславы: "Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве; Бориса убил, а на Глеба послал. Берегись его сильно"». Это были известия ошеломляющие. События разворачивались столь быстро, что Ярослав оказался явно не готов к ним.

Смерть Владимира последовала 15 июля 1015 года. Ярослав узнал о ней со значительным опозданием. Более того, если бы не сестра, он вообще мог бы остаться в неведении. Гонец Предславы прибыл в Новгород в обход Святополка. Тайное письмо, которое он привез, раскрывало глаза новгородскому князю на то, что происходило на юге страны, позволяло принять ответные меры, приготовиться к войне с новым и неожиданным для него противником, еще недавно казавшимся ему едва ли не надежным союзником. (По свидетельству некоторых поздних источников, Предслава предупреждала брата и о том, что ему самому следует поберечься от замышлений Святополка на его собственную жизнь: «абы и он поостерегся, поскольку тот Святополк уже и на него своих убийц также направил с хитрой засадою»[52].) Поистине послание Предславы оказалось спасительным для Ярослава.

О начале княжения в Киеве Святополка Окаянного, гибели Бориса и Глеба и последовавших затем событиях мы будем подробно говорить в следующих главах книги. Сейчас же завершим свой рассказ о делах новгородских и прежде всего обратимся к новгородскому князю. Как отреагировал Ярослав на столь неожиданные для него известия?

Надо полагать, что в душе князя произошла настоящая драма. Те действия, которые он предпринял для достижения поставленной цели, оказались не просто неэффективными, но ошибочными, можно даже сказать, гибельными для него. Ибо ситуация изменилась коренным образом. Прежде Ярослав вел войну с отцом, причем войну главным образом оборонительную; он действовал так, чтобы избежать решительного столкновения, отстоять свою независимость от отцовской власти и независимость Новгорода от Киева, а в случае крайней необходимости иметь возможность незамедлительно бежать «в Варяги». Поддержка скандинавов была ему нужнее, нежели поддержка самих горожан. Теперь же он должен был вступить в борьбу за Киев, перейти к активным,

наступательным действиям — и не только из-за честолюбия, но ради элементарного самосохранения. Однако для этого требовались значительно бóльшие силы, нежели те, которыми он располагал, ибо резня в Новгороде во много раз снизила боеспособность его скандинавской дружины и вконец рассорила его с городским войском. Главное же, Ярославу требовался прочный тыл, который могла обеспечить лишь поддержка новгородцев. А добиться ее после учиненной им расправы, казалось, не было никакой возможности.

Человек слабый, заурядный, нерешительный вряд ли бы смог найти выход из создавшегося положения, распутать узел, безнадежно запутанный им самим. Казалось, князю оставалось либо искать примирения со Святополком — но в таком случае он мог потерять не только власть, но и жизнь, — либо бежать за море, оставляя лишь призрачные шансы на успех. Но Ярослав сумел проявить в этой безвыходной ситуации не только твердость и выдержку, но и гибкость, находчивость, способность к неожиданному компромиссу. Более того, он обнаружил качество, присущее только по-настоящему выдающемуся политику, — способность к раскаянию, притом раскаянию искреннему, а не показному, способность признать свою ошибку или даже свое преступление, но признать так, что само это признание оборачивается победой, а не поражением.

Получив известие от Предславы, рассказывает летописец, Ярослав пришел в великую скорбь: «опечален был об отце, и о братии, и о дружине. Наутро же, собрав остаток новгородцев, Ярослав сказал: “О, любимая моя дружина, кою вчера избил! А ныне надобна оказалась!”» Несколько по-другому передает слова князя автор Новгородской летописи: «Любимая моя и честная дружина, избил вас вчера в безумии своем! Теперь мне того и златом не искупить!» Несомненно, в этих словах, тщательно зафиксированных древнерусским книжником, заложен глубокий и вполне определенный смысл. Князь обращается к новгородцам как к «дружине своей» — то есть как к «другам» своим, и называет «дружину свою» «любимой» и «честной», то есть достойной почестей. И тут же объясняет причину случившейся драмы: «избил вас вчера *в безумии своем*». Нет слов, он виновен, он признает себя таковым — но ведь ум дается человеку свыше, и не в его власти обладать им, если Провидение лишает человека рассудка. Но ныне ум вернулся к нему — и, значит, перед новгородцами уже иной князь, не тот, что безумствовал накануне. И признавая свою вину, князь спешит исправить содеянное зло.

«И утер слезы, и так сказал им на вече: “Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, избивая братию свою. Хочу на него пойти. Потягнете (последуйте; пособите. — *А. К.*) за мной!” И отвечали новгородцы: “Хотя и иссечены братия наши, можем, княже, за тебя бороться!”»[53]

О, как зримо можем представить мы эту сцену в объятом рыданием городе! Ярослав созвал вече вне городской черты («на поле», как специально отмечает автор Новгородской Первой летописи), вероятно, все-таки поостерегшись или, может быть, посчитав непристойным вступать с варягами в самый город. Он обращается с речью к «избытку» новгородской «тысячи», той самой, с которой столь сурово расправился накануне. Но теперь Ярослав предлагает им мир и единение перед новой опасностью — и новгородцы принимают его предложение и, более того, соглашаются биться за Ярослава!

Нам сегодня трудно понять их. Но если взглянуть на случившееся глазами современников Ярослава, то окажется, что и князь, и новгородцы были, что называется, квиты: Ярослав ответил кровью на кровь, смертью на смерть; он лишь исполнил обычай родовой (точнее, приравненной к родовой) мести, а значит, не вышел за рамки понятий и установлений своего века. Но еще важнее то, что он нашел верный тон, понятный и близкий новгородцам. Его раскаяние казалось искренним, слезы — неподдельными. Да они и были такими! Ярослав и в самом деле ощущал происшедшее как драму, как несчастье — и эти его чувства были созвучны чувствам и переживаниям новгородцев. Он каялся со слезами на глазах, с рыданием в голосе. В представлении людей Средневековья это в первую очередь свидетельствовало о его богобоязненности и искреннем благочестии. «Тремя делами добрыми научил Господь наш избавляться от врага нашего (диавола. — *А. К.*) и побеждать его: покаянием, слезами и милостынею, — напишет почти столетие спустя внук Ярослава князь Владимир Мономах в Поучении детям. — И это... не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия (небесного. — *А. К.*) не лишиться»[54]. Ярослав вполне овладел этими основными заповедями благочестия, особенно первыми двумя, и они в самом прямом, в самом обыденном смысле помогали ему избавиться от груза прежних прегрешений и добиваться царствия, причем не только Небесного, но и самого что ни на есть земного.

Новгородский летописец свидетельствует, кажется, и о том, что Ярослав златом хотел искупить свою вину перед

новгородцами. «Теперь мне того и златом не искупить!» — восклицал он на вече. Иными словами, он готов был уплатить виру, положенную за убийство (то есть исполнить обычай, существовавший в славянском обществе, когда кровная месть при определенных обстоятельствах могла заменяться уплатой оговоренной суммы денег — виры), — но только не теперь, но позже, когда для этого у него появятся возможности[55]. А возможности такие могли появиться — и новгородцы прекрасно осознавали это — лишь после завоевания Киева и завершения борьбы со Святополком. Как известно, золото — не худший путь к сердцам подданных, вполне способный — по крайней мере, на время — обеспечить их верность и поддержку. Но дальнейший ход событий показал, что новгородцы бились со Святополком, что называется, не за страх, а за совесть. Значит, дело было не только в золоте и серебре.

Надо полагать, что неприязнь между новгородцами и киевлянами, которую мы ощущаем на всем протяжении нашей первоначальной истории и которая, очевидно, была связана с особенностями становления древнерусской государственности (новгородские князья подчинили своей власти Киев, но затем осели именно в этом городе, сделав его столицей своего государства), имела и вполне конкретное выражение: новгородцы считали необходимым иметь у себя собственного князя и никоим образом не желали подчиняться посадникам князя киевского. Особо неприязненные чувства, которые они, по-видимому, питали к Святополку, пожалуй, можно объяснить тем обстоятельством, что Святополк открыто объявил себя сыном и наследником Ярополка, а новгородцы могли помнить недолгое правление в их городе посадников Ярополка в 977—978 годах. Приход к власти в Киеве Святополка угрожал восстановить это полностью неприемлемое для них положение. И уж наверняка Святополк потребовал бы от новгородцев возобновить ежегодную выплату киевской дани, отмененную Ярославом. Потому, наверное, Ярослав, пусть даже и виновный в пролитии крови своих подданных, должен был казаться новгородцам меньшим злом, нежели чуждый и враждебный им Святополк.

Исследователи не сомневаются и в том, что примирению Ярослава с новгородцами предшествовало заключение между ними своеобразного «ряда», договора, регулирующего, в частности, отношения между княжескими людьми и горожанами. Договор этот отразился в так называемой «Древнейшей Правде», вошедшей в состав Краткой редакции «Русской Правды» (или «Краткой Правды») — древнейшего

памятника русского права, сохранившегося в двух списках XV века в составе Новгородской Первой летописи младшего извода[56]. Согласно прямому свидетельству летописи, Ярослав дал новгородцам «правду» и «устав списал» (сказав при этом: «По сей грамоте ходите»)[57] несколько позже, уже после победоносного завершения войны со Святополком и утверждения в Киеве с помощью новгородско-варяжской дружины[58]. Однако само содержание «Правды», по мнению большинства исследователей, отражает именно те драматические события, о которых мы только что рассказали[59]. Ибо уже первая статья уложения Ярослава уравнивала в правах новгородцев и пришлых, княжеских людей, предоставляя и тем и другим равную защиту от посягательств на их жизнь и достоинство. «Правда Ярослава» сохраняла право на кровную месть, но ограничивала круг тех лиц, которые могли мстить за смерть своих родичей; в случае же, если таких близких родственников не оказывалось, предусматривалось денежное возмещение, размер которого определялся в 40 гривен — сумму очень значительную по тем временам. Эта мера защищала прежде всего «княжеских мужей», которые и перечислены в первой статье «Древнейшей Правды»: «...Аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник (последние два названия обозначали особые категории княжеских слуг. — *А. К.*)... то 40 гривен положити за нь». Но точно такой же суммой защищалась и жизнь новгородцев, в том числе и тех, у которых не имелось местников: «аще изгой будет, любо словенин» — те же 40 гривен защищали их жизнь[60]. Так законодательство Ярослава, в равной мере защищавшее и княжеских дружинников, и новгородских «мужей», примиряло прежде противостоявшие друг другу лагеря раннесредневекового Новгорода.

Твердо установленные суммы штрафов предусматривались и в случае нанесения телесных повреждений, а также оскорблений действием — причем речь шла не только о поединке или схватке где-нибудь на новгородской улице, но и о ссоре на княжеском пиру: среди орудий, которыми можно нанести друг другу увечье, упоминались не только меч, но и батог, жердь и даже чаша или рог. По крайней мере, в одном отношении наемники-варяги были поставлены даже в приниженное по сравнению с новгородцами положение: именно так, по-видимому, следует понимать текст 10-й статьи «Древнейшей Правды»: «Аще ли ринеть (толкнет? — *А. К.*) мужь мужа... 3 гривне, а видока (свидетеля. — *А. К.*) два выведеть; или будеть варяг или колбяг[61], то на роту (клятву. — *А. К.*)». То есть: в случае, если обидчиком окажет-

ся варяг или колбяг, свидетели не нужны, достаточно клятвы самого пострадавшего[62].

Вероятно, именно новгородцы настояли на внесении в текст «Правды Ярослава» и особой статьи, предусматривающей выдачу беглого раба («челядина»), укрывшегося у иноземцев: «Аще ли челядин съкрыется любо у варяга, любо у колбяга, а его за три дни не выведуть, а познають и в третии день, то изымати ему свои челядин, а 3 гривне за обиду»[63]. Надо полагать, такие случаи были нередкими в Новгороде.

Принятие «Правды Ярослава» далеко вышло за рамки Новгорода, сыграв исключительную роль в становлении древнерусской государственности и социальной и политической истории Киевской Руси. Предназначенные первоначально лишь для новгородцев, нормы «Древнейшей Правды» впоследствии, после победы Ярослава и его окончательного утверждения в Киеве, распространились на население всего Древнерусского государства. И если ранее княжеские установления касались прежде всего дружины, почти не затрагивая прочего населения, живущего по неписаным обычаям (так называемому «обычному праву»), то теперь нормы, выработанные в княжеской и дружинной среде, «начинают воздействовать на обычай, разлагая и приспосабливая его к изменившимся социальным отношениям», затрагивают все восточнославянское общество. А потому, писал крупнейший советский исследователь средневековой Руси Александр Александрович Зимин, «Древнейшую Правду князя Ярослава Владимировича можно в известном смысле назвать правовым оформлением процесса создания Древнерусского государства»[64].

Установлениям Ярослава была уготована долгая жизнь: пополняясь новыми законами, «Русская Правда» просуществует в качестве действующего судебника вплоть до XV века. Что же касается самого князя, то принятие им первого в древней Руси свода писаных законов принесет ему еще одно прозвище, которым наградят его книжники позднейшего времени — «Правосуд» («Прав Суд»)[65].

Так Ярослав сумел добиться мира в Новгороде. И варяги, и новгородцы согласились войти в состав его войска, причем последние, несмотря на учиненную князем расправу, по-прежнему пребывали в явном большинстве. Бежавшие от княжеского гнева вернулись в город и, наверное, также поспешили присоединиться к княжескому войску. Словом, Ярослав оказался готов к тому, чтобы вступить в братоубийственную войну, начавшуюся в Русском государстве летом 1015 года.

Глава четвертая

БОРИС И ГЛЕБ

Так что же происходило тогда на юге Руси? Какой оборот приняли события в княжеском семействе к тому времени, когда Ярослав решился наконец вмешаться в них? Без рассказа об этих событиях нам едва ли понятна будет вся последующая история Ярослава.

...Смерть настигла Владимира не в самом Киеве, но в подгородном сельце Берестовом, столь любимом им в последние годы жизни. Он умер днем, и хотя смерть его, по-видимому, не стала ни для кого неожиданностью, близкие к нему люди в первую минуту должны были растеряться, не зная, что им теперь надлежит предпринять. Как мы знаем, Владимир хотел видеть своим преемником Бориса и делал все возможное для того, чтобы передать ему власть. Но в нужное время Бориса не случилось поблизости: исполняя отцовскую волю, он отправился во главе дружины искать «заратившихся» печенегов. По той же причине рядом с умирающим не оказалось и многих воевод, а те, что остались в Киеве, как выяснилось, отнюдь не горели желанием исполнять его предсмертную волю.

В сложившейся ситуации все зависело от того, кто первым из братьев сумеет завладеть освободившимся княжеским престолом. Согласно обычаю все они, как прирожденные князья, имели на это равные права. Привлекая к себе Бориса, Владимир в какой-то мере нарушал обычай. Но он так и не сумел довести дело до конца и, по-видимому, даже не оставил каких-либо письменных распоряжений на этот

На рис. — шиферная иконка святых Бориса и Глеба. XIII век.

счет. С его смертью все его намерения установить определенный, зависящий от воли правящего князя порядок престолонаследия пошли прахом.

Судьба распорядилась так, что первым из сыновей Владимира — по крайней мере, из дееспособных сыновей — о смерти отца узнал именно пасынок Святополк. Как мы помним, он был заключен Владимиром под стражу в Вышгород — но как раз это обстоятельство удивительным образом помогло ему. Вышгород находился вблизи Киева, и именно туда в первую очередь поспешил кто-то из находившихся подле Владимира слуг с тайным известием о смерти князя. Скорее всего, с самого начала в окружении Владимира имелись сторонники Святополка. По-видимому, туровский князь умел ладить с людьми, и не только вышгородские мужи горячо и преданно поддерживали его. На Руси всегда питали добрые чувства к людям, обиженным властью, и в конфликте Владимира и Святополка многие в тайне держали сторону опального княжича.

Сам же Святополк, наверное, ни на минуту не забывал о своем родном отце — законном киевском князе Ярополке, свергнутом и злодейски убитом Владимиром. В его глазах Киев принадлежал ему на правах отчины, как владение Ярополка, завещанное его отцу еще великим Святославом. Остальные Владимировичи вообще не имели на него прав.

Смерть Владимира немедленно освобождала Святополка из заточения и вновь превращала в полноправного князя. Наверное, за время своего пребывания под стражей он успел не только завязать приятельские отношения с вышгородцами и киевлянами, но и досконально продумать свои дальнейшие действия. Как никто другой, он оказался готов к предстоящей схватке за власть. В политике так бывает сплошь и рядом: именно проигравший, казалось бы, потерявший все шансы на успех оказывается в более выигрышном положении, нежели тот, кто изначально почивает на лаврах победителя. Впрочем, сказанное относится лишь к людям сильным и по-настоящему целеустремленным. Святополк, очевидно, принадлежал к их числу. Во всяком случае, получив долгожданное известие, он немедля вскочил на коня и, вероятно, уже к исходу того же дня достиг стольного Киева[1].

Здесь, кажется, еще никто не знал о смерти Владимира. Это также оказалось на руку Святополку, ибо давало ему выигрыш во времени и в выборе средств для достижения желанной цели — полной и безоговорочной власти. Потому-то и сделано все было тихо, можно сказать, тайно. «Умер же [Владимир] на Берестовом, и потаили [смерть] его, потому

что был Святополк в Киеве: ночью же, разобрав помост между двумя клетями, обернули его в ковер и спустили на веревках на землю; возложили на сани, повезли и поставили в церковь Святой Богородицы, которую он сам создал»[2]. Так описывает киевский летописец похороны князя Владимира, совершенные в соответствии со старым славянским языческим обрядом.

В Киеве же был совершен другой, христианский обряд прощания с умершим. С плачем и пением подобающих песнопений и при скоплении множества людей киевские священники вложили тело Владимира в мраморный саркофаг, вывезенный самим князем из завоеванной им Корсуни. Владимир обрел последний приют в построенной им Десятинной церкви, рядом со своей женой Анной.

Так Святополк утвердился в Киеве. Киевляне приняли его на княжение, кажется, искренне отдавая ему предпочтение перед другими претендентами на великокняжеский престол. Впрочем, новый правитель немедленно постарался подкрепить расположение горожан щедрыми подарками. «Святополк же сел в Киеве по отце своем; и созвал киевлян, и начал раздавать им имение (имущество. — *А. К.*)...» — свидетельствует летописец; и затем еще раз, чуть ниже: «Святополк же окаянный начал княжить в Киеве и, созвав людей, начал раздавать одним корзны (одежды. — *А. К.*), а другим кунами (деньгами. — *А. К.*), и раздал множество»[3]. Правда, автор летописи особо оговаривает, что киевляне, хотя и приняли подношения Святополка, сердцами оставались не с ним, но с Борисом, с которым ушли в поход против печенегов их братья — киевское войско. Но эта оговорка, по-видимому, навеяна последующей историей Святополка Окаянного. На самом деле, как мы увидим, ни дружина, ни киевляне так и не поддержат Бориса и останутся — по крайней мере, на первых порах — верны Святополку.

Важнее для нас другое свидетельство летописца, а именно двукратное указание на то, что Святополк «созывал» киевлян, то есть, надо полагать, собирал их на вече. Надо сказать, что при Владимире вече собиралось в Киеве и других княжеских городах только в исключительных случаях: мы можем вспомнить в этой связи лишь драматические события осады печенегами Киева весной 969 года и Белгорода в 997 году — оба раза без всякого участия и даже вопреки воле князя. Владимир предпочитал решать вопросы со своими боярами и особо приглашенными им «старцами градскими». Святополк же, по-видимому, собирал всех киевских «мужей» — то есть в какой-то степени шел вразрез с прежней

политикой Владимира. В этом отнюдь не было проявления какого-то свойственного ему демократизма, как может показаться на первый взгляд; скорее, он подчеркнуто проявлял верность традиции, обычаю. Как мы знаем из последующей истории древней Руси, признание князя вечем неизбежно сопровождалось заключением особого «ряда», соглашения между князем и горожанами[4]. Наверное, заключение такого «ряда» также способствовало поддержке Святополка со стороны киевлян.

О том, что происходило дальше, мы знаем в основном из трех сохранившихся древнерусских источников — летописного рассказа об убиении Святополком Окаянным князей-мучеников Бориса и Глеба (статья 1015 года), «Сказания о святых», принадлежащего перу неизвестного автора (эти два памятника в основном совпадают друг с другом) и «Чтения о Борисе и Глебе» преподобного Нестора (рассказ которого отличается во многих существенных деталях)[5]. Взаимоотношение всех трех источников, их взаимное влияние друг на друга и время составления остаются до сих пор не выясненными[6]. В свою очередь, эта неясность мешает нам представить более или менее достоверную картину происходивших событий, тем более что иностранные источники, описывающие ход русской смуты 1015—1018 годов, почти ничего не знают как раз о ее первом, начальном этапе.

В целом, события можно представить следующим образом. Придя к власти, Святополк предпринял целый ряд шагов, которые должны были упрочить его положение на столь легко доставшемся ему киевском престоле. Вероятно, сразу же он отправил посланцев к польскому князю Болеславу, спеша известить его о смерти Владимира. В то время Болеслав был занят исключительно германскими делами (в мае 1015 года началась его третья по счету война с германским императором Генрихом II) и потому не мог оказать Святополку военную помощь. Но на моральную поддержку и на надежный тыл на своих западных границах Святополк вполне мог рассчитывать. Кроме того, Болеслав имел более или менее прочные связи с печенегами — постоянными недругами Руси. Мы не знаем, предполагал ли Святополк с самого начала задействовать печенегов в своей борьбе с братьями. Возможно, что и нет. Но он мог использовать влияние польского князя на кочевников хотя бы для того, чтобы на время избавить Киев от печенежской угрозы. И действительно: обычного нашествия печенегов на Русь, как это все-

гда бывало при смене правителей Киевского государства, на сей раз не произошло.

Главной же проблемой для Святополка становилась проблема внутриполитическая. Он не мог не понимать, что его ждала неизбежная и кровавая борьба за власть (пожалуй, даже в том случае, если бы он добровольно уступил Киев кому-либо из братьев). И Святополк, пользуясь благоприятно сложившейся для него ситуацией, решил опередить своих противников и нанести удар первым — удар внезапный, безжалостный и точный.

Как можно догадываться, основную опасность для него представляли Ярослав и Борис. Оба располагали значительными военными силами — то есть как раз тем, чего пока не доставало самому Святополку. Напомним, что Ярослав до времени пребывал в полном неведении относительно того, что происходило в Киеве. Святополку следовало воспользоваться этим и прежде всего не допустить объединения его с Борисом или другими братьями. Как следует из источников, он попытался и дальше сохранить в тайне отцовскую смерть, на время ограничив или вовсе запретив выезд из Киева[7]. Но если в отношении Ярослава эта мера могла сработать, то Борис находился слишком близко к месту событий и неизбежно должен был узнать о случившемся.

Установить полную информационную блокаду Святополку, конечно, не удалось. Уже вскоре некие доброхоты поспешили к Борису, возвращавшемуся из печенежского похода, и известили его об отцовской смерти, а затем и о злых намерениях Святополка. Несколько позже, уже после гибели Бориса, тайный гонец от Предславы сумел достичь и Новгорода. Но для многих других отдаленных русских земель все происшедшее оставалось в тайне.

Между тем Борис во главе отцовской дружины приближался к Киеву. По свидетельству Нестора, может быть, несколько преувеличенному, под рукой у него находилось до восьми тысяч человек, отлично вооруженных и полностью подготовленных к ведению войны[8]. Эта была внушительная рать, с помощью которой он, несомненно, мог бы занять Киев и вытеснить оттуда или даже захватить в плен Святополка. Нужны были решительные действия, но Борис, в отличие от Святополка, оказался не готов к ним. Вместо того чтобы немедленно двинуться к Киеву, к чему и призывала его дружина, он остановился на дальних подступах к стольному городу, на реке Альте, притоке Трубежа (являющегося, в свою очередь, притоком Днепра), недалеко от города Переяславля. В сам город, однако, Борис не вошел.

Эта медлительность дорого обошлась Борису и по существу обрекла его на поражение и гибель. Ибо в глазах большинства своих подданных он проявил слабость — непростительную и гибельную для князя. Почему так произошло? Почему он не использовал выгоды своего положения для достижения победы? Ответ на эти вопросы, к сожалению, дать уже невозможно.

Жития святых братьев с самого начала изображают Бориса в ореоле мученика и подвижника. Узнав о смерти отца, он и не думает о какой бы то ни было борьбе за власть, но лишь предается горести и скорби, которые, конечно же, понятны нам, ибо мы знаем о его горячей любви к отцу и горячей любви отца к нему. «И яко услыша святый Борис (об отцовской смерти. — *А. К.*), начал телом утерпевати (слабеть. — *А. К.*), и лицо его все слез исполнися, и слезами разливаяся, и не мог говорить... "Увы мне, свет очей моих... Увы мне, отче и господине мой! К кому прибегну, к кому возрю?!"... "Увы мне, как же зашло ты, солнце мое, а меня и не было рядом? Если бы был, сам бы, своими руками, честное тело твое убрал и гробу предал. Но не я нес доблестное тело твое, не сподоблен был целовать добролепных седин твоих..."» Он будто предчувствует готовность брата убить его — и заранее смиряется со своей участью.

Здесь, на Альтинском поле, и произошло событие, решившее исход его противоборства со Святополком. Дружина покинула Бориса. Летопись и княжеские жития объясняют этот разрыв отказом Бориса «искать» отцовского княжения. Когда он раскинул шатры свои на Альте, рассказывает летописец, воины сказали ему: «Вот, дружина у тебя отчая и воины; пойди, сядь в Киеве, на столе отчем». И отвечал Борис им: «Не стану я поднимать руку на брата своего старейшего. Если умер отец мой, то сей (Святополк. — *А. К.*) будет мне вместо отца». «И услышав это, разошлись воины от него; Борис же остался с одними отроками своими».

Нам нелегко сегодня объяснить эту покорность ростовского князя, как нелегко и ответить на вопрос: была ли эта покорность на самом деле, или древний агиограф изображает Бориса таким, каким, по его мнению, дóлжно представать пред своими врагами князю-мученику, пользуясь при этом привычными образами, заимствованными из агиографической литературы (в частности, из Жития чешского князя-мученика Вячеслава, известного на Руси; влияние этого памятника, по мнению исследователей, сильно ощущается в «Сказании о Борисе и Глебе»[9]). Во всяком случае, было бы неверно видеть в действиях Бориса лишь проявле-

ние слабости или робости. Наверное, дело в ином. Борис, может быть, и готов был занять киевский престол — но лишь по прямому волеизъявлению Владимира или киевлян. Случилось иначе — и он не осмеливался вмешиваться в ход событий, ибо увидел в утверждении Святополка на престоле изъявление уже свершившейся Божьей воли. «Благословен Бог! Не отойду, не отбегу от места сего, не стану противиться брату моему старейшему, но как угодно Богу, так и будет!» Эти слова вкладывает в уста святому Борису диакон Нестор, и хотя Борис едва ли мог отстаивать принцип старейшинства (еще не утвердившийся к тому времени на Руси), для средневекового книжника они с избытком объясняют его подвиг.

Потому ни в летописи, ни в житиях святых братьев мы не найдем описания собственно политической борьбы, то есть именно того, что в первую очередь интересует современного читателя, привыкшего смотреть на события прежде всего с рационалистической точки зрения. Имея в виду эту цель, мы можем воспользоваться лишь отдельными намеками княжеских житий и общими соображениями относительно соотношения сил между отдельными князьями и хода политической борьбы в то время.

Так, у нас есть основания предполагать, что киевляне не готовы были принять Бориса на княжение. Как мы увидим, после его гибели они откажутся принять в город даже его тело. По-видимому, не готовы были оказать поддержку Борису и жители Переяславля — города, возле которого он принял смерть. Во всяком случае, они проявили полное безразличие к его судьбе и не предложили князю укрыться за своими стенами.

Мы не располагаем какими-либо сведениями о прямых переговорах между Святополком и дружиной Бориса, но трудно удержаться от предположения, что новый киевский князь приложил руку к уходу воинов с Альтинского поля. Это было сделать тем проще, что Святополка поддержали киевляне — родичи и соседи тех киевлян, которые находились в войске Бориса.

А послы Святополка появились на Альте как раз в тот момент, когда решалась судьба Владимирова сына. Как свидетельствуют источники, Святополк вступил в переговоры с Борисом, предлагая ему мир и сотрудничество: «Брате, хочу с тобою любовь иметь, а к тому, что отец тебе дал, еще дам!» Борис ответил брату, отправив к нему одного из своих отроков. Кажется, он готов был принять условия, продиктованные братом, признавал Святополка отцом (то есть подчи-

нялся ему как отцу) и надеялся на его снисхождение. Но Святополк уже добился своего: получив известие об уходе Борисовой дружины, он не нуждался более в каких бы то ни было переговорах, а потому попросту задержал Борисова отрока и не дал тому никакого ответа.

Когда, в какой момент принял Святополк решение убить Бориса? Изначально ли замыслил убийство, или такой ход подсказала ему логика политической борьбы? Или, может быть, все получилось случайно, вопреки желаниям киевского князя? Святополк боялся брата как возможного соперника и, вероятно, не до конца доверял киевлянам, опасаясь, что те могут изменить ему, как прежде изменили Борису и посмертной воле самого Владимира. А может быть, тайная ненависть, которую прежде питал Святополк к благополучному и обласканному судьбой брату, с неуемной силой выплеснулась наружу и захлестнула его?

Так или иначе, но он не решился на открытое убийство, но предпочел сделать все тайно, без ведома и согласия киевлян. (По крайней мере, так рассказывают древнерусские источники.) Он обратился к людям, преданным лично ему и связанным с ним особыми узами. Такие люди нашлись в Вышгороде — городе, в котором он пребывал в последние годы жизни Владимира. «Святополк же пришел ночью к Вышгороду, тайно, призвал Путшу и вышгородских болярцев (уменьшительное от «боляре», «бояре». — *А. К.*) и спросил их: "Преданы ли мне всем сердцем?" Отвечали же Путша и вышгородцы: "Можем головы свои положить за тебя". И сказал он им: "Никому не говоря, идите и убейте брата моего Бориса". Они же обещали ему вскоре все исполнить». Летопись и «Сказание о Борисе и Глебе» называют имена этих вышгородских «болярцев» — будущих злодеев и убийц: Путша, Талец, Еловит (или Елович) и Ляшко. «А отец им сотона, ибо таковы слуги бесовы бывают», — добавляет летописец. Отметим особо имя последнего из названных «мужей»: Ляшко значит «поляк»; возможно, он появился в окружении Святополка после его брака с дочерью Болеслава и оставался при князе все эти годы.

Вот как рассказывает о последних днях блаженного князя автор анонимного «Сказания о князьях-мучениках Борисе и Глебе».

В тот день, когда дружина ушла от Бориса, была суббота. В туге и печали, с удрученным сердцем вошел Борис в шатер свой и заплакал, из глубины сердца испуская жалостные гласы: «Не призри слез моих, Владыко, ибо уповаю на Тебя! Да прииму участь рабов Твоих и разделю жребий со

всеми святыми Твоими, ибо Ты еси Бог милостивый!» Он уже знал о готовящемся на него покушении, ибо к нему прибыл некий гонец из Киева с тайной и устрашающей вестью... Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню священнику, остававшемуся с ним, а сам вошел в шатер и стал творить вечернюю молитву «со слезами горькими и частым воздыханием и стенанием многим». Потом лег спать, но был сон его «в мысли многой и в печали крепкой и тяжкой и страшной». И проснувшись рано, до рассвета, увидел Борис, что час уже утренний, а была то святая неделя — воскресный день. И велел Борис священнику своему начинать заутреню; сам же, обув ноги свои и умыв лицо свое, стал молиться Богу, повторяя слова святого псалма: «Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой еси... Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующия ми всуе: зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое» (*Пс. 3*). И еще из Псалтири: «Боже мой! я вопию днем, — и ты не внемлешь мне, ночью, — и нет мне успокоения... Ибо псы окружили меня; скопище злых обступило меня; пронзили руки мои и ноги мои» (*Пс. 21: 3, 17*). «Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя» (*Пс. 7: 2*).

Борис готовился встретить смерть со всем достоинством своим — княжеским и человеческим. Агиограф особо отмечает обряд обувания ног князя-мученика: согласно византийской традиции (а отчасти и в соответствии со славянскими обычаями), этот обряд символизировал принятие высшей, цесарской или княжеской, власти; Борис принимает смерть как полновластный князь, готовый уступить своему брату жизнь, но не княжескую честь. Он очищается и духовно, и телесно: омывает лицо свое чистой водою, а душу — словами святого псалма.

Посланные же Святополком злые убийцы еще ночью подступили к Альте, к тому месту, на котором стоял Борис. Однако, слыша молитву святого, они не решились нападать на него. И тогда услыхал Борис зловещий шепот вокруг шатра своего и понял, что идут убивать его. «И затрепетал он, и потекли слезы из глаз его». Священник же и отрок, прислуживавший Борису, взглянули на святого, «и увидели господина своего печалью и скорбью объятого, и также расплакались горько».

В это время и ворвались в шатер посланцы Святополка. Словно дикие звери, набросились они на святого и пронзили сулицами (короткими копьями) честное его тело. Увидев это, один из отроков Бориса, некий угрин (венгр) по имени Георгий, пал на тело блаженного, прикрывая его собою; они же убили и его вместе с князем. Был тот Георгий более других любим Борисом, рассказывает древний агиограф, и, в знак любви и отличия, князь некогда возложил на него златую гривну — шейное украшение.

Убийцы предали смерти и других отроков князя Бориса. С Георгия же захотели снять златую гривну, но не смогли сделать этого. И тогда они отрубили юноше голову и так сняли драгоценное украшение. После тело Георгия так и не смогли найти на месте побоища; голову же, согласно церковному преданию, обрел родной брат Георгия Угрина, Ефрем. Он также входил в число слуг князя Бориса Владимировича, но по какой-то причине не был вместе со своим князем на Альте и таким образом остался жив. Впоследствии, согласно преданию, Ефрем удалился на реку Тверцу, приток Волги, где близ города Торжка основал странноприимный двор, а затем принял иночество и поставил церковь и монастырь во имя святых братьев Бориса и Глеба. Согласно Житию, преподобный Ефрем Новоторжский умер глубоким старцем 28 января 1053 года. В построенной им церкви вместе с его мощами покоилась и отрубленная глава святого Георгия[10].

Из всех слуг святого Бориса удалось спастись лишь еще одному брату Георгия — будущему иноку Киевского Печерского монастыря Моисею Угрину. О жестокой участи этого юноши нам еще предстоит говорить на страницах книги.

Жития святого свидетельствуют, однако, что Борис умер не сразу. Когда убийцы, посчитав его мертвым, занялись грабежом, он нашел в себе силы и, в оторопе, выскочил из шатра («ибо ранен был не в сердце», — добавляет составитель одной из редакций «Сказания»[11]). «Что стоите и смотрите? Завершим повеленное нам!» — воскликнул кто-то из убийц, вероятно, отличавшийся большим хладнокровием, нежели остальные, завороженно глядевшие на внезапно ожившего князя. «Братия моя, милая и любимая! — взмолился к ним будто бы Борис. — Погодите немного, да помолюсь Богу моему!» И вновь он обращается с мольбой к Господу, а затем, взглянув на убийц своих «умильными глазами, с лицом опавшим, и слезами весь обливаясь», произнес: «Братия, приступивше, заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам, братия!» И когда он го-

ворил так и все слышавшие его испытывали глубокую жалость, один из убийц, подойдя, ударил его в самое сердце.

Этого эпизода нет в летописи. Наверное, можно предположить, что он домыслен древним агиографом для того, чтобы усилить ощущение безысходности происходящего, неотвратимости жестокого убийства*. Но так или иначе, а Борис был убит. Случилось это в воскресенье 24 июля**. Тело князя завернули в шатер и, положив на телегу, повезли к Киеву...

Впрочем, в древней Руси, по-видимому, существовала и другая версия убийства святого, которая также нашла отражение в летописи и анонимном «Сказании о святых». Согласно этой версии, Борис был убит вовсе не на Альтинском поле, но позже, уже на пути к Киеву, и не Путшей со своими сообщниками, а некими двумя варягами, специально подосланными Святополком. Авторы названных памятников попытались согласовать обе версии, но сделали это не слишком удачно.

Тело Бориса везли в Киев, рассказывается в «Сказании», как вдруг оказалось, что князь по-прежнему жив. «И когда были они на бору (что это за бор и где он находился, источники не сообщают[13]; в некоторых списках вместо бора упоминается «гора». — *А. К.*), начал он поднимать святую главу свою». Об этом каким-то образом стало известно Святополку. «Уведал же окаянный Святополк, что еще дышит Борис, и послал двух варягов прикончить его. Те же пришли и увидели, что еще жив он; один из них извлек меч и пронзил его в сердце». Поздний украинский вариант «Сказания о святых мучениках» (по рукописи Киево-Печерской лавры XVII—XVIII веков) приводит другие подробности, в том числе и такую, важность которой мы оценим несколько позже. Убийцы-варяги, оказывается, изначально находились среди слуг, везших тело святого князя; они не только добили мечом начавшего оживать Бориса, но и отсекли ему голову. «А коли были в горе, — читаем в источнике, написанном на

---

* Показательно, что подобные эпизоды с внезапным оживлением князя-мученика встречаются и в других агиографических памятниках. Из русских параллелей назовем летописную «Повесть об убиении князя Андрея Боголюбского».

** 24 июля 1015 года, действительно, приходится на воскресенье. Это, однако, не может само по себе свидетельствовать о достоверности источника, ибо древнерусские книжники легко умели высчитывать день недели, на который падало то или иное число. Отметим также, что в русских святцах встречается еще одна дата гибели св. Бориса — 12 августа[12].

староукраинском языке, — почал еще святый голову подносити, что обачивше (увидев. — *А. К.*) слуги Святополковы, казали двом варягом сердце его мечем пробить и голову... отъять. И так приял о Христа пред мечем мученическую корону»[14].

Но если так, то, может быть, Путша и его сподручные вообще не получали приказа убить Бориса, но должны были лишь доставить его в Киев и представить пред очи нового киевского князя? В таком случае не заставили ли Святополка какие-то новые обстоятельства (о которых мы ничего не знаем) изменить первоначальный план, почему и появились на «бору» зловещие варяги с повелением умертвить захваченного в плен князя? Или же Святополковы слуги сами проявили излишнее рвение, а Святополк даже и не помышлял о подобной развязке? Последнее предположение, пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов.

В общем, вопросов возникает немало — как всегда в тех случаях, когда мы сталкиваемся с противоречиями в источниках и необходимостью согласовывать различные содержащиеся в них версии событий. «Варяжская» версия убийства Бориса не получила дальнейшего развития в русской агиографической традиции, сохранившись лишь в качестве явной вставки в летопись и «Сказание». (А в том, что этот эпизод носит вставной характер, не приходится сомневаться, ибо о смерти святых князей в обоих памятниках уже говорилось, и убийцы — Путша и «Путшина чадь» — называются прямо.) Но здесь нам придется сделать довольно пространное отступление и коснуться еще одного источника, возможно, имеющего отношение к тому же злодейскому убийству. А заодно затронуть весьма щекотливый, но крайне важный для нас вопрос: насколько вообще достоверна версия (или версии) русских источников, сообщающих об убийстве Бориса посланниками Святополка? Дело в том, что исследователи давно уже обратили внимание на некоторые черты сходства между летописным рассказом об убийстве Бориса и пространным и чрезвычайно подробным повествованием скандинавской «Пряди об Эймунде Хрингссоне», рассказывающей о гибели от рук Эймунда и его товарищей некоего «конунга Бурицлава». Мы еще будем говорить об обстоятельствах появления Эймунда на Руси и о его роли в междоусобной княжеской борьбе. Пока же отметим одно, в высшей степени существенное обстоятельство: Эймунд находился на службе у «конунга Ярицлейва из Хольмгарда» (то есть князя Ярослава Новгородского) и именно по его повелению расправился с «Бурицлавом».

Помимо прочего, скандинавский источник интересен тем, что показывает, как именно могло происходить тайное убийство русского князя наемниками-скандинавами. Даже если этот рассказ и не имеет прямого отношения к гибели Бориса (и вообще к русским политическим реалиям начала XI века), он содержит уникальные и ярчайшие подробности военного быта, тактики и способов ведения войны в то время. Потому обратимся к тексту «Пряди об Эймунде», точнее, к тому ее эпизоду, который связан с гибелью князя «Бурицлава».

Однажды, рассказывается в саге, Эймунд, находившийся на службе у «конунга Ярицлейва» (который уже в течение нескольких лет враждовал со своим братом «Бурицлавом»), позвал к себе своего родича Рагнара и десять других мужей, в числе которых названы исландец Бьёрн, Гарда-Кеттиль (то есть Кеттиль из Гардов, получивший свое прозвище, вероятно, в связи с неоднократными поездками на Русь), некий Асткелль (Аскель) и «двое Тордов». Все двенадцать переоделись купцами (для того, чтобы скрыть цель своей поездки) и отправились в путь, взяв с собой запасного коня, на котором повезли боевое снаряжение и припасы. «Они въехали в лес и ехали весь тот день, пока не стала близка ночь». Эймунд нашел большой дуб, вокруг которого было «прекрасное поле и широкое открытое место». По некоторым, известным одному ему признакам он догадался, что именно здесь остановится на ночлег «Бурицлав конунг»; это место было, несомненно, лучшим для стоянки предводителя войска. С помощью веревки скандинавы сумели пригнуть дерево к земле, так что ветви опустились до самой земли. Они закрепили концы веревки и тут услышали, что приближается большое войско, впереди которого несли знамя конунга. Это было войско Бурицлава. Шатер конунга был поставлен на том самом месте, которое предугадал Эймунд. «Шатер у конунга был роскошный и хорошо устроен: было в нем четыре части и высокий шест сверху, а на нем — золотой шар с флюгером». В лесу стемнело. Эймунд и его товарищи видели, как в шатрах зажглись огни, «они поняли, что там теперь готовят пищу». Далее рассказчик саги вводит еще один сюжет, кажется, не связанный с основным сюжетом повествования, но весьма характерный для саг: Эймунд, переодевшись нищим и привязав себе козлиную бороду, отправился с двумя посохами к шатру конунга и выпросил себе пищи. Заодно он «хорошо заметил... где лежит в шатре конунг». Лазутчики вдоволь наелись, после чего Эймунд разделил своих людей: шестерых он оста-

вил в лесу, чтобы они стерегли коней «и были готовы, если скоро понадобится выступить», сам же с оставшимися отправился к шатрам. Рагнвальд (Рёгнвальд), Бьёрн и остальные исландцы, умевшие хорошо орудовать тяжелым боевым топором и наносить крепкие удары, остались возле согнутого дерева, готовые обрубить ветви дерева и удерживающую его веревку, как только им будет подан сигнал. Сам же Эймунд и несколько его товарищей незаметно подкрались к шатру. Враги безмятежно спали, усыпленные тяжким походом и опьяневшие от выпитого накануне вина. Люди Эймунда «подходят... к шатру, и завязывают петлю на веревке, и надевают на древко копья, и накидывают на флюгер, который был наверху на шесте в шатре конунга, и поднялась она до шара, и было все сделано тихо». Они дали сигнал своим товарищам, дернув веревку, которую заранее протянули. Те принялись рубить дерево, «и оно быстро выпрямляется, и срывает весь шатер конунга, и закидывает его далеко в лес». Эймунд ворвался в шатер и тут же убил ничего не подозревающего князя, а также «многих других», находившихся там. «Он взял с собой голову Бурицлава конунга» и стремительно бежал со своими товарищами, так что их никто не успел заметить.

Рано утром следующего дня они были уже дома. «И идет Эймунд к Ярицлейву конунгу и рассказывает ему всю правду о гибели Бурицлава. “Теперь посмотрите на голову, господин, — узнаете ли ее?” Конунг краснеет, увидев голову. Эймунд сказал: “Это мы, норманны, сделали это смелое дело, господин; позаботьтесь теперь о том, чтобы тело вашего брата было хорошо, с почетом, похоронено”». «Конунг Ярицлейв» ощутил явное смущение, услыхав слова своего дружинника, и поручил им самим, как непосредственным виновникам гибели брата, позаботиться о его погребении. Норманны выехали из города и тем же путем добрались до стана Бурицлава. Как и ожидал Эймунд, все войско Бурицлава «разошлось в несогласии». Они обнаружили тело конунга брошенным, «и никого возле него не было. Они обрядили его и приложили голову к телу и повезли домой. О погребении его знали многие»[15].

Рассказ скандинавского источника — при всех существенных его отличиях от летописного и житийного рассказов о гибели Бориса — имеет с последними некоторые очевидные совпадения. В обоих случаях сообщается о тайных убийцах, подосланных к русскому князю его братом; об уходе войска, оказавшегося в растерянности и «несогласии». В обоих случаях убийство происходит под утро, в шатре; тело

убитого князя привозят к Киеву и предают погребению, причем место погребения становится известно многим (надо полагать, как предмет особого почитания). Если же учитывать сходство в звучании имен обоих князей — Борис и Бурицлав, то невольно закрадывается предположение, что в скандинавском источнике отразилась одна из версий убийства князя Бориса Владимировича.

Но если так, то нет ли у нас оснований предпочесть версию скандинавского источника в самом главном и самом существенном? Не причастен ли к гибели князя Бориса (а заодно, может быть, и Глеба?) князь Ярослав Владимирович? Летопись и Жития Бориса и Глеба приписывают все мыслимые преступления окаянному Святополку, превознося Бориса и Глеба, а вместе с ними и их брата Ярослава, отмстившего за их смерть и увековечившего их память. Но может быть, это как раз и является очередным «агиографическим преувеличением»? Может быть, преступления Святополка на самом деле совершены совсем другим человеком, а именно Ярославом? Излишне говорить, насколько изменяет такое предположение наши представления о ходе русской смуты 1015—1019 годов и, тем более, нашу оценку личности новгородского князя.

Надо признать, что столь кардинальное переосмысление событий, связанных с гибелью первых русских святых, прежде всего Бориса, стало в последние десятилетия весьма распространенным, можно сказать, модным, получив отражение как в специальных исторических исследованиях, так и в популярных работах[16]. «...Святополку после его бегства из темницы явно было не до покушений на братьев. Да и зачем ему было этим заниматься?» — задается, например, вопросом современный исследователь. И далее воссоздает поистине удивительную картину событий, последовавших после кончины Владимира:

«Киевский престол занял Борис, которого отец любил, по свидетельству летописца, более других сыновей и всегда держал рядом с собой. Ярослав... выступил против нового киевского князя и в битве на Днепре (вероятно, осенью 1015 года) одержал победу. В результате киевский престол перешел к нему.

Тем временем из темницы удалось бежать Святополку, который отправился не мешкая к своему тестю, рассчитывая с его помощью захватить власть в Киеве, принадлежавшую ему по праву старшего в роду. Пока он собирался с силами, Борис, опираясь на поддержку печенегов (! — *А. К.*), попытался вернуть утраченную власть. Но киевляне, возглавляе-

мые Ярославом и поддержанные довольно большим отрядом наемников, дали ему отпор... В следующем году новая попытка Бориса вернуть Киев закончилась для князя-неудачника трагически — 24 июля 1017 г. (? — *А. К.*) его убили варяги, посланные Ярославом...»[17]

Вот так, ни больше ни меньше. И Борис, оказывается, приводит печенегов на Русь, и Ярослав трижды воюет против него и затем убивает Бориса с помощью наемников-варягов, и оклеветанный Святополк практически не участвует в междоусобной войне... Картина разительно противоречит показаниям всех русских источников. Но, может быть, она подкрепляется показаниями источников иностранного происхождения? Рискуя утомить читателя соображениями источниковедческого характера, позволю себе все же более подробно остановиться на аргументации сторонников данной точки зрения.

Итак, в распоряжении обвинителей Ярослава имеются два основных аргумента. Во-первых, это свидетельство уже известного нам хрониста Титмара Мерзебургского о бегстве Святополка после смерти Владимира в Польшу, к своему тестю Болеславу Храброму, из чего, казалось бы, можно сделать вывод о его отсутствии на Руси в момент трагической кончины Бориса; этот вывод, между прочим, является краеугольным камнем всей теории невиновности Святополка в пролитии братней крови. Как мы знаем, Святополк находился в заточении до смерти Владимира; «впоследствии, — пишет Титмар, — сам ускользнув, но оставив там жену, он бежал к тестю»[18]. Однако здесь необходимо сделать одну существенную оговорку: Титмар вовсе не говорит о *немедленном* бегстве Святополка из Киева; следовательно, его сообщение не противоречит показаниям русских источников, которые также свидетельствуют о бегстве Святополка в Польшу, но, в отличие от немецкого хрониста, *точно* датируют это бегство временем после поражения Святополка от Ярослава у Любеча в 1016/17 году. В свою очередь, Титмар приводит сведения о совместных действиях Святополка и Болеслава против Ярослава, начиная именно с этого времени. Более того, политическая ситуация 1015—1017 годов, ход польско-германской войны и действия Болеслава свидетельствуют против предположения, будто уже тогда князь Святополк находился в Польше[19].

Титмар, действительно, не знает или не сообщает о первом этапе войны между Святополком и Ярославом — но это как раз не должно вызывать удивления. Очевидно, что русские реалии интересовали его не сами по себе, но лишь в связи с общеевропейскими событиями. Сведения о Руси попадают в

его «Хронику» прежде всего в связи с историей княжения Болеслава Польского, постоянного противника императора Генриха II. Но как раз на первом этапе русской смуты (до 1017 года) Болеслав не вмешивался открыто в русские дела[20].

Таким образом, остаются показания «Пряди об Эймунде». По-видимому, исследователей, «защищающих» невиновность Святополка, более всего завораживает сходство имен князя Бориса Владимировича и «конунга Бурицлава» скандинавской саги.

Но может ли «конунг Бурицлав» быть отождествлен с князем Борисом? Большинство исследователей — по крайней мере те из них, кто серьезно занимался исследованием «Эймундовой саги» и событий русской смуты 1015—1019 годов, однозначно отрицательно отвечают на этот вопрос. Дело в том, что Эймунд, согласно показаниям самой саги, прибыл на Русь не ранее лета 1016 года (а возможно, еще позднее)[21], то есть *уже после того*, как Борис, Глеб и еще один их брат Святослав были убиты. Он участвует в войнах «конунга Ярицлейва» со своим братом «Бурицлавом»; последний, по словам саги, «...получил бóльшую долю отцовского наследия, и он — *старший из них* (из братьев; выделено мною. — *А. К.*)... Бурицлав держит Кенугард (Киев. — *А. К.*), а это — лучшее княжество во всем Гардарики». Трудно не заметить, что эта характеристика более всего подходит князю Святополку Окаянному, но отнюдь не Борису. Войны между «Ярицлейвом» и «Бурицлавом», в которых участвует Эймунд, продолжаются в течение нескольких лет и наполнены самыми разнообразными событиями; некоторые из них довольно точно совпадают с тем, что мы знаем о войнах Ярослава со Святополком. Следовательно, делают вполне аргументированный вывод исследователи, под именем «Бурицлав» в саге имеется в виду прежде всего князь Святополк Окаянный, хотя надо признать, что образ этот довольно сложен и в нем отразились черты не одного Святополка, но нескольких политических деятелей[22]. (Что же касается самого имени «Бурицлав», то оно заставляет нас вспомнить не столько Бориса, сколько покровителя Святополка и будущего активного участника русской смуты польского князя Болеслава Храброго. В скандинавских сагах польское имя Болеслав устойчиво передается именно таким образом[23].)

Правда, летописи не знают о гибели Святополка от рук наемных убийц. Но это известие саги, по-видимому, можно рассматривать как домысел или, точнее, как вполне характерное для саг соединение в одном источнике различных событий.

Саги проявляют исключительное внимание к генеалогии своих героев, к выяснению их родственных связей. Но только в том случае, если речь идет о скандинавах, то есть о «своих». Все те события, которые происходили за пределами Скандинавии, являлись для составителей саг не более чем фоном, на котором разворачивалась деятельность их главных героев, и здесь говорить о каком-то «историзме» саг, о точном воспроизведении ими реальных событий не приходится. В этом отношении саги оказываются ближе к русским былинам, чем, например, к летописи. В силу специфики их как исторического источника в них не могут не соединяться самые разные сюжеты, самые разные действующие лица, не может не происходить смещения тех или иных хронологических ориентиров, повторения одних и тех же сюжетов применительно к разным персонажам. Наемники-скандинавы, несомненно, находились на службе не только у «Ярицлейва Хольмгардского», но и у других русских князей, в том числе и у Святополка Киевского. Наверное, нельзя полностью исключать того, что в «Прядь об Эймунде», действительно, оказались вплетены припоминания об убийстве скандинавскими наемниками (но не Эймундом, которого тогда еще не было на Руси!) князя Бориса Владимировича, чему не могло не способствовать сходство его имени с именем «Бурицлава». А если так, то это припоминание не может не подкреплять ту версию убийства Бориса, которую мы назвали «варяжской» и которая связана с двумя варягами Святополка, добившими смертельно раненого князя в «бору» по дороге к Киеву. Если принять такое предположение (в принципе, совершенно умозрительное), то кое-какие подробности убийства становятся более понятными. Так, кажется, находит объяснение двукратная посылка убийц к Борису: ведь согласно Саге об Эймунде убийцы сначала принесли пославшему их князю отрезанную голову «Бурицлава»[24], а лишь затем — все тело. Это изъятие головы поверженного врага, о котором, как мы видели, смутно припоминают и русские источники[25], возможно, должно было символизировать состоявшееся убийство, служить доказательством исполнения убийцами воли пославшего их князя. Впрочем, эпизод с отрезанной головой «Бурицлава» скандинавских саг мог быть навеян и другим припоминанием, а именно о злосчастной судьбе Георгия Угрина, одного из отроков Бориса. Но так или иначе, а все эти припоминания и переплетения в тексте скандинавской саги не могут служить основанием для обвинений в убийстве Бориса князя Ярослава Владимировича.

У нас также нет оснований оценивать *все* имеющиеся в нашем распоряжении древнерусские источники как заведомо тенденциозные и сознательно фальсифицирующие суть происходивших событий. Вероятно, мы можем подозревать Жития Бориса и Глеба в определенной тенденциозности, даже предвзятости, следовании тем или иным агиографическим канонам, приукрашивании событий. Но едва ли можно предполагать, что и житийный, и летописный рассказы представляют собой сознательный вымысел от начала и до конца, фальшивку или, как выражается автор цитированного выше исследования, «ребус» или своего рода «инсценировку»[26]. Тем более что общая канва летописного и житийного рассказов подтверждается взаимным сличением различных и относительно независимых друг от друга русских текстов*.

Я отнюдь не стремлюсь к приукрашиванию героя настоящей книги. Читатель уже сталкивался и столкнется еще не раз с неблаговидными деяниями Ярослава, с проявлениями малодушия, неблагодарности, злопамятности с его стороны; нет нужды скрывать или как-то затушевывать их. Ярослав был живым человеком и к тому же политиком, впитавшим в себя все отличительные черты своего жестокого века и своего жестокого ремесла. Но, пожалуй, можно сказать вполне определенно: к смерти своих братьев Бориса, Глеба и Святослава он не приложил руку. Или, по крайней мере, так: у нас нет оснований считать его братоубийцей и приписывать ему те преступления, в которых летопись и Жития (видимо, все-таки справедливо) обвиняют Святополка.

Что же касается последнего, то не нам дано право судить или обвинять его. Впрочем, мы не станем и оправдывать Святополка очередными ссылками на жестокосердие эпохи. Заметим лишь, что у него имелся пример для подражания в лице самого Владимира. Ведь это он некогда — и также с помощью наемников-варягов — убил собственного брата, настоящего отца Святополка, киевского князя Ярополка Святославича, обманом и предательством заманив его в ловушку. Уже было подмечено: погибни Владимир в самом на-

---

* Так, в летописи дважды сообщается о том, что Ярослав получил из Киева известие об уже случившемся убийстве Бориса и немедленно отправил весть Глебу, предупреждая его о кознях Святополка: один раз это известие читается в том фрагменте текста, который совпадает с текстом анонимного «Сказания», второй — независимо от него. Из другого источника — Слова о Моисее Угрине из Киево-Печерского патерика — узнаем о том, откуда получила эти сведения сестра Ярослава Предслава: у нее укрылся Моисей, отрок князя Бориса.

чале своей политической карьеры, и в русскую историю он мог бы войти как злодей и братоубийца. И напротив: одержи Святополк победу над всеми своими противниками, проживи подольше, соверши те или иные подвиги во благо своей державы — и кто знает, не перевесили бы они на незримых весах Истории, заставив нас позабыть о его прежних преступлениях...

Заметим также, что ни Борис, ни остальные Владимировичи не были в полном смысле братьями Святополку. Более того, они приходились сыновьями убийце его собственного отца. Так что в его глазах расправа над Борисом могла выглядеть отнюдь не *братоубийством*, но, скорее, исполнением обычая родовой мести. Но это только в его глазах (да и то, если мы правильно оцениваем мотивы его злодейских поступков). В том-то и дело, что для всего русского общества — и мы уже не раз говорили об этом — приемное сыновство полностью приравнивалось к кровному и братство Святополка по отношению к Борису, Глебу и другим сыновьям Владимира не ставилось под сомнение.

Вернемся, однако, к реальным, а не вымышленным событиям. Итак, Борис был убит. Тело его привезли к Киеву, однако киевляне, только сейчас, кажется, узнавшие о его смерти, не только не осудили злодеяние Святополка, но даже не пожелали принять тело убитого в город. Борис проиграл, удача оставила его, точнее, он сам выпустил ее из рук, и киевляне поспешили избавиться от всяких воспоминаний о несчастном князе, а заодно и от воспоминаний о своих обязательствах перед ним и перед его великим отцом. «И привезли его на Днепр, вложили в ладью и приплыли с ним под Киев, — рассказывает автор Тверской летописи, пользовавшийся, в том числе, и киевскими источниками. — Киевляне же не приняли его, но отпихнули прочь»[27]. Тело Бориса привезли к Вышгороду, можно сказать, в «Святополков» город, и похоронили в простом деревянном гробу возле церкви святого Василия, построенной еще самим князем Владимиром Святославичем в честь своего небесного покровителя Василия Великого. Особо отметим, что похоронили даже не в самой церкви, как всегда хоронили князей[28], а вне ее стен, словно какого-то отступника или злодея. Так Борис обрел покой в городе своих убийц. И вот — вечный парадокс истории — именно этот город станет городом его славы, главным центром почитания Бориса и его брата Глеба, и именно сюда, к их гробницам, потянутся тысячи русских

людей — и простых, и знатных, — прося у святых братьев защиты и покровительства.

«Блажен по истине и высок паче всех град русских и выший град, имый в себе таковое сокровище... Поистине Вышегород наречеся — выший и превыший город всех», — так будет восхвалять Вышгород неизвестный автор «Сказания о святых Борисе и Глебе». И он будет прав, ибо то, что город этот породил убийц святого Бориса, отойдет на второй план, забудется, но то, что он принял святые тела Бориса и брата его Глеба, останется в веках и прославит его «паче всех городов Русских»...

Внешне убийство Бориса выглядело серьезным политическим успехом Святополка. Непосредственная угроза Киеву миновала. Отцовская дружина перешла на его сторону. Как и прежде, он мог всецело рассчитывать на поддержку киевлян. Оставался Ярослав, но он все еще пребывал в Новгороде и, главное, уже не мог соединиться с Борисом. Все складывалось как нельзя лучше для нового правителя Русского государства.

Но успех этот был мнимым, и мы, обремененные знанием последующей истории окаянного Святополка, не можем не понимать этого. Святополк напролом шел к своей цели — полной власти над Киевом и Киевской землей, восстановлению под своей рукой отцовской державы. Ему наверняка казалось, что цель эта благая и справедливая. Да он и в самом деле имел права на Киев — не просто как старший из Владимирова «гнезда», но как Ярополчич, единственный наследник старшего брата Владимира. Однако преследуя справедливую и благую цель, подобно бесчисленному множеству политиков до и после него, также пекущихся о справедливых и благих целях, не упустил ли он из вида, какова будет плата за достижение этой цели в будущем? В его глазах ни Борис, ни Ярослав, ни кто другой из братьев не достойны были власти в той степени, в какой достоин был власти он, Святополк. И он спешил утвердить эту истину, утвердить свою справедливость, не заботясь о средствах, не ожидая часа расплаты. Но цель никогда не оправдывает средств — это непреложный закон истории, увы, никем и никогда не принимаемый во внимание. А между тем нам не дано знать, какова окажется та цель, к которой мы стремимся, достижима ли она в принципе и принесет ли благо нам и тем, кто зависит от нас. Цель призрачна и неуловима, а потому несущественна и слишком часто служит лишь при-

манкой в равной степени для сильных и слабых душ. Средства же к достижению цели, напротив, всецело в наших руках; только они и существенны, только они и зачтутся нам, когда придется давать ответ за все деяния, кои мы совершаем в жизни... Потому-то, отправляя убийц к Борису, Святополк лишь внешне укреплял свою власть. На самом деле братоубийство приближало его конечное поражение. Ибо он противопоставлял себя не только всему Владимирову роду, но и себе самому. Убив раз, он уже не мог остановиться, не мог удержать свою власть без дальнейшего кровопролития, без жестокой расправы над оставшимися в живых братьями.

«И не остановился на этом убийстве окаянный Святополк, но и на бóльшие преступления, в неистовстве своем, начал простираться... Так говорил в душе своей окаянной: "Что сотворю? Если остановлюсь на этом убийстве, то две участи ожидают меня: когда узнают об убийстве братья мои, то, подстерегши, воздадут мне горше содеянного мною. А если и не так, то изгонят меня, и лишусь престола отца моего, и сожаление по земле моей изгложет меня... Добавлю же к беззаконию беззаконие..."» Так описывает чувства, охватившие Святополка, автор «Сказания о святых Борисе и Глебе». И хотя слова, вложенные им в уста Святополка, разумеется, вымышлены, все же они верно отражают ситуацию, возникшую после убийства Бориса. Киевский князь оказался заложником совершенного им преступления.

Расправившись с Борисом, Святополк обратил свои взоры в сторону его единоутробного брата Глеба, князя Муромского, и постарался заманить его в Киев. Не то чтобы он боялся Глеба, но муромский князь мог стать естественным союзником любого из его недругов, кровным местником за Бориса. Глеб еще ничего не знал о случившемся. Святополк решил воспользоваться этим и скрыть от него не только Борисову, но и отцовскую смерть. Он направил Глебу лживое послание, содержание которого передают летопись и «Сказание» о святых братьях: «Приди вскоре. Отец зовет тебя, тяжко болен он». Если верить названным источникам, обман поначалу удался: Глеб немедля поспешил в Киев в сопровождении лишь небольшой дружины.

Маршрут его движения к Киеву вызывает некоторое удивление и, кажется, свидетельствует о том, что Глеб ехал не из Мурома, но скорее из Ростова или Ростовской земли, где мог тогда пребывать. Он двигался сначала верхом, на конях, а затем в «насадах» (ладьях) по Волге, после чего пере-

правился на Днепр возле Смоленска. Этот путь был хорошо известен с древнейших времен и представлял собой разветвление великого торгового пути, соединявшего страны Северной Европы, а также Поднепровье с Востоком. Ехать к Киеву прямым, сухопутным путем, через вятичские земли, по-видимому, в очередной раз отпавшие от власти киевского князя, Глеб, наверное, не решился.

На пути, близ берега Волги, случилось событие, показавшееся зловещим предзнаменованием будущим описателям жизни святого князя. «И пришед на Волгу, на поле потъчеся (споткнулся. — *А. К.*) под ним конь во рве, и наломи ногу малы»[29]. Текст выглядит несколько двусмысленным, поскольку остается неясным, кто же именно сломал («наломил») ногу: конь или всадник. Более поздние памятники разъясняют: споткнувшийся конь упал и повредил ногу Глебу; именно поэтому ему и пришлось пересесть со своими спутниками в ладьи. «И быв на Волзе, спадеся (Глеб. — *А. К.*) с коня, и изломи си ногу. Того деля вседе в насад...»[30] Если все обстояло в действительности именно так, то этим несчастливым для Глеба стечением обстоятельств мы и должны объяснить ту полнейшую беспомощность, с которой князь встретил своих врагов. Впрочем, мы уже говорили о том, что Глеб Владимирович, по-видимому, вообще не отличался решительностью и твердостью характера[31].

Судя по некоторым поздним летописям и отдельным спискам «Сказания о святых», несчастье с Глебом случилось на устье реки Тьмы («Тъми») — надо полагать, Тьмаки, впадающей в Волгу на территории нынешней Твери. «И на том месте ныне монастырь Бориса и Глеба, зовомый Втомичий», — сообщает автор Тверской летописи[32].

Предостережение свыше прозвучало, и Глебу оставалось только внять ему. Хитроумному замыслу Святополка помешал было Ярослав. Как мы помним, он узнал о смерти Владимира и убийстве Бориса от своей сестры Предславы. Ярослав получил самые точные, самые чудовищные подробности альтинской трагедии, которые, в свою очередь, Предславе стали известны, можно сказать, из первых уст — от упомянутого выше отрока Моисея, одного из слуг Бориса, спасшегося от смерти и нашедшего убежище в сельце Предславино, принадлежавшем княгине. Это сельцо на берегу Лыбеди, по-видимому, стало одним из немногих оплотов сопротивления власти Святополка в самом Киеве.

Ярослав полностью осознал масштаб произошедшей трагедии. Не хуже Святополка он понимал важность союза с Глебом и потому также поспешил направить гонца навстре-

чу муромскому князю. Ярослав уже знал об отправленном Святополком лживом письме и предупреждал своего нового союзника о страшной опасности, нависшей над ним: «Не ходи, брате! Отец твой умер, а брат твой убиен Святополком!» Гонцы Ярослава встретили Глеба уже на Днепре, в устье реки Смядыни, в виду города Смоленска[33]. Здесь и остановился Глеб, пораженный зловещим известием.

Так излагают ход событий летопись, анонимное «Сказание о святых», а также Проложные жития Бориса и Глеба.

Но совсем по-другому рассказывает Нестор. Согласно «Чтению о святых мучениках Борисе и Глебе», в момент смерти отца Глеб находился в Киеве и лишь после вокняжения Святополка, опасаясь расправы, бежал «в полунощные страны» (может быть, к Ярославу?). Глеб молится в церкви Святой Богородицы пред животворной иконой, оплакивая смерть отца и свою горькую судьбу, а затем, покинув храм, отправляется к реке, где уже был уготован для него «кораблец». «И так отбежал от законопреступного брата». Уже после убийства Бориса Святополк посылает в погоню за Глебом своих слуг на «борзых кораблецах», приказав им предать смерти теперь уже Глеба. Посередине не названной по имени реки (надо полагать, на Днепре, близ устья все той же Смядыни) окаянные злодеи нагнали князя[34].

Версия Нестора вызывает меньше доверия. Надо сказать, что автор «Чтения» вообще не проявляет большого интереса к политической биографии святых князей. Так, он не знает о княжении Глеба в Муроме, чем, скорее всего, и объясняется его известие о пребывании князя в Киеве. Кроме того, сам маршрут движения Глеба — от Волги к Днепру — показывает, что князь не удалялся от Киева, но приближался к нему.

Подробности же расправы над Глебом и Нестор, и автор «Сказания» передают, в целом, схоже, хотя и с некоторыми существенными различиями. Впрочем, в обоих рассказах вообще немного конкретных деталей.

Когда святой увидел своих убийц, подплывающих к нему по реке, читаем в «Сказании», то он «возрадовался душою», ибо думал, что они плывут приветствовать его («целования чаяше от них прияти»). Убийцы же, напротив, помрачнели и стали грести к нему. Когда ладьи сблизились, «начали злодеи перескакивать в ладью его, обнаженные мечи имея в руках своих, блещущие, словно вода. И сразу же у всех, бывших в ладье с Глебом, весла из рук выпали, и все от страха помертвели».

Нестор добавляет к этому, что воины Глеба, увидев приближающихся к ним врагов, «взяли оружия свои, хотя про-

тивиться им. Святый же Глеб взмолился к ним: "...Братия мои... Если станем противиться им, и вас иссекут, и меня погубят. Но молю вас, братия мои, не противьтесь им, но пристаньте к берегу; я же в своем корабле останусь посреди реки... Если же и схватят меня, то не погубят, но... приведут меня к брату моему. Он же, увидев меня, умилосердится и не погубит меня"». Слыша эти слова, воины Глебовы покинули «кораблец», с жалостью глядя на своего князя, остающегося с немногими отроками посередине реки... Но эта картина слишком напоминает описанную Нестором сцену ухода Борисовой дружины с Альтинского поля. Впрочем, в описании самого нападения «окаянных» Нестор сближается с автором «Сказания»: «И вот нечестивые приблизились к ним и, ухватив корабль за уключины, привлекли к себе. Те же, которые были на корабле со святым, сидели, положив весла, печалясь и плача о святом».

Автор «Сказания» вкладывает в уста Глебу слова, исполненные щемящей жалости к молодости и беззащитности святого князя. Эта мольба Глеба, обращенная к его убийцам, — едва ли не самое проникновенное место во всей древнерусской литературе: «Не деите (не трогайте. — *А. К.*) мене, братия моя милая и драгая! Не деите мене, ни ничто же вы зла сътворивша (никакого зла не причинившего вам. — *А. К.*)! Не брезете (пощадите. — *А. К.*), братия и господье, не брезете! Кую обиду сътворих брату моему и вам, братие и господье мои? Аще ли кая обида, ведете мя к князю вашему, а к брату моему и господину. Помилуйте юности моее, помилуйте, господье мои!.. Не пожьнете (не пожинайте. — *А. К.*) от жития не съзрела (не созревшего. — *А. К.*), не пожьнете класа (колоса. — *А. К.*), не уже съзревша, но млеко беззлобия носяща (то есть соком беззлобия налитого. — *А. К.*)! Не порежете лозы, не до конца въздрастша!.. Се несть убийство, но *сыворезание*!..»

Глеб, вероятно, не был отроком в нынешнем смысле этого слова, но агиограф изображает его таковым, изображает для того, чтобы усилить ощущение несправедливости содеянного. Он изображает Глеба безвинным агнцем, закланным на жертвеннике греха и злобы, подобно тому, как с непорочным Агнцем сравнивается в Евангелиях Христос. И тем ужаснее роль окаянных убийц, не устыдившихся жалостливых слов своей жертвы.

Со слезами на глазах молился Глеб Господу, когда один из убийц, некий Горясер, повелел зарезать святого князя. Наверное, не случайно имя этого окаянного прислужника Святополка сохранилось в памяти потомков. Слишком уж

красноречивым показалось оно составителям княжеских житий. В самом деле, в нем и горе, и горечь, и горящая сера — воистину оно достойно стать именем прислужника преисподней. Это одно из множества *говорящих* имен русской истории — увы, наполненной подобными именами злодеев и убийц. Автор приводит и другое имя — непосредственного убийцы Глеба. Среди слуг князя находился повар (или «старейшина поваром», как уточняет Нестор) — некий Торчин. Очевидно, он был торком (гузом), представителем тюркского кочевого народа, жившего за Волгой. Русские в то время не враждовали с торками; напротив, еще отец Ярослава князь Владимир вступил в союз с ними и вместе воевал против Волжской Болгарии и, вероятно, Хазарии. Именно Торчину Горясер и приказал немедля исполнить свое повеление: «Возьми нож свой, зарежь господина своего, тогда сам избежишь злой смерти!» Торчин отнюдь не захотел уподобиться блаженному Георгию, одному из защитников святого Бориса, но предпочел сохранить свою жизнь — пусть и ценой чужой жизни. Он ухватил святого за голову и умелым движением мясника перерезал ему гортань. И повар, выступающий в роли убийцы, и выбор орудия убийства — поварского («овчя») ножа — вновь знаменуют жертвенность этой смерти.

«И закла... яко агня (агнца. — *А. К.*) непорочна и незлобива... И принесеся жертва чиста Господеви, и взыде в небесныя обители к Господу, и узре желанного своего брата, и восприяста (Борис и Глеб. — *А. К.*) венцы небесныя, их же и возжелали, и возрадовались радостию великою неизреченною...»

Смерть блаженного князя случилась 5 сентября, в понедельник. Тело его бросили на берегу, там же, где было совершено убийство. «И положили его в дубраве, между двумя кладами (колодами. — *А. К.*), и прикрыли, и рассекли кораблец его, и отошли убийцы злые»[35]. Здесь, в безвестности, и пребывало тело святого князя в течение долгого времени, пока Ярослав не повелел перенести его в Вышгород и похоронить с честью возле гробницы Бориса. Так соединились тела святых братьев, как соединились в небесах их безвинные души...

Приблизительно к этому же времени — второй половине 1015-го или 1016 году — относится убийство еще одного сына Владимира — Святослава, княжившего в Древлянской земле. «Святополк же сей окаянный и злый убил Святослава, послав в горы Угорские, когда бежал тот в Угры», — рассказывает летописец[36]. «Угры» — Венгрия; «горы Угорские» — Карпаты.

Причины и обстоятельства гибели Святослава остаются не вполне ясными. «Святополк... послал тотчас на Святослава Древлянского и велел его убить, понеже оной имел удел свой ближе всех ко Киеву», — писал по этому поводу В. Н. Татищев[37]. Однако едва ли одна только близость Древлянской земли к Киеву двигала Святополком. Отметим важное обстоятельство: Святослав устремился в Венгрию — может быть, потому, что находился в свойстве с правителями этой страны (что предполагал тот же Татищев[38]). Но с Венгрией, несомненно, был каким-то образом связан и князь Борис Владимирович, среди слуг которого, напомню, имелись, по крайней мере, три «угрина». Возможно, бегство Святослава в Венгрию имело целью создание некой коалиции, направленной против Святополка и его покровителя Болеслава Польского; возможно также, что создание такой коалиции предполагал еще Борис. В этом был прямой расчет — в то время Венгрия находилась в прочном династическом союзе с Германской империей, в свою очередь, воевавшей с Польшей: король Венгрии Стефан (Иштван) I был женат на Гизеле, сестре императора Генриха II, главного врага Болеслава. Но Святославу не удалось достичь Венгрии — в Карпатских горах его настигли и убили сторонники Святополка.

Из поздних русских летописей известно, что у Святослава имелся сын по имени Ян[39]. Однако о судьбе его источники умалчивают. Умер ли Ян Святославич еще до начала братоубийственной войны, погиб ли вместе со своим отцом в Карпатских горах, или нашел пристанище в Венгрии или какой-нибудь другой европейской стране — этого мы не знаем; но одно можно сказать уверенно: в последующих событиях русской истории его участие никак не проявилось.

В отличие от Бориса и Глеба князь Святослав не был причтен Церковью к лику святых. Трудно сказать, чем это объясняется: обстоятельствами ли его гибели, или (что кажется более вероятным) тем фактом, что его останки так и не были найдены и затерялись где-то в Карпатах.

Что же касается антипольской коалиции, о создании которой, кажется, пекся Святослав, то ей суждено было возникнуть значительно позже, уже после того как князь Ярослав Владимирович занял Киев, одолев Святополка. Впрочем, об участии Венгрии в этом союзе можно говорить лишь сугубо предположительно (см. ниже). Но вот германский император — правда, на относительно короткое время — определенно сделается союзником Ярослава.

Глава пятая

ВОЙНА: СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ

Между тем Новгород жил в ожидании предстоящей войны. Город был переполнен ратными людьми, оружием и припасами. Новгородцы и пришлые варяги все еще настороженно относились друг к другу, памятуя о кровавой резне, учиненной летом 1015 года. Но Ярославу удалось добиться временного примирения между ними. Как мы помним, и те и другие выразили готовность биться под его стягами против Святополка, а значит, вынуждены были терпеть взаимное соседство. Наверное, урок, преподанный новгородцами, пошел впрок, и скандинавские наемники уже не пытались открыто хозяйничать в городе.

Кажется, новгородский князь по-прежнему не спешил. Судя по не вполне ясным свидетельствам древнерусских источников, весь конец 1015 года и бóльшую часть следующего 1016-го он кропотливо собирал свое войско и готовил его к предстоящим битвам[1].

Численность этого войска по-разному называется в источниках. Автор «Повести временных лет» говорит о громадной рати, превышающей 40 тысяч человек: «И собрал Ярослав варяг тысячу, а прочих 40 тысяч, и пошел на Святополка»[2]. Но это, наверное, заведомая неточность. Гораздо правдоподобнее выглядят цифры, которые приводит автор Новгородской Первой летописи: «И собрал (Ярослав. — *А. К.*) воинов 4 тысячи: варягов тысячу, а новгородцев 3 тысячи»[3].

На рис. — родовой княжеский знак Святополка Ярополчича (Владимировича). Сребреник Святополка. Оборотная сторона.

Как видим, скандинавские наемники пребывали в явном меньшинстве. Но зато они имели славу лучших воителей в Европе. Перед отрядами викингов трепетал и Восток, и Запад тогдашнего мира. Отлично вооруженные и экипированные, прекрасно владевшие боевым оружием — особенно мечом и топором, они, по замыслу Ярослава, должны были еще до начала битвы надломить воинский дух киевлян и прочих союзников Святополка, в дружине которого также имелись варяги, хотя и в значительно меньшем количестве. Поэтому Ярослав не скупился на денежные средства (а особенно на обещания), призывая к себе на службу воинов из скандинавских и прибалтийских земель.

Надо сказать, что обстановка, складывавшаяся в то время в скандинавских странах, благоприятствовала его замыслам. В начале XI века Скандинавия переживала бурный процесс образования национальных государств, а этот период в истории любой страны чреват острыми столкновениями различных противоборствующих сторон. Укрепление центральной власти всегда приходится не по нутру тем из местных вождей, кто привык действовать на свой страх и риск, не желая подчиняться кому бы то ни было. Что уж говорить о Скандинавии, где всякий взрослый мужчина был прирожденным воином и где вековые традиции дальних заморских походов взрастили немало отважных вождей, кичившихся званием «ярла» или «конунга»! Впрочем, поначалу Ярославу, кажется, пришлось столкнуться и с враждебностью скандинавского мира.

Швецией в то время круто заправлял конунг Олав Шётконунг, сумевший объединить страну и подчинить своей власти более мелких правителей. В Норвегии же как раз в 1015 году развернулась кровопролитная внутренняя война, приведшая к установлению жесткого единовластия конунга Олава Харальдссона (известного также под именем Олава Толстого, а впоследствии получившего имя Олава Святого и канонизированного Западной церковью). Эта война привела к массовому оттоку из страны вооруженных людей.

Весной 1015 года, в Вербное воскресенье (пришедшееся в том году на 3 апреля), у мыса Несьяр произошло морское сражение между конунгом Олавом Харальдссоном, незадолго до этого вернувшимся в Норвегию, и прежним правителем страны ярлом Свейном Хаконарсоном. Ярл Свейн потерпел сокрушительное поражение и вынужден был бежать из страны. «Его зять... Эйнар Брюхотряс, муж весьма решительный... и посоветовал ему бежать и в некотором роде вынудил его отправиться в Русцию (на Русь. — *А. К.*)...» — сви-

детельствует монах Теодрик, автор «Истории о древних норвежских королях» (вторая половина XII века). «И осенью он уже был на востоке в Кирьялаланде (Карелии. — *А. К.*), — сообщают другие, более поздние скандинавские источники, — отправился [он] тогда вверх в Гардарики (на Русь. — *А. К.*), опустошая страну. Заболел он там и умер там осенью»[4].

Зная политическую ситуацию на Руси осенью 1015 года, трудно удержаться от предположения, что Свейн и его воины решили воспользоваться внутренними раздорами между русскими князьями. Удар скандинавской дружины должен был прийтись по северо-западным областям Новгородской земли, прежде всего по Ладоге, а это, в свою очередь, не могло не вызвать ответных действий со стороны Ярослава. Вполне возможно, что именно вторжение скандинавов объясняет промедление новгородского князя в войне со своим братом: волей-неволей ему пришлось думать о защите северных рубежей своего княжества. Впрочем, у него для этого с избытком хватало сил.

Набег норманнов на Русь закончился бесславно для его предводителя: Свейн умер от какой-то болезни, а его спутники, в том числе Эйнар Брюхотряс, один из наиболее известных и могущественных людей в Норвегии, поспешили вернуться назад (правда, не в Норвегию, а в Швецию)*. Скорее всего, Ярославу даже не пришлось по-настоящему воевать с ними. Последующие же беглецы из Норвегии действовали на Руси уже по-иному, найдя гораздо более выгодным для себя не участие в разбойничьих набегах на те или иные пограничные русские крепости, а поступление на службу к одному из русских князей, участников междоусобной войны. Надо ли говорить, что первым из князей, которому они могли предложить свои услуги, был именно Ярослав Новгородский.

Сохранился уникальный рассказ о приключениях на Руси одного из таких скандинавских отрядов. Рассказ этот читается в так называемой «Пряди об Эймунде», скандинавской саге, к которой мы уже обращались в предыдущей главе книги[5].

---

* Заманчиво было бы, опираясь на показания древнейших записей саг, сообщающих лишь о гибели Свейна на Руси, предположить, что этот скандинавский предводитель поступил в Новгороде на службу к Ярославу и в числе прочих бесславно погиб во время резни в Новгороде в первой половине августа 1015 года (бежав из Норвегии в начале апреля, он вполне успел бы к этому сроку попасть в «Хольмгард»). Однако такому предположению противоречат показания более поздних записей саг о его пребывании осенью 1015 году в Карелии и о его военных действиях, также осенью, на территории Руси.

Эймунд, сын конунга Хринга, был ровесником и побратимом конунга Олава Харальдссона и принимал участие в одном из его заморских походов. Но затем пути их разошлись, и когда Эймунд вместе со своим родичем и побратимом Рагнаром и другими «знатными мужами» вернулся в Норвегию, он узнал о громадных изменениях, которые произошли там после прихода к власти Олава. Последний, как рассказывает сага, «покорил себе всю страну и истребил в ней всех областных конунгов... Одних он велел убить или искалечить, а других изгнал из страны». Среди жертв политики Олава оказались отец и братья Эймунда; один из его братьев, Хрёрик, впоследствии был ослеплен Олавом. Эймунд и Рагнар собрали тинг (собрание свободных людей), на котором было принято решение о том, что они покидают страну, не желая воевать против Олава, но не желая и подчиняться ему. «Нам жаль наших славных и знатных родичей и обидно за них. Теперь один конунг в Нореге, где раньше их было много», — говорил Эймунд на тинге. На вопрос, что же следует предпринять, он отвечал так: «Если вы хотите поступить по-моему, то я скажу вам... что я задумал. Я слышал о смерти Вальдимара конунга с востока из Гардарики, и эти владения держат теперь трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем поровну — одному теперь досталось больше, чем тем двум. И зовется Бурицлав тот, который получил бóльшую долю отцовского наследия, и он — старший из них. Другого зовут Ярицлейв, а третьего Вартилав (Брячислав Изяславич, внук Владимира. — *А. К.*). Бурицлав держит Кэнугард (Киев. — *А. К.*), а это — лучшее княжество во всем Гардарики (очевидно, что под именем «Бурицлав» имеется в виду князь Святополк Окаянный. — *А. К.*). Ярицлейв держит Хольмгард, а третий — Палтескью (Полоцк. — *А. К.*) и всю область, что сюда принадлежит. Теперь у них разлад из-за владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше: он видит урон своей власти в том, что его владения меньше отцовских, и считает, что он потому ниже своих предков. И пришло мне теперь на мысль, если вы согласны, отправиться туда и побывать у каждого из этих конунгов, а больше у тех, которые хотят держать свои владения и довольствоваться тем, чем наделил их отец. Для нас это будет хорошо — добудем и богатство, и почесть». И все люди, бывшие на тинге, согласились с Эймундом. «Они были готовы покинуть страну, только бы не оставаться и не терпеть притеснений от конунга и своих недругов».

Так отряд Эймунда и Рагнара оказался в Новгороде при дворе князя Ярослава. Источники не позволяют определить

точно время их появления здесь; во всяком случае, это произошло не ранее лета 1016 года[6], а может быть, даже еще позже. Для нас, однако, не столь важно, был или не был Эймунд в числе тех наемников-скандинавов, которые приняли участие уже в первом походе Ярослава на Киев. Сага сохранила уникальные сведения о том, как и на каких условиях русские князья нанимали варяжскую дружину, а эти условия, в основном, были одинаковыми для всех северных отрядов. Высвечивает сага и многие черты в характере «конунга Ярицлейва», каким запомнился он позднейшим скандинавским сказителям.

Когда Ярослав узнал о прибытии скандинавов в свою страну, рассказывает «Прядь об Эймунде», «он посылает мужей к ним с поручением дать им мир в стране и позвать их к конунгу на хороший пир». Выражение «дать мир в стране» (или «мирную землю») означало вполне конкретное принятие на себя взаимных обязательств сторон: викинги обязывались не грабить данную территорию при условии, что им будут гарантированы приют и свобода передвижения и торговли[7]. Принятие таких обязательств обычно предшествовало заключению настоящего договора. Примечательно, что сам договор заключается во время пира, на который Ярослав приглашает скандинавских дружинников. Еще из истории Владимира Святого мы знаем, что именно на пиру князь и его бояре принимали важнейшие решения и чествовали свою дружину. Совместная трапеза, помимо прочего, сплачивала участников пиршества, в какой-то степени даже роднила между собой. Древнее, языческое понимание трапезы как магического действа, объединяющего князя и его подданных в некоем религиозном обряде, еще не успело уступить место позднейшему христианскому взгляду на пиршество как простое насыщение плоти. Устраивая для своих гостей обильное угощение, Ярослав подчеркивал свое расположение к ним и тем самым располагал их самих к себе.

Попотчевав гостей, Ярослав приступает непосредственно к делу. На вопрос, куда направляются прибывшие к нему воины, следует ответ Эймунда: «Мы... пришли сюда, на восток в Гардарики к вам, трем братьям. Собираемся мы служить тому из вас, кто окажет нам больше почета и уважения, потому что мы хотим добыть себе богатства и славы и получить честь от вас. Пришло нам на мысль, что вы, может быть, захотите иметь у себя храбрых мужей, если чести вашей угрожают ваши родичи, те самые, что стали теперь вашими врагами. Мы теперь предлагаем стать защитниками этого княжества, и пойти к вам на службу, и получать от вас

золото и серебро и хорошую одежду. Если вам это не нравится и вы не решите это дело скоро, то мы пойдем на то же с другими конунгами, если вы отошлете нас от себя». «Нам очень нужна от вас помощь и совет, потому что вы, норманны — мудрые мужи и храбрые, — отвечал Ярослав. — Но я не знаю, сколько вы просите наших денег за вашу службу». Эймунд потребовал прежде всего предоставить дом для вождей и всей дружины, а также все лучшие припасы, причем в изобилии. «На это условие я согласен», — поспешил с ответом Ярослав. «Тогда ты будешь иметь право на эту дружину, чтобы быть вождем ее и чтобы она была впереди в твоем войске и княжестве. С этим ты должен платить каждому нашему воину эйрир серебра, а каждому рулевому на корабле — еще, кроме того, половину эйрира». Эйрир серебра в Скандинавии в XI веке равнялся 27 граммам и примерно соответствовал половине северорусской гривны. Размер платы, которую потребовал от князя Эймунд, оказывается, таким образом, вполне реальным[8]. Однако Ярослав не готов выполнить требуемые условия и отвечает отказом.

Саги вообще изображают князя Ярослава чрезвычайно скупым человеком: «Конунг Ярицлейв не слыл щедрым», хотя «был хорошим правителем и властным». Споры относительно выплаты денег будут постоянно осложнять его отношения с Эймундом. Но мы уже говорили о том, что отсутствие показной щедрости не всегда характеризует правителя только с отрицательной стороны. Помимо всего прочего, Ярослав должен был думать о соответствии платы варяжским наемникам и новгородцам, вошедшим в состав его войска. У нас есть основания предполагать, что в ходе заключенного им соглашения с новгородцами он обещал последним денежное вознаграждение, во всяком случае не меньшее, чем пришлым варягам. Исследователи полагают, что скупость Ярослава имела и другую объективную причину. К началу XI века Русь определенно испытывала затруднения с монетным серебром (что объяснялось прекращением поступления серебряных монет из стран Арабского халифата), и хотя Новгород того времени, по-видимому, превосходил запасами серебра прочие русские города, Ярослав попросту не имел возможности полностью расплатиться с наемниками драгоценными металлами[9].

Эймунд, кажется, учел это последнее обстоятельство. «...Мы будем брать (причитающуюся нам сумму. — *А. К.*) бобрами и соболями и другими вещами, которые легко добыть в вашей стране, и будем мерить это мы, а не наши воины. И если будет какая-нибудь военная добыча, вы нам выпла-

тите эти деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то наша доля станет меньше». Такое предложение вполне устроило новгородского князя, и договор был заключен. «И тогда соглашается конунг на это, и такой договор должен стоять двенадцать месяцев».

Срок договора (а он подтверждается и другими сагами, рассказывающими о службе викингов иноземным государям), разумеется, не случаен. Он объясняется сезонностью плаваний по Балтийскому морю: только летом и в первой половине осени скандинавы могли уплыть из страны и наняться на службу к другому правителю или вернуться на родину. Да и Ярослав, по-видимому, не хотел брать на себя слишком больших обязательств. Через год ему предстояло самому решать: нуждается ли он еще в помощи варягов или в состоянии обойтись собственными силами. А это зависело, конечно, от результатов его борьбы с братом.

О начале собственно военных действий сага рассказывает так. Спустя некоторое время после прибытия варягов Ярослав получил грозные письма от «Бурицлава конунга», а говорилось в них, что Бурицлав «просит несколько волостей и торговых городов... которые ближе всего к его княжеству, и говорил он, что они ему пригодятся для поборов». Посоветовавшись с Эймундом, Ярослав решает защищать свои владения. Он ответил отказом послам своего брата и стал собирать свое войско. «Ярицлейв конунг послал боевую стрелу по всему своему княжеству, и созывают конунги всю рать».

Рассказ этот не внушает исследователям доверия. И упоминание о грозном послании, и требование «волостей» и «торговых городов» представляют собой «общее место» всех скандинавских саг, трафаретное описание начала любых боевых действий. Столь же трафаретно и упоминание о стреле, которую якобы пересылали по округе в знак призыва воинов на войну, — этот обычай, несомненно, не славянский, а скандинавский[10].

Можно усомниться и в том, что Святополк первым начал военные действия против Ярослава. Во всяком случае, решающее сражение между князьями произошло на Днепре, близ Любеча, то есть в землях Южной, а не Северной Руси. Русские летописи в этом смысле единодушны: все они утверждают, что именно Ярослав «поиде на Святополка». В уста Ярославу летописцы вкладывают грозные слова осуждения князя-братоубийцы: «Не я начал избивать братию, но

он; да будет Бог мстителем за кровь братии моей, потому что без вины пролил [тот] кровь Борисову и Глебову праведную. Или же и мне то же сделает? Но суди меня, Господи, по правде, да скончается злоба грешного!»[11] Разумеется, это слова летописца, а не князя, и навеяны они последующим восприятием войны Ярослава со Святополком как отмщения Окаянному за кровь святых мучеников. Однако в известной степени они верно передают суть дела: Ярослав выступал мстителем за своих братьев и, следовательно, имел моральное преимущество в войне.

Можно предполагать, что войско Ярослава выступило из Новгорода на исходе лета 1016 года. В качестве княжеского посадника (наместника) в городе остался Константин Добрынич[12], которому князь, очевидно, пока еще полностью доверял. Ярослав двигался обычным путем — тем самым, по которому издавна плыли к Киеву новгородские князья: сначала Аскольд с Диром, затем Олег и, наконец, отец Ярослава Владимир. Бóльшая часть дружины следовала по реке на ладьях (в «насадах»).

Так же, как в свое время Владимир, воевавший со своим братом Ярополком, Ярослав не мог обойти владений полоцкого князя. Союз с племянником, Брячиславом Полоцким, был крайне выгоден ему, и можно предположить, что новгородский князь попытался вступить с Брячиславом в союзнические отношения или, по крайней мере, заручиться его нейтралитетом в предстоящей войне. Последнее, по всей видимости, ему удалось: Брячислав не стал вмешиваться в конфликт между ним и Святополком.

В свою очередь, готовился к войне и Святополк Киевский, также искавший себе новых союзников. Он сумел привлечь в свое войско кочевников-печенегов, что, вне всяких сомнений, во много раз увеличило его силы. Услышав о выступлении Ярослава, рассказывает летописец, Святополк «пристрои (собрал, организовал. — *А. К.*) без числа воинов, русь и печенегов, и выступил против него к Любечу»[13]. *Русь* — в данном случае, киевляне и ратники из других южнорусских поднепровских городов. Очевидно, все они поддерживали Святополка. Вошли в его дружину и волыняне и, наверное, дреговичи-туровцы, прежние подданные князя[14].

Нередко считают, что Святополк завязал приятельские отношения с печенегами еще при жизни Владимира, когда якобы был направлен к ним в качестве заложника во время краткого перемирия между Русью и Степью. Но это совсем не обязательно. У Святополка и без того имелась возможность вступить в союз с одной из печенежских

«фем» (как называли отдельные, политически самостоятельные печенежские орды византийцы): как мы помним, давние тесные связи с печенегами поддерживал его тесть Болеслав Польский. Кроме того, если Святополк сознательно провозглашал себя наследником своего настоящего отца, Ярополка, то он должен был позаботиться и о восстановлении русско-печенежского союза, который существовал при его отце.

Любеч, располагавшийся к северу от Киева, выше по течению Днепра, на его левом берегу, был одной из важнейших крепостей в системе обороны Киевской земли. Лишь овладев им, Ярослав мог двигаться дальше. Спустившись по Днепру, Ярослав не рискнул высаживаться на левый, занятый войсками Святополка берег и остановился на правом. Святополк встал «об он пол Днепра» (то есть «по ту сторону Днепра»), а Ярослав — «об сю» (то есть «по эту»), свидетельствует летописец. Если это киевский летописец и если мы правильно понимаем его слова, то перед нами удивительная ситуация: Ярослав оказался ближе к Киеву, чем сам Святополк, а обе рати разделял Днепр, правда, не столь широкий возле Любеча, как возле Киева. Впрочем, в распоряжении Ярослава и Святополка имелись речные суда, что значительно облегчало переправу. Двигаться к Киеву, имея за спиной громадную рать, новгородский князь, по-видимому, не решился. Оставалось выжидать, маневрировать, искать удобного случая для нанесения разящего удара.

Три месяца, то есть практически всю осень, противники простояли друг против друга: «и не смели ни эти [против] оных, ни оные [против] этих начати». В. Н. Татищев объясняет медлительность Ярослава и Святополка широким разливом Днепра, может быть, из-за хлынувших тогда осенних дождей: «...воды ради великой никоторой не смел Днепр переити. Стояли противу друг другу до трех седмиц (недель; в других списках «Истории» Татищева, как и в известных нам летописях: «до трех месяцев». — *А. К.*), биючеся помалу, переезжая чрез реку, доколе вода стала убывать»[15]. Однако промедление было связано отнюдь не только с трудностями переправы. Мелкие стычки и вылазки лишь обозначали активность сторон, в какой-то степени поддерживали боевой дух участников противостояния. Той же цели служили и обычные перед началом любого сражения взаимные насмешки и оскорбления. Ратники и воеводы разъезжали по берегу и похвалялись перед противником, стараясь побольнее унизить и высмеять его. Но все это, конечно, не могло решить исход войны. По-видимому, оба полководца всерьез

опасались друг друга, а может быть, оба надеялись на развал противостоящей коалиции. Скандинавская «Прядь об Эймунде», в которой, вероятно, отразились припоминания о стоянии у Любеча[16], донесла до нас явное недовольство скандинавских наемников медлительностью и осторожностью Ярослава.

«И сошлись они там, где большой лес у реки, и поставили шатры, так что река была посередине; разница по силам была между ними невелика. У Эймунда и всех норманнов были свои шатры; четыре ночи они сидели спокойно — ни те ни другие не готовились к бою». Обеспокоенные бездействием Эймунд и Рагнар высказали свои соображения «конунгу Ярицлейву». «...Когда мы пришли сюда, — говорил Эймунд, — мне сначала казалось, что мало воинов в каждом шатре (у противника. — *А. К.*) и стан только для виду устроен большой, а теперь уже не то — им приходится ставить еще шатры или жить снаружи, а у нас много войска разошлось домой по волостям, и не надежно оно, господин... Теперь все гораздо хуже, чем раньше было; сидя здесь, мы упустили победу из рук...» Эймунд предлагает военную хитрость: обход с тыла войск противника, и Ярослав, как и следовало ожидать, соглашается на это.

Как выясняется, скандинавы и новгородцы не вполне доверяли друг другу. Русские летописи подтверждают это наблюдение авторов саги. Видимо, трехмесячная проволочка не могла не сказаться на взаимоотношениях между новгородцами и варягами: и те и другие получили хорошую возможность вспомнить свои старые обиды. Возможно, именно на это и делал расчет хитроумный Святополк.

Между тем время приближалось к зиме. Вот-вот должен был встать лед на Днепре. Наверное, Святополк ожидал морозов, чтобы по льду замерзшей реки двинуться на новгородско-варяжскую дружину и смять ее. На его стороне было одно важное преимущество: военные действия проходили на подвластной ему территории, а значит, Святополк мог беспрепятственно пополнять свое войско людьми и, главное, припасами.

В русских летописях сохранились два ярких, но весьма отличающихся друг от друга описания Любечской битвы. Одно из них принадлежит киевскому летописцу, автору «Повести временных лет», другое — новгородцу, составителю Новгородской Первой летописи[17]. Последний, как полагают, использовал киевский источник, но обогатил его красочными подробностями, основанными на воспоминаниях непосредственных участников сражения. Более поздние рус-

ские источники содержат дополнительные подробности происходившего.

Среди воевод Святополка, рассказывают летописи, находился престарелый воевода по имени Волчий Хвост (его имя в «Повести временных лет» отсутствует). Он был соратником князя Владимира Святославича еще в самом начале его княжения в Киеве и прославился громкой победой над радимичами в далеком 984 году: тогда, на реке Пищане, немногочисленный передовой отряд под его командованием наголову разгромил и обратил в бегство громадное радимичское войско. Понятно, что Святополк с подчеркнутым уважением должен был относиться к такому человеку: само присутствие его в рядах киевского войска как бы символизировало преемственность власти и поддержку нового киевского князя со стороны старейших киевских бояр и воевод. Возможно, Волчий Хвост номинально считался правой рукой Святополка, его главным воеводой. Но за тридцать с лишним лет, прошедших со времени пищанской победы, он, вероятно, уже утратил некоторые навыки руководства войском. Во всяком случае, летописцы с явным пренебрежением и даже насмешкой описывают его действия накануне битвы («стар сый», говорит о нем автор Тверского летописца, он и действовал «несмыслено»[18]).

«И начал воевода Святополков, разъезжая возле берега, укорять новгородцев, говоря: "Что пришли с хромцом этим? Эй вы, плотники, вот, поставим вас хоромы рубить нам!"» Эти оскорбительные речи, несомненно, несли важный смысл: они должны были морально надломить врага, унизить его и продемонстрировать превосходство Святополкова войска. Такие словесные поединки, предшествующие настоящему сражению, обычны в истории всех древних обществ. Слово произнесенное, по мнению людей древности и раннего Средневековья, ранило столь же больно, как и само действие. Поэтому взаимные оскорбления, громкая похвальба становились неотъемлемой частью церемонии начала битвы. Волчий Хвост, вероятно, не в первый раз выехал к берегу для демонстрации своего словесного искусства. Но на этот раз, кажется, он выбрал не лучшее время.

Его слова были вдвойне оскорбительны для новгородцев. Во-первых, подвергался осмеянию их князь, «хромец» Ярослав, причем ставилась под сомнение сама возможность его предводительствовать войском. (В самом деле, куда может завести своих последователей хромой вождь? Только вкривь, по неверному и гибельному пути.) Во-вторых, новгородцы были названы киевским воеводой «плот-

никами», «хоромцами», то есть людьми, стоявшими ниже киевлян на социальной лестнице. (К тому же «хоромцы» это почти что «хромцы»; как видим, киевский воевода и в самом деле в совершенстве владел искусством словесного поединка, ловко обыгрывая то или иное обидное слово.) Поздние летописцы усиливают оскорбительный тон выкриков, которыми потчевал новгородцев Волчий Хвост. «Смерды, — якобы обращался он к ним, — плотники и гончары!.. Заставим вас хоромы рубити и глины топтати»[19]. Основу новгородского войска и в самом деле составляли ремесленники-горожане и «смерды», то есть крестьяне. Однако это никак не снижало его боевые качества. Может быть, Волчий Хвост хотел унизить заодно и варягов, стыдя их за то, что им приходится сражаться в одном войске с простолюдинами? Но рядовые воины — бонды — и сами при случае были искусными гончарами и плотниками и отнюдь не стыдились никакого ремесла. В любом случае, киевский воевода лишь усилил ненависть новгородцев к себе. «Слыша то, сказали новгородцы Ярославу: "Завтра переправимся к ним. Если кто не пойдет с нами, сами ударим по нему!"» (А может быть, даже: «...сами ударим по ним», то есть по не желающим идти на противника. Летописи допускают и такой перевод высказывания новгородцев, в этом случае адресованного, кажется, наемникам-варягам.) Ярославу оставалось лишь уговорить варягов действовать заодно с новгородцами.

«Повесть временных лет» объясняет наступление Ярослава именно бахвальством Святополкова воеводы и ответным гневом новгородцев. Но из других источников (и прежде всего из Новгородской летописи) следует, что роль Ярослава была значительно более самостоятельной. Он не просто поддался на уговоры своих ратников, но, напротив, сам определил наилучший момент для нанесения удара и, может быть, даже спровоцировал гнев своих воинов и воспользовался им как поводом для того, чтобы перейти в решительное наступление. Оказывается, Ярослав давно и с успехом осуществлял, что называется, агентурную и диверсионную деятельность в тылу Святополковых войск. В то время, как мы уже говорили, наступала зима («бе бо уже в замороз»), и Днепр начал, по выражению новгородского летописца, «мерзнути». Сама река пока что (наверное, последние считанные дни) оставалась судоходной. Однако более мелкие водоемы, в частности болота и озерки, которые окружали лагерь Святополка, успели покрыться тонким непрочным льдом, и Ярослав знал об этом.

Святополк расположил свои войска не слишком удачно. Между его дружиной и союзными печенегами находилось озеро; еще одно озеро было расположено по другую сторону от его лагеря. До времени это вполне устраивало Святополка, поскольку два озера надежно защищали крылья его позиции на случай внезапного нападения. Но теперь непрочный лед не давал его воинам возможности самим воспользоваться ладьями и переправиться в случае беды через озера. Главное же, оказались отрезанными от основного войска печенеги, наиболее грозная сила, имевшаяся в распоряжении Святополка.

Ярослав тонко уловил момент, когда позиции противника сделались наиболее уязвимыми. Сам же киевский князь пока не осознавал опасности.

«Был у Святополка муж в приязни (приятельстве. — *А. К.*) к Ярославу, — рассказывает новгородский летописец, — и послал к нему Ярослав отрока своего ночью, спрашивая: "Что ты велишь делать: меду мало варено, а дружины много?" И отвечал тот муж (отроку. — *А. К.*): "Так скажи Ярославу: если меду мало, а дружины много, то к вечеру дать". И уразумел Ярослав, что ночью велит биться».

Авторы скандинавских саг не зря с восхищением отзывались об уме и изворотливости Ярослава. Несомненно, он чувствовал себя гораздо увереннее не на поле брани, а за кулисами событий. Иносказание «приязненного» ему мужа (впрочем, совершенно прозрачное) было верно истолковано им. «Меду мало, а дружины много»... Но ведь упиться можно не только на хмельном пиру, но и в лихом бою, где многим суждено испить из единой для всех смертной чаши. И вот, значит, пришло время и для этого пиршества. Впрочем, в иносказании лазутчика Ярослава был и другой, более простой смысл. Оказывается, всю ту ночь Святополк упивался со своею дружиной, и об этом тоже стало известно новгородскому князю. Недужный телом, но совершенный разумом Ярослав понял, что медлить дальше нельзя.

В тот же вечер, к ночи, князь приказал своим воинам переправляться на противоположную сторону Днепра*. Пользуясь кромешной тьмой (дело, напомним, происходило в ноябре или самом начале декабря), а еще больше нераспо-

---

* Так в Новгородской Первой летописи: «...абие того вечера перевозися Ярослав на ону страну... и тои нощи поидоша на сечю». Согласно же «Повести временных лет», все происходило под утро. Ярослав «заутра исполчив дружину свою, противу свету (перед рассветом. — *А. К.*) перевезеся и высед на брег». По-видимому, битва все же началась в темноте, может быть, действительно перед рассветом.

рядительностью Святополковых стражей, новгородцы сумели выбраться на берег незамеченными. Согласно показаниям позднего Киево-Печерского списка «Сказания о Борисе и Глебе», руководство операцией принял на себя не сам Ярослав, но его воевода Блуд (надо полагать, Буды?), который «справа (то есть выше по течению Днепра? — *А. К.*) прытко чрез реку Днепр переправился с войсками своими»[20]. Решимость наступавших показывает и такой факт: новгородцы оттолкнули свои ладьи прочь от берега, сознавая, что пути для отступления у них уже нет: их ждали либо победа и честь, либо гибель и бесчестие.

Предусмотрительность Ярослава сказалась еще в одном отношении. Понимая, что ночной бой чреват неразберихой, при которой непросто разобрать, где свои, а где чужие, он приказал своим воинам в знак отличия повязать себе головы «убрусом» (то есть платком, начельной повязкой). В таком виде его воины и ударили по безмятежно спящему лагерю противника.

Завязался жестокий бой. «И сошлись на месте, и бысть сеча зла». Замысел Ярослава блестяще оправдался: печенеги, расположившиеся за озером («в заозерье», по выражению позднейшего летописца), не смогли помочь своим союзникам и почти не приняли участия в схватке. «И не бе лзе озером печенегом помагати», — свидетельствует автор «Повести временных лет».

Возможно, некоторые сведения о разгроме Святополкова войска в Любечском бою отразились в скандинавской «Пряди об Эймунде». Сага рассказывает о том, что Ярослав предпринял обходной маневр: скандинавы отвели свои корабли вверх по реке, скрытно переправились на другой берег и обошли лагерь Святополка (отметим неожиданную параллель с процитированным выше Киево-Печерским списком «Сказания о Борисе и Глебе»). «Мы пойдем отсюда с нашей дружиной и зайдем им в тыл, а шатры пусть стоят пустыми, вы же с вашей дружиной как можно скорее готовьтесь к бою», — торопит Ярослава Эймунд. «Так и было сделано; затрубили к бою, подняли знамена, и обе стороны начали готовиться к битве. Полки сошлись, и начался самый жестокий бой, и вскоре пало много людей. Эймунд и Рагнар предприняли сильный натиск на Буришлава и напали на него в открытый щит».

Судя по всему, Святополк и киевляне оказали отчаянное сопротивление новгородско-варяжскому войску. Уникальные подробности Любечского сражения содержатся в «Истории Российской» В. Н. Татищева: «Святополк же не успел

всех войск устроить, вышел с частию, колико собраться вскоре могло. И был междо ими бой вельми жесток. Но понеже печенеги Святополковы стояли за озерами, для того не могли помочи учинить, а у Ярослава хотя много пало, но из-за Днепра войска приспевали».

Новгородцы действовали не наобум, но подчиняясь жесткому плану, заранее намеченному Ярославом и его воеводами. Противника оттесняли к ледяным озерам. «И притиснули Святополка с дружиною к озеру, и вступили они на лед, и обломился лед под ними... И видя это, побежал Святополк, и одолел Ярослав». Так рассказывает о кульминационном моменте сражения «Повесть временных лет».

Часть воинов Святополка нашла свою смерть подо льдом полузамерзшего озера. Часть разбежалась по окрестным лесам. Немногие спаслись вместе с князем и в конце концов оказались в Польше. Печенеги, наверное, не дожидаясь конца битвы, устремились в родные степи. «...А печенеги ушли в степи. И тех догоняя, Ярославли воины многих побили. Русских же не велел более побивать, ниже пленить, но велел всем им идти к Киеву в домы своя», — читаем в «Истории» В. Н. Татищева. Если это известие верно, то перед нами важнейшее свидетельство поведения Ярослава уже после одержанной им победы. Конечно, он понимал, что, становясь новым киевским князем, должен принимать под защиту своих вчерашних врагов, становящихся его сегодняшними подданными. Милость, проявленная им по отношению к побежденным, должна была обеспечить ему будущую поддержку киевлян.

Ярослав вступил в Киев зимой 1016/17 года, вскоре после Любечской победы. Краткое известие «Повести временных лет» позволяет говорить о том, что приход его сюда был отмечен грозными предзнаменованиями и жестокими бедствиями. «Ярослав вниде в Киев, и погореша церкви», — читаем, например, в Радзивиловской летописи[21]. (Или, как было в сгоревшем Троицком списке «Повести временных лет»: «и погоре церквеи много Кыеве»[22].) Сведения о разрушительном киевском пожаре 1017 года сохранили и другие источники — как русские, так и иностранные. Город Киев «пострадал... от сильного пожара», — писал немецкий хронист Титмар Мерзебургский, а под 1018 годом упомянул киевский собор Святой Софии, сгоревший «в предыдущем году по несчастному случаю»[23]. (Ярослав, кажется, немедленно озаботился построением взамен сгоревшего нового, пока

еще деревянного Софийского собора.) Судя по поздним русским летописям, последствия киевского пожара оказались катастрофическими. «...Погорел город и церквей много, *яко до седмисот*, и опечалился Ярослав», — сообщает автор Никоновской летописи, может быть и преувеличивая в цифрах (согласно «Истории» В. Н. Татищева, в это число вошли также и дома горожан: «...погоре град Киев, церкви многи и домов до 700»)[24].

Разумеется, из этого вовсе не следует вывод о том, будто страшные бедствия в Киеве стали следствием жестокости Ярослава, расправлявшегося таким образом с непокорными ему киевлянами, или, наоборот, сопротивления киевлян его власти, как иногда представляется историкам. Более того, у нас есть основания полагать, что Киев безо всякого сопротивления сдался Ярославу[25]. Святополк столь стремительно бежал от Любеча, что не успел не только укрепить Киев, но и вывезти из него свою семью. Супруга туровского князя на время оказалась в руках киевлян. Наверное, те имели возможность отправить Болеславну восвояси, к отцу и мужу, но предпочли не ссориться с Ярославом и выдали ему княгиню. Так Болеславна во второй раз очутилась в плену.

Чем были вызваны киевские пожары, в точности не известно. Титмар Мерзебургский (а он основывался на информации людей, побывавших в самом Киеве) говорит о каком-то «несчастном случае», и мы не можем не прислушаться к его свидетельству, тем более что хорошо знаем, сколь бесчисленное множество пожаров в средневековых, по преимуществу деревянных, русских городах было вызвано именно неосторожным обращением с огнем. Но возможно и другое, также высказывавшееся в литературе предположение: пожар 1017 года стал следствием печенежского набега на Киев. Поздние русские источники хотя и не связывают эти события (киевский пожар и набег печенегов), но все же свидетельствуют о том, что оба они имели место весной 1017 года, то есть приблизительно в одно и то же время. Ясно одно: вступив в стольный город Древнерусского государства, Ярослав столкнулся с целым клубком проблем и противоречий, распутать который едва ли представлялось возможным.

В первую очередь ему предстояло уладить отношения с киевлянами, а заодно и со своей новгородско-варяжской дружиной и, по возможности, не допустить насилий между теми и другими (и это притом, что отношения внутри самого воинства Ярослава были достаточно напряженными). Мы не знаем, в какой степени ему удалось справиться с этой задачей. Часть новгородцев, вероятно, была тогда же отпуще-

на им домой. По обычаю, князь должен был щедро вознаградить их. «И начал воев своих делить (наделять. — *А. К.*): старостам по 10 гривен, а смердам по гривне, а новгородцам по 10 гривен всем, и отпустил их всех домой...» — свидетельствует новгородский летописец[26]. Смерды — очевидно, жители сельских районов Новгородской земли; «все новгородцы» — горожане, статус которых был, как видим, значительно выше.

Что же касается выплат оговоренных денег скандинавским наемникам, то с ними, судя по «Пряди об Эймунде», вышла заминка. Требуемая сумма серебра, которую, по обычаю, надлежало взимать с побежденных, вероятно, грозила окончательно разорить киевлян, а Ярослав, наверное, не хотел сразу же обострять с ними отношения. «Я думаю, что ваша помощь теперь не так нужна, как раньше, — передает сага слова «конунга Ярицлейва», обращенные к предводителям норманнов, — а для нас — большое разорение давать вам такое большое жалованье, какое вы назначили». Впрочем, на этот раз Ярослав, кажется, все же выплатил обещанную сумму, и варяги остались у него на службе. Но не значит ли это, что его отношения с киевлянами соответственно ухудшились? Как мы увидим, киевляне без особого энтузиазма будут поддерживать Ярослава, особенно на первых порах. Все же он оставался для них в первую очередь новгородцем, а значит, чужаком. Да и физический недуг Ярослава, к этому времени уже явно проявившийся, вряд ли увеличивал к нему симпатии горожан.

Положение Ярослава в Киеве осложняли не только внутренние трения, но и угроза извне. Ему приходилось думать о возможном отражении нападения врагов сразу на нескольких направлениях. На запад, в Польшу, бежал Святополк. Его тесть, польский князь Болеслав, становился естественным противником Ярослава, а значит, мог угрожать его западным границам. С юга же угроза исходила от печенегов — давних врагов Руси и столь же давних союзников Болеслава, а теперь уже и Святополка[27].

С печенегами Ярославу, по-видимому, и пришлось столкнуться раньше всего. Об их нашествии на Киев около 1017 года согласно свидетельствуют как русские, так и иностранные источники. По свидетельству Титмара Мерзебургского, «враждебные печенеги» «часто нападали» на город «по наущению Болеслава». Однако у степняков, по-видимому, имелись и свои резоны для очередного нападения на Русь; одним из таких резонов могло стать желание отомстить Ярославу за поражение у Любеча.

Когда именно случился печенежский набег, мы точно не знаем. Предположительно, уже весной — об этом свидетельствуют косвенные данные, содержащиеся в Тверской летописи, составленной в XVI веке на основании как новгородских, так и киевских источников[28]. Набег оказался внезапным («нечаянным») для Ярослава, и киевский князь не успел (или не захотел) предпринять никаких мер для отражения нападения на дальних подступах к своей новой столице. Сражаться потому пришлось чуть ли не в самом городе, у самых крепостных стен; впрочем, все завершилось более или менее благополучно для киевлян. «Приидоша печенези к Киеву, и секошася у Киева (или: «...и всекошася в Киев». — *А. К.*), и едва к вечеру одоле Ярослав печенегы, и отбегоша посрамлени». Такой текст читается в новгородско-софийских летописях[29], в которых, вероятно, отразилась одна из ранних редакций Киевской летописи*.

Уникальные и яркие подробности киевского сражения с печенегами 1017 года сохранились в «Истории Российской» В. Н. Татищева. «Того же году нечаянно пришли ко Киеву печенеги, и, смешався с бегусчими людьми, многие вошли уже в Киев. Ярослав же едва успел, неколико войска собрав, не пустить их в старый град. К вечеру же, собрав более войска, едва мог их победить и гнал за ними в поле, неколиких пленил и побил»[31]. Удивительно, но эти татищевские известия находят подтверждение в скандинавской «Пряди об Эймунде», которая тоже знает о внезапном нападении кочевников на столицу «конунга Ярицлейва».

Правда, печенеги названы здесь не своим собственным именем (его в Скандинавии, скорее всего, вообще не знали), но именем бьярмов, жителей Биармии, загадочной земли, которую скандинавские источники помещают на самый се-

---

* Правда, в той же статье в данных летописях читается рассказ о заложении Ярославом «града великого Киева», Золотых ворот и церкви Святой Софии. По крайней мере первые два строительства на самом деле развернулись гораздо позже: «Повесть временных лет» сообщает о них под 1037 годом, следующим после того, как на Киев вновь напали печенеги. Этот очевидный анахронизм заставил исследователей усомниться и в самом факте нападения печенегов на Киев и посчитать, что и вся статья 1017 года, как она изложена в новгородско-софийских летописях, лишь дублирует более поздние (под 1036 и 1037 годами) статьи «Повести временных лет»[30]. Однако известие о нападении печенегов на Киев именно в 1017 году подтверждается в таком независимом источнике, как «Хроника» Титмара, и потому сомнения на этот счет, по-видимому, следует оставить. Другое дело, что сообщения о двух нашествиях печенегов на Киев — в 1017 и 1036 годах — могли смешаться; из-за этого и произошла путаница, и набег печенегов 1017 года стали связывать с построением Золотых ворот и заложением нового города.

вер Восточной Европы. Эта замена вполне объяснима. Скандинавы были более или менее знакомы с этим народом, и в их эпосе именно он олицетворял дикие и необузданные, враждующие с христианами племена, какими для русских являлись печенеги. В качестве союзников «Бурицлава» (Святополка) в саге названы также «тюрки» (надо полагать, торки или те же печенеги), какие-то «блокумены» (куманы, то есть половцы?) и «многие другие злые народы». Сообщает сага также о том, что «Бурицлав» лично предводительствовал ими, что, очевидно, отражает воспоминания о другом походе Святополка на Русь — в 1019 году. Вряд ли можно принимать всерьез также утверждение составителей саги о том, что «Бурицлав» будто бы намеревался «отступиться от христианства» и «поделить страну между этими злыми народами» в случае своего конечного успеха. Святополк, несомненно, оставался христианином (вопреки домыслам отдельных историков) и, заключая союзы как с Польшей, так и с печенегами, отнюдь не собирался уступать кому-либо принадлежавшие ему земли.

О нападении же кочевников на Киев скандинавская сага рассказывает следующее. Услышав о приближении войска «бьярмов», Эймунд дал совет «конунгу Ярицлейву» собрать все имеющиеся в его распоряжении силы непосредственно в городе и не принимать открытого боя. По его же совету на городских стенах были расставлены сваленные заранее деревья, ветви которых были повернуты от города так, «чтобы нельзя было стрелять вверх в город. Еще велел он (Эймунд. — *А. К.*) выкопать большой ров возле города и ввести в него воду, а после того — наложить сверху деревья и устроить так, чтобы не было видно». В эту ловушку должны были угодить нападавшие. Автор саги вспоминает еще об одной хитрости Эймунда. «Вечером... велел Эймунд конунг женщинам выйти на городские стены со всеми своими драгоценностями и насадить на шесты толстые золотые кольца, чтобы их как нельзя лучше было видно. "Думаю я, — говорит он, — что бьярмы жадны до драгоценностей и поедут быстро и смело к городу, когда солнце будет светить на золото и на парчу, тканную золотом"». И действительно, многие «бьярмы», увидев столько богатства, потеряли бдительность и упали в ров. Однако все эти военные хитрости, скорее всего, имеют чисто литературное, фольклорное происхождение[32] и вряд ли отражают реальные события русско-печенежской войны. Интереснее другое: в полном соответствии с показаниями русских источников, «Прядь об Эймунде» свидетельствует о том, что «бьярмам» (печенегам) удалось-таки ворваться в город.

«Начался жестокий бой, и с обеих сторон пало много народу. Там, где стоял Ярицлейв конунг, был такой сильный натиск, что враги вошли в те ворота, которые он защищал, и конунг был тяжело ранен в ногу. Много там погибло людей, раньше чем были захвачены городские ворота... Пошел Эймунд тогда с большим отрядом (к тем воротам, которые защищал Ярицлейв. — *А. К.*) и увидел, что бьярмы уже вошли в город. Он сразу же сильно ударил на них, и им пришлось плохо. Убили они тут много людей... Эймунд храбро бросается на них и ободряет своих людей, и никогда еще такой жестокий бой не длился так долго. И побежали из города все бьярмы, которые еще уцелели...»

Отметим важную деталь, показывающую, что в саге в описании этого сражения с «бьярмами» нашли отражение подлинные (пускай и не совсем точные) черты русской действительности того времени. Автор саги сообщает о тяжелом ранении «конунга Ярицлейва» в ногу. И хотя Ярослав был хромым с рождения и хромота его бросалась в глаза задолго до киевского боя 1017 года (вспомним оскорбительное прозвище «Хромец», прозвучавшее накануне Любечской битвы), все же очевидно, что скандинавский сказитель знал о ней. И, видимо, отыскивая приемлемое объяснение этому необычному обстоятельству (хромоте вождя), он и ввел в свое повествование эпизод с ранением князя. (Хотя, разумеется, мы не можем исключить возможность того, что Ярослав действительно получил ранение в ногу во время боя за Киев в 1017 году.)

Так был отбит натиск печенегов. Угроза Киеву с юга на время миновала. Но Ярославу едва ли удалось перевести дух. В том же году ему, вероятно, пришлось заниматься восстановлением разоренного и пострадавшего от жестокого пожара города. Вероятно, тогда же — в соответствии с показаниями некоторых русских источников — начинаются работы по восстановлению деревянной церкви Святой Софии[33] — предшественницы будущего великого храма. Наконец, Ярослав старается просто ободрить людей и хоть в чем-то помочь им, особенно заботясь о тех из них, которые пострадали от пожара и нашествия печенегов. В этом, наверное, было и милосердие, свойственное почти всем древнерусским князьям, но был и трезвый политический расчет, стремление заручиться поддержкой горожан на будущее. Автор позднейшей Никоновской летописи так пишет о кипучей деятельности князя в это время: «...и без числа имения раздавал нищим, потому что был Ярослав, также как и отец его, христолюбив и нищелюбив и всегда ум свой напоял Бо-

жественными писаниями»[34]. И хотя слова эти, по-видимому, навеяны позднейшей традицией восхваления христолюбца Ярослава, все же мы не можем не привести их, говоря о Ярославе в пору его первого киевского княжения.

Но главным полем деятельности, на котором Ярослав проявляет себя в это время, становится поле дипломатическое. Новый киевский князь предпринимает отчаянные попытки найти себе союзников в Европе и создать коалицию, с помощью которой он смог бы окончательно устранить с политической сцены своего главного противника — князя Святополка, нашедшего себе приют в Польше. К европейским по преимуществу делам нам и предстоит теперь обратиться.

Едва ли князь Болеслав Польский встретил своего неудачливого зятя с распростертыми объятиями. Покидая Русь, Святополк оставил там супругу, дочь своего благодетеля, что никак не способствовало улучшению его отношений с тестем. Кроме того, крайнее недовольство Болеслава должен был вызывать сам факт поражения Святополка. Прочный мир на восточных границах Польского государства, сынóвья покорность киевского князя правителю Гнезно и вообще вся система организации восточноевропейских земель под главенством Польши — все это столь искусно возведенное здание восточной политики Болеслава рухнуло в одночасье. Польскому князю приходилось заново возвращаться к русским делам, причем в самых невыгодных для него условиях напряженной войны с Германской империей.

Личность Болеслава, несомненно, не может не привлечь к себе внимание историка. Это был по-настоящему выдающийся человек, сумевший на короткое время превратить Польшу в одно из сильнейших государств тогдашней Европы. Уже современники и ближайшие потомки называли его «великим». Известно и другое прозвище польского князя — Храбрый. Ему не раз приходилось первому бросаться в битву, увлекая за собой воинов.

Сын польского князя Мешка, он с детских лет оказался вовлечен в водоворот политической борьбы. Уже в семилетнем возрасте, в несколько унизительном качестве заложника, Болеслав отправился в Германию, к императору Оттону I. Тогда же прядь волос наследника польского трона была отослана в Рим: Болеслав оказался под личным покровительством римских пап. Его и впоследствии будут отличать особая набожность и верность «престолу святого Петра» (то

есть Риму), данником которого он останется до конца своих дней.

Впрочем, как показывает история, набожность и богобоязненность легко уживаются с властолюбием и жестокостью. После смерти Мешка I (992) в Польше началась кровопролитная борьба за власть, победителем в которой вышел Болеслав. Около 995 года он изгнал из Польши свою мачеху, вдову Мешка немку Оду, а также трех ее сыновей, своих единокровных братьев — Мешка, Свентопелка и Ламберта. Двое его приближенных — некие Одилиен (Одило) и Прибывой, вероятно, недовольные подобным развитием событий, были ослеплены по его приказу. «Ради единоличной власти, — писал о Болеславе Титмар Мерзебургский, — он преступил все законы Божеские и человеческие»[35]. Учтем, правда, что немецкий хронист испытывал по отношению к Болеславу величайшую ненависть, а потому готов был приписать ему все мыслимые пороки.

Установив свою власть над Польшей, Болеслав сумел добиться огромных политических успехов. Воспользовавшись смертью Болеслава II Чешского (999), он присоединил к своим владениям так называемую Малую Польшу с центром в Кракове — один из главных очагов польской государственности. Впоследствии Болеслав на время установил свою власть над всей Чехией, Моравией и Словакией. Он успешно воевал с Венгрией и Русью, Германской империей и Чехией, значительно расширил границы Польши на западе, юге и востоке. В 999 году под юрисдикцией Рима было образовано особое Гнезненское архиепископство, иными словами, достигнута церковная независимость Польши. В Гнезненском соборе нашли покой мощи святого Адальберта (Войтеха), одного из чтимых католических святых, бывшего епископа Пражского, приглашенного в свое время Болеславом в Польшу и принявшего затем мученическую смерть в соседней с Польшей Пруссии, населенной язычниками.

Именно с целью поклонения мощам святого Адальберта в Гнезно в 1000 году прибыл юный германский император Оттон III. Фанатично преданный идее утверждения христианства во всем мире, Оттон увидел в Болеславе единомышленника, способного помочь ему в осуществлении своей мечты — создании «универсальной» христианской империи с центром в Риме. Эта империя должна была состоять из четырех частей — Италии, Германии, Галлии (прежде всего Западной Германии) и Славии, сердцевину которой составила бы христианская Польша. Внезапная смерть Оттона в 1002 году помешала реализации этого грандиозного замыс-

ла. Ни немецкая знать, ни римский престол отнюдь не сочувствовали планам юного императора. Болеслав так и не успел получить королевскую корону, обещанную ему Оттоном. (Он станет королем лишь перед самой своей смертью, в 1025 году.) Новый германский король (а с 1014 года император) Генрих II сделался заклятым врагом Польши, ибо, в отличие от своего предшественника, отнюдь не считал благом для Германии создание на ее восточных границах мощного славянского государства. Завоевания Болеслава в Чехии и Лужицких землях вызвали почти непрекращающиеся войны между Германией и Польшей. Последняя из этих войн, как мы уже говорили, началась в 1015 году, однако и на сей раз не принесла никаких успехов императору. Как полководец Болеслав, несомненно, превосходил и его, и, к слову сказать, почти всех других своих противников.

Мы столь подробно остановились на личности Болеслава и истории его взаимоотношений с германскими императорами потому, что успехи или неудачи польского князя в войнах с Германией самым непосредственным образом отражались на его восточной политике, равно как и на политике по отношению к Польше киевских князей. Но еще более важно то обстоятельство, что восточная политика Болеслава и в последние десятилетия его жизни несла на себе заметный отпечаток идеи «универсальной империи», некогда столь пленившей его. Польша по-прежнему мыслилась им как естественный центр объединения всей «Славии», то есть всех славянских земель (в том числе и восточнославянских). Нечего и говорить о том, что в церковном отношении «Славия» должна была находиться под юрисдикцией Рима.

Поначалу Болеслав, кажется, попытался наладить дружбу с Ярославом. Источники сообщают о его сватовстве к сестре нового киевского князя Предславе. Судя по косвенным данным, это произошло в первой половине или середине 1017 года[36].

Очевидно, Болеслав предлагал Ярославу сотрудничество на тех же условиях, на которых прежде взаимодействовал со Святополком. Непрекращающаяся война с Германской империей делала мир на его восточных границах крайне желательным. Болеслав не мог не понимать, что Ярослав, в свою очередь, попытается заключить соглашение с императором Генрихом II (а может быть, даже знал, что переговоры об этом уже ведутся). Потому, наверное, он готов был пожертвовать Святополком. В самом деле, по большому счету для

Болеслава не имело разницы, кто из русских князей будет править в Киеве, лишь бы этот киевский князь был послушен его воли. При этом, с «лисьим коварством» (выражение Титмара Мерзебургского), Болеслав нащупывал возможность заключения мира и династического союза и с Германской империей и пытался заручиться поддержкой саксонской знати: примерно в то же время Болеслав засылал сватов к Оде, дочери майсенского маркграфа Эккехарда в Саксонии.

Говорят: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Однако не всегда эта поговорка оказывается верной. Пройдет время — и на супружеском ложе Болеслава (причем практически одновременно!) окажутся и немка Ода, и киевлянка Предслава. Но пока Болеславу действительно не повезло. Предотвратить войну на два фронта ему так и не удалось: и Ярослав, и Генрих отказались от его заманчивых предложений и предпочли действовать совместно против общего врага.

Матримониальная авантюра Болеслава, возможно, стоила ему еще одного союзника. По-видимому, Святополк верно истолковал посольство своего тестя к Ярославу как готовность польского князя пожертвовать им ради нового, более выгодного союзника. До времени Святополк, разумеется, скрывал обиду, тем более что он мог лишь уповать на то, что переговоры с Ярославом завершатся провалом. (И в этом он, кстати говоря, не ошибся.) Но вот когда Болеслав одержит верх над Ярославом и сумеет вернуть своему зятю «золотой» киевский престол, Святополк отплатит ему черной неблагодарностью.

Впрочем, мы несколько отвлеклись от происходящих событий. Итак, Ярослав ответил Болеславу решительным отказом. Может быть, причина крылась в нежелании самой Предславы выходить замуж за известного своим распутством Болеслава. Все-таки она оставалась любимой сестрой Ярослава, к тому же киевский князь был многим обязан ей лично, так что ее воля вполне могла повлиять на его окончательный ответ. И все же более вероятно, что отказ Ярослава объяснялся в первую очередь чисто политическими соображениями. Киевский князь сделал свой выбор, предпочтя союзу с Болеславом союз с его злейшим врагом — германским императором Генрихом II.

О переговорах между Ярославом и Генрихом мы знаем лишь из случайной обмолвки Титмара Мерзебургского. Оказывается, «король Руси» (то есть Ярослав) присылал своего посла к германскому императору, причем обещал ему «на-

пасть на Болеслава»[37]. Действия русского князя были вполне естественными и основывались на извечном принципе внешней политики: «враг моего врага — мой друг». И император Генрих, и князь Ярослав в равной степени были заинтересованы в ослаблении военного потенциала Болеслава. Им тем проще было найти общий язык друг с другом, что история взаимоотношений Германской империи и Руси уже знала подобные союзы, направленные против Польши[38].

По-видимому, русское посольство отправилось в путь вскоре после утверждения Ярослава в Киеве, во всяком случае, в первой половине 1017 года. Для Генриха оно оказалось более чем кстати. Вероятно, уже заручившись поддержкой Ярослава, Генрих начал летнюю кампанию 1017 года. В середине июля немецкие войска форсировали Эльбу и вторглись в польские земли. В союзе с Генрихом действовали чешский князь Олдржих и язычники лютичи, а также, вероятно, венгерский король Иштван I[39].

В войне с Германией Польша оказалась приблизительно в таком же положении, в каком столетия спустя будет пребывать сама Германия, которой неоднократно приходилось воевать на два фронта — на западе и на востоке. Болеслав и стремился действовать примерно так же, как впоследствии будут действовать немецкие генералы, уповавшие на «блицкриг» — молниеносное выведение из войны одного из противников. Польскому князю было сделать это нетрудно, ибо в его время войска передвигались довольно медленно, а какое-либо взаимодействие между различными армиями, разворачивавшимися на самостоятельных и удаленных друг от друга театрах военных действий, отсутствовало напрочь.

Болеславу удалось помириться с Генрихом (причем помириться с позиции силы!) еще до того, как последний сумел согласовать свои действия с Ярославом. Польский князь в очередной раз продемонстрировал блестящее полководческое дарование. Его сын Мешко, пользуясь отсутствием в Чехии князя Олдржиха, разорил страну. Совместные действия против поляков немцев и лютичей закончились ничем. Немцам пришлось снять осаду с польской крепости Нимпч и вместе с чехами отступить в Чехию; лютичи также вынуждены были возвратиться восвояси. 19 сентября поляки начали наступление между Эльбой и Мульдой; Генрих отошел к Майсену.

Подробности о ходе польско-германской войны известны нам почти исключительно благодаря «Хронике» Титмара Мерзебургского. Он же сообщает о том, что осенью 1017 года Болеслав неожиданно выступил инициатором примире-

ния с Генрихом. 1 октября германский император прибыл в Мерзебург, где пребывал до конца месяца. В этот город и явились послы польского князя, так что переговоры проходили буквально на глазах мерзебургского хрониста. «Тогда же через прибывшего сюда посла Болеслав обещал выдать давно находившегося у него в плену юного Людольфа (по другим источникам, кажется, неизвестного. — *А. К.*), а за его освобождение просил отпустить своих рыцарей, задерживавшихся у нас под строгой стражей». Обмен пленными должен был послужить предлогом для переговоров о полномасштабном мире. «Кроме того, он (Болеслав. — *А. К.*) настойчиво расспрашивал императора, позволено ли ему будет прислать посла, чтобы снискать его благорасположение». Утомленные войной восточногерманские феодалы немедленно поддержали предложение о мире, после чего «цезарь (Генрих. — *А. К.*) выразил согласие и только тогда узнал, что король Руси, как обещал ему через своего посла, напал на Болеслава, но, овладев [неким] городом, ничего [более] там не добился»[40].

Последняя фраза является ключевой для понимания сути происходящего. «Король Руси» — князь Ярослав. Оказывается, именно его активные и согласованные с Генрихом наступательные действия против Польши (о которых Генрих пока еще не знал) вынудили Болеслава, несмотря на удачное для него развитие событий на западе, искать мира. Причем предложенные им Генриху условия были более чем выгодны для Польши и в то же время вполне приемлемы для Германии. Польша получала земли, которые принадлежали ей еще до начала войны 1015—1017 годов: Лужицкую марку и Мильско (земли мильчан). Однако если прежде Болеслав владел ими на правах имперского лена, то теперь они прямо включались в состав Польского государства[41]. Начались переговоры, результатом которых стало подписание 30 января 1018 года в городе Будишине (Баутцене) мира между Германской империей и Польшей. События, которые последовали за этим, свидетельствуют, что главной целью Болеслава было разрушение германско-русского союза. Вероятно, к этому времени он окончательно определился в своих планах относительно Руси и нового русского князя, сделав ставку на Святополка и вознамерившись силой возвести его на киевский престол. Заодно Болеславу предстояло решить важнейшую внешнеполитическую задачу, стоявшую перед Польшей еще с начала 90-х годов X века, — закрепить переход под ее власть так называемых Червенских городов (Волыни и части Галиции), которые были присоединены к Киевскому государству еще Владимиром Святым около 979 года.

Болеславу удалось заручиться поддержкой германского императора. Генрих не только разорвал союзнические отношения с Ярославом, но и пообещал оказать польскому князю помощь в его походе на Русь. Он дал согласие и на брак Болеслава с упомянутой выше Одой. Брак этот был совершен просто с неприличной поспешностью и при полном нарушении церковных канонов. Спустя всего четыре дня после заключения Будишинского мира, 3 февраля 1018 года, Ода в сопровождении сына Болеслава Оттона отбыла в Польшу, где без церковного благословения, после начала Великого поста (что специально подчеркивает Титмар), сочеталась браком с польским князем.

В какой-то степени Генриха можно понять. Он упустил время для совместных с Ярославом действий против Болеслава, можно сказать, дал польскому князю обвести себя вокруг пальца. В свою очередь, и Ярослав не сумел развить наметившийся успех, не нанес Болеславу сколько-нибудь серьезного поражения. За то время, пока Генрих, узнавший о наступлении Ярослава (отнюдь не неожиданном для него!), медлил, желая удостовериться, насколько силен его потенциальный союзник, Болеслав успел перебросить свои войска на восток и отбить натиск киевского князя. И Генрих с легкостью пожертвовал союзом с Русью ради дружбы с вчерашним непримиримым врагом. Его ждали уже иные заботы, в том числе война в Италии, где традиционным противником Германии была могущественная Византийская империя. Теперь мир на восточной границе Германии показался Генриху выгоднее, нежели дальнейшее продолжение войны. Конечно, подобное поведение можно было бы назвать предательским по отношению к Ярославу, но в истории дипломатии оно настолько обыденно и заурядно, что бросаться такими громкими обвинениями даже как-то неловко.

А что же Ярослав? Судя по тому, что о его нападении на некий принадлежащий Болеславу город император Генрих узнал в октябре 1017 года, военные действия происходили в августе-сентябре[42]. Историки уже давно связали известие об этом походе Титмара Мерзебургского с сообщением Новгородской Первой летописи под тем же 1017 годом: «Ярослав иде к Берестию». Берестье (нынешний Брест) на правом, русском берегу пограничного с Польшей Буга представлял собой западный форпост Туровского княжества Святополка. После своего бегства в Польшу Святополк, очевидно, сумел удержать этот город (может быть, с помощью дружин Болеслава). Таким образом, поход Ярослава преследовал сразу две цели: во-первых, выбить своего противника из послед-

него остающегося в его руках русского города и, во-вторых, нанести урон покровителю Святополка Болеславу. Предполагалось, что этот поход совпадет по времени с наступлением немцев в Силезии. Однако этого, как мы уже поняли, как раз и не произошло.

Процитированный выше текст Титмара представляется несколько темным, а потому трудно решить с определенностью, действительно ли Ярослав *захватил* город, или только *попытался* это сделать[43]. Но в любом случае ясно, что поход не принес ожидаемых результатов и в конечном счете завершился неудачно для киевского князя. (Об этом Титмар говорит совершенно определенно: Ярослав «ничего более там не добился».) Обычно полагают, что причиной отступления Ярослава от Берестья стало внезапное нападение на Киев союзных Болеславу печенегов[44]. Но это вовсе не обязательно и, более того, кажется, не подтверждается хронологически. Мы уже говорили о том, что русские источники предположительно датируют печенежский набег на Киев (равно как и опустошительный пожар в Киеве) весной 1017 года, то есть временем более ранним, чем поход Ярослава к Берестью. По-видимому, два этих военных предприятия не были связаны между собой. Да и Титмар Мерзебургский, кажется, объясняет неудачу «короля Руси» энергичными военными действиями со стороны Болеслава. «Названный герцог (Болеслав. — *А. К.*), — продолжает он свое повествование, — вторгся затем с войском в его королевство, возвел на престол его брата, а своего зятя, долго пребывавшего в изгнании (Святополка. — *А. К.*), и довольный вернулся на родину».

Долгое время полагали, что эти слова мерзебургского хрониста имеют в виду хорошо известный и подробно описанный тем же Титмаром и другими источниками поход Болеслава на Русь летом 1018 года (о нем речь пойдет ниже). Однако текстологические наблюдения над рукописью «Хроники» (а она, как известно, сохранилась в подлиннике и частично написана рукой самого Титмара) показали, что это не так. Оказывается, Титмар писал эти слова еще до вступления Болеслава в Киев (и тем более до его возвращения оттуда в Польшу); скорее всего, в том же 1017 году[45]. Следовательно, Болеслав предпринял какие-то решительные действия в ответ на наступление Ярослава и не только перехватил у того инициативу, но и вторгся на территорию Руси и захватил какой-то принадлежавший самому Ярославу город. Никакие иные источники о походе Болеслава на Русь в 1017 году ничего не сообщают.

Что за город захватил Болеслав, неизвестно. Судя по тому, что польский князь «возвел на престол» этого города Святополка, речь идет об одном из городов Туровского княжества — может быть, даже о самом Турове, но более вероятно, что о том же Берестье, которое на время перешло под контроль Ярослава.

Так Болеслав и Ярослав впервые схлестнулись друг с другом. Для обоих князей это оказалось лишь репетицией перед будущей кровопролитной схваткой.

Будишинский мир, заключенный Болеславом и Генрихом в январе 1018 года, поставил Ярослава в крайне затруднительное положение. Один, без союзников, он должен был противостоять могущественному врагу. В свою очередь, Болеслав очень серьезно подготовился к войне. Как мы уже говорили, он заручился поддержкой императора Генриха. Помимо собственно поляков, в состав войска Болеслава вошли 300 саксонских рыцарей (скорее всего, предоставленных Генрихом по условиям мирного договора), 500 венгров (участие которых в походе, вероятно, также было обусловлено соглашением с Империей) и 1000 печенегов, постоянных союзников Болеслава[46]. 300 панцирных рыцарей — несомненно, внушительная сила, и их участие в польском войске (вопреки мнению отдельных историков) отнюдь не было лишь символическим жестом со стороны императора. Каждого из этих воинов должен был сопровождать небольшой, но сплоченный отряд из двух-трех слуг и оруженосцев, так что общее число немцев, участников похода, в несколько раз превосходило цифру, названную хронистом. Что касается венгров и печенегов, то это были прирожденные всадники, которые могли обеспечить маневренность и быстроту передвижения польскому войску. В состав армии Болеслава вошли также русские воины, дружинники Святополка, бежавшие в Польшу после поражения своего князя, — в первую очередь, по-видимому, туровцы и волыняне.

Общая численность всего Болеславова войска неизвестна. Мы знаем, что отец Болеслава, князь Мешко, располагал трехтысячной дружиной[47]. Но при Болеславе эта цифра, несомненно, увеличилась многократно. Приблизительное представление о тех силах, которыми располагал польский князь, начиная войну, можно получить из рассказа «Хроники» так называемого Галла Анонима — неизвестного автора, создавшего свой труд в Польше в начале XII века. «В Познани он (Болеслав. — *А. К.*) имел 1300 рыцарей с 4 тысячами

щитников, в Гнезно — 1500 рыцарей и 5 тысяч щитников, в городе Влоцлавке — 800 рыцарей и 2 тысячи щитников, в Гдече — 300 рыцарей и 2 тысячи щитников; все они во времена Болеслава Великого были храбрыми и искусными в битвах воинами». Не считая нужным перечислять все города и число рыцарей в каждом из них, автор «Хроники» ностальгически восклицает, сравнивая счастливые для Польши времена Болеслава Великого с современной ему действительностью: «Король Болеслав имел рыцарей больше, чем в наше время имеет вся Польша щитников; во времена Болеслава почти столько же насчитывалось рыцарей, сколько людей всякого рода имеется в наше время»[48]. Несомненно, Галл Аноним преувеличивал, да и не все воины Болеслава могли принять участие в русской войне, но можно не сомневаться, что в поход выступила во всех отношениях многочисленная и боеспособная армия. У Титмара Мерзебургского были все основания написать, что Болеслав вторгся на Русь с «великим войском».

Киевский князь также серьезно готовился к войне. «Ярослав... совокупил русь, и варягов, и словен», — свидетельствует летописец. «Русь», в данном случае, — киевляне; словене — новгородцы. Автор позднейшей Устюжской летописи добавляет к этому перечню еще и псковичей[49]. Если принимать это добавление, то можно сделать вывод, что Ярослав привлек к союзу против Святополка своего брата Судислава, княжившего в Пскове. (Имя Судислава в рассказе о событиях русской смуты 1015—1019 годов не упоминается ни разу. Судя по всему, это был слабый и малоинициативный правитель, не игравший какой-либо самостоятельной роли. Ярославу, княжившему в близком к Пскову Новгороде, было легче, чем кому бы то ни было еще, подчинить его своему влиянию.) По-прежнему значительную силу в войске Ярослава представляли наемники-варяги. Титмар Мерзебургский особенно подчеркивал роль «стремительных данов» (так в Европе именовали не только датчан, но вообще скандинавов) в обороне Киева от поляков и других недругов Руси*.

Заметим, что, начиная войну с Болеславом и Святополком, Ярослав позаботился о том, чтобы супруга Святополка, дочь польского князя, оказалась в Новгороде. Вряд ли в

---

* Ян Длугош сообщает также о том, что Ярослав привлек в свое войско печенегов. Но это известие польского хрониста XV века кажется сомнительным — особенно в свете того, что мы определенно знаем о существовании польско-печенежского союза при князе Болеславе.

этом можно видеть какую-то особую предусмотрительность князя на случай возможного поражения. (Ведь, к примеру, свою собственную жену он как раз оставил в Киеве.) Может быть, Ярослав не вполне доверял киевлянам и подозревал, что у Болеславны могут найтись в Киеве доброжелатели, способные помочь ей бежать из города к отцу и тестю?

Общая численность войска Ярослава — хотя бы приблизительная — также неизвестна. Польские источники неоднократно говорят о «бесчисленном войске» русских, чуть ли не в сотню раз превосходящем польское. Однако их показания на этот счет нельзя принимать всерьез, ибо — как мы увидим — военные подвиги Болеслава, легко побеждающего неисчислимые полчища врагов, расцвечены в них до полного неправдоподобия.

Вот, кстати, образчик такого повествования, в котором явный вымысел соединен с неумеренной похвальбой в адрес польского князя. «Король Болеслав», рассказывает Галл Аноним, «храбро вторгся в королевство русских и их, пытавшихся вначале сопротивляться оружием, но не осмеливших-ся завязать сражение, разогнал перед собой, подобно тому, как ветер разгоняет пыль». Оказывается, Ярослав вообще ничего не знал о нападении польского князя, и нашествие явилось для него полной неожиданностью. «...Король русских с простотою, свойственной его народу, в то время, когда ему сообщили о неожиданном вторжении Болеслава, ловил на лодке удочкой рыбу. Он с трудом мог этому поверить, но так как многие подтверждали это сообщение, пришел в ужас. Потом только, поднеся к губам большой и указательный палец и поплевав, по обычаю рыболовов, на удочку, произнес, как говорят, на бесчестие своего народа такие слова: "Так как Болеслав занимается не таким искусством (то есть не рыбной ловлей. — *А. К.*), а привык носить рыцарское оружие, потому-то Бог и предназначил передать в его руки и город этот (Киев. — *А. К.*), и королевство русских, и все богатство". Сказав так и не мешкая более, он обратился в бегство».

Но это, без сомнений, анекдот, вымысел чистой воды, имеющий целью унизить противника и выставить его в самом ничтожном и самом позорном виде. И характеризует этот анекдот, пожалуй, не столько того, о ком идет речь, сколько самого рассказчика. Такое высокомерное, презрительное отношение к противникам, и прежде всего к русским, вообще свойственно средневековой польской историографии. В данном случае (как и в целом ряде других мест своей «Хроники») Галл сильно преувеличивает и искажает

ход событий. Так, нашествие Болеслава отнюдь не стало неожиданностью для Ярослава. Кроме того, русские вовсе не уклонились от сражения, хотя оно и имело для них катастрофические последствия.

Вторжение Болеслава на Русь началось в июле 1018 года. Ярослав встретил противника на реке Буг, на Волыни, вблизи западной границы Руси. «Пришел Болеслав со Святополком на Ярослава, с ляхами. Ярослав же... выступил против Болеслава и Святополка и пришел к Волыню; и встали по обеим сторонам реки Буг», — рассказывает автор «Повести временных лет». Надо полагать, что Болеслав занял левый берег Западного Буга, в том числе и сам город Волынь, упомянутый летописцем. Ярослав же поставил свои войска (возможно, базировавшиеся во Владимире-Волынском) на правобережье Буга, перекрывая возможность переправы для поляков[50].

Дальнейший ход русско-польской войны 1018 года может быть восстановлен относительно полно. Здесь мы сталкиваемся с тем редким случаем, когда в нашем распоряжении имеется несколько более или менее подробных описаний боевых действий, причем представляющих различные противоборствующие лагеря — как русский (летопись), так и польский («Хроника» Галла Анонима и другие, более поздние средневековые польские хроники). Представлен и относительно нейтральный взгляд со стороны («Хроника» Титмара Мерзебургского)[51]. (Последний источник назван относительно нейтральным потому, что Титмар получал информацию от наемников-саксонцев, участвовавших в походе на Киев в составе армии Болеслава. Но именно это обстоятельство делает показания Титмара — единственного безусловного современника событий — особенно ценными. К тому же Титмар очень не любил Болеслава и, рассказывая о военных действиях, не склонен был преувеличивать успехи поляков и с сочувствием относился к русским.)

Решающее сражение произошло 22 июля 1018 года (точную дату называет Титмар). «Названный герцог (Болеслав. — *А. К.*), подойдя к некой реке (Бугу. — *А. К.*), приказал своим воинам разбить там лагерь и навести необходимые мосты. Король Руси, расположившись со своими близ той же реки, с нетерпением ожидал исхода предстоявшего по взаимному соглашению сражения». Как видим, оба предводителя надеялись на успех и даже обменялись парламентерами. Галл Аноним (который, правда, помещает сразу два рассказа об одном и том же сражении между Боле-

славом и Ярославом, причем оба не на надлежащее место) приводит слова, которые Ярослав якобы велел передать польскому князю: «Пусть знает Болеслав, что он, как кабан, загнан в лужу моими псами и охотниками». «Хорошо ты назвал меня свиньей в болотной луже, — отвечал на это Болеслав, — так как кровью охотников и псов твоих, то есть князей и рыцарей, я запачкаю ноги коней моих, а землю твою и города уничтожу, словно зверь небывалый». Конечно, и в этом рассказе польского хрониста можно видеть лишь проявление свойственного ему высокомерия по отношению к потерявшему всякое чувство меры противнику, тем более что сразу же затем сообщается о том, сколь жестоким оказалась расправа над наглым и недалеким русским «королем». Но сам факт переговоров подтверждается и другими источниками.

(По-другому рассказывает В. Н. Татищев: Болеслав будто бы, «хотя братию примирить, по совету вельмож посылал к Ярославу о мире». Примирение не состоялось из-за того, что воевода Ярослава Будый (Буды) оскорбил польского князя; «а паче Святополк, не хотя о мире слышать, возбуждал всех к битве»[52].)

Кажется, был согласован и день битвы. «На следующий день наступал праздник, — читаем у Галла, — и Болеслав, намереваясь его праздновать, отложил на определенный срок начало сражения». (22 июля отмечается память святой Марии Магдалины, но этот ли праздник имел в виду Галл, сказать трудно.) Однако все произошло совершенно неожиданно как для Болеслава, так и для Ярослава. В этом сходятся все источники, хотя события, предшествующие началу кровопролития, описываются в них по-разному.

«Был у Ярослава кормилец и воевода, именем Буды, — рассказывает русский летописец. — Начал [тот] укорять Болеслава (то есть насмехаться. — *А. К.*), говоря: "Вот, проткнем тебе трескою (копьем, колом. — *А. К.*) чрево твое толстое", потому что был Болеслав велик и тяжек, так что и на коне не мог сидеть, но зато был смыслен. И сказал Болеслав дружине своей: "Если вам сего укора не жаль (то есть если вы стерпите эти поношения. — *А. К.*), то пусть я один погибну". Сев на коня, въехал в реку, а за ним воины его. Ярослав же не успел исполчиться, и победил Болеслав Ярослава».

Насмешки Буды явно напоминают слова, с которыми Ярослав обращался к польскому князю согласно свидетельству Галла Анонима. Сходство это еще более усиливается в поздних русских летописных сводах, которые несколько пе-

реиначивают слова киевского воеводы: «Что придосте, ляхове, с брюхачем сим, дайте прободем тростию брюхо его толстое, аки блато (болото. — *А. К.*) прольется!»[53] Но как насмешки воеводы Святополка перед началом Любечской битвы стоили победы туровскому князю, так и теперь оскорбительные речи Буды в адрес Болеслава привели к катастрофе. (Отметим, кстати, удивительно уважительный тон русского летописца по отношению к Болеславу, столь контрастирующий с тоном польских хроник. Уважение к врагу, признание его достоинств, равно как и выпячивание собственных слабостей и недостатков вообще отличают русские средневековые — да и не только средневековые — источники. Трудно сказать, чего здесь больше: какой-то «всемирной отзывчивости» русского национального характера или же своеобразного «комплекса неполноценности», свойственного русским.)

Титмар Мерзебургский тоже знает о том, что битве предшествовала словесная перепалка, но инициаторами ее называет поляков, а не русских. «Поляки, дразня близкого врага, вызвали его на столкновение, завершившееся нечаянным успехом, так что охранявшие реку были отброшены. Узнав об этом, Болеслав ободрился и, приказав бывшим с ним немедленный сбор, стремительно, хотя и не без труда, переправился через реку. Вражеское же войско, выстроившись напротив, тщетно старалось защитить отечество, ибо, уступив в первой стычке, оно не оказало более серьезного сопротивления».

О стычке и взаимных оскорблениях пишет и Галл Аноним. Впрочем, его рассказ и здесь обильно уснащен явно вымышленными подробностями, которые имеют своей целью всяческое принижение противников польского князя. Оказывается, победу над русскими одержал даже не сам Болеслав, а повара и слуги, находившиеся в его лагере. «В этот день резали бесчисленное количество животных, которые, по обычаю, приготовлялись к наступающему празднику для стола короля (князя Болеслава. — *А. К.*), собиравшегося пировать вместе со своими князьями. Когда на берег реки были собраны все повара, прислужники и низшие чины воинов для очистки мяса и внутренностей животных, с другого берега реки слуги и оруженосцы русских стали громко издеваться над ними и вызывать их на бой дерзкими насмешками. Поляки, со своей стороны, ничего обидного не отвечали, но внутренности животных и все отбросы кидали в лицо русским за их оскорбления. Когда русские стали их все более и более оскорблять и даже стали метать в них стрелы,

челядь войска Болеслава, оставив мясо и дичь, захватив оружие рыцарей, спавших после полудня, переплыв реку, одержала победу над большим множеством русских». Лишь после этого в битву вступили сам Болеслав и его рыцари, разбуженные криками и звоном оружия. Так что «не только одна челядь приобрела славу и не одна она была виновницей пролития крови», — несколько поправляется Галл, видимо, почувствовав, что чрезмерный сарказм в отношении врага косвенным образом принижает роль в битве самого Болеслава.

Точно восстановить ход сражения едва ли представляется возможным. Рассказы и русской летописи, и «Хроники» Галла, очевидно, основаны на каких-то устных эпических преданиях; они явно восходят к воспоминаниям участников битвы, но десятилетия или даже столетия, отделявшие запись этих рассказов от самих событий, усилили эпический, былинный мотив, увы, в ущерб достоверности повествования. (Особенно это относится к польской хронике.) Но для нас, в общем-то, не столь важно, кто именно начал битву — сам ли Болеслав Храбрый, смело бросившийся в воды реки и увлекший за собой воинов, какие-то русские сторожа, охранявшие переправу, или же польские повара и слуги. Не так важно и то, кто затеял перебранку. Важнее другое: Болеслав в очередной раз продемонстрировал свое полководческое мастерство и сумел воспользоваться психологическим преимуществом, предоставленным ему русскими. Ярослав же оказался не на высоте. Его неподготовленность к битве можно объяснить, пожалуй, только одним: предводители враждующих ратей наметили определенный срок для начала сражения, и Ярослав никак не ожидал, что он может быть нарушен. Но настоящего полководца как раз и должно отличать умение просчитывать все возможные варианты развития событий... Не учел киевский князь и собственный успешный опыт. Ведь не кто иной, как сам Ярослав всего лишь за полтора года до сражения на Буге блестяще использовал тот прием, который ныне оказался губительным для него. Говорят, что учатся на ошибках. Вероятно, извлекать уроки из собственных побед не менее важно.

Что же касается словесных поединков, предшествующих сражению, то удивительное сходство в описании битв у Любеча и на Буге показывает, что их время заканчивалось. Заметим, что русские летописи в обоих случаях называют виновниками поражений *старых* воевод. И Волчий Хвост, воевода Владимира, и Буды, «кормилец» Ярослава, несомненно, принадлежали уходящей эпохе...

Масштабы поражения русского войска оказались, действительно, чудовищными. «Тогда пало там бесчисленное множество бегущих», — свидетельствует Титмар Мерзебургский. Русские летописцы вторят ему, называя в числе погибших и воеводу Блуда (Буды). «И иных множество победили (надо полагать, побили. — *А. К.*), а тех, которых руками схватили (взяли в плен. — *А. К.*), расточил Болеслав по ляхам»[54]. Галл Аноним со свойственным ему стремлением к преувеличению воссоздает эпически страшную картину побоища: «...Никто не может точно сосчитать тысячи погибших неприятелей, о которых известно, что они сошлись к сражению в несметном количестве, но что лишь немногим, оставшимся в живых, удалось спастись бегством... Многие, пришедшие спустя много дней из дальних мест, чтобы разыскать друзей или родственников, уверяли, что столько крови там было пролито, что по равнине можно было идти не иначе как по крови или по трупам людей и что вся вода в реке Буг имела больше вид крови, нежели речной воды». (Или еще более устрашающе у другого польского хрониста — Винцентия Кадлубека, писавшего спустя сто лет после Галла: «Ненасытная львиная ярость не насыщается до тех пор, пока не катится последний труп, пока не загустевает река Буг от крови»[55].) Сам Болеслав, по версии Галла, принял горячее участие в избиении русских и проявил себя во всем блеске. Впрочем, слова польского хрониста на сей счет, как обычно, не отличаются конкретностью. «Король Болеслав... как жаждущий лев, бросился в гущу врагов. И нет возможности перечислить, скольких убил он из тех, кто сопротивлялся ему...» По мнению авторов более поздних польских хроник, в числе плененных оказался и сам князь Ярослав, которого «схваченного с лучшими людьми, ведут на веревке, словно свору собак» к Болеславу (свидетельство Винцентия Кадлубека); но это явно не соответствует действительности.

Потери были и среди победителей. Титмар называет имя единственного погибшего рыцаря-немца. «Из наших погиб славный рыцарь Херик, которого наш император долго держал в заточении». (Этот Херик в свое время бежал к Болеславу и был взят в плен немцами во время кампании 1015 года, о чем сообщает тот же Титмар. Его освобождение, надо полагать, стало следствием Будишинского мира[56].) Русские источники сообщают отрывочные сведения и об убитых поляках. Так, например, «на сем бою» погиб некий знатный польский вельможа, приближенный самого Болеслава. После завершения киевского похода его вдове доста-

лось множество русских пленных, в числе которых оказался и известный нам Моисей Угрин[57].

Самому Ярославу удалось спастись. По свидетельству русского летописца, он бежал с поля брани и в сопровождении всего четырех мужей устремился к Новгороду. Правда, В. Н. Татищев сообщает несколько по-другому: по дороге князь будто бы добрался до Киева и, «собрав осталое войско, пошел из Киева к Новуграду». (Князь не рискнул оставаться в Киеве, «чтобы не быть преданным своими», — уточняет Длугош.) Еще более радужную для русского князя картину рисует Титмар, сообщающий даже о военном успехе Ярослава: «Между тем Ярослав силой захватил какой-то город, принадлежавший тогда его брату, а жителей увел в плен».

По-видимому, не все войска Ярослава приняли участие в битве на Буге. Какая-то их часть могла действовать самостоятельно и в самом деле захватить некий принадлежавший Святополку город (может быть, даже Туров)[58]. Во всяком случае, таково наиболее естественное понимание текста немецкой «Хроники». Однако это событие не могло переломить ход войны. Катастрофа на Буге (или, может быть, одна только весть о случившемся) полностью надломила волю сторонников Ярослава и вскоре положила конец всякому сопротивлению с их стороны.

Что же касается Ярослава, то он, очевидно, испытывал после бугского разгрома чувство глубокого страха. Русские источники позволяют говорить об этом вполне определенно: Ярослав не собирался задерживаться даже в Новгороде (где прежде чувствовал себя в полной безопасности) и намеревался вовсе покинуть пределы Руси в поисках убежища «за морем». Едва ли он в действительности мог собирать в Киеве какое-то «осталое» войско. Версия «Повести временных лет» выглядит предпочтительнее и, в частности, подтверждается свидетельством Титмара Мерзебургского, согласно которому в руки Болеслава, после того как он захватил Киев, попали супруга Ярослава, а также многочисленные сестры новгородского князя, в том числе и Предслава. Вряд ли это могло произойти, окажись Ярослав по дороге к Новгороду в Киеве.

Это постыдное бегство, конечно, не украшает героя нашего повествования, тем более что определенные надежды на продолжение борьбы у него все же имелись. Остатки Ярославова войска, некоторые из его бояр (но без князя!), действительно, отступили к Киеву и предприняли попытку отстоять город от неприятеля. Ярослав же, по-видимому,

расценил их шансы как ничтожные и не посчитал нужным хоть как-то поддержать защитников Киева. Наверное, его не слишком занимали в тот момент и судьбы близких ему людей. Князь думал лишь о собственной безопасности, здраво рассудив, что до тех пор, пока он сам остается в живых и на свободе, у него сохраняются шансы на конечный успех всего предприятия. Политик, как всегда, одержал в нем верх над воином и над человеком.

Между тем бегство Ярослава открыло союзному войску прямой путь на Киев. «Добившись желанного успеха, — пишет Титмар, — [Болеслав] преследовал разбитого врага, а жители повсюду встречали его с честью и большими дарами». Галл Аноним вообще не допускает мысли о возможном сопротивлении победоносному Болеславу: разогнав врагов, «подобно тому, как ветер разгоняет пыль», польский князь «не задерживался в пути: не брал городов, не собирал денег, как это делали его враги, а поспешил на Киев».

Путь Болеслава проходил через Владимир-Волынский, Дорогобуж, Луцк и Белгород[59]. Жители этих городов, по-видимому, не оказали ему никакого сопротивления и поспешили признать власть Святополка. Триумфальное шествие союзников продолжалось около двух или трех недель. В первой половине августа Болеслав подступил к Киеву. Вероятно, впереди огромного войска двигались печенеги и венгры, которых и должны были раньше других увидеть киевляне с высоких деревянных стен киевской крепости.

Среди защитников города Титмар называет прежде всего «стремительных данов» (то есть скандинавов), а также каких-то «спасающихся бегством рабов («сервов»), стекавшихся сюда со всех сторон». Последняя не вполне ясная фраза немецкого хрониста вызвала немало различных гипотез, касающихся, в частности, методов комплектования киевского войска и даже состава городского населения древней Руси вообще (в этих «сервах» видели беглых холопов или изгоев, вступающих в княжескую дружину)[60]. Однако, скорее всего, речь идет о «спасающихся бегством» смердах — населении окрестных сел, которое, как это обычно бывало, укрывалось в городе во время нападения неприятеля[61].

Осада Киева оказалась недолгой, хотя поначалу защитники города и попытались оказать сопротивление неприятелю. «На город Киев, чрезвычайно укрепленный, по наущению Болеславову часто нападали враждебные печенеги, пострадал он и от сильного пожара, — пишет Титмар. — Хотя жители и защищали его, однако он быстро был сдан иноземному войску...»

Поздние польские и украинские источники подтверждают свидетельство немецкого хрониста. Болеслав окружил город со всех сторон, свидетельствует Ян Длугош, «понимая, что многочисленное население, которое укрылось в нем вместе с теми русскими, что сбежались туда в надежде спастись, недолго сможет продержаться из-за недостатка продовольствия». Сберегая своих воинов, он не стал спешить с решительным штурмом и, как всегда, оказался прав: вскоре голод вынудил защитников города прекратить сопротивление[62].

14 августа, в канун Успения Божией Матери, едва ли не самого почитаемого христианского праздника древней Руси, союзники вступили в Киев. В только что отстроенном после пожара соборе Святой Софии (во всяком случае, так утверждает Титмар) Болеслава и Святополка «с почестями, с мощами святых и прочим всевозможным благолепием встретил архиепископ этого города» (надо полагать, киевский митрополит*). Очевидно, капитуляции предшествовало заключение какого-то соглашения между Болеславом и Святополком, с одной стороны, и горожанами, с другой, и церковные власти Киева выступили гарантом этого соглашения. Киевлянам были обещаны безопасность и прощение за прошлые «измены». «...Оставленный своим обратившимся в бегство королем, [Киев] 14 августа принял Болеслава и своего долго отсутствовавшего сениора Святополка, благорасположение к которому[63], а также страх перед нашими (саксонцами. — *А. К.*) обратили к покорности весь тот край... Вышеупомянутый сениор (Святополк. — *А. К.*) с радостью стал принимать местных жителей, приходивших к нему с изъявлением покорности»**.

В польских источниках сохранилась яркая легенда, согласно которой князь Болеслав, вступив в завоеванный Киев, ударил мечом по Золотым воротам города. На вопрос, за-

---

* В Западной церкви не существовало института митрополитаната, и потому митрополит мог быть назван архиепископом.

** Правда, совсем без кровопролития, кажется, не обошлось. В «Хронике» Яна Длугоша имеется известие о том, что после вступления в Киев войск Болеслава и возведения на престол Святополка русские воины напали на живших в Киеве евреев, разграбили их и предали их дома огню[64]. Если в этом известии польского хрониста ничего не перепутано (и, в частности, не смешаны два Святополка — Святополк Окаянный и князь Святополк Изяславич, после смерти которого в 1113 году в Киеве действительно имели место выступления против евреев), то действия Святополка можно было бы объяснить, по крайней мере отчасти, тем, что влиятельная еврейская община Киева открыто поддержала Ярослава.

чем он это делает, Болеслав будто бы отвечал «с язвительным смехом»: «Как в этот час меч мой поражает золотые ворота города, так следующей ночью будет обесчещена сестра самого трусливого из королей, который отказался выдать ее за меня замуж; но она соединится с Болеславом не законным браком, а только один раз, как наложница, и этим будет отомщена обида, нанесенная нашему народу, а для русских это будет позором и бесчестием». (Галл Аноним, который пересказывает этот эпизод, полагал, что отказ Ярослава выдать Предславу замуж за Болеслава и явился главной причиной киевского похода.)

Несомненно, и здесь перед нами вымысел, явный анахронизм (ибо в 1018 году знаменитых Золотых ворот в Киеве еще не существовало). По-видимому, приведенная Галлом легенда первоначально имела отношение не к Болеславу Великому, а к его правнуку, Болеславу II Щедрому (или Смелому) (1058—1079; король с 1076 года). В 1068 году он также вступил с польским войском в Киев, действуя, подобно прадеду, совместно со своим русским союзником, князем Изяславом Ярославичем, незадолго до этого изгнанным из Руси. Галл Аноним рассказывает о триумфе Болеслава Щедрого почти в тех же выражениях, что и о киевском походе Болеслава Великого: «Он... вступил врагом в столицу русского королевства... и ударом своего меча оставил памятный знак на золотых воротах города. Там он возвел на царский престол одного русского из своей родни (Изяслава. — *А. К.*)...»[65]

Легенда о Болеславове мече получила развитие у более поздних польских хронистов. «Говорят, что ангел вручил ему (Болеславу Великому. — *А. К.*) меч, которым он с помощью Бога побеждал своих противников, — рассказывается в так называемой «Великопольской хронике» (XIII—XIV века). — Этот меч и до сих пор находится в хранилище краковской церкви, и польские короли, направляясь на войну, всегда брали его с собой и с ним обычно одерживали триумфальные победы над врагами... Меч короля Болеслава... получил название "щербец", так как он, Болеслав, придя на Русь по внушению ангела, первый ударил им в Золотые ворота, запиравшие город Киев на Руси, и при этом меч получил небольшое повреждение...»[66]

Этот Болеславов меч стал одной из главных святынь Польши; именно им короновались позднейшие польские короли. По словам польского историка конца XVIII века Тадеуша Чацкого, меч был подарен Болеславу Храброму императором Оттоном III, о чем свидетельствовала имевшаяся на нем надпись[67]. Он действительно имел выбоину («щерби-

ну»), но не по лезвию, а по середине клинка, в его верхней части. Надо полагать, что именно существование этого «выщербленного» меча и привело к возникновению легенды о зарубке, сделанной одним из Болеславов на киевских Золотых воротах.

А вот о насилии, учиненном над Предславой, польский хронист знал определенно. В руки Болеслава попала вся женская часть семьи Ярослава: его «мачеха» (вероятно, последняя, не известная русским источникам супруга князя Владимира Святославича), жена, а также девять его сестер. «На одной из них, которой он и раньше добивался (то есть на Предславе. — *А. К.*), беззаконно, забыв о своей супруге, женился старый распутник Болеслав», — свидетельствует Титмар. Русский летописец высказывается на этот счет более определенно: «Болеслав положил себе на ложе Предславу, дщерь Владимирову, сестру Ярославлю» (свидетельство Софийской Первой летописи).

Подобно многим другим великим людям, Болеслав, очевидно, отличался злопамятством и мстительностью. Обесчестив ни в чем не повинную княжну, он утешил не столько свою похоть, сколько тщеславие. Это было надругательство над всем Ярославовым домом, над всем княжеским семейством. (Так что Галл Аноним, по-видимому, верно передал смысл поступка Болеслава.) Несчастная Предслава во многом повторила горькую участь своей матери — ведь некогда и Рогнеда была так же обесчещена Владимиром за свой отказ выйти за него замуж. Впрочем, Владимир поступил еще более жестоко: он надругался над княжной на глазах ее отца и матери, а затем убил обоих родителей. Но Рогнеда стала-таки женой своего мучителя, пусть и таким страшным образом, но восстановив свой социальный статус. Предславе же была уготована судьба бесправной пленницы и наложницы: покинув Киев, Болеслав захватил ее с собой в качестве военной добычи. По всей вероятности, Предслава и скончалась в Польше.

Надо сказать, что киевская княжна оказалась далеко не единственным трофеем польского князя. Киев поразил поляков и немцев роскошью и великолепием. Уже тогда он славился собранными в нем богатствами, а также количеством жителей и церквей. (Титмар Мерзебургский, со слов своих информаторов-саксонцев, сообщает, что в городе насчитывалось «более четырехсот церквей и восемь рынков, народу же неведомое множество».) Таких городов Западная Европа, кажется, еще не знала. Поляки и повели себя сообразно с господствовавшими тогда представлениями о праве

победителей на захваченную ими добычу. Киев подвергся жесточайшему разграблению, причем в первую очередь пострадали киевские храмы.

Уже в первый день пребывания Болеслава в городе, рассказывает Титмар, во время богослужения в Софийской церкви 14 августа, польскому князю «были показаны немыслимые сокровища, бóльшую часть которых он раздал своим иноземным сторонникам (то есть немцам, венграм и печенегам. — *А. К.*), а кое-что отправил на родину». Многие из этих сокровищ были в свое время вывезены Владимиром из завоеванной им Корсуни; имелись здесь и дары правителей других стран, в том числе из Константинополя и Рима. Галл Аноним сообщает, что Болеслав провел в Киеве десять месяцев (явное преувеличение) и в течение всего этого времени «непрерывно пересылал оттуда деньги в Польшу». Еще более удручающую картину погрома рисует позднейший киевский автор: захватив Киев, Болеслав отдал его «на луп (то есть на разграбление. — *А. К.*) воинству» и «как домы посполитые (то есть принадлежащие простолюдинам. — *А. К.*), так и церкви, и все скарбы, золото, сребро, перла (жемчуга. — *А. К.*) и иные какие циоты (киоты. — *А. К.*) побрал и *с великими лупы* вернулся до Польши»[68].

Впрочем, сначала Киев покинули рыцари-саксонцы, а также венгры и печенеги. По-видимому, Болеслав посчитал, что более не нуждается в их услугах. Получив щедрое вознаграждение, союзники польского князя остались вполне довольны: война с Ярославом оказалась для большинства из них легким и приятным времяпрепровождением. Вероятно, уже в октябре-ноябре 1018 года (а может быть, и раньше) саксонцы возвратились на родину. Во всяком случае, проезжая через Мерзебург (близ восточных границ Германской империи), они успели пообщаться с епископом Титмаром, который внес сведения о киевском походе Болеслава, а также некоторые другие подробности, касающиеся древней Руси, в свою «Хронику». (Напомним, что Титмар умер 1 декабря 1018 года.)

Болеславу же и всему польскому войску пришлось задержаться в Киеве. Насколько? Источники содержат противоречивые показания на этот счет. Галл Аноним говорит о десяти месяцах, проведенных Болеславом в столице Руси. «...А на одиннадцатый месяц, так как он владел очень большим королевством, а сына своего Мешка (оставшегося в Польше. — *А. К.*) еще не считал годным для управления им, [Болеслав] поставил там [в Киеве] на свое место одного русского, породнившегося с ним (Святополка. — *А. К.*), а сам с ос-

тавшимися сокровищами стал собираться в Польшу». Иной версии придерживался автор Устюжской летописи, сообщающий, что польский князь пробыл в Киеве «месяц и день». Трудно сказать, в какой степени достоверны показания обоих источников. Во всяком случае, «Повесть временных лет» рассказывает об уходе Болеслава под тем же годом, под которым сообщает о его приходе на Русь, так что едва ли Болеслав зимовал в Киеве. В то же время Титмар, кажется, так и не успел получить сведения о его возвращении в Польшу[69], следовательно, в октябре-ноябре 1018 года польский князь еще оставался на Руси.

Часть польских войск была размещена в Киеве, часть — в соседних с Киевом городах. «И рече Болеслав, — читаем в «Повести временных лет». — "Разведите дружину мою по городам, на покорм", и бысть тако»*. По-видимому, речь идет о ближних к Киеву княжеских городах — Василеве, Вышгороде, Белгороде и других, образующих своеобразный оборонительный пояс вокруг столицы Древнерусского государства. Болеслав явно обосновывался на Руси всерьез, очевидно, не исключая для себя возможность дальнейшего продолжения войны с Ярославом[70].

За время своего пребывания в столице Руси Болеславу удалось сделать немало. Так, он сумел заручиться поддержкой некоторых киевских церковных иерархов. На первый взгляд, это кажется несколько неожиданным: ведь Болеслав и его воины беззастенчиво разграбили киевские храмы и, по-видимому, наложили руку на церковную десятину. Но, как мы увидим, далеко не все представители церковных властей лишились при поляках своих доходов, а некоторые, кажется, попросту были подкуплены Болеславом.

Титмар Мерзебургский дважды называет некоего киевского «архиепископа», поспешившего выразить свою лояльность польскому князю. Именно он встречал Болеслава и вернувшегося в Киев Святополка 14 августа и именно он позже был отправлен Болеславом в качестве посла в Новгород для переговоров с Ярославом относительно возвращения в Киев дочери польского князя. (Об этих переговорах мы будем говорить позже.) Обычно полагают, что речь идет о киевском митрополите Иоанне I[71]. Однако о нем более или менее определенно известно лишь то, что он занимал

---

* В «Истории» В. Н. Татищева добавлено: «Болеслав, пришед в Киев, велел войска свои роставить по градом и селом для прокормления, рассуждая, что Ярослав, совокупяся с братьею, может Святополка паки изгнать и Польше мстить».

киевскую кафедру в первой половине княжения Ярослава Владимировича[72], а этого, конечно, не достаточно для того, чтобы считать именно Иоанна тем человеком, который возглавлял Русскую церковь и в 1018 году.

С большей уверенностью к числу горячих сторонников Болеслава можно отнести известного нам Анастаса Корсунянина, бывшего, вероятно, настоятелем Киевской Десятинной церкви. По рассказу «Повести временных лет», Болеслав приставил «Настаса Десятинного» ко всему награбленному им «именью», ибо тот «вверился ему лестью» (то есть обманом). После ухода Болеслава из Киева Анастас последовал за ним в Польшу.

Мы немногое знаем об этом человеке, но и этого немногого, пожалуй, довольно для того, чтобы составить в общих чертах представление о нем. Эпизод с Болеславом оказался не единственным в биографии Анастаса. По меньшей мере дважды он изменял своему отечеству и совершал поступки, которые можно назвать элементарным предательством. (Напомним: свое головокружительное восхождение Анастас начал с того, что выдал князю Владимиру, осаждавшему Корсунь, месторасположение колодцев, снабжавших город питьевой водой, и тем самым обрек своих сограждан на капитуляцию.) В то же время это был человек, несомненно, выдающихся способностей. Он настолько пленил Владимира своим обаянием и лестью (а может быть, и какими-то глубокими познаниями), что киевский князь не только взял его с собой на Русь, но и поручил ему свое главное детище — Десятинную церковь Святой Богородицы, а также сделал хранителем княжеской десятины. Вероятно, Анастас не надеялся удержаться на той высоте власти, которой достиг в предшествующее правление, ни при Ярославе, ни при Святополке, а потому попытался выбрать себе нового покровителя. О том, как сложилась его судьба в Польше, нам ничего не известно.

(Между прочим, мы должны обратить внимание на одну кажущуюся неувязку. Вступив в Киев 14 августа, в канун Успения Божией Матери, Болеслав почему-то направляется в собор Святой Софии, «который в предыдущем году по несчастному случаю сгорел» (слова Титмара Мерзебургского). Между тем стоило ожидать, что он отстоит службу в главном храме Киевской Руси — Десятинной церкви, посвященной именно Успению Божией Матери. Может быть, Титмар не вполне верно понял своего информатора и смешал известие о сгоревшей Софийской церкви с известием о встрече Болеслава именно в Десятинном храме? Заметим, что он (со слов

того же информатора) упоминает и о Десятинной церкви, но называет ее неверно — не церковью Святой Богородицы, а «церковью мученика Христова папы Климента» (по хранящимся там мощам святого Климента, а может быть, и по имевшемуся в церкви особому приделу в честь святого)[73]. В таком случае, наверное, не лишено оснований предположение о том, что «архиепископом названного города» (Киева) мог быть назван именно вероятный настоятель Десятинной церкви Анастас Корсунянин: то высокое положение, которое он занимал в Киеве, распоряжаясь всеми церковными доходами и расходами, могло ввести завоевателей в заблуждение относительно его истинного сана[74].)

Титмар успел сообщить еще о двух посольствах, отправленных Болеславом из захваченного Киева. Первое, во главе с аббатом Туни (Антонием), выехало «с богатыми дарами» в Германию, к императору Генриху. По словам немецкого хрониста, Болеслав поспешил «заручиться его (Генриха. — *А. К.*) благосклонностью и поддержкой, уверяя, что все будет делать согласно его желаниям». По всей вероятности, Болеслав благодарил императора за оказанную военную помощь. В новых условиях мир двух прежде враждующих держав оказывался выгодным и Германии, и Польше. «Гордый своим успехом» Болеслав разворачивал внешнюю политику своего государства на восток и юго-восток и спешил обозначить завоеванные позиции. Впрочем, выбор посла показывает, что польский князь, возможно, не исключал и какой-то двойной игры в отношении Генриха. Аббат Туни, настоятель монастыря в Мендзыжечи (Междуречье) на нижней Обре, правом притоке Одры, считался любимцем Болеслава, но отношение к нему в Германии было крайне неприязненным. «Монах внешностью, но делами — коварный лис», — такую характеристику дает ему Титмар[75].

Другое посольство Болеслава направилось в Византию, к императору Василию II Болгаробойце. «В близкую Грецию он также отправил послов, обещая ее императору выгоды, если тот будет ему верным другом; в противном же случае — так он заявил — он станет неколебимым и неодолимым врагом греков».

Цель этого посольства неясна. Болеслав предлагал Империи мир, но лишь на определенных условиях, при непринятии которых угрожал войной. Но к чему ему было воевать с Византией?

Источники не дают возможность более или менее определенно ответить на этот вопрос[76]. Можно лишь предполагать, что, разворачивая свою политику в восточном направ-

лении, польский князь спешил утвердиться на завоеванных позициях. Известно, что Болеслав вообще проявлял живой интерес к Византии (его сын Мешко изучал греческий язык, что было редкостью в то время на Западе). Получив в свои руки Червенские города, а возможно, претендуя и на всю Русь, Болеслав если не непосредственно, то опосредованно вступал в соприкосновение с греческим миром и мог требовать от Византийской империи признания изменений, произошедших при его участии в Восточной Европе, в том числе, возможно, и его суверенитета над Киевом. Кажется, у нас есть основания полагать, что Болеслав сумел достичь каких-то договоренностей с императором Василием[77]. Но касались или нет эти договоренности признания прав Болеслава на русские земли, мы не знаем.

Титмар Мерзебургский, рассказывая о киевском походе Болеслава, неоднократно подчеркивает роль князя Святополка как законного «сениора» Киева: именно «благорасположение» к нему киевлян обеспечивает успех всей кампании и именно к нему спешат «с изъявлением покорности» жители города. Складывается впечатление, что целью похода Болеслава было лишь восстановление Святополка на киевском престоле. Наверное, так казалось и самому Святополку, и тем рыцарям-саксонцам, которые вскоре покинули Киев и вернулись в Германию. Однако русские и польские источники совсем по-другому представляют себе намерения Болеслава в отношении Руси.

Болеслав вошел в Киев со Святополком и «седе на столе Володимери», сообщает, например, автор Софийской Первой летописи, и это свидетельство можно понять только в том смысле, что Болеслав, по крайней мере, намеревался занять «Владимиров» престол. Так же изображают дело и польские хронисты. Галл Аноним пишет о том, что Болеслав «в течение десяти месяцев владел богатейшим городом»; покинув его, он «поставил там *на свое место* одного русского, породнившегося с ним» — то есть Святополка, который в изображении Галла выглядит всего лишь наместником польского князя. «С этого времени Русь надолго стала данницей Польши», — завершает Галл свой рассказ о киевском походе Болеслава, впрочем, как всегда, сильно преувеличивая.

Подобные преувеличенные представления о последствиях киевского похода Болеслава стали общим местом средневековой польской историографии. («Болеслав... установил границы Польши в Киеве...» — утверждал, например, автор «Великопольской хроники», а польские историки XV и XVI веков сообщали, будто Болеслав водрузил в ознаменование

своей победы какие-то три железных столба в устье реки Сулы, левого притока Днепра, то есть еще дальше от подлинных границ своего государства[78].) Но так полагали не только в Польше, но и в соседних с нею странах. Знаменитый бременский каноник Адам, автор «Истории архиепископов Гамбургской церкви» (70-е годы XI века), утверждал, например, что «Болеслав, христианнейший король, в союзе с Оттоном III (очень показательный анахронизм! — *А. К.*) подчинил всю Склавонию, Руссию и пруссов»[79].

Вероятно, именно ко времени пребывания польского князя в Киеве относится и чеканка им так называемых «русских денариев» — монет с кириллической надписью «Болеслав», свидетельствующих о том, что сам польский князь уже представлял себя в роли правителя Руси[80]. (Собственно говоря, после захвата Червенских городов Болеслав вполне мог именовать себя «русским князем». Но чеканка своей монеты в первой половине XI века на Руси свидетельствовала, кажется, о претензиях ее владельца на обладание всем наследием Владимира Святого и прежде всего Киевом.)

Надо полагать, что именно эти претензии Болеслава на власть над Киевом и привели к его ссоре со Святополком, который отнюдь не собирался уступать Киев даже своему тестю. Об этой ссоре рассказывает русский летописец: «Болеслав же пребывал в Киеве, сидя (на престоле. — *А. К.*); безумный же Святополк (в Лаврентьевском списке: окаянный же Святополк. — *А. К.*) стал говорить: "Сколько есть ляхов по городам (в Лаврентьевском списке: по городу. — *А. К.*), избивайте их". И избили ляхов. Болеслав же побежал из Киева...»[81]

Автор «Повести временных лет» называет Святополка «безумным» — но это, конечно, лишь дань традиции, в которой окаянный князь воплощает в себе все человеческие изъяны. Если же беспристрастно взглянуть на происшедшие события, то становится очевидным, что действия Святополка были вполне продуманы и диктовались отчасти политической целесообразностью, отчасти ущемленным самолюбием. Не для того он пролил столько крови, чтобы остаться в Киеве в неприглядной роли исполнителя чужой воли. Да и «избиение ляхов» едва ли могло начаться по одному его слову. Вероятно, Святополк почувствовал резкое изменение в отношении горожан к чужакам и лишь попытался возглавить народное возмущение.

О причинах антипольского восстания в Киеве догадаться нетрудно. Открытые грабежи, санкционированные Болеславом, захват церковного «имения» и княжеской казны, жад-

ность поляков, разведенных «на покорм» по соседним с Киевом городам, — словом, все то, что неизменно сопутствует постою вражеского войска в захваченном городе, не могло не вызвать волну всеобщего возмущения. Наверное, киевляне готовы были подчиниться Святополку, но Болеслав слишком явно отстранил его от фактической власти. Его слова, обращенные к греческому императору Василию, показывают, что Болеслав не особенно церемонился в выражениях и готов был требовать исполнения выставленных им условий даже от царственных особ. А между тем киевские «мужи» привыкли к уважительному отношению к себе со стороны своих князей. Возможно также, что возмущение киевлян вызвало и надругательство над Предславой, совершенное столь открыто и грубо, что казалось, будто обесчещен весь Киев. В общем, Болеслав вел себя в захваченном городе не лучшим образом (во всяком случае, если он надеялся в дальнейшем управлять им, а не просто разграбить его). Пожалуй, в отношении Болеслава можно сказать нечто противоположное тому, что мы говорили о Ярославе: политик явно проигрывал в нем и полководцу, и человеку.

Гнев киевлян против Болеслава надлежало возглавить, организовать, направить в необходимое русло. С этой задачей Святополк справился вполне успешно. Победив Ярослава руками поляков, он перестал нуждаться в покровительстве Болеслава, стал тяготиться им. Избиение поляков объединило его с киевлянами. В едином порыве ненависти казались забытыми прошлые обиды и противоречия. Но торжество Святополка — как это всегда бывает в истории — могло продолжаться недолго. Ненависть к врагу, особенно к чужаку, захватчику, способна объединить и сплотить самых разных людей. Но после кровавого пира неизбежно наступает похмелье...

Не следует преувеличивать и масштабы поражения Болеслава. Ему действительно пришлось покинуть Киев и, наверное, потерять при этом какое-то число своих людей. Но само его возвращение в Польшу более походило на триумф, чем на бегство. Польский князь вез из Киева огромные богатства — «имение» (надо полагать, княжескую казну), а также «бояр Ярославлих, и сестер его*... и людей множество вел с собою...». Число пленных достигало, по-видимому, нескольких тысяч человек — огромная цифра для того време-

* Ян Длугош называет по именам двух дочерей Владимира, захваченных в плен Болеславом: Предславу и Мстиславу. Имя последней в русских источниках не упоминается.

ни. Тем из них, которые выжили в польском плену, суждено было томиться в неволе не одно десятилетие. (В конце 30-х — начале 40-х годов XI века, после женитьбы польского князя Казимира на сестре Ярослава Марии-Добронеге, на Русь возвратится 800 человек, «еже бо полонил Болеслав, победив Ярослава».) Была достигнута и главная внешнеполитическая цель похода. Болеслав занял Червенские города и включил их в состав своего государства.

Правда, победа Болеслава имела и оборотную сторону. Разгромив и унизив Русь, захватив часть территории Киевского государства, Болеслав создал для себя и своих потомков серьезную проблему, ибо завоеванные силой земли надлежало и удерживать тоже силой. Это обычная закономерность истории. Победа всегда влечет за собой последующие неудачи, а поражение с той же неизбежностью рано или поздно оборачивается победой. Более чем тысячелетняя история взаимоотношений Польши и Руси как нельзя лучше подтверждает эту банальную истину...

Между прочим, увоз Болеславом киевской казны имел самые плачевные последствия для его зятя. Можно предположить, что одной из причин конечного поражения Святополка стала катастрофическая нехватка серебра, бывшего в его распоряжении. В этом отношении он сильно проигрывал Ярославу, который смог воспользоваться ресурсами самого богатого города Руси — Новгорода. Очень показательно сравнение монет, которые — приблизительно в одно и то же время — чеканили Святополк в Киеве и Ярослав в Новгороде. Полновесные серебряные монеты Ярослава разительно отличаются от «сребреников» Святополка с крайне низким (а иногда даже нулевым) содержанием серебра[82]. Конечно, сами по себе эти монеты не были платежным средством, выполняя иную, так сказать, представительскую функцию. Но потенциальные возможности обоих князей они высвечивают достаточно ярко. Из истории же политической борьбы во все времена и у всех народов мы слишком хорошо знаем, что именно наличие или отсутствие в руках того или иного претендента на власть достаточных денежных средств зачастую решает судьбу престола.

Вернемся, однако, к князю Ярославу, которого мы оставили в растерянности и страхе после страшного бугского разгрома. Сопровождаемый всего четырьмя верными мужами, он прискакал в Новгород, где его появление не могло не вызвать смешанного чувства горечи и негодования. Но

что последовало за этим? Какие шаги сумел предпринять Ярослав за время своего пребывания в Новгороде? Каким образом ему удалось в конечном итоге одолеть Святополка?

Положение Ярослава казалось отчаянным. Коалиция, созданная им накануне войны, распалась. Киевляне не могли не чувствовать себя брошенными их новым князем и, как мы видели, поспешили признать Святополка. В Киеве же оказались часть скандинавского наемного войска и какие-то «бояре Ярославли», захваченные в плен Болеславом. Унизительность положения Ярослава подчеркивало и то обстоятельство, что в руках у Болеслава находились его жена, а также мачеха и сестры. Наконец, сразу же по приезде в Новгород Ярослав успел рассориться и с новгородцами. Но именно эта нечаянная ссора и оказалась спасительной для него.

«Ярослав же прибежал к Новгороду и хотел бежать за море, — рассказывается в «Повести временных лет», — и посадник Константин сын Добрынин с новгородцами рассекли ладьи Ярославовы, так говоря: "Хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком". Начали скот (деньги. — *А. К.*) собирать: от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и отдали им скот, и собрал Ярослав воев многих»[83].

Итак, желание Ярослава бежать «за море» (надо полагать, в скандинавские земли) вызвало не просто недовольство, но настоящий мятеж новгородцев, возглавленный посадником Константином. Сцена, изображенная летописцем, поражает своей живостью и зримо предстает перед нами. Посадник Константин и новгородцы с топорами в руках разрубают княжеские ладьи, не выпуская князя из города. Если верить летописному повествованию, то и в дальнейшем князь как будто не принимает никакого участия в событиях. Новгородцы сами собирают деньги — причем упоминаются какие-то умопомрачительные суммы: 10, 18 или, тем более, 80 гривен (так в отдельных списках) — это чуть ли не килограммы серебра, целое состояние. (Полагают, что северная гривна равнялась приблизительно 60 граммам серебра.) Причем социальная верхушка Новгорода взвалила на свои плечи основную тяжесть расходов по найму заморской дружины: по подсчетам исследователей, взнос старост в 125 раз, а взнос бояр в 225 раз превышал взнос рядовых новгородцев[84]. Нужны были какие-то исключительные причины для того, чтобы подвигнуть людей на такие, несомненно, разорительные для многих расходы.

Причиной могло стать лишь крайнее нежелание новгородцев признавать власть киевского князя. Бегство Ярослава за море развязывало руки Святополку, позволяло киевлянам (тем более в союзе с поляками) двинуться на Новгород. Так, во всяком случае, должно было казаться самим новгородцам. Вспомним, что именно бегство «за море» Владимира за сорок лет до описываемых событий привело к немедленному появлению в Новгороде наместников его брата Ярополка, настоящего отца Святополка. Ненависть, существовавшая в те времена между новгородцами и киевлянами, не могла не наложить свой отпечаток на поведение подданных Ярослава, тем более что они наверняка испытывали горечь и разочарование от осознания того, что жертвы, понесенные ими прежде, оказались напрасными. Наконец, новгородцы могли надеяться и на то, чтобы сторицей возвратить себе потраченные деньги в случае успеха. Унижение Ярослава давало им хорошую возможность продиктовать новые условия соглашения своему князю. У нас есть основания полагать, что новгородцы заключили новый договор с Ярославом, по которому князь обязывался с лихвой возместить горожанам все издержки и предоставить городу какие-то небывалые прежде льготы и привилегии.

Но была ли в действительности роль Ярослава настолько пассивной, какой изображает ее летописец? Неужели и вправду он безропотно дожидался решения своей участи, полностью подчинившись воле новгородского веча? Разумеется, нет. Имеющиеся в нашем распоряжении иностранные источники позволяют утверждать это со всей определенностью.

Месяцы, проведенные Ярославом в Новгороде после бугского разгрома, стали во многом переломными в его жизни. Он быстро сумел взять себя в руки и извлек надлежащие уроки из случившегося. Ярославу пришлось подчиниться воле горожан, которые по существу спасли ему престол, ибо предоставили деньги, столь необходимые для найма войска. Но и его собственные решительность и изворотливость, а не одно только новгородское серебро, обеспечили ему спасение и поддержку наемников-варягов. Впрочем, обо всем по порядку.

Титмар Мерзебургский рассказывает в своей «Хронике» о том, что Болеслав отправил к Ярославу в качестве посла «архиепископа» Киева с просьбой вернуть его (Болеслава) дочь, находившуюся в руках новгородского князя, обещая, в свою очередь, выдать Ярославу его жену, мачеху и сестер[85]. Судя

по тому, что сестры Ярослава, в том числе и любимая им Предслава, оказались в Польше[86], переговоры не увенчались успехом[87].

Посольство Болеслава могло отправиться в путь уже в первые дни пребывания польского князя в Киеве, то есть во второй половине августа 1018 года. Следовательно, самое раннее к середине сентября оно появилось в Новгороде. Почему же Ярослав не откликнулся на предложение Болеслава? Рискнем предположить, что к этому времени он уже выработал для себя новый план борьбы за Киев, в котором не оставалось места ни для переговоров с Болеславом, ни для супруги самого новгородского князя. Основой этого плана стал союз с могущественным правителем Швеции Олавом Шётконунгом, суливший Ярославу, по крайней мере, военную поддержку в лице скандинавских наемников, а может быть, и другую, более эффективную помощь в борьбе с Болеславом. Но здесь мы вновь должны обратиться к скандинавским источникам, точнее, к одному из сюжетов, получившему распространение во многих скандинавских сагах и посвященному сватовству «конунга Ярицлейва» к дочери Олава Шётконунга Ингигерд.

История этого сватовства обросла в скандинавских сагах множеством легендарных подробностей и в конце концов выродилась в своего рода куртуазный роман, героями которого стали сам «конунг Ярицлейв», его жена, прекрасная Ингигерд, а также норвежский король Олав Харальдссон, превратившийся в тайного возлюбленного княгини. Но за всем этим романтическим антуражем скрывается вполне реальная политическая история Руси и Скандинавии первой трети XI века.

Мы уже говорили об обстановке, сложившейся в Норвегии после утверждения здесь конунга Олава Харальдссона. Теперь необходимо сказать несколько слов о Швеции и об истории шведско-норвежских отношений, иначе наш дальнейший рассказ сделается непонятным.

Объединение всей Норвегии в руках одного правителя резко обострило отношения между Норвегией и Швецией. Шведский конунг Олав Шётконунг отнюдь не желал признавать власть своего тезки над теми областями Норвегии, которые прежде подчинялись ему и с которых он исправно получал подати. Говорили, что конунг шведов настолько ненавидел своего соперника, что «приходил в ярость, когда при нем Олава Толстого называли конунгом». Саги рассказывают об одном конфликте, который произошел в 1017 году и косвенно оказался связан с Русью. Некий богатый ку-

пец Гудлейк Гардский (прозванный так из-за своих частых поездок «в Гарды», то есть на Русь) по просьбе Олава Харальдссона купил для него в Хольмгарде (Новгороде) некоторые дорогие товары — драгоценные греческие ткани (которые шли на парадное одеяние конунгов), дорогие меха и роскошную столовую утварь. Однако на обратном пути его корабль был атакован посланцем конунга свеев (шведов) Торгаутом Заячья Губа, который убил Гудлейка и его людей, часть добычи поделил между своими людьми, а драгоценности предназначил для Олава Шведского как часть подати, которую должны выплачивать ему норвежцы. Но и Торгауту не суждено было вернуться на родину. Вскоре Эйвинд Турий Рог, один из друзей Олава Норвежского, напал на него, убил большинство его людей и возвратил драгоценности их законному владельцу (Олаву Харальдссону)[88]. Все это приближало войну между двумя государствами, что вовсе не отвечало интересам большинства населения как в Норвегии, так и в Швеции, особенно в ее западной части, более всего страдавшей от норвежско-шведского конфликта. Об обстоятельствах этого противостояния, как видим, не могли не знать и в Новгороде.

Осенью того же года Олав Норвежский решает отправить в Швецию посольство с предложением заключить наконец мир между двумя странами. Посол, Бьёрн Окольничий, — через посредничество исландца Хьяльти Скеггьясона — предлагает Ингигерд, дочери Олава Шётконунга, вступить в брак с Олавом Норвежским, в результате чего могли бы быть решены все пограничные конфликты. Ингигерд соглашается, но отец ее не желает и слышать о примирении, тем более о браке своей дочери с ненавистным ему Олавом Харальдссоном. Тогда уговорить конунга свеев берется старый лангман (законоговоритель) Торгнир. На Сретение (15 февраля) 1018 года в Уппсале, столице Швеции, собрался тинг, на котором Олав Шётконунг, вопреки своей воле, вынужден был подчиниться требованиям бондов (свободного населения Швеции) и пойти на мир с Норвегией. В противном случае бонды угрожали попросту убить его. Выразителем интересов бондов стал родич Ингигерд, ёталандский (гаутландский) ярл Рёгнвальд Ульвссон, жена которого приходилась дальней родственницей Олаву Харальдссону. (Гаутланд — область в западной Швеции.) В последующих событиях он будет играть важную роль. «Там же на тинге было решено, что Ингигерд, дочь конунга Олава, будет выдана замуж за Олава конунга, сына Харальда». Олав Шётконунг был вынужден согласиться и с этим решением. Ингигерд

послала в подарок своему жениху «шелковый плащ с золотым шитьем и серебряный пояс». Свадьба должна была состояться осенью «у границы на восточном берегу реки Эльв».

Но свадьба не состоялась. Когда Олав Харальдссон, в сопровождении «самых знатных людей, которых он смог созвать», явился на условленное место, «от конунга шведов не было никаких вестей, и никто туда от него не приехал». Лишь ранней зимой 1018/19 года скальд Сигват Тордарсон, приехавший в Гаутланд, выяснил, что же произошло на самом деле. «Там он узнал из письма Ингигерд (к ярлу Рёгнвальду Ульвссону. — *А. К.*)... что к Олаву, королю свеев, приезжали послы конунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда просить руки Ингигерд, дочери Олава, конунга свеев, для Ярицлейва, а также, что конунг Олав принял это очень хорошо»[89].

Хронология событий восстанавливается достаточно точно. Послы от князя Ярослава появились в Уппсале не позднее осени 1018 года (именно их появление сорвало бракосочетание, намеченное на осень). Причем речь может идти о сентябре — начале октября, ибо позднее плавание по Балтийскому морю становилось опасным, а русским послам предстояло еще возвращаться на родину. Получается, что не позднее сентября, а скорее, даже летом посольство Ярослава с вполне конкретным предложением заключения мирного договора между Новгородом и Швецией, скрепленного женитьбой новгородского князя на дочери правителя Швеции, отправилось в путь. Но ведь в том же сентябре 1018 года Ярослав принимал в Новгороде киевского «архиепископа», привезшего предложение Болеслава вернуть ему его собственную супругу!

Это очевидное хронологическое затруднение может быть преодолено с помощью лишь двух возможных предположений. Либо супруга Ярослава внезапно скончалась в Киеве и Болеслав поспешил срочно поставить об этом в известность новгородского князя, отправив в Новгород вслед за первым второе посольство, либо Ярослав посчитал, что с пленением его супруги брак попросту утрачивает силу. Последнее, конечно, противоречило церковным взглядам на существо брака. Но из истории мы слишком хорошо знаем, что поиск необходимых оснований для расторжения брачного союза никогда не представлял особых трудностей для сильных мира сего. Самым простым способом избавиться от ставшей ненужной супруги было насильственное пострижение ее в монахини. Это можно было устроить даже заочно (в данном

случае, например, с помощью того же киевского «архиепископа»). Впрочем, хронология событий не исключает того, что посольство Ярослава направилось в Швецию еще прежде, чем в Новгород прибыл посланец Болеслава.

Во всяком случае, намерения Ярослава были самыми серьезными. Весной следующего 1019 года, после начала судоходства на Балтике, в Уппсалу прибыло новое посольство из Новгорода. «...И ехали они, чтобы проверить то обещание, которое конунг Олав дал предыдущим летом: отдать Ингигерд, свою дочь, за конунга Ярицлейва». Несомненно, обсуждались и какие-то политические вопросы, в частности возможность оказания военной помощи Ярославу в его войне с братом.

На сей раз Олав Шётконунг не собирался отступаться от своих слов. Саги объясняют его непременное желание выдать дочь за русского князя гневом на Олава Толстого. Наверное, отчасти так оно и было. Но эта причина не могла стать главной. Олав Шётконунг все-таки породнился со своим недругом: приблизительно к тому же времени относится женитьба Олава Харальдссона на другой дочери Олава Шведского, сестре Ингигерд Астрид. Снорри Стурлусон подробно рассказывает о том, как Астрид тайком от отца бежала в Норвегию вместе с тем же Рёгнвальдом Ульвссоном, что вызвало приступ ярости у Олава Шётконунга. Другие саги изображают дело иначе: сначала оба Олава заключили между собой договор, и только затем состоялась свадьба. Впрочем, скандинавские источники подчеркивают разницу между двумя дочерьми шведского конунга. «Ингигерд... ведет свой род от рода уппсальских конунгов, самого знатного рода в Северных Странах, потому что он ведет свое начало от самих богов». Астрид же, «хоть она и дочь конунга, но мать ее рабыня и к тому же вендка» (славянка). Сам Олав Шведский будто бы говорил Ингигерд, что выдаст ее замуж лишь «за того правителя, который достоин его дружбы»[90]. Очевидно, Ярослав в его глазах превосходил знатностью и положением правителя Норвегии. Но, помимо всего прочего, союз с Ярославом сулил шведскому правителю серьезные политические выгоды, в том числе и распространение своего влияния на собственно новгородские земли. Это со всей очевидностью показали начавшиеся переговоры об условиях заключения брака.

Саги изображают дело так, что все эти условия исходили исключительно от Ингигерд. «Если я выйду замуж за конунга Ярицлейва, — заявила Ингигерд отцу, — то хочу я... в свадебный дар себе Альдейгьюборг (Ладогу. — *А. К.*) и то ярл-

ство, которое к нему относится». «И гардские послы согласились на это от имени своего конунга». Ингигерд выдвигает и второе условие своего согласия на брак: «Если я поеду на восток в Гардарики, тогда я хочу выбрать в Свиавельди (Швеции. — *А. К.*) того человека, который, как мне думается, всего больше подходит для того, чтобы поехать со мной. Я также хочу поставить условием, чтобы он там на востоке имел не ниже титул, чем здесь, и ничуть не меньше прав и почета, чем он имеет здесь». Конунг Олав и послы согласились и на это. Таким человеком — к явному неудовольствию Олава Шведского — стал ярл Рёгнвальд Ульвссон.

Однако кажется несомненным, что оба условия, выдвинутые Ингигерд, носят чисто политический характер, а значит, могут рассматриваться прежде всего как условия политического соглашения, заключенного между правителями Новгорода и Швеции[91]. В самом деле, Ярослав проявил такую заинтересованность в союзе с правителем Швеции, что пошел на уступку ему части собственных владений — города Ладоги (или Альдейгьюборга, как называли его скандинавы), северных ворот всей Новгородской земли, важнейшего пункта на торговом пути «из Варяг в Греки». Впрочем, этот шаг, наверное, был тщательно продуман новгородским князем. Ладога являлась зоной постоянных конфликтов между новгородцами и норманнами; и самому Ярославу, и его отцу Владимиру не раз приходилось отвлекаться от иных дел ради отражения очередного норманнского набега на этот северный город. Передавая Ладогу вместе с прилегающей к ней областью в руки скандинавов, Ярослав создавал своего рода «буферную зону» между норманнами и Русью и тем самым обеспечивал безопасность своих северных рубежей накануне решающего столкновения со Святополком. Вероятно, именно в качестве компенсации за уступку Ладоги (а заодно и в качестве дара невесты жениху) Ярослав получил от конунга шведов какие-то «большие богатства», о которых упоминают скандинавские источники[92]. Но еще более важной стала для него договоренность об отправке на Русь значительных воинских сил. Можно полагать, что ярл Рёгнвальд Ульвссон и стал тем человеком, который возглавил норманнское войско. «А ярл тотчас собрался в путь... и добыл... себе корабли, и отправился со своим войском на встречу с Ингигерд, дочерью конунга, — рассказывает Снорри Стурлусон. — Поехали они все вместе летом на восток в Гардарики. Тогда вышла Ингигерд замуж за конунга Ярицлейва»[93]. Именно ярлу Рёгнвальду и было поручено впоследствии управление Альдейгьюборгом.

Само бракосочетание состоялось летом 1019 года в Новгороде (или, может быть, уже в Киеве). Согласно традиции шведская принцесса получила на Руси новое имя — Ирина. Русские источники ничего не сообщают об этом браке. Но о «благоверной» княгине Ирине они знают. Ей суждено будет более тридцати лет находиться рядом со своим мужем и подарить ему шестерых сыновей, а также нескольких дочерей.

Мы не станем обсуждать сейчас нравственную сторону этой женитьбы и предшествовавшего ей разрыва Ярослава с прежней супругой. Скажем о другом. Выбор новой жены русского князя оказался на удивление удачным. Ярослав породнился с могущественными правителями Северной Европы, стал в какой-то степени «своим» для норманнских конунгов не только Швеции, но и Норвегии, Дании, Англии. Пройдет время — и роль Ярослава в системе политических взаимоотношений этих стран изменится. Если поначалу ему пришлось втягивать скандинавов в решение своих внутренних споров, идя на серьезные (в том числе и территориальные) уступки, то в дальнейшем, напротив, именно Ярослав будет вмешиваться в политическую жизнь соседних скандинавских держав, поддерживая того или иного претендента на власть.

При этом шведский брак стал своего рода пробным камнем всей последующей внешней политики Ярослава, который с помощью таких же матримониальных союзов сумеет породниться со многими могущественными дворами Европы — польским, венгерским, французским, византийским. Так постепенно складывался особый европейский мир Ярослава — мир, в котором Русское государство и русский князь занимали точно определенное и вполне почетное место[94].

Так, предположительно ко времени подготовки Ярослава к новой войне со Святополком относятся первые известные нам политические контакты Руси с правителями Англии. По свидетельству иностранных источников, именно на Руси (по-видимому, в Новгороде) нашли временное убежище малолетние сыновья английского короля Эдмунда Железнобокого Эдмунд и Эдуард, которым пришлось бежать из страны после завоевания ее датским королем Кнутом (будущим Кнутом Великим) в 1016 году. Об этом рассказывает в своей «Истории архиепископов Гамбургской церкви» Адам Бременский[95], а также ряд английских средневековых источников, в том числе знаменитые «Законы короля Эдуарда Исповедника» (в своей основе XI век), прямо называющие

имя «короля Ярослава». Речь в них идет, правда, лишь об одном сыне короля Эдмунда Железнобокого, принце Эдуарде (второй, принц Эдмунд, вскоре умер): «У Эдмунда был сын по имени Эдуард, который после смерти отца, опасаясь короля Кнута, бежал из этой страны в страну ругов, которую мы называем Русью. Король той страны по имени Малескслод (характерное для французских и нормандских источников искажение имени Ярослав. — *А. К.*), когда услышал и узнал, кто он и откуда, принял его с почетом...»[96] На Русь английские принцы попали через Швецию, вероятно, между 1016 и 1020 годами. В описании обстоятельств их бегства источники отчасти противоречат друг другу. Одни утверждают, что Кнут желал их гибели, но, «так как... считал для себя большим позором, если бы они были убиты в Англии, то через некоторое время... послал их к королю шведов, чтобы их казнили там» (версия английского хрониста XII века Флоренция Вустерского). (Олав Шётконунг не только был союзником Кнута, но и его братом по матери.) Другие сообщают, что некий воспитатель сыновей Эдмунда датчанин Вальгар (из прочих источников не известный), узнав о намерении Кнута отравить принцев, спасается с ними бегством на Русь (так у Жеффрея Гаймара, автора «Истории англов», вероятно, 30-е годы XII века).

Английские принцы недолго пребывали на Руси. Впоследствии они оказались в Венгрии, при дворе короля Иштвана I. Эдмунд умер, а Эдуард женился на Агате, племяннице императора Генриха III, и позднее вернулся в Англию по приглашению своего дяди короля Эдуарда Исповедника[97].

Между прочим, известие о том, что сыновья Эдмунда Железнобокого попали в Венгрию через Русь, свидетельствует о восстановлении политических контактов между двумя странами, нарушенных участием венгров в антирусской коалиции Болеслава. Возможность же для этого появилась, по-видимому, только после того, как Ярослав сумел окончательно утвердиться в Киеве.

Исследователи полагают, что именно в период новгородского княжения князем были отчеканены собственные серебряные монеты — так называемые «сребреники» Ярослава, имеющие на лицевой стороне изображение небесного покровителя новгородского князя — святого Георгия, а на оборотной — княжеский знак Ярослава (трезубец с кружком на среднем зубце) и надпись: «Ярославле сребро»[98]. Эти монеты с редким для древней Руси высоким содержанием серебра дошли до нас в двух разновидностях (значительно от-

личающихся размером и весом, но чрезвычайно похожих внешне); кроме того, известны медные отливки с Ярославовых монет, использовавшиеся, по-видимому, в качестве амулетов. Поразительно, но практически все эти монеты и отливки с них были найдены за пределами собственно древней Руси — в Скандинавии (Швеции, Норвегии, на острове Готланд и даже в Лапландии), Прибалтике (главным образом Эстонии), Германии и Польше. И ни одной находки на юге России! Пожалуй, этот факт с наибольшей очевидностью очерчивает круг интересов тогдашнего новгородского князя. Ярослав с исключительной энергией вербует себе сторонников в Европе (прежде всего Северной), стремясь превратить (и превращая!) Новгород в один из значимых центров европейской политики.

Усилия Ярослава и новгородцев принесли свои плоды. «И совокупил Ярослав воев многих», — сообщает летописец. Основу его войска и на сей раз составили скандинавские наемники. Численность всех собранных Ярославом сил называют авторы поздней Устюжской летописи: «и привели варягов 14 тысяч, и дали им коней и по гривне на щит серебра, и собрал Ярослав воев много в Новгороде — 40 тысяч»[99].

Если верить этому сообщению, то численность наемного войска по сравнению с первым походом Ярослава на Киев увеличилась в десять раз. Значительно возросла и плата наемникам-норманнам. Впрочем, не исключено, что и здесь мы сталкиваемся с заведомым преувеличением позднейшего летописца.

Польские источники утверждают, что Ярослав заключил какой-то союз также с кочевниками-печенегами. Когда Болеслав «стал собираться в Польшу, — рассказывает Галл Аноним, — за ним... спешит беглый король (Ярослав. — *А. К.*), собрав силы князей русских совместно с половцами (очевидный анахронизм. — *А. К.*) и печенегами...»[100]. Однако достоверность и этого сообщения вызывает сомнения.

События, происходившие в Киеве, становились известны в Новгороде с некоторым опозданием. Осенью или, может быть, в начале зимы Ярослав должен был получить известие о ссоре между Святополком и Болеславом и об отступлении последнего в Польшу. Наверное, только после этого его войско могло выступить в поход на Киев[101].

О самом походе «Повесть временных лет» и другие русские источники сообщают очень кратко, без каких-либо подробностей: «И поиде Ярослав на Святополка, и бежал Свя-

тополк в Печенеги»[102]. Это известие, как правило, читается под 6526 (1018) годом. Однако следующая летописная статья (под 6527 годом) посвящена исключительно описанию последовавшей вскоре битвы на Альте между войсками Ярослава и Святополка. Учитывая, что Болеслав покинул Киев не ранее осени 1018 года, а военные действия обычно не велись зимой, логично предположить, что поход Ярослава на Киев и бегство Святополка имели место весной или летом 1019 года. К тому же ранее этого времени Ярослав был занят переговорами со шведским конунгом Олавом[103].

На этот раз киевляне не поддержали Святополка. Возможно, у них не оставалось сил для новой войны с новгородцами; возможно, они попросту испугались подавляющего превосходства новгородско-варяжского войска Ярослава. Святополку пришлось бежать из города. Путь в Польшу после драматических киевских событий 1018 года был для него закрыт. Князь повторил маршрут бегства из Киева своего отца сорокалетней давности: тогда, в 978 году, Ярополк укрылся от Владимира в городе Родне, так и не достигнув Печенежской земли. Святополк действовал более последовательно и решительно, да и связи его с печенежским миром значительно укрепились.

Конечно, нам сегодня легко осуждать Святополка за предательство интересов родной земли и открытое обращение к злейшим врагам Руси — печенегам. Но так поступал в те времена не он один; можно сказать, что подобная практика была повсеместной. Напомню, что киевский летописец, рассказавший о бегстве «в Печенеги» воеводы князя Ярополка Святославича Варяжко (который затем «много воевал Владимира с печенегами»), отнюдь не стал осуждать княжеского слугу: ведь он, как мог, служил своему князю. Святополк же отстаивал свои собственные интересы как законного киевского князя и, согласно господствовавшим тогда представлениям, имел право на подобную помощь. Таковы законы политической борьбы: схватившиеся не на жизнь, а на смерть противники готовы заключить союз с кем угодно, не всегда отдавая себе отчет в том, какова будет цена этого союза. В противостояние Святополка и Ярослава оказались втянуты скандинавы и поляки, немцы, венгры и печенеги — но поскольку речь шла о правах на престол представителей правящей княжеской династии, это казалось едва ли не в порядке вещей. Должно было пройти еще почти столетие жестокого противоборства Руси со Степью, чтобы постепенно начало вырабатываться в русском обществе понимание пагубности «наведения поганых» на Русскую землю и зазву-

чали голоса, осуждающие за это лихих русских князей, искателей утраченных отцовских и дедовских престолов. Но, увы, и в XI—XIII веках, да и позднее, голоса эти будут услышаны очень немногими...

Святополк бежал к печенегам, ибо именно этого требовала от него логика политической борьбы; только здесь мог он найти воинские ресурсы, достаточные для продолжения войны с братом. Маховик войны раскручивался и требовал вливаний все новой свежей крови. Момент, когда можно было остановиться, давно миновал — и ни Ярослав, ни Святополк уже не могли выйти из игры. Только смерть одного из князей способна была остановить кровопролитие.

Печенеги легко откликнулись на призыв русского князя. «Пришел Святополк с печенегами в силе тяжкой, и Ярослав, собрав множество воинов, вышел против него на Льто (Альту)». Войска остановились на речке Альте, недалеко от города Переяславля, около того самого места, на котором летом 1015 года погиб князь Борис Владимирович, убитый посланниками Святополка. Это обстоятельство должно было показаться знаменательным князю Ярославу и его воинам, ибо подчеркивало их роль мстителей за невинно убиенных братьев. По крайней мере, так изображает дело позднейший летописец. «Кровь брата моего вопиет к тебе, Владыко! — обращается, согласно летописи, Ярослав к Богу, вступив на Альтинское поле. — Отмсти за кровь праведного сего, как отмстил Ты за кровь Авелеву, обрек Каина на стенание и трепет; так обреки и этого». И, помолившись, обратился к святым братьям Борису и Глебу: «Братья мои! Хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага сего — убийцы и гордеца». Конечно, эти слова не могли быть в действительности произнесены Ярославом — хотя бы потому, что тогда еще не существовало культа святых братьев. Слова эти вложены в уста князю летописцем или составителем Жития святых Бориса и Глеба, для которого война Ярослава со Святополком была прежде всего отмщением окаянному убийце за невинно пролитую кровь. В представлении последующих поколений русских книжников битва на Альте стала заключительным аккордом той великой трагедии, которая началась здесь же, на Альте, за четыре года до этого. И Ярославу предстояло наконец поставить точку в затянувшейся братоубийственной войне, моральный перевес в которой с самого начала оказался на его стороне.

О самой битве на Альте рассказывают почти исключительно русские источники. Впрочем, их рассказ не отлича-

ется особой конкретностью и изобилует так называемыми «общими местами», своего рода клише, используемыми в древнерусских памятниках для описания любого ожесточенного сражения.

«И двинулись друг против друга, и покрылось поле Альтское множеством воинов, — рассказывает автор «Повести временных лет». — Была же тогда пятница, и с восходом солнца сошлись обе стороны*. Была сеча злая, какой не бывало на Руси, и, за руки хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что и по удолиям (низинам. — *А. К.*) кровь текла. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк бежал...» Битва, похоже, продолжалась до глубокой ночи. «И когда настали сумерки, бились, — читаем в Паримийном чтении о святых Борисе и Глебе. — И был гром велик и страшен, и дождь великий, и молний блистание. И когда блистали молнии, тогда блистало и оружие в руках их»[104].

Летописи, восходящие к новгородской традиции, сообщают еще одну подробность сражения, имевшую ярко выраженное символическое значение: «...и многие верные видели ангелов, помогающих Ярославу»[105]. Вообще надо сказать, что все описание сражения на Альте проникнуто особым символизмом. Это касается не только участия в битве небесных сил, но и, например, указания на день недели — пятницу. (По-видимому, летописец полагал, что битва имела место день в день с трагедией 1015 года, то есть именно 24 июля, в день памяти святого Бориса, который в 1019 году как раз и пришелся на пятницу.) Трижды войска сходятся друг с другом — и это также символически воспроизводило историю многолетней войны окаянного Святополка с христолюбцем Ярославом, в которой трижды победа переходила из одних рук в другие.

Так Ярослав одержал, может быть, самую главную победу в своей жизни. «Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиной своею, показав победу и труд великий». Так пишет летописец, и эти удивительные слова характеризуют не столько самого Ярослава, сколько общее представление русских людей о войне как прежде всего тяжелом труде. Ярослав исполнил свой «труд» — и итогом его славного «труженичества» стал доставшийся ему «златой» киевский престол.

---

* В «Истории» Яна Длугоша добавлена любопытная подробность, отсутствующая в сохранившихся русских летописях: расположившись со своими обозами на реке Альте, Ярослав «отложил битву до следующего дня» и лишь назавтра, на рассвете, двинулся со своими полками на Святополка.

Поражение на Альте имело трагические последствия для Святополка. Его последний военно-политический ресурс оказался исчерпан. Печенеги бежали в степи, и путь туда для Святополка — главного виновника их поражения — был закрыт (по крайней мере на время). В сопровождении лишь немногих людей — главным образом своих слуг и приближенных, а также тех русских воинов, которые оставались верны ему, Святополк переправился через Днепр и устремился на запад, в пограничный город Берестье (Брест), однажды уже послуживший ему в качестве временного убежища. Но тогда, после первого поражения от Ярослава, Святополк получил здесь помощь и поддержку от своего союзника и покровителя Болеслава; теперь же, после ссоры с тестем, он едва ли мог надеяться на это.

Русские источники (летопись и «Сказание о Борисе и Глебе»), описывая это последнее бегство Святополка, изображают страшную, почти апокалиптическую картину чудовищных мук, принятых князем-убийцей в возмездие за совершенные им преступления. «И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли кости его, и не мог сидеть на коне, и несли его на носилках. Принесли его к Берестью бежавшие с ним; он же говорил: "Бегите со мною. Гонятся за нами!" И отроки его посылали узнать: "Гонится ли кто за нами?" И не было никого, гонящегося вслед. И бежали с ним [дальше]; он же, в немощи лежа и привставая, говорил: "Вот, гонятся, ох, гонятся, бегите!" Не мог оставаться на одном месте, и пробежал Лядскую (Польскую. — *А. К.*) землю, гонимый Божьим гневом, прибежал в пустыню меж Ляхи и Чехи, и в том месте испроверг зло (неправедно. — *А. К.*) живот свой. Праведный суд постиг его, неправедного; по отшествии от света сего принял муки окаянного... Посланная на него пагубная кара немилостиво смерти его предала, и по смерти вечно мучим есть связан. Есть же могила его в пустыне и до сего дня, исходит же от нее смрад зол. Се же Бог показал в поучение князьям русским: да если еще то же сотворят, уже слышав обо всем этом, то такую же казнь примут, и даже еще большую...»[106]

«Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним... Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». Эти слова из «Книги притчей Соломоновых» (*Притч. 28: 1, 17*) как нельзя лучше подходят к Святополку, каким изображают его летописец и автор «Сказания о Борисе и Глебе». Окаянный князь-убийца принимает на себя все прегрешения и все муки прежних преступников и убийц. Так, сентенция летописца по поводу справедливости совершенного над Святопол-

ком Божьего наказания почти дословно извлечена из древнерусского перевода «Хроники» Георгия Амартола, византийского исторического сочинения IX века, получившего распространение в Киевской Руси уже в XI столетии: «Праведный суд постиг его, неправедного...» и т. д. Так описана в «Хронике» Амартола смерть окаянного иудейского царя Ирода[107]. Святополк уподобляется и другим убийцам и преступникам, известным из Священного Писания, — Каину, Ламеху, а также Авимелеху, незаконнорожденному сыну иудейского царя Гедеона, убившему семьдесят своих братьев; с последним он прямо отождествляется: «Сей же Святополк — новый Авимелех, родившийся от прелюбодеяния и избивший братию свою, сыновей Гедеоновых». Автор «Сказания о Борисе и Глебе» находит в истории еще одну убийственную параллель преступлениям Святополка. «...Как и Иулиан цесарь (римский император Юлиан Отступник. — *А. К.*), который много крови святых мучеников пролил, горькую и бесчеловечную смерть принял: не ведомо от кого прободен был копьем в сердце, — так и этот: не ведомо от кого бегая, злострастную смерть принял».

Если судить по летописи и по Житиям Бориса и Глеба, то получается, будто в древней Руси известна была и могила Святополка, которая находилась где-то в пустыне «между Ляхы и Чехи» и от которой исходил «смрад зол» (или, по версии новгородского летописца, «дым»). Диакон Нестор, автор «Чтения о святых Борисе и Глебе», сообщал даже об известной в его время «раке» (гробнице) окаянного князя, ссылаясь при этом на каких-то очевидцев: «Ибо бывает смерть грешнику люта: многие ведь говорят, что в раке его видели, как и Ульяния законопреступного» (то есть Юлиана Отступника)[108].

В свое время предпринимались попытки более или менее точно определить местонахождение упомянутой летописцем «пустыни», в которой якобы был похоронен Святополк. Однако оказалось, что выражение «между Чехы и Ляхы» является поговоркой, известной как западным, так и восточным славянам, и означает эта поговорка: «невесть где», «где-то очень далеко»[109]. Иными словами, летописец не знал точно ни обстоятельств гибели беглого русского князя, ни места, где это произошло. Он описывал кончину Святополка на основании имевшихся у него описаний гибели других злодеев и душегубов — такой, какой она, по его мнению, должна была быть. Из всего этого летописного описания мы можем извлечь лишь два относительно бесспорных факта: первый касается пребывания Святополка в Берестье; второй — его гибели вне Берестья, скорее всего, где-то западнее, в поль-

ских пределах. Именно так, без всякого нагромождения ужасающих подробностей, изображал кончину русского князя польский хронист XVI века Мацей Стрыйковский, пользовавшийся русскими, а возможно, и какими-то несохранившимися польскими источниками: Святополк, по его словам, «бежал в Брест, к наместникам Болеслава; оттуда же отправился к королю в Гнезно, хотя просить помощи, но в пути, внезапною болезнью поражен, умер»[110].

При этом у нас нет уверенности в том, что Святополк погиб сразу же после своего последнего бегства в Польшу. Напомним, что скандинавская «Прядь об Эймунде» сообщает об убийстве «конунга Бурицлава» наемниками-скандинавами, подосланными Ярославом. Из этого иногда делается вывод о том, что Святополк и в самом деле погиб от рук наемных убийц[111]. Однако, как мы уже говорили, в скандинавском источнике припоминания о реальных событиях, в которых принимали участие Эймунд и его товарищи, тесно переплетены с разного рода домыслами, литературными заимствованиями из других саг, своего рода литературными «штампами» и т. д. В частности, описание убийства «конунга Бурицлава» обнаруживает заимствования, в том числе и текстуальные, из других скандинавских источников. По-видимому, автор саги основывался на смутных припоминаниях о смерти Святополка-«Бурицлава», последовавшей после его последней битвы с Ярославом, но не имел достоверных сведений на этот счет[112]. Возможно также, что в ткань его рассказа вплелись припоминания об убийстве князя Бориса Владимировича, в котором, согласно древнерусским источникам, действительно участвовали варяги (см. об этом выше, в главе 4).

Известно, что в центральной Польше обнаружены следы более или менее длительного пребывания русских дружинников — вероятнее всего, сторонников изгнанного из Киева князя Святополка. Речь идет о захоронениях в Лютомерске, под Лодзью, которые приблизительно датируются первой четвертью XI века[113]. По-видимому, нельзя исключать того, что и Святополк какое-то время мог пребывать в вынужденном изгнании в Польше. Следовательно, указанная в летописи дата его смерти (1019 год) может считаться лишь условной[114].

Битва на Альте, которой завершается летописный рассказ о событиях русской смуты 1015—1019 годов, во многом стала поворотным событием русской истории XI века. Она не

только знаменовала окончательную победу Ярослава в братоубийственной войне, не только привела его на «златой» киевский престол, на котором ему суждено будет пребывать в течение последующих тридцати пяти лет, но и стала одной из самых ярких побед Руси в ее более чем двухвековой войне с печенегами.

В самом деле, на протяжении предшествующих десятилетий русские, как правило, терпели унизительные поражения в борьбе с этим жестоким и сильным врагом. Так было и при князе Владимире (особенно в 90-е годы X века), так было и после его смерти, когда печенеги активно вмешались в междоусобную войну между его сыновьями. И вот теперь настало время для ответного удара.

Впрочем, сам Ярослав едва ли думал об этом. Он воевал за власть над Русью и в своей борьбе с не меньшей охотой, чем его противник, пользовался помощью иноземных войск. Но объективно победа возглавляемой им русско-скандинавской дружины в братоубийственной войне означала победу Руси над ее извечным и наиболее опасным на тот момент противником.

Глава шестая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ. НОВГОРОД

После своего утверждения в Киеве Ярослав, по-видимому, распустил бóльшую часть своего войска. Новгородцы отправились домой; если верить летописи, князь щедро наградил их деньгами и дал им «правду и устав» — то есть подтвердил особой грамотой установления «Русской Правды».

Тогда же (если не раньше) Ярослава покинула и часть варягов. «Прядь об Эймунде» привычно объясняет их уход скупостью русского князя и его отказом выполнить взятые на себя обязательства: «Прошли лето и зима, ничего не случилось, и опять не выплачивалось жалованье»[1]. Вероятно, Ярослав полагал, что уже не нуждается в услугах Эймунда и его людей, а может быть, не хотел портить отношения с киевлянами, обременяя их пребыванием в городе буйных и вечно недовольных наемников-скандинавов. Новый киевский князь, несомненно, умел при случае пренебречь обычаем, общепринятыми нормами поведения — особенно если это было выгодно ему или могло принести пользу его державе.

В конце концов норвежцы во главе с Эймундом окажутся у племянника и будущего противника Ярослава полоцкого князя Брячислава Изяславича. С Ярославом же осталась шведская дружина во главе с родичем Ингигерд Рёгнвальдом Ульвссоном, который, напомним, появился на Руси летом 1019 года.

Но если Ярослав полагал, что с его победой над Святополком борьба за власть над Русской землей завершилась, то

На рис. — пенс короля Кнута Великого, отчеканенный в Лондоне. Оборотная сторона. Из новгородского клада второй четверти XI века.

он ошибался. Распри среди оставшегося в живых потомства Владимира Святого все еще не были преодолены, а значит, сохранялась благоприятная почва для новых кровопролитных междоусобных войн, и князю Ярославу предстояло очень скоро убедиться в этом. Удивительно, но прежде всего угрозу таил для него Новгород — тот самый город, который служил ему главной базой в его войне за Киев.

Так уж случилось, что на протяжении большей части своей жизни, по крайней мере с того времени, когда в источниках появляются первые достоверные сведения о нем, Ярославу приходилось в полном смысле слова разрываться между Киевом и Новгородом. Его жизнь в равной мере принадлежит двум этим городам. Будучи новгородским князем, он вступил в борьбу за Киев; оказавшись же на киевском престоле — особенно на первых порах, — постоянно возвращался в Новгород и проводил там едва ли не больше времени, нежели в Киеве: то вмешиваясь в ход собственно новгородских дел, то черпая на севере силы для того, чтобы вести войну на юге. И наиболее сложные и запутанные проблемы, возникшие перед ним вскоре после его окончательного утверждения в Киеве, исходили именно отсюда.

События первых двух-трех лет киевского княжения Ярослава чрезвычайно скупо и противоречиво освещены русскими летописями. Восстанавливая их ход, исследователи вынуждены постоянно прибегать к сравнению различных летописных сводов, домысливая причины, по которым то или иное событие оказалось пропущенным в одной летописи, но присутствует в другой. Среди тех событий в жизни Ярослава, о которых мы знаем более или менее определенно, выделим три: рождение у киевского князя сына Владимира, расправу с новгородским посадником Константином Добрыничем, некогда оказавшим ему столь значимую услугу, и, наконец, войну с племянником, полоцким князем Брячиславом Изяславичем. Точные датировки этих событий (кроме, пожалуй, рождения Владимира Ярославича) и даже их последовательность остаются не вполне выясненными. Между тем каждое из них оставило заметный след в биографии героя нашего повествования.

Князь Владимир Ярославич, которого летописи называют старшим сыном Ярослава Мудрого*, родился в 1020 го-

* Напомним, что в списке новгородских князей, читающемся в Новгородской Первой летописи младшего извода, прежде Владимира упоминается еще один сын Ярослава, не известный ни авторам «Повести

ду[2]. Несомненно, его появление на свет стало важной вехой в жизни Ярослава, поскольку заметно укрепляло его позиции как нового киевского князя, основателя новой ветви династии русских князей.

Но еще большее значение имело рождение сына для супруги князя Ярослава, шведской принцессы Ирины-Ингигерд. Судя по свидетельству скандинавских саг, это была женщина решительная и властная, не уступавшая характером самому Ярославу. Саги всячески расхваливают ее ум и добродетели; по мнению их авторов, Ингигерд сумела во многом подчинить себе своего супруга. «Она была мудрее всех женщин и хороша собой, — читаем, например, в одном из сборников саг, так называемой «Гнилой коже» (с этих слов, кстати, начинается сборник). — Конунг (Ярослав. — *А. К.*) так любил ее, что ничего не мог сделать против ее воли»[3]. Как и большинство скандинавских женщин того времени, Ингигерд владела многими искусствами, в том числе и искусством врачевания: она способна была дать дельный совет и облегчить страдания больного, если к ней обращались за помощью; а такие случаи, как следует из саг, бывали, и не редко[4].

Саги сохранили нам и некое возвышенно-поэтическое описание внешности Ингигерд. Принадлежит оно, между прочим, не кому иному, как норвежскому конунгу Олаву Харальдссону (Олаву Святому), бывшему претенденту на руку шведской принцессы. Осень и зиму 1029/30 года изгнанный из Норвегии Олав провел на Руси, при дворе Ярослава Мудрого, где имел возможность повидаться со своей прежней невестой и даже посвятил ей песнь, две висы (строфы) которой сохранились в записи саги, посвященной этому норвежскому правителю.

«Так случилось однажды, когда конунг Олав был в Гардарики, что княгиня Ингигерд отправилась из страны по

временных лет», ни другим летописцам, — некий Илья, которого Ярослав посадил на княжение в Новгороде и который, по-видимому, вскоре после этого умер. Никаких хронологических ориентиров список не содержит, и, следовательно, ничего определенного об этом Илье мы сказать не можем. Полагают, что речь идет о сыне Ярослава от его первого брака, хотя, повторюсь, у нас есть основания сомневаться даже в самом факте его существования, ибо нельзя исключать того, что автор новгородского списка дважды внес в текст сведения об одном и том же лице — новгородском князе Владимире Ярославиче: в первый раз под его христианским, крестильным, а во второй — княжеским именем (см. об этом в главе 3). Во всяком случае, источники не позволяют говорить о каком-либо участии князя Ильи Ярославича (если он существовал в действительности) в последующих событиях.

своим делам, — рассказывается в саге. — Посмотрел конунг Олав на ее отъезд и сказал вису: "Я стоял на холме и смотрел на женщину, как ее несла на себе прекрасная лошадь; прекраснооkая женщина лишила меня моей радости; приветливая, проворная женщина вывела свою лошадь со двора, и всякий ярл поражен ошибкой".

И еще он сказал: "Некогда росло великолепное дерево, во всякое время года свежезеленое и с цветами, как знала дружина ярлов; теперь листва дерева быстро поблекла в Гардах; женщина повязала золотую повязку на свою голову"»[5].

Строки эти были произнесены спустя десять лет после того, как «прекраснооkая» Ингигерд появилась на Руси. К тому времени она родила Ярославу уже трех или четырех сыновей (четвертый, Всеволод, родился как раз в 1030 году) и, может быть, нескольких дочерей. Время и в самом деле заставило ее «повязать золотую повязку на свою голову» — ибо она вышла замуж и, следовательно, должна была появляться на людях в соответствующем своему положению головном уборе. Но, надо полагать, Олав имел в виду и иную повязку — ту, что неизменно накладывает на женщину время: «листва дерева быстро поблекла в Гардах»...

Если верить сагам, Олав и Ингигерд продолжали питать друг к другу самые нежные чувства и даже были тайными любовниками. («Они любили друг друга тайной любовью», — свидетельствует, например, «Прядь об Эймунде»; «...Ему было с Ингигерд лучше, чем со многими другими женщинами...» — сообщает автор только что процитированной Саги об Олаве.) Говорили также, что они находились в оживленной переписке: «И посылали они друг другу, конунг Олав в Нореге и Ингигерд, многие свои драгоценности и верных людей»[6]. Но в строках, произнесенных Олавом, мы едва ли найдем какие-то проявления любовного трепета. Олав сдержан, и если что-то и бросается нам в глаза в его висах, посвященных супруге «конунга Ярицлейва», так это именно сдержанность, спокойная печаль, навеянная неотвратимостью произошедших изменений. Он видит Ингигерд такой, какой она, по-видимому, и была в зрелые годы, а не такой, какой ее могло бы увидеть пылкое влюбленное сердце. Между тем сама Ингигерд, вполне возможно, была иного мнения относительно чувств, которые питал к ней норвежский конунг, и подобно большинству женщин стремилась увидеть влюбленность там, где на деле имело место одно лишь благожелательное сочувствие. Впрочем, доверять сагам, записанным столетия спустя после смерти своих героев и построенных по всем законам романтического, кур-

туазного жанра, в подобных вопросах едва ли представляется возможным.

Говоря об отношениях между Ингигерд и ее законным супругом, «конунгом Ярицлейвом», саги сообщают и о размолвках и даже о весьма бурных ссорах, о неком явном пренебрежении, которое княгиня выказывала порой своему мужу. Одной из таких ссор как раз и посвящен рассказ из «Гнилой кожи», начало которого мы процитировали выше. (Как и в большинстве саг, отношения между Ингигерд и «конунгом Ярицлейвом» осложнены здесь уже упоминавшейся романтической историей любви или, по крайней мере, симпатии Ингигерд к норвежскому конунгу Олаву Харальдссону.)

«Конунг Ярицлейв», который правил в «Гардарики», рассказывает автор саги, «велел построить себе прекрасную палату с великой красотой, украсить золотом и драгоценными камнями и поместил в ней добрых молодцов, испытанных в славных делах; утварь и боевую одежду выбрал для них такую, какой они уже раньше оказались достойными, и все находили, что и убранство палаты, и те, кто были в ней, подходят к тому, как она устроена». Надо полагать, что описание этой княжеской палаты отражает в первую очередь представления самих скандинавов о великолепии и богатстве и только затем (да и то лишь гипотетически) какие-то русские реалии. «Она была обтянута парчой и ценными тканями. Сам конунг был там в княжеской одежде и сидел на своем высоком месте. Он пригласил к себе многих почетных друзей своих и устроил пышный пир». Ярослав не преминул похвастаться великолепием своего дворца и перед княгиней. Когда та, разумеется, «в сопровождении прекрасных женщин», вошла в палату, конунг встал ей навстречу и «хорошо приветствовал ее», а затем спросил: «Видела ли ты где-нибудь такую прекрасную палату и так хорошо убранную, где, во-первых, собралась бы такая дружина, а во-вторых, чтобы было в палате такое прекрасное убранство?» Как и следовало ожидать в скандинавской саге, дочь шведского конунга и недавняя возлюбленная норвежского героя нашла что противопоставить роскоши русского князя. «Господин, — говорит она, — в этой палате хорошо, и редко где найдется такая же или бóльшая красота, и столько богатства в одном доме, и столько хороших вождей и храбрых мужей, но все-таки лучше та палата, где сидит Олав конунг, сын Харальда, хотя она стоит на одних столбах». Эти слова вызвали настоящий приступ гнева у Ярослава, и все закончилось совсем не так торжественно, как начиналось. «Конунг рассердился на нее и

сказал: "Обидны такие слова... и ты показываешь опять любовь свою к Олаву конунгу" — и ударил ее по щеке. Она сказала: "И все-таки между вами больше разницы... чем я могу, как подобает, сказать словами". Ушла она разгневанная и говорит друзьям своим, что хочет уехать из его земли и больше не принимать от него такого позора». И лишь после уговоров «друзей» (надо думать, скандинавов) Ингигерд согласилась несколько смягчиться к супругу; в свою очередь, и Ярослав, очевидно, почувствовавший угрызения совести, не только выразил готовность помириться с женой, но и согласился исполнить для нее «то, чего она попросит». В знак примирения Ингигерд потребовала послать корабль в Норвегию и привезти оттуда и взять на воспитание в княжескую семью малолетнего сына Олава Харальдссона Магнуса (чем сага и объясняет появление последнего на Руси). Ярослав принял эти унизительные для себя условия[7]. (Магнус, незаконнорожденный сын Олава Святого, родился весной 1024 года и попал на Русь вместе со своим отцом в 1029 году.)

Имела ли место описанная сцена в действительности? Несомненно, в ней слишком много от литературы, причем литературы куртуазной, свойственной европейскому (в том числе и скандинавскому) обществу в XII—XIII веках, то есть в то время, когда записывалась сага. Искусственны и театральны не только диалоги, но и вообще все черты поведения царственных супругов, какими изображает их скандинавский сказитель. Факт пребывания Магнуса Олавссона на Руси, при дворе князя Ярослава, был общеизвестен; причины же, по которым он появился здесь, автор саги, вероятно, не знал. По-видимому, именно это и побудило его ввести в свой текст эпизод с бурной ссорой князя и княгини. Так что все вышеописанное можно считать не более чем вымыслом, к тому же имеющим вполне определенную направленность. В столь явном подчеркивании достоинств Ингигерд (особенно по сравнению с очевидным неблагородством ее мужа) нельзя не увидеть свойственного скандинавским сагам противопоставления скандинава (в данном случае скандинавки) и не-скандинава[8]. Это обстоятельство нам необходимо будет иметь в виду и в дальнейшем, когда речь пойдет о скандинавских источниках, рассказывающих о «конунге Ярицлейве» и его супруге.

Приблизительно к тому же времени, что и рождение Владимира Ярославича, относится другое важное событие: столкновение Ярослава с новгородским посадником Кон-

стантином Добрыничем. «Повесть временных лет» ничего не знает об этом. Однако в уже известном нам списке новгородских князей в Новгородской Первой летописи младшего извода о расправе Ярослава над Константином (Коснятином) говорится вполне определенно, причем увязывается она как будто с двумя событиями: рождением и посажением в Новгород князя Ильи, а затем и Владимира Ярославичей: «И родися у Ярослава сын Илья, и посади в Новегороде, и умре. И потом разгневався Ярослав на Коснятина, и заточи и (его. — *А. К.*); а сына своего Володимира посади в Новегороде»[9].

Софийско-новгородские летописи (Софийская Первая, Новгородская Четвертая), а также ряд других летописей XV и XVI веков сообщают дополнительные и исключительно важные подробности случившегося, однако датируют само событие по-разному: то 1019-м, то 1020 годом: «Коснятин же был тогда в Новегороде, и разгневался на него великий князь Ярослав, и заточил его в Ростов, и на третье лето повелел его убить в Муроме, на реке Оке»[10].

Более о Константине Добрыниче источники не упоминают. Разумеется, ничего не говорится в них и о причинах княжеского гнева[11]. А между тем обрисованная лишь двумя яркими мазками история взаимоотношений князя Ярослава и посадника Коснятина поражает своим неподдельным драматизмом. Человек, нашедший в себе мужество открыто бросить вызов князю, в щепы изрубивший с мужами-новгородцами княжеские ладьи и не давший возможность Ярославу бежать за море, человек, организовавший в Новгороде сбор средств для продолжения борьбы со Святополком и фактически спасший тем самым для Ярослава киевское княжение, он, после победы Ярослава над Святополком, был схвачен тем же Ярославом, заточен в темницу, а затем и умерщвлен. Не удивительно, что личность такого человека привлекала и привлекает к себе неослабевающее внимание как историков, так и писателей-беллетристов, пишущих на исторические темы. Столь скупо, но в то же время столь ярко намеченная канва внешней биографии Константина Добрынича дает неограниченный простор для гипотез самого разного рода, в том числе и совершенно фантастических.

Так, различными домыслами и догадками обросло вынужденное пребывание Коснятина в Ростове и Муроме, где опальный посадник пользовался будто бы громадным влиянием. Известный историк и археолог Н. Н. Воронин (отнюдь не склонный в других случаях к подобным фантастичным построениям) предполагал, например, что имя Константина

Добрынича отразилось в названии города Кснятина на Волге (в устье Волжской Нерли), который якобы и был основан им; более того, исследователь высказал предположение, согласно которому Коснятин являлся выразителем коренных интересов и «регрессивных (здесь: языческих. — *А. К.*) стремлений местной среды» на этой угро-финской окраине Древнерусского государства. Смерть Коснятина Н. Н. Воронин датировал 1022 годом и полагал, что впоследствии она отмечалась местным населением Поволжья особыми языческими игрищами, одно из которых совпало будто бы с приездом в Суздальско-Ростовскую землю князя Ярослава Владимировича в 1024 году, что нашло отражение в известном нам предании о поединке Ярослава с огромным медведем из «Сказания об основании города Ярославля» (см. об этом в главе 2)[12]. Это предположение, конечно, не имеет (да и не может иметь) под собой никаких оснований. Так, город Кснятин, известный в источниках с XII века, судя по прямому сообщению летописи, был основан князем Юрием Долгоруким в 1134 году (или немного позже)[13]. Да и едва ли сосланный князем и содержавшийся под стражей посадник мог основать и назвать своим именем целый город.

Но и без того сам факт сохранения летописью известия о пребывании в заточении не князя, но всего лишь княжеского посадника (то есть фактически княжеского слуги) является уникальным для XI века и свидетельствует об исключительности как самого события, так и личности Константина Добрынича.

Что произошло в Новгороде на самом деле и чем была вызвана расправа с Константином, мы, конечно же, так никогда и не узнаем[14]. Но какие-то предположения на этот счет высказать, наверное, можно.

По-видимому, неприязнь Ярослава к новгородскому посаднику имела ярко выраженный личный характер. Их столкновение летом 1018 года, когда Константин сумел навязать свою волю князю, не прошло бесследно для Ярослава. И хотя помощь новгородцев в конечном итоге оказалась спасительной для него, он не смог простить своеволия, грубого и откровенного вмешательства в свои дела, не забыл унизительности того положения, в которое попал (причем отнюдь не по вине Константина). Теперь пришло время отомстить за обиду. И Ярослав отыгрывается с лихвой. Выбирая местом заточения опального посадника Ростов, Ярослав, кажется, ничем не рисковал. Ростовские бояре, по-видимому, оставались его верными сторонниками еще со времен его ростовского княжения.

Наверное, в глазах самого Ярослава его жестокая расправа над Константином отнюдь не выглядела одной лишь черной неблагодарностью. Внешняя форма, в которую был облечен тот или иной поступок, значила в представлении людей Средневековья зачастую больше, чем подлинный смысл содеянного. Ярослав, конечно же, мстил не за помощь, оказанную ему Константином, но за пережитый позор, за явно и при всех нанесенную обиду.

Новгородский инцидент 1018 года имел еще одно следствие, выходящее за рамки личных отношений посадника и князя. Власть Константина Добрынича в городе, и без того достаточно прочная (ибо она, напомним, носила наследственный характер), стала поистине безграничной и, во всяком случае, угрожала власти самого Ярослава. И никакие победы последнего на юге не меняли соотношения сил в Новгороде. Ярослав, разумеется, не мог не осознавать это. Получалось, что только физическое устранение посадника (или, по крайней мере, его удаление из города) могло восстановить его собственную пошатнувшуюся власть над Новгородом — а в условиях продолжающейся политической нестабильности в Русском государстве это было для князя жизненной необходимостью. Личная месть, таким образом, переплеталась с государственным интересом.

Может быть, имело место и другое. Роль новгородцев в войне Ярослава со Святополком оказалась настолько значительной, что князь вынужден был пойти на какие-то чрезвычайные уступки горожанам, даровать Новгороду особые грамоты, определяющие исключительный статус этого города. Но Константин Добрынич непосредственно не участвовал в войне. (Покидая Новгород, князь оставил его здесь в качестве посадника.) И теперь льготы, завоеванные новгородцами в жестокой и кровопролитной борьбе, оказались в его руках не вполне заслуженно. Не исключено, что Ярослав сознательно пытался противопоставить «ветеранов» киевского похода новгородскому посаднику или, по крайней мере, рассчитывал на их поддержку в усмирении Константина. Впрочем, не исключено и обратное: расправа над Коснятином имела целью общее ослабление Новгорода. Этот город представлял исключительную ценность для Ярослава как его главная опора и военная база на случай войны, но тем более князь был кровно заинтересован в сохранении своего полного контроля над ним. В политической истории это обычное явление: вчерашние союзники по борьбе с общим врагом превращаются в соперников, а иногда и непримиримых противников, как только их общий враг бывает повер-

жен. И чем бóльшую услугу один из них оказал другому по ходу борьбы, тем сильнее обычно раздражение и неприязнь, которые испытывает по отношению к нему облагодетельствованный им.

Рассуждения на этот счет не совсем беспочвенны. В нашем распоряжении имеются по крайней мере два факта, проливающие свет на взаимоотношения между Новгородом и князем в начале киевского княжения Ярослава. Во-первых, мы знаем, что в 1021 году полоцкий князь Брячислав Изяславич совершенно беспрепятственно захватил и разграбил Новгород (подробнее об этом ниже). Подобное могло иметь место либо в случае значительного ослабления военного потенциала города (и не только из-за жертв, понесенных в предыдущей войне, но и, например, в результате проведенных Ярославом репрессий), либо в случае поддержки Брячислава со стороны части горожан и конфликта между ними и Ярославом. Во-вторых, два года спустя, когда между Ярославом и его братом Мстиславом Тьмутороканским начнется война, новгородцы, кажется, не готовы будут оказать Ярославу такую же щедрую помощь, как несколькими годами раньше, во время его войны со Святополком.

Дата расправы с Константином, называемая летописями (1019/20 или 1020/21 годы), по-видимому, может быть принята лишь в качестве условной[15]: под этими годами в летописях XV—XVI веков объединен целый ряд известий, лишь *приблизительно* приуроченных ко времени окончания войны между Ярославом и Святополком (поиски и перенесение в Вышгород тела убитого князя Глеба Владимировича, передача Ярославом грамоты и устава новгородцам и, наконец, расправа с новгородским посадником). Источники не сообщают о том, находился ли Ярослав к тому времени в Новгороде или послал за Константином в Новгород своих людей. Последнее кажется менее вероятным, ибо позиции Константина были слишком сильны, чтобы присланные в город княжеские слуги могли расправиться с ним, даже имея на руках княжеское предписание. Пожалуй, только присутствие самого Ярослава обеспечивало успех задуманного им дела.

Однако летописи умалчивают о пребывании Ярослава в Новгороде до 1021/22 года. Более того, из них следует, что по крайней мере в начале 1021 года Ярослав определенно находился в Киеве[16], а может быть, провел в своей новой столице и весь предыдущий год.

Согласно уникальному свидетельству поздней Никоновской летописи, в 1020 году Русь подверглась нападению пе-

ченегов: «Того же лета приходили печенеги, и много зла сотворили, и возвратились восвояси»[17]. Источник, из которого заимствовал это сообщение летописец XVI века, равно как и степень его достоверности остаются невыясненными. Если мы все же принимаем это известие, то, по-видимому, можем предположить, что именно печенежская угроза удерживала Ярослава в Киеве к началу 1021 года. А значит, у нас появляются некоторые основания для того, чтобы отнести арест Константина ко времени не ранее 1021 года — то есть *после* нападения на Новгород полоцкого князя Брячислава Изяславича.

Отсутствие князя в Новгороде, разумеется, не являлось секретом для соседей и недоброжелателей Ярослава. А таковые в пределах Древнерусского государства, несомненно, имелись. По крайней мере один из них, упомянутый выше князь Брячислав, по-видимому, был прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в городе.

Личность князя Брячислава Изяславича заслуживает того, чтобы поговорить о ней особо. Летописи уделяют ему всего несколько строк, но и этого довольно, чтобы отнести полоцкого князя к числу наиболее энергичных и деятельных русских князей первой половины XI века.

Он занимал полоцкий престол с 1003 года. Впрочем, занимал поначалу чисто номинально, поскольку был посажен на княжение еще младенцем. (Его отец, князь Изяслав Владимирович, умер в 1001 году, двадцати двух или двадцати трех лет от роду; спустя два года скончался и старший брат Брячислава, малолетний Всеслав.) В летописи его имя появляется впервые под 1021 годом, как раз в связи с описываемыми событиями. Скандинавские же источники (а именно известная нам «Прядь об Эймунде») упоминают о нем раньше — в рассказе о борьбе между его дядьями, Ярославом и Святополком. К этому времени, очевидно, Брячислав занимал устойчивое положение в политической системе древней Руси как один из сильнейших русских князей. Напомним, что «Прядь об Эймунде» называет лишь трех правителей Древнерусского государства после смерти «конунга Вальдимара», и один из них — «конунг Вартилав» (Брячислав), правивший в «Палтескье» (Полоцке). Несмотря на то что полоцкий князь был заведомо младше и Святополка, и Ярослава и приходился им племянником, в глазах современников-иностранцев все три князя по своему положению были равны.

В войско Брячислава, как и в войско Ярослава, помимо славян, входили наемники-скандинавы[18]. Князь всемерно заботился о своей дружине и не жалел для нее средств. (Скандинавская сага противопоставляет его в этом отношении скупому и прижимистому Ярославу.) Но вместе с тем Брячислав, похоже, не тратил серебро безоглядно; более того, именно в связи с ним «Прядь об Эймунде» приводит уникальное известие об условиях выплаты денег наемникам в Полоцке. Когда наемники-скандинавы попросились на службу к полоцкому князю, рассказывается в саге, «конунг Вартилав» обратился к ним с такими словами: «Дайте мне срок посоветоваться с моими мужами, потому что они дают деньги, хотя выплачиваю их я». И только после созыва «тинга» (вероятного аналога древнерусского веча) князь соглашается заключить договор с варягами[19]. Трудно сказать, в какой степени это сообщение отражает реалии древнерусской жизни. Но, по-видимому, определенное своеобразие во взаимоотношениях между князем, его дружиной и вечем в Полоцке (по сравнению с Новгородом или Киевом) действительно имелось. «Прядь об Эймунде» свидетельствует также о том, что Брячислав пользовался любовью своих подданных: «Это был конунг, которого любили как нельзя больше». Правда, согласно тому же источнику, Брячислав был «не так находчив, как Ярицлейв»[20]. (Впрочем, обе эти характеристики полоцкого князя могут иметь чисто литературное происхождение.)

Очень хорошо укреплен был главный город Брячислава — Полоцк, перенесенный в конце X — начале XI века на новое, более удобное место — в устье реки Полоты, при впадении ее в Западную Двину. Легендарная скандинавская Сага о Тидреке Бернском, действие которой разворачивается в том числе и на Руси, так описывает полоцкие укрепления: «Город этот так укреплен, что они (враги. — *А. К.*) едва ли знают, как им удастся взять его; была там крепкая каменная стена, большие башни и широкие и глубокие рвы, а в городе было великое войско для его защиты»[21]. И хотя это описание едва ли имеет в виду реальный Полоцк (ибо представляет собой стандартное описание укрепленного европейского города вообще)[22], все же тот факт, что отнесено оно именно к Полоцку, говорит о многом. Скандинавы прекрасно знали этот город и считали его, наряду с «Хольмгардом» (Новгородом) и «Кэнугардом» (Киевом), одним из трех главных центров Руси.

И это было действительно так. На протяжении полутора веков (по крайней мере до того, как великий князь Мстислав Владимирович в конце 20-х годов XII века разгромил

Полоцк и выслал полоцких князей в Византию) правители Полоцка претендовали на одну из главенствующих ролей в Древнерусском государстве. По мнению исследователей, еще при князе Брячиславе в Полоцке была сооружена церковь Пресвятой Богородицы (так называемая «Богородица Старая»)[23]. Позднее, уже после смерти Брячислава, в 40—60-е годы XI века, в Полоцком детинце был возведен знаменитый храм Святой Софии — третий Софийский собор в Киевской Руси после киевского и новгородского. Посвящения обоих полоцких храмов кажутся отнюдь не случайными: Полоцк явно претендовал не только на политическое, но и на духовное равенство с Киевом и Новгородом.

Но, как и в других областях древней Руси, показное благочестие уживалось у правителей Полоцка с приверженностью к прежним языческим обычаям. Известно, например, что при дворе Брячислава открыто действовали языческие жрецы — волхвы: сын Брячислава Всеслав, по словам летописца, рожден был «от волхвования»; волхвы увидели особый знак в том, что ребенок родился, что называется, «в рубашке»; плаценту, приросшую у него к голове, Всеслав впоследствии носил при себе до конца жизни. «Сего ради немилостив есть на кровопролитье», — комментирует рассказ об этом киевский летописец[24].

Впрочем, особой воинственностью, по-видимому, отличались все полоцкие князья. «...Взимают меч Рогволожьи внуки против Ярославлих внуков», — писал о них автор Лаврентьевской летописи в статье 1128 года, рассказывающей о преставлении внука Брячислава, полоцкого князя Бориса Всеславича[25]. И начало этому кровавому противостоянию было положено именно Брячиславом. Полоцкий князь вел войны не только с дядей, но и со своими беспокойными западными соседями — литовскими и латгальскими (латышскими) племенами.

Имя князя Брячислава сохранилось, между прочим, в названии одного из городов Полоцкого княжества — Браслава. (Это название, очевидно, восходит к первоначальному *Брячиславль* — «город Брячислава».) Находившийся на северо-западной окраине Полоцкой земли, у границ с Литвой, на неприступной возвышенности между озерами Дривято и Новято, Браслав не известен русским летописям. Однако средневековые литовские (точнее, западнорусские) и польские хроники упоминают его в качестве форпоста Полоцкого княжества и одного из объектов литовской агрессии уже под 1065 годом[26]. Как полагают археологи, город возник в начале XI века на месте сожженного латгальского поселка[27].

Этот последний факт сам по себе весьма красноречив. Если мы вспомним историю возникновения княжеских городов в Северо-Восточной Руси, то не сможем не прийти к выводу о том, что взаимоотношения Брячислава и его дружины с местным неславянским населением заметно отличались от тех, какие существовали в это же время в других областях Древнерусского государства.

В общем, князь Брячислав был достойным противником, и война с ним не обещала Ярославу легкой победы. Хотя общий военно-экономический потенциал обоих князей, конечно, был несопоставим.

Война между князьями началась, по-видимому, в 1021 году[28] с нападения Брячислава на Новгород. Мы не знаем точно, предшествовал ли его внезапный набег опале Ярослава на Константина, или последовал за ней. Но в любом случае можно признать, что полоцкий князь удачно выбрал время и направление для нанесения удара. И дело было не только в том, что в городе не оказалось князя. Сам факт нападения Брячислава на Новгород мог быть вызван отчасти той общей нестабильностью ситуации в городе, которая, в свою очередь, явилась следствием конфликта между посадником и князем.

О ходе войны летописи рассказывают очень скупо, хотя и с некоторыми подробностями, возможно, свидетельствующими о том, что имеющийся в нашем распоряжении летописный текст представляет собой сокращение более полного повествования.

«Пришел Брячислав, сын Изяславль, внук Владимиров, на Новгород, и занял Новгород, и захватил новгородцев и имущество их, — читаем в «Повести временных лет» (Ипатьевский список «Повести временных лет» уточняет: «...поим (захватил. — *А. К.*) *множество* новгородцев»). — [И] пошел к Полоцку опять. И пришел он к Судомири-реке, и Ярослав из Киева в 7-й день настиг его здесь, и победил Ярослав Брячислава, и новгородцев возвратил к Новгороду, а Брячислав бежал к Полоцку»[29].

В новгородско-софийских и близких к ним летописях представлен более подробный текст, причем есть основания полагать, что летописец XV века использовал источник, близкий к тому, который был в распоряжении автора «Повести временных лет», но передал его значительно полнее:

«Пошел Брячислав князь... с воинами из Полоцка на Новгород и взял Новгород. И захватил новгородцев, и иму-

щество их, и весь полон, и скот, и пошел к Полоцку. И пришел он к Судомири-реке. Великий же князь Ярослав услышал весть о том и совокупил воинов многих, из Киева в седьмой день настиг его и победил Брячислава. И новгородцев отпустил к Новгороду, и полон у него отнял, сколько было из Новгородской волости, а Брячислав бежал к Полоцку».

Главное же добавление касается условий заключения мира между князьями: «И оттоле призвал к себе Брячислава, и дал ему два города — Усвят и Витебск, и сказал ему: "Будь же со мною заодно". И воевал Брячислав (заодно? — *А. К.*) с великим князем Ярославом все дни живота своего»[30].

Историки высказывали различные соображения относительно причин нападения Брячислава на Новгород. Так, например, полагали, будто полоцкий князь претендовал на Новгород и новгородские земли, тем более что и позднее полоцкие князья (в частности сын Брячислава Всеслав) стремились овладеть этим городом. Однако, судя по летописному тексту, Брячислав отнюдь не предпринял попытку закрепиться в Новгороде, но, ограбив город, поспешил восвояси*.

Высказывалось и другое предположение, согласно которому поход Брячислава явился ответом на какие-то предшествующие враждебные действия Ярослава, оставшиеся неизвестными летописцу. Полагали, в частности, будто Усвят и Витебск, прежде принадлежавшие полоцкому князю, были отняты у него Ярославом, и война со стороны Брячислава шла прежде всего за их возвращение[32]. Однако летописи не подтверждают и этой версии: и Витебск, и Усвят, по-видимому, вошли в состав Полоцкого княжества лишь после войны 1021 года.

Внутренние, экономические причины полоцкой войны были вскрыты полвека назад Арсением Николаевичем Насоновым, одним из наиболее глубоких исследователей древней Руси. Историк увидел в событиях 1021 года прежде всего стремление экономически и политически растущего Полоцка закрепиться на одном из важнейших ответвлений великого торгового пути «из Варяг в Греки»[33].

Действительно, из летописного текста следует, что итогом войны стал переход в руки Брячислава двух городов — Витебска и Усвята; полоцкий князь полностью удовлетворился

---

* Впрочем, польский хронист Ян Длугош сообщает о том, что Брячислав перед возвращением в Полоцк «распустил» (оставил?) в Новгороде своих «старост», то есть посадников[31].

ими и согласился заключить мир с Ярославом. Можно думать поэтому, что именно эти города, а не Новгород, являлись основным объектом его притязаний. Это кажется тем более вероятным, что и Витебск, и Усвят занимали исключительно выгодное географическое положение в междуречье Западной Двины и Днепра. Эти давно освоенные и заселенные земли и впоследствии служили яблоком раздора для полоцких, новгородских, псковских и смоленских князей.

Город Витебск, основанный, согласно легенде, еще в X веке княгиней Ольгой, расположен на берегу Западной Двины, при впадении в нее реки Витьбы (от которой он и получил свое название), причем в том месте, где Западная Двина более всего сближается с Днепром и его притоками. Здесь скрещивались, по крайней мере, два магистральных торговых пути того времени — днепровский, шедший «из Варяг» на юг, к Киеву и далее в Византию, и западнодвинский, выходивший к Рижскому заливу Балтийского («Варяжского») моря. Важнейший волок на пути «из Варяг в Греки» контролировал и Усвят (или Въсвят), город, расположенный у истоков реки Усвячи (притока Западной Двины) из озера Усвят. В непосредственной близости от Усвята находились верховья Ловати, одной из главных рек Новгородской земли, открывавшей прямой путь к Новгороду. Из Усвячи легко можно было попасть и в речку Касплю, верховья которой подходят почти к самому Днепру. Последующее затухание пути «из Варяг в Греки» неблагоприятно сказалось на судьбе Усвята, потерявшего былое значение. Витебск же, напротив, развился в один из важнейших городов Западной Руси, что, очевидно, явилось следствием значительного оживления торговли по Западной Двине в XII веке и позднее.

Впрочем, у Брячислава могли иметься и иные, субъективные причины для развязывания войны. Так, из скандинавских саг видна какая-то неблаговидная роль, которую сыграл в разжигании вражды между ним и князем Ярославом скандинавский наемник Эймунд Хрингссон, незадолго до начала военных действий перешедший со своим отрядом на службу к полоцкому князю.

Неизвестна нам и роль самого Брячислава в предшествующей войне между Ярославом и Святополком. Очевидно, полоцкий князь соблюдал в ней нейтралитет, но остается неясным, в чью пользу, если так можно выразиться, этот нейтралитет действовал. По-видимому, подобно многим политикам до и после него, Брячислав ожидал исхода смертельной схватки своих соперников, намереваясь либо заключить союз с победителем и разделить с ним плоды побе-

ды, либо воспользоваться его ослаблением и силой захватить желаемое. Отчасти так и получилось.

Процитированный выше летописный рассказ оставляет у исследователей ряд недоуменных вопросов. Прежде всего, неясно, каким образом Ярослав мог уже на седьмой день после захвата Новгорода настичь Брячислава. Сделать это, выйдя из Киева, физически невозможно. (За семь дней Ярослав едва ли успел бы даже получить известие о захвате своего города.) Следовательно, либо он заранее подготовился к войне, либо находился на пути из Новгорода или, может быть, к Новгороду. Однако такое допущение противоречит летописному тексту. Может быть, слова «в 7-й день» появились в летописи в результате ошибки, механического пропуска в тексте и представляют собой остаток точно названной летописцем календарной даты с указанием месяца (пропущенного переписчиком) и числа, как думали некоторые историки? Но и такое предположение едва ли можно принять: точные даты текущих событий появляются в летописи не ранее второй половины XI века. Остается предположить, что Брячислав находился в Новгороде достаточно продолжительное время, в течение которого Ярослав успел приготовиться к войне и выступить из Киева: на седьмой день погони (или на седьмой день после выступления Брячислава из Новгорода) Ярослав настиг его.

Встреча князей произошла на «Судомири-реке», то есть на Судоме, правом притоке Шелони. Как видно, Брячислав возвращался из Новгорода не прямым путем, по Ловати, связывавшей Новгородскую и Полоцкую земли, но более длинным, кружным, — по Шелони[34]. Этот путь был выбран, очевидно, именно из-за опасений встретиться с Ярославом. Из Шелони князь свернул в Судому, где его и нагнало войско киевского князя. Надо полагать, что Брячислав знал о погоне. Однако скорость движения его рати, обремененной многочисленным полоном, бесчисленным скарбом и стадами крупного и мелкого рогатого скота, конечно же, не могла быть высокой.

Но что именно произошло на Судоме? Летописный рассказ, казалось бы, не оставляет сомнений на этот счет: сражение, завершившееся победой Ярослава. Однако условия договора, заключенного вскоре после этого между Ярославом и Брячиславом, заставляют нас задуматься относительно достоверности летописного сообщения. Если Брячислав был действительно разбит, то почему же Ярослав передал ему два города, причем исключительно важных со стратегической точки зрения? Такой шаг скорее свидетельствует о

заинтересованности самого Ярослава в сохранении мирных отношений с полоцким князем — а значит, последний отнюдь не был повержен или, во всяком случае, не утратил своего военного потенциала. Новгородский полон, несомненно, был возвращен в Новгород. Но это также могло стать следствием не только военной победы Ярослава, но и заключенного между князьями мира.

Сомнения относительно исхода войны между Ярославом и Брячиславом усиливаются при знакомстве с еще одним источником — рассказом уже знакомой нам «Пряди об Эймунде», в которой реальные события, как это обычно бывает в сагах, перемешаны с вымыслом и всему действию придан занимательный и отчасти авантюрный характер. Если верить саге, самое активное участие в войне приняли сам Эймунд Хрингссон со своими товарищами, а также супруга Ярослава, княгиня Ингигерд.

Когда между Эймундом и «конунгом Ярицлейвом» в очередной раз произошла ссора, рассказывает сага, скандинавский наемник заявил о том, что покидает князя и отправляется к его «брату», «конунгу Вартилаву». Это встревожило Ярослава, а еще больше его супругу. «Если вы с Эймундом конунгом будете делить все дела, — будто бы сказала она мужу, — то это пойдет к тому, что вам с ним будет тяжело». «Хорошее было бы дело, если бы их убрать», — заметил на это Ярослав. «До того еще будет вам от них какое-нибудь бесчестие», — отвечала Ингигерд. Княгиня в сопровождении преданного ей ярла Рёгнвальда Ульвссона и еще нескольких человек отправилась к кораблям скандинавов, которые были уже полностью готовы к отплытию, и попросила Эймунда о встрече. «Не будем ей верить, потому что она умнее конунга, но не хочу я ей отказывать в разговоре», — сказал Эймунд своим товарищам и, несмотря на их предостережения, вышел к княгине. Они встретились на вершине глиняного холма и уселись на расстеленные плащи. «Княгиня и Рёгнвальд сели близко к нему, почти на его одежду... Ни у того, ни у другого из них руки не оставались в покое. Он (Эймунд. — *А. К.*) расстегнул ремешок плаща, а она сняла с себя перчатку и взмахнула ею над головой». Эймунд понял, что это ловушка и что люди княгини изготовились убить его по знаку своей госпожи. Однако благодаря ловкости он сумел опередить их. «Эймунд увидал их раньше, чем они добежали до него, быстро вскакивает, и раньше, чем они опомнились, остался только плащ, а сам он им не достался». (Подобная уловка, к слову сказать, описывается в ряде других саг.) На помощь Эймунду поспешили люди с

его кораблей, однако кровопролития удалось избежать. «Пусть они вернутся домой с миром, — сказал Эймунд, — потому что я не хочу так порвать дружбу с княгиней».

Отметим одно немаловажное обстоятельство: сага начинает рассказ о войне между Ярославом и Брячиславом с сообщения о ссоре в самом лагере Ярослава между различными группами находившихся на его службе скандинавских наемников: норвежцев во главе с Эймундом и шведов во главе с Рёгнвальдом. Наверное, не будет большим преувеличением, если мы предположим, что именно появление шведского отряда Рёгнвальда в дружине «конунга Ярицлейва» (а не одни только финансовые претензии наемников-норвежцев) привели к тому, что Эймунд покинул Ярослава.

«Конунг Вартилав» с честью встретил норманнов и, после обсуждения со своими мужами выговоренных ими условий, принял скандинавских наемников на свою службу. «...Я не так находчив, как Ярицлейв конунг, брат мой, — сказал он Эймунду, — и все-таки между нами потребовалось посредничество. Мы будем часто беседовать с вами и платить вам все по условию». «И вот они в великом почете и уважении у конунга».

Именно Эймунд, согласно саге, сообщил полоцкому князю о намерении Ярослава начать войну против него. И действительно, вскоре слова его подтвердились. «Случилось, что пришли послы от Ярицлейва конунга просить деревень и городов, которые лежат возле его владений, у Вартилава конунга». (Как мы уже говорили, подобное трафаретное описание начала военной кампании является «общим местом» всех саг и едва ли может быть принято в качестве достоверного исторического свидетельства.) Вартилав, как и было уговорено между ними, потребовал совета от Эймунда. «По мне, господин, — отвечал ему Эймунд, — похоже на то, что надо ждать схватки с жадным волком. Будет взято еще больше, если это уступить. Пусть послы едут обратно с миром... — они узнают о нашем решении».

Так Эймунд оказался одним из главных вдохновителей конфликта. Если не слишком идеализировать его (как это делают составители саги), то в его стремлении развязать войну, пожалуй, можно увидеть и обычную обиду, желание во что бы то ни стало отомстить своему прежнему покровителю. К числу своих обидчиков, помимо самого «конунга Ярицлейва», Эймунд должен был причислять его супругу и, конечно же, Рёгнвальда Ульвссона.

Тем временем, продолжает свой рассказ сага, обе стороны начали готовиться к решительной схватке. «...И сошлись

они в назначенном месте на границе, поставили стан и пробыли там несколько ночей».

Описание хода самой войны, однако, полностью противоречит тому, что мы знаем из летописей. Согласно саге, Эймунд призывал князя не торопиться с битвой. «Отсрочка — лучше всего, когда дело плохо, и еще нет Ингигерд княгини, которая решает за них всех, хотя конунг — вождь этой рати». Сам он вызвался держать стражу. По истечении семи ночей (отметим совпадение с летописным текстом, где говорится о семи днях, предшествующих битве), в ненастную и очень темную ночь, Эймунд, его побратим Рагнар и еще несколько человек покинули дружину и углубились в лес. Они расположились у дороги, позади стана «конунга Ярицлейва». И вот «слышат они, что едут и что там женщина. Увидели они, что перед нею едет один человек, а за нею другой». Это была Ингигерд, спешившая к своему мужу. «Станем по обе стороны дороги, — предложил своим спутникам Эймунд, — а когда они подъедут к нам, раньте ее коня, а ты, Рагнар, схвати ее». «И когда те проезжали мимо, они ничего не успели увидеть, как конь уже пал мертвым, а княгиня вовсе исчезла. Один говорит, что видел, как мелькнул человек, бежавший по дороге, и не смели они встретиться с конунгом, потому что не знали, кто это сделал — люди или тролли».

Так Ингигерд попала в руки полоцкого князя. Эта нечаянная удача сразу же изменила ход войны в пользу Брячислава и, более того, предотвратила кровопролитие. Наутро Ингигерд позвала к себе Эймунда и предложила ему посредничество в заключении мира между враждующими князьями: «Лучше всего было бы нам помириться, и я предлагаю сделать это между вами. Хочу сначала объявить, что выше всего буду ставить Ярицлейва конунга». Эймунд рассказал обо всем своему князю. «Не скажу, чтобы это можно было посоветовать, — задумался Брячислав, — ведь она уже хотела уменьшить нашу долю». Эймунд, однако, заверил его, что условия окажутся вполне приемлемыми и владения князя отнюдь не уменьшатся. «Затрубили тогда, сзывая на собрание, и было сказано, что Ингигерд княгиня хочет говорить с конунгами и их дружинниками. И когда собрались, увидели все, что Ингигерд княгиня — в дружине Эймунда конунга и норманнов. Было объявлено от имени Вартилава конунга, что княгиня будет устраивать мир».

Условия этого мира, как они изложены составителями саги, выглядят совершенно фантастичными. «Конунг Ярицлейв» получил Хольмгард (Новгород), а Вартилав — Кэну-

гард (Киев), «с данями и поборами; это наполовину больше, чем у него было до сих пор».

Разумеется, это свидетельство нельзя принимать всерьез. Брячислав до самой своей смерти оставался полоцким, но никак не киевским князем. Справедливости ради, отметим, что в Киеве существовал особый «Брячиславль двор», и, следовательно, можно предположить, что полоцкий князь имел какие-то права на часть киевской дани. Однако это обстоятельство само по себе, конечно же, совершенно не достаточно для того, чтобы привести составителя саги к выводу об обмене владениями.

Столь же фантастично и сообщение саги о судьбе Полоцка. «А Палтескью (Полоцк. — *А. К.*) и область, которая сюда принадлежит, получит Эймунд конунг, и будет над нею конунгом, и получит все земские поборы целиком, которые сюда принадлежат, потому что мы не хотим, чтобы он ушел из Гардарики», — заявила якобы Ингигерд. В случае рождения у Эймунда сыновей, они должны были наследовать княжество; если же он умрет бездетным, Палтескья переходила к Ярицлейву и Вартилаву. Кроме того, Эймунду поручалась оборона всей Гардарики (Руси); князья же должны были «помогать ему военной силой и поддерживать его». Ярослав оставался верховным правителем всей Руси («Ярицлейв конунг будет над Гардарики»). Рёгнвальд Ульвссон, что особо оговаривалось в тексте договора, оставался владетелем Альдейгьюборга (Ладоги). «На такой договор и раздел княжеств согласился весь народ в стране и подтвердил его. Эймунд конунг и Ингигерд должны были держать все трудные дела. И все поехали домой по своим княжествам».

Составитель саги рассказал и о последующей судьбе некоторых из своих героев. Так, по его словам, «Вартилав конунг прожил не дольше трех зим, заболел и умер». (Это еще одна явная ошибка, ибо из летописи известно, что князь Брячислав умер лишь в 1044 году, причем ему наследовал его сын Всеслав.) «Это был конунг, которого любили как нельзя больше. После него принял власть Ярицлейв и правил с тех пор один обоими княжествами». Не дожил до старости и Эймунд. «Он умер без наследников, и умер от болезни, и это была большая потеря для всего народа в стране, потому что не бывало в Гардарики иноземца более мудрого, чем Эймунд конунг, и пока он держал оборону страны у Ярицлейва конунга, не было нападений на Гардарики». Когда Эймунд заболел, он передал свое княжество Рагнару, и тот стал править им. «Это было по разрешению Ярицлейва конунга и Ингигерд»[35].

Мы уже достаточно говорили о природе саг, чтобы понять: сам жанр обязывал их составителей домысливать отдельные эпизоды и целые сюжетные линии. Прославление героя саги, отважного скандинавского наемника, заставило рассказчика увенчать его служение русским князьям, его мужество и находчивость достойным финалом — а именно получением княжества. (Что, впрочем, не исключает возможности того, что Эймунд, действительно, мог получить за свою службу часть даней и доходов с каких-то полоцких земель.) Именно это обстоятельство, как полагают современные исследователи, и «повлекло за собой перераспределение русских княжеств: оставление Ярослава в Новгороде и водворение Вартилава в Киеве»[36]. События собственно русской истории в данном случае послужили авторам саги не более чем материалом для конструирования захватывающего, а отчасти и назидательного литературного сюжета.

Вымышленными признаются и все эпизоды с участием Ингигерд. Их появление в саге объясняют, в частности, тем, что «Прядь об Эймунде» включена в состав Саги об Олаве Святом (где Ингигерд отводится важное место), причем следует в ней сразу же за рассказом о сватовстве и женитьбе «конунга Ярицлейва»[37]. Этот вывод, однако, представляется излишне категоричным. Определенное сходство между рассказом саги и летописным повествованием свидетельствует в пользу того, что составителям саги были известны некоторые реальные подробности происходивших событий. Вполне возможно, что это относится и к участию в той или иной степени в военных действиях русской княгини. Другое дело, что в ходе длительного бытования саги в устной традиции все эти подробности обрастали различными вымышленными эпизодами, начинали действовать чисто литературные законы жанра. А потому угадать, что именно в саге и конкретно в той роли, которую отводит сага Ингигерд, соответствует действительности (пленение ли ее варягами Эймунда, участие ли в примирении князей и заключении мирного договора), сегодня, увы, невозможно.

Рискнем высказать и другое предположение. Одной из причин превращения княгини-скандинавки в едва ли не главное действующее лицо полоцкой войны могла стать та роль, которую в действительности играла Ирина-Ингигерд в окружении Ярослава. Очевидно, что княгиня не была ни затворницей, проводившей все свои дни в княжеском тереме (это вообще не соответствовало роли женщины в скандинавском и древнерусском обществах), ни просто хранительницей семейного очага. Более того, по-видимому, именно

Ингигерд с самого момента своего появления на Руси выполняла своеобразную и чрезвычайно важную роль посредника во взаимоотношениях между ее мужем и пришлыми скандинавами. Видимо, отнюдь не случайно саги подчеркивают особую близость к русской княгине-шведке Рёгнвальда Ульвссона, возглавившего прибывший на Русь шведский отряд. И, следовательно, ссора между норвежцами Эймунда и шведами Рёгнвальда (с которой сага и начинает рассказ о полоцкой войне «конунга Ярицлейва»), действительно, не могла обойтись без ее непосредственного участия.

Так или иначе, но мир между князьями, скрепленный передачей Брячиславу двух городов на полоцко-новгородском пограничье, был заключен. Правда, летописи содержат несколько двусмысленный текст. По заключении мира «воеваше Брячислав с великим князем Ярославом вся дни живота своего» — из этих слов, казалось бы, можно сделать вывод о том, что Брячислав до конца своей жизни воевал *против* киевского князя. Это, однако, вовсе не обязательно. История последующих войн Ярослава Мудрого показывает, что полоцкий князь был для него скорее союзником, чем противником. Во всяком случае, ни о каких войнах между ними источники не сообщают. Так что слова «воеваше... с великим князем», по-видимому, надо понимать именно в смысле «воевал *вместе* с великим князем».

Как мы видели, мир с Брячиславом достался Ярославу совсем не дешевой ценой. Но, с другой стороны, отказ от тех или иных территорий ради заключения выгодного союзного договора становился для него привычным способом улаживания сложных политических конфликтов. В самом деле, разве не уступкой Ладоги приобрел он помощь шведского конунга Олава в критические для себя месяцы войны с Болеславом и Святополком? Победа же в этой войне стоила ему еще дороже: покинув Киев и разорвав союз со Святополком, польский князь удержал за собой Червенские грады — обширную и богатейшую область на западе Древнерусского государства. В руках Болеслава (или, может быть, сторонников Святополка) осталось и Берестье — западный форпост Туровского княжества. Теперь Ярослав шел на уступку еще двух городов из прежних владений своего отца.

(При этом, помимо уже названных областей и городов, Ярослав утратил контроль и над рядом других окраинных земель прежней державы Владимира Святого. Так, очевидно,

после начала смуты 1015—1019 годов из-под власти Киева вышла Вятичская земля, которая оставалась фактически независимой до конца XI века. Само собой разумеется, что власть Ярослава не распространялась и на отдаленную Тьмуторокань, где княжил его брат Мстислав. Еще один Владимирович, уцелевший в кровавой междоусобице, Судислав, владел Псковской землей; впрочем, судя по летописи, это был слабый и безынициативный правитель, едва ли представлявший для Ярослава прямую угрозу.)

По-видимому, Ярослав тех лет стремился не столько к расширению своих владений, сколько к укреплению своей власти над теми территориями, которые находились в его руках. Поэтому он без сожаления оставлял ту или иную область, для удержания которой у него не доставало сил. И такая политика, в конечном итоге, принесла ему успех. Пройдет время — и Ярославу удастся заполучить обратно почти все те земли, которые он потерял в начале своего княжения.

Первый шаг в этом направлении Ярослав попытался сделать уже на следующий год после завершения полоцкой войны. «Приде Ярослав к Берестью», — кратко сообщает «Повесть временных лет» под 1022 годом[38]. Очевидно, поход был направлен против Болеслава Польского, в чьих руках находился этот древнерусский город. Однако никаких подробностей военных действий летописи не сообщают.

Занял ли Ярослав Берестье, или только «пришел», то есть подступил к нему, остается неизвестным. Конечно же, он рассчитывал на успех — и, по-видимому, не без оснований. К началу 20-х годов XI века могущество Польской державы постепенно стало сходить на нет. Прежде непобедимый Болеслав начал терпеть поражения: в частности, как раз около 1022 года он потерял Моравию, в которую вступили войска чешского князя Олдржиха и его сына Бржетислава, приблизительно в это же время женившегося на сестре могущественного швабского герцога Оттона Белого. Множество поляков, попавших в плен в Моравии, было продано в рабство венграм. Чешский хронист Козьма Пражский, от которого мы знаем обо всех этих событиях, сообщает также о каких-то внутренних потрясениях в Польше в том же 1022 году: «В лето от Рождества Христова 1022. В Польше происходило преследование христиан»[39]. Вероятно, Ярослав, осведомленный о неудачах Болеслава на западе и о неурядицах в самой Польше, попытался вернуть себе часть утраченных им земель. Но насколько ему удалось преуспеть в этом, мы, повторюсь, не знаем.

Среди киевских событий первых лет пребывания Ярослава на «златом» киевском престоле источники предположительно позволяют назвать еще одно — перенесение останков князя Глеба со Смядыни в Вышгород. Если судить по памятникам так называемого «борисоглебского цикла» (то есть анонимному «Сказанию» о святых князьях и «Чтению» преподобного Нестора), инициатива их отыскания и перенесения в Киевскую область принадлежала лично князю Ярославу Владимировичу. «Переяв всю волость Русскую», рассказывает автор «Сказания», Ярослав «начал вопрошать о телесах святых — как и где положены? И о святом Борисе поведали ему, что в Вышгороде положен, а о святом Глебе не все ведали, что близ Смоленска убит был. И тогда сказали ему о том, что слышали от приходящих из тех мест: как видели свет и свечи в пустом месте. И слыша это, послал Ярослав к Смоленску пресвитеров (священников. — *А. К.*) для отыскания тела, сказав, что "то есть брат мой"». Тело святого Глеба, найденное, по свидетельству Нестора, некими «ловцами», то есть охотниками, положили «с крестами, и со свечами многими, и с кадилами, и с честью многою» в «кораблец», заранее приготовленный смоленским наместником, и отвезли в Вышгород, где похоронили у церкви святого Василия, рядом с телом святого Бориса[40].

Впрочем, каких-то надежных хронологических ориентиров, позволяющих точно датировать это событие, источники не содержат, а потому время перенесения мощей со Смядыни в Вышгород определяется историками по-разному[41]. Да и относительно личного участия князя Ярослава в этом действе у нас есть определенные сомнения[42]. Во всяком случае, с течением времени память о погребении святых в Вышгороде успела полностью стереться, хотя, по рассказу княжеских житий, иногда на месте их погребения видели огненный столп, а иногда слышали ангельское пение. Однажды близ того места остановились некие варяги (очевидно, состоявшие в качестве наемников в дружине Ярослава и принимавшие участие в одной из его войн); один из них по незнанию ступил на саму могилу — и тотчас ноги его опалило пламенем, исшедшим от гроба. «И оттоле не смели близ приступать, но со страхом покланялись». Однако святость невинно убиенных княжичей была вполне осознана много позже — кажется, уже в последние годы жизни Ярослава Мудрого.

Год 1023-й, кажется, не отмечен в жизни Ярослава какими-то памятными событиями. Под 1024-м же годом летописи рассказывают о поездке князя из Новгорода в Суз-

дальскую землю, охваченную в это время массовыми языческими выступлениями.

«Ярослав был в Новгороде тогда, — читаем в «Повести временных лет». — В се же лето въсташе (поднялись? объявились? — *А. К.*) волхвы в Суздале, избивали старую чадь по дьяволю наущению и бесованию, говоря, будто те держат гобино (урожай, хлебные запасы. — *А. К.*); был мятеж великий и голод по всей той стране. Пошли по Волге все люди в Болгары, и привезли жито, и так ожили». В Софийской Первой и близких к ней летописях этот рассказ уточнен и дополнен: «...Встали волхвы лживые в Суздале и принялись избивать старую чадь, баб, говоря, будто те держат гобино и жито и голод пускают. И был мятеж великий и глад по всей земле той, так что мужья жен своих отдавали в челядь, чтобы прокормиться; пошли по Волге все люди в Болгары, и привезли пшеницу и жито, и так ожили...»[43]

Смысл происходивших в Суздальской земле событий ясен лишь отчасти. Историки советского времени, как правило, рассматривали их исключительно с классовых позиций, как антифеодальное восстание, порожденное развитием феодальных отношений и свидетельствующее об обострении классовой борьбы в обществе[44] — непременном условии функционирования жесткой социологической схемы, согласно которой в Киевской Руси уже к началу XI века господствовал феодальный строй. Как и большинство подобных схем, эта схема, конечно же, очень далека от действительности и страдает чрезмерной прямолинейностью. Никаких свидетельств *антифеодального* характера суздальских волнений в нашем распоряжении нет и, очевидно, быть не может, поскольку классовые отношения на Руси (тем более в Северо-Восточной Руси) к началу XI века еще не зашли так далеко. Но определенный *социальный* характер события, несомненно, имели. Это обстоятельство приходится оговаривать особо, поскольку в отечественной историографии существует и иная, прямо противоположная только что изложенной, точка зрения, согласно которой никакого «мятежа» в Суздальской земле вообще не было и речь может идти лишь о неверном понимании историками летописных источников[45].

Так что же произошло на самом деле?

Очевидно, что «мятеж великий», о котором рассказывают летописцы, был вызван голодом, поразившим «всю ту страну», то есть Суздальскую землю. Масштабы голода оказались чрезвычайно велики: люди продавали своих жен и близких в рабство, чтобы избавить себя от лишних ртов и хоть как-то

спасти их и спастись самим. Запасов хлеба, обычно имевшихся в распоряжении общины и представителей княжеской администрации, на этот раз явно не хватило. Возможно, это объясняется тем, что недород продолжался не один год; возможно, сказались последствия княжеских междоусобиц и неурядиц предшествующих лет. Ярославу, напомним, приходилось тратить громадные суммы денег на оплату наемников и своего новгородского войска, на работы по восстановлению Киева и другие неотложные нужды. Оставшаяся без своего князя Суздальская земля, вероятно, служила объектом беспрепятственного и бесконтрольного вывоза дани.

Как всегда бывает в таких случаях, люди поспешили заручиться помощью высших сил и обратились к языческим жрецам — волхвам. Последние и без того оставались в силе в этих краях, едва затронутых христианским влиянием; теперь же они встали во главе всего движения и придали ему ярко выраженную религиозную окраску. Но голод обострил и все социальные противоречия, особенно нетерпимые в эпоху ломки старых, традиционных форм общественной жизни. Гнев людей обратился, прежде всего, против «старой чади», то есть «лучших» людей, занимавших наиболее высокое положение на социальной лестнице тогдашнего общества, очевидно, представителей местной родо-племенной знати. Судя по софийско-новгородским летописям, непосредственно в голоде были обвинены наиболее уязвимые с традиционной точки зрения члены общества — женщины, особенно знатные («бабы» «старой чади», по словам летописца), а также старики и старухи.

Волхвы обвиняли их в том, что они «держат гобино». Эту летописную фразу можно понимать по-разному. «Гобино» — хлебный урожай, изобилие; здесь никаких загадок не возникает. Но что значит «*держат*»? Удерживают физически, то есть держат в своих руках, как казалось многим историкам прошлого? Едва ли. Скорее, значение этого слова в данном случае иное: «*держат*» в смысле «задерживают», препятствуют[46]. Более отчетливо суть происходящего раскрывают летописи XV века: «старая чадь, бабы» «держат гобино и жито и *голод пускают*» — то есть препятствуют доброму урожаю, изобилию земных плодов, распространяют неурожай, голод; именно они были объявлены причиной постигшей область катастрофы.

Подобные представления свойственны языческому обществу, и не только славянскому. Традиционные верования многих народов напрямую связывали изменения, происходящие в природе (изобилие плодов или, наоборот, неурожай,

засуху, голод), с судьбами тех или иных людей, как правило, наиболее уважаемых членов общества, «старцев», «старой чади». Неурожай, разного рода природные бедствия, мор требовали непосредственного вмешательства людей, определенных магических действий и, в частности, ритуального умерщвления тех, кто волей или неволей «задерживает» урожай. Таковых находили, прежде всего, среди стариков и старух, «зажившихся» на земле дольше отведенного им срока и тем самым препятствующих «обновлению» самого внешнего мира. (Судя по этнографическим материалам, добровольный уход старых людей из жизни был повсеместным явлением в первобытном обществе.) Рассказ летописи обнаруживает удивительное сходство с преданиями, сохранявшимися в украинском фольклоре еще в XIX веке, о ритуальных убийствах во время голода стариков и старух[47]. Но летопись акцентирует внимание не просто на стариках, но на «старой чади» — то есть на «лучших людях»: в этом, несомненно, сказалось социальное расслоение, уже произошедшее в обществе.

Выбор в качестве объекта ритуальных убийств женщин также весьма показателен. Смысл происходившего в Суздальской области несколько проясняют схожие события, которые имели место в Северо-Восточной Руси несколькими десятилетиями позже, в 70-е годы XI века, во время очередного голода: тогда два волхва, объявившиеся в Ярославле, также указывали на тех, кто «обилье держит»; двигаясь по Волге, они убивали «лучших жен», говоря про каждую из них, будто «та жито держит, та мед, та рыбу» и т. д.[48] «Более стойкая сохранность архаических ритуалов в женской среде, бóльшая устойчивость женской обрядности, а также переход на женскую среду обрядности, составлявшей прежде мужскую компетенцию, — характерные процессы при деградации ритуального действа», — пишет современная исследовательница славянской языческой обрядности[49]. Несомненно, именно такая пережиточная стадия существования обряда, проявлявшаяся лишь в экстремальных условиях жесточайшего голода, нарушавших нормальную жизнедеятельность общества, и была зафиксирована событиями 1024-го и 1070-х годов.

Как следует из летописи, массовые убийства стариков, старух и жен «лучшей чади» явились лишь одним из средств преодоления голода, и, наверное, не самым действенным. Другая, более прозаическая мера дала несравненно лучшие результаты. Хлеб удалось привезти из Волжской Болгарии, многовекового восточного соседа Руси. Это мусульманское государство на средней Волге и Каме существовало прежде всего за счет международной торговли. Болгарские купцы

охотно и много торговали и с русскими землями, и со странами Востока; по-видимому, спасительный для суздальцев хлеб имелся там в достатке. Что предложили взамен голодающие, догадаться нетрудно: надо полагать, что помимо обычного предмета русского экспорта, пушнины (вероятно, изъятой у тех же представителей «старой чади»), в Болгары и далее на восточные невольничьи рынки отправились те самые жены и домочадцы, о продаже которых в качестве челяди сообщают летописи. Рабы, «челядь», как известно, являлись привычной статьей русского экспорта на протяжении многих веков нашей истории.

Масштабы волнений в Суздальской земле оказались настолько велики, что потребовали личного вмешательства князя. Из Новгорода Ярославу пришлось отправиться в Низовские земли (так называли Ростово-Суздальскую Русь на севере) для наведения порядка. И это при том, что события в южной Руси к этому времени приобрели весьма неблагоприятный для него оборот. На юге назревала (или, может быть, уже назрела) большая война с его братом Мстиславом Тьмутороканским. (Речь о ней пойдет в следующей главе книги.) По-видимому, Ярослав счел для себя невозможным начинать эту войну, имея в тылу мятежный край.

Его расправа с волхвами была скорой, решительной и жестокой. «Услышав о волхвах, — рассказывает «Повесть временных лет», — Ярослав пришел в Суздаль; схватив волхвов, одних расточил (то есть разослал в разные места в заточение. — *А. К.*), других казнил, сказав так: "Бог наводит по грехам на всякую страну глад, или мор, или вёдро (здесь: засуху. — *А. К.*), или иную казнь, человек же не знает ничто". И возвратился Ярослав к Новгороду...» (Слова Ярослава — по крайней мере, в передаче летописца — очевидно, имеют в виду волхвов: им не дано знать, в чем причина постигшей Суздальскую область беды; всё в руках Божьих, и, следовательно, их затея с истреблением ни в чем не повинных людей есть чистое безумие и преступление.)

Софийско-новгородские летописи содержат более пространный рассказ: придя к Суздалю, Ярослав «схватил убийц тех, которые баб избили (убили. — *А. К.*), расточил и дома их разграбил, а других казнил; *и уставил ту землю...*» Немного дополнены и слова, с которыми Ярослав якобы обратился к населению: «Бог наводит по грехам на всякую страну глад, или мор, или вёдро, или иную казнь, человек же не знает ничто; Христос Бог един есть на небесех».

Как видим, главное добавление летописца XV века касается тех мер, которые принял Ярослав для недопущения впредь

подобных явлений. Очевидно, он дал Суздальской земле особый устав (*«уставил землю»*), о смысле и содержании которого мы можем только догадываться. Как полагают исследователи, речь могла идти о более строгой фиксации размеров дани, взимаемой князем с северо-восточной окраины своего государства, может быть, о некотором ее уменьшении, возможно, о точном указании пунктов сбора этой дани[50]. Подобные княжеские уставы, несомненно, имели более широкое значение, нежели простое урегулирование конфликта, даже такого серьезного, как восстание 1024 года. Главное их значение заключалось в том, что они ускоряли процессы огосударствления тех земель, на которые распространялось их действие, в большей мере, чем раньше, включали их в политическую и правовую систему Киевского государства.

Трагические события в Северо-Восточной Руси, по-видимому, отразились и на судьбе бывшего новгородского посадника Константина Добрынича. Конечно, вовсе не обязательно полагать, будто опальный посадник непременно принимал в них участие или даже возглавлял их, как это иногда представляется историкам. Но вот его перевод из Ростова в Муром (на третье лето после его заточения, если мы правильно датируем последнее 1021 годом), вероятно, явился прямым следствием суздальского мятежа.

Как мы уже знаем, этот город стал последним земным пристанищем для Константина. У нас есть некоторые основания полагать, что и сама гибель сына Добрыни явилась следствием новых политических потрясений. В 1026 году (а может быть, и несколькими годами раньше) князь Ярослав был вынужден уступить Муром своему брату Мстиславу Тьмутороканскому. Посадникам киевского князя пришлось покинуть город. И не эта ли неизбежность появления здесь посадников Мстислава заставила Ярослава поторопиться с убийством Константина Добрынича? По-видимому, дальнейший перевод его из города в город показался князю слишком обременительным...

Впрочем, все это было еще впереди. Пока же Ярославу приходилось улаживать дела в Суздале: «уставлять» землю, решать судьбу волхвов, прочих вовлеченных в мятеж людей, предавая казни одних и отправляя в заточение других. Но делалось все это, по-видимому, наспех. Если принимать летописную датировку событий, то именно в Суздале Ярослав получил тревожную весть о том, что его брат, князь Мстислав Тьмутороканский, вторгся в его землю и двинулся к Киеву. Столица Ярослава оказалась практически беззащитной перед новым и очень грозным противником.

Глава седьмая

ГОРОДЕЦКИЙ МИР

Говоря о перипетиях русской смуты 1015—1019 годов и о последующих событиях, мы совершенно упустили из вида южную окраину Древнерусского государства — отдаленное Тьмутороканское княжество, которым правил младший брат Ярослава, князь Мстислав Владимирович. Сделали мы это намеренно, ибо история русской Тьмуторокани во второй половине 10-х — первой половине 20-х годов XI века протекала совершенно обособленно от истории Киевского государства. После смерти Владимира Святого всякие связи между его сыном Мстиславом и прочими русскими князьями, по-видимому, совершенно распались. Мстислав не вмешивался в кровопролитную войну, унесшую жизни по меньшей мере четырех его братьев. Его собственное княжество, расположенное на небольшом ограниченном пространстве Таманского полуострова и дельты Кубани («Тьмутороканского острова», по выражению древнерусского книжника) и отделенное от остальной Руси бескрайней и чужой Степью, жило в эти годы своей особой жизнью, постепенно превращаясь в один из важных узлов восточноевропейской политики.

Это был совершенно особый мир со своими традициями, своими проблемами, своими устоявшимися международными связями. Тьмуторокань, древний хазарский город, который сами хазары называли С-м-к-р-ц, или Самкуш, а византийцы — Матарха, или Таматарха (отсюда русское Тьму-

---

На рис. — сребреник князя Ярослава Владимировича. Лицевая сторона с изображением святого Георгия. Из клада, найденного в Померании.

торокань), была населена людьми самых разных верований и языков, и русские отнюдь не составляли в нем большинство. Здесь жили греки, евреи, славяне, остатки прежнего хазарского и булгарского населения («хазары», как именует их летописец), а также представители местных адыгских племен, которых русские называли касогами. Правители Тьмуторокани должны были ощущать себя не столько русскими князьями, сколько наследниками более древней власти хазарских каганов — а этот титул в дипломатической практике того времени стоял значительно выше княжеского и едва ли не приравнивался к императорскому. (Не случайно каганами именовали себя и правители Киевской Руси — но именно исходя из факта обладания «Хазарией» — Тьмутороканью.)

Логика исторического процесса развела Ярослава и Мстислава по разным углам Киевского государства, на долгие десятилетия отделила друг от друга. Один правил на севере, в Новгороде, другой — на юге, за пределами собственно Руси. Они, конечно, ни на минуту не забывали о существовании друг друга, но пути их до времени не пересекались между собой. Однако та же логика исторического процесса с неизбежностью влекла их навстречу друг другу, чтобы в конце концов схлестнуть в непримиримом соперничестве: каждый из них утверждал свою власть над *частью* Руси — но по мере утверждения этой власти, к тому же сопряженного с жестокой борьбой со своими противниками, по мере расширения подвластной им территории неумолимо приближалось время их решающей схватки — за главенство уже над *всей* Русью.

Мы знаем, в каком состоянии и с какими силами подошел к этой схватке князь Ярослав. Теперь поговорим о его младшем брате — Мстиславе Тьмутороканском.

Подобно Ярославу, Мстислав получил княжение еще будучи ребенком. По-видимому, это произошло вскоре после 989 года — года завершения Корсунского похода его отца и Крещения Руси. Отдаленная и обособленная от остальной части Киевского государства Тьмуторокань давала княжичу больше возможностей для того, чтобы почувствовать себя самостоятельным правителем. В отличие от своих братьев, Мстислав не был избалован постоянным вниманием со стороны отца и не в такой степени, как они, ощущал на своем плече тяжесть отцовской длани. Он не поменял своего княжения по воле родителя, как это случилось с Ярославом, а

оставался тьмутороканским князем до тех пор, пока сам не пожелал большего. Он, наконец, с детства сумел проникнуться неповторимым духом этого удивительного города, столь не похожего на остальные русские города, и потому, наверное, сам не походил на прочих русских князей.

Из смутных известий византийских хроник можно предположить, что при Мстиславе в Тьмуторокани находился его старший родственник, некий Сфенг (или Сфенгос), которого византийцы (по-видимому, ошибочно) считали братом Владимира. Возможно, он исполнял роль «кормильца» («дядьки»-воспитателя) при малолетнем княжиче, а затем стал его воеводой. В таком случае, именно под руководством Сфенга Мстислав овладел всеми необходимыми князю воинскими навыками. Он рано возмужал, рано почувствовал вкус к войне, лично возглавил войско и вскоре прославился как один из лучших полководцев своего времени. В русскую историю он вошел как отчаянно храбрый и очень умелый и удачливый воитель, князь-рыцарь, человек долга, способный поставить на кон даже собственную жизнь, если того требовали обстоятельства. Более всего Мстислав должен был напоминать своего знаменитого деда — князя Святослава Храброго. Но, пожалуй, в личной доблести тьмутороканский князь даже превзошел его: в отличие от Святослава, он не избегал единоборства с самым опасным и подготовленным противником, если таким способом можно было решить исход войны. (Святослав же, напомним, в свое время отказался от подобного единоборства, предложенного ему императором Иоанном Цимисхием.)

Летописцы изображают Мстислава идеальным «дружинным» князем. «Был же Мстислав дебел телом (дороден. — *А. К.*), чермен (красен, румян. — *А. К.*) лицом, [с] большими глазами, храбр на рати, милостив, любил дружину без меры, не щадя для нее имения (добра. — *А. К.*) и в питье и еде не ограничивая», — читаем в «Повести временных лет»[1]. Летописцы XVI века добавляют к этому портрету еще несколько штрихов. «Был же Мстислав... волосами чермен, лицом светел, имел очи великие и брови возвышенные (приподнятые. — *А. К.*), и милостив к нищим и долготерпелив ко всем...» — сообщает автор Никоновской летописи. В Степенной книге царского родословия находим еще одну подробность: «...и святые книги сам прилежно почитал»[2]. Если это не домысел позднейшего книжника (что, в принципе, вполне возможно, ибо автор Степенной книги явно проявлял склонность к наделению русских князей, предков московских государей, всеми обязательными христианскими

добродетелями), то перед нами явление, не вполне обычное для начала XI века: князь Мстислав, оказывается, не только любил слушать божественные книги, но и сам читал их, то есть знал грамоту и был начитан. Книжники древней Руси называли его Храбрым (так, например, в знаменитом «Слове о полку Игореве») или Удалым (так в летописях XVI века — Никоновской и Степенной книге). Источники приводят еще одно прозвище тьмутороканского князя, на сей раз имеющее зловещий оттенок, — Лютый (то есть свирепый, неукротимый, жестокий). Так называл его автор Киево-Печерского патерика, и это прозвище, между прочим, заставляет нас лишний раз вспомнить о его деде Святославе — еще одном «лютом», по выражению современников, князе русской истории.

Христианское, крестильное имя князя Мстислава — Константин — называет единственный и к тому же очень поздний источник — так называемый Любечский синодик, некогда хранившийся в Антониевом Любецком монастыре (упраздненном в 1786 году). По-видимому, он был составлен в XVIII веке, но составитель — как это обыкновенно бывает с синодиками — использовал гораздо более древний оригинал; многие его известия, несомненно, восходят еще к домонгольскому времени. В этом же синодике, в «Помяннике благоверных великих князей черниговских, киевских и прочих», упомянута и супруга князя Мстислава-Константина — княгиня Анастасия[3]. Кем была эта женщина, мы не знаем. Знаем лишь, что у князя Мстислава имелся сын, известный нам лишь под своим крестильным именем — Евстафий.

Вообще же история Тьмутороканской Руси известна нам явно не достаточно. Русские и иностранные источники сохранили лишь отрывочные сведения об отдельных ее эпизодах. Зачастую (особенно когда речь идет о показаниях иностранных хроник) те или иные события приходится связывать с Тьмутороканью и тьмутороканскими князьями лишь предположительно. В частности, это касается участия тьмутороканского князя в событиях 1016 года, происходивших в Крыму. Знаменательно, однако, что это первое проявление внешнеполитической активности князя Мстислава Владимировича, о котором сохранились хотя бы косвенные свидетельства источников, совпадает по времени с началом междоусобицы в Русском государстве — сразу же после смерти отца князь Мстислав делает свой выбор: не ввязываясь в кровопролитную борьбу братьев за Киев (на который

он имел не меньше прав, чем другие Владимировичи), он прикладывает все силы для того, чтобы обезопасить от внешней угрозы свое собственное княжество и добиться наиболее благоприятных условий для его дальнейшего самостоятельного развития.

Сведения на этот счет содержатся в «Хронике» византийского историка второй половины XI века Иоанна Скилицы. В январе 1016 года, рассказывает он, император Василий II вернулся в Константинополь из болгарского похода, во время которого было подавлено восстание болгар в крепости Водена. (После чудовищной расправы над болгарами летом 1014 года, в ходе которой император приказал ослепить 15 тысяч пленников, и последовавшей в октябре того же года смерти болгарского царя Самуила исход многолетней войны между Византией и Болгарией был предрешен, хотя болгары продолжали сопротивление в течение еще четырех лет. Жестокость Василия принесла ему не только власть над Болгарией, но и зловещее прозвище Булгароктон, то есть Болгаробойца.) К этому времени Империя и правящие в ней императоры-соправители Василий и Константин, что называется, прочно стояли на ногах: им сопутствовал успех в военных предприятиях как на западе, так и на востоке; мятежи, потрясавшие до основания Византию в начале их правления, теперь вспыхивали все реже и к тому же без труда подавлялись центральной властью. Один из таких мятежей, начавшийся как раз во время болгарской кампании императора Василия, поразил Крым, восточную часть которого византийцы именовали «Хазарией». Во главе восстания стоял некий архонт Георгий Цула.

«В январе 6524 (1016) года, — пишет Скилица, — [император] посылает флот в Хазарию, имеющий экзархом (руководителем. — *А. К.*) Монга*, сына дуки Андроника Лида, и при содействии Сфенга, брата Владимира — зятя василевса, подчинил страну, так как ее архонт Георгий Цула был схвачен при первом нападении». Согласно сообщению византийского хрониста, император Василий обратился с просьбой о помощи еще к самому князю Владимиру, однако сумел приступить к подавлению мятежа лишь полгода спустя после его смерти[4] .

Загадочная личность «архонта Хазарии», а также смысл происходивших в Крыму событий могут быть отчасти прояснены благодаря нескольким сохранившимся печатям Ге-

* В одной из рукописей Скилицы приводится и личное имя Монга (или Мунга) — Варда.

оргия Цулы, в которых тот именуется то «императорским протоспафарием и стратигом Херсона», то просто «спафарием Херсона», то «протоспафарием Боспора (Керчи. — *А. К.*)», то, предположительно, «кастрофилаксом» (последняя печать и надпись на ней уцелели лишь фрагментарно). Столь разнообразная титулатура, отразившаяся в печатях, дает исследователям возможность проследить некоторые ступени политической карьеры этого, несомненно, незаурядного человека[5].

Полагают, что Георгий Цула был по происхождению хазарином, представителем местного хазарского аристократического рода. Он находился на императорской службе и, по-видимому, достиг на ней титула спафария. В XI веке этот прежде придворный титул значительно обесценился и приобрел расплывчатое, неопределенное значение; его стали носить люди самого разного звания, в том числе и не имевшие никакого отношения к государственной службе. В Херсонесе Цула, по-видимому, возглавлял ту часть местного военного гарнизона, которая набиралась самими горожанами, а не стратигом (то есть наместником) Херсонеса. При каких обстоятельствах Цула стал стратигом Херсонеса, неизвестно. Но вряд ли это могло произойти с согласия Константинополя. Дело в том, что еще византийский император и писатель Константин Багрянородный в своем знаменитом трактате «Об управлении Империей» (середина X века) особо оговаривал необходимость назначения на должность стратига этого главного города византийского Крыма непременно кого-то из числа столичных чиновников, а не представителя местной знати; тем более не могло быть и речи о назначении на столь важную и ответственную должность невизантийца. Очевидно, делают вывод исследователи, около 1014—1015 годов или даже раньше в Херсонесе произошел политический переворот, в результате которого власть оказалась в руках горожан. Именно это обстоятельство и вынудило императора отправить войска в Крым[6].

Волнения, по-видимому, охватили всю византийскую часть полуострова. Ко времени экспедиции Монга «архонт» Цула, надо думать, уже покинул Херсонес и перебрался в Киммерийский Боспор — город на берегу Керченского пролива (нынешнюю Керчь), где получил или захватил силой титул «протоспафария» города, то есть в данном случае — по аналогии с его положением в Херсонесе — правителя Боспора. Этим и объясняется тот факт, что византийская эскадра направилась не к Херсонесу, а к берегам «Хазарии» — то есть восточного Крыма[7].

Разумеется, появление в Керчи независимого хазарского правителя, вышедшего из повиновения Константинополю, не могло не встревожить тьмутороканского князя. Керчь и Тьмуторокань разделяла лишь узкая полоса Керченского пролива; исторически оба города тяготели друг к другу и не так давно вместе входили в состав Хазарского каганата. Для Мстислава, выступавшего, в том числе, и в качестве правителя хазар, перспектива возникновения у самых границ его княжества, на месте прежнего центра хазарских владений в Крыму, еще одного «Хазарского» (или, по крайней мере, управляемого хазарином) государства представляла серьезную угрозу. Поэтому русский князь поспешил оказать свою помощь в подавлении мятежа[8].

Но кто такой Сфенг, стоявший во главе русских войск? Имя его более в источниках не упоминается. Скилица считал его братом князя Владимира Святославича, однако из летописей мы знаем, что у Владимира ко времени кончины уже не оставалось живых братьев. И все же указание на столь близкую степень родства (а значит, и на родство с самим императором ромеев!) едва ли могло быть случайной ошибкой. По-видимому, этот человек, и в самом деле, принадлежал к княжескому роду. В литературе высказывалось предположение, согласно которому под именем Сфенг скрывается сам князь Мстислав Владимирович, сын (а не брат) Владимира Святого[9]. В принципе, это не исключено, но в то же время совсем не обязательно. Очевидно, что мы знаем по именам далеко не всех представителей княжеской династии древней Руси; следовательно, вполне можно допустить, что какой-то из родственников Владимира, неизвестный летописи, находился в Тьмуторокани при его сыне или бежал сюда, когда в Поднепровье началась братоубийственная война.

Итак, ликвидация мятежа Георгия Цулы была явно в интересах Тьмуторокани. Совместные действия византийцев и русских оказались успешными: уже в первом столкновении с мятежниками их вождь был захвачен в плен, а контролируемая ими территория подчинена. Между прочим, последующая судьба восточной части полуострова («Хазарии») остается не вполне ясной. Судя по известию Скилицы и печатям Цулы, ко времени борьбы с мятежниками Киммерийский Боспор (Керчь) принадлежал Византии — но половину столетия спустя, в 1068 году, Керчь (Корчев) определенно входила в состав Тьмутороканского княжества (об этом свидетельствует надпись на знаменитом Тьмутороканском камне об измерении по льду ширины Керченского

пролива князем Глебом Святославичем). Когда же Керчь стала русской? Ответ на этот вопрос мы не знаем. Заманчиво было бы предположить, что передача Керчи тьмутороканскому князю стала одним из условий заключения союза между ним и императором в январе 1016 года. Но даже если это не так, очевидно, что византийская политика Мстислава Владимировича вела к расширению русского влияния в Крыму.

Еще более успешной оказалась восточная политика Мстислава. Летописи датируют его поход на касогов (предков нынешних адыгских народов Северного Кавказа — кабардинцев, черкесов, адыгейцев) 1022 годом, хотя историки полагают, что дата эта достаточно условна и на самом деле касожская война имела место раньше, скорее всего, во второй половине 10-х годов XI века[10].

Касоги, жившие как в самой Тьмуторокани, так и на обширных пространствах Прикубанья, до самых Кавказских гор, были побеждены еще князем Святославом во время его знаменитого восточного похода в 60-е годы X века и с того времени, вероятно, считались данниками тьмутороканского князя, как прежде были данниками правителя Хазарии. Княживший в Тьмуторокани Мстислав номинально являлся главой, по крайней мере, части касогов, живших в пределах его княжества. Однако со времен Святослава в Предкавказье многое изменилось. После смерти Святослава русское влияние в Тьмуторокани, по-видимому, сошло на нет и было восстановлено только после хазарской войны князя Владимира Святославича (985 год). В свою очередь, адыгские племена были объединены под властью собственного правителя, для которого Тьмуторокань оставалась, прежде всего, касожским городом, потенциальным центром его собственных владений. «Объективно обусловленный процесс зарождения адыгской государственности, — пишет современный исследователь этнической истории Северного Кавказа, — ставил вопрос о слиянии адыгского объединения и Тмутаракани», причем процесс этот мог пойти по одному из двух возможных путей: либо правитель Тьмуторокани должен был подчинить себе Касожскую землю, либо последняя поглотила бы Тьмуторокань и включила ее в состав своего собственного зарождающегося государства. Шире вопрос стоял о гегемонии на Северо-Западном Кавказе, разделе наследства бывшего Хазарского каганата и контроле над главной артерией, связывавшей Северный Кавказ с Малой Азией и

Средиземноморьем, каковой являлся город на Таманском полуострове[11].

Русские летописи сохранили имя касожского «князя», противника Мстислава, — Редедя. Это был в полном смысле слова богатырь, отличавшийся исключительной физической силой и мощью: «бе бо велик и силен», по выражению летописца. Как и во всех предгосударственных и раннегосударственных обществах, фигура правителя наделялась у адыгов сверхъестественными, сакральными (то есть священными) чертами: его собственные сила и здоровье олицетворяли силу и могущество всего касожского рода; напротив, его неудачи и поражения самым непосредственным и неблагоприятным образом сказывались на судьбе всех его подданных. Физическая мощь Редеди должна была внушать его соплеменникам веру в успех предстоящей войны. Но Мстислав не уступал ему удалью и отвагой; русскому князю было что противопоставить касожскому богатырю.

«В те же времена, — рассказывает «Повесть временных лет», — Мстислав был в Тьмуторокани и пошел на касогов. Услышав же о том, князь касожский Редедя вышел против него. И встали оба полка друг против друга, и сказал Редедя Мстиславу: "Что ради станем губить дружину между собою? Но сойдемся бороться. И если ты одолеешь, то возьмешь имение мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое всё". И отвечал Мстислав: "Так будет". И съехались, и сказал Редедя Мстиславу: "Не оружием будем биться, но борьбою (то есть голыми руками. — *А. К.*)"».

Это был старый обычай, свойственный еще родоплеменному обществу, когда в единоборстве двух вождей решалась судьба враждующих племен. Это был и наиболее естественный, идущий из глубины веков способ передачи власти от одного вождя другому — сильнейший получал все: власть, имущество, жену, детей побежденного. Мстислав принял вызов. Русский князь (а может быть, летописец, оставивший нам описание поединка) вкладывал и другой смысл в единоборство: это был еще и Божий суд, и христианский Бог должен был помочь своему чаду в схватке с варваром*.

---

* В «Истории Российской» В. Н. Татищева приготовления Мстислава к поединку описываются весьма пространно: «Мстислав, яко не был легкомыслен, взял себе на разсуждение до утра и хотел к нему отповедь прислать. И хотя ведал Редедю сильна, но сам вельми надеяся на умение и силу, зане его измлада никто побороть не мог. Поутру рано послал к Редеде, чтоб вышел в назначенное место, и сам пошел, яко положено без оружиа...»[12]

Летопись сохранила яркое описание самого единоборства двух князей:

«И схватились бороться крепко, и долго боролись, и начал изнемогать Мстислав, потому что велик и силен был Редедя. И сказал Мстислав: "О Пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею его, воздвигну церковь во имя Твое!". И, сказав так, ударил им о землю, и вынул нож, и зарезал Редедю».

Ипатьевский список «Повести временных лет» прибавляет к этому некоторые кровавые подробности схватки: бросив своего противника оземь, Мстислав «вынул нож, ударил его ножом в гортань (в Хлебниковском списке: «в горло». — *А. К.*), и так был зарезан Редедя»[13].

Жестокость Мстислава была вполне оправдана обычаем: поверженный враг должен был умереть, пролив кровь. Подобные поединки, отмечает современный исследователь, во многом носили ритуальный характер, и ритуал их был тщательно разработан и строго соблюдался. Мы можем судить об этом по былинам. Вот как, например, — очень похоже на летопись — описывается поединок былинного Ильи Муромца со своим противником Сокольничком (оказавшимся нежданно-негаданно его сыном):

...Ухватились они да там в охабочку.
Они бились, дрались да целы суточки.
А-де старóму похвально да слово встретилось,
А лева рука да проказнулась,
А-де упал старóй да на сыру землю,
Где взмолилсе старóй да Богородице:
«А я за вас стою, да я за вас борюсь,
А я стою-борюсь за верушку Христовою...»

...А тут не ветер полосочкой возмахивает —
У старóго силы вдвое да тут поприбыло.
Ухватил он Сокольника за подпазухи
И бросил его на сыру землю.
Он вытащил ножичок булатныей,
Возорвал его латы железные,
А хотел он резать да груди черные,
А смотреть да его ретивó сердце[14] .

Также и Мстислав выхватил нож только после того, как враг его был повержен на землю.

Русское войско беспрепятственно вступило в Касожскую землю. По обычаю и по договоренности перед началом схватки, к тому же произнесенной во всеуслышание, на виду у обоих полков, победителю доставалось все — имущество побежденного, его жена, дети[15], а также та часть Касожской земли, которая принадлежала лично Редеде. На осталь-

ные касожские земли была наложена дань, касожское войско вошло в состав дружины Мстислава.

Так князь Мстислав стал правителем касогов и — через кровь, пролитую Редедей, — породнился с правящим в Касогии родом. А земля, доставшаяся ему во владение, славилась во всем тогдашнем мире своим богатством, а также храбростью, красотой и искусностью своих жителей. «Среди племен этих мест, — писал о «кашаках» (касогах) в середине X века знаменитый арабский географ и историк Масуди, — нет народа более изысканной наружности, с более чистыми лицами, нет более красивых мужчин и более прекрасных женщин, более стройных, более тонких в поясе, с более выпуклой линией бедер и ягодиц, и вообще нет народа лучшей внешности, чем этот. Наедине их женщины, как описывают, отличаются сладостностью». (И эта слава осталась поистине на века. Как не вспомнить тут вдохновенные строки русских писателей и поэтов, восхищавшихся красотой женщин-горянок в XIX веке. «Нет, не черкешенка она...» — это ведь тоже о девах касожского племени, красота которых представлялась неким эталоном Александру Сергеевичу Пушкину, жившему на тысячу лет позже, чем цитируемый нами арабский автор.) «Они одеваются в белое, — продолжал далее Масуди, — в румскую (то есть византийскую. — *А. К.*) парчу, в ярко-алую ткань и в различные парчовые ткани, затканные золотом». Эти ткани, производимые в их стране, ценились в странах ислама много дороже всех прочих[16].

Пожалуй, в многовековой и кровавой истории русско-кавказского противостояния эта война оказалась самой бескровной и притом едва ли не самой успешной. Никто из последующих покорителей Кавказа и не подумал последовать примеру Мстислава, что, впрочем, неудивительно: изменились времена, изменились обычаи и традиции (прежде всего, на Руси, но не на Кавказе). Правда, справедливости ради, отметим, что подчинение касогов русскому князю продолжалось, по-видимому, до тех пор, пока победитель Редеди был жив. Преемнику Мстислава — в случае, если бы он пожелал возобновить свои права на касожские земли, — надлежало подтверждать их личным примером, но Ярослав (унаследовавший власть брата), разумеется, не мог, да и не хотел пойти на это. Впоследствии касоги были вновь подчинены тьмутороканским князем — Ростиславом Владимировичем, внуком Ярослава Мудрого, но при каких обстоятельствах это произошло, мы не знаем.

В отказе касогов с оружием в руках защищать свою свободу не было и тени трусости или раболепства. (Как и про-

чие горские народы, касоги отличались особой гордостью. По словам Масуди, даже само их имя означало в персидском языке гордость и высокомерие.) Они исполняли многовековой обычай и признавали своим князем более сильного и более удачливого воина, одержавшего победу в честном поединке, и теперь его сила и удачливость — как прежде сила и удачливость могучего Редеди — защищали их и олицетворяли их собственную силу. Да и Мстислав воспринял своих новых подданных отнюдь не как рабов или слуг, но как в полной мере *своих* людей; как мы увидим, именно касоги (наряду с хазарами) составят основу его войска, главную ударную силу его дружины, и он будет заботиться о них и покровительствовать им не меньше, а даже больше, чем своим русским дружинникам. Отныне и без малого на целое столетие тьмутороканский князь — по крайней мере, формально — станет правителем «хазаров и касогов», а не одних только русских, и его официальный титул (в греческой передаче) будет звучать так: «архонт (правитель. — *А. К.*) Матрахи, Зихии и всей Хазарии»[17], где «Матраха» — греческое название Тьмутороканн, а Зихия — греческое же название страны касогов.

Подвиг князя Мстислава Тьмутороканского, беспримерный в истории древней Руси, был воспет дружинными певцами, и самым известным из них — легендарным Бояном, имя которого донесло до нас бессмертное «Слово о полку Игореве». Современник Мстислава и «старого Ярослава» (то есть Ярослава Мудрого), а также сыновей и внуков последнего, «вещий» Боян вспоминал и «первые времена усобицы» и пел песнь «храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред пълкы Касожьскыми»[18]. Полагают, что именно песнь Бояна, исполнявшаяся на княжеских пирах перед князьями и их дружиной, могла послужить одним из источников летописного рассказа[19].

(Имя же касожского князя Редеди пытались отыскать в кабардинских преданиях и легендах. Так, еще в начале XIX века кабардинский просветитель, историк и поэт Шора Бекмурза Ногмов опубликовал в своей «Истории адыхейского народа» некое сказание, обнаружившее удивительное сходство с русской летописью. В нем — точно так же, как в летописи, — рассказывалось о единоборстве неизвестного по имени «князя Тамтаракая» (Тьмутороканн) с адыгейским богатырем, великаном Редедей, участником похода на Тамтаракай адыгейского князя Идара. «Чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, — обращался будто бы к своему противнику Реде-

дя, — одолей меня и возьми все, что имею». В полном соответствии с летописью сообщалось здесь и о гибели Редеди и поражении адыгов: «Происшествие это прекратило войну, и адыхейцы возвратились в отечество, более сожалея о потере лучшего воина, чем о неудаче предприятия»[20].

Впоследствии предпринимались попытки отыскать следы этого сказания в кабардинском и черкесском фольклоре — в том числе и в тех местностях Кабарды, где записывал свои материалы Ногмов, однако все эти попытки закончились безуспешно[21]. Этот факт, а также слишком явная зависимость кабардинской легенды о Редеде от русской летописи заставляют исследователей усомниться в том, что предание, записанное Ногмовым, существовало в действительности; скорее всего, последний и является его автором[22] — напомним, что в начале XIX века практика создания подобных легенд, выдаваемых за народное творчество, была в Европе весьма распространенной.)

Возвратившись из Касожской земли в Тьмуторокань, князь Мстислав исполнил и другой свой обет — тот, который дал во время самого поединка: возвести церковь во имя Пречистой Богородицы. Именно ее заступничеству он был обязан победой. «И придя к Тьмуторокани, — завершает свой рассказ о касожской войне Мстислава летописец, — заложил церковь Святой Богородицы и создал ее, и стоит она и до сего дня в Тьмуторокани».

Остатки этой небольшой по размерам церкви (точнее, остатки ее фундамента) были обнаружены археологами, работавшими на месте древней Тьмуторокани[23]. Церковь Пресвятой Богородицы стала главным храмом города; впоследствии возле нее появился монастырь. Любопытно, что в конце XI века в Киевской Руси, по-видимому, велись споры относительно времени строительства и авторства тьмутороканского храма. Так, в Киевском Печерском монастыре были убеждены, что церковь построил будущий печерский игумен Никон[24], живший в Тьмуторокани в 60-е и 70-е годы XI века, когда здесь княжили потомки Ярослава Мудрого.

Между тем Мстислав отнюдь не забывал и о своих правах на русский престол. Победа в касожской войне значительно усилила его, прежде всего в военном отношении. Как мы уже говорили, хазары и касоги составили основу его войска. Решив «хазарскую» и «касожскую» проблемы, тьмутороканский князь вплотную подступил к разрешению своей третьей (исходя из этнического состава его государства) задачи — «русской». По сути дела, он находился приблизи-

тельно в таком же положении, как и накануне войны с Редедей: будучи правителем части Руси, он был не прочь подчинить себе и всю Русь. По-видимому, Мстислав рассуждал вполне здраво: рано или поздно установивший власть почти над всей Русью Ярослав должен был обратить внимание и на его княжество и попытаться овладеть им.

Летописи датируют начало войны между Мстиславом и Ярославом 6531 (1023) годом: «Поиде Мстислав на Ярослава с козары и с касогы» — читаем в «Повести временных лет» под этим годом. Но о самом походе летописи сообщают уже под следующим, 6532 (1024) годом, так что историкам остается гадать, выбирая любую из названных летописцем дат. (Ведь не мог же Мстислав в самом деле двигаться с войском из Тьмуторокани к Киеву целый год.) Возможно, некоторый свет на события проливает уникальная информация, сохранившаяся в «Истории Российской» В. Н. Татищева. Под 1023 годом здесь сообщается не о начале войны между братьями, а об их переговорах друг с другом и о приготовлениях Мстислава к предстоящей войне:

«Мстислав посылал к Ярославу, прося у него части в прибавок из уделов братних, которые он завладел. И дал ему Ярослав Муром, чем Мстислав не хотя быть доволен, начал войско готовить на Ярослава, собрав своих, а к тому козар и косог присовокупя, ожидал удобнаго времяни». И лишь на следующий год, узнав, что Ярослав, «не чая от Мстислава нападения, поехал в Новград», Мстислав со своим русско-хазарско-касожским войском выступил против него[25].

Мы не знаем, насколько можно доверять известию Татищева. В принципе, претензии Мстислава к брату, как их излагает историк XVIII столетия, были совершенно справедливы: Мстислав как Владимирович имел на русские земли такие же права, как и Ярослав, и потому был вправе потребовать себе часть прежнего государства своего отца и прежних уделов своих братьев. Оправданной выглядит и позиция Ярослава: он оказывается готов уступить младшему брату часть своих земель — мы помним, что такой способ разрешения конфликта был для него привычен. Но почему именно Муром? Город, в котором прежде княжил князь Глеб Владимирович и который по своей удаленности от основных центров Руси едва ли мог заинтересовать тьмутороканского князя? Правда, Муром на реке Оке служил важнейшим торговым центром, связывавшим древнюю Русь с Волжской Болгарией и — через нее — с другими восточными страна-

ми, и к тому же являлся одним из княжеских центров, выделенных в княжение своим сыновьям самим Владимиром. Но все же трудно объяснить выбор этого города в качестве предмета торга между двумя князьями. Может быть, зная о том, что Муром впоследствии принадлежал черниговским князьям, кто-то из книжников позднейшего времени решил «упредить» события и объяснить этот факт особым соглашением, заключенным между Ярославом и Мстиславом еще до начала войны между ними?

Так или иначе, но уступка одного города (если она имела место в действительности) не привела к миру. Из летописи следует, что Мстислав выступил против своего брата, когда тот отсутствовал в Киеве. Очевидно, он и в самом деле внимательно следил за развитием событий в Поднепровье и сумел выбрать наиболее подходящий момент для начала военных действий. Как мы помним, в 1024 году Ярослав, согласно летописи, отправился из Новгорода в Суздальскую землю. Можно полагать, что именно тогда Мстислав и попытался внезапным ударом овладеть стольным городом Руси.

Летописи очень кратко, без каких-либо подробностей сообщают об этом военном предприятии, которому суждено было стать одним из поворотных событий всего XI века. А между тем поход князя Мстислава на Киев завершился самым неожиданным образом: «Ярослав был в Новгороде; пришел Мстислав из Тьмуторокани к Киеву, и не приняли его киевляне; он же, пойдя, сел на столе в Чернигове...»

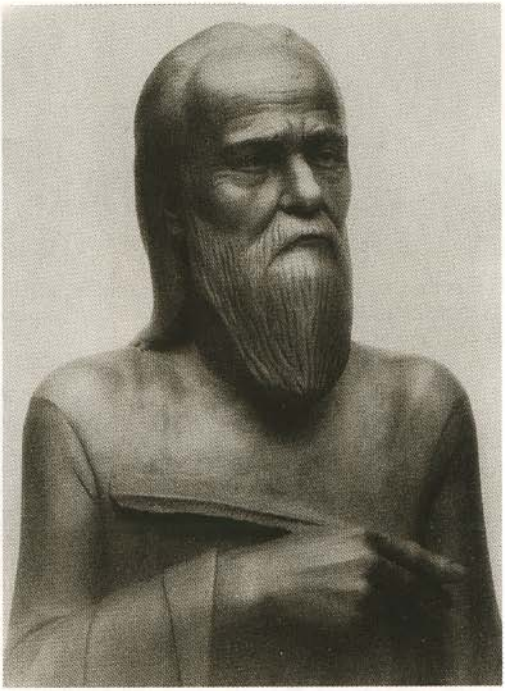
Причина, по которой киевляне отказались принять тьмутороканского князя, кажется, вполне очевидной. Хотя Мстислав и был сыном Владимира, он пришел в Киев как чужак, приведя с собой чужеземное, враждебное войско, в котором преобладали хазары и касоги. Киев еще помнил те времена, когда сам был частью Хазарского каганата, помнил и походы против хазар и касогов князя Святослава. Мстислав, казалось, поворачивал время вспять — его попытка утверждения в Киеве грозила реставрацией прежнего Хазарского каганата, правда, уже с новой столицей, с новыми границами, новой — христианской — верой и новым князем (или, если угодно, каганом) во главе. Киевляне, очевидно, не были готовы к такому повороту событий и потому однозначно выразили свою верность Ярославу.

По-видимому, была и еще одна причина, которая отталкивала от тьмутороканского князя киевлян, и крылась она в личных качествах Мстислава. Милостивый и щедрый к своей дружине, он, кажется, отличался совсем другими качествами по отношению к остальным своим подданным — за

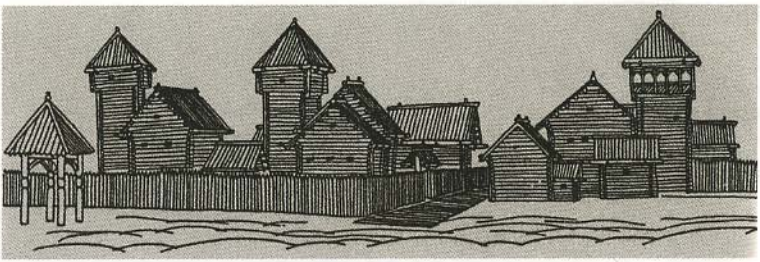
Великий князь Ярослав Владимирович. Портрет из «Титулярника» 1672 г. *(Российский государственный архив древних актов).*

Начальный лист Лаврентьевской летописи: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начал первым княжить и откуда Русская земля стала есть…».

Нестор Летописец. *Реконструкция С. А. Никитина по подлинным останкам святого.*



Книжники великого князя Ярослава Мудрого. Миниатюра Радзивиловской летописи. *XV в.*



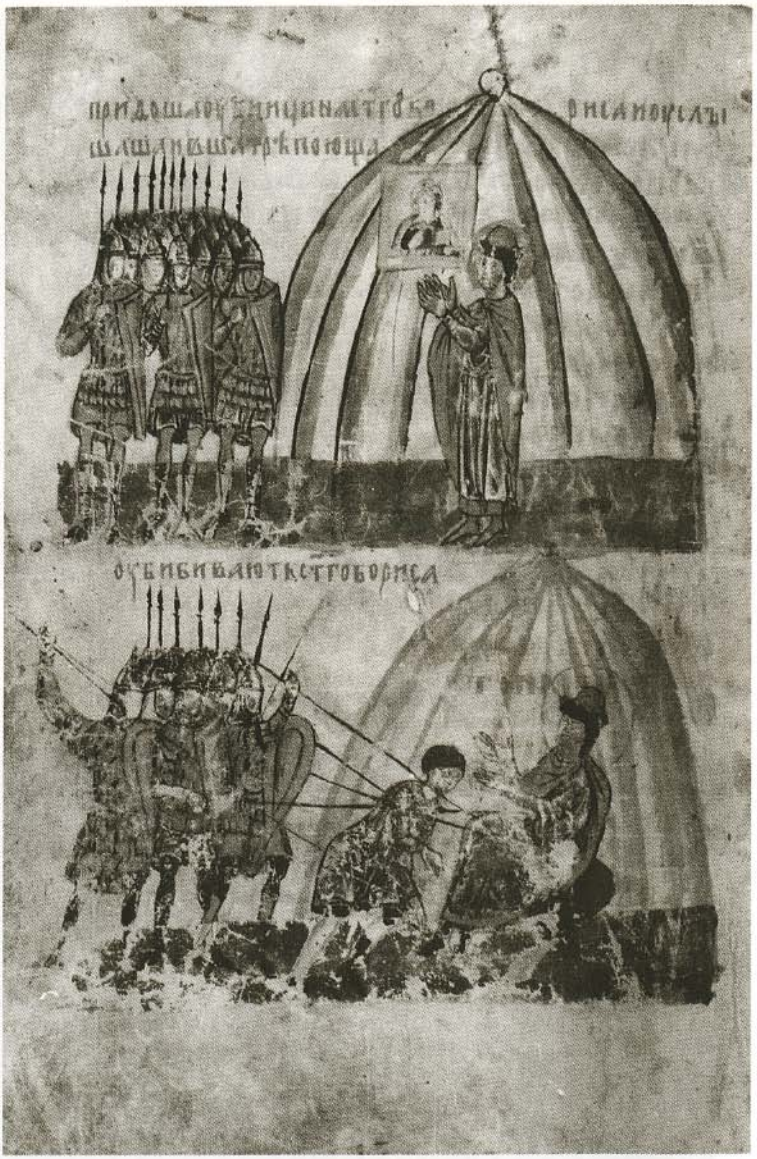
Новгород. Застройка участка Великой улицы середины X в. (Неревский конец). *Реконструкция Г. В. Борисевича, П. И. Засурцева, В. П. Тюрина, Г. П. Чистякова.*

Печать князя Ярослава Владимировича. Лицевая ► сторона с изображением князя. Внизу: прорись.

Печать князя Святополка Ярополчича ► (Владимировича). Лицевая сторона с изображением князя. Внизу: прорись.

Охота на медведя. Фреска северной башни Киевского Софийского собора. *XI в.*

Погребение князя Владимира Святославича.
Миниатюра Радзивиловской летописи.

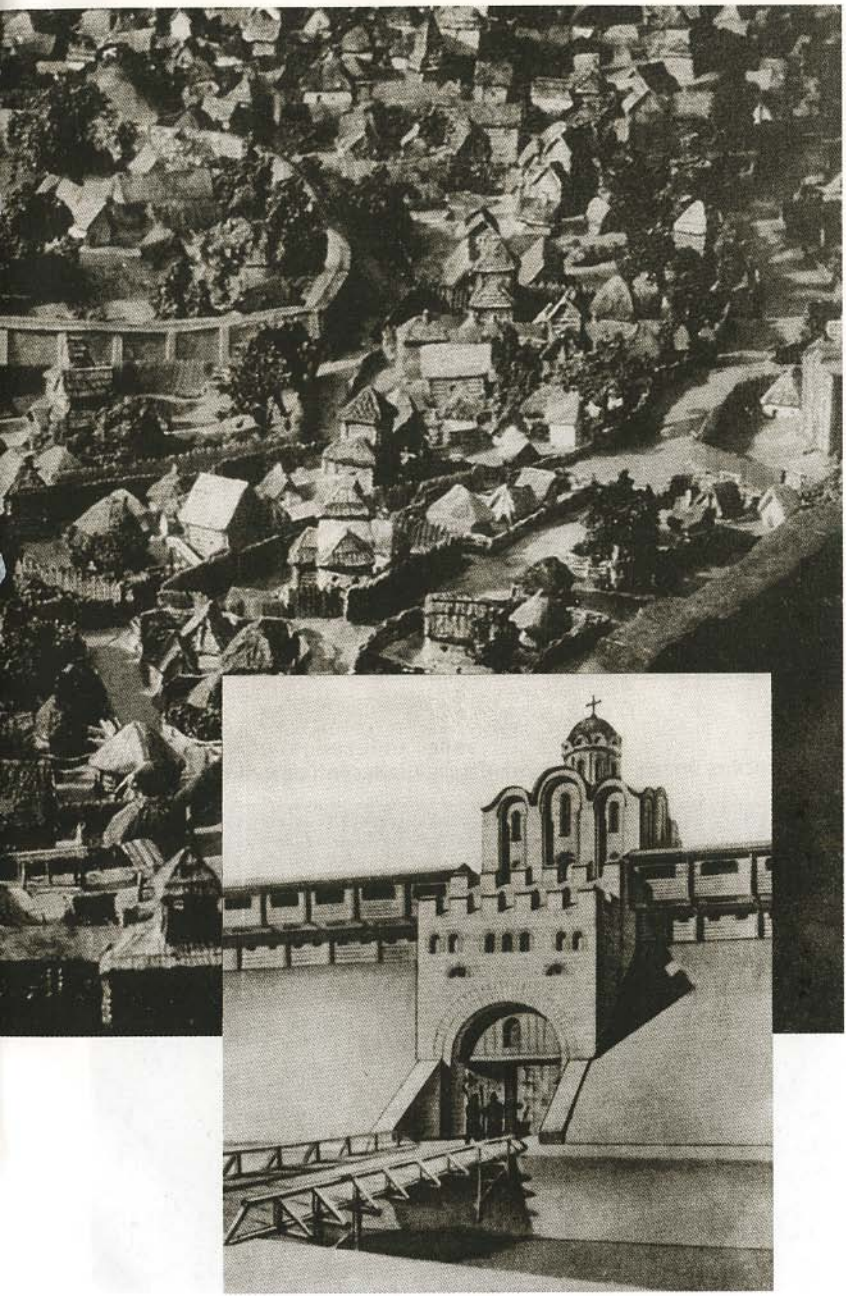


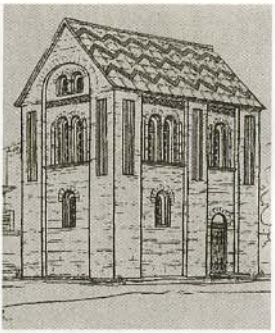
Убийство святого Бориса. Миниатюра «Сказания о святых Борисе и Глебе» из Сильвестровского сборника. *XIV в.* Вверху: «Придоша убиици на святаго Бориса и услышаша и в шатре поюща». Внизу: «Убивають святаго Бориса».

«Убиици Борисове поведаша Святополку убивши Бориса». Миниатюра «Сказания о святых Борисе и Глебе» из Сильвестровского сборника.

Начало княжения Ярослава в Киеве.
Миниатюра Радзивиловской летописи.

Киевский детинец. *Фрагмент макета. Автор Д. П. Мазюкевич.*
Внизу справа: Золотые ворота «города Ярослава».
Реконструкция С. А. Высоцкого.





Княжеский терем XI в. близ Спасского собора в Чернигове. *Реконструкция Н. В. Холостенко.*

Спасо-Преображенский собор в Чернигове. *Современный вид.*

Лиственская битва. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Софийский собор
в Киеве.
Современный вид.

Строительство «города Ярослава».
Миниатюра Радзивиловской летописи.

Киевский Софийский собор в XI в. *Реконструкция Н. Кресального, В. Волкова и Ю. Асеева.*

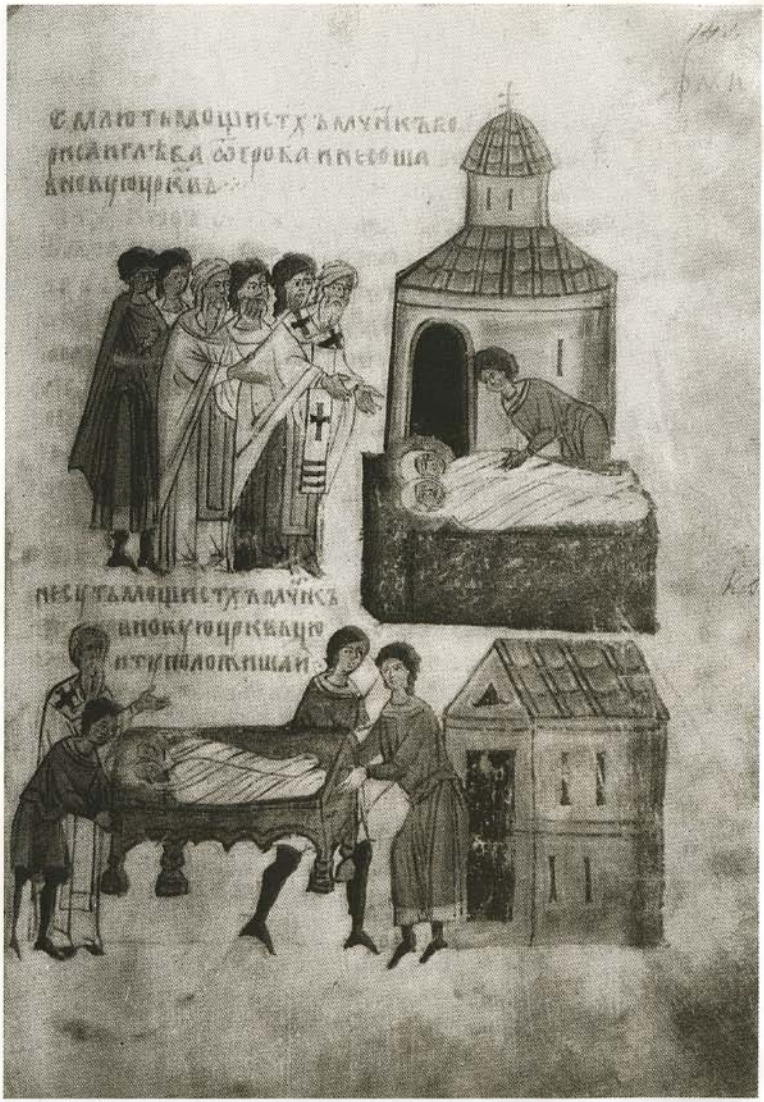
Победа русских над печенегами у стен Киева в 1036 г. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Образ Божией Матери Оранта («Нерушимая стена»).
Мозаика Киевского Софийского собора. *XI в.*

Портрет семьи Ярослава Мудрого. Часть ктиторской фрески Софийского собора (южная стена центрального нефа собора). Предположительно, изображение дочерей (или сыновей?) Ярослава Мудрого. Вверху: две правые фигуры композиции.

Ктиторская фреска ► Софийского собора (портрет семьи Ярослава Мудрого). *Копия с рисунка А. ван Вестерфельда 1651 г.*

Портрет семьи Ярослава Мудрого. Часть ктиторской фрески Софийского собора (северная стена центрального нефа собора). Предположительно, изображение сыновей (или дочерей?) Ярослава Мудрого. Хорошо видны три слоя росписи собора. Уцелевшие фрагменты росписи XI в. — внизу справа.



Перенесение мощей святых Бориса и Глеба в малую церковь при князе Ярославе Владимировиче. Миниатюра «Сказания о святых Борисе и Глебе» из Сильвестровского сборника. Вверху: «Емлють мощи святыхъ мученикъ Бориса и Глеба от гроба и несоша в новую церковь». Внизу: «Несуть мощи святыхъ мученикъ в новую церковьцю и ту положиша их».

что и заслужил прозвище Лютый. (Напомним, что встречается оно именно в киевском по происхождению источнике.) Но для нас важно отметить другое. Уже во второй или даже в третий раз — без всяких видимых усилий со своей стороны — Ярослав получал полную поддержку со стороны своих подданных, отвергавших ради него других, враждебных ему претендентов на власть. Конечно, явления такого рода нельзя мерить мерками сегодняшнего дня, ибо роль князя в те времена была одновременно и неизмеримо выше, и гораздо ограниченнее роли правителей нового времени; своего князя ценили прежде всего за то, что он *свой*, а не за какие-то его личные качества. И все же, наверное, было в Ярославе что-то такое, что заставляло жителей подвластных ему земель предпочитать его иным князьям.

И Мстислав уступил, подчинившись не силе, но ясно выраженной воле киевлян. Для древней Руси это было явлением если и не вполне обычным, то, во всяком случае, не уникальным. Вспомним, что точно так же в свое время отказался биться за Киев отвергнутый киевлянами князь Борис Владимирович. Спустя несколько десятилетий добровольно откажется от киевского престола и внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах, уступивший Киев своему двоюродному брату Святополку Изяславичу. Знает подобные примеры и история Московской Руси. Так, например, в 1433 году князь Юрий Дмитриевич Звенигородский и Галичский, уже занявший Москву и изгнавший из нее своего поверженного племянника Василия II (будущего Василия Темного), столкнется с глухой неприязнью к себе со стороны москвичей и, «видя, яко непрочно ему седение на великом княжении», добровольно уйдет из Москвы в свой Галич. Конечно, в этом нельзя не увидеть проявления особого склада характера всех названных князей, их благородства, своего рода «рыцарства». Но присутствовало здесь, наверное, и другое: простой расчет, проявление здравого смысла, правильное понимание реалий жизни. В средневековом обществе взаимное согласие между князем и подданными, принятие ими взаимных обязательств значили очень многое — нарушение или изначальное неприятие этих условий грозили смутой и междоусобной войной.

Отступив от Киева, Мстислав двинулся к Чернигову. Этот город на реке Десне, при впадении в нее речки Стрижень, был старым центром Северской (то есть населенной северянами) земли и одним из главных центров собственно Руси еще с IX века. В отличие от киевлян, черниговцы, по-видимому, охотно приняли тьмутороканского князя; во вся-

ком случае, о каком-либо сопротивлении с их стороны летописи ничего не сообщают, а спустя всего год мы увидим черниговцев сражающимися на стороне Мстислава против Ярослава. В Чернигове не было своего князя. Наделяя княжениями своих сыновей, Владимир не посадил сюда ни одного из них, что означало прямое подчинение Северской земли Киеву. Вокняжение Мстислава превращало Чернигов в княжеский, стольный город и значительно повышало его статус и статус всей Северской земли в политической системе Древнерусского государства. Следует учесть и еще одно обстоятельство. Как и Киев (но дольше, чем Киев), Чернигов и вся Северская земля входили в свое время в состав Хазарского каганата. Вероятно, черниговцы, в отличие от киевлян, предпочли признать права тьмутороканского князя («архонта всей Хазарии») на свой город. Недаром современные исследователи рассматривают создание государства Мстислава с центром в Чернигове как в какой-то степени «последнюю попытку реставрации каганата»[26].

Левобережная Русь, по-видимому, и прежде была теснее связана с Причерноморьем, Подоньем и Предкавказьем, нежели Правобережье. Теперь эти связи усилились еще больше за счет объединения Черниговской земли и Тьмутороканн в составе единого государства. (Черниговские князья удерживали Тьмуторокань до конца XI века.) В пределах Северской области осели и хазары и касоги, пришедшие сюда вместе с князем Мстиславом и растворившиеся со временем среди местного славянского населения. Память о них сохранилась в местной топонимике. Еще в XVII веке близ старинного русского города Рыльска на реке Сейм существовала целая «Касожская волость» — несомненное свидетельство пребывания здесь выходцев с Северо-Западного Кавказа[27].

Как мы уже предположили, известие о произошедших в Поднепровье событиях — приходе Мстислава к Киеву, его отступлении в Чернигов и утверждении в этом городе — князь Ярослав Владимирович получил в Суздальской земле. Вернувшись в Новгород, он должен был принять срочные меры для борьбы со своим новым противником. И Ярослав начал действовать по ставшему уже привычным сценарию — он вновь обратился за помощью к норманнам: «и... пришел к Новгороду, и послал за море, за варягами». Сложность его положения заключалась в том, что он не мог опереться на новгородцев, помощь которых оказалась спасительной для него в предыдущей войне со Святополком: после его расправы над Константином Добрыничем и разорения города

князем Брячиславом Полоцким новгородцы уже не смогли (или, может быть, не пожелали) поддержать князя. Во всяком случае, в состав Ярославова войска они, судя по показаниям источников, не вошли.

Между тем эти годы были не самыми простыми и для соседних с Русью скандинавских стран. Зимой 1021/22 года умер шведский конунг Олав Шётконунг, тесть и главный и наиболее могущественный союзник Ярослава[28]. Правителем Швеции стал его сын Энунд, известный также под своим христианским именем Якоб (Иаков), который последние два года считался соправителем своего отца. Но Энунду в то время было от силы тринадцать-четырнадцать лет, и он, конечно, уступал отцу в решительности и властности.

По мнению исследователей, приблизительно в те же годы, а именно в первой половине — середине 20-х годов XI века, князь Ярослав заключил торговое соглашение с норвежским конунгом Олавом Харальдссоном[29]. После смерти Олава Шётконунга, недоброжелателя Олава Норвежского, отношения последнего с правителями Швеции и Руси заметно улучшились. Олав Харальдссон стал еще одним союзником Ярослава, тем более что они приходились друг другу свояками, поскольку были женаты на родных сестрах. Но союз этот, хотя и оказался прочным, не мог принести скорых и ощутимых выгод русскому князю. Дело в том, что в 1023—1024 годах вновь обострилась внутриполитическая обстановка в Норвегии. Политика насильственной христианизации, которую в буквальном смысле слова «огнем и мечом» проводил Олав Святой, а также излишняя его жестокость по отношению к подданным вызывали все бóльшую неприязнь в стране. Более всего людей страшила беспощадность конунга, который за малейшее нарушение установленных им законов подвергал виновных смертной казни или калечил их, приказывая отрубить руку или ногу. Многие подданные Олава покидали его и устремлялись в Англию, к могущественному правителю Дании и Англии Кнуту Великому (или Кнуту Могучему), открыто заявлявшему о своем намерении восстановить былую власть датчан над Норвегией. К весне 1025 года Норвегия оказалась на пороге вторжения датчан и гражданской войны.

Впрочем, смуты или, по крайней мере, нестабильность в Швеции и Норвегии имели и положительную сторону для Ярослава. По-видимому, часть недовольных охотно откликнулась на его призывы. «Повесть временных лет» сообщает о приходе к русскому князю в Новгород значительного варяжского отряда, причем предводитель этого отряда описы-

вается в ней как человек совершенно необыкновенный. «И пришел Якун (в некоторых списках: Акун. — *А. К.*) с варягами, и был Якун *слеп*, и *луда* была у него золотом выткана, и пришел к Ярославу; и пошел Ярослав с Якуном на Мстислава»[30].

Указание летописца на слепого (!) предводителя наемной варяжской дружины показалось настолько неправдоподобным историкам, что еще в середине XIX столетия была предложена конъектура, принятая затем большинством исследователей: присутствующее во всех списках «Повести временных лет» (а также в других летописных сводах) слово «слеп» было предложено читать как «сь леп»: «и бе Якун сь леп», то есть «и был Якун сей красив»[31]. Эту «лепоту» варяжского наемника, по-видимому, и должна была подчеркнуть особо отмеченная летописцем деталь его одеяния: выткан-ная золотом луда, то есть плащ. Но слово «луда» имело еще одно значение: «маска»[32], а этот предмет экипировки скорее уместен для слепца. (Именно так понимал данный текст и В. Н. Татищев: «Оной был глазами слаб, — пишет он о Якуне, — для того имел завеску, золотом исткану, на глазех».) Автор же Тверской летописи сообщал, что «луда» Якуна была не выткана, а «вся золотом окована»[33], что, пожалуй, подходит для маски, но не подходит для плаща. Да и само построение реконструируемой историками фразы «...бе Якун сь леп» не вполне соответствует нормам древнерусского языка[34]. Указание на слепоту Якуна присутствует еще в одном древнем и очень авторитетном источнике — Патерике Киевского Печерского монастыря (см. ниже), правда, составитель его, по-видимому, пользовался летописью, так что теоретически речь может идти и об ошибке или описке, попавшей в текст «Повести временных лет» уже к тому времени, когда составлялся Патерик (то есть к 20-м годам XIII века).

Итак, со слепотой или «лепотой» Якуна отнюдь не все ясно. Принимать предложенную исследователями поправку, по-видимому, можно, но вовсе не обязательно. Что же касается основного аргумента ее сторонников — а именно невозможности слепцу предводительствовать дружиной — то здесь необходимо иметь в виду следующее. Роль предводителя войска была, конечно, чрезвычайно велика, но в то же время в определенной степени она носила, если так можно выразиться, представительский характер. Право вести за собой людей должно было быть доказано — либо предшествующими победами, либо принадлежностью к определенному роду, прославившемуся такими победами в прошлом. И порой предшествующие заслуги вождя, его опыт, наконец его

имя, внушающее трепет врагам, могли значить больше, нежели его физическое состояние на данный момент. Истории известны случаи, когда слепец стоял во главе войска. Так, именно в те годы, о которых идет речь, на одном из тингов шведы выбрали предводителями своего войска братьев Фрейвида Глухого и Арнвида Слепого; последний «так плохо видел, что едва мог сражаться, хотя был очень храбр»[35]. (Отметим попутно, что слово «слепой» не обязательно обозначало полностью незрячего человека, но могло быть применимо и к слабовидящему.) В 1099 году злодейски ослепленный своими родичами князь Василько Теребовльский возглавлял вместе со своим братом Володарем войско в битве со Святополком Изяславичем на Рожне. Самый же яркий и самый известный пример дает нам история уже позднего Средневековья — я имею в виду знаменитого Яна Жижку, вождя чешских таборитов и одного из величайших полководцев Европы.

Кем был Якун Слепой (будем называть его тем именем, которое дают ему древнерусские источники) и откуда именно он явился к Ярославу, мы не знаем. Полагают, что русское Якун (или Акун) — это передача распространенного в Скандинавии имени Хакон. Историки неоднократно предпринимали попытки найти упоминания об этом Якуне-Хаконе в скандинавских источниках[36], но безуспешно: скандинавские саги, по-видимому, ничего не сообщают о его походе на Русь, равно как и умалчивают об участии скандинавских наемников в войне «конунга Ярицлейва» с князем Мстиславом[37]. Однако некоторые сведения об этом человеке и его роде, а также об обстоятельствах, при которых родичи Якуна оказались на службе у князя Ярослава Владимировича, сохранились в Патерике Киевского Печерского монастыря, а именно в открывающем Патерик Слове о создании великой Печерской церкви, написанном епископом Владимиро-Суздальским Симоном (1214—1226)[38].

«Был в земле Варяжской князь Африкан, брат Якуна Слепого, — пишет Симон, — ...и у того Африкана было два сына — Фриand и Шимон[39]. По смерти же отца их изгнал Якун обоих братьев из области их». Шимон позднее также пришел к князю Ярославу, и Ярослав принял его на службу, «держал в чести», а затем передал в качестве «дядьки»-наставника своему сыну Всеволоду (родившемуся в 1030 году). Впоследствии этот Шимон был обращен игуменом Киево-Печерским Феодосием из «латинской ереси» в православие и наречен новым именем — Симон (по-видимому, русское произношение прежнего имени Шимон). Сын Шимона, ты-

сяцкий Георгий, был боярином сына Всеволода князя Владимира Мономаха; когда Мономах отправил в Суздальскую землю своего сына Юрия (будущего Юрия Долгорукого), то в качестве «дядьки» выбрал для него именно Георгия Шимоновича. Рассказ Патерика о варяге Шимоне показывает, между прочим, какой смысл вкладывает летопись в сообщения о «приходе» того или иного варяга на Русь: оказывается, подобные Шимону знатные переселенцы (варяжские «князья») являлись на Русь во главе целых толп своих единоплеменников. Так, «дом» Шимона (то есть его домочадцы: родственники, слуги, священники и т. д.) насчитывал на его новой родине до трех тысяч человек.

Как мы могли убедиться, появлению Шимона на Руси предшествовали какие-то драматические события на его прежней родине, в результате которых сам он и его брат Фриланд были обречены на изгнание. Их отец, «князь» (то есть конунг или, может быть, ярл) Африкан, владел к тому же огромным по меркам Скандинавии богатством. «Отец мой Африкан, — рассказывал сам Шимон основателю Печерской обители преподобному Антонию, — сделал крест и на нем изобразил богомужнее подобие Христа, написанное красками... как латиняне чтут, большого размера — в десять локтей. И воздавая честь ему, отец мой возложил на чресла его пояс весом в пятьдесят гривен золота, а на голову — венец золотой. Когда же изгнал меня Якун, дядя мой, из области моей, я взял пояс с Иисуса и венец с головы его...» (Впоследствии этот золотой пояс Шимон вручил преподобному Антонию: именно им было «размерено» основание Печерской церкви Успения Пресвятой Богородицы.) Якун был не менее могуществен, чем Африкан, хотя, может быть, и уступал брату богатством. И все же он — владетель значительной области — лично возглавил наемные войска, отправившиеся на Русь.

Возглавляемые Якуном варяги могли появиться в Новгороде не раньше конца весны 1024 года, когда открывалось судоходство на Балтийском море, а скорее, летом, ибо необходимо было время для того, чтобы посольство Ярослава достигло скандинавских берегов и призыв «конунга Хольмгарда» был услышан и обсужден на тингах. К концу лета или в начале осени наспех собранное войско выступило из Новгорода. Двигались, конечно, обычным, водным путем, соединявшим Новгород с Киевом и другими городами Поднепровья. Эта часть пути «из Варяг в Греки» была знакома Ярославу до мельчайших подробностей, до каждого волока, каждого изгиба реки; он знал, наверное, всех людей, жив-

ших на переволоках и в княжеских погостах, ибо не счесть, сколько раз он совершал плавание в ту или другую сторону — то спеша по каким-то важным делам в Новгород, то также спешно возвращаясь обратно в Киев, то предводительствуя ратью в очередной войне за власть. И каждый раз — во всяком случае, тогда, когда он, как сейчас, плыл во главе войска из Новгорода в Киев — ему неизбежно сопутствовала удача. Нет сомнений, что и на этот раз он надеялся на успех в войне.

Но странное зрелище должно было представлять это его новое войско. Не внешне — внешне как раз все выглядело как обычно. Но вдумаемся: дружиной предводительствовали *хромец* и *слепец* — едва ли отыщется сочетание менее подходящее для двух полководцев, рассчитывающих на победу.

...В древней Руси была широко известна притча о слепце и хромце. Она легла в основу знаменитого «Слова о слепце и хромце» (или «Притчи о человеческой душе и о теле») крупнейшего писателя домонгольской Руси епископа Кирилла Туровского (конец 60-х — 70-е годы XII века). Некогда, рассказывал Кирилл, один домовитый человек поставил на страже своего виноградника хромца и слепца. Но несчастные решили обмануть своего господина и украсть принадлежавшее ему добро: слепец взгромоздил своего товарища на плечи, а тот указывал ему дорогу. «Что же есть хромец и что слепец? Хромец есть тело человече, а слепец есть душа», ибо «тело без души хромо есть и не наречется человек, но труп». Но обман не удался; господин призвал их к ответу и сурово наказал обоих: и воссел, по повелению господина, хромец на слепца, и повелел господин их «пред всеми своими рабы немилостиво казнити в кромешней мученья темнице». Ибо не может одно лишь тело отвечать за все те грехи, которые совершает человек, вольно или невольно поддавшись искушениям плоти, но душа его, прежде всего, несет ответ пред Богом[40].

Правда, аллегория эта кажется не вполне подходящей для Ярослава и Якуна — ибо первый, хромец, несомненно, был душой всего предприятия; второго же, слепца, уместнее отождествить именно с телом: ведь это он, как вождь приведенной им дружины, обеспечивал физическую возможность ведения военных действий. Но отвечать за все совершенное — как и в притче Кирилла Туровского — предстояло им обоим...

Достигнув Любеча, где некогда поджидал его Святополк, Ярослав должен был замедлить свое продвижение. Надлежало решить: спускаться ли дальше по Днепру к Киеву, или же

двигаться напрямую к Чернигову, где находился Мстислав, также готовый к войне. Любеч и Чернигов разделяли не более двух дневных переходов (около 60 км); реки, протоки и озера, соединенные между собой небольшим, удобным волоком, давали возможность беспрепятственно переправить войско. Посоветовавшись с Якуном и другими предводителями варягов, Ярослав решительно повернул ладьи в древнюю днепровскую старицу, откуда начинался речной путь к Чернигову. Князь Мстислав, внимательно следивший за всеми передвижениями своего противника, немедленно выступил навстречу. В его войско, помимо приведенных им из Тьмуторокани хазар и касогов, входили и «северяне», то есть черниговцы и жители тяготевших к Чернигову окрестных северских земель.

Войска сошлись у города Листвена, на берегу реки Белоус, правого притока Десны, примерно на середине пути между Любечом и Черниговом[41]. Эта небольшая крепость, расположенная у одного из волоков, контролировала подступы к Чернигову; обойти ее варяжское войско Ярослава не могло ни при каких обстоятельствах. «И была осень, и встретились тут», — констатирует летописец[42].

Летописи содержат яркий рассказ о Лиственской битве. Сражение между варяжской дружиной Ярослава и касожско-хазарско-славянским воинством Мстислава Тьмутороканского началось ночью, в кромешную мглу и страшную осеннюю грозу.

«Мстислав же с вечера исполчил дружину, — читаем в «Повести временных лет», — и поставил север (северян. — *А. К.*) в чело, против варягов, а сам встал с дружиной своей на крыльях. И наступила ночь; была тьма, молния, и гром, и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: "Поиде на не" (или: "Поиде на нь", как в других списках; то есть "Пойдем на них". — *А. К.*)»[43].

Слова Мстислава своей лаконичностью напоминают грозный призыв его деда, князя Святослава Игоревича, обращавшегося к врагам со знаменитым: «Хочу на вы идти!» Но новгородско-софийские летописи (которые, как и в других случаях при описании событий времен Ярослава, существенно дополняют текст «Повести временных лет») по-другому передают обращение Мстислава к своему войску и вкладывают в его слова совсем иной смысл: «И рек Мстислав своим: "Поидем на них, то нам есть корысть"». «Корысть» здесь не просто выгода, но прежде всего добыча. Наверное, такой призыв скорее мог вдохновить его воинов.

Но более всего восхищение вызывает тщательно продуманное Мстиславом построение войска. Пожалуй, впервые в военной истории Руси летописец сообщает такие сведения, из которых виден конкретный замысел полководца и конкретный способ достижения им победы. Очевидно, что Мстислав сознательно ставил в центр своей позиции (в «чело», по военной терминологии древней Руси) далеко не самую сильную часть своего войска — северян, которые только-только вошли в число его подданных. Собственная же его дружина, проверенные в боях элитные хазарские и касожские части он расположил по крыльям, то есть на флангах. Впоследствии такой прием будет применяться русскими полководцами довольно часто: слабый центр принимал на себя всю силу вражеского удара; ценой своих жизней стоявшие в «челе» воины сдерживали и притупляли удар, втягивали противника внутрь своих боевых порядков — и только затем в дело вступали наиболее боеспособные и сохранившие свежесть войска; им-то и выпадало разгромить противника. Но применяя этот рискованный план, нужно было быть уверенным в том, что стоявшие в центре воины не дрогнут, не обратятся в бегство — иначе весь замысел был обречен на провал. Мстислав, вероятно, был уверен в стойкости черниговцев. И потому хладнокровно обрекал их на истребление. В его глазах это был единственный способ одержать победу над непобедимыми доселе норманнами. Очевидно, Мстислав знал их излюбленную тактику: варяги наступали сомкнутым строем, «щит в щит» — так называемым клином, или «свиньей». Они прорывали ряды нападающих, рассеивали и затем уничтожали их. Впоследствии точно так же будут действовать немецкие рыцари — и тактику Мстислава повторит в знаменитой битве на льду Чудского озера русский князь Александр Невский.

Как подлинный полководец Мстислав учел и еще одно обстоятельство — ужасающие погодные условия. «Тогда ночь была вельми мрачна, — пишет об этом В. Н. Татищев, — гром, молния и дождь, того ради оба войска не хотели биться. Мстислав же елико храбр, толико хитр в войне был. Усмотря себе сие время за полезное, пошел вдруг со всем войском, и Ярослав противо ему»[44].

Разработанный Мстиславом план блестяще осуществился. «И пошли Мстислав и Ярослав друг против друга, — читаем в «Повести временных лет», — и сошлось чело северян с варягами, и принялись варяги рубить северян (в оригинале: «и трудишася варязи, секуще север». — *А. К.*), и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и начал сечь варягов. И была се-

ча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика и сеча сильна и страшна». Софийская Первая и Новгородская Четвертая летописи нагнетают напряженность в описании наиболее драматичного момента сражения: «И была ночь рябинной (грозовой. — *А. К.*), была тьма, и гром гремел, и молния, и дождь... И была сеча зла и страшна... и только когда молния сверкала, было мечи видно, и так друг друга убивали, и была гроза велика и сеча сильна»[45]. По сведениям (или догадке?) В. Н. Татищева, исход сражения был решен личным вмешательством в битву князя Мстислава: «Первее варяги Ярославли, в челе стоя, напали на чело Мстиславле и уже многих северян порубили; крылья же оба, крепко бився, долго един другаго ни мало смять не мог. Мстислав, уведав, что северяне уступают, взяв часть войска с крыла, сам пошел и напал на варяг с великою храбростию...»

Это был первый случай в истории Киевской Руси, когда пришедшее с севера, из Новгородской земли, варяжское войско потерпело поражение в битве с южнорусским князем. Разгром дружин Ярослава оказался полным. Тела убитых варягов, равно как и тела порубленных ими черниговцев, остались лежать на поле брани, а остатки варяжского войска в панике бежали. В числе первых обратились в бегство и предводители — князь Ярослав и Якун. Летопись приводит красноречивую подробность этого бегства, ярко высвечивающую то отчаянное положение, в котором оказался незадачливый варяжский вождь: «Когда увидел Ярослав, что побежден, побежал с Якуном, князем варяжским, и потерял Якун тут *луду* златую». Это было больше чем поражение — это был позор. (Роскошное украшение, потерянное на поле брани и свидетельствующее о явной трусости варяжского князя, надолго осталось в памяти киевлян; автор Киево-Печерского патерика епископ Симон еще в XIII веке вспоминал «Якуна Слепого» как того самого человека, «иже отбеже от златыа луды, биася полком по Ярославе с лютым Мстиславом».)

Утром, на рассвете, осматривая поле брани, Мстислав с удовлетворением мог констатировать торжество своего замысла — груды валявшихся тел свидетельствовали не просто о его победе, но о том, что победа эта была достигнута благодаря точному расчету полководца. «Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Ярославовых варягов, сказал: “Кто сему не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела”». «Своя дружина» Мстислава, напомним, состояла по большей части из хазар и касогов — как видим, князь дорожил ими куда больше, нежели своими сородичами — славянами черниговцами. Эти слова

Мстислава, исполненные ничем не прикрытого цинизма и пренебрежения к своим единоплеменникам, не могут не оставлять в наших сегодняшних душах горький осадок. Но таков был сей князь — отчаянно храбрый, не жалеющий ни своей, ни чужой жизни, расчетливый, честный, благородный (в своем понимании этого качества), щедрый и внимательный к дружине и совершенно безразличный к жизни остальных своих подданных...

Тем временем Ярослав, Якун и прочие беглецы достигли наконец Новгорода. Здесь князь и его воеводы расстались друг с другом. Ярослав остался в городе, на этот раз не предприняв попытки укрыться где-нибудь за морем. Вероятно, урок, некогда преподанный ему Константином Добрыничем, пошел впрок, и князь понял, что бегство не является для него лучшим выходом. Якун же поспешил восвояси, «за море». «И тамо умре», — добавляют летописи XV века.

Похоже, что трагедия у Листвена привела к оттоку варягов из Руси еще в одном, традиционном для них направлении — в пределы Византийской империи. Византийский хронист Иоанн Скилица — правда, явно путаясь в хронологии русских событий — рассказывает о некоем выходце из Руси Хрисохире (в переводе с греческого это имя означает «Златая Рука», «Златорукий»), родиче покойного князя Владимира, который между 1022 и 1025 годами (точный год неизвестен) явился к императору Василию II во главе многочисленного военного отряда. Русские наемники действовали явно в обход установленных еще в X веке договоренностей между Русью и Византией и, главное, не имели с собой особых грамот от киевского или какого-либо иного русского князя, в которых обычно указывалось число кораблей и воинов и давались определенные гарантии мирных намерений прибывших[46]. А потому власти Империи отнеслись к ним с крайней настороженностью, и дело закончилось жестоким кровопролитием. «...Некий Хрисохир, родственник умершего (Владимира. — *А. К.*), — рассказывает Скилица, — собрав себе во товарищи восемьсот человек и взойдя с ними на суда, прибыл в Константинополь, будто бы намереваясь вступить в наемники. Когда же василевс повелел сложить оружие и только тогда явиться на встречу, он, не захотев этого, прошел через Пропонтиду (Мраморное море. — *А. К.*). Оказавшись у Авидоса и сразившись с ее стратигом, защищавшим побережье, и легко его одолев, он проплыл к Лемносу. Но там они, обманутые притворной договоренностью, были

уничтожены флотом [морской фемы] Кивирреотов и [силами] Давида, родом из Охрида, — стратига Самоса, и Никифора Кавасилы — дуки Фессалоники»[47].

Мы, к сожалению, не можем сказать ничего определенного о воинах, погибших у острова Лемнос, равно как и об их предводителе Хрисохире: имя последнего не встречается в русских или иных источниках. Не известно, откуда именно прибыли они к Константинополю: из Киева или, может быть, из более близкой Тьмуторокани; куда направлялись и почему попытались прорваться в Эгейское море, а не повернули назад на Русь. Историки справедливо усматривают в этих событиях частный конфликт, не оказавший серьезного влияния на характер русско-византийских межгосударственных отношений: очевидно, что Хрисохир и его товарищи действовали на свой страх и риск, а не представляли интересы кого-либо из тогдашних правителей Руси. Их появление у стен Константинополя, напротив, могло быть вызвано смутами и междоусобицами, потрясавшими в то время Русское государство[48]. Можно предположить, что Хрисохир либо находился во враждебных отношениях с князем, которому прежде служил, либо порвал с ним по какой-то иной причине — во всяком случае, он не смог воспользоваться его поддержкой при переходе на службу византийскому императору, как это бывало в других случаях. Но если так, то его появление в Византии могло явиться следствием поражения дружин Ярослава в войне с Мстиславом: не имея возможности повернуть назад (ибо на Днепре хозяйничали посадники Мстислава, а Ярослав бежал к Новгороду), Хрисохир и его спутники предпочли уйти в Византию, а когда им не удалось поступить там на службу к императору ромеев, попытались прорваться в Малую Азию, где были расквартированы их соотечественники, варяги и русы, которые несли службу Империи, в частности, в феме Фракисиев[49]. Враждебное же отношение к ним со стороны императора могло объясняться какими-то договоренностями на этот счет, существовавшими между Византийской империей и союзником императоров князем Мстиславом Тьмутороканским.

Но что оставалось делать самому Ярославу? Вспомним, что однажды — а именно в 1018 году — он уже оказывался в подобном положении. Тогда его выручили новгородцы, точнее, собранное ими серебро. Однако после расправы над Коснятином Ярослав едва ли мог надеяться на их помощь и материальную поддержку. Да и повторять пройденное всегда

труднее, ибо движение по кругу чревато потерей смысла и целей самого движения. Наверное, князь лихорадочно готовил новое войско, опять собирал деньги, снаряжал очередное посольство к норманнам (хотя оно могло отправиться в путь только весной), продумывал хитроумные ходы, которые могли бы помешать Мстиславу воспользоваться плодами своей победы... Но он явно недооценил Мстислава, меряя его обычными мерками князей того времени, если ждал, что тот продолжит с ним войну за Киев.

Находясь в Новгороде, Ярослав — по-видимому, совершенно неожиданно для себя — получил от Мстислава послание, исполненное не угроз или брани, но слов братской любви, давно уже позабытых Владимировичами. «Садись в своем Киеве, — говорилось в послании, текст которого передает летопись, — ты еси старейший брат, а мне будет эта сторона».

Предложение Мстислава предусматривало раздел Руси на две почти равные части. Киев отходил Ярославу (недобро встреченный киевлянами Мстислав не претендовал на него), сам же тьмутороканский князь получал «эту сторону» Днепра, то есть все Левобережье.

Трудно сказать, как должен был расценить такое письмо Ярослав — то ли как спасительную для себя уступку со стороны брата, как сохранение за собой половины своих прежних владений, то ли как неслыханный грабеж, как покушение на такую же половину принадлежащей ему земли. Во всяком случае, он не ответил Мстиславу ни согласием, ни отказом и более года тянул с принятием окончательного решения. «И не смел Ярослав идти в Киев, пока не умирятся, — сообщает летописец. — И сел Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде». Единственное, что сделал Ярослав, получив известие об отказе своего брата от Киева, так это отправил туда своих бояр, наместников, которые в течение нескольких последующих лет правили стольным градом Руси вместо него*. По существу, это означало принятие им предложенных условий.

---

* Лаврентьевская летопись содержит уникальное известие, согласно которому «беяху Кыеве Ярославли мужи 7 лет». Если наместники Ярослава появились в Киеве в следующем, 1025 году, то «7 лет» должны были завершиться в 1032 году — и действительно, под этим годом летопись определенно сообщает о пребывании Ярослава на юге, в Поросье. Но не исключено, что чтение Лаврентьевской летописи представляет собой простую описку: в других списках «Повести временных лет» вместо «7 лет» читаем: «В сем же лете»; и далее сообщается о рождении у князя Ярослава сына Изяслава: «И бяху седяще в Киеве мужи Ярославли. *В сем же* лете родися 2 сын, и нарече имя ему Изяслав» (Радзивиловская летопись).

Все это время Ярослав находился преимущественно в Новгороде — городе, который на десятилетие стал его подлинной столицей. Здесь, вероятно, в том же 1024-м или в начале 1025 года родился его второй сын от Ингигерд Изяслав, получивший в крещении имя Дмитрий, — будущий великий князь Киевский[50].

Никаких сведений за следующий, 1025 год летописи не содержат; более того, сам этот год в них пропущен. (Следующая летописная статья датирована 6534 /1026 годом.) Едва ли это можно объяснить каким-то сбоем в хронологии; скорее, здесь действительное бездействие Ярослава, которому приходилось приспосабливать свою политику к изменившимся условиям. Привычный для него путь поиска наемников в скандинавских странах стал давать сбои: как раз весной 1025 года глухая неприязнь между Кнутом Великим и Олавом Харальдссоном переросла в открытую вражду, в которую вскоре оказался втянут еще один союзник Ярослава на севере — Энунд-Якоб Шведский. Летом того же года, опасаясь вторжения англо-датских войск, Олав вынужден был собирать под свои стяги всех норвежцев, сохранявших ему верность. Противники же Олава собирались под знаменами Кнута Могучего. И тем, и другим становилось уже не до Ярослава; приток наемников на Русь на время иссяк.

Тем не менее за год или за два Ярослав вновь сумел собрать многочисленное войско («воинов многих»). Летописи ничего не говорят о составе его войска, поэтому мы не знаем, входили ли в него на сей раз новгородцы или нет. Очевидно, что основу войска составляли дружина князя Ярослава, в которой по-прежнему преобладали наемники-варяги, а также те пришлые скандинавы, которые появились на Руси еще в 1020 году вместе с Ингигерд и Рёгнвальдом и несли службу в Альдейгьюборге (Ладоге) и других северных городах.

Только в 1026 году, с наступлением весны[51], Ярослав выступил, наконец, в очередной свой поход на юг. На этот раз он благополучно достиг Киева, и здесь, близ Киева, в городе Городце на противоположной, «Мстиславовой» стороне Днепра, состоялась его встреча с братом. Примирение произошло на тех самых условиях, которые были продиктованы Мстиславом двумя годами раньше: «Ярослав... пришел к Киеву, — сообщает «Повесть временных лет», — и створил мир с братом своим Мстиславом у Городца. И разделили по Днепр Русскую землю: Ярослав получил эту сторону, а Мстислав ту; и начали жить мирно и в братской любви, и престали усобица и мятеж, и была тишина великая на земле»[52].

В первый раз встречаем мы в летописи эту формулу «великой тишины» и мира: «и уста усобица и мятеж, и бысть тишина велика в земли». И в самом деле, Городецкий мир завершил собой бесконечно долгое десятилетие тягостной смуты и междоусобицы, потрясшей Русское государство. Он подвел черту под целой эпохой в жизни не только самого князя Ярослава Владимировича, но и всей Руси. Ценой уступки половины своих владений Ярослав получил наконец долгожданный мир и, более того, обрел надежного союзника, на слово которого, как оказалось, мог всецело положиться.

Городецкий мир просуществовал недолго — всего десять лет, с 1026-го по 1036-й (год смерти Мстислава). Однако его значение в истории древней Руси очень велико. Пожалуй, не будет преувеличением, если мы скажем, что в какой-то степени он предопределил будущие различия в исторических судьбах всего Правобережья и Левобережья Руси. Ростовские, суздальские и муромские земли, то есть вся Северо-Восточная Русь, будущая Великороссия, кажется, именно с этого времени начинают тяготеть не к Киеву, но к более близкому для себя Чернигову. (Не случайно Чернигов — наравне с Киевом, а отчасти и в противовес Киеву — займет столь важное место в географии русских былин.) Более того, временный раскол Киевской Руси на две части по территориальному признаку — по «ту» и «эту» сторону Днепра — в какой-то степени предвосхитит будущее разделение единого Древнерусского государства на Великороссию и Малороссию. По крайней мере, в зародыше, в потенции такая возможность была в нем заложена.

Некоторые черты будущей политической истории Киевской Руси предвосхищало и падение на время действия Городецкого мира роли Киева как единого центра и столицы Русского государства. Стольным градом Мстислава стал Чернигов. Ярослав же пребывал преимущественно в Новгороде, доверив управление Киевом своим наместникам. Разумеется, он вполне осознавал значение Киева; по-видимому, в эти годы в Киеве уже начиналось то знаменитое строительство, о котором летописец рассказывает под 1037 годом. Киев оставался и номинальной столицей государства Ярослава, и потенциальной столицей всей Русской земли, державы Владимира, наследниками которого выступали и Ярослав, и Мстислав. Но в реальности ни тот, ни другой не желали сделать его местом своего постоянного пребывания.

Наконец, Городецкий мир, вероятно впервые в политической практике Киевской Руси, закрепил принцип «старейшинства» старшего брата над младшим. Прежде старший

брат, кажется, не получал заведомого преимущества при разделе отцовских владений.

В биографии же самого Ярослава Городецкий мир сыграл двойственную роль. С одной стороны, его условия зафиксировали последствия тяжелейшего поражения новгородского князя и как полководца, и как политика. Территориальные уступки, на которые он был вынужден пойти ради заключения этого мира, кажутся беспрецедентными даже по меркам самого Ярослава, при том, что мы знаем, как относился он к такому способу разрешения конфликтов. Но с другой стороны, Городецкий мир и последовавшие за ним события ярко высветили характерную черту Ярослава как политика — его умение извлекать выгоду даже из собственного поражения. Заключив на невыгодных для себя условиях мир с прежним врагом, он сумел очень скоро не только укрепить свою власть над доставшейся ему территорией, но и использовать силы всей Руси (то есть и свои, и брата) для достижения собственных целей и увеличения собственной власти и собственного международного авторитета. Именно со времени заключения Городецкого мира начинается торжество Ярослава как политика и полководца, начинается тот отрезок его жизни, который и дал ему право на уникальное в русской истории прозвище Мудрый. В конце концов, ему удастся отвоевать все те земли, которые он потерял (в том числе восстановить под своей властью единство государства), и, более того, вознести авторитет правителя Руси — киевского князя — на небывалую доселе высоту.

Глава восьмая

НА ПУТИ К ЕДИНОДЕРЖАВИЮ

Ближайшие восемь — десять лет после заключения Городецкого мира Ярослав провел преимущественно в Новгороде. Конечно, Киев оставался столицей его державы, но при жизни Мстислава он не спешил избирать его местом своего постоянного пребывания, по-видимому, опасаясь столь близкого соседства с братом. Не случайно скандинавские саги знают Ярослава исключительно как «конунга Хольмгарда» (Новгорода): именно здесь князь проводил все то время, что не было занято военными походами, именно здесь пребывала и его супруга Ирина-Ингигерд. Авторы известной нам «Пряди об Эймунде» полагали, что «конунг Ярицлейв» и вовсе утратил права на «Кэнугард» (Киев) и вернул их себе лишь после смерти своего брата «конунга Вартилава» — что, может быть, отражает реальные припоминания об утверждении власти князя Ярослава Владимировича над всей Русской землей после смерти Мстислава Тьмутороканского.

Семейная жизнь Ярослава в эти годы складывалась вполне благополучно. Несмотря на вспыхивавшие время от времени бурные ссоры (об одной из них речь шла в предыдущих главах книги), княгиня добросовестно исполняла свой супружеский долг, исправно принося Ярославу здоровое и полноценное потомство. В 1027 году на свет появился третий сын Ирины, названный Святославом, а в крещении — Николаем. Под 1030 годом летописи сообщают о рождении

На рис. — сребреник Ярослава с бронзовым ушком. Оборотная сторона. Найден на территории Эстонии.

четвертого сына, Всеволода, получившего в крещении имя Андрей. Обоим княжичам в будущем суждено было сделаться великими князьями киевскими и дать начало двум могучим ветвям рода Рюриковичей. Рождение дочерей считалось событием менее значимым и потому, как правило, не удостаивалось упоминаний летописца. (Только в «Истории» В. Н. Татищева под 1032 годом отмечено рождение неназванной по имени «дщери» князя Ярослава.) Но мы знаем, что у князя росло несколько дочерей (на знаменитой фреске Киевской Софии были изображены четыре, а возможно, даже пять), и большинству из них также была уготована завидная участь. В глазах людей Средневековья обилие детей приобретало особый смысл и воспринималось не иначе как явственное свидетельство Божией благодати, почивающей на княжеской чете.

Под 1028 годом летописи отметили необычное явление на небе: «Знамение змиево явися на небеси, яко видети всей земли». Знамение наблюдалось и в Киеве, и в Новгороде. (Известие о нем — единственное, отмеченное Новгородской Первой летописью за пятнадцатилетний промежуток между 1021 и 1037 годами; все остальные летописные статьи оставлены здесь пустыми[1].) При виде необыкновенного змия, явившегося на небе, князя не могли не охватить тревожные предчувствия — Священное Писание рассматривало явления такого рода как ясные признаки грядущего конца света, к которому каждый христианин должен быть постоянно готов. Так само небо лишний раз напоминало князю о неотвратимости Божьего суда, на котором ему, наравне с прочими смертными, предстояло держать ответ за все, содеянное в этой жизни...

Но пока надлежало думать более о земном, нежели о небесном. Надо сказать, что князь Ярослав как нельзя лучше сумел использовать ту «великую тишину», которая наступила в Русской земле после его примирения с Мстиславом. Ход событий, несомненно, благоприятствовал ему. Внутренние усобицы остались позади, внешние враги избегали нападать на Русь. «Мирно бысть» — такая запись появляется в «Повести временных лет» под 1029 годом, и это в первый раз за полтора десятилетия, наполненных войнами и кровопролитием.

Городецкий мир и распад державы Владимира на две части, помимо прочего, означал раздел на составляющие прежней единой политики Владимира. Ярославу, как новгородскому и киевскому князю, «достались» северное и западное направления внешней политики его отца; Мстиславу —

южное и восточное. Это оказалось даже на руку Ярославу: решая собственные насущные задачи, он мог не оглядываться на тылы. Его младший брат взвалил на свои могучие плечи заботы об обороне Руси на самом ответственном направлении — со стороны Степи. Судя по молчанию летописей, ему не пришлось воевать с печенегами — этим грозным бичом Руси прошлых лет. Вероятно, еще в бытность свою тьмутороканским князем грозный Мстислав сумел заключить с кочевниками мир, и теперь плодами этого мира в полной мере мог воспользоваться Ярослав.

Летописи не слишком подробно освещают этот отрезок его жизни, оставляя в тени многие важнейшие его деяния. К счастью, в нашем распоряжении имеются свидетельства иностранных источников, из которых явствует, что Ярослав проводил в эти годы очень активную, наступательную внешнюю политику. Его таланты дипломата и политика раскрылись наконец в полную силу. События в соседних с Русью землях не всегда принимали благоприятный для него оборот, но Ярослав всякий раз находил смелые и неординарные ходы и старался использовать все происходившее в своих интересах. И почти всякий раз ему сопутствовал успех.

Начать, пожалуй, следует со скандинавской политики князя Ярослава, о которой уже так много говорилось на страницах книги. Времена изменились — и отношения русского князя со скандинавским миром как бы зеркальным образом отразили прежнее положение вещей, при котором Ярослав выступал в незавидной роли просителя военной помощи для решения собственных внутренних неурядиц. Теперь, напротив, он готов был оказывать щедрую — хотя, наверное, и не бескорыстную — помощь своим скандинавским союзникам и сам активно вмешивался во внутренние дела их стран.

Так, в 1029 году князь Ярослав приютил в Новгороде своего свояка, конунга Олава Харальдссона, которому пришлось на время покинуть Норвегию. Его война с Кнутом Великим закончилась самым плачевным образом: несмотря на то, что в морском сражении у реки Хельги шведско-норвежскому войску во главе с конунгами Олавом и Энундом сопутствовал успех и (во многом благодаря находчивости и умелым действиям Олава) потерь удалось избежать, общее превосходство Кнута, двинувшего в Норвегию неисчислимую рать, оказалось подавляющим. Энунд вскоре отвел свои войска в Швецию, и Кнут фактически беспрепятственно

подчинил себе Норвегию. На тинге в Трондхейме он был провозглашен конунгом. Правителем страны Кнут назначил своего племянника, норвежского ярла Хакона Эйриксона. Население повсюду приносило клятвы верности Кнуту, который направо и налево щедро раздавал английское серебро; для пущей убедительности Кнут брал в заложники сыновей или других близких родичей местных бондов, пользовавшихся влиянием в той или иной области Норвегии. Зимой 1028/29 года против Олава выступило уже многочисленное норвежское войско во главе с ярлом Хаконом и сыновьями могущественного Эрлинга Скьяльгссона, убитого незадолго до того людьми Олава. Сил для сопротивления у последнего не было, бонды отказали ему в поддержке. Оставалось бежать. Олав бросил свои корабли и пешком отправился на восток, в Швецию, где провел весну 1029 года у местного хёвдинга (знатного мужа) Сигтрюгга. «Когда наступило лето, конунг стал собираться в дорогу, — рассказывает Снорри Стурлусон. — Он раздобыл корабль и двинулся в путь. Он нигде не останавливался, пока не приплыл на восток в Гардарики к Ярицлейву конунгу и его жене Ингигерд»[2].

С Олавом было тогда немного людей. (Древнейшая Сага об Олаве Святом называет поименно двадцать одного человека из числа тех, кто сопровождал конунга до Швеции; но это, наверное, далеко не все.) Часть людей Олав оставил в Швеции, у Сигтрюгга, в том числе свою жену Астрид и дочь Ульфхильд (или Гуннхильд)[3]. Зато конунг взял с собой на Русь пятилетнего сына Магнуса. Этот будущий норвежский конунг и герой саг, вошедший в историю Норвегии под именем Магнуса Доброго, был незаконнорожденным сыном Олава: его мать, некую Альвильд (Альвхильд), саги называют рабыней и прачкой «королевы Астрид». Тем не менее Олав горячо любил сына и, по-видимому, считал его своим законным наследником. Об этом свидетельствовало само имя Магнус, дотоле не встречавшееся в Норвегии. По словам авторов саг, оно было дано мальчику скальдом Сигватом Тордарсоном в честь знаменитого императора франков Карла Великого (по-латински Carolus Magnus), «лучшего человека на всем белом свете».

Русский князь «хорошо принял» Олава и его спутников и «предложил ему остаться у него и взять столько земли, сколько Олаву конунгу было надо для содержания его людей. (Эта фраза вполне традиционна для саг. Очевидно, речь шла не столько о наделении конунга землей, сколько о назначении на его содержание доходов с определенных земель. — *А. К.*) Олав конунг принял его предложение и остал-

ся там». И пребывал Олав в Хольмгарде (Новгороде) «в доброй милости и большом почете, как и должно было быть».

Скандинавские саги немногое сообщают о его пребывании на Руси. Да и продлилось оно совсем недолго. Летом 1029 года Олав прибыл в Хольмгард, а уже следующей зимой, «вскоре после йоля» (Рождества), засобирался на родину. Поздней осенью того года ярл Хакон утонул на обратном пути из Англии, куда он ездил за своей невестой; его корабль попал в бурю, и все, кто был на корабле, погибли. Когда весть об этом достигла Норвегии, на Русь поспешил бывший приближенный Олава Бьёрн Окольничий (или Бьёрн Толстый). В самое празднование йоля (то есть в 20-х числах декабря 1029 года) он прибыл в Новгород и рассказал о случившемся Олаву. Между прочим сообщил он и о том, что очень многие в Норвегии по-прежнему не хотят видеть Олава на престоле, а сыновья Эрлинга Скьяльгссона, Эйнар Брюхотряс и другие могущественные мужи поклялись и вовсе убить его. Олав должен был призадуматься. Рассказывают, что он не исключал для себя возможности остаться на Руси, тем более что об этом настойчиво просил его Ярослав: «Ярицлейв конунг и его жена Ингигерд предлагали Олаву конунгу остаться у них и стать правителем страны, которая называется Вульгария (Болгария? — *А. К.*)», — свидетельствует Снорри Стурлусон и добавляет: «Она составляет часть Гардарики и народ в ней некрещеный». Трудно сказать, шла ли речь действительно о намерениях князя Ярослава покорить Волжскую Булгарию с помощью норманнской дружины во главе с Олавом, или название «Вульгария» попало в текст саги как синоним некой неведомой языческой страны, что кажется более вероятным. Во всяком случае, после совета со своими людьми Олав отказался от этого заманчивого предложения. «У конунга была также мысль сложить с себя звание конунга и поехать в Иерусалим или другие святые места и принять обет послушания, — продолжает свой рассказ Снорри. — Но чаще всего он думал о том, нельзя ли как-нибудь вернуть свои владения в Норвегии». Окончательное решение пришло внезапно, во сне. Однажды ночью Олав увидел сон, показавшийся ему пророческим: ему явился его предшественник на норвежском престоле знаменитый конунг Олав Трюггвасон, который призвал его оставить всякие колебания и немедленно отправиться в путь. Сборы оказались недолгими, и уже зимой Олав со своими людьми покинул Новгород.

По словам авторов саг, «конунг Ярицлейв» противился решению Олава и согласился отпустить его в Норвегию

лишь после того, как тот рассказал ему о своем чудесном виде́нии. Вероятно, это лишь благочестивая легенда, сложившаяся в те времена, когда Олав Святой был канонизирован Церковью, а Олав Трюггвасон почитался норвежцами как первый креститель их страны. Но Ярослав и в самом деле мог опасаться за судьбу своего гостя. Возвращение Олава на трон, несомненно, было в его интересах, но как искушенный политик он — в отличие от самого Олава — по-видимому, отдавал себе отчет в том, что время для этого пока не наступило: слишком свежи были в Норвегии воспоминания о деспотизме и жестокости конунга, а главное, новые правители страны, датчане, еще не успели скомпрометировать себя в глазах подданных-норвежцев. Лучше было бы выждать, дождаться неизбежного колебания в настроениях бондов и лишь тогда начинать действовать. Наверное, именно это пытались растолковать Ярослав и Ингигерд норвежскому изгнаннику — но Олав проявил упорство и не захотел ждать. Внезапная гибель ярла Хакона показалась ему удобным поводом для возвращения на престол.

И Ярослав не замедлил оказать ему самую существенную помощь. «Сразу после йоля, — рассказывает Снорри, — конунг стал собираться в путь. У него было тогда около двух сотен людей. Ярицлейв конунг снабдил их всех лошадьми (в другом переводе: вьючными животными. — *А. К.*) и всем необходимым снаряжением. Когда конунг собрался, он отправился в путь. Ярицлейв конунг и его жена Ингигерд проводили его с большими почестями. Своего сына Магнуса он оставил у Ярицлейва конунга»[4].

По льду Олав со своим отрядом добрался до «берега моря» — скорее всего, до Ладоги, где скандинавы обычно пересаживались со своих морских кораблей на речные суда, и наоборот. Весной, когда море освободилось ото льда, Олав стал снаряжать корабли и с началом навигации вышел в море. Вскоре он уже был в Швеции, у конунга Энунда, который также оказал ему помощь и дал небольшое войско в четыре сотни человек. Более существенную подмогу прислали сами норвежцы; всего, по сведениям Снорри, войско Олава насчитывало «более тринадцати сотен человек», включая лесных разбойников и всякий сброд, и «это тогда считалось большим войском». Но противников конунга оказалось во много раз больше — против него поднялась едва ли не вся страна, и когда Олав и его люди добрались до Стикластадира (в центральной Норвегии), они встретили огромное войско бондов. («Никто в Норвегии раньше не видел такой рати!» — восклицает Снорри.) 29 июля (по другим данным,

30 августа) 1030 года[5] в битве при Стикластадире конунг Олав Харальдссон погиб, а войско его было разбито. Власть над Норвегией принял Свейн, сын Кнута Великого от наложницы, который не участвовал в битве, но зато мог использовать всю мощь и все влияние своего могущественного отца. Говорили, правда, что Норвегией заправлял не столько он сам, сколько его мать, бывшая наложница Кнута Альвива, очень скоро вызвавшая крутостью своего нрава ненависть большинства норвежцев.

(Вскоре после смерти Олава — как это нередко бывает — отношение к нему в Норвегии совершенно переменилось. Недовольные засильем датчан норвежцы открыто стали говорить, что конунг Олав — святой. Летом 1031 года, ровно через год и пять дней после битвы при Стикластадире, гроб с его телом выкопали из земли и освидетельствовали: мощи оказались нетленными; за прошедшее время у конунга, словно у живого, отросли волосы и ногти. По желанию народа, гроб с телом внесли в церковь святого Климента в Нидаросе (Тронхейме), и вскоре возле него начали происходить различные чудеса, рассказы о которых стали собирать и записывать. Вероятно, тогда вспомнили и о чуде, которое Олав Святой совершил в Новгороде: рассказывали, будто у сына одной знатной вдовы в горле вскочил огромный нарыв, так что «мальчик не мог ничего есть, и считали, что дни его сочтены. Его мать пошла к Ингигерд, жене конунга Ярицлейва... и показала ей сына. Ингигерд сказала, что она не может его вылечить. "Пойди к Олаву конунгу, — говорит она. — Он здесь лучший лекарь — и попроси его рукой коснуться того, что болит у твоего сына"... Конунг взял кусочек хлеба, размочил его и положил крестом себе на ладонь. Потом он положил этот кусочек хлеба мальчику в рот, и тот его проглотил. У мальчика сразу прошла боль, и через несколько дней он был совсем здоров... Сначала думали, что у Олава конунга просто искусные руки, какие бывают у тех, кто владеет искусством лечить, но потом, когда все узнали, что он может творить чудеса, поняли, что это исцеление было подлинным чудом». Так рассказывал Снорри Стурлусон.

Еще об одном чуде, совершенном в Новгороде, упомянул в своей висе об Олаве Святом знаменитый исландский скальд Сигват Тордарсон, который привел и имя исцеленного: «Досель не истлела прядь, что в Гардах... болесть сняла с Вальдамара»[6]. Та заметная роль, которую отводит предыдущий рассказ о чуде святого Олава княгине Ингигерд, а также само имя исцеленного — Вальдамар, то есть

Владимир (заметим, княжеское имя!), — позволяют предположить, что исцеленным оказался не кто иной, как девятилетний сын князя Ярослава и княгини Ирины-Ингигерд, княжич Владимир. Во всяком случае, другого Вальдамара в Новгороде в это время источники не знают.)

После гибели Олава Святого князь Ярослав Владимирович отказался признать права Свейна на норвежский престол. Он предоставил убежище сторонникам погибшего конунга, вынужденным бежать из страны после разгрома при Стикластадире. Так, по свидетельству саг, на Руси укрылись единоутробный брат Олава пятнадцатилетний Харальд Сигурдарсон (будущий знаменитый конунг Харальд Суровый Правитель), ярл Рёгнвальд Брусасон, а также другие люди конунга, уцелевшие в битве. О подвигах конунга Харальда в Византии, прославивших его имя во всем скандинавском мире и на Руси, нам еще предстоит говорить на страницах этой книги; пока же заметим, что и Харальд, и его люди в течение нескольких лет находились на службе у «конунга Ярицлейва» и принимали участие в его многочисленных войнах.

По-видимому, признал Ярослав и святость конунга Олава, столь явно проявившуюся при исцелении его сына. Мы знаем, что в Новгороде уже в XI веке была построена церковь святого Олава, которую более поздние летописцы называли «варяжской божницей»[7]. Ее посещали не только варяги, но и коренные новгородцы, а особенно новгородки. Время от времени в церкви совершались различные чудеса, сведения о которых попадали в жизнеописания святого конунга. Имя норвежского святого упоминается и в одной русской молитве (обращенной к Святой Троице), составленной в XI веке и сохранившейся во многих рукописях XIV—XVI веков[8].

С Норвегией же Ярослав разорвал всякие, в том числе и торговые отношения. «Было немирье между Свейном, сыном Альвивы, и Ярицлейвом конунгом, потому что Ярицлейв конунг считал, что норвежцы изменили святому Олаву конунгу, и некоторое время не было между ними торгового мира», — читаем мы в сборнике саг, называемом «Гнилой кожей». Отсутствие «торгового мира» означало, что купцы, прибывавшие из враждебной страны, не были защищены законом: местные жители могли совершенно безнаказанно избить, ограбить или даже убить их. Опасаясь за свою жизнь, норвежцы почти совсем перестали ездить на Русь. Исключение составляли лишь те беглецы, которые искали покровительства у князя Ярослава.

Магнус, сын Олава Святого, был усыновлен Ярославом и Ингигерд. Он воспитывался в Новгороде до одиннадцатилетнего возраста; Ярослав держал его при себе наравне со своими родными сыновьями и, вероятно, именно в нем видел законного наследника норвежского престола и будущего проводника своей политики в северном регионе. Скандинавская Сага о Магнусе Добром сообщает некоторые яркие подробности пребывания будущего норвежского конунга на Руси, изображая его — что вполне естественно для саги — как исключительно ловкого и не по годам отважного юношу. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что подробности эти носят, скорее всего, чисто литературный характер.

«Часто забавлялся он в палате конунга и был ловок во многих играх и упражнениях, — рассказывается в «Гнилой коже». — Он очень ловко ходил на руках по столам и показывал в этом большое уменье, и много было людей, которым нравилось, что он так быстро стал таким ловким. Один дружинник, довольно пожилой, невзлюбил его, и однажды, когда мальчик тот ходил по столам и подошел к этому дружиннику, он подставил ему руку и свалил его со стола и сказал, что не хочет [терпеть] его дерзости. Люди судили об этом по-разному: одни были за мальчика, другие — за дружинника. И в тот же вечер, когда конунг ушел спать, мальчик тот остался в той палате, и когда дружинники те остались там и пили, Магнус подошел к тому дружиннику, и был у него в руке топорик, и ударил он насмерть дружинника того». Среди людей, бывших в палате, разгорелся спор: убить ли Магнуса на месте, или отвести к князю. «Тогда взял один мальчика того на руки и побежал в тот дом, где спал конунг, и бросил его там на постель конунга и сказал: "В другой раз стереги получше своего жеребенка"». Когда князь узнал, как было дело, рассказывает сага, он будто бы рассмеялся и, обращаясь к Магнусу, произнес такие слова: «Дело, достойное конунга, приемыш (в другом переводе: «Королевская работа, приемыш». — *А. К.*)... Я уплачу за тебя виру». «После того договорился он с родичами убитого и заплатил сразу же выкуп (один из списков саги добавляет: в тройном размере. — *А. К.*). А Магнус находится в дружине конунга и воспитывается с великой любовью, и его тем больше любили, чем он становится старше и разумнее»[9].

Исследователи давно уже обратили внимание на сходство рассказа о Магнусе с рассказом о пребывании на Руси половиной столетия раньше еще одного норвежского конунга — юного Олава Трюггвасона: как и Магнус, Олав совер-

шает убийство в «Хольмгарде», причем в рассказе также фигурирует топорик; как и Магнуса, Олава спасает от убийства вмешательство княжеской власти (только не князя, а княгини). «Взаимозависимость рассказов об Олаве и о Магнусе очевидна, — пишет современная исследовательница скандинавских саг. — Перед нами типичный случай заимствования и переноса сюжета из одного произведения в другое. Можно лишь гадать, с каким из двух юных конунгов — Олавом или Магнусом — произошли (и произошли ли вообще?) описанные события»[10].

Впрочем, обстоятельства реальной жизни юного Магнуса на Руси интересуют нас значительно меньше, чем та роль, которую отводил ему в своей политике князь Ярослав. А намерения его в отношении приемного сына вырисовываются вполне отчетливо. Те же саги свидетельствуют о конкретных шагах, которые предпринял русский князь для возвращения норвежского престола династии Харальда Прекрасноволосого (к которой принадлежали Олав Святой и, соответственно, Магнус). В своих расчетах Ярослав принимал во внимание не только постоянно меняющиеся настроения в Норвегии, но и позицию мачехи Магнуса, родной сестры своей жены Ирины-Ингигерд Астрид, которая к тому времени прочно обосновалась в Швеции и пользовалась там значительным влиянием.

Возможность начать свою собственную политическую игру появилась у Ярослава после того, как на Русь из Норвегии приехали некие богатые купцы Карл и Бьёрн, люди «не знатные по рождению, но смелые», как характеризуют их саги. Они действовали на свой страх и риск, в нарушение «немирья», за что едва не поплатились жизнью. Князь Ярослав поначалу велел схватить их и заковать в железа. «Как бы плохо ни приходилось норвежцам от меня, они всегда стоят худшего», — будто бы произнес он при этом. Однако Магнус (по крайней мере, так излагают дело саги) упросил своего приемного отца сменить гнев на милость: «Думается мне, что Норвегия не скоро станет моей, если дело пойдет к тому, что будут убивать всех, кто оттуда родом». Конечно же, он был прав. Завоевать симпатии норвежцев сын Олава Святого мог не жестокостью (которой норвежцы вдоволь натерпелись от его отца), но прежде всего милосердием. По-видимому, это хорошо понимал и сам Ярослав. Он освободил братьев, а затем призвал к себе Карла и вручил ему внушительную сумму денег. «Вот деньги, — сказал он норвежцу, — которые ты должен взять, а дело здесь довольно трудное. Ты должен раздать эти деньги мужам конунга в Норве-

гии и всем тем людям, у которых есть какое-либо влияние и которые хотят быть друзьями Магнусу, сыну Олава».

Итак, на сей раз русское серебро должно было решить судьбу норвежского трона. Выбор Ярослава оказался верным. Карл и Бьёрн успешно справились с порученным им делом. Прибыв в Норвегию, братья принялись тайно вербовать сторонников Магнуса, щедро расточая полученное от Ярослава серебро. Вскоре об этом стало известно властям; Карлу пришлось остаться в стране и держать ответ перед Свейном, а Бьёрн вернулся в Новгород, где дал подробный отчет русскому князю в том, «что сделано в стране той, кто принял деньги дружественно и на чью помощь Магнус, сын конунга, может рассчитывать. Ярицлейв конунг сказал, что сделано много, но много еще осталось не конченным...» Впоследствии и Карлу удалось бежать на Русь. «Конунг Ярицлейв» оказал ему самый радушный прием и также подробно расспросил об обстановке в Норвегии[11]. Как видим, именно князь Ярослав, находившийся в Новгороде, прочно удерживал в своих руках нити заговора, плетущегося в Норвегии. Он действовал очень умело, используя все те средства, к каким прибегают в подобных случаях опытные политики, — подкуп, засылку лазутчиков, может быть, даже шантаж. Впрочем, все это не выходило за рамки обычного не только во времена Ярослава, но и во все прочие.

Среди подкупленных Ярославом людей саги прежде всего называют Эйнара Брюхотряса, давнего недруга Олава. Он не принял участие в войне против Олава в 1030 году и теперь оказался готов перейти на сторону его сына. Как и многие другие могущественные люди в Норвегии, он был недоволен тем положением, которое занял при правителях-датчанах. К Эйнару присоединился и Кальв, сын Арни, возглавлявший войско бондов в роковой битве при Стикластадире. После победы над Олавом он также надеялся на большее, но был оттеснен на вторые роли. Карл и Бьёрн, по-видимому, дали им не только деньги, но и какие-то гарантии от имени Магнуса.

Летом 1034 года Эйнар, Кальв и некоторые другие могущественные вожди во главе большой дружины отправились на Русь*. «Осенью они добрались до Альдейгьюборга (Ладоги. — *А. К.*). Они послали своих людей в Хольмгард к Яриц-

---

* Так излагают события большинство саг. В рассказе «Гнилой кожи» говорится по-другому: Кальв Арнасон прибыл на Русь раньше остальных, вместе с Карлом, и встретил Магнуса и других, когда те уже возвращались на родину.

лейву конунгу и просили передать ему, что они хотят взять с собой Магнуса, сына конунга Олава Святого, и отвезти его в Норвегию, а там помочь ему получить отцовское наследство и стать конунгом в стране». Так рассказывает о событиях Снорри Стурлусон.

Ярославу предстояло принять непростое решение. Ведь те люди, которые явились в его страну, прежде известны были как злейшие враги Олава Святого. И именно им он должен был теперь отдать одиннадцатилетнего Магнуса. Так не предадут ли они его, как уже один раз предали его отца? Они приняли серебро Ярослава, но, может быть, надеются на еще большее серебро от Кнута?

Ярослав «стал советоваться со своей женой и другими знатными людьми. Они решили послать гонцов к норвежцам (в Ладогу. — *А. К.*) и пригласить их к Ярицлейву конунгу и Магнусу. Им обещали свободный проезд по стране. Когда они добрались до Хольмгарда, то было решено, что норвежцы, которые приехали, станут людьми Магнуса и будут ему служить, и это было скреплено клятвами Кальва и всех тех, кто сражался при Стикластадире против Олава конунга. А Магнус заключил с ними полный мир и поклялся, что он будет им верен, что и они во всем могут на него положиться, если он станет конунгом Норвегии»[12]. Ярослав потребовал от Эйнара и других «лучших мужей», которые возглавляли дружину, принести клятву верности Магнусу, причем клятву эту должны были скрепить двенадцать человек. Несомненно, русский князь прекрасно разбирался в обычаях и законах скандинавских стран. Норвежские законы различали клятвы по числу соклятвенников, каковых могло быть один, трое, шестеро или двенадцать. «Клятва двенадцати» считалась самой редкой и самой нерушимой, ее использовали лишь в исключительных случаях[13]. «Хотя некоторым кажется, что это будет трудно сделать — потребовать с нас клятвы в чужой стране, — отвечал Эйнар Ярославу, — все же я полагаю, что дело пойдет лучше, если мы используем эту возможность». «И затем дали двенадцать самых выдающихся людей клятву, что они поддержат Магнуса в его борьбе за звание конунга в Нореге и последуют за ним со всей верностью и укрепят его государство во всем». Эйнар (а по другим сведениям, и Кальв, сын Арни) объявил себя приемным отцом конунга Магнуса. Гарантом договора выступил князь Ярослав. Очевидно, что с этого времени Магнус перестал считаться его приемным сыном.

Последующие события подтвердили правильность расчетов русского князя. Зимой 1035 года Магнус покинул Русь.

Он получил поддержку в Швеции (прежде всего благодаря настойчивости его мачехи «королевы Астрид») и с большим войском вступил в Норвегию, где на его сторону перешло все население страны. Свейн бежал в Данию к своему брату Хардакнуту и здесь вскоре умер. Осенью того же года, «в ноябрьские иды» (то есть 13 ноября 1035 года), в Англии скончался и король Кнут Великий. Следующей весной Хардакнут во главе большого войска подошел к норвежским границам, навстречу ему выступило войско Магнуса. Однако до битвы дело не дошло. Конунги встретились и по совету своих умудренных опытом наставников помирились друг с другом. Более того, было решено, что они принесут клятву побратимов и будут соблюдать мир, пока живы; если же один из них умрет, не оставив сыновей, то все его земли достанутся другому. Эта клятва была соблюдена в точности, и после смерти Хардакнута в 1042 году Магнус — правда, не без борьбы — стал правителем Дании. Впрочем, чрезмерное усиление Магнуса, кажется, не входило в планы Ярослава, и его отношения с норвежским и датским конунгом заметно охладели.

Но само утверждение Магнуса на норвежском троне, несомненно, стало большим успехом Ярослава. Он сумел навязать свою волю недавним противникам, а значит, заявил о себе как о политике европейского масштаба. К тому же он сдержал слово, данное Олаву, проявил твердость и последовательность в отстаивании интересов его сына, а это должно было упрочить его авторитет во всем скандинавском мире. Разумеется, русский князь постарался не упустить и те реальные выгоды, которые сулили Руси (и прежде всего Новгороду) распри и дрязги, потрясавшие его северных соседей. С одной стороны, он по-прежнему принимал на службу изгнанников из Скандинавии и использовал их по прямому назначению — в качестве военной силы. С другой, Ярослав не преминул воспользоваться общим ослаблением Швеции, Норвегии, а позднее и Дании для укрепления собственного влияния в тех регионах Восточной Европы, которые прежде входили в орбиту их влияния. Наверное, не будет преувеличением, если мы свяжем со скандинавской политикой князя Ярослава его известный поход в Восточную Прибалтику, о котором летописи сообщают под 1030 годом: «В то же лето пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил град Юрьев»[14].

«Чудь» — в данном случае, эсты, предки нынешних эстонцев. (Слово «чудь» имело в древнерусском языке два значения, обозначая в широком смысле все «чужие» угро-фин-

ские племена Восточной Европы, а в узком — население Восточной Прибалтики.) Новгородские князья собирали с них дань еще во времена новгородского княжения Владимира Святославича, то есть в 70-е годы X века. Но происходило это, по-видимому, от случая к случаю, причем новгородским князьям постоянно приходилось соперничать в этом регионе со скандинавами, прежде всего со шведами. Во втором десятилетии XI века, при Олаве Шётконунге, влияние шведов в Восточной Прибалтике ослабло. Об этом говорили сами шведы, упрекавшие конунга на тинге 1018 года в том, что тот не в состоянии удержать под своей властью «те земли в Восточных Странах (конкретно речь шла о «Эйстланде» — земле эстов, «Курланде» — земле куршей и некоторых других областях. — *А. К.*), которыми раньше владели [его] предки и родичи»[15]. Олав, правда, вел войны в Восточной Прибалтике — и даже успешно, если верить сагам. Но вот после его смерти шведские владения в Прибалтике, по-видимому, сильно сократились. Пока на Руси продолжались междоусобицы, князь Ярослав не мог воспользоваться этим. Но известно, что политика (и особенно геополитика) не терпит пустоты, и политический вакуум с неизбежностью заполняется. Ярослав хорошо помнил о тех временах, когда дань с земли эстов поступала в Новгород, и, как только позволили обстоятельства, двинул свою дружину в Чудскую землю.

На сей раз Ярослав не ограничился установлением даннических отношений. К западу от Чудского озера, на реке Амовже (по-эстонски — Эмайыги), на месте разрушенного русскими же войсками чудского поселения, он поставил город, который укрепил земляным валом и деревянным острогом[16] и назвал «в свое имя» — Юрьев. (Юрий, или, точнее, Гюргий — русское произношение имени Георгий; соответственно, и город в большинстве списков летописи называется не Юрьев, а Гюргев.) «И велел во оной от всея земли дань приносить», — свидетельствует В. Н. Татищев[17]. Этому городу предстояло надолго стать опорным пунктом русского влияния во всей Чудской земле. Как известно, в XIII веке Юрьев был завоеван рыцарями Ливонского ордена и с того времени получил название Дерпт. Ныне это город Тарту в Эстонии.

Выступая в поход на чудь, князь Ярослав не мог не пройти через территорию Псковского княжества, которым, напомню, правил его брат Судислав. Летопись никак не отмечает это обстоятельство и не упоминает имени Судислава, что, очевидно, лишний раз свидетельствует о незначитель-

ной роли, которую играл этот князь в происходивших событиях. По-видимому, Ярослав мог попросту не принимать его в расчет.

В качестве новгородского князя Ярослав активно действовал и на других традиционных для Новгорода направлениях: в Карелии, Заонежье, Подвинье. Здесь его политика отличалась заметным своеобразием. Так, Ярослав посчитал выгодным для себя сохранение особого полусамостоятельного Ладожского «ярлства» на севере Новгородской земли. По-видимому, до 1050 года — года смерти супруги Ярослава Ирины-Ингигерд — оно управлялось скандинавскими правителями, признававшими верховную власть «конунга Ярицлейва». Ярл Рёгнвальд Ульвссон, поставленный правителем Ладоги по настоянию самой Ингигерд, умер около 1030 года, оставив двоих сыновей — Ульва и Эйлива. Последний получил от Ярослава владения своего отца. «У него тоже было много норманнов, и он давал им жалованье по договору. Это звание ярла давалось для того, чтобы ярл защищал государство конунга от язычников», — свидетельствует сага[18].

Надо полагать, Ярослава вполне устраивало подобное положение вещей. Ладожское «ярлство» представляло собой своего рода буферную зону между собственно Русью и скандинавскими землями. Правители Ладоги со своими вооруженными отрядами участвовали в войнах Ярослава и, кроме того, действовали в пользу новгородского князя в прилегающих областях севера Восточной Европы. Судя по показаниям скандинавских саг, какие-то правители-скандинавы сидели и в более мелких городках Ладожской земли — например, в некоем Алаборге, местонахождение которого остается неясным (полагают, что это один из населенных пунктов в нижнем течении реки Олонки, на восточном берегу Ладожского озера); они, в свою очередь, признавали власть правителя Альдейгьюборга, то есть Ладоги[19].

Со второй половины XI века сведения о Ладоге исчезают из скандинавских саг и, наоборот, вновь появляются в русских летописях[20]. Смерть Ирины освободила Ярослава от каких-либо обязательств в отношении этого города, к тому же он перестал нуждаться в услугах наемников-скандинавов. С этого времени Ладога управлялась посадниками киевского (позднее новгородского) князя.

Летописи отмечают и другие походы новгородских дружин на север и северо-восток от Новгорода; вероятно, в них также принимали участие наемники-норманны. Далеко не все из этих походов заканчивались успешно. Так, полагают,

что как раз о подобном походе, возглавляемом неким Улебом, сообщают новгородско-софийские летописи под 1032 годом: «...Тогда же Улеп изыде из Новагорода на Железные Врата, и опять (обратно. — *А. К.*) мало их прииде»[21]. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если помещать эти Железные Врата — вслед за большинством исследователей — на севере Восточной Европы: в устье Северной Двины[22] или еще дальше, в Предуралье[23]. (Определенно писал об этом В. Н. Татищев, по сведениям которого поход был направлен в земли югры, или югдор, — предков нынешних хантов и манси: «Новогородцы со Улебом ходили на Железныя врата, но бысть нещастие, побеждены были новогородцы от югдор»[24].)

Загадочная фигура предводителя похода — Улеба (имя которого более не упоминается в источниках) — не могла не привлечь к себе внимание исследователей. В нем видели либо некоего князя, представителя династии Рюриковичей, либо норманнского наемника — а именно Ульва, сына ярла Ладоги Рёгнвальда Ульвссона, исчезнувшего по неизвестным причинам со страниц саг[25]. Впрочем, существует и иной взгляд на направление действий новгородцев: учитывая, что Железными Вратами на Руси и за ее пределами нередко называли Дербенд (в нынешнем Дагестане), полагали, будто Улеб и его товарищи совершили поход на Кавказ, где, судя по данным восточных источников, в начале 30-х годов XI века действительно проявляли активность некие русские военные отряды (см. об этом ниже). Однако едва ли новгородцы могли уйти так далеко от своего родного города.

Надо сказать, что в Новгороде определенно знали о существовании Железных Ворот (тех самых, что, согласно легенде, поставил в глубокой древности величайший воитель мира Александр Македонский против нечестивых народов Севера Гога и Магога) где-то поблизости от северных границ своей земли[26]. Походы в область югры и Заволочье (Подвинье) новгородские князья совершали и позднее: так, весной 1079 года туда ходил князь Глеб Святославич, внук Ярослава Мудрого; поход этот также окончился трагически — сам князь Глеб погиб, а его спутники бесславно вернулись домой[27]*.

Цель этого и подобных ему военных предприятий впол-

---

* Между прочим, закрадывается сомнение: не этот ли самый поход ошибочно был перенесен летописцами XV века на 47 лет назад и не является ли загадочный новгородец Улеб на самом деле князем Глебом Святославичем? (Имена Улеб и Глеб нередко приводятся в летописи как формы одного и того же имени.)

не очевидна: новгородцев манили пушные богатства Русского Севера. Пушнина была тем товаром, который более всего ценился на рынках и Запада, и Востока и торговля которым приносила баснословные барыши. В конце концов новгородцам удалось освоить бескрайние пространства к северу и северо-востоку от своих земель — но не столько с помощью меча, сколько с помощью мирной торговли. Маршруты предприимчивых новгородских купцов уже во времена Ярослава пролегали в земли югры и самояди (предков нынешних ненцев) и даже еще дальше, то есть в области Крайнего Севера. Отправной точкой этих путешествий чаще всего становилась та же Ладога. Об этом мы узнаем из летописи: около 1118 года киевский летописец записывал рассказы ладожского посадника Павла и «всех ладожан» о том, как их «старые мужи» — вероятно, современники Ярослава — некогда ходили «за югру и за самоядь» и слышали от последних удивительные рассказы о разных чудесных явлениях[28].

Впоследствии, уже после объединения всей Руси под властью Ярослава и его окончательного утверждения в Киеве, его сын и преемник на новгородском престоле князь Владимир Ярославич продолжит активную наступательную политику своего отца. Вероятно, в 1040 году, вместе с отцом, он будет воевать в Литве, а в 1042 году, уже самостоятельно, совершит поход на финское племя емь (хяме, или, по-другому, тавастов). Русские войска одержат победу, однако в целом этот поход вновь завершится неудачно: «Пошел Владимир, сын Ярослава, на ямь, — рассказывает автор «Повести временных лет», — и победил их; и пали кони у воинов Владимировых, так что с еще дышащих коней сдирали кожу — таков был мор в конях»[29].

Будни Новгорода, пребывавшего в состоянии всегдашней военной готовности, рисуют знаменитые берестяные грамоты, извлекаемые из земли археологами. Самые ранние из них датируются XI веком — временем новгородского княжения Ярослава и его сына Владимира. Среди этих грамот — донесения и частные письма новгородских воевод, вероятно, располагавшихся с небольшими военными отрядами в приграничных новгородских крепостях. «Ати буде война, — пишет один из них своим домочадцам, — а на мя почну[т] (нападут. — *А. К.*), а молитися Гостятою (то есть обратитесь через посредничество Гостяты. — *А. К.*) к князю»[30]. А другая грамота, чуть более позднего времени, представляет собой настоящее агентурное донесение: «Литва въстала на корелу» — сообщали новгородскому князю некие дозорные сторожа[31]. Такие краткие донесения, несомненно, получал от

своих лазутчиков и доброхотов и князь Ярослав Владимирович. И во многом благодаря им и он сам, и его преемники на новгородском престоле могли своевременно принимать ответные меры, поддерживая тем самым мир и относительное спокойствие на рубежах своей земли.

В Прибалтике и Скандинавии Ярослав действовал по преимуществу как новгородский князь. Но очень похожей политики — уже в качестве киевского князя — придерживался он в эти годы в отношении еще одного соседа Руси — Польши, где после смерти в 1025 году короля Болеслава Великого началась полоса смут и потрясений, едва не приведших к распаду всего государства. И здесь тоже Ярослав попытался вмешаться во внутренние дела соседней страны — и вновь сумел добиться несомненного успеха.

Суть происходивших в эти годы в Польше и вокруг нее событий и роль в этих событиях Руси и русского князя Ярослава Владимировича остаются не вполне ясными — прежде всего из-за явного недостатка источников. Польские хроники — и это вполне объяснимо — не сообщают почти никаких подробностей о смутах и междоусобицах в стране. («По уходе короля Болеслава из мирской жизни, — патетически восклицал Галл Аноним, — золотой век сменился свинцовым. Польша, прежде царица, разукрашенная в сверкающее золото и драгоценности, теперь засыпана прахом во вдовьем одеянии...») Имеющиеся же в нашем распоряжении немецкие источники противоречат друг другу, хотя именно они позволяют дополнить и прояснить сведения русских летописей и дают возможность хотя бы предположительно восстановить более или менее целостную картину происходящего.

Судя по свидетельству Титмара Мерзебургского, Болеслав имел трех сыновей от разных жен: старший, Бесприм, родился от жены-венгерки; матерью двух других — Мешко и Оттона — была Эмнильда, дочь некоего славянского князя Добромира. Бесприм, кажется, не пользовался отцовской любовью: Болеслав отослал его в Италию, где тот вынужден был в течение нескольких десятилетий жить в одном из монастырей. Власть над Польшей Болеслав завещал Мешко, которого видел продолжателем своего дела. Тот действительно попытался во всем продолжить политику своего отца и, в частности, короновался в Гнезно — причем без всякой санкции папского престола. Покушение на королевскую корону, разумеется, с неприязнью было воспринято в Герма-

нии и вызвало настоящий приступ ярости у нового германского короля (с 1027 года императора) Конрада II, сменившего умершего в 1024 году Генриха II. Впрочем, до времени Конрад не имел возможности вмешиваться в польские дела, поскольку был слишком занят утверждением собственной власти в Империи; отдельные же представители германской знати даже приветствовали коронацию Мешко (об этом свидетельствует дошедшее до нас письмо к польскому королю Матильды, жены лотарингского герцога Фридриха)[32]. Однако неизбежность новой войны между Германией и Польшей отчетливо ощущалась в обеих странах.

Отношение к Мешко в самой Польше, по-видимому, было далеко не однозначным. «Этот Мешко был достойным воином и совершил много военных подвигов, — писал о нем Галл Аноним. — Из-за зависти к его отцу и он был ненавистен всем соседям; и не был богат, как его отец, и не имел ни жизненного опыта, ни доброго нрава». «Он только о себе заботился, отнюдь не о государстве», — еще резче отзывался о Мешко автор «Великопольской хроники». Галл Аноним приводит красноречивую подробность, вероятно, основанную на слухах. «Говорят также, что он во время переговоров, ввиду измены, был взят чехами в плен, связан ремнями и кастрирован для того, чтобы не мог дать потомства, так как его отец, король Болеслав, причинил им подобную же обиду, ослепивши их князя (речь идет об ослеплении в 1003 году чешского князя Болеслава III Рыжего. — *А. К.*)... Мешко, правда, освободился из плена, но с женой своей больше не жил»[33].

Насколько достоверно это сообщение и когда именно мог быть оскоплен сын Болеслава, в точности неизвестно. Впрочем, Мешко в любом случае успел оставить потомство. Еще при жизни отца он вступил в брак с племянницей императора Оттона III Рихезой (Риксой), от которой, по-видимому, имел двух сыновей — Болеслава и Казимира, будущего восстановителя Польши.

К моменту смерти отца Бесприм, кажется, по-прежнему отсутствовал в стране; Оттон же — если источники не путают его с братом — пожелал получить свою долю отцовского наследства. Но Мешко и здесь следовал примеру родителя: в свое время тот изгнал из Польши мачеху и ее сыновей, своих единокровных братьев; теперь та же участь постигла Оттона. Последний нашел убежище на Руси, у князя Ярослава Владимировича. Уникальное известие на этот счет сохранилось в «Жизнеописании императора Конрада II», написанном в 40-е годы XI века Випо (Випоном), капелланом

императора Конрада, жившим затем при дворе его преемника Генриха III.

«Когда умер вышеназванный Болеслав, герцог поляков, — пишет Випо, — он оставил двух сыновей, Мешко и Оттона (о существовании Бесприма Випо не знает. — *А. К.*). Мешко, преследуя своего брата Оттона, изгнал его в Русию». По словам Випо, Оттон провел на Руси «некоторое время» (по расчетам исследователей, шесть лет), живя здесь «жалким образом»[34]. По-видимому, он пребывал либо в Киеве, либо в каком-то другом городе южной Руси, но не при дворе князя в Новгороде. В отличие от знатных изгнанников из Скандинавии, брат Мешка не мог претендовать на родство с Ярославом; отсюда, вероятно, и проистекало то очевидное пренебрежение к нему со стороны русского князя, которое дало основание говорить современникам о его «жалком» состоянии. Но при этом польский князь занимал немаловажное место в политических расчетах Ярослава.

По свидетельству Випо, изгнанный «в Руссию» Оттон обратился к императору Конраду, «чтобы при помощи и содействии его вернуться на родину. Император, желая действовать, решил, что нападет на Мешко с одной стороны, а брат Оттон — с другой». Разумеется, находясь на Руси, польский изгнанник не мог вести подобные переговоры без дозволения князя Ярослава; более того, можно предположить, что именно Ярослав определял общее направление его действий. Во всяком случае, только он мог дать Оттону войско, необходимое для возвращения на родину. Так русский князь получил возможность вступить в переговоры с германским императором и согласовать с ним общую линию поведения в отношении Польши.

Военные действия между Польшей и Германией начались еще в 1028 году с нападения Мешка на саксонские земли. В течение первых двух-трех лет успех переходил то на одну, то на другую сторону; в войну оказались втянуты соседние государства: Дания, Чехия, Венгрия, а затем и Русь. В конце концов, именно совместные усилия германского императора и русского князя решили исход борьбы за польский престол.

Первый поход Ярослава против польского князя летопись датирует 1030 годом, сообщая очень кратко: «Ярослав Белзы взял». (Этот поход непосредственно предшествовал известному нам походу Ярослава на чудь.) Белзы, или, точнее, Белз на реке Жолокии, притоке Западного Буга (в нынешней Львовской области Украины), — один из Червенских градов; он расположен в низменности, в исключитель-

но плодородной местности. Летопись не называет имени противника Ярослава и вообще очень путано излагает польские события того времени, сообщая под тем же 1030 годом о смерти Болеслава и каком-то «великом мятеже» в Польше: «В се же время умре Болеслав Великий в Лясех (Польше. — *А. К.*), и бысть мятеж [великий] в земле Лядской: восстали люди и избили епископов, и попов, и бояр своих, и был в них мятеж»[35]. Эти сведения, очевидно, ошибочны: Болеслав I умер еще в 1025 году, а мощное восстание, потрясшее до основания Польшу, судя по польским источникам, вспыхнуло после смерти другого Болеслава — сына Мешка, вошедшего в польскую историографию под именем Болеслава Забытого. Но основное содержание летописного известия не вызывает сомнений: кажется очевидным, что Ярослав попытался воспользоваться трудностями, переживаемыми Польшей, для восстановления своей власти над утраченной территорией. Впрочем, в это время он, кажется, еще не согласовывал свои действия с Конрадом.

Во всяком случае, успех его оказался скромным[36]. Основная цель польской политики Русского государства — возвращение всех Червенских градов — так и не была достигнута. Надо думать, что именно это обстоятельство заставило русского князя с большей серьезностью отнестись к следующему походу на Мешко и предпринять шаги не только военного, но и дипломатического характера.

Прежде всего, Ярослав заручился поддержкой своего брата Мстислава. К следующему году военные силы новгородского и черниговского князей объединились. Ярослав договорился с братом о совместном наступлении на Польшу. Договоренность относительно возможности таких согласованных действий по требованию одного из князей, очевидно, была достигнута еще раньше (может быть, даже во время встречи в Городце в 1026 году); кажется, Ярослав мог сослаться и на уже имевшийся у братьев опыт совместного ведения войн (см. об этом ниже). Мстислав согласился помочь, тем более что поход на Польшу сулил немалую выгоду. В результате силы русских князей к 1031 году по меньшей мере удвоились, что и обеспечило полный успех начавшейся кампании.

«В лето 6539 (1031), — свидетельствует летописец, — Ярослав и Мстислав собрали воинов многих, пошли на ляхов и заняли грады Червенские опять, и повоевали Лядскую землю; и многих ляхов привели и разделили их: Ярослав посадил своих по Роси (реке к югу от Киева. — *А. К.*); и пребывают они там и до сего дня». В этом походе в составе дружины Яросла-

ва приняли участие и его скандинавские наемники — ярл Ладоги Эйлив Рёгнвальдссон и Харальд; вероятно, ими были совершены какие-то необыкновенные подвиги, поскольку позднее этот поход воспевал исландский скальд Тьодольв Арнорссон, живший при дворе Харальда Сурового: «Воины задали жестокий урок ляхам» (или, как в стихотворном переводе О. А. Смирницкой: «Изведал лях / Лихо и страх»)[37].

Киевскому летописцу осталась неизвестна тайная, дипломатическая подоплека русско-польской войны. Так, он ничего не знал ни о пребывании на Руси изгнанного из Польши сына Болеслава, ни о шедшей одновременно войне между Польшей и Германией. Между тем из процитированного выше сочинения Випо и других немецких источников следует, что наступление на Червенские грады Ярослава и Мстислава происходило одновременно (или почти одновременно) с вторжением в Польшу с запада германских войск императора Конрада, о чем, как мы помним, Конрад и Ярослав договорились еще раньше через посредство брата Мешка (предположительно, Оттона). Последний также участвовал в войне (очевидно, в составе дружины Ярослава), и надо думать, что именно его и Конрад, и Ярослав видели в качестве наиболее приемлемого кандидата на польский трон. «Не имея силы вынести этот натиск, — сообщает Випо, — Мешко бежал в Богемию к герцогу Удальрику (чешскому князю Олдржиху. — *А. К.*), на которого тогда разгневался император». (Правда, Випо датирует поход Конрада и Оттона 1032 годом, но это явная ошибка, исправляемая по другим немецким хроникам.)

Впрочем, это не единственная версия, имеющаяся в источниках. Иначе рассказывают о происходивших в Польше событиях другие немецкие хроники, и прежде всего так называемые Хильдесхаймские анналы, которые велись при Хильдесхаймском монастыре в Саксонии. Их авторы, внимательные к польским делам, ничего не сообщают об Оттоне (и даже не знают о существовании сына Болеслава с таким именем), равно как и о военных действиях в Польше русских князей, зато называют имя другого брата Мешка — Бесприма, которому якобы и удалось прийти к власти. «Император с немногочисленными саксонцами преследовал славян, — читаем мы под 1031 годом, — осенью напал на них, и у Мешка, который ему сопротивлялся, область Лужицы захватил, в чем ему помогли знатные саксонцы, после чего была заключена мирная клятва. Лишь через месяц Мешко внезапно столкнулся с братом Бесприм, был изгнан и бежал после изгнания к Удальриху в Чехию»[38].

При всем отличии обеих версий — Випо и хильдесхаймского хрониста — между ними нельзя не увидеть очевидного сходства. Випо не знает о существовании Бесприма, но рассказывает о вторжении в Польшу извне брата Мешка Оттона; автор Хильдесхаймских анналов, напротив, не упоминает Оттона, но знает лишь Бесприма, и этот последний — точно так же, как Оттон у Випо, — вторгшись в страну, изгоняет Мешка в Чехию. Сходство усиливается тем, что оба автора сообщают о скорой гибели брата Мешка (соответственно, Оттона или Бесприма); только хильдесхаймский хронист датирует гибель Бесприма 1032 годом, а Випо гибель Оттона — 1033-м (Випо вообще сдвигает хронологию событий на один год). Соответственно, было высказано предположение, что речь у обоих авторов идет об одном и том же брате Мешка и что Оттон и Бесприм — одно и то же лицо[39]. По-видимому, это не так, поскольку существование трех братьев Болеславичей зафиксировано не только Титмаром Мерзебургским, но и хильдесхаймским хронистом[40]. Другое дело, что в своих рассказах о распрях в Польше оба немецких автора определенно смешивают Оттона и Бесприма и, скорее всего, действительно повествуют об одних и тех же событиях. (Иначе совершенно невозможно объяснить, куда же исчез Оттон после изгнания из страны Мешка и почему он уступил власть Бесприму, если тот явился из Италии, очевидно, без серьезной военной поддержки.)

Так или иначе, но брат Мешка недолго продержался у власти. Хильдесхаймский автор рассказывает о том, как Бесприм (под которым, может быть, следует понимать Оттона) поспешил выполнить все требования императора Конрада: он отказался от короны и отослал ее в Германию вместе с женой Мешка Рихезой, а себя объявил вассалом германского императора. Этот явный акт капитуляции перед Империей, а также неумеренная жестокость нового правителя Польши вызвали взрыв возмущения в стране, которым умело воспользовались политические противники нового польского князя, и прежде всего сам Мешко. «В том же году, — продолжает автор Хильдесхаймских анналов под 1032 годом, — Бесприм проявил жестокость и тиранство, что привело его, не без участия в этом братьев, к смерти, а Мешко без задержки вернулся домой». Впрочем, и сам Мешко вынужден был искать поддержки у императора Конрада. 7 июля 1032 года на съезде в Мерзебурге он публично отказался от претензий на королевскую корону. Вскоре, однако, он нарушил условия договора, заключенного с императором, но естественный ход событий был прерван еще раз. В 1034 году Мешко был убит, и в Поль-

ше началась подлинная анархия, завершившаяся лишь в 1038/39 году с утверждением на престоле князя Казимира.

Судя по всему, после похода 1031 года Ярослав не вмешивался прямо в польские дела, удовлетворившись выполнением своей главной задачи — возвращением под власть Киева Червенских градов. Теперь нужно было обустраивать их, утверждать здесь свою власть. Как всегда в подобных случаях, он довольствовался меньшим, предпочитая, что называется, синицу в руках журавлю в небе.

Союзнические отношения князя Ярослава с императором Конрадом, по-видимому, сохранялись и после 1031 года[41]. Можно думать, что именно признание со стороны Империи суверенитета Руси над Червенскими градами стало компенсацией за невмешательство русских князей во внутренние дела собственно Польши. Но до прочного мира между Русью и Польшей было еще далеко. Ни Мешко, ни сменивший его на польском престоле Болеслав Забытый, по-видимому, так и не признали новой русско-польской границы. Во всяком случае, русский полон, захваченный Болеславом Великим еще в 1018 году, оставался в Польше в течение следующего десятилетия и был возвращен на Русь лишь при князе Казимире Восстановителе.

Что же касается польского полона, захваченного русскими князьями в Червенской области, то о его судьбе рассказывает русская летопись, текст которой мы привели выше. Очевидно, что переселение ляхов из Побужья (Червенских градов) должно было усилить русское влияние в этом крае. (Исследователи отмечают, что само понятие «Червенские грады» после событий 1031 года исчезает из источников[42].) Не менее важным для Ярослава было и укрепление своей южной границы за счет размещения там постоянного и всецело зависящего от княжеской власти населения. Подобную политику русские князья проводили и до, и после Ярослава. Так, в свое время отец Ярослава Владимир Святой заселял города по Десне, Остру, Трубежу, Суле и другим рекам на русско-печенежском пограничье «лучшими людьми» из чуди, кривичей, новгородских словен и иных славянских и угрофинских племен. Переселенцы волей-неволей становились оплотом княжеской власти в новой для себя местности.

Ярослав расселил «своих» ляхов по Роси — правому притоку Днепра*. (Археологи действительно находят здесь яв-

* В. Н. Татищев сообщает, что пленные поляки были расселены и «около Чернигова». Если это известие верно, то оно, по-видимому, имеет в виду ту часть польского полона, которая досталась князю Мстиславу.

ные следы западнославянской культуры[43].) Устье этой реки издавна принадлежало Руси: там располагался город Родня (или Родень), старый языческий центр полян, упомянутый летописцем под 980 годом. Однако отец Ярослава князь Владимир создавал оборонительный пояс из городов-крепостей на Правобережье значительно севернее: по реке Стугне. При Ярославе южная граница Руси отодвинулась почти на день пути — это было громадным завоеванием, важнейшим результатом двух десятилетий мира с кочевниками южнорусских степей. В полной мере результаты строительства новой линии укреплений по реке Рось скажутся уже после смерти князя Ярослава, при его внуках и правнуках, когда начнутся изнурительные войны с новыми хозяевами Степи, половцами, и именно «росские грады» примут на себя главный удар воинственных степняков.

Автор «Повести временных лет» сообщает о строительстве новых княжеских городов на южном порубежье под 1032 годом, отмечая при этом личное участие князя: «Ярослав начал ставить города по Роси». Конечно, строительство заняло не один год, но летописец определенно связывал начало этого процесса с завершением польского похода. Два города, поставленные Ярославом, называет под тем же 1032 годом Тверская летопись: это Корсунь на реке Рось и Треполь на Стугне[44]. Но главным из «росских градов», несомненно, стал Юрьев, который — как и одноименный город в Чудской земле — получил свое название по христианскому имени князя Ярослава Владимировича. Как установили археологи, Юрьев Русский находился на месте нынешней Белой Церкви в Киевской области Украины. Этому городу суждено было стать главным оплотом Древнерусского государства на границе со Степью, а также центром особой Поросской епархии, созданной Ярославом. Расположенная на самом юге Русского государства и не имевшая четко обозначенных границ, эта епархия была обращена в сторону необозримой Степи, partes infidelium («пределов неверных») и создана с очевидными миссионерскими целями. Юрьевский епископ, как и глава соседней белгородской епархии, стал викарием Киевской митрополии, то есть призван был замещать киевского митрополита в случае его отсутствия[45].

Отметим, между прочим, одно обстоятельство, кажущееся весьма многозначительным: если во время ростовского княжения Ярослав назвал основанный им город своим княжеским именем — *Ярославль*, то теперь основанные им города получали названия по имени его христианского свято-

го — *Юрьев*, или, точнее, *Гюргев*. Можно полагать, что изменения в наречении новых градов отразили какие-то существенные и вполне ощутимые сдвиги, произошедшие в сознании русского князя. Но о них мы поговорим позже.

Завершая рассказ о внешней политике князя Ярослава в конце 20-х — первой половине 30-х годов XI века, нельзя не упомянуть еще об одном его военном походе, уникальное известие о котором сохранилось в Никоновской летописи. Под 1029-м, «мирным», годом летописец XVI века записал следующее: «Ярослав ходил на ясы и взял их. Сие же лето бысть мирно по всей земле Русской, отвсюду»[46].

Очевидное противоречие, содержащееся в летописной статье, свидетельствует о соединении в ней двух разных источников. Относительно мира «по всей земле Русской» все ясно: об этом, напомним, сообщает под тем же 1029 годом и автор «Повести временных лет». Но откуда извлечено известие о походе Ярослава на ясов, то есть на аланов, живших в Предкавказье и на Северном Кавказе?

Ответа на этот вопрос мы не знаем. Никоновская летопись — источник поздний и очень сложный; далеко не все ее известия, относящиеся к X—XI векам, заслуживают доверия. Но и безоговорочно отбрасывать их не стоит, тем более что кое-какими сведениями об активизации русской политики на Кавказе как раз в конце 20-х — начале 30-х годов XI века мы располагаем и ясский поход Ярослава, пожалуй, вписывается в общую политическую ситуацию в регионе. Но если мы принимаем летописное известие об этом походе, то должны задаться еще одним вопросом: что могло подвигнуть князя Ярослава на военные действия на столь значительном удалении от Киева и Новгорода, в той части Восточной Европы, которая входила в сферу влияния отнюдь не самого Ярослава, но его брата, князя Мстислава Владимировича?

Очевидно, только необходимость совместных действий с братом. Напомним, что два года спустя, в 1031 году, Ярослав и Мстислав совместно действовали в Польше, причем инициатива исходила тогда от Ярослава. Вполне вероятно, что в 1029 году имел место такой же общий поход двух братьев, но на этот раз уже в ином направлении и по инициативе младшего из князей.

Нам мало что известно о внешней политике князя Мстислава Черниговского. Судя по молчанию источников и некоторым смутным намекам византийских хроник, его отно-

шения с Византией и Печенежской Степью оставались вполне мирными. И вообще этот князь — несмотря на свою беспримерную личную храбрость — в зрелые годы, кажется, не склонен был безрассудно ввязываться в войну, предпочитая добрый мир худой ссоре. Кавказ — пожалуй, единственное направление, в отношении которого имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют говорить о его заметной военной активности.

Отправляясь в Чернигов, Мстислав, по-видимому, оставил в Тьмуторокани своего сына, который известен нам лишь по своему христианскому имени — Евстафий[47]. (Его княжеское имя в источниках не сохранилось.) Насколько самостоятелен был Мстиславич в своей политике в отдаленном от остальной Руси «Тьмутороканском острове» и насколько вообще военные походы тьмутороканских русов тех лет могли контролироваться княжеской властью, мы не знаем. Зато знаем другое: именно в начале 30-х годов XI века «русская угроза» вновь, как и за много лет до этого, заставила содрогнуться многие районы Кавказа и Закавказья.

После подчинения Касожской земли влияние тьмутороканского князя распространилось на значительные пространства Северного Кавказа, включая те области, которые традиционно входили в сферу влияния Алании — сильнейшего государственного образования в центральной части Северного Кавказа. Некогда, еще при князе Святославе Игоревиче, аланы были подчинены русскими, что давало основание правителям Тьмуторокани рассматривать их как своих потенциальных данников. С другой стороны, сами аланы издавна претендовали на касожские земли (вошедшие теперь в состав Тьмутороканского княжества), стремясь прорваться к черноморскому побережью и захватить крепости и порты, связывавшие Северный Кавказ с торговыми центрами Малой Азии[48]. Еще в середине X века, по свидетельству восточных источников, царь аланов мог выставить до 30 тысяч всадников. «Он могуществен, мужествен, очень силен и ведет твердую политику среди царей», — писал знаменитый арабский историк и географ Масуди[49]. В начале XI века аланское войско по-прежнему представляло значительную силу. Не исключено, что уход Мстислава с русскими и касожскими дружинами из Тьмуторокани в Чернигов спровоцировал русско-аланский конфликт, отзвуки которого нашли отражение в известии Никоновской летописи о походе Ярослава на ясов.

Но война эта — если она имела место в действительности — должна была завершиться скорым миром. Восточные

источники ничего не сообщают о ней[50], но, напротив, свидетельствуют о совместных действиях аланов и русов в Восточном Закавказье. По-видимому, между ними был заключен не просто мир, но военный союз, основанный на общности интересов обоих государств (Алании и Тьмутороканской Руси) на традиционном для них направлении — в Закавказье. Недавно потерпевшие неудачу в Кахетии, аланы вознамерились прорваться к Каспийскому морю через Дагестан и Азербайджан и привлекли на свою сторону русов, которые имели богатый опыт грабительских набегов на эти прикаспийские области.

Уникальные сведения о походах русов и аланов в Восточное Закавказье в начале 30-х годов XI века содержатся в арабской «Истории Ширвана и Дербенда», составленной в XI веке, но дошедшей до нас лишь в изложении турецкого историка XVII века Мюнежжим-баши[51]. Как следует из этого источника, после смерти в 1027 году ширваншаха (правителя Ширвана) Йазида бен Ахмада внутриполитическая ситуация в этом крупнейшем мусульманском государстве северного Азербайджана заметно обострилась. К тому же началась очередная война между Ширваном и соседним Дербендом, сильнейшей мусульманской крепостью на Каспийском море, в буквальном смысле запиравшей узкий проход в Восточное Закавказье вдоль восточных отрогов Главного Кавказского хребта. В 1030 году, очевидно, воспользовавшись сложностью обстановки в обоих государствах, в Ширван вторглись отряды русов, которые приплыли на 38 судах (это порядка двух тысяч человек). Ширваншах Минучихр бен Йазид встретил русов около Баку, однако потерпел сокрушительное поражение: множество ширванцев было убито, а русы двинулись вверх по реке Куре. Минучихр вновь попытался остановить их, перегородив реку, но опять не добился успеха. Затем русы вступили на территорию Аррана (по-другому, Кавказской Албании, еще одного мусульманского государства в Азербайджане), где в то время шла междоусобная война между правителем Гянджи Фадлом бен Мухаммедом и его сыном Аскарийа (Аскуйа), союзником Минучихра. Старший сын Фадла Муса поспешил привлечь русов на свою сторону; он «дал им много денег и повел на Байлакан (крепость близ слияния Куры и Аракса, в которой укрылся Аскарийа. — *А. К.*)... С помощью русов он овладел Байлаканом и схватил и убил своего брата...» (В местной кавказской традиции разгром Байлакана был приписан одним русам, о чем рассказывает поэт XII века Масуд Ибн Намдар[52].) После этого русы ушли из Ар-

рана «в Рум» (надо полагать, в западную часть Закавказья, находившуюся в то время под влиянием Византии), а оттуда «в свою страну».

Спустя два года, в 1032 году, русы вернулись в Ширван, на этот раз вместе с аланами и сарирцами (то есть аварцами, жителями Сарира, государства в Дагестане, которые, будучи христианами, постоянно выступали союзниками аланов)*. Русы опустошили Ширван, взяв силой столицу Йазидидов; «там и в других местах Ширвана они убили свыше 10 тысяч человек и оставались в стране 10 дней», предаваясь безудержному грабежу. Затем русы и аланы двинулись в обратный путь, избрав по какой-то причине сухой путь через Дагестан. Возможно, они рассчитывали на союз с эмиром Дербенда Мансуром бен Маймуном, враждовавшим с ширваншахом. (Мансур был сыном того самого Маймуна бен Ахмада, на службе у которого находился многочисленный русский отряд из Тьмуторокани в 80-е годы X века; об этом, конечно, в Тьмуторокани помнили.) Однако на этот раз русов и аланов ждала катастрофа. «Когда их руки наполнились мусульманским добром, — рассказывает автор хроники, — они направились в свою страну, но едва они дошли до Деревянных Ворот (?), как люди пограничных областей ал-Баба (Дербенда. — *А. К.*) напали на них, преградили дороги и ущелья и убили многих из них: это была резня, подобной которой никогда не упоминалось». Расправой руководил лично эмир Мансур. Спастись сумел лишь небольшой отряд вместе с «правителем аланов». На следующий год русы и аланы «вознамерились отомстить» за гибель своих товарищей. Они «собрались вместе и выступили по направлению ал-Баба и пограничных областей». Однако у Караха натиск русов и аланов был отбит немногочисленным мусульманским войском во главе с неким Хусравом и ал-Хайсамом бен Маймуном, которого источник называет «раисом» (представителем торгово-ремесленной знати Дербенда) дубильщиков. «Властитель аланов был силой отражен от ворот Караха, и навсегда были прекращены притязания неверных» на эти земли, завершает свой рассказ о войнах с аланами, русами и сарирцами автор «Истории Ширвана и Дербенда»[53].

Может быть, нам и не следовало уделять столько внимания событиям, происходившим вдалеке от Новгорода и

* В «Истории Ширвана и Дербенда» о событиях 1032 года говорится противоречиво: в первой части «Истории», посвященной правителям Ширвана, рассказывается о вторжении в Ширван сарирцев и алан; во второй — «О правителях Баб ал-Абваба» (то есть Дербенда) — о русах и аланах.

Киева и вроде бы совершенно не связанным с князем Ярославом. Но два обстоятельства заставили нас все же обратиться к ним. Во-первых, нельзя исключать полностью того, что в событиях в Закавказье принимали участие новгородцы, действовавшие здесь с согласия своего князя. Во всяком случае, такое предположение высказывалось в литературе: историки обратили внимание на хронологические и иные совпадения рассказа мусульманской «Истории Ширвана и Дербенда» о катастрофе русов и аланов возле «Деревянных Ворот» с сообщением новгородско-софийских летописей о неудачном походе в том же 1032 году новгородца Улеба к «Железным Воротам» (см. об этом выше), под которыми, в соответствии с известной мусульманской традицией, могли понимать именно Дербенд[54]. И, во-вторых, даже если отвергать это предположение (которое представляется все же ошибочным[55]), нельзя не признать, что столь активное вмешательство русов во внутренние дела закавказских стран свидетельствует о значительном усилении русского влияния на Северном Кавказе и в Закавказье. Последнее же явилось прямым следствием кавказской политики князя Мстислава Тьмутороканского, начатой им с завоевания Касожской земли.

Поведение русов в Ширване, Арране и Дербенде обличает в них, прежде всего, искателей легкой наживы, наемников-авантюристов, каковыми, скорее всего, и были эти люди. Едва ли их действия определялись государственным интересом или соображениями государственной безопасности. Но даже если ни Мстислав в Чернигове, ни Евстафий в Тьмуторокани (ни тем более Ярослав в Новгороде или Киеве) не причастны к разыгравшимся на юге драматическим событиям, они все же обязаны были принимать их в расчет, учитывать в своих дальнейших действиях. В первую очередь это касается, конечно, Мстислава. Но и Ярослава тоже. Политика его брата, в том числе и на юге, не могла не оказывать на него определенного влияния — точно так же, как и политика самого Ярослава в Польше или Прибалтике влекла за собой те или иные действия черниговского князя. Киев и Чернигов (или, точнее, Чернигов и Новгород) были в те годы не просто центрами двух вполне самостоятельных государственных образований, но и важнейшими центрами собственно Руси, стольными градами двух родных братьев, каждый из которых в равной степени ощущал себя наследником власти своего отца, распространявшейся на всю Русскую землю. И Ярослав, и Мстислав отчетливо сознавали, что при определенных обстоятельствах они могли (и долж-

ны были) объединить в своих руках обе части Русского государства. А следовательно, оба с неослабевающим вниманием следили за каждым шагом друг друга, равно как и за тем, что происходило в соседних землях, будь то Прибалтика, Польша или Кавказ.

История княжения Ярослава в эти годы, разумеется, не может быть сведена лишь к его внешнеполитической деятельности. Более того, кажется несомненным, что внешние успехи были для князя, прежде всего, необходимым условием упрочения собственной власти и проведения внутренних преобразований в той части Русского государства, которой он владел. Об этом красноречиво свидетельствуют и предпринятое им строительство новых городов на северных и южных рубежах страны, и массовые переселения — прямые следствия его успешных походов в земли чуди и ляхов. В этом смысле Ярослав успешно продолжал дело, начатое его отцом Владимиром, — государство приобретало все более ясно очерченные формы, четко обозначенные границы, постепенно стирались различия между отдельными славянскими племенами.

Новгородско-софийские летописи сохранили уникальные известия и о других мероприятиях Ярослава, которые были проведены им в Новгороде еще в 1030 году, сразу же после возвращения в этот город после победоносного чудского похода.

Придя к Новгороду, рассказывает летописец, Ярослав «собрал от старост и от поповых детей 300 — учить книгам»[56]. В свое время нечто подобное проделал князь Владимир на юге Руси, в Поднепровье: он также «начал забирать у нарочитой чади детей и начал отдавать их на учение книжное. Матери же детей этих, — писал автор «Повести временных лет», — плакали по ним, словно по мертвым, потому что не были еще тверды в вере». За сорок с лишним лет, прошедших со времени Крещения Руси, христианская вера успела утвердиться, главным образом, в городах, причем на юге, в Поднепровье, в большей степени, чем в Новгороде или, тем более, в Северо-Восточной Руси. Ярослав же, по всей видимости, вполне отдавал себе отчет в том, что именно распространение грамотности и книжной, христианской культуры лучше всего может послужить упрочению княжеской власти и консолидации общества. И успехи его в этой области оказались не менее впечатляющими, чем на внешнеполитической арене. Сегодня, после замечательных откры-

тий российских археологов, мы хорошо знаем об исключительно высоком уровне грамотности населения Новгорода и других русских городов; грамотными здесь были люди самых разных слоев общества: бояре, купцы, ремесленники, простолюдины (не говоря уже о священниках и монахах) — причем и мужчины, и женщины. В Новгороде же при князе Ярославе Владимировиче возник и один из первых на Руси центров по переписке книг — предшественник знаменитого киевского скриптория Ярослава Мудрого.

Совсем недавно были обнаружены и прямые, вещественные следы учительной деятельности новгородских ревнителей христианства, современников и сподвижников Ярослава. В июле 2000 года на Троицком раскопе Новгорода были найдены три соединенные вместе деревянные дощечки, покрытые воском, — своеобразная деревянная книжечка, цера. Такие церы, использовавшиеся, как правило, для учебных целей, были известны еще в Древнем Риме, а затем получили распространение в Западной Европе; находили их прежде и в Новгороде, но почти всегда с осыпавшимся воском. На этот раз, благодаря мастерству и титаническим усилиям реставраторов, церу удалось восстановить и прочитать: на частично осыпавшемся воске оказались тексты 75-го и 76-го псалмов, а также несколько стихов из 67-го псалма. В православном богослужении Псалтирь разделяется на двадцать кафизм (частей), и именно по ним текст Псалтири при обучении грамоте заучивался наизусть. 75-й и 76-й псалмы относятся к десятой кафизме, а 67-й — к предыдущей девятой; очевидно, стихи 67-го псалма, прочитавшиеся на последней странице «Новгородской Псалтири», представляют собой остатки предшествующего, стертого слоя: они уже были заучены, и ученики неизвестного нам наставника перешли к следующей кафизме Псалтири. Об учебном назначении новгородской находки свидетельствуют и едва различимые надписи на бортиках церы: «Без чину службы и часов же всех, без отпевания душ» (то есть: «Не для церковной службы и не для отпевания умерших»), «Без от себе прогнания всех людей, без отлучения алчущих знания» («Для привлечения всех людей, для алчущих знания»). И далее: «Сия книга Псалтирь — сиротам и вдовицам утешение мирное, странникам недвижимое море, рабичищем несудимое начинание».

Текст на цере написан уверенной рукой давно грамотного человека, причем именно русским книжником, пользовавшимся, по-видимому, болгарским оригиналом. А между тем уже датировка деревянных дощечек повергла в изумле-

ние ученых. Цера попала в землю ранее 1036 года! (Это можно сказать с уверенностью, поскольку прямо над ней археологами был открыт деревянный сруб, бревна которого по методам дендрохронологии датируются именно этим годом; проведенный позднее радиокарбонный анализ воска назвал еще более впечатляющие цифры: воск датируется временем до 1030 года*.) Но главная сенсация новгородской находки выяснилась позже, когда главный филолог Новгородской археологической экспедиции и крупнейший отечественный лингвист Андрей Анатольевич Зализняк сумел прочитать на деревянной основе церы остатки какого-то еще более раннего текста, представляющего собой некое неизвестное в древнерусской книжности наставление принимающим христианскую веру — «Законъ, да познаеши христианскаго наказания». «Да будем работниками Ему (Иисусу. — *А. К.*), а не идольскому служению, — наставлял неизвестный нам проповедник вчерашних язычников. — От идольского обмана отвращаюсь. Да не изберем пути погибели. Всех людей избавителя Иисуса Христа, над всеми людьми приявшего суд, идольский обман разбившего и на земле святое свое имя украсившего, достойны да будем»[57].

Так в руках археологов оказалась древнейшая на сегодняшний день русская книга. Наверное, можно предположить, что ее появлением на свет в первую очередь мы обязаны тем усилиям по насаждению грамотности и христианского просвещения в Новгороде, которые предпринимал на рубеже 20—30-х годов XI столетия новгородский князь Ярослав Владимирович.

Тем же 1030-м годом летописи датируют еще одно новгородское событие: смерть первого новгородского епископа Иоакима, занимавшего кафедру в течение более чем сорока

---

* С более чем 90-процентной вероятностью воск датируется временем между 760 и 1030 годами. Исследователи склонны датировать новгородскую церу концом X — первым десятилетием XI века, то есть временем даже более ранним, чем княжение в Новгороде Ярослава. Отметим также, что на том же Троицком раскопе в слое первой четверти XI века была обнаружена берестяная иконка с изображением на одной стороне Христа, а на другой — святой Варвары, держащей в руках крест; здесь же читалось греческое слово «агиос» («святая») и надпись русскими буквами: «Варвара». На иконке процарапана также надпись, которая может быть расшифрована как число 6537 — то есть 6537 год от Сотворения мира (=1029/30 год от Рождества Христова).

Если цера действительно датируется временем ранее 1030 года, то это может свидетельствовать либо о том, что новгородская школа, основанная Ярославом, была далеко не первой в городе, либо о том, что дата, названная в летописи, является условной и в статье 1030 года объединены события, происходившие в Новгороде ранее.

лет. Он был похоронен в церкви святых Иоакима и Анны, некогда возведенной им самим*. Место Иоакима во владычных палатах занял его ученик Ефрем — «иже ны учаше» (то есть который нас учил), как написал о нем новгородский летописец. По мнению исследователей, последнее замечание вполне могло принадлежать человеку, относившему себя к числу непосредственных учеников Ефрема, может быть, даже одному из тех трехсот «старостовых и поповых» детей, которые обучались под его руководством в училище, основанном Ярославом[59]. Впрочем, такое понимание летописного текста, наверное, не обязательно: слово «ны» могло относиться и к новгородцам вообще, а не только к современникам Ефрема[60].

В отличие от своего учителя Иоакима, Ефрем, вероятно, был русским; тем не менее он владел греческим языком (об этом свидетельствует дополнение, читающееся в «Истории» В. Н. Татищева: «...И бе ученик его Ефрем, который нас учил *греческаго языка*»). Надо думать, что этот образованный человек сыграл немаловажную роль в распространении грамотности и книжной культуры в Новгороде. «И благословлен бысть епископом Иоакимом, еже учити люди новопросвещенныя, понеже Русская земля внове крестися, чтобы мужи и жены веру христианскую твердо держали, а поганския веры не держали и не имели бы», — писал о нем позднейший новгородский книжник[61].

По не вполне ясной причине Ефрем так и не был рукоположен в епископы. «Сей поучив люди 5 лет, святительству же не сподобися». Его имя отсутствует и в перечне новгородских епископов, читающемся в Новгородской Первой летописи младшего извода[62]. По всей видимости, новый хозяин владычных палат чем-то не устраивал лично Ярослава, а это, в свою очередь, может объясняться неприязненными отношениями, сложившимися между новгородским князем и учителем и предшественником Ефрема Иоакимом Корсунянином. Во всяком случае, второй новгородский епископ Лука Жидята будет поставлен на кафедру спустя несколько лет после смерти Иоакима — в 1034 или 1036 году, и именно по инициативе князя Ярослава.

Считается, что именно во время своего пребывания в Новгороде в 1030 году князь Ярослав Владимирович основал

---

* В 1699 году мощи святителя Иоакима («точию кости едины») были перенесены из «каменной полатки» (вероятно, оставшейся от древней церкви Иоакима и Анны) в Софийский собор. Однако проведенное археологами исследование этих останков однозначно свидетельствует о том, что они не могут иметь отношение к первому новгородскому епископу и представляют собой «очевидный фальсификат»[58].

знаменитый Юрьев монастырь — в будущем один из главных духовных и политических центров средневекового Новгорода. Монастырь располагался за пределами города, у самого истока реки Волхов из озера Ильмень, несколько южнее Городища. Впрочем, дата его основания (1030) условна: летописи не отметили это событие. Да и о том, что сам монастырь был основан при Ярославе, мы можем судить лишь по догадке: известно, что русские князья обычно посвящали основанные ими обители своему небесному покровителю — небесным же покровителем Ярослава, напомним, был святой Георгий[63].

События 1029—1032 годов и личное участие в них князя Ярослава Владимировича относительно подробно освещены русскими и иностранными источниками (во всяком случае, если сравнивать их с предшествующими и последующими годами). Это дает нам редкую возможность хотя бы в общих чертах представить себе масштабы и размах деятельности новгородского князя. Оказывается, Ярослав постоянно находился в движении, постоянно разъезжал по стране, по два-три раза за год совершая путешествия из Новгорода в Киев и обратно — а это около 1000 километров по прямой и еще больше, если пользоваться обычными наезженными дорогами, связывавшими оба города. Вот засвидетельствованная источниками хроника перемещений Ярослава тех лет.

В начале лета 1029 года Ярослав определенно находился в Новгороде, где принимал прибывшего из Швеции конунга Олава Харальдссона. Затем он, кажется, покинул Новгород: Олав воспевал в своей висе Ингигерд, которая вынуждена была путешествовать в одиночку, без мужа. Если верить Никоновской летописи, в этом году Ярослав совершил дальний поход на ясов, вероятно, совместно со своим братом Мстиславом. Но к зиме он снова в Новгороде; здесь в конце декабря, на Рождество, Ярослав вместе со своей супругой ведет переговоры с Олавом и приехавшим из Норвегии Бьёрном относительно целесообразности возвращения Олава в Норвегию. В начале следующего 1030 года Ярослав провожает Олава до Ладоги.

В том же 1030 году (скорее всего, весной) Ярослав покидает Новгород и отправляется в поход к Белзу; он захватывает город, но, не сумев развить успех, вынужден возвратиться в Киев. Вероятно, тогда же или раньше начинаются переговоры князя с Мстиславом Черниговским и (при посредничестве польского князя, одного из братьев Мешка) с

германским императором Конрадом II. Из Киева Ярослав возвращается в Новгород и совершает успешный поход в Чудскую землю, где основывает город Юрьев. Затем вновь возвращается в Новгород. При его личном участии в Новгороде открывается одна из первых на Руси школ с тремя сотнями учащихся. По получении известия о гибели Олава (конец лета или осень) Ярослав объявляет о разрыве отношений с Норвегией, фактически объявляя войну правителю Норвегии Свейну Кнутсену.

Все это время, по-видимому, не прекращаются переговоры с Мстиславом и Конрадом относительно новой войны с Польшей. В 1031 году Ярослав вновь в Киеве. Отсюда (судя по немецким хроникам, к осени) он выступает в большой поход в Польшу; вместе с ним двигаются отряды Мстислава из Чернигова. В результате похода вся территория Червенских градов присоединяется к Руси. Ярослав лично занимается организацией управления на вновь присоединенной территории и выселяет оттуда «ляхов». Очевидно, что их место занимают переселенцы из других областей Руси.

Под 1032 годом летописи отмечают строительство новых городов по реке Рось, на южной границе Руси, вновь отмечая личное участие князя. Ярослав пристально следит и за новгородскими делами: этим годом датируется неудачный поход новгородцев на Железные Ворота (предположительно, на Сысолу).

Как видим, только за двенадцать месяцев 1030/31 года князь как минимум трижды покидает Новгород во главе большой рати, ведет две большие (и притом успешные!) войны на разных направлениях, основывает новый город и заключает два военных союза! По самым приблизительным подсчетам он должен был преодолеть не менее трех с половиной тысяч километров. И это при тогдашнем состоянии путей сообщения, при отсутствии нормальных дорог — князь мог передвигаться либо верхом, либо в ладье по реке — и при физическом состоянии самого Ярослава! К началу 30-х годов ему было около пятидесяти лет — казалось бы, пора расцвета для мужчины. Но не будем забывать о его недуге, который с годами все более давал о себе знать. По-видимому, к старости Ярослав мог ходить, лишь опираясь на палку, при этом каждый шаг в буквальном смысле слова давался ему с трудом. Князь испытывал боли не только при ходьбе, но при любой более или менее серьезной физической нагрузке — и боли не только в ноге, но и в правой руке, в запястье, в позвоночнике. Вероятно, его мучили и жестокие головные боли: он с трудом мог поворачивать голо-

ву. И тем не менее он находил в себе силы раз за разом отправляться в путь, садиться в седло, брать в руки меч, понимая, что одно его присутствие зачастую может решить исход того или иного предприятия. Он по-прежнему возглавлял войско — не бросаясь безрассудно вперед, но отдавая приказы, направляя ход битвы, вселяя уверенность в ряды тех, кто следовал за ним. Немощный телом, все больше и больше превращающийся в дряхлого старика, можно сказать, в развалину, он по-прежнему был силен духом и остр разумом, и эту его силу, наверное, вполне ощущали на себе окружающие его люди. Он полностью удерживал в своих руках все нити управления страной, ни о чем не забывая и ничего не упуская из вида.

К сожалению, источники далеко не одинаково высвечивают различные отрезки жизненного пути князя Ярослава. Так, после краткого известия о строительстве городов на Роси под 1032 годом в летописи зияет явный провал. За три года — одна-единственная запись под 1033 годом, извлеченная, по-видимому, из княжеского помянника: «Мстиславич Евстафий умре». Следующие два года оставлены пустыми: летописец ограничился лишь тем, что проставил даты, не добавив к ним ни слова. Чем занимался в эти годы Ярослав (помимо того, что готовил заговор в Норвегии и обсуждал в 1034/35 году условия возвращения Магнуса на норвежский престол), мы не знаем. Вполне вероятно, что именно тогда у него родился еще один сын, названный Игорем. О рождении княжича летописи не сообщают, однако известно, что в списках сыновей Ярослава Игорь значится между Всеволодом, родившимся в 1030 году, и Вячеславом, родившемся в 1036-м[64].

Смерть Евстафия Мстиславича оказалась для Ярослава настоящим подарком судьбы. По сведениям Татищева, Евстафий умер в Тьмуторокани; «и бысть жалость велиа по нем»[65]. Он был единственным сыном и наследником своего отца, и теперь, в случае если бы жизнь Мстислава по какой-нибудь причине оборвалась — а жизнь любого человека в те времена могла оборваться очень просто, — Черниговское княжество и все Левобережье должны были отойти Ярославу. Таков был обычай, неписаный закон славянского (и не только славянского) общества: брат получал наследие умершего брата, если у того не имелось сыновей. Ярослав же, имевший к тому времени четырех или пятерых сыновей, мог спокойно глядеть в будущее: Бог, несомненно, был на его стороне, наградив даром чадородия его супругу и отняв

единственного сына у его брата. Проницательный и осмотрительный, Ярослав, наверняка, был готов к различным поворотам судьбы, просчитывал в уме различные сценарии развития событий и со все возрастающим вниманием прислушивался к тем вестям, которые приходили в Киев и Новгород из Чернигова.

Надо сказать, что этот город при князе Мстиславе Владимировиче совершенно преобразился. Исследования археологов показали, что Мстислав значительно увеличил площадь своей крепости, оградив новой линией укреплений «окольний город», примыкавший к старому детинцу. В северо-западной части детинца был заложен новый княжеский дворец. Археологами исследованы остатки по крайней мере двух каменных построек княжеского дворца. Особенно впечатляет одна из них, представлявшая собой, по-видимому, трехэтажный каменный терем, крытый свинцовыми листами и богато украшенный и расписанный фресками[66]. Все это свидетельствовало о возросшей экономической мощи княжества. Проторенные торговые пути связывали столицу державы Мстислава с Причерноморьем, Северным Кавказом, а значит, и с крупнейшими торговыми центрами Византийской империи.

Воплощением возросшего могущества Черниговского княжества и возросших политических амбиций черниговского князя должен был стать великолепный пятиглавый каменный собор, посвященный Спасу. Этот огромный храм (его площадь 33,2×22,1 м) был богато украшен орнаментальными поясами снаружи и фресками внутри. Само его посвящение ставило Чернигов едва ли не выше Киева с его главным храмом Пресвятой Богородицы Десятинной. Полагают, что князь Мстислав строил церковь в течение нескольких лет и привлек для этого выдающихся архитекторов своего времени — по всей вероятности, греков, представителей константинопольской школы. (Помимо прочего, это лишний раз свидетельствует о его добрых отношениях с правителями Империи.) «...Храм строили зодчие, знакомые с последними достижениями константинопольского искусства и прекрасно ориентированные в том запасе приемов и композиций, который предоставляла история византийской архитектуры, — пишет современный исследователь. — Таковыми в XI столетии могли быть столичные (константинопольские. — *А. К.*) мастера... Вся эта выразительность архитектурных форм... — черты византийской столичной архитектуры. Больше ни в одном памятнике Киевской Руси XI—XII столетий они не выступят так ясно и полно»[67].

По-видимому, храм начали возводить еще в первой половине 30-х годов XI века. Однако завершить строительство Мстислав не успел. По свидетельству летописи, ко времени его внезапной кончины стены церкви поднялись на такую высоту, что можно было, стоя на лошади, дотянуться до них рукой («яко на кони стояще, рукою досящи»). Это высота четырех — четырех с половиной метров. Как отмечают исследователи, на такой высоте по зданию, действительно, проходит шов, который свидетельствует о перерыве в строительстве, наступившем после смерти Мстислава[68]. (Храм был достроен несколько позже, но едва ли много позднее середины XI века. Это позволяет считать его древнейшим сохранившимся до нашего времени памятником древнерусской архитектуры.)

...И все же сравняться с Киевом Чернигову было не суждено. Князь Мстислав умер в самом расцвете сил, внезапно: смерть настигла его не на поле сражения, но во время княжеской забавы — на охоте. «Мстислав изыде на ловы, разболеся и умре, — свидетельствует летописец. — И положили его в церкви у Святого Спаса, которую сам заложил...» Каких-либо подробностей на этот счет летопись не сообщает, и остается гадать, подвергся ли князь нападению свирепого зверя или же нечаянно простудился и оттого умер — и то и другое было в древней Руси не редкость. Врачи оказались бессильны, да и что могли поделать они в те времена, когда надежных средств борьбы с воспалительными процессами и заражением крови не существовало и всякая более или менее серьезная болезнь или рана таили в себе неотвратимую угрозу для жизни. Нетрудно представить себе, как горько было сознавать князю Мстиславу на смертном одре, что он умирает бездетным, не оставляя наследника, и что все его княжество неизбежно должно присоединиться к владениям его брата.

Позднейший московский книжник, современник царя Ивана Грозного, составлявший летописную Степенную книгу царского родословия, с большим неодобрением повествовал об этой кончине благочестивого черниговского князя, казавшейся ему неприличной для православного государя: «И аще тако добродетелен бе, но обаче тогда по древнему обычаю упразднися изыти на позорную ловитву, иже бяше таковое позорование отречено есть христианом... Разумно же да будет, яко нашея ради пользы тако случися конець толику удалу и добродетельну князю: Бог судитель праведен — да и прочии не дерзают на позорныя ловитвы»[69]. Но эти нравоучительные сентенции, разумеется, обращены

к современникам летописца, жившим в XVI столетии. Древняя Русь совсем иначе смотрела на обычай княжеской «ловитвы», которая считалась делом не менее достойным, чем, например, война. Так, внук Ярослава Мудрого князь Владимир Мономах в своем знаменитом «Поучении» приравнивал свои подвиги во время охоты к воинским и гордился теми и другими в равной мере. Охота была занятием далеко не безопасным и требовала от князя большого искусства, незаурядной физической силы, ловкости, осторожности, выносливости, отваги — словом, всех тех качеств, которые отличали умелого воина на поле брани. «А се в Чернигове деял есмь, — делился своим богатым опытом Мономах, — коней диких своими руками связал есмь в пущах 10 и 20 живых... тура два меня метали на рогах и с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, а другой рогами бодал; вепрь мне на бедре меч оттял, медведь мне у колена подклад укусил; лютый зверь скочил ко мне на бедра и коня со мною поверже. И Бог неврежена меня соблюде...»[70]. Мстислав оказался менее удачлив. Но он принял смерть, во всяком случае, достойную князя и достойную своего славного имени.

Автор «Повести временных лет» датирует его кончину 1036 годом[71], и эта дата находит косвенное подтверждение в византийских источниках[72]. Смерть брата стала еще одним, может быть даже самым важным, поворотным событием в судьбе князя Ярослава Владимировича. Вся Русская земля, держава его отца Владимира Святого, объединилась наконец под его властью. Чернигов, Тьмуторокань, все Левобережье Днепра, включая отдаленные земли Северо-Востока Руси, находившиеся прежде во владении Мстислава, отошли к нему. «По сем же перея власть его (Мстислава. — *А. К.*) всю Ярослав, и бысть самовластец Русской земли», — свидетельствует летописец. Слово «самовластец» (в других списках стоит: «самодержец» или «единовластец») есть перевод греческого «автократор»: так в Византии и на Руси называли правителя, единовластно распоряжавшегося своим государством и не делившего власть ни с соправителем, ни с соперником, ни с каким-либо узурпатором престола. Ярослав и стал таким «самовластцем», каким был его отец, владевший всей Русской землей, «от края и до края». (Остававшееся независимым Полоцкое княжество было не в счет: оно не входило в состав державы Владимира и было выделено им в особое княжение; Ярослав не имел на него никаких прав.) Более того, именно после присоединения державы брата к Ярославу, по всей видимости, перешел и титул кагана, ко-

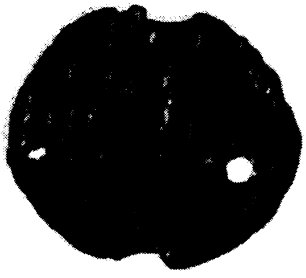
торым по обычаю владели правители Тьмуторокани и который носил его отец, «великий каган» Владимир. А это, несомненно, значительно повышало статус князя и в его собственных глазах, и, главное, в глазах его соседей.

Так Ярослав полностью вернул себе все, чем когда-то вынужден был поступиться ради сохранения мира и собственной власти. Полоса неудач, поражений, унизительных территориальных уступок завершалась. И, главное, у Ярослава вполне доставало сил для того, чтобы с наибольшей пользой распорядиться полученными землями, утвердить в них свою власть. Он стал «самовластцем» не в результате кровопролитной междоусобной борьбы, но в результате стечения обстоятельств, не поспособствовав лично смерти своего брата, но лишь проявив терпение и выдержку. А значит, владения брата воистину были ниспосланы ему свыше, дарованы не людьми, но Богом — именно так, а не иначе, должны были воспринимать происходившее его современники, да и он сам.

Правда, оставался еще Судислав Псковский, который — в соответствии с обычаем — также мог претендовать на наследство умершего Мстислава. Волей-неволей Ярославу приходилось считаться с ним — таким же Владимировичем, как и он сам, и, более того, единственным Владимировичем, помимо самого Ярослава. Но делиться с Судиславом властью и землями новый киевский князь, как выяснилось очень скоро, вовсе не был намерен.

Глава девятая

КИЕВ: ПОД СЕНЬЮ СВЯТОЙ СОФИИ



Известие о внезапной кончине брата Ярослав получил в Киеве. Кажется, он даже не поехал в Чернигов; по крайней мере, летописи ничего не сообщают об этом. В древней Руси, несомненно, существовал особый обряд посажения на княжение, равно как и обряд «переятия» волости умершего сородича. Но князя, наверное, с успехом мог заменить кто-либо из бояр, способных исполнить полагающиеся церемонии. Гроб с телом Мстислава был опущен в землю в недостроенном Спасском соборе, и эта незавершенность монументальной постройки, эти строительные леса, окружавшие величественные стены, эта общая неухоженность окружающего пейзажа как нельзя лучше подчеркивали незавершенность всего дела Мстислава — грозный прежде черниговский князь уже не страшил Ярослава. Иные дела и иные заботы влекли к себе нового самодержца Русского государства.

В города и волости Левобережья направились верные Ярославу люди, которые должны были заменить посадников Мстислава. По-видимому, киевский князь делал все возможное для того, чтобы смена власти в этих областях Руси прошла спокойно, без каких-либо эксцессов. Да их и трудно было ожидать, поскольку Ярослав унаследовал власть брата в полном соответствии с обычаями и установлениями своего времени.

Княжеские чиновники при этом щедро наделялись землями, а также рабочими руками — главным образом, челя-

---

На рис. — печать киевского митрополита Феопемпта. Лицевая сторона.

дью, то есть рабами. Можно думать даже, что события 1036 года сыграли определенную роль в процессе феодализации древнерусского общества: во всяком случае, первое упоминание в источниках о крупной частной земельной собственности связано именно с рассказом о семействе княжеского слуги, переселившемся по воле князя в один из городов Левобережной Руси. Я имею в виду известный рассказ Жития преподобного Феодосия, игумена Печерского, о судьбе родителей святого.

Феодосий родился в Василеве — одном из княжеских городов близ Киева. Вскоре, однако, родителям пришлось переселиться «в ин град, Курск нарицаемый: князю тако повелевшу», — сообщает автор Жития диакон Нестор[1]. Трудно сомневаться, что это было связано со смертью Мстислава Владимировича и перераспределением здесь княжеской власти[2]. Отец Феодосия получил от князя земельные угодья: в Житии неоднократно упоминается принадлежавшее ему село, в котором трудились рабы; юный Феодосий из смирения выходил на работы вместе с ними, за что вынужден был сносить укоризны и даже побои от своей матери. Заметим, кстати, что после смерти отца село было оставлено за его вдовой, матерью Феодосия. Вероятно, это было сделано с прицелом на будущее: в семье подрастали сыновья, способные в скором времени заменить отца на княжеской службе. (Это обстоятельство, между прочим, отчасти объясняет нам ту ярость, с какой мать будущего святого противилась уходу сына в монастырь.)

Надо полагать, нечто подобное происходило и в других городах, перешедших под власть Ярослава. Представители княжеской администрации постепенно укоренялись в своих новых землях, тем самым выстраивая, выражаясь современным языком, «вертикаль власти» — становой хребет всякой государственности.

Смерть Мстислава повлекла за собой целую лавину самых разных событий, серьезно повлиявших на ход русской истории. Летописец сумел уместить все эти события в рамки одной годовой статьи. (В «Повести временных лет» она датирована 1036 годом, в большинстве позднейших летописей — 1034-м[3].) Возможно, это не более чем условность: мы уже говорили о том, что смерть Мстислава могла прийтись на любой год в хронологическом отрезке между 1034 и 1036 годами. Но с другой стороны, изменение всей сложившейся политической системы Русского государства требовало от Ярослава незамедлительных и самых энергичных действий.

Прежде всего, как свидетельствуют летописи, Ярослав отправился в Новгород. Очевидно, одной из целей его поездки был набор новой новгородской рати в преддверии возможной войны с печенегами. Но попутно — а отчасти и для успешного выполнения этой цели — Ярослав принял целый ряд мер, сыгравших важную роль в последующей истории средневекового Новгорода.

И на то были свои причины. Вспомним, какую роль играл Новгород в жизни Ярослава. Именно этот город давал князю силы и возможность бороться за власть над Русью; именно здесь он мог по-настоящему чувствовать себя в безопасности. Новгород оставался если и не сердцевиной, то во всяком случае становым хребтом его государства, его тылом, и он, конечно, должен был в первую очередь позаботиться об упрочении здесь собственной власти в тех новых политических условиях, которые сложились после смерти его брата. Прежде Ярослав оставался по преимуществу новгородским (и только потом киевским) князем. Но теперь ему предстояло покинуть Новгород и надолго обосноваться в Киеве. И Ярослав принимает единственно верное решение: он сажает на самостоятельное княжение в Новгород своего старшего сына Владимира. Новгород вновь получает собственного князя, то есть остается *стольным* городом Руси. «Иде Ярослав к Новгороду и посади сына своего Владимира в Новгороде», — свидетельствует летописец сразу же после сообщения о «переятии» Ярославом волости его брата[4]. Забегая вперед, скажем, что Новгород будет считаться «волостью» Владимира даже после его смерти (случившейся при жизни Ярослава), и только следующий сын Ярослава Мудрого, князь Изяслав, уже после смерти своего отца сумеет вновь объединить обе «волости» — братнюю и отцовскую — в одних руках.

Князю Владимиру Ярославичу было в то время шестнадцать или четырнадцать лет (в зависимости от того, принимаем ли мы дату 1036 или 1034 год)[5]. И в том и в другом случае, по меркам древней Руси, он мог считаться вполне самостоятельным, взрослым человеком, способным при необходимости постоять за себя. Но все же, по молодости лет и отсутствию жизненного опыта, Владимир, особенно на первых порах, нуждался в опеке. Ярослав должен был позаботиться о том, чтобы оставить рядом с ним людей надежных и верных, по возможности избавив сына от людей опасных и сильных своим влиянием в городе. Те представители новгородской аристократии, которых некогда опасался сам Ярослав, — посадник Константин и епископ Иоаким — уже

ушли из жизни: один волею самого Ярослава, другой волею Божьей. И Ярослав, укрепляя власть сына, решается наконец поставить нового епископа на пустовавшую в течение нескольких лет новгородскую кафедру. Как мы уже говорили, он не доверял ученику покойного Иоакима Ефрему. Выбор князя остановился на некоем Луке, известном своим не совсем обычным для древней Руси прозвищем — Жидята[6].

(Смысл этого прозвища историки объясняют по-разному. Одни видят в нем свидетельство еврейского происхождения второго новгородского владыки: «жидята» — сын «жидовина», иудея, может быть, выкреста, или же собственно выкрест[7]. Другие же категорически отвергают такое предположение и считают имя Жидята типичным новгородским прозвищем: либо от имени Георгий: Гюргий — Гюрята — Жирята — Жидята, либо от имени Жидислав, нередкого в Новгороде и вообще на Руси [8].)

О личности самого епископа Луки Жидяты нам известно очень немногое. Несомненно, он также был книжным человеком. До нашего времени дошло «Поучение к братии», надписанное именем «архиепископа Луки» (титул архиепископов новгородские владыки получили в XII веке). Это поучение читается в Новгородской Четвертой и так называемой Новгородской Карамзинской летописях, а также (без имени автора или под другими именами) в отдельных рукописных сборниках XIV—XVII веков[9]. Исследователи обычно отмечают исключительную простоту и безыскусность этого памятника пастырского красноречия — едва ли не самого раннего из дошедших до нашего времени. Собственно говоря, поучение представляет собой перечень самых общих христианских заповедей и наставлений, восходящих к Евангелию и Десяти заповедям Моисея, — то есть именно тот набор практических рекомендаций, который был необходим «новым христианам», лишь недавно порвавшим (или еще даже не порвавшим) с язычеством. «Не ленитесь в церковь ходить — и на заутреню, и на обедню, и на вечерню, — учил свою паству новгородский владыка. — И в своей клети, спать хотя, сначала Богу поклонитесь и тогда только на постель ложитесь. В церкви стойте со страхом Божиим, разговоров не ведите... Любовь имейте ко всякому человеку, а всего более к братии... Прощайте брат брату и всякому человеку, не воздавайте зла за зло, друг друга хвалите, тогда и Бог вас похвалит...» Его слова обращены и к инокам («братии»), и к мирянам, причем в равной мере и к сильным мира сего, и к убогим, но все же к первым более, нежели ко вторым: «Помните и заботьтесь о странниках, и о убогих, и

о заключенных в темницы, и к своим сиротам (то есть тем, кто зависит от вас. — *А. К.*) милостивы будьте... Почитайте старых людей и родителей своих; не божитесь именем Божьим, не заклинайте или не проклинайте что-либо. Судите по правде, мзды не принимайте, в рост [денег] не давайте... Не убий, не укради, не солги, лжесвидетелем не будь, не ненавидь, не завидуй, не клевещи, не прелюбодействуй ни с рабой, ни с кем. Не пей не вовремя, и в меру, а не до пьянства. Не будь гневлив или вспыльчив, с радующимися радуйся, с печальными будь печален. Не ешь скверны, святые дни почитайте...» В соответствии с христианским взглядом на существо власти призывает Лука и к послушанию князю, и эти слова, наверное, должны были более всего ласкать ухо князю Ярославу и его сыну Владимиру: «Бога бойтесь, князя почитайте — рабы мы, во-первых, Бога, а потом господа» (то есть господина). И сразу же затем: «Почитайте от всего сердца иерея Божьего, почитайте и слуг церковных».

Епископ Лука умел находить слова, доступные «простой чади», лишенные высокоумия и витийства, столь свойственных последующим поколениям русских книжников. И это его качество, наверное, способствовало выбору его на новгородскую кафедру. Несомненно, Лука был предан князю Ярославу и его сыну. В последующей истории Новгорода мы увидим его деятельным помощником новгородского князя Владимира Ярославича, строителем величественного Софийского собора. Но в самом Новгороде его, кажется, недолюбливали. Неприязнь эта проявилась уже после смерти покровителей Луки — сначала Владимира, а потом и Ярослава: в 1055 году, рассказывает летописец, «клевета бысть» на епископа Луку; его холоп Дудика, а также некие «злые други» последнего, Демьян и Козма (их имена называет только позднейшая Никоновская летопись), обвинили новгородского владыку в «неподобных речах». Делу был дан ход, и киевский митрополит грек Ефрем (сменивший русина Илариона, ближайшего сподвижника князя Ярослава) осудил Луку на заточение. Епископ провел в узах три года, и лишь затем справедливость восторжествовала: владыку оправдали, а холопа Дудику за клевету жестоко наказали: «устне (губы? — *А. К.*) и нос срезаша и обе руце усекоша». Впрочем, какие-то доброжелатели у него нашлись, ибо и в таком виде несчастному удалось убежать «в Немцы». Сообщникам же его, «лукавым советникам Козме и Дамиану», «сице же... достойное воздаша по злодеянию их»[10]. Лука вновь «приял» свою кафедру, однако на обратном пути из Киева в Новгород скончался. Он был похоронен в Новгороде, близ церк-

ви Святой Софии, в создании которой принял самое деятельное участие. Спустя пятьсот лет, в 1558 году, мощи его были открыты и перенесены в Софийский собор; тогда же было установлено местное празднование святому.

Надо сказать, что «Русская Правда» специально оговаривала недопустимость выступления холопа в качестве свидетеля: «А послушьства (свидетельства. — *А. К.*) на холопа не складають»[11]. Случай с Дудикой кажется исключительным. И объяснить его, наверное, можно только поддержкой, которую получил владычный холоп в городе — вероятно, неприязнь к владыке заставила власть предержащих закрыть глаза на нарушение установленных законов.

Что же касается князя Владимира Ярославича, то ему еще предстояло завоевывать приязнь новгородцев. И надо сказать, что Владимир станет одним из самых любимых новгородских князей. Вот только времени для этого судьба отведет ему слишком немного.

Еще одним соратником и советчиком Владимира в эти годы, по-видимому, стал будущий новгородский посадник и воевода Остромир, вошедший в русскую историю прежде всего как заказчик и владелец роскошного Евангелия, древнейшей датированной русской книги (1056—1057 годы). Правда, в источниках он упоминается лишь в связи с младшим братом Владимира, князем Изяславом Ярославичем, ставшим после смерти отца (1054) киевским князем: «Сам же Изяслав кънязь правляаше стол отца своего Ярослава Кыеве, а брата своего (Владимира. — *А. К.*) стол поручи правити *близоку* своему Остромиру Новегороде», — свидетельствовал под 1057 годом диакон Григорий, писец Остромирова Евангелия[12]. Но в этой же записи упоминается и супруга посадника Остромира — Феофана (крайне редкое имя в древнерусском женском именослове), а сам Остромир называется *«близоком»* князя Изяслава Ярославича, что в древней Руси означало, прежде всего, отношения свойства, устанавливающиеся в результате брака[13]. Польский историк Анджей Поппэ, один из крупнейших современных исследователей древней Руси, высказал весьма правдоподобное предположение, согласно которому жена Остромира Феофана была дочерью князя Владимира Святославича и «царицы» Анны (имя Феофано было употребительно в византийском императорском доме; так звали, в частности, мать Анны), и именно посредством этого брака Остромир и породнился с княжеским семейством[14]. Брак Остромира с сестрой Ярослава Владимировича мог быть заключен не позднее начала 30-х годов XI века (к 1057 году, согласно той же записи

писца Григория, у супругов уже было по меньшей мере трое женатых сыновей). Очевидно, Ярослав вполне доверял своему зятю, а тот, в свою очередь, был верен его сыновьям — сначала Владимиру, а затем Изяславу. О близости Остромира к князю Владимиру Новгородскому свидетельствует, пожалуй, и тот факт, что его сын Вышата в 1064 году последует за оставшимся без удела сыном Владимира Ростиславом в далекую Тьмуторокань, где Ростиславу Владимировичу удастся на короткое время сделаться князем. В те далекие времена отношения служебного долга и верности обычно переходили по наследству.

В середине или второй половине 30-х годов XI века, то есть вскоре после посажения в Новгороде, князь Владимир Ярославич женился. Поздние новгородские источники называют имя его супруги — Александра; однако кем была эта женщина: дочерью ли какого-то русского приближенного князя Ярослава Мудрого или, может быть, иноземной принцессой, мы не знаем[15]. В 1038 году у восемнадцатилетнего Владимира родится первенец, получивший имя Ростислав, а в крещении названный Михаилом[16], — первый внук князя Ярослава Владимировича и его супруги Ирины.

Новгородско-софийские летописи сохранили свидетельство еще об одном важнейшем мероприятии, проведенном князем Ярославом в Новгороде. «И людям написа грамоту, рек: "По сей грамоте дадите дань"»[17]. Именно после этих слов летописец XV века и дает ту характеристику князя Ярослава, которую мы уже приводили в начале книги: «И бяше хромоног, но умом свершен, и храбр на рати, и крестьян (христиан. — *А. К.*) любя, и чтяше сам книгы».

Что за грамоту упоминает новгородский летописец, неизвестно: текст ее или хотя бы какие-то ссылки, выписки не сохранились. Но можно не сомневаться, что имеется в виду одна из тех «Ярославлих грамот», на которых впоследствии, вплоть до разгрома Новгорода великим князем Московским Иваном III, клялись при вступлении на новгородский стол все новгородские князья.

При более или менее внимательном взгляде на летописный текст у исследователей неизбежно закрадывается сомнение: не идет ли речь здесь о той же самой грамоте, о которой новгородский летописец, автор Новгородской Первой летописи (а вслед за ним и авторы новгородско-софийских сводов) уже сообщал под 1016 годом: тогда, напомним, Ярослав тоже давал новгородцам «правду и устав... тако

рекши им: "По сей грамоте ходите..."» Из летописи это известие попало в список новгородских князей, читающийся в той же Новгородской Первой летописи («А се в Новегороде»), причем оказалось там в связи с посажением в Новгороде князя Владимира Ярославича: «...А сына своего Володимира посади в Новегороде; и писа грамоту Ярослав, рек тако: "По сей грамоте ходите"»[18]. И не это ли соединение в списке новгородских князей двух известий — о посажении в Новгороде сына Ярослава и о составлении им грамоты — стало причиной появления «второй» грамоты Ярослава в Софийской Первой и близких к ней летописях под 1034 (1036) годом?

Но с другой стороны, мы действительно знаем, что «Ярославлих грамот» в Новгороде было несколько: в рассказах о новгородских событиях XII—XV веков они неизменно упоминаются во множественном числе*, а на миниатюрах Лицевого летописного свода (XVI век) «Ярославли грамоты» — важнейший атрибут новгородской государственности — изображены в виде именно *двух* свитков[20]. Да и речь в летописной статье 1034 (1036) года идет не просто о грамоте, дающей «правду» и «устав» новгородцам (то есть, надо полагать, «Русской Правде»), но, очевидно, об установлениях, касающихся выплачиваемых новгородцами даней: «по сей грамоте *дадите дань*». Это обстоятельство позволило ряду исследователей предположить в грамоте 1034 (1036) года нечто вроде росписи новгородских даней, выплачиваемых в пользу теперь уже киевского князя: судя по прямому утверждению летописца, в предшествующие годы Новгород был освобожден от дани вообще. (Очень любопытно наблюдение, сделанное в этой связи В. А. Буровым: он обратил внимание на то, что размер «киевской дани» за двадцать лет, прошедшие между 1015 и 1035 годами, которую новгородцы *не выплачивали* в Киев, должен был составить 40 тысяч гривен (20 лет × 2 тысячи гривен ежегодной дани, которую Новгород уплачивал в Киев до Ярослава). А это, в свою очередь, точно совпадает с той суммой штрафа («виры»), которую должен был бы выплатить Ярослав за убийство тысячи человек («воев славных тысячи»), согласно нормам «Русской Правды»: в первой же статье этого свода законов, принятого им в связи с трагедией в Новгороде летом 1015 года, утвержда-

* Хотя в упомянутом списке новгородских князей, а также в читающемся в той же рукописи XV века родословии великих князей Русских речь идет именно об одной грамоте, данной Ярославом новгородцам: «...Володимер роди Ярослава, его же грамота в Великом Новегороде»[19].

лось: «убиет муж мужа... аще не будет кто мстя, то 40 гривен за голову». Получается, что к 1035 году Ярослав полностью искупил свое преступление двадцатилетней давности и расплатился с новгородцами. А значит, теперь он был вправе восстановить выплату дани в Киев, хотя и не обязательно в прежних размерах. Роспись этих даней и могла составить содержание второй его грамоты[21].) Впрочем, это не более чем предположение, ибо никакой «росписи» новгородских даней источники, к сожалению, не содержат.

Возможно, в те же годы и определенно в Новгороде Ярослав принимает и другие установления, определяющие новые взаимоотношения между княжеской властью и «землей». Таков, например, так называемый «Покон вирный», устанавливающий точные размеры «корма», шедшего княжеским чиновникам — вирникам, то есть сборщикам виры с той или иной общины: «...вирнику взяти 7 ведер солоду на неделю, тоже овен (барана. — *А. К.*), любо полоть (половину мясной туши, очевидно, говяжьей. — *А. К.*), или две ногаты; а в среду резаны* или сыры, в пятницу также; а хлеба по кольку могут ясти, и пшена; а кур по двое на день... До недели же виру сберуть вирници (то есть вирники должны собирать виру не более недели. — *А. К.*); то ти урок Ярославль»[22]. Этот законодательный документ, вошедший в состав «Краткой Правды», сыграл важную роль в укреплении государственности и княжеской власти в Новгороде; недаром исследователи склонны расценивать его как еще одну — наряду с «Правдой Ярослава» — льготу, полученную новгородцами. Ибо «Покон» явно ограничивал самоуправство и вымогательство вирников, мечников и других княжеских слуг, всегда действующих не только в пользу князя, но и ради собственной выгоды.

По-видимому, вскоре после 1036 года действие «Покона вирного» распространилось и на другие области Руси, входившие в состав державы Ярослава. Княжеские чиновники — вирники — самим фактом своего появления на землях верви — общины, обозначали присутствие здесь княжеской власти и княжеских установлений — норм «Русской Правды».

С именем Ярослава связывают еще один правовой документ — так называемый «Урок мостникам», также входящий в состав «Краткой Правды»[23]. Он имел, несомненно, новгородское происхождение, поскольку регулировал плату го-

---

* Резана и ногата — единицы денежного счета древней Руси, доли гривны.

родских общин за выполнение различных работ, связанных с мощением улиц, а также строительством «городен» — городских укреплений. Этими работами руководили особые люди — «мостники» и «городники», но выполнялись они за счет местного населения. Главное же значение «Урока» в истории русского права заключалось в том, что еще одна сфера общественной жизни оказывалась вовлеченной в процесс «окормления» княжеской властью.

Основная тенденция законодательной деятельности Ярослава, один из эпизодов которой летописец приурочил к поездке князя в Новгород в 1034 или 1036 году, вырисовывается вполне отчетливо. Принимая те или иные установления, князь стремился ко все большей регламентации общественной жизни, подчинению ее княжеской власти, к определенному «заземлению» последней, стиранию той пропасти, которая в традиционном славянском обществе разделяла мир князя и собственно «мир», в смысле городской и сельской общины, живущей по своим неписаным законам и своим вековым обычаям. Принимавшиеся в Новгороде и зачастую учитывавшие именно новгородскую специфику, законы Ярослава после его утверждения в Киеве получали общерусское распространение, а впоследствии пополнялись новыми установлениями. Но характерно, что Ярослав и здесь большей частью приноравливался к обстоятельствам, отнюдь не форсировал ход событий, не ломал устоявшиеся нормы «обычного» права, а лишь фиксировал те случаи, которые выходили за его рамки и потому требовали каких-то нововведений. Так было и при принятии «Русской Правды», так было и позднее. Ярослав отнюдь не отменял, например, традиционную для славянского общества кровную месть, но лишь ввел 40-гривенную виру в случае отсутствия у убитого близких родственников, очертив заодно круг лиц, которые имели право мстить за смерть своего родича. Но именно эта норма русского права оказалась жизненной и впоследствии, уже при сыновьях Ярослава, полностью вытеснила саму кровную месть. Так и «Покон вирный» регулировал какие-то частные случаи, но в итоге оказался первым памятником, определявшим финансовые отношения представителей княжеской власти при исполнении ими своих обязанностей и общества.

Отметим еще одно обстоятельство, бросающееся в глаза при знакомстве с установлениями Ярослава, в частности, с тем же «Поконом вирным». Определяя «корма», причитающиеся вирнику от общины, в пределах которой он действовал, «покон» отчетливо различал дни постные и скоромные:

«...а в среду резану или сыры, а в пятницу также... или ся пригоди в говение (в пост. — *А. К.*) рыбами, то взяти за рыбы 7 резан...» В те времена, когда не только в Новгороде, но и во многих других отдаленных областях Русского государства христианство только утверждалось, и не без труда, такое четкое выделение постных дней имело, помимо прочего, разъяснительное, или лучше сказать, воспитательное значение: волей или неволей жители новгородской округи, даже глухомани, должны были приспосабливаться к новому для себя христианскому календарному кругу. (Впрочем, как показала последующая практика миссионерской деятельности уже самой Русской Православной Церкви в инородческой среде, соблюдение постов едва ли не легче всего усваивалось новообращенной паствой.)

Точный объем законодательных установлений Ярослава неизвестен: «Русская Правда» не дошла до нас в своем первоначальном виде[24], поскольку дорабатывалась и при сыновьях киевского князя, и позднее, дополнялась новыми установлениями, сохраняя вплоть до XV века значение действующего судебника, свода законов. Но можно не сомневаться в том, что уже при Ярославе более или менее отлаженная и действенная судебно-административная система существовала. «А князь казнит» — такую формулу встретим мы во многих статьях Церковного устава князя Ярослава, который будет принят им совместно с митрополитом Иларионом в последние годы жизни. А свидетельствует эта формула, между прочим, о том, что ко времени составления Устава (то есть к началу 50-х годов XI века) судебные функции светской власти были уже определены и опирались на четко зафиксированные правовые нормы[25].

Возвращаясь к новгородской поездке Ярослава, скажем о том, что принятые им меры по укреплению в Новгороде княжеской власти дали результаты. Князю удалось набрать многочисленное войско, основу которого в очередной раз составили наемники-варяги и новгородцы. Последние вновь, как и два десятилетия назад, выразили готовность биться за Ярослава.

В том же году и, вероятно, именно в Новгороде произошло очередное прибавление в княжеском семействе. «В се время родился сын Ярославу, и нарекли его Вячеслав». Летописец называет, как всегда, княжеское, а не христианское имя княжича. (Хотя в древней Руси почитали святого князя-мученика Вячеслава Чешского, и христианское имя Вя-

чеслав присутствовало в святцах.) Судя по дошедшим до нас княжеским печатям, младший сын Ярослава носил в крещении имя Меркурий[26].

Новгородская поездка Ярослава, по-видимому, преследовала еще одну, тайную цель. Нет сомнений, что князя сильно беспокоила неясная ситуация с его единственным оставшимся в живых братом, князем Судиславом Псковским. Смерть Мстислава переводила отношения братьев в совершенно иную плоскость. Если прежде Судислав — при всей его инертности и очевидной недееспособности — играл роль своего рода гаранта мирных отношений, установившихся между Ярославом и Мстиславом, препятствуя усилению одного из князей в ущерб другому, то теперь он сам невольно превращался в соперника Ярослава, становился естественным противовесом его единоличной власти. Самим фактом своего существования Судислав ограничивал права брата на «самовластие» в Русском государстве. Он не только владел Псковской землей, то есть частью державы своего отца, причем переданной ему в удел самим Владимиром, но и — в качестве Владимировича, точно такого же, как и сам Ярослав, — мог при случае претендовать на власть над всей Русской землей или какой-то частью прежнего удела Мстислава. Все это было чревато новой междоусобной войной, которую предотвращала только полная бездеятельность псковского князя. Однако за спиной Судислава вполне мог найтись какой-нибудь более предприимчивый и решительный политик.

Понимая это, Ярослав постарался любым способом нейтрализовать своего брата. В те времена отлаженного механизма предотвращения братоубийственной смуты еще не существовало, и Ярослав по существу должен был его выработать. К счастью, он не решился на братоубийство, но избрал иной, не столь кровавый, хотя и не многим менее жестокий путь. «В се же лето всадил Ярослав Судислава в поруб, брата своего, в Пскове, — оклеветан был тот перед ним», — свидетельствует летописец[27]. (Дополнительную подробность сообщает автор позднейшей Тверской летописи: «Того же лета разгневался Ярослав на брата своего меньшого Судислава и всадил его, *поимав*, в поруб во Пскове до живота его...», то есть до конца жизни[28].) Так еще одно, Псковское княжество — и вновь без кровопролития, — было присоединено к державе Ярослава.

Слова о клевете, будто бы послужившей причиной «поимания» и заточения Судислава, отражают, наверное, точку зрения позднейшего книжника, пытавшегося оправдать

Ярослава. Как всегда в таких случаях, вина князя перекладывалась на неких безвестных клеветников, злых наушников, нашептавших князю заведомую ложь. Но Ярослав едва ли нуждался в их услугах, а если и нуждался, то лишь для того, чтобы придать своим действиям хоть какую-нибудь видимость законности. Судислав был виноват уже тем, что уцелел в кровавых событиях, унесших жизни остальных его братьев — и эта вина оказалась достаточной для расправы. О том, что на самом деле Судислав не представлял для своего брата никакой реальной угрозы, свидетельствует тот факт, что Ярослав оставил его в Пскове, не потрудившись перевезти пленника в другой город (об этом прямо свидетельствуют Софийская Первая, Новгородская Четвертая, Псковская Третья и другие летописи[29]). Вероятно, Судиславу были предоставлены более или менее сносные условия. Он прожил в заточении 24 года и был освобожден только через несколько лет после смерти Ярослава, в 1059 году, своими племянниками Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами. Сыновья Ярослава Мудрого сумели найти другой, более гуманный и, пожалуй, более надежный путь нейтрализации своего возможного противника, попрежнему — хотя и чисто теоретически — обладавшего преимущественными правами на киевский престол: освободив дядю («высадив» его из «поруба»), они «заводивше» его «к кресту», то есть взяли с него крестное целование в отказе от всяких покушений на власть, и сделали чернецом. Монашеский постриг — вот то надежное средство, к которому будут отныне прибегать в своей борьбе за власть многочисленные потомки князя Ярослава Мудрого на протяжении многих столетий русской истории. Князь Судислав проживет в чернецах еще четыре года. Он скончается в 1063 году и будет похоронен в «церкви святого Георгия» — надо полагать, в Георгиевском монастыре в Киеве.

Едва Ярослав успел разделаться со своими новгородскими делами, как вести, пришедшие с юга Руси, заставили его поспешить в Киев. «Когда Ярослав был в Новгороде, — рассказывает летописец, — пришла весть к нему, что печенеги обстоят (то есть осаждают. — *А. К.*) Киев». Так сбылись худшие опасения князя, которые, по-видимому, и заставили его отправиться в Новгород.

Печенеги почти всегда нападали на Русь во время смены правящего киевского князя. На этот раз их нашествие, по-видимому, было вызвано смертью Мстислава. Ярослав не

мог не учитывать такой возможности, хотя он и задержался в Новгороде несколько дольше, чем следовало. Зато теперь он мог выставить против печенегов действительно большое и хорошо вооруженное войско.

«Ярослав собрал воинов многих: варягов и словен, — продолжает летописец, — пришел к Киеву и вошел в город свой, и было печенегов без числа. Ярослав выступил из града и исполчил дружину: и поставил варягов посередине, а на правой стороне киевлян, а на левом крыле новгородцев; и встали пред градом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне Святая София, митрополия Русская: было тогда поле вне града. И была сеча зла, и едва одолел к вечеру Ярослав. И побежали печенеги в разные стороны, и не ведали, куда бежать: одни, убегая, тонули в Сетомли (речке под Киевом. — *А. К.*), иные же — в иных реках, а остаток их бегает и до сего дня»[30].

Текст этого летописного рассказа вызывает ряд вопросов у исследователей. Князю, несомненно, требовалось немало времени для того, чтобы, выступив из Новгорода, достичь Киева, и тем более для того, чтобы войти в город, осажденный печенегами. Ведь только после этого, объединив свои силы с киевлянами, Ярослав решился на сражение*. Но почему печенеги беспрепятственно пропустили его в город и дали соединиться со своими? Разве они не понимали, что это серьезно уменьшает их шансы на успех? И если их нападение действительно было вызвано отсутствием в Киеве князя, то почему они не отступили, когда князь во главе многочисленного войска приблизился к городу?

Согласно прямому свидетельству Новгородской Четвертой, Софийской Первой и других, близких к ним летописей, нашествие печенегов на Киев имело место весной[32]. Это также не слишком хорошо согласуется с той относительной

---

* Как обычно, исключительно интересные подробности событий приводит В. Н. Татищев: Ярослав, «собрав войско, варяги, словяне и русь, немедля пришел к Киеву по Днепру и вшед во град. А войско конное приспело на оную страну (сторону Днепра. — *А. К.*). Он же, перевесши ночью, ввел оное во град, а утро рано вывел в поле, устроя варяги посреди, на правой стороне киевляне, а на левом крыле новогородцы, и стали пред градом. Печенеги, видя оное, почали приступать и сступилися на месте, где ныне есть Святая София, митрополиа руская, бе бо тогда поле вне града. И бысть бой вельми жесток, едва к вечеру Ярослав победи печенег и разбил их розно. Они же, бежав от страха, многие в Сутени, Сетомли и во иных реках потонули и весь обоз оставили руским на расхисчение. Ярослав же, возблагодаря Бога, на том месте заложил церковь Святыя Премудрости Божией и поле то, присовокупя ко граду, велел всему войску укрепить стеною»[31].

хронологией событий, которую мы можем восстановить на основании показаний «Повести временных лет»: судя по всему, печенеги могли напасть на Русь не ранее конца лета или осени 1036 года.

С осторожностью следует подходить и к фразе летописца о том, что сражение между княжеской дружиной и печенегами произошло на том самом месте, где впоследствии был сооружен Софийский собор: на «поле вне града», то есть на некоем пустом, незаселенном месте, находящемся за пределами городских укреплений. Но у нас есть некоторые основания полагать, что возведение Софийского собора — причем на том самом месте, на котором он стоит и поныне, — началось ранее 1036 года.

По-видимому, нельзя исключать, что летописец, писавший спустя несколько десятилетий после самих событий, мог ошибаться. Точнее, наверное, следует сказать так: он мог знать о том, что на месте, где в его время стоял главный митрополичий храм Киева, произошло сражение с печенегами; возможно, знал (или догадывался), что само строительство собора так или иначе было приурочено к победе над этими извечными врагами Руси — но не знал, к какой именно. А между тем памятное в истории Киева сражение на «поле вне града» могло иметь место задолго до 1036 года — например, весной 1017 года, когда варяжско-новгородско-киевской дружине Ярослава также удалось сдержать яростный натиск печенегов, едва не ворвавшихся в саму киевскую крепость[33].

Впрочем, сам факт нашествия печенегов на Русь вскоре после смерти князя Мстислава едва ли может быть поставлен под сомнение. Печенежская война 1036 года точно вписывается в контекст внешнеполитической ситуации, сложившейся к этому времени в Восточной Европе.

Мы уже говорили (правда, лишь предположительно) о том, что князя Мстислава Владимировича могли связывать с кочевниками-печенегами какие-то особые отношения, препятствовавшие нападению последних на Русь. Смерть черниговского князя нарушала устоявшееся равновесие на границе со Степью, чем, вероятно, и объясняется поход печенегов на Киев. Но случилось так, что поход этот оказался последним в вековом противостоянии печенегов и Руси. И дело здесь не только в том сокрушительном поражении, которое потерпели степняки у стен русской столицы. В Сетомли под Киевом и в других речках юга Руси могли найти смерть, конечно же, далеко не все те десятки тысяч печенежских всадников, которыми располагала Печенежская

земля. Иные события, разворачивавшиеся на громадных пространствах Евразии, оказали на судьбы этого народа не меньшее, а, пожалуй, даже большее влияние. Да и на судьбы Киевской Руси тоже.

В первой трети XI века началось движение на запад через степи Восточной Европы новых орд кочевников, которых византийцы называли узами, или гузами, а русские — торками. (Они и раньше кочевали в южнорусских степях: как мы помним из истории Киевской Руси X — начала XI века, с торками сотрудничали еще князь Святослав, а затем и Владимир; некий Торчин, то есть торк, служил поваром у князя Глеба, сына Владимира, княжившего в Муроме на Оке.) Уместно будет сказать, что одна из ветвей этого народа (русские называли их «торкмены»), пройдя через пустыни и оазисы Средней Азии, захватит вскоре Переднюю Азию, где образует турецкую империю Сельджуков. На пути же движения северной ветви торков оказались печенеги, которые вынуждены были потесниться на запад. Как это обычно бывало в истории массовых переселений кочевых народов, отступление печенегов под давлением их еще более грозных сородичей обернулось для соседей многочисленными бедствиями, разрушениями и кровопролитием.

В середине 30-х годов печенеги нанесли внезапный удар по Византийской империи, с которой прежде поддерживали мирные отношения. В 1034 году, вскоре после смерти византийского императора Романа III, печенеги подвергли грабежу северные провинции Империи близ города Фессалоники. Зимой 1035/36 года они перешли по льду Дунай и вторглись во Фракию и Македонию. Весной 1036 года печенеги возобновили военные действия, нанеся тяжелое поражение византийским войскам, сосредоточенным в дунайских провинциях. Однако затем, неожиданно для самих византийцев, печенеги отступили, на время прекратив свои наступательные действия, несмотря на то, что сил для борьбы с ними у византийцев практически не оставалось[34]. Византийский историк Иоанн Скилица, в изложении которого нам известны обстоятельства византийско-печенежского противостояния первой половины — середины XI века, не знал причин временного отступления печенегов из пределов Византии. Однако в его «Истории» можно уловить определенную связь между этим отступлением и событиями, происходившими в Русском государстве: сразу же за сообщением о печенежском нашествии весной 1036 года Скилица помещает известие о кончине «архонтов росов Несислава и Иеруслава»; «и был избран править росами родственник

скончавшихся Зинислав»[35]. Имена русских князей искажены до неузнаваемости и к тому же перепутаны: так, сообщается о смерти Ярослава, хотя на самом деле именно он получил после смерти брата Мстислава (очевидно, «Несислава») всю полноту власти. (Третий брат, скрывающийся под именем «Зинислав», — это, по-видимому, попавший в заточение Судислав, чью власть также «переял» Ярослав.) Можно полагать, что именно эти события на Руси объясняют временное затишье на дунайском фронте: печенеги изменили направление главного удара, попытавшись прорваться к Киеву на Днепре и овладеть богатствами этого города[36]. Потерпев сокрушительное поражение от русских, печенеги на некоторое время прекратили всяческие активные действия. И только десятилетие спустя, в 1046 году, они вновь вторглись в пределы Византийской империи. С этого времени начинается череда тяжелейших печенежских войн, потребовавших от византийских императоров величайших усилий; войны эти едва не привели к полной потере европейских владений Империи. (И это в то время, когда ее восточные провинции оказались захвачены другими кочевниками-тюрками — сельджуками!)

Между прочим, драматичная история печенежско-византийского противостояния XI века весьма поучительна для правильного понимания нашей древней истории. Очень хорошо показал это выдающийся русский историк-византинист Василий Григорьевич Васильевский, посвятивший особое исследование взаимоотношениям Византии и печенегов[37]. Натиск последних на Византию свидетельствует о той чудовищной силе, которую сохраняли печенеги и после своего поражения на Руси; воинам Ярослава в 30-е годы XI столетия пришлось сразиться с действительно могучим и беспощадным врагом.

В своей борьбе с печенегами Ярослав, как некогда его отец Владимир, сумел объединить силы всей Русской земли — от Киева до Новгорода. Наемники-скандинавы составили лишь треть княжеского войска, и именно их Ярослав поставил «в чело» (то есть в центр своих позиций), расположив на крыльях новгородцев («словен») и «русь» (киевлян). Мы помним, какое значение придавали флангам своего войска древнерусские полководцы: именно здесь размещали самые боеспособные части, тех, кем более всего дорожили. Очевидно, Ярослав учел опыт неудачной для него битвы у Листвена и постарался так распределить свои силы, чтобы их хватило до конца сражения, сделав при этом ставку уже не на варягов, а на своих, славян.

Великая победа Ярослава над печенегами без преувеличения открыла новую главу в истории Киевской Руси. В годы его единовластного княжения (1036—1054) сложилась исключительно благоприятная ситуация, более не повторявшаяся в нашей истории. Извечный враг Руси печенеги были отброшены от Киева и разбиты; часть их, по-видимому, признала власть киевского князя, другие ушли под давлением торков к границам Византийской империи; вскоре в их рядах начались смуты и междоусобицы — обычные спутники военных неудач. Сами же торки не проявили большого интереса к Руси. Ярослав, по-видимому, сохранял с ними мирные отношения. Лишь после его смерти в 1054 году начались русско-торкские войны, которые сложились более чем успешно для русских. Зимой 1054/55 года сын Ярослава Всеволод одержал победу над торками у Воиня на реке Суле, а в 1060 году состоялся совместный поход против торков объединенных сил русских князей — Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, а также полоцкого князя Всеслава Брячиславича. Это было едва ли не самое грандиозное военное предприятие русских князей в XI веке: «Поидоша на конях и в лодьях, бесчисленное множество... Услышав о том, торки убоялись и обратились в бегство [и бегают] до сего дня — и перемерли, бегаючи, Божьим гневом гонимы: одни от зимы, другие же гладом (от голода. — *А. К.*), иные же мором и судом Божьим. Так Бог избавил христиан от поганых»[38]. Впоследствии остатки торков, как и остатки печенегов, расселились на южных окраинах Русского государства — но уже в качестве союзников и подданных русских князей, защищавших южные границы Руси от других кочевников. Русские называли их «своими погаными» в отличие от «диких поганых» — половцев.

Как и в случае с печенегами, судьбу торков решили не столько удачные военные действия русских князей, сколько появление в южнорусских степях новых кочевников — половцев, которым суждено было стать хозяевами Дикого Поля почти на два столетия. Русская летопись впервые сообщает об их появлении вблизи русских границ под 1055 годом: тогда князю Всеволоду удалось заключить мир с половецким ханом Болушем, может быть, ставшим его союзником в войне с торками. Но уже в 1061 году, на следующий год после великой победы русских князей над торками, половцы во главе с ханом Искалом впервые подвергли опустошению земли Переяславского княжества, разбив дружину того же Всеволода Ярославича, и с этого времени начинается череда бесконечных войн русских с половцами — вновь

Великая Степь становится едва ли не определяющим фактором истории Русского государства. За половцами же, как известно, пришли монголо-татары, сумевшие надолго поработить Русь... Неполные два десятилетия княжения Ярослава Мудрого в Киеве и первые годы княжения его сыновей — исключение во всей многовековой истории средневековой России: только в эти годы Русская земля смогла на время забыть о внешней угрозе с юга и вздохнуть полной грудью. И совсем не случайно, что именно эти годы вошли в нашу историю как время подлинного расцвета Киевской Руси.

Не случайно, конечно же, и то, что именно в эти годы неузнаваемо преображается сам град Киев. Столица державы Ярослава и Ярославичей в глазах образованных европейцев начинает выглядеть ни больше ни меньше как соперник самого Константинополя — столицы империи ромеев, то есть византийцев. Городом, «соревнующимся с константинопольским скипетром, славнейшим центром греков», называл Киев в 70-е годы XI века знаменитый Адам Бременский, автор «Истории архиепископов Гамбургской церкви»[39].

Немецкий хронист на удивление точно уловил суть притязаний правителей Киева и прежде всего самого Ярослава. Русский князь и в самом деле приложил титанические усилия для того, чтобы его собственная столица если и не сравнялась со столицей великой православной империи, то во всяком случае во всем уподобилась ей. Контуры «Царствующего града» были повторены в облике Киева в самом прямом и буквальном смысле, понятном человеку Средневековья. Кафедральный собор Святой Софии и Золотые ворота, монастыри святого Георгия и святой Ирины и храм Пресвятой Богородицы, обновленный в княжение Ярослава, — все эти архитектурные шедевры, одноименные прославленным константинопольским памятникам, свидетельствовали о перенесении на берега Днепра той святости, которая в течение предшествующих столетий освящала «Царствующий град» святого Константина.

Судя по прямому свидетельству киевского летописца, работы по украшению и укреплению Киева могли начаться только после печенежского нашествия 1036 года: в то время когда кочевники подступили к Киеву, «поле», на котором развернулись боевые действия, находилось еще вне городских стен. И хотя выше мы высказали определенные сомнения на этот счет, предположив, что летописец мог вспоминать и другое сражение с печенегами, имевшее место на

двадцать лет раньше, все же можно с уверенностью утверждать: лишь объединив под своей властью всю Русскую землю, Ярослав получил реальную возможность если и не приступить к строительству грандиозных укреплений и роскошных храмов своего стольного города, то, по крайней мере, успешно завершить его. Ибо для этого требовалось огромное напряжение сил всего Русского государства, а не какой-либо одной его части.

Летописи сообщают о строительной деятельности Ярослава в статье 1037 года — следующей после той, которая посвящена его победе над печенегами. Однако, по единодушному мнению ученых, в этой летописной статье, представляющей собой восторженную похвалу князю Ярославу — строителю Киева и просветителю своего народа, обобщается все содеянное князем за время его киевского княжения.

«В лето 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того же града Златые врата; заложил же и церковь Святой Софии, митрополью, и затем церковь на Золотых воротах Святой Богородицы Благовещения, затем святого Георгия монастырь и святой Ирины. И при сем начала вера христианская плодиться и расширяться, и черноризцы начали множиться, и монастыри начинали быть...»[40] В той же летописной статье сообщается и о завершении строительства Киевской Софии, которую Ярослав «украсил... златом и серебром и сосудами церковными; и возносят в ней к Богу положенные песнопения в положенное время» — но это, конечно же, могло случиться лишь спустя значительное время после начала строительства храма. Монастыри святого Георгия, небесного покровителя князя Ярослава, и святой Ирины, покровительницы его супруги, также были завершены строительством лишь в последние годы княжения Ярослава Мудрого (потому речь о них пойдет ниже). Так что вся та строительная деятельность, о которой повествует летописец, растянулась по меньшей мере на десятилетие. И все же именно 1037 год, похоже, стал переломным в истории древнего Киева.

Это время ознаменовано бурным церковным строительством не только на Руси, но во всей христианской Европе — в начале XI столетия белокаменные храмы один за другим вырастали во Франции и северной Испании, Англии, Ломбардии, прирейнских областях Германии[41]. «Можно сказать, что весь мир стряхивал с себя ветхие одежды и облачался в белые ризы церквей», — очень образно выразился французский хронист Рауль Глабер, имея в виду, правда, чуть более раннее время, а именно первое десятилетие XI века. Этот

феномен всеобщего расцвета каменного зодчества, почти одновременного в Западной и Восточной Европе, несомненно, имел экономические и политические предпосылки, правда, несколько различавшиеся в странах Западной Европы и на Руси. Но было еще одно обстоятельство, возможно, объясняющее всеобщую тягу к монументальному церковному зодчеству в конце X — первой трети XI века. Тысячелетие Рождества Христова, а в еще большей степени, наверное, тысячелетие Страстей Господних не могли не оживить ожиданий близящегося конца света во всем христианском мире. Казалось, что за тысячелетием христианской истории неизбежно грядет царство антихриста, освободившегося от тех уз, которыми связал его Христос, а затем — Второе пришествие Христово, общее воскресение из мертвых и Страшный суд*. И христианский мир готовился к этому главному, итоговому событию своей истории.

В нашем распоряжении нет данных, свидетельствовавших бы об оживленных ожиданиях конца света на Руси в эпоху Ярослава Мудрого**. И все же нельзя пройти мимо знаменательного совпадения: именно годом 1037-м от Рождества Христова — тем самым, под которым летопись помещает обобщенную похвалу князю Ярославу и рассказывает о строительстве Софийского собора и украшении Киева, — должна была завершиться история человеческого рода согласно расчетам некоторых эсхатологических сочинений, бытовавших в древнерусской и византийской письменности[42]. Как бы то ни было, подвиг князя Ярослава (а сооружение не одного, а нескольких великолепных храмов и строительство новой линии крепостных укреплений стольного града, несомненно, нельзя оценить иначе, как христианский подвиг) приобретал особый смысл, прежде всего, в свете неизбежной близости Страшного суда, на котором князю, как

---

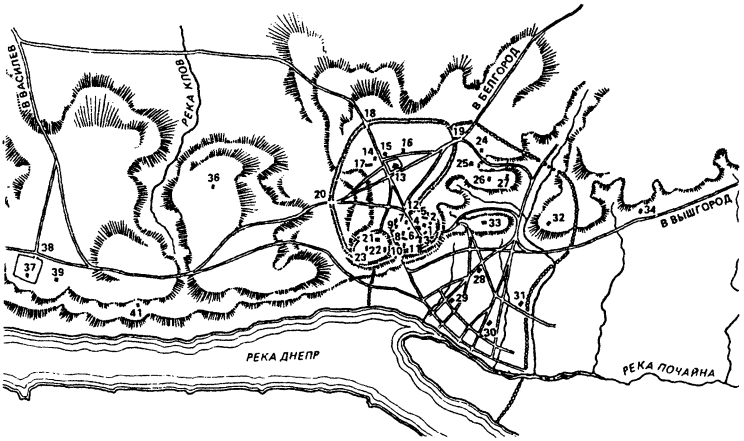
* Известно, что христианское учение в принципе отвергает возможность точного расчета даты конца света. Ср. в Евангелии: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой» (*Мф. 24: 36*) и у апостола Павла: «О временах же и сроках нет нужды писать... ибо... день Господень так придет, как тать ночью» (*1 Фес. 5: 1—2*). Тем не менее попытки таких расчетов предпринимались неоднократно. Особенно они должны были оживиться в конце X — первой трети XI века, ибо в Священном Писании определенно говорится о тысяче лет, на которые должен быть связан сатана, и о тысячелетнем Царстве Христовом (см.: *Откр. 20: 2, 7*).

** Правда, нельзя не отметить, что годы предполагаемого светопреставления в связи с тысячелетием Рождества Христова и тысячелетием Страстей Господних (1000 и 1033 годы) совпадают (может быть, и случайно) с двумя зияющими провалами в «Повести временных лет»: между 997 и 1014 и между 1032 и 1036 годами.

и любому из его подданных, предстояло держать ответ за все деяния, совершенные в земной жизни, — как благие, так и те, о которых хотелось поскорее забыть. «День Господень так придет, как тать ночью», — писал апостол Павел (*1 Фес. 5: 1—2*), и, памятуя об этих словах, князь должен был постоянно думать о приближении Судного дня. Нет сомнений, что вся атмосфера тех лет способствовала возбуждению эсхатологических ожиданий — по крайней мере, *возможность* близящегося конца света Ярослав должен был ощущать очень остро. Надо думать, что князь готовился предстать пред грозным Судией таким, каким вскоре он будет запечатлен на не дошедшей до нас парадной ктиторской фреске Софийского собора, — подносящим Спасителю выстроенный им храм, и не просто храм, а храм-символ, храм-образ христианского града Киева, украшенного и возвеличенного им.

Ничего подобного «великому граду» — новой киевской крепости, получившей название «города Ярослава», древняя Русь еще не знала. Ярослав в семь раз (!) увеличил площадь прежнего киевского детинца. К югу от «города Владимира» были возведены новые укрепления. Они представляли собой мощные земляные валы, в основе которых были заложены деревянные срубные конструкции, плотно заполненные грунтом. Протяженность земляных стен составила 3,5 километра; высота валов достигала 11 метров, а вместе с возвышавшимися над ними деревянными заборолами (мощным частоколом) — 16 метров. Ширина вала превышала 27 метров. В целом, территория, окруженная новой линией укреплений, охватывала более 70 гектаров. Перед валом, там, где он проходил по относительно ровной местности, был прорыт глубокий ров, а сами валы дополняла мощная стена из дубовых городен. По подсчетам специалистов, для возведения киевских укреплений необходимо было переместить около 630 тысяч кубических метров земли и заготовить не менее 50 тысяч кубических метров строительного леса. При условии, что строительство продолжалось в течение четырех лет, на нем должно было быть занято не менее тысячи человек ежедневно![43]

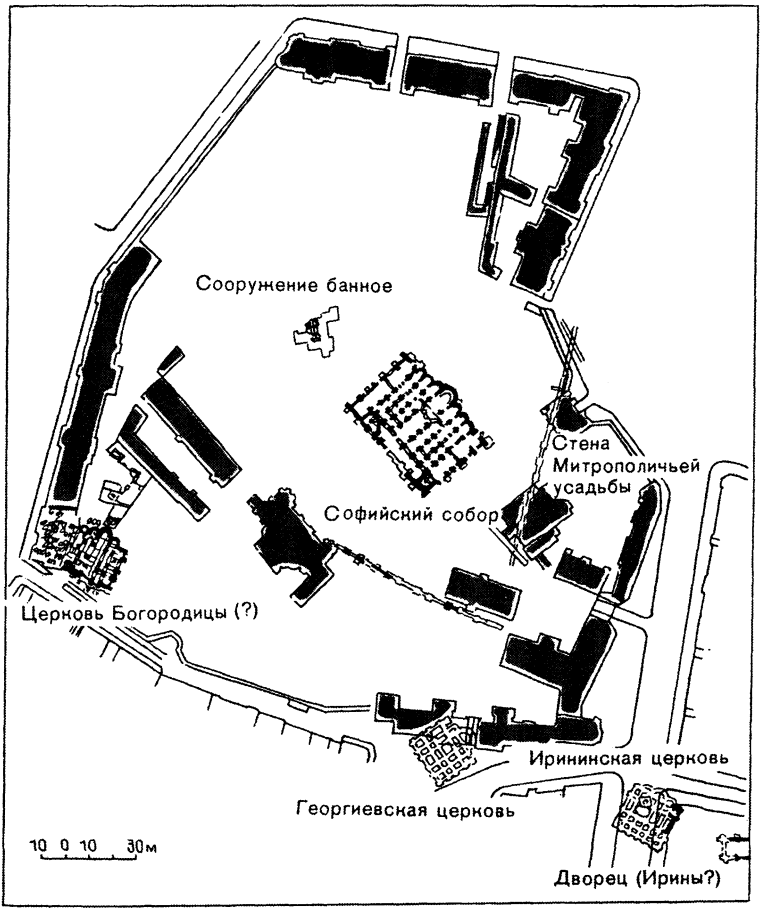
Многие из этих людей, по-видимому, привлекались к работам в принудительном порядке. Во всяком случае, князь Ярослав, которому приходилось тратить колоссальные средства на возведение одновременно нескольких грандиозных памятников, явно пытался сэкономить на рабочей силе и только ближе к концу своего княжения нашел возможность более или менее сносно оплачивать труд занятых на строительстве людей. Сведения на этот счет содержатся в Про-



План Киева первой половины XIII века. Реконструкция И. Красовского. Цифрами обозначены: 1 — Десятинная церковь; 3—5 — княжеские дворцы; 12 — Софийские ворота «города Владимира»; 13 — Софийский собор; 14 — церковь св. Ирины; 15 — церковь св. Георгия; 16 — неизвестная церковь XI века; 17 — каменный дворец; 18 — Золотые ворота «города Ярослава»; 19 — Жидовские ворота «города Ярослава»; 20 — Лядские ворота «города Ярослава»; 37 — Успенский собор Печерского монастыря.

ложном сказании об освящении киевской церкви святого Георгия (она, напомним, была построена в последние годы жизни Ярослава Мудрого). Когда начали возводить храм, рассказывает Сказание, люди весьма неохотно соглашались приступить к работам. Это вызвало явное неудовольствие князя. «Почто мало делающих?» — спрашивал Ярослав у тиуна, распоряжавшегося строительством. Тиун же отвечал так: «Господине, понеже дело властельское (княжеское. — *А. К.*), боятся [люди], что втуне будет труд их и оплаты лишатся» («наима лишени будуть»)[44]. На этот раз Ярослав сумел выйти из положения, установив высокую оплату «делателям» («...повелел возить куны на возах... и возвестили на торгу людям: да возьмет каждый по ногате на день»), но очевидно, что опасения киевлян основывались на горьком опыте предшествующего строительства, когда власти отказывались платить за выполненную работу, ссылаясь на «властельское дело».

«Город Ярослава» имел трое въездных ворот. Наиболее уязвимые, а потому наиболее укрепленные участки обороны крепости, они служили вместе с тем украшению города, наглядно свидетельствуя об экономическом и политическом



План расположения сооружений архитектурного ансамбля «города Ярослава» (по П. П. Толочко).

могуществе киевского князя. Воротам придавали и сакральное, священное значение: именно через них проходила граница между «своим» и «чужим» пространством, а потому ворота обязательно украшали христианские святыни.

Главные и самые знаменитые ворота города получили название «Золотых» — по подобию знаменитых Золотых ворот Константинополя. (Остатки их сохранялись в Киеве до недавнего времени; в 1982 году ворота были полностью восстановлены в своем первозданном виде.) Ярослав постарался придать им не только мощь, но и великолепие. В древности

их называли Великими (так именует их митрополит Иларион в своем «Слове о законе и благодати»), а также Святыми[45]. Рассказывали, будто створы ворот изготовлены из чистого золота (даже в конце XVI века их описывали как целиком позлащенные[46]), хотя современные исследователи скептически относятся к подобному утверждению.

Собственно ворота представляли собой две мощные каменные стены длиной более 25 метров с аркой, которая и служила проездной частью. Не исключено, что это был единственный каменный участок «города Ярослава». Ширина проезжей части достигала 6,5 метра; вверху ярус заканчивался площадкой, служившей оборонительной башней[47]. Над ней возвышалась небольшая одноглавая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная, вероятно, ненамного позже самих ворот или одновременно с ними. (Кстати, вполне возможно, что именно купол этой церкви, покрытый медными позолоченными листами, и дал название главным воротам Киева[48].)

«Сий же премудрый князь Ярослав того для створил Благовещение на вратах, [чтобы] дать всегда радость граду... своему Благовещением Господним и молитвою Святыя Богородицы и архангела Гавриила», — писал о Благовещенской церкви киевский летописец[49]. Само посвящение храма на главных, въездных воротах Киева «первому Господскому празднику», с которого началась земная история Спасителя, а вместе с тем и вся новозаветная история человеческого рода, имело глубокое символическое значение. Спустя немного времени после освящения храма будущий митрополит Иларион Киевский произнесет слова, прославляющие князя Ярослава: «...И славный град... Киев он окружил величием, как венцом, и народ... и град святой предал в покровительство скорой помощнице христианам Пресвятой и Преславной Богородице, которой на Великих вратах и церковь воздвиг во имя первого Господского праздника — святого Благовещения, чтобы приветствие, возвещенное архангелом Деве, прилагалось и к граду сему. И если той возвещено было: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою!", то граду: "Радуйся, град православный! Господь с тобою!"»[50] Мы еще будем иметь возможность оценить значение этих слов, в которых по существу выражена программа всей церковно-строительной деятельности князя Ярослава.

Еще одни, Лядские ворота служили для въезда в город с юго-востока. (Впоследствии, в XVIII веке, на их месте были возведены кирпичные Печерские ворота Киева.) Сами ворота (по-видимому, деревянные) не сохранились, но их про-

ездная часть была обнаружена в ходе археологических раскопок в 1982 году. Исследователи по-разному объясняют их название. Чаще всего здесь видят указание на ляхов, то есть поляков: «Лядские», значит, «Польские». Однако ворота вели не на запад, в сторону Польши, но как раз в противоположном направлении[51]. По-другому название Лядских ворот выводили от слова *ляда*, *лядина*, которым обозначают расчищенную заросль леса: возможно, строители Ярославова вала, устраивая восточные ворота города, расчистили значительный участок от леса и кустарника, что и запечатлелось в их названии[52].

Наконец, третьи ворота «города Ярослава», расположенные в северо-западной части Киева, примыкавшей к так называемому «Копыреву концу», назывались Жидовскими. (Впоследствии они получили название Львовских.) Остатки этих ворот так и не были найдены, поэтому археологи не могут сказать ничего определенного ни об их внешнем облике, ни об их размерах или материале, из которого они были сделаны. Свое название Жидовские ворота получили по еврейскому кварталу, называвшемуся Жидове и существовавшему в Киеве едва ли не с самого возникновения города.

Бóльшая часть памятников христианского Киева Ярославовой поры была сосредоточена на относительно небольшом участке между Золотыми воротами «города Ярослава» и Софийскими воротами «города Владимира» — прежнего киевского детинца. Помимо дошедшего до наших дней (правда, в сильно измененном виде) Софийского собора, археологи выявили здесь остатки по крайней мере трех каменных храмов, а также митрополичьей усадьбы и какого-то каменного сооружения (предположительно, бани), построенных в годы княжения Ярослава Мудрого[53]. Очевидно, что летописец упомянул далеко не обо всех постройках князя Ярослава, но только о тех, которые представлялись ему наиболее важными.

Подлинным украшением Киева и главным детищем Ярослава стал великолепный Софийский собор, образцом для которого послужила Константинопольская София, построенная в VI веке при императоре Юстиниане, — главный храм Византийской империи и одна из главных святынь православного мира. Если буквально принимать свидетельство «Повести временных лет», работы по возведению собора могли начаться не ранее 1037 года, причем не на том месте, где стояла прежняя деревянная церковь Свя-

той Софии, но на каком-то «поле», то есть пустыре вне городских стен. Но мы уже говорили о том, что это, наверное, не обязательно, тем более что на месте Софийского собора обнаружены следы длительного проживания людей — остатки культурного слоя и отдельные находки предметов быта[54]. Каких-либо препятствий для того, чтобы отодвинуть дату начала строительства храма ко времени, предшествующему кончине Мстислава, по-видимому, не существует; впрочем, вопрос о времени строительства Софийского собора — несмотря на многочисленные открытия украинских археологов последних лет — так и остается не выясненным до конца[55]. Можно думать, что смерть черниговского князя если и не послужила условием для начала строительства, то, во всяком случае, способствовала ускорению хода работ. Киевским строительством, несомненно, руководили мастера-византийцы, и не исключено, что в их число вошли те самые зодчие, которые возводили Спасский собор в Чернигове. Как мы помним, после смерти Мстислава в 1036 году работы в Чернигове были на время приостановлены — вполне возможно, что мастера понадобились князю Ярославу в Киеве.

Строили собор в течение нескольких лет. Полагают, что весь цикл работ по возведению и украшению храма занял около 10 лет: 3—5 лет на строительство собора, 2—3 года на просушку и осадку стен и 3—4 года на роспись храма[56]. Во всяком случае, к середине — второй половине 40-х годов XI века храм уже определенно существовал, вызывая восхищение современников. Причем поражал он не столько своими размерами — Киевская София заметно уступала в этом отношении своему константинопольскому образцу, — сколько внешним великолепием и, особенно, красотой внутреннего убранства. Тринадцатикупольный (число глав символизировало Христа и двенадцать апостолов), пятинефный храм, боковые приделы которого были посвящены святому Георгию, небесному покровителю князя Ярослава, и архангелу Михаилу, архистратигу небесного воинства и покровителю княжеской дружины, он весь был расписан внутри изумительными по красоте мозаиками и фресками, часть которых сохранилась до наших дней. Иларион Киевский в своем знаменитом «Слове о законе и благодати», написанном и произнесенном во второй половине 40-х годов XI века, имел все основания с восхищением отозваться об убранстве главного киевского храма. Князь Ярослав, восклицал он, «создал дом Божий, великий и святой, церковь Премудрости Его — в святость и освящение граду твоему (то есть

Киеву. — *А. К.*), — украсив ее великою красотою: и золотом, и серебром, и драгоценными каменьями, и дорогими сосудами. И церковь эта вызывает удивление и восхищение во всех окрестных народах, ибо вряд ли найдется иная такая во всей полунощной стране с востока до запада» («...яко же ина не обрящется во всемь полунощии земнеемь ото въстока до запада»)[57].

Удивительно, но полтысячелетия спустя, когда разграбленная и полуразрушенная Киевская София являла собой лишь жалкое подобие былого великолепия, эти слова восхищения были повторены сторонним (хотя и заинтересованным) наблюдателем, киевским бискупом Иосифом Верещинским: «...В целой Европе по драгоценности и изяществу работы нет храмов, стоящих выше константинопольского и киевского...»[58]

Киевскому храму суждено было стать главным, кафедральным собором всего Киевского государства и наиболее полным воплощением и олицетворением своей эпохи — эпохи расцвета Киевской Руси. Именно сюда, поклониться Святой Софии и возблагодарить Бога, будут спешить прежде всего киевские князья, возвращаясь из многотрудных и опасных походов; именно здесь впоследствии будут происходить торжественные обряды посажения на престол новых киевских князей и настолования новых киевских митрополитов; здесь будут собираться соборы русских епископов (один из них, созванный при князе Ярославе в 1051 году, изберет на киевскую митрополию первого митрополита из русских, сподвижника князя Ярослава Илариона); у стен собора не раз будет сходиться многолюдное киевское вече; наконец, в стенах Софийского собора найдут свое последнее пристанище многие киевские князья, начиная с самого Ярослава Мудрого...

Святая София станет и главной святыней города, затмив собой прежний главный киевский храм — Десятинную церковь Пресвятой Богородицы, построенную отцом Ярослава Владимиром. Среди мозаик и фресок Софийского собора внимание каждого вступающего в храм прежде всего будет привлекать монументальное мозаичное изображение в своде главного алтаря — мощная, приземистая фигура Пресвятой Богородицы Оранты с воздетыми к небу руками[59]. Застывшая в многотрудном молитвенном служении, духовном воинствовании «за други своя», Пречистая — подлинное воплощение и одушевленный храм Премудрости Божией, коей посвящен был киевский собор, — словно «нерушимая стена», будет ограждать своих «верных чад», свой град и всю

Русскую землю*. «Нерушимая Стена» — именно такое имя получит Киевская Божия Матерь у киевлян, и имя это более всего может быть применимо и к самой Святой Софии, и ко всему «граду Ярослава», находящемуся под небесным покровительством Пресвятой Богородицы. Так будет до 1240 года, когда Киев падет под ударами монголо-татарских орд, и этот трагический год станет завершением всей величественной истории Киевской Руси.

Та же идея небесного покровительства граду Киеву через покровительство Святой Софии — Премудрости Божией — будет выражена и в посвятительной надписи, обрамляющей изображение Божией Матери. Надпись эта воспроизводит на греческом языке слова 6-го стиха 45-го Псалма: «Бог посреди нее, и она не поколеблется. Поможет ей Бог с раннего утра»[61]. Слова святого псалма обращены к «граду Божьему» (в греческом языке слово πολις — город — женского рода) — прообразу Церкви Христовой. (В современном синодальном переводе Библии: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердца морей... Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его: он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра» — *Пс. 45: 1—6.*) В византийской традиции эти стихи прилагались к граду Константинополю как новому Иерусалиму, в котором исполнилось пророчество псалмопевца Давида о несокрушимости Божьего града, а также к Константинопольскому Софийскому собору — средоточию

---

* Крупнейший современный исследователь византийской культуры Сергей Сергеевич Аверинцев так пишет о воздетых руках — традиционном жесте Божьей Матери Оранты: «Чтобы понять подлинный смысл жеста Оранты, полезно вспомнить известное место Библии, где описывается именно такой жест. Согласно повествованию Книги Исхода, во время тяжелой битвы израильтян с амалекитянами Моисей поднял руки в молитве за свой народ — и до тех пор, пока он упорным усилием удерживал руки в воздетом положении, побеждали израильтяне, а когда руки Моисея невольно опускались, одолевали враги (*Исх. 17: 11—12*)... В свете этого эпизода, популярного в средние века и служившего ветхозаветным прообразом позы Оранты, становится понятным, какого рода молитва изображена в известной киевской мозаике. Эта молитва — многотрудное духовное воинствование «за други своя», «духовная брань», воински непреклонное «дерзание» перед лицом Бога, напряжение теургической силы, от которого должны расточиться видимые и невидимые, телесные и бесплотные враги города и народа. Целую вечность не опускающая своих воздетых рук Оранта есть поистине «Воевода» для своих людей, самоотверженно принимающая на себя воинский труд заступничества за них, как Моисей принимал на себя бремя своего народа»[60].

и образу «Царствующего града» и всей православной Империи. Согласно греческому «Сказанию о Святой Софии», составленному в IX веке (и, кстати, известному в древнерусской книжности), текст 6-го стиха 45-го псалма был начертан на кирпичах, из которых были возведены подкупольные арки и купол Святой Софии Константинопольской[62]. Повторяя ту же надпись на алтарной арке Софии Киевской, заказчик собора — а им, несомненно, был князь Ярослав — уже в Киеве видел новое земное воплощение Божьего града — новый Константинополь и новый Иерусалим, земное воплощение небесного, «вышнего» Иерусалима. Спустя немного времени эту мысль с особой силой выразит митрополит Иларион. Обращаясь в «Слове о законе и благодати» к отцу Ярослава, святому князю Владимиру — «новому Давиду» и «новому Константину», который с бабкой своей Ольгой «веру утвердил, крест принеся из нового Иерусалима, града Константинова, и водрузив его по всей земле», Иларион будет прославлять и «доброго послуха» и сына его Георгия, то есть князя Ярослава, «которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе, не нарушающим уставов твоих, но утверждающим... не разрушающим, но созидающим. Недоконченное тобою он докончил, как Соломон — предпринятое Давидом. Он создал дом Божий, великий и святой, церковь Премудрости Его, — в святость и освящение граду твоему...». Уподобляя строителя Киевской Софии библейскому царю Соломону, строителю Иерусалимского храма (а князя Владимира, соответственно, Давиду), автор «Слова о законе и благодати» должен был иметь в виду и византийскую традицию, которая именовала «новым Соломоном» императора Юстиниана — строителя Софийского собора в Царьграде, а «новым Давидом» — Константина Великого, основателя «Царствующего града». Так Киевская Русь приближалась к осознанию себя «новым Иерусалимом» и «новым Константинополем» — как известно, этот взгляд на существо и предназначение русской истории с особой силой проявится уже в эпоху Московской Руси.

Киевский собор будет освящен лишь после того, как завершатся все основные работы по его украшению фресками и мозаиками — то есть, по-видимому, уже в 40-е годы XI века[63]. К этому времени существенные изменения произойдут и во внутриполитической ситуации в Киевском государстве, и во внешнеполитическом курсе князя Ярослава. В 1043 году начнется русско-византийская война (речь о ней пойдет в следующей главе книги). Но нет сомнений, что и предшествующие освящению храма годы в известном смысле

прошли в Киеве под знаком Святой Софии — Премудрости Божией, осеняющей и град Киев, и всю Русскую землю, и правителя Киева «премудрого» князя Ярослава.

В Киевской Руси известны были два празднования освящения Софии Киевской. Одно из них, 4 ноября, скорее всего, имело в виду повторное освящение главного киевского храма, случившееся уже после кончины князя Ярослава Владимировича: согласно древним русским месяцесловам, 4 ноября храм освящал митрополит Ефрем, занимавший киевскую кафедру во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов XI века[64]. Второй же день, известный древнерусским месяцесловам, — 11 мая. По мнению большинства исследователей, он и был днем празднования освящения Киевской Софии Ярославовой поры[65]. Выбор этого дня, несомненно, имел глубокое символическое значение. 11 мая Восточная церковь празднует «обновление Царяграда» — «день рождения» столицы Византийской империи в память о ее обновлении Константином Великим в 330 году (этот праздник отмечен и древнерусскими месяцесловами). Приурочивая празднование в честь своего главного храма к этому дню, князь Ярослав еще раз обозначал преемственность обеих Софий — Киевской и Константинопольской, а значит, и преемственность Киева и Константинополя. Вспомним, что и сам Софийский собор, по словам Илариона, создан был им «в святость и освящение» своему городу. Исследователи допускают даже, что освящение киевского кафедрального собора могло быть совершено одновременно с освящением всего «города Ярослава», то есть крепостных укреплений Киева[66]. Так, «обновляя» свой град, князь Ярослав уподоблял себя не кому-нибудь, а самому великому равноапостольному Константину.

Несомненно, празднуя освящение Софийского собора, Ярослав опирался и на уже имевшуюся русскую традицию: 12 мая, то есть на следующий день после празднования «обновления Царяграда», киевляне отмечали освящение церкви Пресвятой Богородицы — знаменитой Десятинной церкви, основанной князем Владимиром[67]. Ярослав следовал по стопам отца («недоконченное тобою он докончил», — восклицал Иларион), но он сумел превзойти его, еще более приблизив собственно киевский праздник к константинопольскому.

Празднование Святой Софии 11 мая совпало с еще одной значимой датой в православном календаре. В этот день Церковь отмечает память святых равноапостольных Константина (Кирилла) и Мефодия, учителей славянских и изо-

бретателей славянской азбуки. Надо думать, что такое совпадение должно было казаться особо знаменательным князю Ярославу, которого летопись называет великим любителем книг и почитателем книжной премудрости. Сама тема Софии — Премудрости Божией — в представлении древнерусских книжников была неразрывно связана с именем и учением святого Константина, получившего уже от современников прозвище Философ (то есть, дословно — любитель мудрости) и с юности избравшего себе из всех земных добродетелей «Софью, сиречь мудрость»[68]. В сознании русских людей князь Ярослав явился прямым продолжателем великого дела первоучителя славян. Ибо если тот дал славянам грамоту, а значит, и возможность прославлять Господа на своем родном языке, то князь Ярослав по существу реализовал эту возможность применительно к Руси: перефразируя слова киевского летописца, он засеял Русскую землю семенами книжного учения, взращенными святыми Кириллом и Мефодием, дав последующим поколениям русских людей «неоскудевающую пищу» премудрости книжной.

Помимо прочего, Киевской Софии, по замыслу Ярослава, предстояло стать вместилищем книжной премудрости: именно здесь стараниями князя была устроена первая на Руси княжеская библиотека. «Ярослав же сей... — рассказывает летописец, — любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам...» Последующие слова летописца звучат настоящим гимном книгам и книжному знанию, столь любимым киевским князем:

«...И любил Ярослав церковные уставы, и священников любил весьма, особенно же черноризцев, и к книгам прилежал и читал их часто ночью и днем. И собрал писцов многих, и переложили те от грек на славянское письмо и списали книги многие, ими же поучаются верные люди, наслаждаясь учением божественным... Великая ведь бывает польза от учения книжного: книгами ведь наставляемы и поучаемы на путь покаяния; мудрость ведь обретаем и воздержание от словес книжных. Это ведь — реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими ведь в печали утешаемся; они — узда воздержанию. Мудрость бо велика есть; так же и Соломон, прославляя ее, говорил: “Я, премудрость, вселила свет и разум и смысл я призвала... У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду... Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут

меня" (*Притч. 8: 12—17*). Если прилежно поищешь в книгах премудрости, то обрящешь великую пользу душе своей. Ибо кто книги часто читает, тот беседует с Богом или со святыми мужами; почитая пророческие беседы, и евангельские учения, и апостольские, и жития святых отцов, восприемлет душе великую пользу».

Историки оценивают эпоху Ярослава Мудрого как совершенно исключительную в развитии русской книжной культуры. Говоря современным языком, в эти годы Русь пережила настоящий информационный взрыв[69], подобный тому, который переживаем мы сегодня, когда нам становятся доступны ранее неизвестные источники информации. В XI веке такими новыми источниками информации являлись книги.

Принявшая христианство на исходе X века, но знакомая с ним гораздо раньше, Русь имела возможность воспринять это вероучение на своем родном языке; уже существующая литературная традиция славянских переводов, выполненных великими славянскими учителями Константином (Кириллом) и Мефодием и их учениками в Моравии и Болгарии, облегчала русским людям знакомство с великим наследием христианской культуры. Возможно, и собственные литературные переводы с греческого и других языков появились на Руси также еще до Ярослава (хотя это остается пока лишь на уровне предположения). Но именно книжники Ярославовой поры совершили настоящий прорыв в деле христианского просвещения своего народа. В этой связи летописец и приводит свое знаменитое сравнение князя Ярослава с сеятелем, плодами трудов которого питаются последующие поколения: «...Как если некто землю разóрит (вспашет. — *А. К.*), другой же засеет, иные же пожинают и едят пищу неоскудевающую: так и сей. Ибо отец его Владимир землю вспахал и умягчил, то есть крещением просветив; сей же насеял книжными словесами сердца верных людей, а мы пожинаем, приемля учение книжное».

В настоящее время очень трудно установить, какие именно книги были переведены книжниками Ярослава и какие книги вообще были переведены в Киевской Руси, а не, скажем, в Болгарии, откуда поступала на Русь основная масса славянских переводов. С большей или меньшей вероятностью исследователи называют «Хроники» Георгия Амартола, Иоанна Малалы и Георгия Синкелла — фундаментальные византийские исторические сочинения, излагающие события всемирной истории начиная с Сотворения мира; «Историю иудейской войны» Иосифа Флавия; так называемую «Александрию» — роман об Александре Македонском, при-

писываемый историку Каллисфену, сопровождавшему Александра в его походах, и потому именуемый «Псевдо-Каллисфеновым»; «Христианскую топографию» Козьмы Индикоплова, получившего свое прозвище в связи с мифическим плаванием в Индию; «Повесть об Акире Премудром», рассказывающую о некоем советнике ассирийского царя; Житие Василия Нового, жившего в первой половине X века, а также целый ряд других сочинений, в том числе апокрифов (то есть «отреченных» книг, иначе, чем Священное Писание, излагающих события ветхо- и новозаветной истории). Полагают также, что в XI веке в Киевской Руси осуществлялись переводы не только с греческого, но и с других языков — еврейского, латинского, может быть, сирийского, армянского[70]. Известно, что Киев, Новгород и другие города древней Руси были в то время многонациональными; здесь жили представители разных народов, разных культур, и это, несомненно, не могло не способствовать обогащению собственно русской культуры.

В отличие от Западной Европы, в средневековой России сложились крайне неблагоприятные условия для сохранения накопленных книжных богатств. По оценкам специалистов, до нашего времени уцелело ничтожно малое число рукописей, бытовавших в древней Руси, — от долей процента до 1 % общего числа[71]. Книги гибли во время пожаров и других стихийных бедствий, многочисленных войн, нашествий иноплеменников и внутренних междоусобиц; наконец, они просто быстро ветшали и приходили в негодность, ибо климатические условия нашей страны не слишком подходят для хранения древних пергаменных списков. И очевидно, что чем дальше отстоит от нас время написания рукописи, тем меньше шансов, что она могла уцелеть в последующие лихолетья. «...Удивляться надо не тому, что погибло большинство книг XI века, — с сожалением констатирует современный исследователь, — а тому, что хотя бы их малая часть дошла до наших дней»[72].

Так, самая древняя из русских книг, бесспорно написанная на Руси при князе Ярославе*, сохранилась в библиотеке далекого от России города Реймса, первой столицы

---

* Теперь, после сенсационной находки российских археологов, кажется, можно сделать поправку к этому утверждению: обнаруженная в Новгороде деревянная книжечка — «цера» (датируемая временем ранее 1036 года!), содержит не только тексты отдельных псалмов, но и совершенно оригинальные древнерусские тексты, в том числе антиязыческое поучение, которое — надо надеяться — в скором времени будет прочитано исследователями[73].

Франции. Это знаменитое Реймсское Евангелие (точнее, кириллическая его часть, поскольку данная рукопись является конволютом, то есть соединением под одним переплетом двух разных рукописей; вторая часть Реймсского Евангелия написана глаголицей значительно позднее — как полагают, в конце XIV века в Чехии). Сохранившаяся русская часть книги представляет собой лишь небольшой фрагмент (2 тетради, или 16 листов) древнего служебного Евангелия (так называемого Евангелия Апракос). Исследованиями выдающегося русского филолога-слависта Лидии Петровны Жуковской можно считать доказанным, что эта рукопись старше наиболее древних датированных русских книг — Остромирова Евангелия 1056/57 года и Изборников 1073 и 1076 годов. Очевидно, она попала во Францию вместе с русской княжной Анной, дочерью Ярослава Мудрого, ставшей около 1051 года супругой французского короля Генриха I, а значит, была переписана на Руси еще раньше[74]. Впоследствии эта книга стала французской святыней: во время коронации французские короли — почитая рукопись греческой — приносили на ней присягу.

Современные исследователи пытаются выявить и другие рукописи, которые могли принадлежать кругу книгописцев Ярослава Мудрого. Это славянский перевод «Пандектов Антиоха» — своего рода энциклопедии христианских добродетелей и пороков, составленной в начале VII века палестинским иноком Антиохом (рукопись хранится в Государственном Историческом музе в Москве, собрание Воскресенского монастыря, № 30), роскошная Чудовская Псалтирь (ГИМ, Чудовское собрание, № 7), а также два отрывка — так называемый «Златоструй Бычкова»* (хранится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, Q. п. I. 74) и «Листок Викторова», представляющий собой отрывок из тех же «Пандектов Антиоха» (Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки, собрание Пискарева, № 205.1)[75]. Конечно, этот список слишком мал (вспомним о доле процента сохранившихся рукописей домонгольской поры!), но и на основании уцелевших отрывков исследователи делают вывод о достаточно высоком профессиональном уровне писцов «скриптория Ярослава».

Книжники Средневековья не имели обыкновения подписывать свои произведения. Поэтому сегодня нам известны

---

* «Златоструями» в древней Руси назывались сборники, включавшие в себя слова и поучения величайшего христианского писателя Иоанна Златоуста.

лишь немногие имена русских писателей, переводчиков или переписчиков первой половины XI века. Предположительно можно говорить о существовании не только киевского, но и новгородского скриптория. (Кстати говоря, отмечены новгородские черты и в тех рукописях «скриптория Ярослава», которые были перечислены выше[76].) Так, книжниками были уже известные нам новгородский епископ Лука Жидята и занимавший до него новгородскую кафедру Ефрем. Сведения о себе оставил диакон Григорий, также новгородец, переписавший вскоре после смерти Ярослава, в 1056/57 году, роскошное Евангелие, получившее в науке название Остромирова. Показательно, что предназначалось оно не только новгородскому посаднику Остромиру (в крещении Иосифу), но и членам его семьи, несомненно, знавшим грамоту и понимавшим толк в книгах: «самому ему и подружию (супруге. — *А. К.*) его Феофане и чадом ею (их. — *А. К.*) и подружием чад ею»[77]. Еще один книжник Ярославовой поры, упомянувший о себе в приписке к созданной им рукописи, — новгородский священник с необычным именем Упырь Лихой, переписавший в 1047 году Книгу пророчеств для новгородского князя Владимира Ярославича (эта рукопись не дошла до нашего времени, но сохранилась в ряде списков XV—XVI веков). Он также обращается не к одному князю, но ко многим читателям: «...Тем же молю всех прочитати пророчества се. Велика бо чюдеса написаша нам сии пророци в сих книгах». Поп Упырь, несомненно, знал князя Владимира лично и ожидал от него за свой труд каких-то вполне материальных благ: «Здоров же, княже, буди, в век живи, но обаче писавшаго не забывай»[78].

Из книжников-киевлян, современников Ярослава, с уверенностью можно назвать только одно имя — но зато какое! Впрочем, Иларион Киевский, автор знаменитого «Слова о законе и благодати», отнюдь не возвышался подобно одинокому утесу над гладью всеобщего невежества. Произнося свое великое слово, будущий киевский митрополит, а в то время священник берестовской церкви Святых Апостолов, обращался к людям, так же, как и он сам, начитанным в Священном Писании и византийской богословской литературе. «Ибо не несведущим мы пишем, — восклицал он, — но с преизбытком насытившимся книжной сладости»[79]. Нет сомнений, что к числу этих людей, «преизлиха насытившихся сладости книжныя», Иларион относил и самого князя Ярослава Владимировича и членов его семьи, причем не только сыновей, но и дочерей. Вопреки бытующему мнению, женщины древней Руси были не менее грамотными,

чем мужчины. Так, например, известно, что дочь князя Ярослава Анна, ставшая королевой Франции, умела не только читать, но и писать (в отличие, кстати, от своего супруга, короля Генриха I, и большинства его чиновников и придворных). До наших дней сохранилась ее подпись кириллическими буквами: «АНА РЪИНА», то есть «Анна регина» (королева). Помимо славянской азбуки, дочь Ярослава владела и латынью, о чем свидетельствуют ее же подписи на латинском языке: «Annae Reginae» или «Annae matris Philippi regis» («Анна, мать короля Филиппа»)[80].

Автографы представителей мужской половины семьи Ярослава Мудрого не дошли до нашего времени. (Вновь приходится сожалеть о различиях в степени сохранности документов в России и Западной Европе.) Но и сыновья Ярослава были, несомненно, людьми книжной культуры. И Владимир, и Изяслав, и Святослав Ярославичи, и члены их семей имели собственные библиотеки; специально для них переписывались книги, среди которых дошедший до нашего времени роскошный Изборник 1073 года с миниатюрой, изображающей семью князя Святослава Ярославича, или так называемый «Кодекс Гертруды» — латинская рукопись, принадлежавшая невестке Ярослава Мудрого, супруге его сына Изяслава польке Гертруде; эта рукопись (хранящаяся в итальянском городе Чивидале) также содержит замечательные миниатюры, изображающие саму Гертруду, ее сына князя Ярополка и супругу последнего немку Кунигунду-Ирину. Еще один сын Ярослава Мудрого, князь Всеволод Ярославич, был известен тем, что знал пять языков, а его сын, внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах, вошел в русскую историю не только как выдающийся полководец и государственный деятель, но и как замечательный писатель.

Окружение Ярослава Мудрого и его сыновей также состояло в основном из людей книжных или, по меньшей мере, грамотных. Помимо упоминавшихся выше Илариона и Остромира, в этой связи можно назвать, к примеру, некоего Николу, посланного по какой-то надобности князем Ярославом из Киева в Новгород и оставившего автограф на стене новгородского Софийского собора: «Святая София, помилуй раба своего Николу, пришлеца из Киева града от своего князя Ярослава...»[81]

Но грамотность и образованность отнюдь не были уделом одних лишь правящих верхов древнерусского общества. Открытые и исследованные в последние десятилетия эпиграфические материалы — знаменитые берестяные грамоты и надписи-граффити на стенах киевских, новгородских, по-

лоцких и других соборов, надписи на новгородских цилиндрах-бирках и ставшая уже знаменитой «цера» («Новгородская Псалтирь») с Троицкого раскопа Новгорода — переворачивают многие устоявшиеся представления о древней Руси и окончательно опровергают мнение, высказанное некогда выдающимся историком Русской церкви Евгением Евстигнеевичем Голубинским, о крайне низком уровне грамотности и образованности русского общества в домонгольское время[82]. Как оказалось, грамотными на Руси были представители самых разных слоев населения — и можно думать, что этому в немалой степени способствовала политика, проводимая князем Ярославом.

Выше мы уже говорили о школе, устроенной по велению князя Ярослава в Новгороде: в ней, напомним, обучалось триста человек. Подобные школы, хотя и меньших размеров, существовали и в других городах древней Руси, даже не очень крупных. Так, из Жития преподобного Феодосия Печерского мы узнаем о школе, существовавшей в 30—40-е годы XI века в небольшом тогда городе Курске. Еще отроком будущий святой был отдан родителями «на учение божественных книг» одному из местных учителей и вскоре «извыче (изучил. — *А. К.*) *вся граматикия*», так что окружающие удивлялись его премудрости и быстрому обучению. Вместе с Феодосием у того же учителя обучались грамоте и другие ученики[83].

Ставший впоследствии игуменом Киевского Печерского монастыря, Феодосий прославился и как автор целого ряда поучений братии и посланий князьям — Изяславу и Святославу Ярославичам. Его современник и наставник в иноческом житии, будущий печерский игумен Никон, удостоившийся от учеников прозвища «Великий», также был искусным книжником. «Многажды случалось великому Никону сидеть и делать (переписывать? — *А. К.*) книги, — писал печерский диакон Нестор, автор Жития Феодосия Печерского, — а блаженному (то есть Феодосию. — *А. К.*), с краю присев, прясти нити на потребу таковому делу»[84]. О роли книг в киевском обществе (правда, чуть позже, в 80-е или в начале 90-х годов XI века) рассказывает Слово о святом Григории чудотворце, младшем современнике Феодосия и Никона Печерских, читающееся в Киево-Печерском патерике. Инок Григорий владел значительной библиотекой, которая составляла единственное его имущество. Движимый чувством христианского всепрощения, он, ради спасения жизни воров («татей»), чуть было не ограбивших его, решился передать часть своих книг «градскому властелину» (посаднику); оставшиеся же книги продал, а деньги раздал убогим,

дабы опять не впали в беду «хотящие покрасть книги». Так мы видим, как спустя всего несколько десятилетий после смерти Ярослава книги становятся не просто привычным предметом обихода, но товаром, за который легко можно выручить немалые деньги и даже выкупить чью-то жизнь[85].

Поколение людей, к которому принадлежали сам Ярослав и берестовский священник Иларион, посадник Остромир и диакон Григорий, епископ Лука Жидята и поп Упырь Лихой, и тем более следующее за ними поколение — поколение Феодосия Печерского и Никона «Великого» и их современников — выросли в стране, уже просвещенной светом христианства. Смена идеологических установок, изменение культурного климата, привыкание к новому образу жизни происходят очень быстро, особенно если речь идет о людях молодых, еще не «закоснелых разумом» (выражение древнерусского книжника) — наша новейшая история продемонстрировала это очень наглядно. Мы уже говорили — и не раз — о том, что княжеская власть отнюдь не стремилась непременно силой искоренить остатки язычества, «огнем и мечом» насадить новую веру в обществе. Этот путь вообще очень тяжек и, как показала история соседних с Русью стран, чреват социальными потрясениями и большой кровью. Путь же насаждения христианских ценностей исподволь, путь просвещения — другое дело. Князь Ярослав, по-видимому, осознавал это. И может быть, никакой иной стороной своей деятельности он не заслужил в такой степени прозвище «Мудрого», или «Премудрого» князя, как именно этим неустанным радением о христианском просвещении своего народа.

Говоря о главном храме Русского государства, киевский летописец назвал его «митрополией», то есть кафедральным, митрополичьим собором. Книжники более позднего времени поняли это слово как указание на то, что сама Киевская митрополия возникла в 1037 году. «Того же лета великий князь Ярослав митрополию уставил (установил. — *А. К.*)», — читаем, например, в Софийской Первой летописи[86]. Списки киевских митрополитов, составленные в XV веке, в том числе список, читающийся в Новгородской Первой летописи младшего извода, называют первым русским митрополитом современника Ярослава грека Феопемпта, упомянутого в летописи под 1039 годом[87].

Эта точка зрения впоследствии была усвоена и отечественной историографией и на долгое время стала почти общепринятой, тем более что ее разделяли и отстаивали такие

выдающиеся исследователи древней Руси, как Алексей Александрович Шахматов, Михаил Дмитриевич Приселков, Дмитрий Сергеевич Лихачев и многие другие. «Летопись точно помнит год установления у нас митрополии, отмеченный как год заложения святой Софии в Киеве», — писал, например, Приселков[88]. Однако мнение это, скорее всего, ошибочное. Кропотливое изучение ранее почти не привлекавшегося источника — византийских перечней епископий Константинопольского патриархата, осуществленное исследователями во второй половине XX века, позволило прийти к выводу, что Русская (Киевская) митрополия была учреждена уже вскоре после крещения князя Владимира — в конце 80-х — 90-е годы X века[89].

И все же какие-то радикальные изменения в положении Церкви в Киевской Руси в княжение Ярослава Мудрого, по-видимому, произошли, и русские источники сумели зафиксировать их. Во всяком случае, именно с середины XI века деятельность русских митрополитов становится наконец заметной для киевских летописцев, а значит, и для нас — читателей летописи. Показательно, что и иностранные хронисты как будто выделяют два различных этапа в христианизации Руси, первый из которых можно связывать с Крещением Руси при князе Владимире Святом, а второй — с деятельностью греческих иерархов при Ярославе или, может быть, Мстиславе Владимировичах. Так, французский хронист, ангулемский клирик Адемар Шабаннский (ум. 1034), автор известной «Хроники», составленной около 1030 года, сообщает о том, что лишь спустя какое-то время после обращения в христианство русского князя на Русь явился некий греческий епископ, который и «обратил низший класс народа этой провинции (в другом переводе: «ту половину страны, которая оставалась предана идолам». — *А. К.*)... и заставил их принять обычай греческий относительно рощения бороды и прочего»[90]. Если мы вспомним, что еще в конце княжения Владимира «греческий» обычай «рощения бороды» не привился даже среди правящих кругов русского общества (об этом свидетельствуют изображения киевских князей на известных нам монетах и печатях), то, пожалуй, можно сделать вывод о том, что появление греческого иерарха (или греческих иерархов) в русских пределах должно быть отнесено к более позднему времени — а именно к 20-м годам XI века[91]. А ведь изменения, произошедшие во внешнем облике русских людей в это время, несомненно, отражали какие-то существенные сдвиги в их образе жизни, сознании и т. п.

Если не считать легендарных киевских митрополитов Михаила и Леона (Леонтия), а также бывшего севастийского митрополита Феофилакта, биография которого восстанавливается исследователями сугубо гипотетически, первым митрополитом, упомянутым в древнейших русских источниках, оказывается некий Иоанн. Впрочем, его имени также нет в древнейших летописях; о митрополите (или «архиепископе») Иоанне сообщают лишь памятники так называемого «борисоглебского цикла», то есть «Чтение о Борисе и Глебе» диакона Нестора и анонимное «Сказание» о святых, причем их сведения кажутся довольно путаными и противоречивыми. Первым же митрополитом, имя которого приводят авторы «Повести временных лет» и достоверность которого не вызывала никаких сомнений ни у книжников XV века, ни у позднейших исследователей, стал уже упомянутый нами грек Феопемпт, с именем которого, возможно, связаны новые веяния в церковной политике Ярослава Мудрого.

Известно, что в первые два-три столетия после Крещения Руси Русскую церковь возглавляли почти исключительно греки. Из киевских митрополитов XI—XII веков лишь двое были русскими по происхождению — святитель Иларион, ближайший сподвижник князя Ярослава Мудрого, и Климент Смолятич, возведенный на кафедру в 1147 году по инициативе киевского князя Изяслава Мстиславича. В отечественной исторической литературе этот факт оценивался в основном негативно, ибо считалось, что митрополиты-греки пеклись более об интересах Византии, нежели Руси, и являлись проводниками политики константинопольских патриархов и императоров, нацеленной на политическое и духовное подчинение Руси. Возможно, это мнение имеет под собой некоторые основания, поскольку многие из киевских митрополитов-греков носили не только духовные, но и светские, придворные титулы, были близки к императорам и входили в состав имперского сената — одного из высших учреждений Византийской империи. (С уверенностью мы можем сказать это о двух митрополитах XI века — младшем современнике Ярослава Ефреме, носившем высокий титул протопроэдра протосинкеллов, и его преемнике Георгии, имевшем придворный титул синкелла[92].) Они, действительно, были независимы от киевского князя. Но ведь их высокий духовный и светский сан, авторитет, которым они пользовались в византийском обществе, значительно поднимали статус и престиж Киевской митрополии и всей Русской церкви в целом, причем не только на Руси, но и во всем христианском мире. Позднее, в конце XI — XII веке, имен-

но этот авторитет позволит им обращаться к князьям со словом увещевания, а порой и укора, удерживать их от кровопролития, выступать посредниками в межкняжеских спорах, примирять враждующих и убеждать непримиримых. Нельзя не отметить и другое. В большинстве своем приезжавшие из Византии иерархи — вопреки бытующему мнению — были отменно подготовлены для пастырской службы, а многие из них получили известность и как незаурядные писатели, проповедники, полемисты и публицисты. Так, упомянутый выше митрополит Ефрем, как обнаружилось совсем недавно, является автором антилатинского полемического сочинения, широко использовавшегося позднее греческими и русскими авторами[93]; перу его преемника Георгия принадлежит несколько сочинений как полемического, так и догматического характера, известных на русском языке и пользовавшихся огромным авторитетом в русском обществе; живший еще позднее митрополит Иоанн II, также автор нескольких сочинений, дошедших до нас на греческом и русском языках, получил в высшей степени лестную характеристику от киевского летописца: «Был же Иоанн муж хитр книгам и учению, милостив к убогим и вдовицам, ласков же ко всякому — богатому и убогому, смирен же и кроток, молчалив, речист же, книгами святыми утешая печальных, и такого не было прежде в Руси и после него такого не будет»[94].

Надо думать, что и митрополит Феопемпт отличался какими-то незаурядными личными качествами, делавшими возможным его поставление на русскую митрополию. Мы не знаем точно, когда именно он явился в Киев. Во всяком случае, это произошло ранее 1039 года, поскольку под этим годом мы уже застаем его в Киеве.

Прибыв из Константинополя, Феопемпт обосновался не в княжеском детинце — «городе Владимира», а в новом «городе Ярослава», в непосредственной близости от митрополичьего Софийского собора, по-видимому, строившегося на его глазах. Вероятно, именно при нем митрополичья усадьба была обнесена мощными каменными стенами, остатки которых обнаружены археологами. Митрополичий двор занимал значительную площадь — около 3,5 гектара. На его территории выявлены остатки по крайней мере одного большого каменного здания, построенного при Ярославе, — предположительно, бани. (Эти заведения играли на Руси очень большую роль, подобно тому, как это было в Древнем Риме. Летописец умолчал о построении киевских бань, но вот подобное «строение банное каменное», осуществленное в Переяславле переяславским митрополитом Ефремом в

80-е годы XI века, отметил особо.) В стене киевской усадьбы имелись ворота, через которые можно было пройти к центральному, западному входу в Киевскую Софию[95].

Строительство митрополичьего двора, разумеется, могло начаться лишь с согласия или даже по личной инициативе киевского князя и скорее всего на его счет. Этот факт свидетельствует о более чем добросердечных отношениях между митрополитом и князем и о готовности последнего предоставить главе Русской церкви максимальные удобства в отправлении им своих пастырских обязанностей. В то же время киевский митрополит определенно дистанцировался от князя. В самом деле, в Киеве возникала как бы вторая — помимо княжеского дворца — внутренняя крепость, мощные каменные стены которой должны были внушать киевлянам почтение к их владельцу — пожалуй, не меньшее, чем к самому князю.

О конкретной церковно-политической деятельности митрополита Феопемпта судить сложно, поскольку сведения о нем чрезвычайно скудны. С уверенностью, пожалуй, можно сказать лишь о том, что он был достаточно легок на подъем: под 1039 годом летопись сообщает о его пребывании в Киеве, а летом того же года Феопемпт уже находился в Константинополе, где присутствовал в качестве русского митрополита на заседаниях патриаршего синода[96]. До нашего времени дошли два экземпляра принадлежавшей ему печати с надписью на греческом языке: «Кир Феопемпт, митрополит Росии» и изображением на обороте святого Иоанна Предтечи, что, может быть, свидетельствует о его тесных связях с Константинопольским Студийским монастырем[97]. Одна из этих печатей была найдена в Киеве, место обнаружения другой неизвестно (ныне она хранится в США)[98].

Под 1039 годом летописи сообщают об освящении Киевской Десятинной церкви: «Священа бысть церковь Святыя Богородица, юже создал Владимир, отец Ярославль, митрополитом Феопемптом»[99]. Это единственное деяние греческого митрополита, которое нашло отражение в летописи, и к тому же единственная запись за год. Очевидно, событие представлялось исключительным киевскому летописцу: и в самом деле, освящался не просто вновь построенный храм, но старейшая, главнейшая киевская церковь, в известном смысле олицетворявшая киевское христианство Владимировой поры и церковную политику князя Владимира Святославича.

Мы не знаем, какими причинами объяснялось повторное освящение киевского храма: какими-то его крупными пере-

стройками, как полагают некоторые археологи и искусствоведы[100]; некими неизвестными нам языческими или еретическими инцидентами, произошедшими в его стенах[101]; или же и вовсе признанием еретическим, с точки зрения византийского православия, того вероучения, которого в первые десятилетия после Крещения Руси придерживался клир Десятинной церкви[102]. В любом случае несомненно одно: проведенный Феопемптом акт свидетельствовал о наступлении в Киеве новых времен и о новой, более значимой роли киевских митрополитов.

Выше уже говорилось о том, что возведение Софийского собора в известном смысле отодвигало на второй план старый Десятинный храм. Подспудная борьба между клирами обоих храмов будет ощущаться и позже, следы ее мы отыщем на страницах древнерусских церковно-учительных произведений. Так, в конце XI или в XII веке неизвестный автор «Слова на обновление Десятинной церкви» будет особо подчеркивать права клира своего храма как «старейшинствующего» во всей Русской земле; вероятно, в его время этот неоспоримый факт уже ставился кем-то под сомнение.

Можно думать, что Ярослав с недоверием относился к клирикам Десятинной церкви еще с того времени, когда Анастас Корсунянин открыто поддержал его противников в борьбе за власть над Русской землей — сначала Святополка Окаянного, а затем Болеслава Польского. Соплеменники Анастаса — священники-корсуняне — и позднее должны были внушать подозрение князю; сама Десятинная церковь в известном смысле могла восприниматься им как некий центр духовной оппозиции его власти. Если немного пофантазировать, восстанавливая внутриполитическую обстановку в Киеве в начале единоличного княжения Ярослава и домысливая те побудительные мотивы, которыми руководствовался князь в своей внутриполитической деятельности, то легко можно прийти к выводу о том, что авторитет прибывшего из Константинополя греческого иерарха был необходим Ярославу прежде всего для того, чтобы нарушить безраздельную гегемонию Десятинного храма на руководство Церковью и церковными делами, а также на духовное лидерство в киевском обществе. Возможно, именно этим объясняется тот поворот в его церковной политике, о котором мы только что говорили. Вскоре, правда, обнаружится, что и митрополит-грек как лицо слишком независимое от киевского князя и слишком явно тяготеющее к иному политическому и духовному центру — Константинополю, не сможет устроить Ярослава и стать союзником и единомышленником киевского князя.

Когда именно Феопемпт покинул киевскую кафедру, мы точно не знаем. Полагают, что к началу русско-византийской войны (1043) его уже не было в Киеве. Под 1044 годом летопись сообщает о беспрецедентном и недопустимом с канонической точки зрения деянии Ярослава: из земли были извлечены останки двух князей, погибших еще в 70-е годы X века, — Ярополка и Олега, братьев князя Владимира Святославича; «и крестиша кости их, и положиша в церкви Святыя Богородица» (подробнее речь об этом пойдет ниже). Надо думать, что при митрополите-греке подобное крещение костей умерших в язычестве русских князей было бы невозможным.

Однако скорее всего Феопемпт формально оставался киевским митрополитом и после своего отбытия в Византию. Во всяком случае, новый киевский митрополит — русин Иларион — был официально поставлен на кафедру лишь в 1051 году, наверное, уже после смерти своего предшественника*, хотя реально возглавлял Русскую церковь, кажется, значительно раньше.

* С конца XV века в источниках появляются сведения о некоем митрополите Кирилле, преемнике Феопемпта[103]. Но откуда извлечены эти сведения и насколько они достоверны, неизвестно.

Глава десятая

ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОХОД

Событие, о котором главным образом пойдет речь в этой главе, а именно поход русских дружин на Царьград летом 1043 года, — несомненно, самое крупное военное предприятие князя Ярослава Владимировича за все годы его киевского княжения, и вместе с тем — самое загадочное и трудно объяснимое. Этот поход стоит особняком среди других войн Ярослава. Историки до сих пор теряются в догадках относительно причин, которыми он был вызван, и целей, которые преследовал. Кроме того, это единственная по-настоящему большая война, в которой сам Ярослав не принял личного участия. Но несмотря на это, именно византийский поход, пожалуй, ярче всего высвечивает главную черту Ярослава как политика и государственного деятеля — его способность извлекать выгоду даже из самого тяжелого поражения.

А между тем внешне ничто не предвещало военного столкновения двух государств. Став «самодержцем» Русской земли, Ярослав унаследовал вполне дружеские отношения, которые связывали с Византией его брата Мстислава Черниговского. Свидетельством тому и деятельность византийских мастеров в стольном Киеве, и приезд на Русь грека Феопемпта. Русские наемники по-прежнему служили в войске императоров; русские купцы совершали регулярные поездки в Константинополь, столицу Империи, по торговым и иным делам. После исторической победы Ярослава над печенега-

---

На рис. — серебряная монета императора Константина IX Мономаха. Лицевая сторона с изображением Влахернской Божией Матери.

ми путь по Днепру «в Греки» стал безопаснее, поскольку печенеги уже не имели возможности нападать на русские караваны возле днепровских порогов, и это, несомненно, способствовало оживлению русско-византийской торговли.

После 1036 года князь Ярослав в основном продолжил прежний внешнеполитический курс. Западное — традиционное для него как для новгородского и киевского князя — направление внешней политики привлекало его внимание в гораздо большей степени, чем отношения с Византией, — по крайней мере, такой вывод можно сделать, если обратиться к летописям. До начала русско-византийской войны 1043 года Ярослав совершил последовательно три больших военных похода: в земли ятвягов, Литву и Мазовию (северо-восточную Польшу). Если взглянуть на карту и вспомнить к тому же о походе его сына Владимира на финское племя емь в 1042 году, то становится ясно: князь Ярослав проводил целенаправленную политику распространения своей власти на соседние с Русью земли, прежде всего Прибалтику, стремясь поставить под свой контроль торговые пути по Неману, Западному Бугу и другим рекам, связывавшим Русь с европейскими странами. При этом Ярослав каждый раз очень точно выбирал направление для нанесения очередного удара, используя прежде всего нестабильность ситуации в Польше, которая исторически являлась главным противником Руси на западе. А потому, прежде чем говорить о византийском походе Ярослава, поговорим более подробно о европейских делах в целом и о политике, проводимой князем в конце 30-х — начале 40-х годов XI века.

К 1037 году — времени наибольших политических успехов Ярослава — Польша окончательно погрузилась в пучину полнейшей анархии. Предполагаемый преемник и старший сын Мешка II князь Болеслав (1034—1037?), вошедший в польскую историю под именем Болеслава Забытого, так и не сумел удержать доставшуюся ему власть. «Он, до того, как был коронован, принес своей матери немало позора...» — писал о Болеславе автор Великопольской хроники, а затем так объяснял причины забвения этого неудачливого правителя: «Болеслав... вследствие своей свирепости и множества преступных деяний, хотя и был отмечен королевской диадемой, плохо кончил свою жизнь и не числится в списках королей и правителей Польши. После его смерти в Польском королевстве возникло много смут и войн, больше междоусобных, чем внешних»[1]. Образно говоря, в стране на-

чалось восстание всех против всех: озлобленное и вконец разоренное население выступило и против представителей правящей династии Пястов, и против феодалов, все более закабаляющих и разоряющих народ, и особенно против католической Церкви. «...Рабы поднялись против своих господ, вольноотпущенники — против знатных, возвысив себя до положения господ, — с горечью восклицал Галл Аноним, — одних они, в свою очередь, превратили в рабов, других убили, вероломно взяли себе их жен, преступно захватили их должности. Кроме того, отрекшись от католической веры, о чем мы не можем даже говорить без дрожи в голосе, подняли мятеж против епископов и служителей Бога; из них некоторых убили более достойным способом — мечом, а других, как бы заслуживающих более презренную смерть, побили камнями. В конце концов Польша была доведена до такого разорения, как своими людьми, так и чужестранцами, что почти совсем лишилась всех своих богатств и людей... Те же, кто спасся от врагов и избежал мятежа своих слуг, бежали за Вислу в Мазовию, и вышеназванные города (Гнезно и Познань. — *А. К.*) оставались безлюдными так долго, что в церкви святого мученика Адальберта и святого апостола Петра (то есть в кафедральных соборах названных городов. — *А. К.*) дикие звери устроили себе логово»[2].

О восстании в Польше рассказывают и русские источники — прежде всего потому, что восстание это затронуло судьбы многих русских людей, не по своей воле оказавшихся на чужбине. «В это же время умер Болеслав Великий в Лясех, и бысть мятеж в земле Лядской: восстали люди, перебили епископов, и попов, и бояр своих, и бысть в них мятеж», — сообщает летописец, правда, под ошибочным 6538 (1030) годом и явно путая Болеслава Великого с его малоизвестным (тем более на Руси) внуком[3]. Еще более мрачные подробности происходящего приводятся в Слове о преподобном Моисее Угрине, входящем в Киево-Печерский патерик. Как мы помним, Моисей, один из слуг князя Бориса Владимировича, был вывезен в Польшу в числе пленных, захваченных в Киеве князем Болеславом Великим, и в конце концов достался некой полячке, муж которой погиб в сражении на Буге. Богатая и красивая вдова воспылала к пленнику страстью, однако преподобный с твердостью отверг все ее бесстыдные домогательства и понуждения. Более того, Моисей принял пострижение от некоего иеромонаха, забредшего в Польшу с Афона, после чего склонить его к плотскому греху оказалось совершенно невозможно. Доведенная похотью до отчаяния женщина решилась на непо-

правимое: «повеле ему тайные уды урезати», то есть оскопить несчастного. Болеслав же, рассказывает автор Патерика (также, очевидно, смешивая двух Болеславов), из-за прежней любви потакая этой женщине, «воздвиг гонение велие на черноризцев и изгнал всех их от области своей... Вскоре, в едину ночь, Болеслав напрасно (внезапно. — *А. К.*) умре, и бысть мятеж велик во всей Лядской земле: и восстали люди, избили епископов своих и бояр своих... Тогда и сию жену убили... Сего ради Моисея это случилось», — заканчивает свой рассказ древнерусский книжник[4].

Неудивительно, что трудностями, переживаемыми Польшей, воспользовались ее соседи. В 1038 году чешский князь Бржетислав вторгся в Польшу, «и подобно тому, как буря, нарастая, свирепствует, повергая все, так и он резней, грабежом и пожаром опустошал деревни и силой врывался в укрепления. Вступив в главный город поляков Краков, он разорил его до основания и завладел его богатствами... Он предал огню также и остальные города, сравняв их с землей». Удивительно, но эти слова принадлежат не польскому, а чешскому хронисту, отметившему, помимо прочего, «безрассудство чехов», готовых в завоеванной стране «творить все дозволенное и недозволенное». Войско Бржетислава захватило также Гнезно, тогдашнюю столицу Польши, и Познань; из страны была вывезена главная польская святыня — мощи святого Адальберта, а также мощи его брата, епископа Гауденция, и других святых[5].

Поход Бржетислава стал «последним ударом по государственному зданию Польши»: польское единое государство фактически перестало существовать[6]. Если чешскому князю и не удалось удержать под своей властью всю Польшу (напомним, охваченную мятежом), то такая богатая область Польского государства, как Силезия с городом Вроцлавом, была присоединена к Чехии. Северные районы страны оказались захвачены поморянами. Мазовия, то есть северо-восточная, лежащая за Вислой, часть Польши, в наименьшей степени затронутая мятежом и войнами, также отпала от власти Пястов, превратившись в самостоятельное государственное образование под властью сильного и энергичного князя Моислава (по-другому, Мечислава или Мецлава).

По-видимому, еще прежде из Польши пришлось бежать вдове князя Мешка Рихезе, а также ее младшему сыну Казимиру. Последний укрылся сначала в Венгрии, при дворе короля Иштвана Святого, а после его смерти и утверждения у власти короля Петера (1038 год) — в Саксонии. Здесь, среди родственников своей матери (напомним, племянницы импе-

ратора Оттона III), Казимир также нашел поддержку: немецкие князья не могли не видеть, что разгул стихии и анархии в польских землях, возможное торжество воинствующего язычества, а также непомерное усиление соседней Чехии представляют весьма реальную опасность для Империи. Казимир же, внучатый племянник германского императора, казался им почти своим. Пóзднее предание рассказывает, что будущий восстановитель Польши обучался свободным наукам в Парижском университете, затем был пострижен в монахи и вступил в орден святого Бенедикта в монастыре Клюни. (Польские хроники дают Казимиру еще одно прозвище — Монах.) В Саксонии он жил под именем Карл, а в монастыре носил имя Ламберт. Говорили, что папа Бенедикт IX по просьбе представителей польской знати дал особое разрешение на то, чтобы Карл-Казимир, «дабы польский народ не остался без правителя», покинул монастырь и вступил в брак, за что поляки обязывались «выплачивать постоянно с каждого человека динарий на святильник св. Петра и на построение церкви»[7]. В 1039 году при поддержке немцев (выставивших, по данным Галла Анонима, пятьсот рыцарей) Казимир вступил в Польшу и вскоре сумел объединить под своей властью бóльшую часть Великой, а также Малую (с центром в Кракове) Польшу. Само собой разумеется, что Казимир предварительно признал себя вассалом германского императора — скорее всего, еще Конрада II (умершего в июне 1039 года), а может быть, его сына и преемника Генриха III.

Анархия в Польше, несомненно, представляла угрозу и для киевского князя Ярослава Владимировича. Но в первую очередь, он должен был воспринять польские события как хорошую возможность укрепить свои позиции в тех областях, которые на протяжении предшествующего столетия являлись яблоком раздора между Польшей и Русью. Такой областью — наряду с прочно удерживаемыми им Червенскими градами — была к XI веку земля ятвягов — прусского племени, занимавшего обширные области между Неманом и Наревом, притоком Западного Буга. Покоренная в свое время отцом Ярослава князем Владимиром Святославичем, Ятвяжская земля позднее высвободилась из-под власти русских князей, а затем, при Болеславе Великом, попала в сферу влияния Польши[8]. Не случайно, именно к 1038 году — году наибольших потрясений в Польше — относится известный из летописи ятвяжский поход князя Ярослава. Хронологически он точно совпал с разорением Польши войсками Бржетислава. Однако, в отличие от чешского князя, Ярослав в то время не предпринял попыток вторгнуться непосредственно в Польшу.

«Повесть временных лет» сообщает об этом походе очень кратко: «Ярослав пошел на ятвягов». Более пространный рассказ содержат новгородско-софийские летописи, которые, помимо прочего, уточняют время похода: «Иде весне великий князь Ярослав Киеву, а на зиму ходил на ятвяги...»[9] Если фраза летописца о том, что Ярослав весной откуда-то вернулся к Киеву не является случайным повтором («Ярослав... приде к Киеву весне», — сообщается в тех же летописях чуть раньше, под 1036 годом, в рассказе о войне с печенегами), то можно предположить, что князь накануне ятвяжской войны в очередной раз отправился к Новгороду — может быть, для того, чтобы пополнить войско. Сам же поход имел место «на зиму», то есть в последние месяцы 1038 года или же в самом начале следующего, 1039 года.

О результатах похода русские источники содержат прямо противоположные сведения. «Ярослав поиде на ятвяги и победи», — читаем, например, в Хлебниковском списке Ипатьевской летописи[10]; «Ярослав ятвяги взял», — еще более определенно утверждал автор Летописца Переяславля Суздальского[11]. Однако летописи, восходящие к Новгородско-Софийскому своду, совершенно иначе оценивают итоги ятвяжской войны: «...и не можааху их взяти». (Очевидная попытка согласования обеих версий предпринята в «Истории» В. Н. Татищева: «Ходил Ярослав на ятвяги и победил их, но градов их взять не мог, ибо не хотел со стенами биться и людей терять, скота же и имения по селам множество побрав, возвратился»[12].)

Спустя два года, в 1040 году, Ярослав совершил еще один поход — в Литовскую землю, то есть немного восточнее, в междуречье Немана и Западной Двины. Очевидно, этот поход имел целью закрепить контроль Руси над водными выходами к «Варяжскому» (Балтийскому) морю. Какие-либо подробности этого похода неизвестны; летописцы никак не комментируют его, ограничиваясь фразой «Ярослав иде на Литву», и только автор Хлебниковского списка Ипатьевской летописи, как и в случае с ятвягами, добавляет: «...и победи».

Интересно отметить, что, согласно поздним литовским источникам, поход князя Ярослава совпал по времени с какими-то важными событиями в истории литовских племен. Именно 1040 годом источники датируют смерть легендарного литовского князя Куноса (мифического основателя Каунаса)[13], после чего власть над Литвой была поделена между двумя его сыновьями — Керносом и Гимбутом (Гимбутусом): первому достались собственно литовские, а второму — жемойтские земли. Не исключено, что военные действия русского князя способствовали такому развитию событий, а

может быть, напротив, были вызваны смертью правителя литовских племен.

Однако поход 1040 года, по-видимому, не принес тех результатов, на которые рассчитывал Ярослав. Спустя четыре года, в 1044 году — и вновь в зимнее время — киевский князь совершил новый поход на Литву. «И с великою победою возвратился», — добавляет В. Н. Татищев.

Наконец, третий поход князя Ярослава в западном направлении — в Мазовию в 1041 году, по Западному Бугу (то есть на этот раз непосредственно на территорию Польши), — несомненно, также имел целью укрепление русского влияния на западных рубежах Руси и, в частности, в Прибалтике. Но на этот раз Ярослав предпочел действовать совместно со своим новым союзником, появившимся у него в Польше.

Вероятно, еще в ходе ятвяжской войны князь Ярослав вполне осознал угрозу своим интересам, исходившую от самозванного мазовецкого князя Моислава, «человека деятельного и сильного, душой необузданного и привычного к военному делу», как характеризует его польский хронист. Кем был этот Моислав, мы точно не знаем. Иногда полагают, что он происходил из мазовецкого княжеского рода или даже принадлежал к роду Пястов, но источники говорят о нем всего лишь как о виночерпии и слуге князя Мешка II; после смерти последнего, он «по своему собственному убеждению стал во главе мазовшан как их князь»[14]. Мазовия, единственная часть Польши, не затронутая войнами и мятежами, могла и в самом деле превратиться в сильнейшее государство в регионе, тем более что Моислав проводил решительную и энергичную политику, нацеленную на укрепление своего влияния как в самой Польше, так и в соседних с нею землях. Он сумел заключить военный союз со славянами-поморянами, а также с ятвягами и, возможно, литовцами[15]; таким образом, в Прибалтике сложилась сильная коалиция как христианских, так и языческих племен, одинаково враждебная и Польше, и Руси.

Перспектива создания сильного Мазовецкого государства на самых границах своей земли никак не могла устроить русского князя. Объективно Ярослав оказался заинтересован в укреплении в Польше власти Казимира и возвращении ему Мазовии. Вероятно, именно он и предложил законному польскому князю свой союз — разумеется, на известных условиях, главным из которых должно было стать признание новой границы Киевского государства, установившейся после присоединения Червенских градов, а также, возможно, исключительных интересов Руси в ятвяжских и литовских

землях*. По обычаю, союз двух государств надлежало скрепить династическим браком — и действительно, около 1039 года двадцатидвух- или двадцатитрехлетний Казимир (он родился в июле 1016 года) женился на единокровной сестре Ярослава княгине Марии-Добронеге, которая была старше своего жениха по крайней мере на несколько лет (Мария появилась на свет не позднее 1011 года).

(Русские летописи сообщают о русско-польском союзе под 1043 или 1041 годом, но без точной даты: «В си же времена отдал Ярослав сестру свою за Казимира, и отдал Казимир за вено (выкуп за невесту. — *А. К.*) людей 8 сот, которых полонил Болеслав, победив Ярослава»[17]. Выражение «в си же времена» показывает, что летописец точно не знал, когда именно произошло бракосочетание, и объединил под одним годом разновременные события. Как это нередко бывает, точную дату приводит иностранный источник — так называемый Саксонский анналист, анонимный автор, писавший во второй половине XII века, но включивший в свой труд фрагменты более ранних источников. Польский герцог Казимир, отмечает он в своих анналах под 1039 годом, «вернувшись на родину, был охотно принят поляками, а в жены взял себе дочь короля Руси, от которой имел двух сыновей — Владислава и Болеслава»[18]. Названная немецким хронистом дата может быть несколько уточнена. Дело в том, что сыновья Казимира и Марии, родившиеся в этом браке, Болеслав (будущий польский князь Болеслав II Смелый, или Щедрый) и Владислав-Герман (также будущий правитель Польши) появились на свет соответственно в 1039 и 1040 годах, а следовательно, сам брак мог быть заключен не позднее самого начала 1039 года — то есть, вероятно, даже еще до утверждения Казимира в Польше[19].)

Мария-Добронега далеко не первой из сестер Ярослава очутилась в Польше. Наверное, давая свое согласие на брак, Ярослав вспоминал о трагической участи Предславы — ведь возвращение остатков русского полона 1018 года (увы, кажется, уже без Предславы) стало одним из условий заключения союзного договора. (Отметим, кстати, что о возвращении тех ляхов, которые были выведены Ярославом в 1031 году из завоеванной им Червенской области, речи даже не шло — это очень наглядно показывает соотно-

---

* По сведениям В. Н. Татищева, союз двух государств был направлен не только против мазовшан, но также против чехов и пруссов: «...а Ярослав обещал ему (Казимиру. — *А. К.*) помогать на чехов, мозовшан и прус»[16].

шение сил в новом русско-польском союзе.) Но если Предслава была искренне любима им, то к Марии Ярослав едва ли мог питать особо теплые чувства. Дочь греческой царицы, она служила ему лишь инструментом, необходимым для осуществления весьма полезной политической комбинации. Тем не менее Ярослав сделал все возможное, чтобы судьба сестры на ее новой родине сложилась благополучно. Помимо военной помощи, Мария-Добронега принесла своему супругу приданое, причем столь богатое, что, по словам польских хронистов, можно было говорить о настоящем «обогащении королевства благодаря такому блестящему браку». В известном смысле эти богатства можно рассматривать и как финансовую помощь, предоставленную Ярославом своему зятю в борьбе за власть. Напомним, что сам Ярослав также оказывался в похожем положении, и именно помощь тестя — конунга Олава Шведского — помогла ему добиться власти над Русью.

Церемония бракосочетания, на которой, конечно, присутствовали и представители Ярослава, проходила не в разоренном Гнезно, но в Кракове, и отличалась исключительной пышностью и весельем. Как рассказывает Ян Длугош, там же в Кракове, в кафедральном соборе, Мария Владимировна торжественно отреклась от греческого закона, в котором была воспитана с детства, и, омывшись в купели, восприняла закон католический; при этом ей будто бы было дано новое имя — Доброгнева (именно так у Длугоша)[20]. Впрочем, последнее утверждение польского историка едва ли соответствует действительности: имя Мария упоминается в официальном документе — письме римского папы Бенедикта IX, а значит, именно его русская княжна носила в католичестве[21].

По утверждению польских хронистов, Мария-Добронега стала ревностной католичкой и доброй женой своему супругу Казимиру. Помимо Болеслава и Владислава-Германа, она родила еще двоих сыновей, Мешко и Оттона (оставшихся бездетными), а также дочь Свентославу, вышедшую впоследствии замуж за чешского короля Вратислава. В Польше, конечно, помнили о том, что Мария была дочерью багрянородной Анны, сестры византийских императоров Василия II и Константина VIII, а значит, благодаря «русскому» браку Казимира в жилах польских князей отныне стала течь и царская кровь*.

---

* Впрочем, определенные сомнения на этот счет остаются: о том, что Мария была дочерью Анны, из польских хронистов сообщает только Ян Длугош, которому были известны и русские источники.

Ярослав же в лице своего зятя получил надежного союзника, заступившего место прежнего недруга Руси. Вскоре после заключения брака на Русь из Польши был возвращен «русский полон», точнее, те немногие, кто уцелел в тяжелой неволе и бурных событиях смуты и безвластия; всего, по свидетельству русских летописей, таких набралось 800 человек, не считая жен и детей[22]. По условиям договора, все они рассматривались как «вено» (выкуп) за невесту. В число этих людей вошел и известный нам Моисей Угрин. Несколько позже, в Киеве, он встретится с иноком Антонием, еще одним постриженником афонской обители, и станет одним из первых его сподвижников, насельников основанного Антонием Киевского Печерского монастыря.

Союз с Польшей будет сохраняться до конца жизни Ярослава и позже, при его сыновьях. Как и в своих отношениях с конунгами Швеции и Норвегии, Ярослав останется верен взятым на себя обязательствам. Спустя несколько лет, предположительно в 1043 году (во всяком случае, эту дату называют некоторые русские летописи), он скрепит союз с Казимиром еще одним браком: сестра Казимира Гертруда (на Руси она получит имя Олисава, то есть Елизавета) выйдет замуж за второго сына Ярослава Изяслава. С этого времени Изяслав, вероятно, уже тогда получивший в удел Туров, будет играть важную роль в польской политике своего отца.

Непосредственным же и наиболее существенным результатом русско-польского союза стали совместные действия русского и польского князей в Мазовии. Как уже говорилось выше, они начались в 1041 году, по крайней мере со стороны Ярослава. «Иде Ярослав на мазовшаны в лодьях», — сообщает под этим годом летописец.

Чем закончился первый мазовецкий поход Ярослава, мы опять-таки точно не знаем. Русские и поздние польские источники, казалось бы, дают основания говорить о полном успехе русского князя: «Иде Ярослав на мазовшаны в лодьях и победи я (их. — *А. К.*)», — читаем в Хлебниковском списке Ипатьевской летописи и, независимо от него, в Летописце Переяславля Суздальского[23]. Польский же историк Ян Длугош рисует впечатляющую картину полного разорения и разграбления Мазовецкой земли: «опустошив ее огнем, мечом и грабежом», Ярослав с огромной добычей и множеством пленных «поворотил на Русь»[24]. Но Длугош, как и другие позднейшие польские авторы, очевидно, смешивал различные походы Ярослава; показания же отдельных списков русской летописи едва ли могут считаться надежными,

поскольку, вполне возможно, они отражают догадки переписчиков-летописцев или их желание несколько приукрасить события. Во всяком случае, известно, что борьба с мазовецким князем Моиславом затянулась надолго.

Судя по противоречивым показаниям русских летописей, Ярославу дважды или трижды придется лично водить свои полки в Мазовию — в 1041, 1043 (эта дата вызывает некоторые сомнения) и 1047 годах, и только последний поход принесет окончательную победу над Моиславом: «Ярослав пошел на мазовшан, и победил их, и князя их убил Моислава, и покорил их Казимиру», — читаем в летописи под 1047 годом[25].

Средневековые польские источники также рассказывают о том, что война в Мазовии затянулась надолго, однако, как и следовало ожидать, приписывают всю честь победы над Моиславом князю Казимиру, даже не упоминая о русской помощи. «...Собрав отряд воинов, хотя и небольшой, но опытный в военном деле, — повествует Галл Аноним, — [Казимир] вступил в вооруженную борьбу и, убив Маслава, достиг победы и мира и с триумфом овладел всей страной. Рассказывают, что там перебили очень много мазовшан, как об этом свидетельствуют до сих пор место битвы и крутой берег реки». При этом польский хронист всячески расхваливает мужество и храбрость Казимира, едва не погибшего в пылу сражения. «В этом сражении мазовшане выставили тридцать полков воинов, а у Казимира было едва ли три полка»[26].

Авторы более позднего времени все же сообщают об участии в войне русских и о разорении ими Мазовии, но считают их... союзниками мазовецкого князя и врагами Казимира. Моислав, писал, например, Винцентий Кадлубек, получил в помощь «четыре отряда поморян, столько же гетов (по-видимому, ятвягов. — *А. К.*) и большую помощь от даков (пруссов? — *А. К.*) и русских, которых не может удержать никакая случайность, никакая трудность; прибывают они не для того, чтобы помочь союзнику, а желая утолить польской кровью яростную ненависть и снедавшую их старинную зависть». Далее же следует обычный для этого автора полемический перехлест, долженствующий подчеркнуть превосходство поляков над необузданными и кровожадными врагами. «Однако... дела их оборачиваются иначе, чем они надеялись. Ибо наш единорог развевает всех, как легкий пепел от пакли; Казимир закручивает всех в вихре смерти, словно молниеносная буря». Словом, союзниками ли выступают русские по отношению к полякам, врагами ли, спасителями ли Польши, магистр Винцентий выбирает для

их изображения одни и те же краски и одни и те же сравнения... Иначе, чем Галл и русские летописи, и притом с явным литературным налетом рассказывает Кадлубек и о трагической судьбе Моислава, попытавшегося найти убежище у своих союзников гетов (ятвягов?): «Этот... честолюбивый князь бежит к гетам, где добивается наивысшей должности... Однако геты, удрученные гибелью множества своих, возлагают за все вину на него, мстят ему за убийство всех, наконец, после многих мучений, прибивают его к высоченной виселице со словами: "Ты домогался высокого, получай высокое!" — чтобы умирающему хватило столь горячо желаемой высоты»[27].

Вслед за победой над Моиславом (а может быть, и одновременно с военными действиями русского князя в Мазовии) Казимир нанес поражение союзникам мазовшан поморянам и подчинил своей власти Поморье. Таким образом, единство Польши было практически восстановлено (в 1054 году польский князь вернул себе и Силезию). Несомненно, это можно расценивать как успех не одного только Казимира, но и Ярослава, сумевшего добиться усиления своего влияния в Восточной Европе. По-видимому, еще одним результатом мазовецких походов Ярослава стало дальнейшее расширение западных границ Руси и присоединение некоторых земель по течению Буга, западнее Берестья, которые прежде находились в зависимости от Польши. По мнению некоторых польских исследователей, именно в 1041 году князь Ярослав поставил на Буге город Дрогичин (ныне райцентр Брестской области в Белоруссии) — опорное укрепление для дальнейших военных действий против Моислава[28].

Внимательно следил Ярослав и за событиями, происходившими в других восточноевропейских странах. Во второй половине 30-х годов XI века на Руси, а именно на Волыни, нашли пристанище венгерские герцоги Андрей (Эндре) и Левенте, изгнанные из страны своим дядей, королем Иштваном. Позже, после восстания в Венгрии и бегства в 1041 году в Германию преемника Иштвана короля Петера (Петра Венецианца), Ярослав, по некоторым сведениям, поддержал захватившего престол Абу Шамуэля, еще одного племянника покойного Иштвана[29]. Смута в стране продолжилась и после гибели Абы и нового воцарения с помощью немцев короля Петера (1044 год). Мы не знаем, вмешивался ли уже тогда князь Ярослав в венгерские дела, но в 1046 году венгерская знать отправила посольство на Русь к герцогам Андрею и Левенте, предлагая старшему из братьев престол. К этому времени герцог Андрей, по-видимому, уже

был женат на дочери князя Ярослава Владимировича Анастасии. Русский князь поспешил оказать и этому своему зятю помощь в борьбе за престол: согласно венгерским источникам, Андрей отправился на родину в сопровождении киевских ратников, а также печенежских (!) наемников[30]. Отметим, что в своей борьбе за власть в условиях общенародного восстания, направленного против короля Петера, поддерживавших его немцев, а также католического духовенства, Андрей вынужден был занять откровенно антихристианскую позицию: он позволил своему народу «жить по языческим обычаям» и даже «убить епископов, разрушить церкви, отступить от христианской веры и поклоняться идолам... Иначе они не сражались бы против короля Петера», — писал венгерский хронист[31]. И лишь после коронации в Секешфехерваре (в начале 1047 года) Андрей приказал всем своим соплеменникам под угрозой смерти оставить язычество и вернуться в лоно христианской церкви. Союз с Венгрией будет сохраняться до самой смерти Ярослава Мудрого.

События в Польше и Венгрии, несомненно, отражались на отношениях Киевской Руси с Германской империей — сильнейшим государством Запада. Поддержка, оказанная Ярославом польскому князю Казимиру в конце 30-х — начале 40-х годов XI века, была возможна лишь в условиях возобновления (или подтверждения) прежнего союза, существовавшего между двумя странами еще в первой половине 30-х годов. Произошедшая на немецком престоле смена главных действующих лиц (14 июня 1039 года скончался император Конрад II, бывший союзник Ярослава) также не могла привести к нарушению прежней политики Империи, поскольку Конраду наследовал его сын Генрих III, коронованный еще при жизни отца. Осенью 1040 года, а именно 30 ноября, в день памяти апостола Андрея, посольство Ярослава прибыло ко двору нового короля в Альштедт, королевскую резиденцию в Тюрингии[32] — видимо, с поздравлениями новому правителю Империи. Однако более чем вероятно, что во время переговоров обсуждались и чисто политические вопросы, касавшиеся будущей судьбы Польши (король Генрих вел в то время войну против разорителя Польши чешского князя Бржетислава, а Ярослав, напомним, готовился к походу в Мазовию), а может быть, и разделения сфер влияния в Прибалтике между Германией, Польшей и Русью. Впрочем, ничего конкретного на этот счет источники не сообщают.

Наметившийся политический союз с Генрихом III Ярослав попытался скрепить еще одним династическим браком.

После смерти в 1038 году Кунигильды, дочери датского и английского короля Кнута Великого (и, следовательно, родственницы супруги Ярослава Ирины-Ингигерд), Генрих оставался вдовцом, и это обстоятельство, казалось, благоприятствовало планам русского князя. К этому времени у Ярослава подрастало несколько дочерей — весьма ценный товар для осуществления разнообразных и хитроумных династических комбинаций. В дальнейшем князь Ярослав сумеет показать себя блестящим мастером в этой области, однако его первая попытка устроить брак своей дочери с правящим европейским монархом закончилась неудачей.

В конце 1042 года представительное русское посольство с богатыми дарами вновь появилось в Германии. Некоторое время послы Ярослава вынуждены были, наверное, колесить по стране в поисках короля, ибо столицы как таковой в Империи не существовало, и монарх проживал обычно в одной из своих многочисленных резиденций. На этот раз русские послы нашли его в Госларе, в Тюрингии, где Генрих III пышно отпраздновал Рождество. Здесь же состоялись и переговоры по интересовавшему русского князя вопросу; однако закончились они ничем, о чем свидетельствует в своих «Анналах» Ламперт Херсфельдский, немецкий хронист, писавший в конце 70-х годов XI века: «...Там среди послов из многих стран были и послы Руси, отбывшие в печали, ибо получили ясный отказ по поводу дочери своего короля, которую надеялись сосватать за короля Генриха»[33]. Король щедро наградил послов (они «привезли большие дары, но в обратный путь двинулись с еще бóльшими», — сообщает другой немецкий хронист), так что о немедленном разрыве отношений между двумя странами говорить не приходится. И все же неудача переговоров была налицо, и Ярославу пришлось не только стерпеть явную обиду, но и подумать о кардинальном изменении своих планов. Как оказалось, германский король и будущий император Священной Римской империи (им Генрих III станет в 1046 году) отнюдь не жаждал породниться с киевским князем. Вероятно, он уже не нуждался в Ярославе как в союзнике — как раз в Госларе произошло его примирение с Бржетиславом Чешским, отношения же с Польшей — еще одним потенциальным противником Германии и Руси — также полностью устраивали правителя Империи. Во всяком случае, уже в следующем 1043 году Генрих женился на Агнессе де Пуатье, дочери герцога Аквитанского — вероятно, ситуация на западе волновала его больше, чем на востоке. А может быть, все объяснялось проще: личными сим-

патиями Генриха и необыкновенной привлекательностью его избранницы.

(Что же касается несостоявшейся русской невесты германского императора, то ею, судя по всему, должна была стать старшая дочь князя Ярослава Владимировича Елизавета. Как явствует из скандинавских источников, еще в начале 40-х годов XI века князь Ярослав отказывался выдать ее замуж за сватавшегося к ней конунга Харальда, будущего норвежского короля, однако в конце 1043 года свадьба все же состоялась. Можно думать, что на решение киевского князя повлияла неудача переговоров в Госларе.)

Так союз с Германской империей сменился враждой, которая дала о себе знать очень скоро. Как мы уже говорили, союз Ярослава сначала с Абой Шамуэлем, а затем с Андреем Венгерским был направлен в том числе против Германии, поддерживавшей короля Петера. А когда в 1051 году император Генрих III вторгнется в Венгрию, чтобы отомстить Андрею за гибель своего ставленника и вассала, Ярослав предоставит Андрею войско, которое, по сведениям венгерских источников, примет активное участие в военных действиях[34]. Поддержит Андрея и союзник и еще один зять Ярослава польский князь Казимир.

Как видим, в конце 30-х — начале 40-х годов XI века Византия не занимала во внешнеполитических планах киевского князя какого-то особо выдающегося места. В отличие от своих предшественников, Ярослав, по-видимому, не считал русско-византийские отношения главными для себя. Отчасти это, наверное, объяснялось общими изменениями, произошедшими в экономической и социально-политической жизни страны, — ежегодный сбор дани («полюдье») и последующий сбыт ее в Византию перестал определять весь строй жизни древнерусского общества[35]; отчасти же — историей утверждения Ярослава в качестве «самовластца» Русской земли: в течение целого десятилетия он ощущал себя по преимуществу новгородским князем и проводил соответственную политику, ориентируясь главным образом на соседние с Русью европейские страны. Однако смерть Мстислава переводила его отношения с Империей в новую плоскость. И может быть, именно недооценка роли русско-византийских отношений в жизни Древнерусского государства в прежние годы, невнимание, с каким относился к ним Ярослав, и привели его к конфликту с Империей.

Причем события развивались стремительно и, кажется, явно вышли из-под контроля князя.

Зимой 1043 года послы Ярослава с неутешительными вестями возвратились из Германии в Киев. А уже спустя несколько месяцев русские дружины выступили в поход на Византию. Существовала ли какая-нибудь связь между двумя этими важнейшими эпизодами внешнеполитической деятельности Ярослава? Трудно сказать[36]. Во всяком случае, и неудача переговоров в Госларе, и особенно начавшаяся вскоре война с Византией означали резкий поворот во всей внешней политике Киевской Руси.

Вопрос о причинах русско-византийской войны до сих пор вызывает оживленные споры среди историков, которые не могут прийти к какому-то определенному, устраивающему всех мнению. Кажется, недоумевали по этому поводу и в самом Константинополе. Во всяком случае, знаменитый византийский ученый и государственный деятель Михаил Пселл, один из самых образованных и сведущих людей своего времени, человек, приближенный к императору Константину IX Мономаху (1042—1055) и занимавший видный пост в его правительстве, специально задался вопросом о причинах нападения русов на столицу Империи, но так и не смог (или, может быть, не захотел?) найти на него вразумительный ответ. А ведь он был не просто очевидцем, но активным участником описываемых им событий.

Как и большинство ромеев, Пселл с крайним подозрением и неприязнью относился к «варварам», в том числе к русам, видя в них лишь источник постоянного зла для Империи. «Это варварское племя, — писал он о русах в связи с их нападением на Константинополь, — все время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами». А далее Пселл дал некий экскурс в историю русско-византийских отношений первой половины XI века, из которого следует, что в течение по меньшей мере двадцати лет русы занимались исключительно тем, что готовились к предстоящей «беспричинной», по его выражению, войне: «Когда умер вселявший в них ужас самодержец Василий (1025 год. — *А. К.*), а затем окончил отмеренный ему век и его брат Константин (1028. — *А. К.*) и завершилось благородное правление (то есть пресеклась мужская линия Македонской династии. — *А. К.*), они снова вспомнили о своей старой вражде к нам и стали мало-помалу готовиться к будущим войнам. Но и царствование Романа (император Роман III Аргир, 1028—1034. — *А. К.*) сочли они весьма блес-

тящим и славным, да к тому же и не успели совершить приготовлений; когда же после недолгого правления он умер и власть перешла к безвестному Михаилу (император Михаил IV Пафлагонянин, 1034—1041. — *А. К.*), варвары снарядили против него войско; избрав морской путь, они нарубили где-то в глубине своей страны лес, вытесали челны, маленькие и покрупнее, и постепенно, проделав все в тайне, собрали большой флот и готовы были двинуться на Михаила. Пока все это происходило и война только грозила нам, не дождавшись появления росов, распрощался с жизнью и этот царь, за ним умер, не успев как следует утвердиться во дворце, следующий (племянник Михаила IV по матери император Михаил V Калафат, 1041—1042. — *А. К.*), власть же досталась Константину, и варвары, хотя и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной без всякого повода, чтобы только приготовления их не оказались напрасными. Такова была беспричинная причина их похода на самодержца»[37].

Конечно, это явное преувеличение, ибо отношения между двумя странами более чем за полвека, предшествовавших войне, оставались — по крайней мере, внешне — вполне мирными, о чем мы уже говорили в самом начале главы[38]. И все же определенная логика в рассуждениях византийского историка, несомненно, присутствует. Крайняя нестабильность политической ситуации в Империи после пресечения мужской линии Македонской династии, разумеется, не могла не отразиться на русско-византийских отношениях. Нельзя забывать о том, что межгосударственные договоры того времени носили во многом личный характер и требовали обязательного подтверждения в случае смены одного из правителей. За неполные четырнадцать лет после смерти Константина VIII в Империи сменилось четыре императора, что не могло не вызывать в Киеве определенной тревоги. Все это накладывалось на взаимное недоверие и неприязнь, которые обе стороны питали друг к другу. Отношение византийцев к Руси и русским ярко высвечивает приведенная выше цитата Пселла. Но и на Руси греков называли не иначе как «льстивыми», то есть склонными к коварству, обману, и явно недолюбливали их.

Ярослав, по-видимому, внимательно следил за развитием событий в Константинополе, тем более что он никогда не забывал о своем, пусть и косвенном, родстве с правящей династией. Императрица Зоя, дочь Константина VIII, приходилась родной племянницей его мачехе, царице Анне, а все императоры, правившие после Константина VIII, получали

права на престол лишь постольку, поскольку вступали в связь со стареющей императрицей: Роман III, Михаил IV и Константин IX Мономах приходились Зое мужьями, а Михаил V был усыновлен ею. Сценарий появления очередного обитателя константинопольского дворца всякий раз повторялся: новый претендент на престол очаровывал и утешал любвеобильную и доверчивую императрицу, а затем, воцарившись, сразу же охладевал к ней. При Пафлагонянине Зоя оказалась почти в полной изоляции, а его племянник Калафат и вовсе попытался постричь свою приемную мать в монахини и даже выслал ее из Константинополя. Правда, именно эта вопиющая неблагодарность и стоила ему престола, а затем и жизни. 20 апреля 1042 года, в тот самый день, когда Зоя была сослана на один из Принцевых островов близ Константинополя, мощное народное восстание в защиту «матушки Зои» потрясло столицу Империи. Престарелая императрица была срочно возвращена во дворец, но это уже не могло спасти положения. Народ настоял на провозглашении императрицами-соправительницами Зои и ее младшей сестры Феодоры; Калафат же был ослеплен разъяренной толпой и вскоре скончался в ссылке. Спустя полтора месяца 64-летняя Зоя в третий раз вышла замуж (богобоязненная Феодора отказалась от замужества) — на этот раз за представителя одного из самых знатных семейств Византии Константина Мономаха (по слухам, ее прежнего любовника), который и стал новым императором ромеев[39].

В этих событиях принимали участие и выходцы из Руси, прежде всего наемники, находившиеся на службе у императоров, те самые «воины с секирой на плече» (так называли в Византии русских и норманнов), которые составляли ядро императорской гвардии. Среди тех, с чьих слов князь Ярослав мог узнать подробности произошедшей в Константинополе драмы, был известный нам норвежец Харальд Сигурдарсон, будущий Харальд Хардрада (Суровый Правитель) — единоутробный брат Олава Святого, который некогда находился на русской службе, а около 1034 года во главе военного отряда в пятьсот человек объявился в Византии, где поступил на службу к императору Михаилу IV Пафлагонянину; Харальд участвовал во многих войнах и походах, в частности, воевал под началом знаменитого византийского полководца Георгия Маниака (Гюргира, как именуют его саги) и совершил немало подвигов в Палестине, Южной Италии, Болгарии и на Сицилии. В течение всего своего пребывания в Империи он поддерживал самые тесные связи с князем Ярославом и регулярно отправлял ему на сохранение все то

золото и все те драгоценности, которые получал за свою службу или захватывал в качестве военной добычи.

Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, Ярослава и Харальда связывали дружеские отношения. Более того, норвежский конунг очень рассчитывал породниться с могущественным русским князем. Полагали даже, что сама его поездка в «Миклагард» (Константинополь) была вызвана исключительно его желанием добиться руки русской княжны. «У конунга Ярицлейва и княгини Ингигерд, — рассказывается в сборнике саг, известном как «Хульда» («Сокрытый, тайный пергамен»), — была дочь, которую звали Элисабет (Елизавета. — *А. К.*), норманны называют ее Эллисив. Харальд завел разговор с конунгом, не захочет ли тот отдать ему девушку в жены, сказал, что он известен родичами своими и предками, а также отчасти и своим поведением». «Это хорошо сказано, — отвечал ему будто бы Ярослав, — думается мне, во многих отношениях дочери моей подходит то, что касается самого тебя; но здесь могут начать говорить... что это было бы несколько поспешное решение, если бы я отдал ее чужестранцу, у которого нет государства для управления и который к тому же недостаточно богат движимым имуществом...» «После этого решил Харальд отправиться прочь из страны... Расстались они с конунгом Ярицлейвом лучшими друзьями»[40].

В рассказах Харальда правители Ромейской державы выглядели не лучшим образом. Норвежский конунг принимал непосредственное участие в расправе над императором Михаилом V и в разграблении императорского дворца в апреле 1042 года, а кроме того, успел побывать в заточении. «Жена конунга Зоэ Могучая» (то есть императрица Зоя), рассказывается в «Круге земном» Снорри Стурлусона, «обвинила Харальда в том, что он присвоил имущество греческого конунга, которое захватил во время военных походов... И вот греческий конунг приказал схватить Харальда и отвести его в темницу». Если учесть, что все ценности, собранные Харальдом, переправлялись в Киев, то станет понятно, что обвинение это косвенно задевало и князя Ярослава. Причем речь шла о весьма внушительных суммах. «Там скопились безмерные сокровища... потому что он ходил походами в ту часть мира, которая всего богаче золотом и драгоценностями, — рассказывают саги. — ...Там было столько добра, сколько никто в Северных Странах не видал в собственности одного человека»[41]. В отношении этих денег Ярослав показал себя безукоризненно честным и щепетильным человеком: все те богатства, которые пересылал ему норвежец, он сохранил в целости и сохранности и вернул владельцу, как

только тот возвратился на Русь. (Иного, разумеется, и нельзя было ожидать — впрочем, заметим, что то, что представлялось немыслимым богатством в Скандинавии, наверное, отнюдь не выглядело таковым в глазах русского князя.) Но тем обиднее должны были казаться ему обвинения, прозвучавшие в адрес Харальда в Константинополе.

В конце концов, норвежскому конунгу пришлось спасаться бегством из «Миклагарда». Согласно рассказу скандинавских саг, это произошло в ту самую ночь, когда был ослеплен «конунг ромеев», то есть император Михаил Калафат (причем ослеплен якобы лично Харальдом и его людьми в отместку за причиненную им обиду)*. Однако в саге в качестве правящего императора упоминается Константин Мономах, а значит, бегство норвежского конунга произошло позднее — во всяком случае, после воцарения Константина 11 июня 1042 года. Сведения на этот счет содержат не только скандинавские, но и в византийские источники. Византийский полководец и

---

* Между прочим, рассказ о Харальде лишний раз высвечивает особенности саг как исторического источника — их несомненную историческую ценность и вместе с тем необходимость с крайней осторожностью обращаться с содержащейся в них информацией. Так, в саге нашли отражение многие важнейшие события византийской истории — походы Георгия Маниака в Сирию и Месопотамию, Италию и Сицилию; восстание в Константинополе в апреле 1042 года, в ходе которого был ослеплен император Михаил V и разграблен императорский дворец; конфликты между местным населением и наемниками в царствование Константина Мономаха. Кажущееся совершенно фантастическим утверждение авторов саги о желании императрицы Зои выйти замуж за Харальда есть не что иное, как сохраненная в памяти норвежцев молва о распутстве обладательницы византийского трона: по словам Михаила Пселла, Зоя страдала «страстью к соитию, которую — вопреки возрасту — поддерживала в ней изнеженная жизнь во дворце». Но при этом в устах скандинавских сказителей подлинные события зачастую превращаются в свою противоположность: так, Харальд ослепляет «конунга ромеев» лишь в отместку за нанесенную ему лично обиду (и притом ослепленным оказывается император Константин Мономах, благополучно процарствовавший до 1055 года!), а о восстании народа не говорится ни слова; выдающийся византийский полководец Георгий Маниак, человек исключительной физической силы и мужества, одерживавший победы над всеми врагами Империи и на востоке, и на западе, под началом которого служил Харальд, оказывается лишь жалким завистником, никчемным неудачником, объектом насмешек главного героя. Для авторов саг Харальд — главный и чуть ли не единственный герой всех событий, в которых он принимает участие; он завоевывает земли и города и едва ли не определяет судьбы Империи (точно такую же роль отводят саги тем из своих героев, которые находятся на службе у русских князей). А между тем из византийских источников нам известно, что на византийской службе Харальд удостоился лишь титулов манглавита и спафарокандидата — вполне заурядных для командиров отрядов иноземных наемников.

писатель XI века Кекавмен, автор дошедшей до нашего времени книги «Советов и рассказов», застал «Аральта, сына василевса Варангии» (то есть Харальда Норвежского), на службе у императоров ромеев и с похвалой отозвался о его «благородстве и отваге». «После смерти Михаила и его племянника (то есть Михаила IV и Михаила V. — *А. К.*), — пишет Кекавмен, — Аральт при Мономахе захотел, отпросясь, уйти в свою страну. Но не получил позволения — выход перед ним оказался запертым. Все же он тайно ушел...»[42]

Трудно сказать, когда именно Харальд попал в заточение, чем был вызван его арест и даже имел ли он место на самом деле. Возможно, Харальд оказался под стражей еще при императоре Михаиле IV, когда по ложному доносу был арестован его непосредственный начальник Георгий Маниак; впрочем, нельзя исключать и обратного: освобождение Маниака при Михаиле V могло неблагоприятно отразиться на судьбе норвежского конунга — ведь, судя по рассказу саг, между двумя полководцами существовали откровенно враждебные отношения. А вот причины и примерное время бегства норвежского конунга из Византии определить, пожалуй, не трудно. Согласно рассказу Снорри Стурлусона, Харальд принял решение отправиться на родину после того, как узнал, что «Магнус... сын брата его, сделался конунгом в Норвегии и Дании»[43]. Смерть конунга Хардакнута (а именно после нее Магнус Олавсон получил права на датский престол) последовала в июле 1042 года, и, следовательно, в Константинополе о ней могли узнать к началу осени (не позднее сентября-октября), то есть еще до окончания навигации на Черном море. Месяц-другой спустя Харальд мог уже оказаться в Киеве, у князя Ярослава, на чью помощь в борьбе за норвежский престол он рассчитывал, и не без оснований.

Но почему император Константин Мономах столь настойчиво стремился воспрепятствовать его отъезду? Полагают, что конфликт между византийским императором и конунгом норвежцев был вызван общим изменением отношения к русам и норманнам в начале царствования Константина IX: новый император видел в них прежде всего приверженцев прежних правителей Империи; более того, именно этим предполагаемым изменением политического курса Константина по отношению к Руси и русско-варяжскому корпусу и объясняют поход Руси на Царьград в 1043 году[44]. Однако в действиях императора Константина, наверное, можно увидеть и иные резоны. Выше мы датировали бегство Харальда предположительно сентябрем-октябрем 1042 года.

Но ведь именно в это время в Империи вспыхнуло чрезвычайно опасное для власти императора восстание Георгия Маниака, которого тут же поддержало войско. Не исключено, что император Константин надеялся использовать норманнский отряд в борьбе с мятежником.

Восстание Георгия Маниака продлилось до начала мая 1043 года. Надо полагать, что оно серьезно повлияло на все последовавшие за ним события, в том числе и на решение князя Ярослава Владимировича послать войска в Империю. А потому о неудавшемся узурпаторе византийского престола следует сказать хотя бы несколько слов.

В переводе с греческого прозвище «Маниак» означает «бешеный». В Византии о нем рассказывали самые невероятные вещи. Маниак отличался нечеловеческой силой и казался каким-то чудовищным исполином. (Михаил Пселл описывает его как человека едва ли не трехметрового роста!) Одно появление его на поле боя внушало ужас врагам; именно ему Империя обязана была победами в Сирии, на Сицилии и в Италии. И вот теперь Маниак объявил себя императором ромеев, покинул Италию, где находился с войском, и в феврале 1043 года высадился в Диррахии (нынешняя Албания). Это вызвало панику в Константинополе, поскольку воевать против Маниака многие считали безумием. Но еще больше боялись его воцарения.

Родом Маниак был, кажется, славянин[45], а в его войске имелось немало русов. (Впрочем, значительная часть русов, по-видимому, осталась верна императору Константину и сражалась на его стороне.) Полагают, что именно весть об участии русов в восстании Маниака вызвала всплеск антирусских настроений в столице Империи, свидетельство о котором сохранил византийский хронист XI века Иоанн Скилица, единственный из византийских авторов приводящий хоть какие-то реальные подробности русско-византийских отношений накануне войны. Вплоть до нападения русов на Константинополь (то есть до лета 1043 года), пишет он, русы находились в дружественных отношениях с ромеями и, «живя с ними в мире, без страха и встречались друг с другом, и купцов друг к другу посылали». Однако затем, незадолго до нашествия, в Константинополе, на рынке, «произошла ссора с несколькими скифскими (русскими. — *А. К.*) купцами и за нею последовала схватка; был убит некий знатный скиф. Тогда правитель их народа Владимир (о Ярославе византийские авторы ничего не сообщают. — *А. К.*), муж горячий, охваченный большим гневом, раздраженный и обозленный случившимся, безотлагательно, не ожидая удоб-

ного времени для отправления, соединив под своим командованием всех способных к битве, а также взяв с собою немало союзников из народов, проживающих на северных островах Океана (то есть норманнов. — *А. К.*), и собрав толпу, как говорят, около 100 тысяч человек (явное преувеличение. — *А. К.*) и посадив их в туземные суда, называемые однодревками, двинулся против столицы»[46].

Ссору на рынке предположительно датируют временем не позднее осени (октября?) 1042 года — иначе известие о ней не успело бы до окончания навигации достичь Руси. Примерно тогда же Харальд со своими людьми силой прорывался из Константинополя; возможно, именно он и принес в Киев весть о случившемся. Но могла ли эта весть действительно стать причиной войны? Все, что мы знаем о князе Ярославе — политике, несомненно, весьма трезвом и уравновешенном, заставляет дать отрицательный ответ на этот вопрос. Убийство «знатного скифа», по-видимому, купца*, но в любом случае человека, защищенного законом (а жизнь русских купцов, как мы хорошо знаем из содержания русско-византийских договоров более раннего времени, защищалась законом), могло быть расценено как прямое нарушение договора, действовавшего между двумя государствами. Но даже его нельзя считать достаточной причиной для того, чтобы ввязываться в тяжелую и, несомненно, чрезвычайно дорогостоящую войну. Важно отметить и другое: произошедший инцидент не привел к массовому бегству русских из Империи: и зимой 1042/43 года, и следующим летом в Константинополе, как следует из показаний того же Скилицы, находилось немало русских, в том числе и купцов, очевидно, уже после начала весенней навигации 1043 года прибывших в столицу Империи из Киева и других русских городов. Очевидно, им здесь ничего не угрожало и они не ожидали начала войны, а значит, ссора на рынке не повлекла за собой немедленного свертывания русско-византийских отношений.

В литературе получило распространение и другое предположение о возможных причинах русско-византийской войны 1043 года, в соответствии с которым поход русских войск на Царьград был осуществлен по согласованию с поднявшим мятеж Георгием Маниаком и имел целью возведение последнего на византийский престол[47]. В принципе, такое предположение не кажется невероятным, особенно если учесть то обстоятельство, что Константин IX отнюдь не выглядел в глазах Ярослава безусловно законным носителем император-

---

* Ибо убит он был именно на рынке.

ской власти: помимо прочего, его брак с императрицей Зоей, с канонической точки зрения, вызывал серьезные сомнения, поскольку был третьим и для самого Константина, и для Зои, а церковь, как известно, не признает третьего брака[48]. Кроме того, нельзя не принимать во внимание излюбленные методы политики русского князя в соседних с Русью землях (Норвегии, Польше, позже Венгрии): пожалуй, можно согласиться, что вполне в духе князя Ярослава Владимировича было бы вмешаться во внутренние дела Византийской империи и поспособствовать восшествию на престол того претендента на власть, чья политика представляла для него наибольшую выгоду. Но — подчеркнем особо это обстоятельство — только в том случае, если данный претендент обладал законными в его глазах правами на престол и если он, лично или через посредников, обращался к нему с просьбой о помощи. Разумеется, никакими правами на престол Георгий Маниак в силу своего происхождения обладать не мог; что же касается каких-либо контактов между ним и князем Ярославом, то источники не содержат сведений на этот счет. Наверное, с той же степенью вероятности можно высказать и другое, прямо противоположное предположение: военные действия Руси изначально могли быть направлены на помощь императору Константину в его борьбе с узурпатором престола — однако Маниак погиб еще до вступления русов на территорию Империи; Константин отказался от услуг русского войска — но его предводители и в первую очередь молодой и честолюбивый князь Владимир, потребовали выполнения прежних договоренностей и выплаты оговоренной суммы денег: отказ «льстивых» греков и вызвал поход на Царьград, благо, войско было вполне готово к нему. Константин, как муж Зои, находился в определенном свойстве с русским князем Ярославом и, по-видимому, был все же предпочтительнее для него на престоле, нежели Маниак. По крайней мере, такое предположение объяснило бы очевидную растерянность, которая, как мы увидим, будет царить в русском лагере на протяжении большей части похода, а отчасти и характер требований князя Владимира. Кроме того, нашел бы объяснение тот поразительный факт, что еще летом 1043 года, то есть уже после начала похода русского войска в Византию (и, соответственно, после подавления мятежа Георгия Маниака), русские все еще не воспринимались в Константинополе как заведомые враги Империи.

О том, что поход на Царьград был делом далеко не обычным, свидетельствует и то, что Ярослав не принял в нем непосредственного участия. Конечно, это можно объ-

яснить дальностью расстояния, трудностями перехода через море, наконец, тяжелым недугом князя*. Но ведь этот недуг не помешал Ярославу в том же году, по свидетельству некоторых летописей, совершить поход в Мазовию, а в следующем году лично возглавить русские войска в походе на Литву. Может быть, Ярослав опасался за судьбу всего предприятия, заранее предвидел его неблагоприятный исход? Но в таком случае, почему он доверил возглавить поход своему сыну, которого, несомненно, рассматривал преемником своей власти? Вообще нельзя не признать, что многие действия Ярослава и его сына накануне и в начале русско-византийской войны выглядят именно так, будто русский князь — подобно своему отцу — оказывал военную помощь византийскому императору в его стремлении подавить вооруженный мятеж против законной власти. (Напомню, что за полвека с небольшим до этого отец Ярослава, князь Владимир Святославич, также оказал военную помощь императорам-соправителям Василию и Константину, направив из Руси в Византию многотысячный русский корпус для борьбы с мятежом знаменитого Варды Фоки; невыполнение же византийцами условий договора обернулось войной с Империей.) В таком случае личное участие князя в походе, естественно, не требовалось.

Не знаем мы и о каких-либо политических требованиях, выдвинутых Ярославом в адрес греков. Единственный источник, в котором названы конкретные и притом чисто политические причины византийской войны, — это поздняя и во многом тенденциозная «Хроника» польского историка XVI века Мацея Стрыйковского, по словам которого, Ярослав отправил «молодого сына своего Владимира и воеводу Высоту (Вышату. — *А. К.*) с воинством к Царюграду, требуя у кесарей Корсуни и Таврики» — то есть вполне определенных территорий византийского Крыма[50]. Однако источник этого сообщения и, главное, степень его достоверности не известны, упоминание же кесарей (во множественном числе!) позволяет предположить, что в рассказе польского хрониста отразились припоминания о походе в Крым князя Владимира Святославича в 989 году.

Как бы то ни было, «на весну» 1043 года, то есть, веро-

---

* Именно так полагал Ян Длугош. «Князь русский Ярослав, — писал он, — не довольствуясь своими владениями и властью, жадный к приобретению славы у других народов, отправился против соседей греков. А так как чувствовал он себя слишком отягощенным и неспособным нести военные трудности, посылает сына своего старшего Владимира с многочисленным войском...»[49]

ятно, в конце апреля или в самом начале мая, многотысячное русское войско выступило в поход. Относительно его общей численности показания источников разнятся. Русские летописи не сообщают ничего определенного на этот счет, византиец же Иоанн Скилица называет какую-то немыслимую цифру в сто тысяч воинов. Более правдоподобными признаются сведения, приводимые другим византийским историком второй половины XI века, Михаилом Атталиатом, скорее всего, современником описываемых им событий. По его словам, на Константинополь напало «не менее 400 судов русских» со множеством «хорошо вооруженных и опытных воинов»[51]. Современные историки, принимая, что в каждой ладье помещалось около пятидесяти воинов, определяют общую численность русской рати приблизительно в 20 тысяч человек[52], что для XI века представляло весьма внушительную цифру. Несомненно, для сбора такого войска, его снаряжения и отправки в путь на ладьях-однодеревках (то есть таких ладьях, киль которых состоял из ствола целого дерева) и в Новгороде, и в Киеве было затрачено немало времени, сил и средств.

Возглавлял русскую рать новгородский князь Владимир Ярославич, старший сын Ярослава Мудрого. Это был его второй самостоятельный поход — год назад, как мы помним, Владимир водил новгородцев на емь, но тот поход не принес ему славы: на обратном пути в новгородском войске начался сильный голод и мор. Вообще, князя Владимира Ярославича едва ли можно отнести к числу удачливых полководцев. По оценкам византийских хронистов, он был человеком горячим и вспыльчивым, склонным к гневу и в то же время, кажется, легко подпадал под чужое влияние. Однако Ярослав, по-видимому, вполне доверял своему старшему сыну.

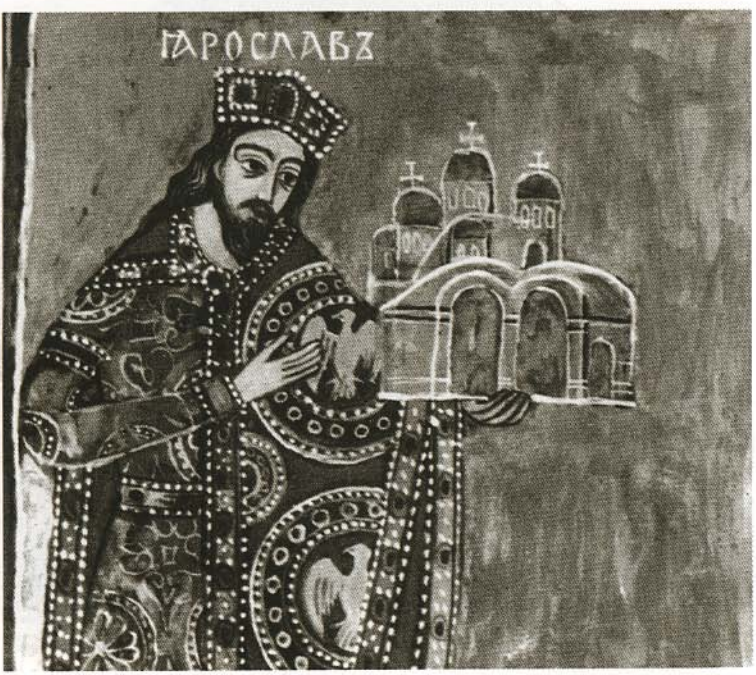
Ядро войска, разумеется, составила новгородская дружина князя Владимира. Вместе с ней двигалась и киевская дружина, предоставленная Ярославом. «Послал Ярослав сына своего на греки, и дал ему воинов многих, — читаем в «Повести временных лет», — а воеводство поручил Вышате, отцу Яневу»[53].

Чуть ниже в качестве одного из воевод летописец называет еще и некоего Ивана Творимирича. Имя последнего более в источниках не встречается, и сказать что-либо определенное о нем мы вряд ли сможем[54]. Вышата же — личность более известная. Во всяком случае, его сын Янь неоднократно упоминается в летописи; начиная с 70-х годов XI века, а может быть, и раньше, он находился на службе киевских князей Святослава, а затем Всеволода Ярославичей, а в княжение последнего был киевским тысяцким. Янь

Ярослав Мудрый. *Реконструкция М. М. Герасимова по подлинным останкам князя.*

Олав Святой.
Миниатюра
из рукописи первой
половины XIV в.

Ярослав Мудрый —
строитель. *Реконструкция
С. А. Высоцкого и
Ю. А. Коренюка
по сохранившимся
фрагментам ктиторской
фрески Киевского
Софийского собора
и копии с рисунка
А. ван Вестерфельда
1651 г.*



Генрих I, король Франции. Надгробие в церкви Сен-Дени. *XIII в.*

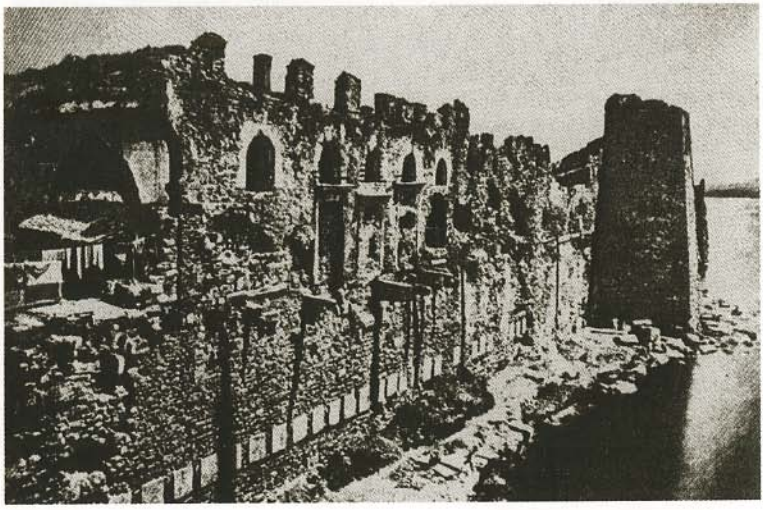
Анна Ярославна, королева Франции. Скульптура из монастыря Святого Винцента в Санли. Внизу: подпись королевы Анны: «АНА РЪИНА».

Шиферная плита XI в. из Киевского Михайловского монастыря с изображением святых Георгия и Феодора Стратилата. Отдельные исследователи видят в правой фигуре изображение князя Ярослава.

Император Константин IX Мономах. Мозаика собора Святой Софии в Константинополе. *XI в.*

Императрица Зоя. Мозаика собора Святой Софии в Константинополе. *XI в.*

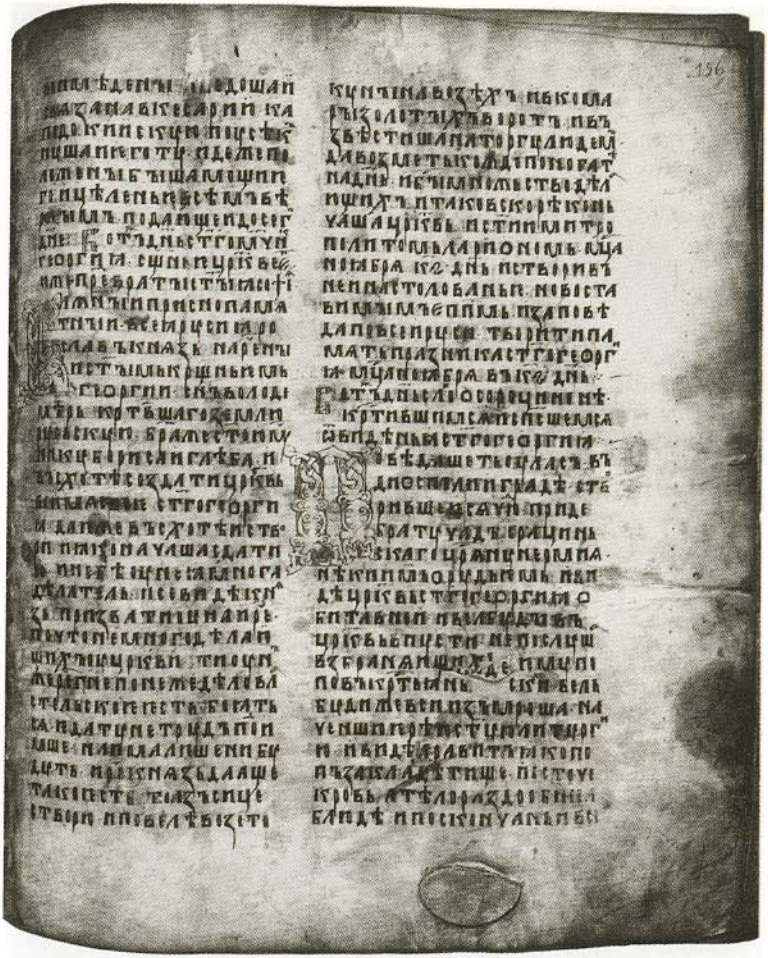
Стены Царьграда. *Современный вид.*



Византийский корабль. Изображение на поливном блюде. *XIII в.*

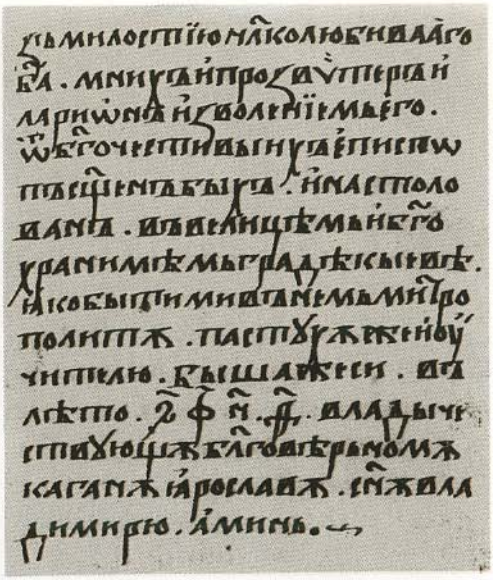
Ослепление пленника. Миниатюра Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы. *XII—XIII вв.*

Две миниатюры Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы. Вверху: император Константин отправляет посольство к русскому князю Владимиру. Внизу: греческие суда выступают против русских.

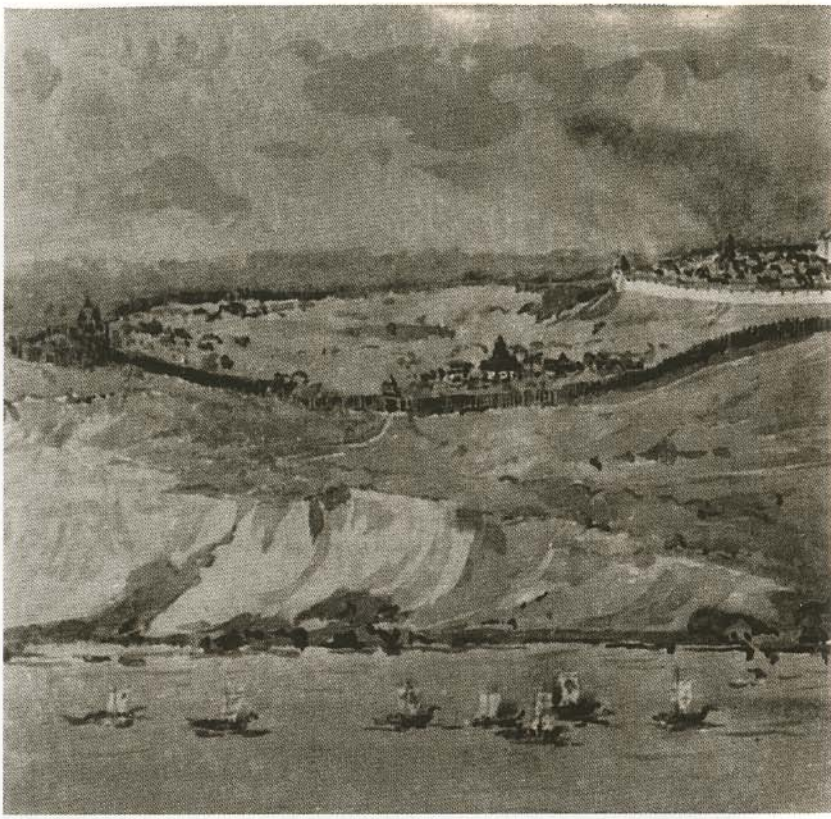


Проложное сказание об освящении церкви святого Георгия в Киеве по списку второй половины XIV в. *(РГАДА. Ф. 381. № 161. Л. 156)*

Запись о поставлении Илариона на киевскую митрополию.
Из рукописи «Слова о законе и благодати» второй половины XV в. *(ГИМ. Син. № 591. Л. 203)*



Поставление Илариона на митрополию.
Миниатюра Радзивиловской летописи.



Киев. Печерский монастырь и княжеская усадьба Берестовое в XII в. *Реконструкция и рисунок Г. Н. Логвина.*

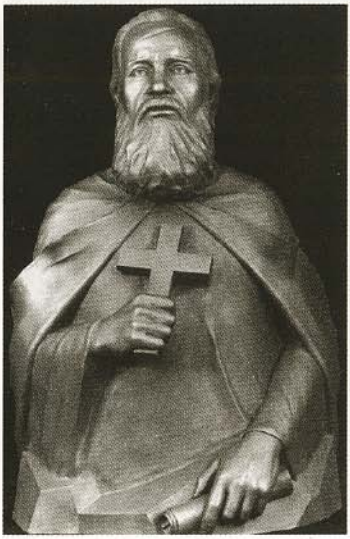
Шиферная плита из Киевского Печерского монастыря. Дионис на колеснице, запряженной львами. *XI в.*

Шиферная плита из Киевского Печерского монастыря. Единоборство Геракла со львом. *XI в.*

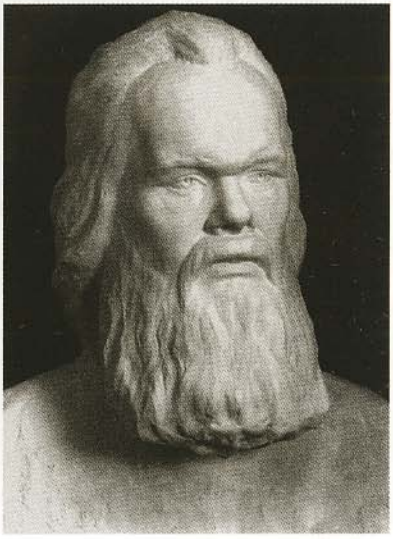
Свенская (Печерская) икона Божией Матери с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. *XIII в.*

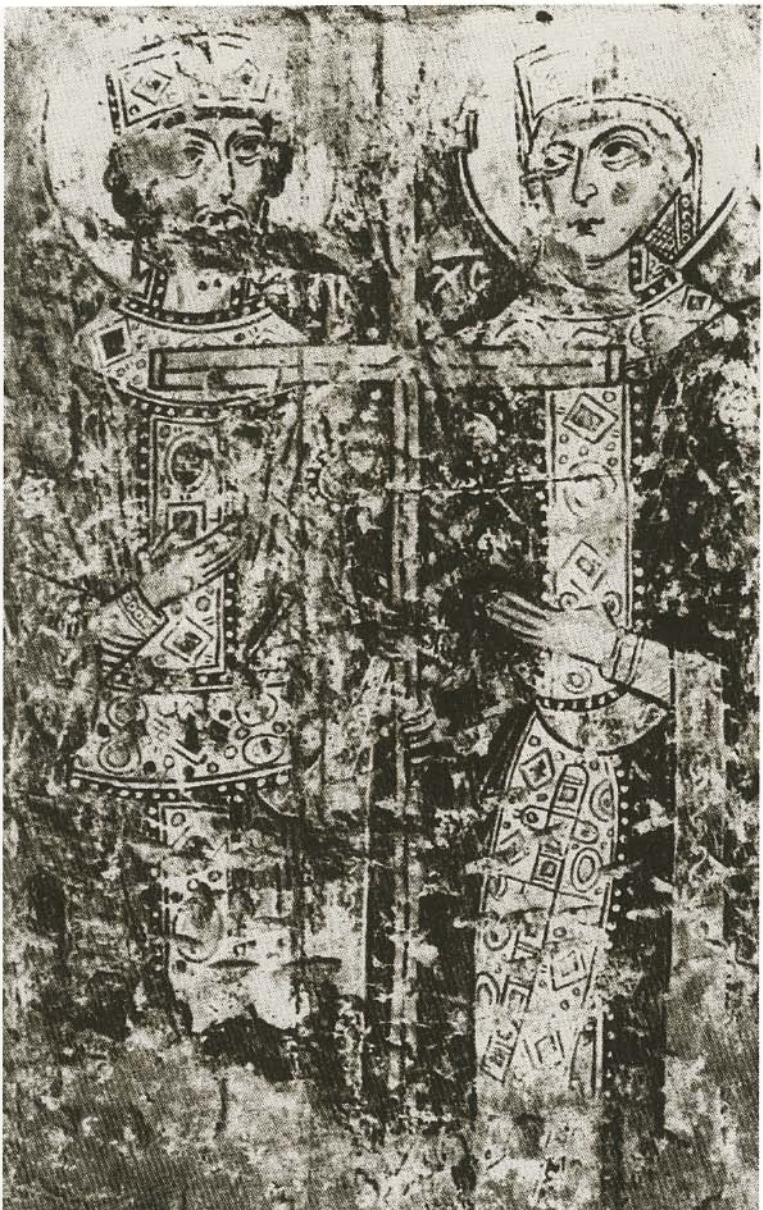
Евхаристия. Мозаика Киевского Софийского собора. *XI в.*

Преподобный Варлаам, первый игумен Печерский. *Реконструкция С. А. Никитина по подлинным останкам святого.*



Преподобный Поликарп, один из авторов Печерского патерика. *Реконструкция С. А. Никитина по подлинным останкам святого.*



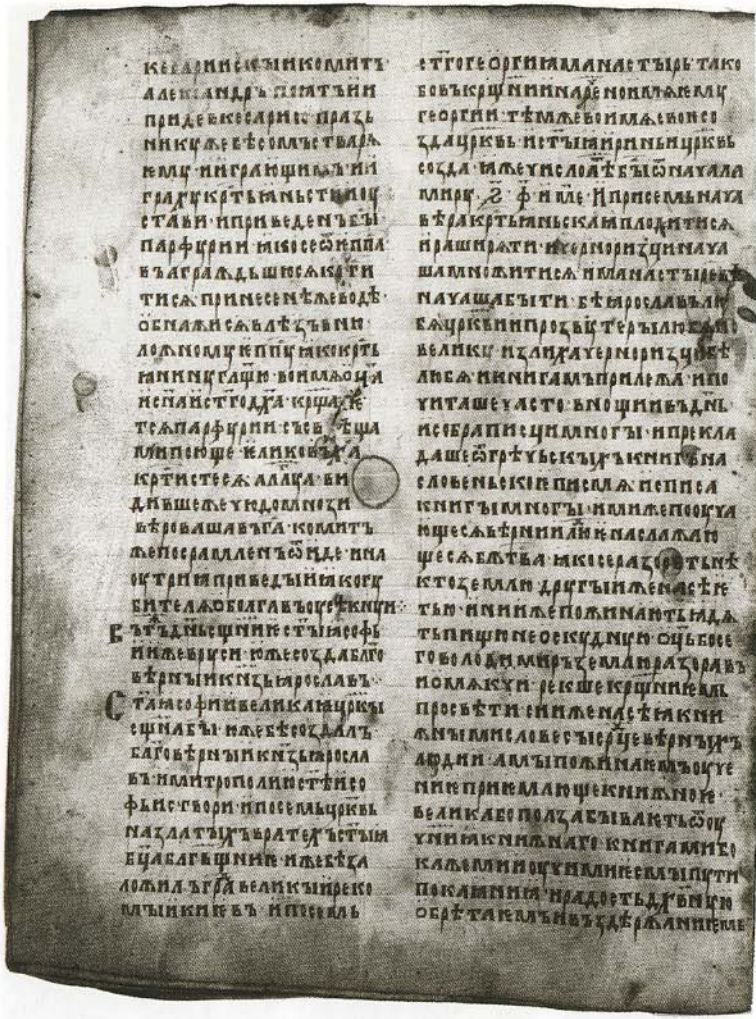


Святые Константин и Елена. Фреска Новгородского Софийского собора. *XI или начало XII в.*

Новгородская цера.
Первая треть XI в.

Рисунок на стене Новгородского Софийского собора мастера Петра с автографом.

Новгородская София. *Современный вид.*



Проложное сказание об освящении церкви Святой Софии в Киеве по списку середины XIV в. *(РГАДА. Ф. 381. № 155. Л. 57 об.)*

Ярослав Мудрый. *Скульптура М. М. Антокольского.*

Ярослав Мудрый в последние годы жизни. *Этап реконструкции М. М. Герасимова.*

Саркофаг Ярослава Мудрого из Киевского Софийского собора.

Святой и благоверный великий князь
Ярослав Владимирович Мудрый. Икона. *XX в.*

Вышатич умер в 1106 году девяностолетним старцем, следовательно, родился в 1016 году или около этого времени. В 1043 году его отцу было, по-видимому, под пятьдесят*. В летописи Янь Вышатич назван «мужем смысленным» (то есть разумным), а также «благим, и кротким, и смиренным»; именно от него летописец слышал многие рассказы, «еже и вписах в летописаньи сем»[57]. Вероятно, с его слов летописец и внес в свой рассказ о походе на Царьград 1043 года многие подробности, особенно те, которые прославляли отца Яня. Впрочем, Вышата и в самом деле проявил в византийском походе беспримерное мужество и необыкновенное благородство. Однако об этом чуть позже.

Еще одной составной частью русского войска стали наемники-варяги, об участии которых в походе упоминают как русские, так и иностранные источники. «Паки на весну послал великий князь Ярослав сына своего Владимира на греки, и дал ему воинов многих, *варягов, русь...*», — читаем в Софийской Первой, Новгородской Четвертой и других летописях, содержащих текст, заметно отличающийся от того, который приведен в «Повести временных лет»[58]. *Русь* здесь — надо полагать, киевляне; *варяги* же — скандинавы, те самые «союзники из народов, проживающих на северных островах Океана», о которых писал Скилица. Как мы знаем, в княжение Ярослава Новгород был теснейшим образом связан со скандинавским миром; связи эти, конечно, сохранились и при его сыне Владимире.

Как полагают исследователи-скандинависты, воспоминания о последнем викингском походе на Византию сохранились в скандинавской Саге об Ингваре Путешественнике, и именно шведский хёвдинг Ингвар возглавлял участвовавших в походе наемников-норманнов**. Этот Ингвар приходился

---

* Согласно распространенному в исторической литературе мнению, Вышата, возглавлявший русские войска в 1043 году, был сыном будущего новгородского посадника Остромира (Вышата, сын Остромира, упоминается в летописи под 1064 годом: в этом году он бежал в Тьмуторокань вместе с сыном Владимира Ярославича, князем Ростиславом, и неким Пореем). Однако, по-видимому, это заблуждение. Имя Вышата в древней Руси было достаточно распространенным[55]. Хронология же жизни обоих Вышат, а также некоторые другие соображения свидетельствуют о том, что Вышата, «отец Янев» отнюдь не одно лицо с Вышатой, «сыном Остромировым»[56].

** Нередко полагают, будто скандинавов в походе возглавлял Харальд Норвежский, однако это мнение, по-видимому, безосновательно. Саги никоим образом не намекают на это, а кроме того, по возвращении на Русь из Византии Харальд должен был всецело посвятить себя подготовке к возвращению в Норвегию и борьбе за норвежский престол, а потому едва ли мог принять участие в византийской авантюре.

двоюродным племянником супруге Ярослава Ингигерд (его бабка по отцу была супругой Олава Шётконунга) и провел на Руси три зимы, в течение которых, по словам авторов саги, помимо прочего, выучился говорить на нескольких языках. Поход «на восток» стал последним для многих его участников, в том числе и для самого Ингвара. В окрестностях озера Меларен в средней Швеции, откуда, вероятно, происходили спутники шведского хёвдинга, обнаружены руничесские надписи — мемориальные стелы, высеченные в память о воинах, «убитых на востоке вместе с Ингваром»; таких надписей насчитывается около тридцати. «Они отважно уехали далеко за золотом и на востоке кормили орлов», — сообщается в одной из них.

Согласно саге, Ингвар во главе своего отряда из тридцати кораблей двигался по самой большой из трех рек, которые текут по «Гардарики» (Руси), а именно по той из них, которая «находится посередине», то есть, очевидно, по Днепру[59]. Участники похода получили благословение церковных властей — эту подробность, кстати, сообщает только скандинавский источник, хотя и в несколько необычной интерпретации: Ингвар «попросил епископа освятить секиры и кремни». Далее сага называет поименно четырех человек из числа участников похода. Это некие Хьяльмвиги и Соти, а также Гарда-Кеттиль (то есть Кеттиль из Гардов; как полагают, тот самый, который воевал еще в дружине Эймунда и участвовал в междоусобных войнах на Руси в конце 10-х — начале 20-х годов XI века) и, что особенно интересно, некий «Вальдимар», под которым, очевидно, следует понимать князя Владимира Ярославича — подлинного руководителя всего похода, превращенного волей автора саги в его рядового участника, подчиненного Ингвару[60].

Ход самих военных действий относительно подробно (хотя, конечно, и не в такой степени, как хотелось бы) освещается различными источниками, причем не только русскими, но и византийскими и даже восточными (сирийскими, арабскими и персидскими). Их показания хорошо дополняют друг друга.

Что касается летописного рассказа о последнем русском походе на Царьград, то он дошел до нас в двух версиях — краткой (в «Повести временных лет»[61]) и распространенной, содержащей целый ряд дополнительных подробностей (в Софийской Первой, Новгородской Четвертой и других, близких к ним летописных сводах[62]). Исследователи по-раз-

ному оценивают достоверность обеих версий. Не вдаваясь в научную дискуссию, отметим лишь, что добавления новгородско-софийских сводов (по крайней мере, некоторые) находят подтверждение в византийских источниках, а значит, не могут быть отброшены как чисто литературный плод сочинительства позднейших авторов[63].

Так, именно в новгородско-софийских летописях сохранились известия о каких-то размолвках между различными отрядами, составлявшими русскую рать, и об остановке всего русского войска на Дунае, примерно на полпути между Киевом и Константинополем. «И пошел Владимир на Царьград в ладьях, — читаем в Софийской Первой летописи, — и прошел пороги, и пришел к Дунаю. И сказала русь Владимиру: "Станем здесь на поле", а варяги сказали: "Пойдем под город" (то есть к Царьграду. — *А. К.*). И послушал Владимир варягов, и от Дуная пошел к Царьграду с воинами по морю...»[64]

За скупой летописной фразой нетрудно увидеть отголоски каких-то драматических событий, разыгравшихся на Дунае. Как отмечают историки, рассказ летописи (по крайней мере, в той версии, которая отразилась в новгородско-софийских сводах) имеет ярко выраженную антиваряжскую направленность[65]: именно варяги изображены в нем главными виновниками поражения русских. Но очень похоже, что противоречия между *варягами* и *русью*, то есть между наемными скандинавскими отрядами и княжеской дружиной, обострились именно во время самого похода и уже вследствие этого выплеснулись на страницы летописи. В самом деле, у варяжских наемников и русских участников похода цели в войне различались. Наемников, как всегда, заботила лишь добыча, золото — воеводы же Ярослава должны были думать прежде всего об ответе, который им предстояло дать пославшему их князю; они выступали проводниками княжеской воли, проводниками княжеской политики в отношении Империи, а в глазах Ярослава, как мы знаем, война, кровопролитное сражение всегда представлялись лишь одним из средств достижения цели, но никак не единственным средством. Поэтому в то время как наемники готовы были сражаться во что бы то ни стало и с кем бы то ни было, воеводы Ярослава должны были помнить о возможности миром завершить начатую войну, если бы это отвечало интересам князя.

Надо думать, что, выступив в путь «на весну», русская флотилия еще в мае или, самое позднее, в начале июня достигла устья Дуная, где, судя по летописи, задержалась на

достаточно долгое время. Но отчего так произошло? Почему именно здесь выплеснулись наружу какие-то противоречия внутри русского войска? Почему *русь* (надо полагать, киевляне) предложили остановиться «на поле»? Чего они могли дожидаться на полпути к Царьграду*? Ответы на эти вопросы можно дать лишь самые предположительные.

В свое время именно здесь, на Дунае, войско князя Игоря Старого, прадеда Ярослава, встретилось с посольством византийского императора Романа I Лакапина, предложившего мир за большой выкуп, и точно так же приступило к обсуждению вопроса: идти ли дальше, на Царьград, или согласиться с предложениями царя. Тогда желание, «не бившеся», взять «злато, и серебро, и паволоки» возобладало, и Игорь повелел своим войскам повернуть домой. Можно думать, что ситуация в какой-то степени повторилась, и именно на Дунае войско князя Владимира Ярославича встретило посольство византийского императора Константина IX Мономаха[67].

А о том, что такое посольство было направлено к русскому князю, свидетельствуют византийские хронисты, и прежде всего, Иоанн Скилица. Узнав о нападении «скифов» (то есть росов), повествует он, «василевс отправил послов, прося опустить оружие и обещая исправить, если что-нибудь и случилось неуместного, чтобы ради малости не рушить издревле утвержденного мира и не воспламенять народы друг против друга». Однако «получив от послов грамоты, Владимир дал надменный ответ». Немного ниже, говоря уже о втором обмене посольствами, состоявшемся накануне сражения у стен византийской столицы, Скилица называет условия, на которых Владимир готов был заключить мир: «...Василевс... снова отправил послов для переговоров о мире. Но варвар опять с бесчестием отослал их, заявив, что требует за мир у василевса по три литры** золота на каждый имеющийся у него отряд»[68].

Как неслыханные и заведомо невыполнимые воспринял требования русского князя и Михаил Пселл, скорее всего, лично присутствовавший при переговорах. Правда, его рас-

---

* В. Н. Татищев так объясняет причины остановки русских войск на Дунае: когда русские пришли «в устие Дуная реки, уведали воеводы Владимировы, что греки на море во множестве кораблей противо их вышли, советовали Владимиру выдьти на берег и воевать по земли, а лодии свои поставить в крепкое место, но варяги советовали идти морем к Константинополю»[66].

** Литра — византийская мера веса, равная примерно 288 граммам, а также мера денег. Равнялась 72 номисмам (см. ниже).

сказ несколько отличается от того, что мы читали у Скилицы, поскольку Пселл говорит лишь об одном посольстве и к тому же сообщает, что инициатива переговоров исходила от росов: «Скрытно проникнув в Пропонтиду, они прежде всего предложили нам мир, если мы согласимся заплатить за него большой выкуп, назвали при этом и цену: по тысяче статиров* на судно с условием, чтобы отсчитывались эти деньги не иначе, как на одном из их кораблей. Они придумали такое, то ли полагая, что у нас текут какие-то золотоносные источники, то ли потому, что в любом случае намеревались сражаться и специально выставляли неосуществимые условия, ища благовидный предлог для войны. Поэтому, когда послов не удостоили никакого ответа, варвары сплотились и снарядились к битве; они настолько уповали на свои силы, что рассчитывали захватить город со всеми его жителями»[70].

Что же составляло предмет переговоров? Только ли стремление отвратить нападение варваров на столицу Империи, откупиться от них? Если так, то исход переговоров выглядит несколько странным. Сумма, названная русскими, на самом деле, не была чрезмерной для византийской казны[71], и все же император ответил решительным отказом. Грубое и надменное поведение русского князя показалось более чем странным византийским хронистам — но и император, похоже, вел себя не вполне адекватно сложившейся ситуации и явно не ожидал нападения русского войска на столицу.

В высшей степени необычное поведение русских отметили не только византийцы, но и сторонние наблюдатели. В подтверждение этого приведем слова знаменитого арабского историка первой трети XIII века Ибн ал-Асира, автора фундаментального сочинения, известного как Тарих ал-камиль («Полный свод истории»); в нем нашли отражение и события русско-византийской войны. Прибыв морем к Константинополю, пишет Ибн ал-Асир, русы «обратились к Константину, царю румов (византийцев. — *А. К.*), *с необычными*

---

* Статир — античная монета; этим устаревшим словом Михаил Пселл, очевидно, назвал византийскую номисму — золотую монету (обычно с изображением правящего императора), составлявшую $^1/_{72}$ литры (или фунта) золота. Как показали исследования Г. Г. Литаврина, данные Пселла и Скилицы близки: «В самом деле: одна тысяча статиров на ладью (50 воинов) дает по 20 номисм на воина. И три литры (216 номисм) на отряд из десяти воинов (низшая единица древнерусского войска. — *А. К.*) дают по 21,6 номисмы на воина... Иначе говоря, если все войско насчитывало 20 тысяч, то Владимир требовал примерно 400 тысяч номисм. Можно согласиться... что эта цифра не кажется непосильной для имперской казны того времени»[69].

для них требованиями». С какими именно, ученый араб, к сожалению, не уточнил, но в ответ византийцы «единогласно решили вступить с ними в войну»[72].

Скорее всего, именно на Дунае русским стало известно о событии, изменившем расклад сил в Империи, — подавлении мятежа Георгия Маниака. В конце апреля или начале мая 1043 года он неожиданно погиб в сражении у озера Острово, недалеко от Фессалоник. Как рассказывает Михаил Пселл, узурпатор уже разбил было верные императору Константину войска, которыми командовал евнух севастофор Стефан, но сам был внезапно поражен в бок копьем, брошенным неведомо чьей рукой. Рана оказалась смертельной, и гибель узурпатора, внушавшего ужас врагам, разом положила конец восстанию. «Что же касается его армии, то отдельные отряды скрытно вернулись на родину, но бóльшая часть перешла к нам». Вскоре после этого отрубленная голова Маниака была отослана императору, а чуть позже, вероятно уже в июне, император устроил в Константинополе триумф в честь победы над узурпатором. В торжественном шествии приняло участие и мятежное войско — «не в строю и не в пристойном виде, но все на ослах, задом наперед, с обритыми головами, с кучей срамной дряни вокруг шеи», как описывает их Пселл. Наверное, среди них были и русские наемники. Но Пселл прямо упоминает их среди другой части процессии, а именно среди победителей Маниака: далее, пишет он, несли отрубленную голову узурпатора и его облачение, «потом шли воины с мечами, равдухи (воины, исполнявшие полицейские функции при императорском дворце. — *А. К.*) и потрясающие в своих десницах секирами (то есть русские или, может быть, норманны. — *А. К.*) — вся эта огромная толпа двигалась перед полководцем (Стефаном. — *А. К.*), вслед ей ехал и он сам, приметный благодаря коню и платью, а за ним и вся свита»[73]. Но если русские наемники Константина участвовали в триумфе, то, значит, война с Русью к этому моменту еще не стала фактом для императора. А между тем русское войско к началу лета определенно пребывало на Дунае — следовательно, византийцы знали о его приближении к своим границам. Больше того, в том же июне 1043 года войска севастофора Стефана были отосланы в провинции, а в июле недавний победитель Маниака сам поднял мятеж (впрочем, вскоре подавленный). Беспечность, которую проявлял император ромеев в отношении русов, кажется просто поразительной!

По словам Скилицы, в ходе переговоров император Константин признал за собой какую-то вину, которую он, прав-

да, назвал легко исправимой «малостью». Что имел в виду Константин, сказать трудно. По логике византийского хрониста, речь шла об убийстве в Константинополе знатного руса, хотя, наверное, нельзя исключать и того, что имелось в виду какое-то другое нарушение существовавших договоренностей. Исследователи обратили внимание на то, что размер выкупа, который требовал от византийцев князь Владимир Ярославич, в пересчете на каждого воина приблизительно равнялся годовому жалованию наемника, находившегося на византийской службе, — около 20—25 номисм[74]. Не означает ли это, что русские воины и в самом деле рассчитывали получить эту заранее оговоренную сумму в качестве жалования за несостоявшуюся службу, а именно за свое участие в борьбе с мятежником? Ведь не их вина была в том, что Маниака разбили еще до их прихода в Византию. И теперь, не слушая оправданий и встречных предложений имперских послов и «с бесчестием» отсылая их обратно, не требовали ли они принадлежащее им по праву? А когда византийцы отказались от выплаты требуемой суммы, попросту двинулись прямо к Константинополю*.

Но если так, то последовавшие затем трагические события и в самом деле можно, по крайней мере отчасти, объяснить горячностью двадцатидвух- или двадцатитрехлетнего князя Владимира. Действительно ли он поддался на уговоры своей варяжской дружины, или вопрос о дальнейшем продвижении вглубь Византии был согласован с князем Ярославом (времени на это Владимиру должно было хватить), мы не знаем. Судя по летописному тексту, киевляне проявили заинтересованность в мирном разрешении конфликта — и можно предположить, что именно такова была позиция самого князя Ярослава Владимировича. И если он и дал свое согласие на продолжение похода, то, наверное, лишь для того, чтобы с позиции силы и у стен самого «Царствующего града» продиктовать слабому, по его мнению, императору ромеев новые условия русско-византийского договора.

Так или иначе, но император Константин оказался не вполне готов к такому повороту событий. Несмотря на дли-

---

* Автор отдает себе отчет в некоторой фантастичности предложенного объяснения русского похода на Царьград. Однако если мы принимаем свидетельство новгородско-софийских летописей о начале похода «на весну» 1043 года и вместе с тем свидетельство Иоанна Скилицы о подходе русского флота к Константинополю лишь в июле того же года (см. далее), то иначе (то есть не считая русских первоначально союзниками Константина) трудно объяснить поразительную бездеятельность, проявленную императором в июне 1043 года.

тельные переговоры, начало военных действий застало его врасплох, и под рукой у императора оказалось слишком мало сил для отражения русского войска. Об этом в один голос свидетельствуют все византийские авторы, которые писали о войне 1043 года, — Пселл, Скилица, Атталиат и другие.

И все же Константин сумел принять необходимые меры. Главное внимание он, естественно, уделил флоту, который в то время переживал далеко не лучшие времена. Еще в августе 1040 года столичный флот практически полностью сгорел во время пожара в бухте Золотой Рог, о чем в Киеве, разумеется, знали. «Морские силы ромеев в то время были невелики, — рассказывает Михаил Пселл, — а огненосные суда, разбросанные по прибрежным водам, в разных местах стерегли наши пределы. Самодержец стянул в одно место остатки прежнего флота, соединил их вместе, собрал грузовые суда, снарядил несколько триер, посадил на них опытных воинов, в изобилии снабдил корабли жидким огнем...» «Он снарядил и царские триеры и немало других средних и легких судов...», — вторит Пселлу Иоанн Скилица. Он же упоминает и дромоны — быстроходные двухмачтовые военные корабли с двумя рядами гребцов. В техническом и боевом отношении византийский флот значительно превосходил русский. Если моноксилы (однодеревки) русских вмещали до 50 человек, то, например, на тяжелых дромонах греков могло находиться до 150 воинов и 50 матросов, а на триерах еще больше. Византийские суда были быстроходнее, а главное, значительно лучше вооружены. Кроме того, император успел подтянуть к столице и крупные сухопутные силы, вызванные из провинций. Им также предстояло сыграть немаловажную роль в победе над «скифами».

Серьезные меры предосторожности были приняты и непосредственно в Константинополе. «Живущих в столице русских купцов, — рассказывает Иоанн Скилица, — а также тех, кто был здесь ради союзнической службы (то есть русских наемников. — *А. К.*), [василевс] рассеял по фемам, чтобы не возник внутри какой-либо заговор, как к тому располагали время и обстоятельства». Судя по свидетельству сирийского христианского историка XIII века Абу-л-Фараджа (Бар Гебрея), русские оказались не единственными, кого коснулись карательные действия императора. Под неточным 1044 годом хронист сообщает о насильственном выселении из Константинополя вскоре после воцарения Константина Мономаха вообще всех иноземцев, обосновавшихся здесь за последние тридцать лет: арабов, евреев и германцев (может

быть, «франков», то есть варягов?). Можно думать, что эти меры также были приняты во избежание возможных смут и неурядиц в городе во время нашествия русов[75].

Тем временем, почти не встречая сопротивления, флот Владимира продвигался вдоль побережья Черного моря к Царьграду. «Неисчислимое, если можно так выразиться, количество русских кораблей прорвалось силой или ускользнуло от отражавших их на дальних подступах к столице судов и вошло в Пропонтиду (Мраморное море. — *А. К.*)», — сообщает Михаил Пселл. Войск пограничной фемы Паристрион (фемы подунайских городов, то есть восточной Болгарии) во главе со стратигом Катакалоном Кекавменом хватило лишь на то, чтобы атаковать отдельные небольшие отряды русских, высаживавшиеся на берег для пополнения запасов продовольствия. «Смело сражаясь», Катакалон обратил в бегство один из таких отрядов «и принудил варваров вернуться на свои ладьи», — не преминул отметить Скилица. Впрочем, об этом частном успехе стратига Паристриона он упомянул лишь потому, что тот отличился на заключительном этапе войны.

Непосредственно к Константинополю русские войска подступили только в июле 1043 года[76]. Как утверждает Скилица, их ладьи бросили якорь «в устье Понта», у так называемого Фароса — очевидно, близ входа в Босфор из Мраморного моря, у самых стен Константинополя. «Именно здесь, против предместья святого Маманда, где с рубежа IX—X веков находилась резиденция русов, — пишет крупнейший современный исследователь Византии и русско-византийских отношений Геннадий Григорьевич Литаврин, — пролив был достаточно широк, чтобы вместить в бухте у европейского берега флот императора, а напротив, у азиатского берега, — русскую флотилию из 400 ладей, выстроившихся перед битвой полумесяцем в один ряд»[77].

Так сообщают византийские хроники. Решающая битва началась в одно из воскресений июля[78]. «Самодержец... вместе с группой избранных синклитиков (в которую, кстати, входил и Михаил Пселл, писавший эти строки. — *А. К.*) в начале ночи прибыл на корабле в ту же гавань; он торжественно возвестил варварам о морском сражении и с рассветом установил корабли в боевой порядок. Со своей стороны варвары, будто покинув стоянку и лагерь, вышли из противолежащей нам гавани, удалились на значительное расстояние от берега, выстроили все корабли в одну линию, перегородили море от одной гавани до другой и, таким образом, могли уже и на нас напасть, и наше нападение отразить». На

берегу расположилось многочисленное конное войско, собранное императором из провинций.

Но обе стороны медлили вступать в сражение. Византийцы явно опасались русских («и не было среди нас человека, смотревшего на происходящее без сильнейшего душевного беспокойства», — вспоминал Пселл); русские же как будто ждали чего-то. «Ни одна из стоявших друг против друга сторон не начинала боя, — пишет Скилица, — скифы, не поднимая якорей, хранили спокойствие, неколебим был и василевс, ожидая их движения. Время шло, час был поздний, и василевс к вечеру снова отправил послов для переговоров о мире. Но варвар опять с бесчестием отослал их... Так как ответ показался неприемлемым, василевс решается на битву».

Русские источники даже не упоминают об этом решающем сражении русско-византийской войны, зато византийские хронисты описывают его относительно подробно.

Сражение началось вечером, после того как в течение целого дня оба флота без всякого движения простояли друг против друга. Первыми вступили в битву византийцы, причем их атака, в которой приняли участие лишь несколько крупных судов, носила характер разведки боем и имела целью главным образом расстроить боевой порядок русского флота. Успех византийцев, однако, превзошел ожидания. «Прошла уже бóльшая часть дня, когда царь, подав сигнал, приказал двум нашим крупным судам потихоньку продвигаться к варварским челнам, — рассказывает Михаил Пселл, — те легко и стройно поплыли вперед, копейщики и камнеметы подняли на их палубах боевой крик, метатели огня заняли свои места и приготовились действовать. (По сведениям Скилицы, в этой первой атаке, которую возглавил магистр Василий Феодорокан, участвовали три триеры-дромона. — *А. К.*) Но в это время множество варварских челнов, отделившись от остального флота, быстрым ходом устремилось к нашим судам. Затем варвары разделились, окружили со всех сторон каждую из триер и начали снизу пиками дырявить ромейские корабли; наши в это время сверху забрасывали их камнями и копьями. Когда же во врага полетел и огонь, который жег глаза, одни варвары бросились в море, чтобы плыть к своим, другие совсем отчаялись и не могли придумать, как спастись. В этот момент последовал второй сигнал, и в море вышло множество триер, а вместе с ними и другие суда, одни позади, другие рядом. Тут уже наши приободрились, а враги в ужасе застыли на месте. Когда триеры пересекли море и оказались у самых челнов, варварский строй рассыпался, цепь разорвалась, некоторые кораб-

ли дерзнули остаться на месте, но бóльшая часть их обратилась в бегство».

Особо отличился в этом первом сражении магистр Василий Феодорокан. На одном из ромейских кораблей, как рассказывает Скилица, он ворвался в середину строя «скифов», сжег семь русских ладей с помощью «греческого огня», три потопил вместе с людьми, а одну захватил, «сам вступив в нее и убив одних, а других обратив в бегство, пораженных его отвагой».

Впрочем, византийские авторы, кажется, преувеличивали, говоря о разгроме всего русского флота уже в этом первом сражении. По-видимому, пострадала лишь часть русских ладей; прочие же предпочли отступить, главным образом из страха перед «греческим огнем», выбрасываемым из сифонов вражеских триер. («Румы бросили на их корабли огонь, который они не сумели потушить, и поэтому многие из них погибли в огне и воде», — свидетельствует Ибн ал-Асир.) Как и сто лет назад, во время первого похода князя Игоря на Византию, исход противоборства во многом предопределило техническое превосходство греков и прежде всего использование ими так называемого «греческого огня» (сами греки называли его «мидийским») — особой горючей смеси на основе нефти, секрет изготовления которой в Византии хранили как зеницу ока. Удивительно, но за сто лет русские, постоянно торговавшие с греками, нередко воевавшие на их стороне и находившиеся с ними в союзнических отношениях, так и не разгадали тайны его приготовления, и «греческий огонь», горевший даже на воде и не дававший спасаться с горящих судов вплавь, по-прежнему вселял в них суеверный ужас. Сохранение тайны приготовления этой смеси составляло предмет государственной политики Константинополя: еще в середине X века император Константин Багрянородный предупреждал своих преемников, чтобы те проявляли всяческие попечение и заботу о «жидком огне, выбрасываемом через сифоны»: если кто-нибудь из варварских народов когда-нибудь дерзнет попросить его, заклинал император, следует категорически отказать им, ссылаясь на заветы святого Константина (то есть императора Константина Великого), будто бы повелевшего начертать на престоле церкви Святой Софии проклятия в адрес любого из правителей Ромейской державы, кто дерзнул бы дать сей священный огонь другому народу[79]. И надо думать, что этот завет неукоснительно соблюдался, ибо монопольное обладание «жидким огнем» имело жизненно важное значение для Империи.

По свидетельству летописей (а именно той версии летописного рассказа, которая представлена в новгородско-софийских летописных сводах), первыми отступили варяги: «...и разбило корабли, и побежали варяги вспять». О том страхе, который испытали скандинавские наемники от действия «греческого огня», можно судить по тексту позднейшей Саги об Ингваре Путешественнике. В фантастическом описании сражения Ингвара с какими-то неназванными в саге «викингами» имеется и вполне конкретное и достаточно точное описание огнеметного устройства — это, кстати, единственное описание «греческого огня» в скандинавских сагах. Во время боя противники Ингвара «принялись раздувать горн у той печи, где был огонь, и было от этого много шума. И была там медная труба, из которой беспрерывно вырывалось сильное пламя в направлении одного из кораблей. Через некоторое время он загорелся и сгорел дотла»[80].

И все же главный урон русский флот потерпел не от «греческого огня» и даже не в самой битве, но позже, при отступлении из Фаросской бухты. То ли византийские флотоводцы настолько умело подгадали момент для начала сражения, то ли и вправду Бог был на их стороне, но вскоре на море поднялась буря, оказавшаяся губительной для легких русских ладей. Всезнающий Михаил Пселл описывает ее в следующих весьма ученых выражениях: «Тут вдруг солнце притянуло к себе снизу туман и, когда горизонт очистился, переместило воздух, который возбудил сильный восточный ветер, взбороздил волнами море и погнал водяные валы на варваров. Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу, другие же долго еще волокли по морю и потом бросили на скалы и на крутой берег...»

Как отмечали еще античные авторы, в июне-июле на Босфоре действительно дуют сильные северо-восточные ветры — так называемые этесии, нередко оборачивающиеся бурями[81]. Возможно, по каким-то видимым на небе признакам, византийские флотоводцы догадались об их приближении и решили использовать в борьбе с русскими. Напомним, что точно так же, в бурю, погиб русский флот почти за два столетия до описываемых нами событий — во время первого нашествия русов на Царьград в июне 860 года. Исторический парадокс заключается в том, что последняя в истории попытка русских захватить столицу Империи закончилась почти тем же самым, что и первая.

Для тяжелых и средних византийских судов, отличавшихся большой устойчивостью, буря не была так страшна. К тому же их кормчие имели немалый опыт плавания в Босфо-

ре и хорошо знали прибрежные отмели и подводные скалы. Но для русского флота все кончилось катастрофой. Русские летописцы объясняли неудачу похода исключительно последствиями бури, даже не упоминая о сражении в Мраморном море: «И бысть буря велика, и разбило корабли Руси, и княжеский корабль разбило ветром. И взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода (?) Ярославль; прочие же воины Владимировы выброшены были на берег, числом 6 тысяч...»

В новгородско-софийских летописях рассказывается несколько иначе, причем рассказ этот несет на себе явные черты литературной обработки. Узнав о приближении русских, читаем в Софийской Первой летописи, греки «изыдоша на море и начали погружать в море пелены Христовы с мощами святых. (Напомню, что именно так поступили греки еще в 860 году, во время первого похода Руси на Царьград, рассказ о котором также читается в летописи. — *А. К.*) И Божиим гневом возмутилось море, и гром был велик и силен, и была буря велика, и начало ладьи разбивать. И разбило корабли, и побежали варяги вспять. И княжий корабль Владимиров разбил ветер, и едва Иоанн Творимирич князя Владимира высадил в свой корабль и воевод Ярославлих. Прочие же воины Владимировы выброшены были на берег, числом 6000, стали на береге наги...»

Называя число выброшенных на берег русских воинов, летописец, по-видимому, имел в виду только тех, кто уцелел во время шторма и последовавших затем стычек с греками. Но очень многие погибли. Иоанн Скилица, наверное преувеличивая (как преувеличивал он, называя общую численность русского войска), сообщает о том, что на побережье после сражения было найдено около пятнадцати тысяч выброшенных морем трупов. Спасаясь, люди сбрасывали с себя доспехи, кидали в воду оружие. Когда спустя два дня паракимомен Николай и Василий Феодорокан, которым василевс поручил командование византийским войском, отправили специальные сторожевые отряды осматривать побережье, то их люди обогатились, завладев «большой добычей и доспехами».

Итак, эта была трагедия, хотя еще не означавшая конец войны. Ближайшие два или три дня после сражения русские потратили на то, чтобы хоть как-то привести себя и свои ладьи в порядок. Кажется, здесь вновь начались раздоры между русскими и наемниками-скандинавами, закончившиеся полным разрывом. Во всяком случае, в скандинавской Саге об Ингваре рассказывается о том, как «Вальдимар» (князь Владимир?) начал спорить с Гарда-Кеттилем, к которому перешло главенство в шведской дружине после гибели Ин-

гвара, о том, в каком направлении двигаться дальше: Вальдимар, по саге, предлагал продолжить путь к Миклаграду (Константинополю), Кеттиль же со своими людьми предпочел вернуться на родину. Правда, по пути скандинавов ждало еще немало приключений, и лишь немногие из них в конце концов добрались до Швеции*. Не исключено, что кое-кто из спутников Ингвара оказался впоследствии в Грузии, где в составе дружины «варангов» (варягов) принял участие в междоусобных войнах местных правителей-феодалов[82]. Поражение и страшная буря на море едва ли могли вдохновить варягов на новые подвиги во благо Руси; еще меньше интересовала их судьба выброшенных на берег русских воинов.

А среди тех, кто сумел ускользнуть от охранявших побережье византийцев и выйти к месту стоянки русского флота, киевлян («руси»), кажется, оказалось больше, чем новгородцев. Но беда была в том, что люди остались почти без оружия, можно сказать, без одежды, а от дома их отделяли тысячи километров чужой, враждебной земли. Лишь немногих удалось взять на уцелевшие от бури и вражеского огня ладьи. Остальным предстояло проделать весь путь пешком, и надеяться они могли только на чудо... «И хотели пойти в Русь, и не пошел с ними никто из дружины княжей», — с состраданием пишет об этих несчастных киевский летописец. Но он, наверное, не осуждает князя, который и сам чудом уцелел в бушующем море и должен был думать теперь о спасении оставшегося боеспособным войска, об отражении возможного нападения греческого флота, а еще о том, чтобы вернуться на Русь не вовсе с бесчестьем.

Среди Ярославовых воевод нашелся лишь один, кто согласился разделить все тяготы пешего похода с безоружным войском. Это был тот самый Вышата, которому, по словам летописца, «поручи воеводство» сам князь Ярослав Владимирович. Автор летописи вкладывает ему в уста слова, исполненные мужества и благородства: «И рече Вышата: “Аз пойду с ними”. И высадился из корабля с ними, и рек: “Аще жив буду, то с ними, аще погибну, то с дружиною!” И пошли, хотя в Русь [идти]». А еще так сказал воевода: «Не иду к Ярославу» (эти слова приводят только новгородско-софийские летописи). Это был поступок мужественного во всех

* По свидетельству саги, бóльшая часть участников похода Ингвара погибла не от вражеского оружия, но от начавшейся в войсках эпидемии. Возможно, это также отражает какие-то реалии восточного похода, хотя и не известно, какой его стадии — до или после ухода скандинавов от русских.

отношениях человека, готового в равной мере принять смерть от врагов и — в случае успеха — держать ответ перед князем Ярославом, ибо его отказ возвращаться на Русь вместе с ладьями посланной князем флотилии формально означал нарушение княжеской воли.

Византийцы по-прежнему опасались русского войска. Во всяком случае, два дня их флот простоял в Константинопольской гавани, и только после этого было организовано преследование. «Василевс, прождав после поражения скифов два полных дня, — рассказывает Скилица, — вернулся на третий в столицу, оставив две тагмы (отряды центрального, постоянного войска. — *А. К.*) и так называемые этерии (отряды императорской гвардии. —*А. К.*) под главенством паракимомена Николая и Василия Феодорокана и повелев им осматривать, объезжать и охранять побережье, чтобы варвары не совершали высадки, а всему флоту приказал пребывать у Фароса... Двадцать же четыре триеры, отделившись от прочего флота, последовали за бегущими скифами и настигли их стоящими на якоре в некоем заливе...» Отрядом триер командовал патрикий Константин Каваллурий, стратиг фемы Кивирреотов (на юго-западе Малоазийского полуострова и прилегающих островах).

Это второе морское сражение между византийцами и русскими произошло, по-видимому, уже в Черном море, но вряд ли далеко от Босфора[83]. Русские летописи рассказывают о нем кратко, хотя достаточно выразительно: «...Бысть весть грекам, что избило море русь, и послал царь, именем Мономах, за русью четырнадцать олядий (военных кораблей, по-гречески хеландий. — *А. К.*). Владимир же, увидев с дружиною, что идут за ним, повернувшись («въспятивъся»), избил олядии греческие и возвратился на Русь, усевшись («сседавшеся»; в данном контексте, вероятно, потеснившись. — *А. К.*)[84] в корабли свои».

Значительно более подробно повествование Иоанна Скилицы, который в целом подтверждает свидетельство русского летописца. Видя немногочисленность греков, пишет он, скифы «растянулись цепью от одного до другого берега и, с силой налегая на весла, стремились запереть врага внутри залива. Ромеи, уставшие от гребли во время преследования и испугавшиеся множества вражеских ладей, обратились в бегство. Но выход из залива уже оказался запертым. Тогда патрикий Константин Каваллурий... храбро принял бой со своей триерой и другими десятью. В отчаянном бою он был убит. Враг захватил четыре триеры с людьми (вместе с кораблем наварха Каваллурия), и все ромеи в этих триерах бы-

ли перерезаны. Прочие же ромейские суда выбросились на мели, скалы и камни. При этом часть воинов утонула, часть была схвачена варварами и предана мечу и рабству, а часть (пешие и голые) спаслись в свой лагерь».

Так остатки русского флота нанесли полное поражение отряду византийского наварха. В руках князя Владимира оказалось четыре византийские триеры со всем экипажем, в том числе и триера самого флотоводца. Это был успех больше моральный, но оттого особенно важный, ибо теперь Владимир мог возвращаться домой отчасти как победитель, ведя за собой полон, пусть и не слишком многочисленный.

Ожесточение русов проявилось в том, что многие из пленных были зарезаны на месте. Едва ли это диктовалось необходимостью — скорее, русские мстили за гибель своих товарищей, утонувших в море во время шторма или истребленных греками. Так ярость и ожесточение одних порождали ожесточение других, и очень скоро в этом должны были убедиться те русские воины, которые совершали свой путь пешком. Победа флота Владимира, казалось, приблизила их спасение, но в конечном счете лишь усугубила их и без того незавидную участь.

Ведомое Вышатой пешее воинство преодолело уже бóльшую часть пути от побережья Босфора до устья Дуная, служившего границей Империи, когда у Варны (в нынешней Болгарии) его нагнал стратиг фемы Паристрион Катакалон Кекавмен с вверенными ему войсками. То, что произошло дальше, скорее напоминало избиение, чем битву. Русские сопротивлялись отчаянно, но силы оказались слишком неравными. «Итак, скифы, обманувшись в своих надеждах, вспомнили о возвращении домой, — рассказывает Скилица. — Сразившись с ними, возвращающимися морем и по суше (ибо для всех их не хватало ладей, одни из которых были потоплены или захвачены в морской битве, а другие были разбиты бурей, и поэтому многие совершали путь пешком), на берегу, называемом Варна, архонт городов и деревень у Истра Катакалон Кекавмен разгромил русских, многих уничтожил, а 800, взяв живыми и связав, отправил к василевсу...» «Что касается тех [русов], которые были на континенте (то есть на суше. — *А. К.*), — несколько иначе описывает случившееся Ибн ал-Асир, — то они мужественно сражались и крепко держались, но потом обратились в бегство, а так как у них не было прибежища, то те из них, которые успели сдаться, попали в рабство и спаслись; тем же, которые отказались и были взяты силой, румы отрезали правые руки и повели их по городу (Константинополю. — *А. К.*).

Из них лишь немногие спаслись вместе с сыном царя Руссии...»[85] Как мы помним, летописи говорят о 6 тысячах русских воинов, возвращавшихся домой; Скилица — о восьмистах, взятых живыми. Простой арифметический подсчет показывает, что в побоище у Варны истреблено было более пяти тысяч человек. Среди тех, кто избежал гибели и попал в плен, оказался и воевода Вышата.

Император Константин с беспощадной жестокостью обошелся с русскими пленниками. «Вышату же схватили с изверженными на берег, и привели их к Царюграду, и ослепили множество русских...», — рассказывает летописец. (Поздняя Никоновская летопись говорит об ослеплении в числе прочих и самого Вышаты[86]; совсем уж поздние и, кажется, полностью легендарные источники — о том, что Вышата был лишен лишь одного глаза[87].) Еще раньше на месте побоища, как свидетельствуют восточные авторы, греки отрубили захваченным в плен русским воинам правые руки (эту страшную подробность, помимо Ибн ал-Асира, приводит еще Бар-Гебрей).

Подобная жестокость была в обычае византийцев. Вспомним о чудовищной расправе над пленными болгарами императора Василия Болгаробойцы летом 1014 года, когда по его приказу было ослеплено 15 тысяч человек и лишь одному из каждой сотни слепцов был оставлен один глаз, дабы он мог служить поводырем; вспомним о грудах отрубленных голов вражеских воинов, наваленных по приказу того же императора на пути следования его войска во время войны в Грузии... Обычным наказанием виновных в преступлениях против государства считалось и членовредительство — отсечение правой руки. Византийцы, как правило, отпускали таких искалеченных пленников на родину: жалкий вид несчастных должен был показать их сородичам, что ждет тех, кто осмелится поднять руку на Империю. Может быть, уже вскоре после казни были отпущены на Русь и искалеченные русские пленники — во всяком случае, говоря о заключении мира между двумя странами около 1046 года, летописец сообщает о возвращении на Русь одного Вышаты, не упоминая о других несчастных.

Русский флот ничем не смог помочь обреченному пешему войску. Скорее всего, во время варненской резни он уже был вне пределов Империи.

Так трагически завершился последний поход русских на Царьград. Впрочем, уцелевшие остатки воинства князя Владимира Ярославича возвратились на Русь не без трофеев и не без пленников, что, несомненно, должно было несколько

скрасить тягостное впечатление. Может быть, поэтому в позднейшей новгородской традиции поход князя Владимира на греков был воспринят не как поражение, но как победа.

Но если новгородцы и могли обманываться относительно истинных результатов похода, то в Киеве, куда в конце лета или осенью князь Владимир привел остатки своего войска, сомнений на этот счет ни у кого не возникало. Тысячи вдов оплакивали своих погибших или искалеченных в чужой земле мужей, тысячи детей остались сиротами, тысячи семей лишились кормильцев... Едва ли не тяжелее всех должен был воспринять случившееся сам Ярослав. Если он и не потерял в этой войне своих близких (ибо его сын Владимир вернулся из похода живым и невредимым), то его политике в целом был нанесен сокрушительный удар. Надо было что-то делать, надо было спешно восстанавливать пошатнувшийся престиж Киевского государства.

И здесь мы сталкиваемся с поразительным и трудно объяснимым феноменом, в очередной раз ставящим исследователя в тупик. Если судить по показаниям источников, и прежде всего летописей, Ярослав не предпринимает никаких решительных шагов в этом направлении — и тем не менее без видимых усилий со своей стороны всего за три года не просто восстанавливает выгодные для себя отношения с Византией, но и добивается заметного укрепления положения своей страны на международной арене. Он как будто не замечает произошедшей катастрофы! Во всяком случае, его политика в отношении других европейских стран — Польши, Венгрии, Норвегии и других — не претерпевает видимых изменений. Ярослав не готовится к новой войне с Византией (как готовился к ней, например, князь Игорь после поражения от греков в 941 году), не набирает нового войска. В том же 1043 году он предположительно совершает очередной поход в Мазовию; затем, зимой, ведет переговоры с норвежским конунгом Харальдом, выдает за него свою дочь Елизавету и помогает в начавшейся борьбе за норвежский престол. На следующий год Ярослав присутствует в Киеве при перенесении останков своих дядьев Ярополка и Олега, погибших во время усобицы еще в конце 70-х годов X века, а затем во главе дружины выступает в поход на Литву, то есть в противоположном от Византии направлении; по возвращении же на Русь он отправляется в Новгород, где вместе со своим сыном Владимиром принимает участие в возведении новгородских укреплений.

Словом, Ярослав не делает ничего того, что можно было бы от него ожидать в сложившихся условиях, если бы мы предположили, что его целью является отмщение византийцам или восстановление силой оружия прежних отношений с Империей. Не находя этому объяснения, отдельные исследователи предполагают даже, что на следующий год после поражения 1043 года русские войска во главе с князем Владимиром Ярославичем совершили все-таки новый — на этот раз победоносный — поход на Византию, о котором по неизвестным причинам не сохранилось никаких сведений ни в русских, ни в византийских источниках[88]. Но такого, наверное, не могло быть. Тем более что летопись сообщает о некоторых событиях 1044 года, и мы приблизительно знаем, чем занимался в это время и князь Ярослав, и его сын Владимир, которого летописец застает в Новгороде, но отнюдь не на пути к византийским границам. Да и трудно представить себе, чтобы во всех без исключения русских летописях сознательно была бы стерта всякая память о якобы успешных военных действиях Руси против «льстивых» греков.

Так может быть, Ярослав каким-то образом сумел отстраниться от личной ответственности за произошедшее? Он не принимал участия в войне, и это, по-видимому, давало ему определенные возможности для возобновления в приемлемых для него формах переговоров с императором Константином. Наверное, он мог представить дело так, будто все случившееся — не более чем недоразумение, а действия его сына Владимира, воеводы Вышаты и наемников-варягов совершены без его ведома. Тем более что Ярослав не мог не понимать: император Константин не меньше его был заинтересован в урегулировании отношений с Русью и в возобновлении русско-византийского союза — ведь традиционная политика правителей Византии сводилась к установлению по возможности добрососедских отношений с соседями-«варварами», даже ценой материальных уступок. Так или иначе, не приходится сомневаться в том, что между Киевом и Константинополем начались какие-то непростые переговоры, продолжившиеся до 1046 года. Как обычно, сами переговоры укрылись от внимания летописца, сообщившего лишь об их результатах: «...по трех же летех миру бывшю, пущен бысть Вышата в Русь, к Ярославу», то есть: «...по истечении трех лет, когда был заключен мир, отпущен был Вышата на Русь, к Ярославу». (Позднейшие летописцы добавляют: «...с инеми», то есть с другими, но в древнейших летописях этого добавления нет.) «В се лето бысть тишина велика», — читаем под 1046 годом в Ипатьевской лето-

писи[89], и в этих словах, наверное, также можно увидеть отражение того «великого» мира, который сумел заполучить князь Ярослав.

Византийские источники подтверждают показания русского летописца. Правда, в них мы не найдем каких-либо упоминаний о переговорах между двумя странами или о заключении мирного договора. Но уже в 1047 году русские названы «северными союзниками» императора Константина IX: в сентябре — декабре этого года они участвовали в подавлении очередного мятежа, поднятого против законного императора военной знатью, — на этот раз во главе мятежа (может быть, самого опасного за все время царствования Мономаха) встал его племянник по матери Лев Торник. Очевидно, к этому времени договор между Константином и Ярославом уже успел вступить в законную силу, все недоразумения были улажены и русские наемники получили причитающееся им вознаграждение[90].

Объективно в середине XI века Русь и Византия оставались союзниками. Дело в том, что у них имелся общий и весьма серьезный противник — печенеги. После великой победы Ярослава у стен Киева не прошло и десяти лет — а значит, призрак печенежской угрозы все еще витал в воздухе. Для императора же Константина, напротив, все самое страшное только начиналось: во второй половине 40-х годов XI века печенеги возобновили свой натиск на Византию. Воспользовавшись необычно суровой зимой (предположительно, 1045/46 года), неисчислимое множество печенегов во главе с ханом Тирахом перешло замерзший на 15 локтей в глубину Дунай и вторглось в пределы Империи, подвергнув ее северные провинции страшному разорению. Лишь открывшаяся среди кочевников эпидемия дизентерии спасла Империю[91]. К тому времени часть печенегов (из враждебной Тираху орды хана Кегена) обосновалась в пределах самой Византии в качестве союзников Империи. Но, как оказалось очень скоро, союзники-печенеги были немногим безопаснее и спокойнее своих «диких» собратьев, оставшихся за Дунаем. Положение Империи, испытывавшей одновременные удары со стороны печенегов с севера и турков-сельджуков с юга, раздираемой внутренними мятежами, заставляло Константина искать более надежных, испытанных временем союзников. Ради этого он готов был не только забыть о недавней вражде, не только подавить в себе всегдашнюю неприязнь византийцев к русам, но и пойти на весьма существенные уступки. И этой его готовностью не замедлил воспользоваться Ярослав.

Одним из условий договора, заключенного в 1046 году, по-видимому, стало возобновление династического союза двух правящих семейств, существовавшего с конца X века. Четвертый сын князя Ярослава Всеволод (он родился в 1030 году) должен был жениться на дочери императора Константина Мономаха, имя которой историки называют лишь предположительно — Мария. Вскоре после 1046 года (во всяком случае, не позднее самого начала 50-х годов) византийская царевна прибыла на Русь.

Конечно, этот брак нельзя поставить в один ряд с браком князя Владимира Святого и царевны Анны, которым была завершена предыдущая русско-византийская война. В отличие от Анны, дочь Мономаха не была порфирородной царевной (таковыми в Византии признавались лишь те дети императоров, которые появлялись на свет в царствование своих родителей). Полагают, что она родилась от второго брака императора Константина — с дочерью Василия Склира (внука знаменитого мятежника Варды Склира) и племянницей императора Романа III Аргира[92]; этот брак был заключен ранее 1025 года, однако еще в начале 30-х годов супруга Константина скончалась. Впрочем, нельзя исключать, что будущая жена Всеволода Ярославича была вообще незаконнорожденной дочерью Константина Мономаха от его любовницы Склирены (племянницы его второй жены), с которой Константин находился в длительной связи по крайней мере с начала 30-х годов и которую, став императором, он ввел во дворец с почетным титулом севасты[93]. На Руси в XI веке на такие вещи смотрели не так строго, как в Византии; главное было в кровном родстве супруги русского князя с правящим в Империи родом, и именно это обстоятельство дало возможность будущему потомку князя Всеволода именоваться *Мономахом* и «*благороднейшим* архонтом (правителем. — *А. К.*) Руси».

До нашего времени сохранились две печати, предположительно принадлежавшие византийской царевне. На одной из них изображен апостол Андрей Первозванный (небесный покровитель князя Всеволода Ярославича) и греческая надпись: «Печать Марии Мо[но]махос (?), благороднейшей архонтиссы»[94]. По сведениям В. Н. Татищева, княгиня умерла в 1067 году[95]. Из рожденных ею детей с уверенностью можно назвать двоих: сына Владимира (родившегося в 1053 году), будущего великого князя Киевского и знаменитого полководца, писателя и политического деятеля, и дочь Анну, более известную под именем Янка, основательницу и первую игуменью Киевского Андреевского («Янчина») женского монастыря и одну из самых замечательных женщин в русской истории XI века[96].

Так тяжелейшее внешнеполитическое поражение Ярослава обернулось не менее впечатляющим успехом — а родство с византийским императором, несомненно, было выдающимся успехом, сразу возвысившим русского князя в глазах всего христианского мира. Бесспорно, такое под силу только политику самого высокого уровня, способному на неожиданный компромисс, на нестандартное решение самого запутанного вопроса. Именно таким политиком и сумел проявить себя киевский князь.

За прошедшие после поражения три или четыре года Ярослав и без того успел сделать немало. Помимо военных походов в Мазовию и Литву и разгрома в 1047 году Моислава Мазовецкого, он именно в это время поддерживает очередного претендента на норвежский престол, на этот раз известного нам Харальда Сигурдарсона. Ярослав по-прежнему добивается своего преимущественно не на поле брани, но на пути хитроумных и многотрудных дипломатических переговоров — но тем ценнее оказываются плоды достигнутого. Вопреки ожиданиям, после тяжелейшего поражения русского флота в Босфоре авторитет русского князя в Европе растет, а не падает, и проявляется это очень скоро и очень наглядно. В самом деле, вспомним, что всего за несколько месяцев до византийского похода, в годы явных внешнеполитических успехов Ярослава, германский король Генрих III высокомерно отверг предложение русского князя выдать за него свою дочь. Но как раз 1043 год — год столь очевидной неудачи Руси — открывает череду знаменитых брачных союзов Ярослава, которые буквально опутывают Европу и связывают киевский двор с правящими дворами многих европейских стран. Причем уже не Ярослав отправляет свои посольства в другие страны, но сами европейские монархи засылают сватов в Киев или даже лично являются в столицу Руси, как это было, например, с тем же Харальдом.

История сватовства Харальда к русской княжне Эллисив (Елизавете Ярославне) овеяна в сагах романтической дымкой, за которой явственно проступают вполне реальные события русской и скандинавской истории. Мы уже говорили о том, что Харальд еще до своей поездки в «Миклагард» просил у «конунга Ярицлейва» руки его дочери, но получил отказ. О том, что чувства Харальда отнюдь не выдумка позднейших скандинавских сказителей, свидетельствуют знаменитые «Висы радости» — посвященные Эллисив поэтические строфы, сочиненные норвежским конунгом на обрат-

ном пути из Византии на Русь и дошедшие до нас в составе Саги о Харальде Суровом Правителе. По словам авторов саги, всего насчитывалось шестнадцать таких строф, и все они имели одинаковую концовку, однако в сагах оказались записаны лишь немногие:

«Корабль проходил перед обширной Сицилией. Мы были горды собой. Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать. Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности...

Я владею восьмью искусствами: умею слагать стихи; умею быстро ездить верхом; иногда я плавал; умею скользить на лыжах; я опытен в метании копья и владении веслом. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.

Кроме того, ни женщина, ни девушка не смогут отрицать, что мы у южного города храбро сражались своими мечами: там есть доказательства наших подвигов. Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности...»*

«Этим намекал он на Элисабет, дочь конунга Ярицлейва, руки которой он просил», — поясняет автор саги[97].

Исследователи скальдической поэзии чрезвычайно высоко оценивают уровень поэтического мастерства Харальда. Полагают даже, что прием введения в каждую строфу двустрочного припева («Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности») был изобретен именно им и именно в Висах радости. Стихи Харальда вызвали живой интерес у многих замечательных русских поэтов, предложивших их перевод или поэтическое переложение на русский язык. Вот, например, отрывок из «Песни Гаральда Смелого» (вольное переложение с французского перевода) гениального Батюшкова, опубликованной впервые в журнале «Вестник Европы» в 1816 году:

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далёко!
На суше, на море мы бились жестоко;

---

* А вот поэтический перевод первой строфы Вис радости Харальда в соответствии с принципами скальдической поэзии, выполненный О. А. Смирницкой (по «Кругу земному» Снорри Стурлусона):

Взгляду люб, киль возле
Сикилей — *сколь весел*
Бег проворный вепря
Вёсел! — нес дружину.
Край пришелся б здешний
Не по вкусу трусу.
Но Герд монет в Гардах
Знать меня не хочет.

И море, и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает...[98]

Так, в буквальном смысле слова на крыльях любви, спешил в Киев знаменитый норвежский герой.

По словам авторов саги, князь Ярослав оказал ему превосходный прием и на этот раз благосклонно отнесся к его предложению взять в жены Елизавету. За прошедшие годы Харальд возмужал и изменился даже внешне: лицо его украшал шрам, которого раньше не было, — зримое свидетельство его мужества и отваги. Ярослав должен был по достоинству оценить и богатства, собранные Харальдом за время службы в Византии, тем более что все они прошли через его руки. (Кстати, как отмечают современные исследователи, приняв на сохранение богатства Харальда, Ярослав оказал ему неоценимую услугу: дело в том, что по норвежским законам в случае, если человек отправлялся в Византию — этот случай был оговорен специально, — наследники незамедлительно вступали в права на все принадлежавшее ему имущество, и получается, что сохранить за собой добытое Харальд мог только с помощью русского князя[99].) Но главное для Ярослава, несомненно, было в другом. После объединения в руках племянника Харальда Магнуса Олавссона власти над Норвегией и Данией Харальд получил законное право добиваться норвежского престола, и Ярослав, которого никак не могло устраивать чрезмерное усиление Магнуса, решил поддержать его. «Той зимой», то есть, очевидно, зимой 1043/44 года, «выдал конунг Ярицлейв свою дочь за Харальда», — сообщает сага, приводя далее слова исландского скальда Стува Слепого из его песни, сочиненной около 1067 года и посвященной Харальду: «Воинственный конунг Эгда взял себе ту жену, какую он хотел. Ему выпало много золота и дочь конунга»[100].

Брак между норвежским конунгом и русской княжной был заключен, вероятно, в Киеве, где пребывал тогда Ярослав*, но затем молодые отправились в Новгород, более

* В литературе распространено мнение, согласно которому сватовство Харальда Норвежского к русской княжне Елизавете Ярославне нашло отражение в известной русской былине о сватовстве заморского гостя Соловья Будимировича к племяннице «ласкового» князя Владимира Забаве Путятичне[101]. Трудно сказать, однако, насколько это предположение основательно.

привычный норвежскому гостю. «А весной собрался он в путь свой из Хольмгарда и отправился весной в Альдейгьюборг (Ладогу. — *А. К.*), взял себе там корабль и поплыл летом с востока», — рассказывает сага. Перед отъездом Харальд имел долгий и доверительный разговор с Ярославом и его супругой. Речь, разумеется, шла о претензиях конунга на норвежский престол. Харальд говорил о том, «что он, возможно, захочет встретиться с конунгом Магнусом, своим родичем, если бы тот захотел поделиться с ним некоторой частью своих владений, поскольку он правит двумя королевствами...» Ярослав был готов помогать зятю, но с одним непременным условием: «Конунг (Ярослав. — *А. К.*) попросил его, и также княгиня (Ирина-Ингигерд. — *А. К.*), чтобы он любой ценой удержался от схватки с конунгом Магнусом, и им казалось, что он ему будет более всего предан и верен своей мудростью и силой». Надо полагать, русский князь помнил о том, что Магнус приходился ему приемным сыном, и стремился миром решить спор двух враждующих конунгов. А кроме того, не в его интересах было чрезмерное усиление любого из них.

Сначала Харальд направился в Швецию, в Сигтуну, где встретился с могущественным ярлом Свейном Ульвссоном, претендовавшим на датский престол, но вынужденным бежать из Дании от Магнуса. И здесь сразу же выяснились те преимущества, которые приобрел Харальд благодаря своему русскому браку. Оказалось, что он находится в родстве (точнее, свойстве́) со Свейном, и это обстоятельство может существенно помочь ему в борьбе за Норвегию. «Свейн был в родстве с Эллисив, женой Харальда, дочерью конунга Ярицлейва и княгини Ингигерд, дочери Олава (сестрой Олава была Астрид, мать Свейна), потому что Сигрид Суровая была матерью их обоих, конунга Олава и Астрид», — сообщает сага. Современному читателю это родство может показаться очень отдаленным, но в раннесредневековом скандинавском обществе оно значило чрезвычайно много и вполне могло послужить основой для заключения прочного политического альянса. Харальд и Свейн решили действовать заодно; правда, памятуя о просьбе Ярослава, норвежский конунг все же заявил, что он «хотел бы раньше встретиться со своим родичем, конунгом Магнусом, чем проявить свою вражду по отношению к нему или выказать себя его противником». Но теперь Харальд мог опереться на реальную силу и заставить Магнуса считаться с собой: его союзник Свейн, племянник Олава Шётконунга, пользовался огромным влиянием в Швеции, и через свойство́ с ним, а также с русским

князем Ярославом, зятем Олава, Харальд получил немедленную поддержку со стороны шведов.

В конце концов Харальд и Магнус действительно предпочли договориться миром, поделив в 1046 году Норвегию между собой, причем не последнюю роль сыграло золото, которым Харальд, в свою очередь, щедро поделился с племянником. По сути дела, это означало осуществление того самого плана, который с самого начала предложил своему зятю Ярослав Мудрый. На следующий год Магнус умер, и Харальд стал единовластным правителем Норвегии. Дания же, в соответствии с последней волей Магнуса, досталась Свейну Ульвссону, с которым Харальд воевал в течение пятнадцати лет, но затем также примирился. В историю Норвегии Харальд вошел со зловещим прозвищем Хардрада — Суровый Правитель. Он много воевал, предпринял даже попытку захватить Англию и погиб 25 сентября 1066 года в битве при Стамфордбридже.

Впрочем, к этому времени его отношения с русской родней давно уже оставляли желать лучшего. Ярослав вряд ли одобрял его стремление захватить в придачу к Норвегии еще и Данию. Воспетая же в стихах и прежде столь горячо любимая Харальдом Эллисив вскоре по неизвестным нам причинам оказалась забытой своим супругом. Иногда полагают, будто она вообще не последовала за Харальдом в Норвегию, но осталась на Руси. Именно так изображает дело исландская «Прядь о Хеминге Аслакссоне», в которой история Харальда Сурового Правителя представлена иначе, чем в сагах, посвященных самому Харальду. Супруга норвежского конунга носит здесь имя Силькисив (Эллисив?) Хакадоттир (то есть дочь некоего Хака?), а рассказывается о ней следующее. Перед возвращением в Норвегию Харальд «оставил ее в Хольмгарде. Он сказал, что будет ее помнить, и оставил большое богатство в залог — это была козлиная шкура, содранная целиком, с рогами, и была она полна чистого серебра, — и сказал он, что, если он не напомнит ей об этом, она станет владеть богатством, когда пройдет пятнадцать лет, и поклялись каждый из них другому в своей верности». По прошествии же двадцати лет Харальд якобы затребовал свои деньги назад, и его супруга, несмотря на то что условия договора были явно нарушены, вернула ему шкуру со всем содержимым[102].

Современные исследователи, однако, с сомнением относятся к этому рассказу, отмечая, что условия, продиктованные норвежским конунгом, совершенно не соответствуют нормам тогдашнего норвежского права[103]. Известно, что Эл-

лисив родила Харальду двух дочерей — Марию и Ингигерд, и если они не были близняшками (а саги никоим образом не намекают на это), значит, Эллисив провела с мужем не одну зиму, как можно было бы понять из процитированной выше «Пряди». К тому же саги определенно знают о том, что Эллисив находилась в Норвегии, по крайней мере, в последние годы жизни Харальда. Но разрыв между супругами все же произошел. По сообщению саг, через год после смерти Магнуса Доброго, то есть в 1048 году, Харальд женился вторично — на некой Торе, дочери знатного норвежца Торберга Арнасона и племяннице знаменитого Кальва Арнасона. Этот брак был совершен при живой Эллисив, однако саги определенно называют Тору не наложницей, а именно женой норвежского конунга. Возможно, Харальд нуждался в поддержке норвежской знати и потому выбрал себе новую супругу; возможно, его решение объяснялось тем, что за неполные пять лет совместной жизни Эллисив не родила ему ни одного сына[104]. Тора же стала матерью двоих сыновей Харальда — будущих норвежских конунгов Магнуса и Олава Тихого.

Что же касается Елизаветы Ярославны, то ей, по-видимому, пришлось довольствоваться тем незавидным положением, в котором она очутилась. В 1066 году Харальд взял ее и обеих дочерей в свой последний поход в Англию и по пути оставил дожидаться своего возвращения на Оркнейских островах. (Тора же осталась в Норвегии.) Здесь Эллисив и ее дочери провели зиму, а весной они получили известие о гибели Харальда. Как рассказывают саги, Мария, дочь Харальда и Эллисив, умерла в тот же день и даже в тот же час, что и отец; Эллисив же и Ингигерд вместе с сыном Харальда Олавом летом следующего (1067-го) года приплыли в Норвегию, где Олав и Магнус были провозглашены конунгами. Более в источниках имя Елизаветы Ярославны не упоминается[105].

Вслед за женитьбой Харальда на Елизавете последовали и другие династические браки, свидетельствующие об активной европейской политике Ярослава Мудрого. Отчасти мы уже говорили о них.

Предположительно, в том же 1043 году восемнадцатилетний сын Ярослава Изяслав женился на Гертруде-Олисаве, сестре польского князя Казимира Восстановителя. Этот брак принес Изяславу трех сыновей, а Ярославу трех внуков: Ярополка, Мстислава и Святополка. Последний родился в 1050 году и был, кажется, вторым сыном Изяслава[106]; даты рождения двух других Изяславичей летописи не приводят. Княгиня оставила заметный след в русской истории. По-видимому, она активно вмешивалась в дела своего мужа даже

во время пребывания последнего на княжеском столе в Киеве: так, судя по рассказу Жития Феодосия, именно ей удалось отговорить Изяслава от намерения разогнать иноков Печерского монастыря после пострижения против воли князя княжеского «каженника» скопца Ефрема и сына боярина Иоанна Варлаама. Еще более активно действовала Гертруда во время западных вояжей своего супруга. Дважды ей пришлось сопровождать мужа в изгнании: в 1068—1069 и 1073—1077 годах; она побывала в Польше при дворе своего племянника Болеслава II, посетила Регенсбург и Майнц, вместе с сыном Ярополком и невесткой Ириной-Кунигундой ездила в Рим к папе Григорию VII, сумела настоять на временном переходе в католичество своего сына Ярополка-Петра — и все ради возвращения супругу киевского престола. Эта властная и энергичная женщина намного пережила Изяслава и двоих из своих сыновей (Мстислава и Ярополка) и скончалась в Киеве 4 января 1108 года, о чем киевским летописцем была сделана соответствующая запись[107].

Не позднее 1046 года был заключен брак еще одной дочери Ярослава, Анастасии, — с наследником венгерского престола и будущим королем Андреем, находившимся на Руси в изгнании[108]. Как мы уже знаем, вскоре зять Ярослава был увенчан королевской короной, то есть занял самое высокое положение в иерархии европейских монархов. Анастасия родила своему супругу двоих сыновей, получивших библейские имена Шаламон (Соломон) и Давыд; первый из них впоследствии — не без энергичных усилий со стороны матери — также станет королем Венгрии. Русская княгиня являлась не просто женой, но фактически соправительницей своего болезненного мужа (Андрей страдал параличом и с трудом мог передвигаться). Венгерские источники рассказывают о трогательных отношениях, которые установились между супругами: Андрей предпочитал проводить время в тех замках Венгрии, которые нравились его русской жене. С именем Анастасии Ярославны исследователи связывают основание двух православных обителей в Венгрии; в одной из них, в Тормове, впоследствии найдут убежище монахи знаменитого Сазавского монастыря, изгнанные из Чехии в 1055 году за принадлежность к православию[109]. (В Венгрии в течение долгого времени католичество мирно уживалось с православием, что представляло собой уникальную ситуацию для средневековой Европы.) Анастасии также суждено будет намного пережить своего супруга и дважды бежать из страны — но не на Русь, как можно было бы предположить, а в Германию: первый раз после гибели мужа (1060 год),

второй — после изгнания сына, свергнутого с престола (1074 год). По данным венгерских историков, после смерти Андрея она выйдет замуж во второй раз — за немецкого графа Пото. Свои последние годы Анастасия проведет в Штирии, в католическом монастыре Адмонд, недалеко от немецко-венгерской границы.

Вероятно, в середине 40-х годов женился и третий сын Ярослава Святослав. Однако относительно этого брака никакими сведениями источников мы не располагаем. Из так называемого Любечского синодика черниговских князей известно лишь имя первой супруги князя Святослава Ярославича — Килликия[110]. Но кем была эта женщина — русской или, может быть, иноземной принцессой — мы не знаем. Килликия родила князю четырех сыновей — Глеба, Романа, Давыда и Олега. Даты рождения первых двух источники не приводят; Давыд же (предположительно третий из Святославичей) появился на свет около 1050 года[111].

Возможно, еще при жизни Ярослава вступили в брак его младшие сыновья — Игорь и Вячеслав, но с кем именно, неизвестно. (Сын князя Вячеслава Борис первый раз упоминается в источниках под 1077 годом вполне взрослым человеком; на следующий год он погибнет в знаменитой битве на Нежатиной Ниве. Сын Игоря Давыд известен летописи с 1081 года.)

Наконец, в конце 40-х — начале 50-х годов XI века был заключен, пожалуй, самый известный династический брак в истории древней Руси — третья дочь Ярослава Мудрого, Анна, стала женой французского короля Генриха I (1031—1060). Причем инициатива заключения этого брачного союза целиком и полностью исходила от французской стороны.

Предположительно в 1048 году в Киев прибыло представительное посольство от французского короля Генриха, возглавляемое Готье, епископом Мо, и Госленом из Шони. Уникальный рассказ об этом посольстве, записанный со слов его участника, французского епископа Роже из города Шалон-на-Марне (в Шампани), сохранился в виде глоссы (примечания) XII века на полях так называемой «Псалтири Одальрика», латинской рукописи, принадлежавшей настоятелю Реймсской церкви святой Марии. В 1048 (?) году, сообщается в приписке, «когда Генрих, король французский, послал в Рабастию (на Русь? — *А. К.*) шалонского епископа Роже за дочерью короля той страны, по имени Анна, на которой он должен был жениться, настоятель Одальрик просил того епископа, не соизволит ли тот узнать, в тех ли краях находится Херсонес, в котором, как пишут, покоится святой

Климент... Епископ исполнил это...» А далее следует рассказ, посвященный всецело судьбе мощей святого Климента, папы Римского, которые епископ Роже, к своему удивлению, обнаружил в Киеве[112]. Мы еще коснемся рассказа Роже Шалонского, которому довелось беседовать с самим князем Ярославом Владимировичем. Пока же отметим, что французское посольство успешно выполнило свою задачу. «...Король Генрих послал Готье, епископа Мо, и Гослена из Шони с другими к некоему королю в греческих краях (?), чтобы тот дал ему в жены свою дочь. Назад во Францию тот отправил их с большими дарами и с дочерью», — свидетельствует французский хронист начала XII века Кларий [113]. Разумеется, Анна выехала из Киева не одна, но в сопровождении представительного русского посольства[114], а также тех киевлянок, которым предстояло прислуживать ей во Франции.

Союз с Генрихом не сулил князю Ярославу прямых политических выгод, поскольку Франция находилась слишком далеко от Руси, и интересы двух государств практически не пересекались[115]. И тем не менее киевский князь охотно откликнулся на предложение французского монарха, увидев в нем лишнее подтверждение того уважения, с которым относились к нему в Европе. Генриху было уже под пятьдесят, брак с Анной, которая годилась ему в дочери*, стал для него третьим. Трудно сказать, почему его взоры обратились именно к Киеву. Полагают, что он хотел исключить для себя возможность вступления в брак с хотя и отдаленной, но родственницей (известно, что отец Генриха, король Робер Капет, был отлучен от Церкви именно за то, что вынужден был взять себе в жены троюродную сестру), и потому не решился искать супругу среди европейских принцесс, с большинством из которых он находился в той или иной степени родства[117]. Однако не исключено и другое: слава о дочерях русского князя Ярослава, украсивших дворы уже нескольких европейских стран, дошла и до Франции — именно так изображают дело позднейшие французские историки. Генрих услыхал «о прелестях... Анны, дочери Георгия (Ярослава. — *А. К.*), короля России... и он был очарован рассказом о ее совершенстве», — писал, например, французский историк XVII века Ф. де Мезере[118]. Тем более что при дворе Генриха хоро-

---

* Точный возраст Анны мы не знаем. Французские историки полагают, что она родилась в 1025 году, но на каком основании, неизвестно. Не исключено, что именно о рождении Анны сообщается в «Истории Российской» В. Н. Татищева под 1032 годом[116]; в таком случае к 1048 году Анне должно было быть шестнадцать лет — вполне подходящий возраст для невесты.

шо знали о том, что русские князья находились в свойстве с византийскими императорами, наследниками римских цезарей: ведь еще отец Генриха Робер пытался свататься к одной из византийских принцесс (может быть, даже к Анне, будущей супруге князя Владимира Святого), но так и не решился на это — а между тем порфирородная Анна стала-таки женой правителя Киевского государства[119].

Когда же именно дочь Ярослава приехала во Францию и когда состоялось ее бракосочетание с Генрихом Французским? Русские летописи, как обычно, ничего не сообщают об этом и даже не называют имени Анны (впрочем, как и имен остальных княжон-Ярославен). Французские же источники содержат противоречивые сведения. Чаще всего историки датируют бракосочетание весной 1051 года, и для этого есть определенные основания. Согласно Житию святого Литберта, епископа Камбрэ (на севере Франции), бракосочетание Генриха I и Анны Русской произошло в Реймсе в тот самый день, когда там же был рукоположен в епископы Литберт — то есть в 1051 году, вероятно, на Пасху или на Троицу (соответственно 31 марта или 19 мая)[120]. Но встречаются в литературе и другие, более ранние даты, например, Троица (14 мая) 1049 года[121]. Между тем сохранилась грамота ланского епископа Элинана от 3 декабря 1059 года, подписанная самим королем Генрихом и датированная 29-м годом его правления и 10-м (!) годом жизни наследника престола Филиппа, сына Генриха и Анны. Но если Филипп, как следует из этой грамоты, появился на свет в 1050 году (не позднее 3 декабря), то, значит, его родители должны были вступить в брак не позднее февраля того же года, а скорее, в предыдущем 1049 году[122]. (Обычно рождение Филиппа датируют 1052 годом.) Помимо Филиппа, Анна родила еще двоих сыновей — Робера (умершего в младенчестве) и Гуго, ставшего родоначальником королевской ветви рода Вермандуа.

На своей новой родине русская княжна сумела снискать уважение подданных. В те времена византийская культура и византийская образованность ценились очень высоко; Анна же во многом принадлежала именно византийской культуре — не случайно французские хронисты называли Русь «греческим краем». В предыдущей главе мы уже говорили о том, что Анна превосходила образованностью не только своего супруга, но и многих лиц из его окружения; да и вообще Франция XI века — как это ни парадоксально — могла показаться ей неким захолустьем Европы по сравнению с Киевом. (В этой связи часто цитируют слова из письма, якобы отправленного Анной на родину, отцу: «В какую варвар-

скую страну ты меня послал, — сетовала дочь Ярослава, — здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны». Но слова эти едва ли извлечены из подлинного сочинения русской княжны; скорее, они принадлежат перу романиста или, может быть, автора какого-то политического памфлета, причем явно позднего происхождения[123].) Помимо знания грамоты, Анну отличали ревностное благочестие и набожность — качества, которые современные исследователи склонны считать результатом семейного воспитания, характерными для всех детей Ярослава Мудрого. Сохранилось послание папы Николая II, адресованное королеве Анне и датированное 1059 годом. «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, — писал понтифик, — дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом».

На свои личные средства королева основала монастырь святого Винцента в Санли близ Парижа, где и поселилась после смерти своего супруга. В этой обители, просуществовавшей до Великой Французской революции, на протяжении многих веков чтили память коронованной основательницы: в XVII веке на перестроенном портике монастырской церкви было поставлено скульптурное изображение русской княжны с моделью основанного ею храма в руках. Надпись на постаменте гласит: «Анна Русская, королева Франции, основала этот собор в 1060 году».

Судьба Анны известна читателям главным образом по многочисленным историческим романам, ей посвященным (самый знаменитый из них — «Анна Ярославна — королева Франции» Антонина Ладинского), хотя русская княжна вполне могла бы стать и героиней любовного романа, из числа тех, какими наводнен нынешний книжный рынок. После смерти в 1060 году короля Генриха корона Франции перешла к ее малолетнему сыну Филиппу, опекуном которого стал фландрский граф Бодуэн, женатый на сестре Генриха I. Анна удалилась в Санли, хотя продолжала участвовать в управлении делами страны: ее имя стоит на многих государственных документах рядом с именем ее сына. Однако спустя два года Анна вышла замуж во второй раз — за могущественного графа Рауля де Крепи де Валуа, который, по слухам, силой похитил вдовую королеву из Санлисского монастыря. Этот брак вызвал во Франции настоящую бурю негодования. Дело в том, что граф Рауль в то время был женат; его супруга Алиенора обратилась с жалобой к папе Александру II, и тот объявил брак недействительным, а затем и вовсе отлучил

графа от Церкви. Но Анна, кажется, не обратила на это ни малейшего внимания и продолжала наслаждаться жизнью со своим новым супругом. (Кстати говоря, как раз ко времени второго замужества Анны, а именно к 1063 году, относится знаменитая подпись кириллическими буквами, оставленная ею под одним из документов: «АНА РЪИНА» — единственная кириллическая подпись среди множества латинских.) И лишь после смерти в 1074 году графа Рауля Анна вновь появилась при дворе своего сына. Последняя грамота, подписанная ею, датируется 1075 годом[124].

Где окончила свой жизненный путь Анна Ярославна, также в точности неизвестно. Согласно «Хронике» монастыря Флери (XII век), после смерти Рауля королева Анна вернулась на родину[125]. По-другому полагают, что она была похоронена во Франции[126].

Однако мы вновь забежали в своем повествовании далеко вперед. А потому вернемся к событиям собственно русской истории, так или иначе связанным с последствиями русско-византийской войны. Нам осталось поговорить о судьбе новгородского князя Владимира Ярославича, главного действующего лица византийского похода.

Этот поход, кажется, стал последним для него. Во всяком случае, летописи более не упоминают о его участии в каких-либо военных предприятиях. После 1043 года мы застаем Владимира исключительно в Новгороде. И именно в этом городе новгородский князь совершил, несомненно, главное деяние в своей жизни, которое оставило в русской истории след неизмеримо более значимый, нежели неудавшаяся война с греками. Речь идет о создании Новгородского Софийского собора — древнейшего из сохранившихся памятников Православия на территории нынешней России.

Но прежде, в 1044 году, князь Владимир вместе с отцом участвовал в другом новгородском строительстве — возведении городских укреплений. «В лето 6552 (1044) ходил Ярослав на литву, а на весну же Володимир заложил Новгород и сделал его», — читаем в Новгородской Первой летописи младшего извода[127]. В новгородско-софийских сводах текст читается несколько иначе: «Ходил Ярослав на литву, а на весну заложил Новгород»[128], то есть инициатива строительства всецело приписана Ярославу, а имя Владимира даже не упомянуто. Судя по тексту летописи, Ярослав специально приезжал из Киева в Новгород ради участия в торжественном обряде закладки новых городских стен. Возможно, его

сопровождали Харальд и Елизавета, как раз в это время направлявшиеся через Новгород и Ладогу в Сигтуну. Но в любом случае не вызывает сомнений, что отец и сын действовали заодно: Ярослав отнюдь не удалил от себя Владимира после византийской неудачи, но, напротив, благословил и одобрил начатое им дело, а может быть, даже сам выступил его инициатором.

Новгородские укрепления, как и киевские, представляли собой мощные земляные валы, состоявшие из дубовых городен, плотно засыпанных грунтом[129]. (Позднейшие новгородские книжники, а вслед за ними и некоторые историки, полагали, что детинец 1044 года был каменным: великий князь Ярослав Владимирович «здела на Софийской стороне каменной город», — писал, например, автор Новгородской Третьей летописи[130]. Но это, по-видимому, неверно: первые каменные укрепления в Новгороде появились лишь в начале XIV века.) Согласно летописи, все работы по сооружению валов были выполнены в течение одного строительного сезона, то есть всего за пять-шесть месяцев весны, лета и начала осени 1044 года.

Едва ли это строительство было вызвано какой-то сиюминутной военной необходимостью. В последние годы княжения Ярослава Новгороду никто не смел угрожать открыто. И все же отметим одно знаменательное совпадение. В том же 1044 году в Полоцке скончался князь Брячислав Изяславич, давний недруг, а затем союзник Ярослава, тот самый князь, который разорил Новгород в далеком уже 1021 году. На престол вступил его сын Всеслав, также заслуживший славу одного из самых воинственных князей XI столетия, «немилостивый на кровопролитие», как писал о нем летописец. При жизни Ярослава он, по-видимому, вел себя тихо, но вот с его сыновьями — Изяславом, Святославом и Всеволодом — воевал нещадно, причем главным объектом его нападений как раз и стал отстроенный в год его вокняжения Новгород. Впоследствии Всеславу дважды удастся захватить и разграбить город, и новгородские укрепления отнюдь не окажутся для него непреодолимой преградой.

Впрочем, стены Новгорода, как и стены любого другого средневекового русского города, выполняли не одну только военную функцию, но имели еще символическое, сакральное значение, зримо отгораживая территорию города от чужого и не осененного божественной защитой пространства. В этом смысле правильно устроенный и отгороженный стенами город представлялся человеку Средневековья неким подобием храма; в свою очередь, храм служил символом, центром и

средоточием самого города. Таким храмом и стал для Новгорода каменный собор во имя Святой Софии, Премудрости Божией. И не случайно строительство его — как и строительство Киевского Софийского собора — началось сразу же вслед за возведением новой линии городских укреплений.

История Новгородской Софии — впрочем, как и Софии Киевской — остается не до конца выясненной. Начали строить храм в 1045 году — эту дату согласно называют все летописи. Но что предшествовало строительству? Согласно позднейшей новгородской традиции, храм был возведен в честь «победы» князя Владимира над греками в 1043 году[131]. Однако если судить по тексту древнейшей Новгородской Первой летописи старшего извода, дело обстояло иначе — под тем же 1045 годом здесь сообщается о пожаре, уничтожившем старый деревянный Софийский собор, построенный в Новгороде еще в конце X века: «Сгорела Святая София в субботу, по заутрене, в час 3[-й], месяца марта в 15 [день]. В то же лето заложена бысть Святая София [в] Новегороде Володимиром князем»[132]. Надо думать, что гибель в огне старого кафедрального храма Новгорода и стала причиной строительства нового собора. Не в пример прежней деревянной церкви князь Владимир задумал возвести в Новгороде собор из камня, самим своим посвящением и своими величественными формами подобный Константинопольскому и Киевскому — и Ярослав вновь поддержал сына в этом начинании. Новый храм должен был стать главным украшением и главной святыней северной столицы Руси*.

---

* Правда, здесь надо сделать одну существенную оговорку. В младшем изводе Новгородской Первой летописи, а также в новгородско-софийских и следующих за ними летописных сводах события изложены иначе — о пожаре, уничтожившем старый Софийский собор сообщается под 1049 годом, то есть спустя четыре года после начала строительства нового каменного храма; к тому же оказывается, что новый собор строили совсем на другом месте — не на том, где стоял прежний: «Месяца марта в 4, в день суботный, сгоре Святая Софея; беаше же честно устроена и украшена, 13 верхы имущи, а ту стояла Святая Софея конець Пискупле улице, идеже ныне поставил Сотъке церковь камену святого Бориса и Глеба над Волховом»[133]. Однако, как показали исследования В. Л. Янина, указание на то, что прежняя деревянная церковь Святой Софии находилась на месте известной позднейшей церкви святых Бориса и Глеба, поставленной новгородцем Сотко (Садко) Сытиничем в 1167—1173 годах, то есть на весьма значительном удалении от каменного храма и, более того, в той части новгородского детинца, которая была включена в систему укреплений древнего Новгорода лишь в 1116 году, при князе Мстиславе Владимировиче, кажется совершенно невероятным: данное уточнение летописца XV века представляется поэтому заведомо тенденциозным, имеющем целью подчеркнуть особое значение Борисоглебской церкви в то время, когда составлялась летопись[134].

В лестничной башне Софийского собора исследователями была обнаружена древняя запись, прочерченная по цемяночной штукатурке: «Почали делати на святааго Костантина и Елены». Как полагают, запись эта имеет прямое отношение к началу строительства новгородского храма, который, возможно, был заложен 21 мая 1045 года, в день памяти святых и равноапостольных Константина и Елены[135]. Этот день часто выбирали для начала строительных работ — в том числе и в память о построении храма во имя Воскресения Господня, возведенного императором Константином Великим и его матерью над Гробом Господним в Иерусалиме.

Храм строили несколько лет. Как свидетельствуют позднейшие новгородские источники, все это время служба совершалась в церкви Иоакима и Анны, которая считается древнейшей церковью Новгорода[136]. Впоследствии алтарь этой церкви был перенесен в Софийский собор, и так в ней устроился придел во имя святых и праведных Иоакима и Анны. К числу же первоначальных приделов Софии относят приделы во имя Рождества Богородицы, Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова.

Среди надписей-граффити на стенах Софийского собора обнаружены и такие, которые, по мнению исследователей, могли быть оставлены строителями, возводившими новгородский храм. В отличие от Киевской Софии, здесь нет греческих имен, только русские — Крол, Нежко, Аким, Петр (последний оставил не только свой автограф, но и рисунок-чертеж, изображающий в разрезе трехглавый храм с крестами на каждой главе; как полагают, на рисунке изображена Новгородская София с западного фасада, со стороны которого пятиглавый храм вместе с шестой главой, венчающей лестничную башню, в проекции кажется трехглавым)[137].

О завершении строительства Софийского собора летописи сообщают под 1050 годом. «Свершена бысть Святая София в Новегороде, повелением князя Ярослава и сына его Владимира и архиепископа Луки», — читаем в Новгородской Первой летописи младшего извода. Новгородско-софийские своды называют и точную дату освящения храма (или, может быть, завершения работ): «Священа бысть Святая София в Новегороде на Воздвижение честного креста», то есть 14 сентября[138]. В этот день Церковь вспоминает Обретение Креста Господня святой и равноапостольной царицей Еленой, матерью великого Константина, которая воздвигла Честный Крест для всеобщего поклонения, а накануне, 13 сентября, празднуется Обновление храма Воскресе-

ния в Иерусалиме теми же Константином и Еленой. И так же, как эти великие события в истории Православия символизировали утверждение христианской веры во всем прежде языческом мире, завершение строительства новгородского храма «на Воздвижение честного креста» должно было восприниматься как зримое свидетельство торжества христианства в еще недавно языческой Руси[139].

Образ святых и равноапостольных Константина и Елены должен был казаться особенно близким новгородскому князю Владимиру Ярославичу. В древней Руси с Константином Великим неизменно сравнивали его деда и тезку Владимира Святого, а со святой Еленой — княгиню Ольгу, первую русскую правительницу-христианку. Фреска с изображением святых Константина и Елены украшала в древности Мартириевскую паперть Софийского собора; она сохранилась и до сего дня как уникальный образец древнейшей новгородской живописи[140].

В рассказе об освящении новгородского собора летопись вновь называет имя Ярослава Мудрого: «Свершена бысть Святая София в Новегороде повелением князя Ярослава...» Но приехал ли на этот раз в Новгород сам Ярослав, сказать затруднительно: все же к 1050 году он был слишком стар. И если Ярослав все же покинул Киев для участия в новгородских торжествах, то это, наверное, была его последняя поездка в Новгород, а может быть, даже и вообще последняя поездка за пределы ближней Киевской округи.

Монументальный Софийский собор, сложенный из огромных валунов (первоначально храм не был оштукатурен), величественный и суровый, возносящий свои пять куполов на высоту почти сорока метров*, производил сильное впечатление на современников. «И устроили» церковь сию «вельми прекрасну и превелику», — писал новгородский книжник XVII века[141]. Этому храму предстояло стать сердцем средневекового Новгорода, его наиболее точным и наиболее зримым олицетворением. «Где Святая София, тут и Новгород» — так будут говорить новгородцы на протяжении столетий, не разделяя эти два понятия. «Умереть за Святую Софию» значило умереть за Новгород.

Здесь же, в тайниках Софийского собора, будет отныне храниться новгородская казна — основа экономического могущества города. София станет и местом хранения рукописных книг и святых икон, а также новгородских грамот, в

* Нынешняя высота Софийского собора — 38 метров. Но за годы своего существования храм почти на два метра ушел в землю.

том числе знаменитых «Ярославлих грамот», на которых здесь же, под сводами собора, будут приносить клятву новгородские князья вплоть до XV века. Звонницу Софийского собора уже в XI веке украшали колокола (кстати говоря, незнакомые Византийской церкви). Софийский собор станет и усыпальницей новгородских князей и епископов. Здесь же, на площади перед Софией, будет собираться и новгородское вече, которому в XII веке предстоит стать высшим органом власти Новгородского государства.

Летописи упоминают еще об одной святыне древнего Новгорода, хранившейся в Святой Софии, — «кресте честном Володимерове»; вероятно, он считался утраченным после разгрома Новгорода князем Всеславом Полоцким в 1064 году, а затем был чудесным образом обретен «у Святей Софии» после победы над Всеславом в октябре 1069 года[142].

Если верить древнейшим новгородским летописям, в течение полувека Новгородская София простояла не украшенной росписями, и только весной 1109 года «почаша писати» Святую Софию «стяжанием святого владыки», то есть на средства умершего зимой того же года новгородского епископа Никиты[143]. Но так ли это на самом деле, сказать трудно. Согласно позднему новгородскому «Сказанию о Святой Софии», сохранившемуся более чем в двухстах списках XVI—XVIII веков, работы по созданию софийских фресок, напротив, начались сразу же после завершения строительства, еще при новгородском епископе Луке Жидяте (то есть, во всяком случае, до 1055 года). «И, устроив церковь, — рассказывается в «Сказании», — приведоша иконных писцов из Царяграда, и начаша подписывати (расписывать. — *А. К.*) во главе (в куполе. — *А. К.*), и написаша образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со благословящею рукою...» А далее приводится знаменитая легенда о новгородском Спасе, изображенном древним художником совсем не так, как это было принято в древней Руси. «Во утрий день, — продолжает рассказ автор «Сказания», — виде епископ Лука образ Господень, написан не благословящею рукою, иконописцы же писаша по три утра (то есть в течение трех дней пытались переписать образ Спаса заново. — *А. К.*), и на четвертое утро глас бысть от образа Господня, иконным писцом, глаголюще: "Писари, писари, о писари! не пишите Мя [с] благословящею рукою, напишите Мя [с] сжатою рукою, Аз бо в сей руце Моей сей Великий Новград держу; а когда сия рука Моя распространится (разожмется. — *А. К.*), тогда будет граду сему скончание"... А писали Спасова образа годишное время и боле»[144]. Конечно, эта легенда появилась

спустя многие десятилетия или даже столетия после того, как образ Спаса был написан — ведь необходимость как-то объяснить необычное для древней Руси изображение в куполе главного новгородского храма возникла далеко не сразу. Однако исследователи отмечают, что приводимые в «Сказании о Святой Софии» промеры «Спасова образа» («Мера тому Спасову образу: от венца до пояса пол-4 сажени, а около венца 43 пяди... рука зжатая длань 6 пядей, а простертая длань 8 пядей, подпись "Иисус Христос" по 14 пядей...» и т. д.) соответствуют действительности; следовательно, они могли быть сделаны либо в ходе самих работ, либо во время поновления росписи Софии, то есть еще в глубокой древности[145].

Увы, фрески купола Святой Софии не сохранились до наших дней: они были уничтожены вражеским снарядом в годы Великой Отечественной войны. И в полном соответствии с древней легендой, вместе с гибелью образа Спаса, разжавшего-таки свою десницу, оказался разрушен до основания и весь Новгород. Ныне исследователи могут судить о древнейшей росписи Софийского собора лишь по чудом уцелевшим фрагментам — изображениям архангелов и пророков, остаткам фона и нимба утраченной фрески Вседержителя в главном куполе храма и фреске Константина и Елены в Мартириевской паперти.

Согласно «Сказанию о Святой Софии», церковь расписывали мастера-греки, приехавшие из Константинополя. Исследователи, однако, обнаруживают на стенах Софийского собора надписи-граффити, которые предположительно могут считаться автографами художников, принимавших участие в росписи храма. Среди них одни только русские имена: Георгий (Гага?), Сежир, Олисей, а также Стефан, Микула (Явдята?), Радко[146]; впрочем, установить точно, действительно ли эти люди были иконописцами и кто из них мог работать в середине XI века (если тогда вообще производились работы по росписи Софийского собора), едва ли представляется возможным.

Но даже если работы по украшению храма, в соответствии со «Сказанием о Святой Софии», действительно начались еще при епископе Луке в 50-е годы XI века, вскоре они были прерваны и возобновлены лишь в начале XII столетия, о чем определенно сообщают летописи. Полагают, что это объяснялось непростой ситуацией, сложившейся в Новгороде в середине XI века: вскоре после завершения строительства Новгородской Софии умер князь Владимир Ярославич, а несколькими годами позже попал в опалу и был заточен в

Киеве новгородский епископ Лука. Все это, наверное, не могло не отразиться на судьбе храма[147].

Князь Владимир Ярославич скончался 4 октября 1052 года, в воскресенье, в Новгороде, в возрасте всего тридцати двух лет. «...И положен был в Святой Софии, которую сам создал», — сообщают летописи: Гробница князя Владимира стала первой, но далеко не последней в усыпальнице Новгородской Софии; вскоре здесь же, в Рождественском приделе собора, может быть, даже в том же деревянном саркофаге, что и Владимир, нашла упокоение его супруга[148].

Местное празднование князю Владимиру Ярославичу как чтимому новгородскому святому было установлено в 1439 году. «Того же лета, — читаем в Новгородской Первой летописи, — архиепископ Еуфимии (Евфимий II Вяжищский. — *А. К.*) позлати гроб князя Володимера, внука великаго Володимера, и подписа; такоже и матери его гроб подписа, и покров положи, и память им устави творити на всякое лето месяца октября в 4 [день]»[149]. При этом мощи князя Владимира были переложены в новую гробницу, установленную в Корсунской паперти Софийского собора; в старую же поместили останки новгородского князя Мстислава Ростиславича Безокого, умершего еще в 1178 году[150]. В первой трети XVII века мощи князя Владимира переложили в каменную гробницу, а в 1654 году, при новгородском митрополите Макарии, перенесли на новое место, где они покоятся и ныне, — в восточной арке Мартириевской паперти: «и над ними устроиша комары каменные, сии речь своды»[151].

После князя Владимира остался сын Ростислав, впоследствии прославившийся как один из самых бесстрашных, деятельных и в то же время совестливых русских князей XI века*. Однако ему не повезло. Смерть отца при том, что в живых оставались его многочисленные дядья-Ярославичи, исключила четырнадцатилетнего Ростислава из числа тех князей, которым должны были достаться уделы в Русской земле после смерти Ярослава Мудрого. Таков был обычай, и в соответствии с этим обычаем Ярослав Владимирович не стал сажать своего внука на освободившийся новгородский престол, но перевел туда своего следующего по старшинству сына Изяслава.

---

* Согласно родословию князей, включенному в Воскресенскую летопись (XVI век), Владимир имел еще одного сына — Ярополка, однако его имя в других источниках не упоминается[152].

Глава одиннадцатая

МЕЖДУ ЗАКОНОМ И БЛАГОДАТЬЮ

Среди многих событий 1044 года, отмеченных летописями, одно, наверное, более других должно было запомниться киевлянам — хотя бы в силу своей необычности. «В лето 6552 (1044/45), — рассказывается в «Повести временных лет», — выгребоша (то есть извлекли из земли. — *А. К.*) двух князей, Ярополка и Олега, сынов Святославлих, и крестили кости их, и положили их в церкви Святой Богородицы»[1].

Ярополк и Олег были родными братьями отца Ярослава, князя Владимира Святославича. Они приняли смерть еще в 70-е годы X века, став жертвами развязанной ими же междоусобной брани: Олег погиб в битве с Ярополком близ древлянского города Вручего, когда при отступлении войска в результате давки под тяжестью бегущих людей и мечущихся лошадей проломился мост через окружавший город ров; Ярополк принял смерть спустя несколько лет, в ходе войны с Владимиром, — обманом завлеченный во дворец своего брата, он был поднят на мечи наемниками-варягами, находившимися на службе у Владимира*. Где был погребен Ярополк, летописец не сообщает; скорее всего, в самом Киеве или, может быть, в окрестностях города, близ одного из загородных дворцов Владимира. Олега же похоронили с честью в Древлянской земле; «и есть могила его и до сего дня

На рис. — медный змеевик-оберег. XI—XII века. Лицевая сторона.

* По летописи, князь Олег Древлянский погиб в 977 году. Смерть Ярополка летописи датируют 980 годом, однако судя по дате, приведенной в «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова мниха, Ярополк погиб двумя годами раньше, летом 978 года.

у Вручего», — писал киевский летописец в XI веке[2]. И вот теперь кости обоих князей-язычников были извлечены из земли и после посмертного крещения — исключительный случай в истории древней Руси! — положены в Киевской Десятинной церкви, где к тому времени уже покоились останки их бабки, первой русской правительницы-христианки княгини Ольги, а также их брата (и убийцы Ярополка!) Владимира.

Так спустя более полувека после кончины князья Ярополк и Олег Святославичи были формально причтены к христианству — именно в этом заключался смысл действа, совершенного Ярославом. Вероятно, он исходил из того всем известного факта, что оба князя воспитывались своей бабкой Ольгой, то есть, несомненно, в христианском духе, а значит, лишь трагическая гибель не дала им возможности еще при жизни приобщиться к христианской вере, как приобщился к христианской вере их единокровный брат Владимир, Креститель Руси. Перенося их тела в основанную Владимиром Десятинную церковь, ставшую усыпальницей княжеского рода, Ярослав как бы достраивал ряд христианских правителей Киевского государства, начатый Ольгой, удревняя тем самым христианскую историю Руси на несколько десятилетий, и устранял ту незримую пропасть, которая отделяла Русь языческую от Руси христианской. Несомненно, он думал при этом и о самих князьях, погибших в язычестве и обреченных потому на вечную муку «в геенне огненной», — по его убеждению, посмертное крещение даровало спасение и вечную жизнь точно так же, как настоящее, прижизненное, совершенное в купели «пакыбытия». В эпоху ожиданий близящегося конца света, когда Господь «будет судить живых и мертвых» (*2 Тим. 4: 1*), это было еще и проявлением трогательной заботы князя об умерших не своей смертью родичах.

Историки полагают, что этот странный, а с канонической точки зрения полностью недопустимый акт* мог быть совершен только в отсутствие в Киеве митрополита-грека[3]. Надо полагать, Феопемпт покинул Русь в связи с начавшейся годом раньше русско-византийской войной, и Ярослав действовал с согласия и по благословению русских иерархов или, может быть, каких-то пришлых наставников в христианской вере, чьи взгляды явно не укладывались в рамки ви-

---

* Ибо «кто будет верить и креститься, спасен будет» (*Мк. 16: 16*); следовательно, крещение без веры, а тем более крещение покойного, лишено смысла и кощунственно по своей сути.

зантийского православия[4]. Обычай крестить мертвецов (или, точнее, креститься за мертвецов) существовал в древней христианской Церкви, о чем свидетельствуют слова апостола Павла из Второго послания к Коринфянам («Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» — *2 Кор. 15: 29*). Неверно истолкованные, эти слова впоследствии давали повод некоторым приверженцам христианского учения принимать крещение за усопших, что неоднократно находило осуждение в сочинениях святых Климента Александрийского, Иоанна Златоуста, Епифания Кипрского и других Отцов Церкви и было официально запрещено особым правилом местного Карфагенского собора 397 года[5]. Возможно, отголоски этой древней еретической традиции и дали знать о себе в Киеве в 1044 году.

Позднейшие книжники московской поры попытались оправдать необычайный поступок Ярослава. «Сие же необычное действо, — писал в XVI веке автор Степенной книги царского родословия, — некие, удивляясь, зазорным полагали, иные же, рассуждая, так говорили, что не без Божия Промысла сице содеялось, и не без воли новопросвещенного самодержца Ярослава, и не без совета и благословения и действа святительского...» А в подтверждение своих слов автор Степенной книги приводил различные примеры из библейской и византийской истории, ссылаясь при этом на авторитет таких великих столпов Православия, как святые цари Константин и Елена: оказывается, еще в их времена были крещены кости «Платона еллина», то есть знаменитого древнегреческого философа Платона, якобы пророчествовавшего в своих философских сочинениях о Христе; а еще прежде, при Воскресении Спасителя, в водах Иордана приняли крещение давно усопшие ветхозаветные праведники, и в их числе три отрока — Азария, Анания и Мисаил, некогда вошедшие по повелению вавилонского царя Навуходоносора в огненную пещь и чудесным образом вышедшие оттуда невредимыми (об этом рассказывается в библейской Книге пророка Даниила). Ссылается автор Степенной книги и на Григория Богослова и Иоанна Златоуста, якобы писавших об этом, а также на Патерик (по-видимому, Скитский), в котором рассказывалось о некоем муже, постригшемся в монахи и оставившем свою дочь оглашенной, но не крещеной; в скором времени дочь умерла, так и не успев принять крещения, но, по молитвам своего отца, уже после смерти была чудесным образом крещена[6].

Наверное, какие-то из примеров, приведенных книжником XVI века, были известны уже во времена Ярослава, и ученые советчики киевского князя могли ссылаться на них в обоснование правомочности его действий. Но главным для Ярослава, несомненно, был не религиозный, а политический смысл содеянного. Обоснование единства правящего княжеского рода должно было способствовать укреплению его собственной власти, ибо именно в его лице и в лице его подросших сыновей княжеский род продолжал свое существование в качестве правящего в Русской земле. Акт 1044 года «был проведен фактически на государственном уровне, — отмечает Аполлон Григорьевич Кузьмин, один из наиболее глубоких и проницательных исследователей древней Руси. — Русь христианская соединялась с языческой, как бы продолжая ее»[7]. Примерно в те же годы или несколько позже эта идея найдет обоснование в знаменитом «Слове о законе и благодати» Илариона Киевского: обращаясь к памяти «великого кагана земли нашей», отца Ярослава князя Владимира Святого, будущий киевский митрополит особо подчеркнет преемственность его власти от власти его славных предков — «старого Игоря» и «славного Святослава», которые «не в худой... и неведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и слышима есть во всех четырех концах земли»[8].

Ту же идею «собирания» и почитания единого княжеского рода, не разобщенного религиозными или политическими противоречиями, можно увидеть и в прославлении братьев князя Ярослава Владимировича, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, которые в годы княжения Ярослава начинают почитаться как первые русские святые. Согласно показаниям некоторых русских источников, именно с середины 40-х годов XI века у гробниц святых стали совершаться первые чудеса, рассказы о которых бережно записывались клириками вышгородского храма[9].

Надо сказать, что церковь святого Василия, возле которой были погребены тела святых братьев, сгорела в неизвестном году по нерадению местного пономаря. «Пономарь той церкви, — рассказывает в «Чтении о святых» преподобный Нестор, — после заутрени омрачен был сном от вселукавого сатаны и, не посмотрев хорошенько в церкви, ушел к себе домой, забыв свечу горящую на высоком месте. И так понемногу загорелась от того церковь... И так думаю я, — продолжает Нестор, — что было то Божиим попущением — ибо та церковь худа была и обветшала древом, — чтобы иная

церковь возведена была на том месте во имя святых и блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». По совету митрополита Иоанна (имя которого в связи с княжением Ярослава упоминается только в памятниках «борисоглебского цикла») князь Ярослав поставил на месте сгоревшей церкви «клетку малу», или «храмину», то есть часовенку, куда и были на время перенесены гробницы обоих братьев.

Вскоре около их гробниц стали происходить различные чудеса, первое из которых отдельные списки анонимного «Сказания о чудесах» (служащего продолжением «Сказания о страсти святых мучеников Бориса и Глеба») датируют 1045 годом[10]: тогда исцелился «отрок», то есть слуга вышгородского «градника» Миронега, имевший сухую и скорченную ногу. Вслед за тем прозрел некий слепец. Миронег поведал о совершенных чудесах князю. «Князь же Ярослав, услышав о том, прославил Бога и святых мучеников и, призвав митрополита, рассказал ему с радостью о случившемся». Митрополит Иоанн (в тексте обоих памятников он именуется также «архиепископом») дал князю новый совет: построить церковь «прелепу и пречестну». Совет был принят, и вскоре князь соорудил «церковь великую, имеющую 5 верхов (глав. — *А. К.*), и расписал ее всю, и украсил всею красотою». Преподобный Нестор сообщает ряд дополнительных подробностей: Ярослав «повелел древоделателям готовить дерево для возведения церкви, ибо время уже было зимнее... И когда настало лето, возвели церковь во имя святых блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба вокруг клетки (часовни. — *А. К.*), в которой стояли раки святых». Впрочем, едва ли эта новая церковь уже тогда могла быть посвящена Борису и Глебу, еще не причтенным к лику святых; скорее, ее могли посвятить небесным покровителям святых братьев — святым Роману и Давиду[11].

Митрополит, в присутствии князя Ярослава и в сопровождении всего священнического чина и народа (надо полагать, киевлян и вышгородцев), внес тела святых в новую церковь, которую и освятил; так было установлено празднование 24 июля: «в этот день убиен преблаженный Борис, в этот же день и церковь освящена, и перенесены были святые». Тогда же, во время святой литургии, произошло новое чудо: некий хромец получил исцеление по молитвам святым — «и то чудо видели и сам благоверный князь Ярослав, и митрополит, и все люди».

По завершении литургии князь устроил обед, на который пригласил митрополита и пресвитеров — «и праздновали празднество, как подобает; и многое от имения раздал [Ярослав] нищим, и сирым, и вдовицам». По свидетельству

Нестора, «пир велик» продолжался до «осьмого дня»; перед возвращением в стольный град Ярослав повелел «властелину града» (то есть Миронегу) давать «от даней» на содержание церкви «десятую часть» — иными словами, возложил на государство заботы по обеспечению церкви всем необходимым[12].

Святость братьев отраженным светом падала и на самого Ярослава, свидетельствуя о божественном источнике его власти. «Род правых благословится, — переиначивал древнерусский книжник, автор «Сказания о Борисе и Глебе», слова Псалмопевца Давида, — и семя их в благословении будет» (ср.: *Пс. 111: 2*). «Род правых» (праведных) — это весь русский народ, сыны русские, но более всех, пожалуй, русские князья — родичи святых по крови и наследники их власти.

По свидетельству «Сказания о чудесах», описанные события происходили незадолго до смерти князя: «по сих же днях Ярослав преставился, пожив добро по смерти отца своего лет 38». Построенная же им пятиглавая деревянная церковь простояла всего двадцать лет, после чего была заменена новой, одноглавой церковью, возведенной князем Изяславом Ярославичем и торжественно освященной 20 мая 1072 года: «...и по прошествии 20 лет церковь уже обветшала, и умыслил Изяслав возградить церковь новую... в верх в один». Получается, что Ярославов храм был построен приблизительно в 1052 году[13].

«Первая» канонизация святых, о которой сообщают памятники «борисоглебского цикла», но умалчивают летописи, носила, очевидно, местный характер: святые братья были прославлены лишь в пределах Киевской епархии, но не всей Руси (показательно, что источники не упоминают об участии в торжествах ни епископов, ни сыновей князя Ярослава Владимировича). И только в 1072 году, в присутствии митрополита Георгия, многих названных по имени русских епископов и игуменов, а также князей Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, княживших соответственно в Киеве, Чернигове и Переяславле, произошло торжественное освидетельствование святых мощей и их перенесение в новую церковь — иными словами, официальная канонизация первых русских святых, почитание которых уже в скором времени вышло далеко за пределы Руси и охватило соседние с Русью христианские страны*.

---

* В 1095 году частицы мощей святых братьев были перенесены в чешский Сазавский монастырь. В 1125 году в их честь был освящен храм в Константинополе, а в начале XIII века в Константинопольской Софии стоял их образ. Память святых в XII—XIII веках отмечалась также в болгарской, сербской и армянской церквях.

В течение долгого времени святых братьев почитали на Руси прежде всего как целителей, способных избавить страждущего от недуга. (Причем во времена Ярослава и даже позднее, до конца XI века, главным образом почитали, кажется, младшего из братьев-страстотерпцев, святого Глеба, святость которого проявилась еще на Смядыни[14].) Надо думать, что князь Ярослав с особым вниманием отнесся к этому их чудесному дару. Из первых четырех человек, исцелившихся у гробниц святых, трое были хромцами: один имел ногу «сухую и скорченную и не можаше на ней ходити»; второй едва ползал «с многим трудом»; у третьего вообще нога была отнята по колено — и все они по молитвам святых Бориса и Глеба сделались совершенно здоровыми. Но ведь и сам Ярослав был хром и с трудом передвигался, особенно в последние годы жизни, а потому молва о чудесных исцелениях (одно из которых происходило у него на глазах) не могла оставить его равнодушным. И даже перед самой своей смертью, будучи тяжело больным, князь Ярослав отправится в Вышгород — вполне вероятно, именно для того, чтобы помолиться о собственном здравии у гробниц своих святых братьев.

Мы не будем сейчас задаваться ненужным вопросом, в самом ли деле происходили в Вышгороде те удивительные и не поддающиеся объяснению с рациональной точки зрения вещи, о которых рассказывается в анонимном «Сказании» и «Чтении» Нестора, или же — как это, вероятно, также случалось — исцеления были мнимыми и представляли собой не более чем ловкую инсценировку, мистификацию, долженствующую придать бóльшую значимость происходящему. И дело даже не в кощунственности любых сомнений на этот счет; просто нам, по возможности, следует стремиться к тому, чтобы воспринимать события такими, какими выглядели они в глазах современников, в том числе и самого Ярослава. А для людей той эпохи подобных вопросов не существовало вовсе: недавние язычники, они ждали чуда, искренне верили в него — и, может быть, именно поэтому на их глазах происходили самые невероятные чудеса.

Но мог ли Ярослав искренне поверить в святость людей, которые приходились ему родными братьями, которых он близко знал при жизни и одного из которых (а именно Бориса) на протяжении нескольких лет рассматривал не иначе как своего политического противника и недоброжелателя? И на этот вопрос, вне всяких сомнений, мы должны дать утвердительный ответ. Уместно, пожалуй, вспомнить о том, что еще один близкий Ярославу человек (правда, не родич,

а всего лишь свояк) — норвежский конунг Олав Харальдссон — был признан святым всего через год после смерти. Можно думать, что его канонизация в 1031 году в Тронхейме, о которой Ярослав был прекрасно осведомлен, повлияла на отношение князя к событиям, происходившим в Вышгороде. Лишь недавно ставшее христианским Русское государство жизненно нуждалось в собственных святых, собственных предстателях пред Богом — и Ярослав лучше кого бы то ни было понимал эту насущную потребность. Ибо святые, мученики, угодившие Богу и введенные Им в Царствие Небесное, возвышали свое отечество много больше, нежели победы, достигнутые на поле брани. И как Олав Святой стал вскоре небесным покровителем Норвегии, так и князьям-страстотерпцам Борису и Глебу предстояло стать небесными покровителями Русской земли. Пройдет немного времени, и автор «Похвалы святым» (читающейся в заключительной части анонимного «Сказания о страсти») будет прославлять их как радетелей и ходатаев за всю Русскую землю: «Воистину вы цесари цесарям и князья князьям, ибо вашей помощью и защитой князья наши всех противников побеждают и вашей помощью гордятся. Вы наше оружие, земли Русской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низвергаем и дьявольские козни на земле попираем. Воистину... вы небесные люди и земные ангелы, столпы и опора земли нашей!»[15]

Сегодня нам нелегко понять, каким образом князья-страстотерпцы, безропотно принявшие смерть и отказавшиеся взять в руки оружие, могли стать небесными защитниками Руси, вдохновителями побед русских князей на поле брани. Но «этот парадокс, конечно, является выражением основной парадоксии христианства», — отмечал выдающийся исследователь древнерусской святости Г. П. Федотов[16]: Подвиг непротивления, готовность добровольно принять смерть есть, прежде всего, попрание смерти, подражание Христу, своей волей взошедшему на Крест. В сознании русских людей своей мученической кончиной святые братья искупали грехи всей Русской земли, еще недавно прозябавшей в язычестве («отъя поношение от сынов русских», по выражению Нестора), — подобно тому, как некогда Спаситель искупил грехи всего человечества. И в этом, несомненно, было проявление силы, а не слабости, залог победы, а не поражения.

Впрочем, во времена Ярослава такое понимание подвига святых братьев еще далеко не утвердилось. Так, в княжеском семействе братья почитались прежде всего даже не как святые в христианском смысле этого слова, но как чтимые

предки, достославные представители того единого княжеского рода, продолжателями которого ощущали себя Ярослав и его сыновья. Об этом, между прочим, свидетельствуют имена, которые в 40—50-е годы XI века получают внуки Ярослава Мудрого: среди них мы увидим и Глеба, и Романа, и Давыда (сыновей Святослава Ярославича), и еще одного Давыда (сына Игоря Ярославича), и Бориса (так звали сына Вячеслава Ярославича). Приблизительно в те же годы или несколько позже имена святых князей-страстотерпцев — словно соперничая в их почитании с Ярославом и Ярославичами — будет давать своим сыновьям и князь Всеслав Полоцкий, среди сыновей которого также имелись и Роман, и Борис, и Глеб, и Давыд. Но точно так же в те же 40-е и 50-е годы XI века два внука Ярослава Мудрого — соответственно сыновья Изяслава и Святослава — получат имена Ярополк и Олег — очевидно, в память о Ярополке и Олеге Святославичах, останки которых в 1044 году были перезахоронены в Киевской Десятинной церкви. Более того, в 1050 году еще один внук Ярослава, сын Изяслава Ярославича, получит имя Святополк — едва ли не в память об убийце князей Бориса и Глеба, но, конечно, не в напоминание о злодейской роли окаянного Святополка в драматических событиях 1015 года, а, вероятно, в подтверждение прав новорожденного сына Изяслава на Туров, в котором некогда княжил как раз Святополк, посаженный туда самим Владимиром, и где к 1050 году княжил Изяслав, посаженный туда Ярославом. При одном только церковном почитании святых Бориса и Глеба такое наречение внука Ярослава Мудрого, по-видимому, было бы невозможным[17].

Странный во всех отношениях акт 1044 года, а в какой-то степени и политическое и церковное прославление во второй половине 40-х — начале 50-х годов XI века князей-чудотворцев Бориса и Глеба можно рассматривать как явные симптомы ослабления византийского влияния в церковных делах Киевского государства. Временный разрыв с Византией и отъезд из Киева митрополита-грека, по-видимому, вынудили князя Ярослава искать опору в местных, кровно связанных с Киевом, а не с Константинополем, церковных кругах. И более всего произошедшие изменения во внутренней политике киевского князя могут быть связаны с именем его ближайшего сподвижника и единомышленника русина Илариона, первого киевского митрополита из русских. Если мы правильно датируем освящение вышгородской церкви 1052 го-

дом, то именно митрополит Иларион — а не упоминаемый источниками «архиепископ Иоанн» — был главным действующим лицом происходивших событий. Личность этого необыкновенного человека, сыгравшего заметную роль в жизни князя Ярослава Мудрого, несомненно, заслуживает того, чтобы поговорить о нем более подробно.

Однако достоверно известно об Иларионе Киевском до обидного мало. Когда именно он родился, к какой социальной среде принадлежал, где жил до того, как стал священнослужителем, — обо всем этом мы ничего не знаем. Летописи сообщают только, что до своего поставления на кафедру Иларион был священником церкви Святых Апостолов в Берестовом — княжеской резиденции близ Киева: «Боголюбивый же князь Ярослав любил Берестовое и церковь, бывшую тут, во имя Святых Апостолов, и попов многих обеспечивал; среди них был пресвитер по имени Иларион, муж благ, книжен и постник...»[18] Берестовое — любимая резиденция Ярослава; здесь он проводил много времени и жил подолгу, а потому не мог не обратить внимание на образованного и отличавшегося исключительным благочестием священника. Судя по собственным сочинениям Илариона, будущий киевский митрополит в совершенстве владел греческим языком и хорошо знал в подлиннике творения Отцов Церкви (полагают даже, что он получил образование в Византии — в Константинополе или на Афоне); возможно, побывал он и на латинском Западе, где познакомился с католическим богослужением[19]. По свидетельству летописца, Иларион настолько стремился к духовному совершенству, что, не будучи постриженным в иноческий чин, вел жизнь отшельника, подражая древним палестинским монахам-анахоретам. С его именем в летописи связывается начало знаменитого Киевского Печерского монастыря, о роли которого в истории Руси мы уже говорили и будем говорить еще на страницах нашей книги: «И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, где ныне старый монастырь Печерский, и тут молитву творил, ибо был там лес велик; ископал пещерку малую, двухсаженную, и, приходя с Берестового, отпевал часы и молился тут Богу втайне. И потом вложил Бог князю в сердце, и поставил его митрополитом в Святой Софии...»

Поставление Илариона на киевскую кафедру произошло в 1051 году, но еще задолго до этой даты князь Ярослав приблизил к себе берестовского священника и, по-видимому, сделал его фактическим руководителем Русской церкви. Во всяком случае, торжественное «Слово о законе и благодати»,

произнесенное Иларионом в присутствии князя и членов княжеской семьи в одном из киевских храмов, очевидно, во второй половине 40-х годов XI века (более точная датировка, к сожалению, затруднена[20]), обнаруживает в его авторе отнюдь не скромного берестовского затворника, но человека, по крайней мере, претендующего на главенствующую роль в русской иерархии. Без преувеличения можно сказать, что это произведение стало программным для всей Ярославовой эпохи.

В своем «Слове» Иларион обращается «не к несведущим... но с преизбытком насытившимся книжной сладости» — иными словами, к той интеллектуальной элите киевского общества (а в те времена она в значительной степени совпадала с политической, правящей элитой), в которую входили и сам князь Ярослав Владимирович, и члены его семейства, и отдельные приближенные к князю бояре и церковные иерархи, а также те «писцы многие», которых собирал вокруг себя любящий «учение книжное» князь Ярослав. «Слово» Илариона, несомненно, можно назвать проповедью в самом прямом, церковном смысле этого слова; эта проповедь имела свою, казалось бы, отвлеченную, чисто богословскую цель: дать толкование известных слов апостола Иоанна Богослова («...Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» — *Ин. 1: 17*), причем сравнение ветхозаветного закона и христианской благодати, иудейства, отвергшего Христа, и христианства, поклоняющегося Христу, Иларион проводит с изумительным мастерством, используя лучшие образцы византийской богословской литературы[21]. Его буквально завораживает параллелизм мировой истории, в которой Ветхий Завет — лишь предтеча, символическое объяснение подлинной истории человечества, начавшейся с приходом в мир Спасителя. Цель и содержание этой истории — в неуклонном продвижении человечества от «законной лести» к евангельской благодати, от «тени» к истине, от тьмы к свету, наконец от рабства к свободе. Это путь всех народов, избравших «благодать», то есть сделавшихся христианскими, — но прежде всего, Руси. Сам заголовок Иларионова «Слова» — «*О законе, Моисеем данном, и о благодати и истине, явленной Иисусом Христом, и как закон миновал, а благодать и истина наполнила всю землю, и вера распространилась во всех народах вплоть до нашего народа русского...*»[22] — можно воспринимать как некий эпиграф ко всей последующей истории Руси, в которой стремление улучить *благодать* всегда будет преобладать над стремлением соблюсти *закон*.

Олицетворением «законной лести» и ветхозаветного рабства является для Илариона иудейство — религия «избранного» народа, отказавшегося принять новое общечеловеческое учение Христа. Несомненно, во многом это книжный образ, привычный всей христианской литературе, однако не стоит забывать о том, что иудаизм — в качестве живой, а не книжной религии — был хорошо известен в Киеве во времена Илариона и полемика с киевскими евреями представлялась отечественным апологетам христианства делом весьма актуальным*. Показательно, что впоследствии на основе «Слова о законе и благодати» будет создана особая Толковая редакция памятника — самостоятельное произведение, построенное как обличение некоего «жидовина» и, в его лице, иудейской религии в целом.

Но из-под пера самого автора «Слова о законе и благодати» вышел отнюдь не полемический антииудейский трактат. Тема ветхозаветного иудейства привлечена им прежде всего для того, чтобы показать величие того шага, который совершила еще вчера языческая Русь. Именно в прославлении Руси, сумевшей — в отличие от «обветшавшего» иудейства — миновать тьму «идольского мрака» и перейти к евангельской благодати, и состоит основной смысл всего произведения. Словно сужая концентрические круги своего повествования, «по типическим законам средневекового мышления переходя от общего к частному, от общих вопросов мироздания к частным его проявлениям, от универсального к национальному»[24], Иларион подводит слушателей к главной теме своего «Слова» — историческим судьбам русского народа. «Итак, пришел Спаситель, но не был принят Израилем, по словам Евангелия: "Пришел к своим и свои Его не приняли" (*Ин. 1: 11*). Языческими же народами был принят Христос... И исполнились слова Спасителя: "Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю" (*Мф. 8: 11—12*). И еще: "Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его" (*Мф. 21: 43*)».

В развитие идей великих первоучителей славян Константина (Кирилла) и Мефодия Иларион утверждает мысль о равенстве всех христианских народов через их приобщение к

---

* Так, в Житии Феодосия рассказывается о том, как преподобный в бытность свою игуменом Киевского Печерского монастыря часто по ночам «отай всех исхожааше к жидом, и тех еже о Христе препирая» (то есть вступал с ними в религиозные прения), причем, по словам агиографа, с риском для собственной жизни[23].

христианству. Более того, можно думать, что ему была близка идея такого вовлечения новых народов в лоно христианства, при котором эти новые народы (а к их числу в первую очередь и относилась Русь) усваивали новое вероучение даже глубже, чем те, кто был призван прежде. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Ибо не вливают, по словам Господним, вина нового, учения благодатного, "в мехи ветхие", обветшавшие в иудействе, — "а иначе прорываются мехи, и вино вытекает" (*Мф. 9: 17*)... Но новое учение — новые мехи, новые народы!»

Русский народ, «новые люди», по выражению Илариона, и есть эти «новые мехи»; приобщение Руси к христианству — торжество воплощения Божественного замысла, кульминация всей мировой истории. «Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а иудеи отринуты... Все народы помиловал преблагой Бог наш, и нас не презрел Он: восхотел — и спас нас и привел в познание истины!» Именно на русском народе, последним пришедшем к христианству (но по слову евангельскому: «Так будут последние первыми», *Мф. 19: 30; 20: 16*), исполнились пророчества, некогда данные Господом через святых пророков: «И скажу не Моему народу: "Ты — народ Мой", и он скажет Мне: "Ты — Господь Бог мой"» (*Осия, 2: 18, 23*). «Сбылось на нас предреченное о язычниках: "Обнажит Господь святую мышцу Свою пред всеми народами, и все концы земли увидят спасение Бога нашего" (*Ис., 52: 10*). И другое: "Живу я, говорит Господь, предо Мною поклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога" (*Рим. 14: 11; ср. Ис. 45: 23*)».

Эту идею «нового народа», воистину «работников одиннадцатого часа» (из знаменитой евангельской притчи о винограднаре, нанимавшем работников в свой виноградник и расплатившемся с ними поровну, «начав с последних до первых»; ср. *Мф. 20: 1—16*), мы встретим и у других авторов XI—XII веков, воспринявших и ход мыслей Илариона, и его систему аргументации. Но такого неиссякаемого исторического оптимизма уже не будет. Исследователи считают возможным говорить об особом «адоптионизме» Илариона — его приверженности идеи Божественного «усыновления» страны и народа, при котором крещение не просто откры-

вает путь к Спасению, а почти тождественно ему[25]. «Славный град Киев» оказывается под защитой и покровительством Господа и Пресвятой Богородицы. «Радуйся, град православный! Господь с тобою!» — перефразирует киевский проповедник слова архангела Гавриила, обращенные к Деве Марии.

Русский народ спасен Господом; неиссякаемый евангельский источник достиг наших пределов, и тем самым исполнено предназначение всей истории человеческого рода. Такое понимание смысла мировой истории естественным образом присуще многим «новым» народам, только приобщающимся к христианству, — не случайно идеи Илариона, как отмечают исследователи, созвучны идеям ранней славянской литературы IX века — эпохи обращения в христианство Болгарии и Моравии. По представлениям людей Средневековья, распространение евангельской благодати до крайних пределов Вселенной есть ясное свидетельство приближения Второго пришествия Спасителя[26] — но на сколь же щедрое воздаяние от Господа должны надеяться пришедшие к Нему «в последние времена»: последние, но — по евангельскому слову — сделавшиеся первыми!

Тот же исторический оптимизм, та же уверенность в безмерной щедрости грозного Судии и спасении Им «своего» народа звучат и в покаянной (!) «Молитве» Илариона, которая в большинстве рукописей читается отдельно от «Слова о законе и благодати» и представляет собой самостоятельное произведение («Молитва преподобного отца нашего Илариона, митрополита Российского»):

«О Владыко, Царю и Боже наш, высокий и славный, о Человеколюбче, по трудам воздающий праведникам сим славу же и честь и причастниками творящий Царства Своего, помяни, Благий, и нас, убогих Твоих, ибо Человеколюбец — имя Твое! Хотя и не имеем мы добрых дел, но спаси нас по великой Твоей милости, ибо мы — "народ Твой и Твоей пажити овцы" (*Пс. 78: 13*), стадо Твое, кое недавно Ты начал пасти, исторгнув из пагубы идолослужения!»

Иларион словно бы указывает Господу, как именно надлежит Ему судить «народ Свой», и этот его тон есть следствие уверенности в достаточности крещения для того, чтобы дать ответ на Страшном Суде: «Да не отпадут от веры слабые в вере, в меру наказывай, но безмерно милуй, в меру уязвляй, но милостиво исцеляй, в меру ввергай в скорбь, но вскоре утешай... Яви кротость и милосердие Твое, ибо Тебе подобает миловать и спасать; не престань в милости Твоей к народу Твоему: врагов изгони, мир утверди, язы́ки усми-

ри, глады утоли, владык наших угрозой язы́кам сотвори, боляр умудри, грады умножь и насели, Церковь Твою возрасти, достояние Твое соблюди, мужей и жен с младенцами спаси, пребывающих в рабстве, в пленении, в заточении, в пути, в плавании, в темницах, в алкании и жажде и наготе — всех помилуй, всем утешение даруй, всех возрадуй, подавая им радость и телесную, и душевную!»[27]

И как любой христианский народ, русские имеют своего Крестителя и Апостола — отца Ярослава князя Владимира, торжественный гимн которому составляет заключительную часть «Слова о законе и благодати»: «Хвалит же гласом хваления Римская страна Петра и Павла... Асия, Ефес и Патмос — Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка. Все страны, грады и народы чтут и славят каждые своего учителя, коим научены православной вере. Восхвалим же и мы — по немощи нашей хотя бы и малыми похвалами — свершившего великие и чудные деяния учителя и наставника нашего, великого кагана земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына славного Святослава, которые во дни свои властвуя, мужеством и храбростью известны были во многих странах...» Иларион называет Владимира, как и Ярослава, *каганом* — титулом, несомненно, более высоким, чем титул князя, и едва ли не приближающимся к императорскому. Нам неизвестно, чтобы этот титул использовался на межгосударственном уровне; скорее всего, в Византии его не признавали. В таком случае, употребление титула «каган» Иларионом в известном смысле можно рассматривать как свидетельство антивизантийской направленности его сочинения.

Как полагают, обоснование возможности и необходимости канонизации князя Владимира, Крестителя Руси, — одна из главных целей «Слова» Илариона. Принятие христианства Владимиром, крещение им своего народа есть личный подвиг русского князя, совершенный им не под чьим-то внешним воздействием, не по принуждению, но свободно, как проявление свойственных ему «благого смысла и остроумия». «Не видел ты Христа, не следовал за ним, — восклицает проповедник. — Как же стал учеником его. Иные, видев его, не веровали; ты же, не видев, уверовал. Поистине, почило на тебе блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме: “Блаженны не видевшие и уверовавшие” (*Ин. 20: 29*). Посему со дерзновением и не усомнившись взываем к тебе: о блаженный! — ибо сам Спаситель так назвал тебя». И чуть ниже: «Приведем из Священного Писания и иное, более ясное и верное свидетельство о тебе, из-

реченное апостолом Иаковом: "Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов" (*Иак. 5: 20*). Если же таково воздаяние от преблагого Бога обратившему даже одного человека, то какое же блаженство приобрел ты, о Василий (христианское имя Владимира. — *А. К.*)? Какое упразднил ты бремя греховное, обратив от заблуждения идольского прельщения не одного человека, не десять, не град, но всю область сию?»

Иларион находит и историческую параллель христианскому подвигу князя Владимира, сравнивая Крестителя Руси с равноапостольным царем Константином Великим, при котором христианство утвердилось в пределах всей Римской империи; впоследствии это сравнение будет повторено всеми русскими агиографами, писавшими о Владимире. «О подобный великому Константину, равный ему умом, равный любовью ко Христу, равный почтительностью к служителям Его... И, как подобного ему, соделал тебя Господь на небесах сопричастником одной с ним славы и чести в награду за благочестие твое, которое стяжал ты в жизни своей».

Однако канонизация князя Владимира, которую, очевидно, подготавливали во второй половине 40-х годов XI века Ярослав и Иларион, так и не состоялась ни в княжение Ярослава, ни при его сыновьях. Трудно сказать, чем это может быть объяснено. Впоследствии автор «Памяти и похвалы князю Русскому Владимиру» Иаков мних будет сетовать на отсутствие чудес у гробницы князя. «Не удивимся возлюбленные, что чудес не творит по смерти, — разъяснял он, — многие ведь святые праведники не сотворили чудес, но святыми являются»[28]. Наверное, его ссылки на «многих святых праведников», а также на авторитет Иоанна Златоуста, утверждавшего будто бы, что «от дел, а не от чудес» узнаем мы святого человека, принимались не всеми. Так или иначе, но князь Владимир будет причтен к лику святых лишь в XIII веке, когда созданное им Киевское государство фактически перестанет существовать...

Между тем канонизация Владимира, как и канонизация святых братьев Бориса и Глеба (ко времени произнесения «Слова» еще далеко не совершенная), более всего отвечали общему курсу князя Ярослава на становление национальной Русской церкви и вместе с тем его стремлению к утверждению собственной власти как власти, имеющей божественное происхождение. В своем «Слове» Иларион едва ли не предвосхищал будущую канонизацию самого Ярослава, сравнивая его с мудрейшим библейским царем Соломоном. (Этот панегирик Ярославу не войдет в последующие редакции

«Слова», приспособленные для чтения в церкви в день памяти святого Владимира.) «Доброе же весьма и верное свидетельство [твоего, о блаженный, благочестия], — обращался проповедник к Владимиру, — и сын твой Георгий, которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе, не нарушающим уставов твоих, но утверждающим, не сокращающим учреждений твоего благоверия, но более прилагающим, не разрушающим, но созидающим. Недоконченное тобою он докончил, как Соломон — предпринятое Давидом...» И еще: «Восстань, о честная глава, из гроба твоего. Отряси сон свой, возведи взор и узришь, что Господь, таких почестей сподобив тебя там, на небесах, и на земле не без памяти оставил в сыне твоем. Восстань, посмотри на чадо свое, Георгия, посмотри на возлюбленного своего, посмотри на того, что Господь извел от чресл твоих, посмотри на украшающего престол земли твоей — и возрадуйся и возвеселись!» Иларион прославляет и все семейство Ярославово, в том числе и его сыновей и внуков, будущих продолжателей его великого дела: «Посмотри же и на благоверную сноху твою Ирину, посмотри на внуков твоих и правнуков: как они живут, как хранимы Господом, как соблюдают правую веру, данную им тобой, как прилежат к святым церквам, как славят Христа, как поклоняются имени Его».

Вторая половина 40-х годов XI века — время произнесения «Слова о законе и благодати» — пора наибольших свершений князя Ярослава Владимировича в области как внутренней, так и внешней политики. Именно в эти годы неузнаваемо преображается Киев, освящаются и украшаются росписями киевские храмы. Иларион имел все основания воскликнуть в своем «Слове», все так же обращаясь к памяти отца Ярослава: «Посмотри же и на град твой, величием сияющий, посмотри на церкви процветающие, посмотри на христианство возрастающее, посмотри на град, иконами святых блистающий и ими освящаемый, фимиамом благоухающий, славословиями божественными исполненный и песнопениями святыми оглашаемый...» И эти слова будущего киевского митрополита перекликаются с восторженной похвалой князю Ярославу, которая принадлежит киевскому книжнику более позднего времени, автору летописной статьи 1037 года: «...При сем (то есть при Ярославе. — *А. К.*) начала вера христианская плодиться и расширяться, и черноризцы начали множиться, и монастыри начинали быть... И радовался весьма Ярослав, видя множество церквей и людей христианских, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими»[29].

Но внешнее благолепие стольного града Ярослава, о котором мы говорили в предыдущих главах книги, — лишь одна сторона того процесса христианского переустройства Киевской державы, который происходил в годы княжения Ярослава Мудрого. Показательно, что из многих монастырей, возникших при нем, действительное значение в русской истории получил тот, к созданию которого князь Ярослав, по-видимому, не имел непосредственного отношения. Речь идет о Киевском Печерском монастыре, основанном иноком Антонием близ Киева, по преданию, в той самой пещерке, которую некогда ископал для себя берестовский пресвитер Иларион.

Антоний был уроженцем города Любеча. Его мирское имя — Антипа — называет единственный и притом относительно поздний и не слишком надежный источник — Летописец Переяславля Суздальского[30]. Можно думать, что Антоний принадлежал к поколению тех молодых русских людей, чью жизнь в буквальном смысле перевернуло принятие Русью христианства. Проповедь христианских миссионеров настолько поразила его, что он решил всецело посвятить себя служению Богу и отправился в Грецию — на Афон (Святую Гору), знаменитый своими монастырями. В одном из них Антоний и был пострижен в иноческий чин[31]. По прошествии нескольких лет игумен благословил его вернуться обратно на Русь. Летопись приводит слова, с которыми тот обратился к Антонию: «Иди снова на Русь, и да будет на тебе благословение Святой Горы, ибо многие от тебя станут чернецами»[32].

Когда именно происходили эти события, точно неизвестно. «Повесть временных лет» рассказывает о путешествии Антония на Афон и об основании им Печерской обители под 1051 годом[33] — тем самым, которым датируется поставление на киевскую митрополию русина Илариона. Но это, наверное, объясняется тем, что летописец знал о поселении Антония в оставленной Иларионом пещере. Между тем берестовская пещерка могла освободиться — и наверняка освободилась — много раньше названной в летописи даты. Судя по некоторым косвенным данным, Антоний появился на Руси в 40-е годы XI века[34]. По крайней мере несколько предшествующих лет он провел на Афоне.

Надо сказать, что выходцы из русских земель появились здесь еще в конце X века; во всяком случае, принадлежавший им монастырь Успения Богородицы, так называемый монастырь Ксилурга (Древодела), впервые упоминается в источниках под 1016 годом, когда его игумен, некий Герасим, поставил свою подпись под одним из афонских актов[35].

Согласно дошедшей до нас купчей, в 1030 году монастырь еще более расширил свои владения; вероятно, он переживал благоприятные времена и, может быть, пользовался поддержкой русских князей[36]. Однако в первой половине 40-х годов XI века ситуация изменилась. Это время стало нелегким для многих афонских обителей. В 1042—1044 годах афонское побережье пострадало от нападений арабов; в 1044 году полуостров поразил сильнейший неурожай, который привел к острой нехватке пшеницы, виноградного вина, елея. В результате многие афонские обители были разорены, значительное число иноков покинуло полуостров, так что современники говорили о реальной опасности полного запустения Святой Горы. В 1046 году император Константин Мономах был вынужден особым актом подтвердить независимый статус конгрегации афонских монастырей[37]. Кажется, на положении Русского монастыря сказалось и резкое обострение русско-византийских отношений летом 1043 года, и только спустя несколько лет, после заключения русско-византийского мира, монастырь Ксилурга восстановил утраченные позиции[38]. Наверное, не будет слишком рискованным предположить, что возвращение Антония на Русь совпало с ухудшением политической и экономической ситуации на Афоне в первой половине 40-х годов XI века.

Это было время исканий не только в Восточной, но и в Западной церкви. В конце X — начале XI века на Западе набирала силу Клюнийская реформа, кажется, затронувшая и Афон[39]. Идеологи обновления призывали к возрождению строгости монашеской жизни, к отказу от изнеженности, свойственной многим монастырям как на Западе, так и на Востоке, к независимости монастырей от светской власти и местного епископата. Решительно осуждалась симония (узаконенная торговля церковными должностями), назначение на высшие церковные должности светских лиц. Можно думать, что многие из этих идей нашли живой отклик в душе русского инока. Несомненно, на него оказывали влияние и споры, которые велись в то время на Афоне между анахоретами, отшельниками, жившими в афонских пещерках и отдельных уединенных кельях, и иноками общежительных монастырей, киновий, основанных здесь преподобным Афанасием Афонским (ум. 1000), подлинным отцом афонского монашества. Эти споры, начавшиеся еще при жизни преподобного Афанасия, продолжались по крайней мере до середины XI века[40]. В Киевском Печерском монастыре, основанном преподобным Антонием, мы увидим столкновение обеих традиций: сам Антоний явно склонялся к уединенной,

отшельнической жизни; общежительный же устав — по образу устава Константинопольского Студийского монастыря — будет введен в основанной им обители лишь при его ученике и преемнике преподобном Феодосии.

По возвращении на Русь Антоний обошел здешние монастыри (по-видимому, те самые, о которых восторженно писал киевский летописец), но не удовольствовался существовавшими в них порядками и поселился в берестовской пещерке, к тому времени уже оставленной Иларионом. Именно здесь он и постарался воплотить в жизнь те идеалы монашества, с которыми познакомился на Святой Горе. «И стал Антоний жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды испивая в меру, копая пещеру и не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и молитвах». Вскоре к нему присоединились и другие подвижники, среди которых можно назвать уже известного нам Моисея Угрина (как мы помним, также связанного с афонской монастырской традицией) и будущих печерских игуменов Никона и Феодосия. Позднее, уже при князе Изяславе Ярославиче в Антониевых пещерах поселяются сын боярина Иоанна Варлаам, ставший позднее первым игуменом Печерского монастыря, а затем переведенный князем Изяславом в игумены основанного им Дмитровского монастыря, княжеский «каженник» скопец Ефрем, будущий митрополит Переяславский, и другие. Так было положено начало самому крупному и самому прославленному монастырю древней Руси, получившему название Киево-Печерского. При Изяславе же монастырь вышел на поверхность: киевский князь даровал ему землю на берестовской горе, а позднее была построена церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, получившая название «Великой».

Антоний отказался стать игуменом созданной им обители. Летопись особо подчеркивает его любовь к затворничеству, уединению даже от братии. Сразу же после поставления первого печерского игумена Варлаама (это случилось в княжение Изяслава Ярославича, ранее 1062 года) Антоний выкопал себе новую, отдаленную пещеру и стал жить в ней; братия же приходили к нему за советом и благословением при принятии каких-то важных решений, касавшихся монастырской жизни. Впрочем, Антоний, кажется, не чужд был и политических страстей, бушевавших за стенами обители; ему дважды приходилось вступать в конфликт с княжеской властью, а в 1069 году преподобный даже вынужден был на время покинуть Киев и, спасаясь от гнева того же Изяслава, переселиться в Черниговскую область, где на Болдиных

горах близ Чернигова он основал новый Богородицкий монастырь. Умер Антоний около 1073 года, причем мощи его впоследствии так и не были обретены. В домонгольской Руси существовало его пространное Житие, неизвестно когда и кем написанное (ссылки на него имеются в Патерике Киево-Печерского монастыря). Однако широкого распространения в древнерусской книжности — в отличие от Жития ученика Антония преподобного Феодосия — оно не получило и уже к XVI веку оказалось утеряно. А между тем роль подлинного основателя Печерской обители в духовной жизни Руси трудно переоценить.

Преподобный Антоний привнес в русскую духовную культуру неведомое ей до этого влияние восточного монашества. Основанный им монастырь с самого начала отличался от других – и более строгими порядками, и исключительными подвигами братии. Рассказы о первых печерских подвижниках (они составляют Киево-Печерский патерик) наполнены описаниями их жестокой борьбы с искушениями плоти. Монахи годами жили в пещерах, на хлебе с водой, облачались во власяницы из сырых козьих кож, сносили лютую стужу, живыми закапывали себя в землю, некоторые даже подвергали себя добровольному оскоплению — в принципе, решительно осуждаемому Церковью. В этот, начальный период развития русского христианства нащупывались различные пути к пониманию истинной сущности нового учения. Путь обретения спасения и вечной жизни, предложенный Антонием — через физическое страдание и внешнее самоотречение, — был тяжек, почти неосуществим, но он поразил воображение русских людей и поднял авторитет основанного им монастыря на недосягаемую высоту. К тому же Печерский монастырь возник совершенно независимо от княжеской власти, что было совсем не обычно для того времени, когда большинство русских обителей основывалось князьями. «Многие ведь монастыри от князей, и от бояр, и от богатства поставлены, — писал по этому поводу летописец-печерянин, — но не суть таковы, какие поставлены слезами, пощением, молитвой, бдением. Антоний ведь не имел ни злата, ни сребра, но добился всего слезами и пощением»[41]. Все это позволило печерским игуменам со временем претендовать на нравственное руководство русским обществом и принесло монастырю славу первого истинно православного на Руси. Уже со второй половины XI века монастырь становится настоящим рассадником святости и поставщиком епископских кадров для молодой Русской церкви. К 20-м годам XIII века, по подсчетам епископа Влади-

миро-Суздальского Симона (также печерского постриженника), насчитывалось уже около пятидесяти русских епископов, вышедших из стен Печерской обители.

Так, по словам выдающегося исследователя древнерусской духовной жизни Николая Константиновича Никольского, одна и та же пещерная келья на берегу Днепра близ Киева дала начало двум совершенно различным и во многом противоположным направлениям в раннем русском христианстве[42]. Религиозная доктрина, утвердившаяся в Печерском монастыре, совсем не походила на то светлое, оптимистичное восприятие христианства, которое столь ярко выразил в своем «Слове о законе и благодати» Иларион Киевский. В самом деле, если евангельские идеалы Владимировой и Ярославовой поры давали прочную уверенность в спасении «новых людей», призванных Господом в «последние дни», через крещение и покаяние вкупе с милосердием и добрыми делами («не бо суть тяжки» дела эти, воскликнет впоследствии Владимир Мономах: «ни затворничеством, ни чернечеством, ни голодом, яко иные добродетельные терпят, но *малым делом*» сим можно «улучить милость Божию»), то в воззрениях печерских старцев на первый план выходило другое: жесточайшая аскеза, умерщвление плоти, изнурительный пост, непрестанная молитва (то есть именно «затворничество, чернечество и голод», «яко иные добродетельные терпят»), а достижение истинного спасения и вечной жизни оказывалось возможным лишь в пределах глухой монастырской ограды. Прошедшие суровую школу афонского подвижничества последователи Антония слишком хорошо понимали, что крещение само по себе не означает еще окончательной победы над греховным существом человека, но есть начало новой непримиримой схватки с силами зла. Не случайно страницы Печерского патерика буквально испещрены описаниями жестокой борьбы иноков с бесами, которые представлялись насельникам Антониевых пещер в самом живом и неприглядном виде. Именно здесь, в Печерском монастыре, утвердится резко нетерпимое отношение к «латинству», будет осуждаться излишнее увлечение «книжным учением» — и то и другое было совершенно немыслимо для Ярославовой эпохи. И если идеалы Илариона или авторов летописной похвалы князьям Владимиру и Ярославу можно назвать *христоподобием*, то в отношении христианских идеалов печерских старцев уместнее говорить о некоем *ангелоподобии*[43] — стремлении к какому-то недостижимому, почти бестелесному состоянию, к духовности в чистом, не обремененном греховной плотью виде.

Из этого, однако, не следует, что в реальной жизни Антоний и Иларион были антагонистами — скорее, наоборот: ведь и сам Иларион — не будем забывать об этом — прославился как великий постник и затворник. Несомненно, любовь к уединению, отрешению от всего земного сближала его с Антонием. Несхожесть их воззрений на существо спасения и пути обретения благодати становятся очевидными лишь в некой исторической перспективе, при общем взгляде на пути развития духовной мысли древней Руси. Но в конечном итоге в ней переплетутся оба начала — и светлое, оптимистичное христианство автора «Слова о законе и благодати», и мрачная аскеза Печерского монастыря. Мы уже говорили о том, что идеи Илариона и современных ему книжников Ярославовой поры относительно особого исторического призвания русского народа, «работников одиннадцатого часа», их представление о Киеве как «втором Константинополе» и «новом Иерусалиме» лягут в основу знаменитой теории «Москвы — третьего Рима», получившей развитие в эпоху Московской Руси. Но не перенесением ли на русскую почву и не укоренением ли здесь своеобразного русского варианта восточного, прежде всего афонского, монашества будет задана та высочайшая планка нравственного совершенства, которую мы ощутим в русской духовной мысли на протяжении последующих столетий? И не в мучительном ли осознании ее практической недостижимости сокрыт главный нерв всей нашей духовной литературы, начиная с лучших образцов агиографии и гомилетики XI—XIII веков и кончая Толстым, Достоевским, Лесковым и русскими религиозными философами XX века?

Торжественное «Слово» Илариона Киевского завершалось молитвой за весь русский народ, и прежде всего за русского князя, достойного продолжателя славных дел своего отца. «Помолись, о блаженный, — вновь обращался к Владимиру проповедник, — о земле своей и о народе, которым благочестно владычествовал ты, да сохранит его Господь в мире и благочестии, данном ему тобою, и да славится в нем правая вера, и да проклинается всякая ересь, и да соблюдет его Господь Бог от всякого нашествия и пленения, от глада и всякой скорби и напасти! И еще помолись о сыне твоем, благоверном кагане нашем Георгии, да в мире и здравии переплыть ему пучину жизни сей и невредженно привести корабль душевный свой к безбурному пристанищу небесному, и веру сохранив, и с богатством добрых

дел, да, непреткновенно управив Богом вверенный ему народ, вместе с тобою непостыдно предстать престолу Вседержителя Бога и за труды пастьбы народа своего приять от Него венец славы нетленной со всеми праведниками, потрудившимися ради Него».

В принципе, это обычные, можно сказать трафаретные, слова, обращенные к правящему князю. Но вслушиваясь в них, окружавшие князя люди, да и сам Ярослав не могли не задумываться о близости того часа, когда князю и в самом деле доведется «переплыть пучину жизни сей» и достичь «безбурного пристанища небесного», уготованного всем, искренне стремящимся к нему. Князь был уже стар и, несомненно, понимал это. Но тем более ему надлежало спешить управиться с теми делами, которые он считал важными для себя и для своей державы. Так, именно по воле Ярослава, что особо подчеркивает летописец, в 1051 году на митрополичью кафедру был возведен Иларион Киевский, и это событие стало одним из самых ярких эпизодов княжения Ярослава Мудрого. «В лето 6559 (1051), — читаем в «Повести временных лет», — поставил Ярослав Лариона митрополитом, русина (в Ипатьевском списке: «...митрополитом Руси...». — *А. К.*), в Святой Софии, собрав епископов»; и чуть ниже еще раз: «...И вложил Бог князю в сердце, и поставил его (Илариона. — *А. К.*) митрополитом в Святой Софии...»

Дата, названная летописцем*, находит подтверждение еще в одном, совершенно уникальном источнике — собственноручной записи Илариона о своем поставлении на кафедру, сохранившейся в копии в рукописи второй половины XV века Синодального собрания, № 591 (хранится в Государственном Историческом музее в Москве). Эта рукопись включает в себя три сочинения Илариона Киевского, возможно, объединенные им самим в некий цикл — «Слово о законе и благодати», «Молитву», а также «Исповедание веры», которое он, по традиции, должен был произнести при поставлении на кафедру. К последнему и присоединена запись о свершившемся событии (приводим ее в подлинном виде):

«Азъ милостию человеколюбиваго Бога мнихъ и прозви-

---

* Следует иметь в виду, что 1051 год как год поставления Илариона на митрополию может быть принят лишь условно: сентябрьский 6559 год соответствует сентябрю 1050-го — августу 1051 года; мартовский — марту 1051-го — февралю 1052-го; какой именно из этих двух стилей использован в записи, точно сказать нельзя. Так что, строго говоря, поставление Илариона могло иметь место между сентябрем 1050-го и февралем 1052 года.

теръ Иларионъ изволениемь Его от богочестивыихъ епископъ священъ быхъ и настолованъ въ велицемь и богохранимемь граде Кыеве, яко быти ми в немь митрополиту, пастуху же и учителю. Быша же си въ лето 6559, владычествующу благоверьному кагану Ярославу, сыну Владимирю. Аминь»[44].

Иларион вновь говорит о киевском князе как о *кагане* — вероятно, он настойчиво пытался внедрить этот титул в официальную практику, хотя пока что в пределах самой Руси. Но не менее любопытно другое: в записи о поставлении Иларион называет себя «мнихом и прозвитером», то есть иеромонахом; летопись же именует его просто «пресвитером» (священником). По-видимому, киевский проповедник принял пострижение незадолго до поставления на кафедру, в преддверии того шага, который побуждал его сделать князь Ярослав. В практике Русской церкви это не единственный случай, когда тот или иной князь добивался избрания в епископы или митрополиты «бельца», то есть священника, не облеченного в черные иноческие одежды, и тот лишь в последний момент принимал иночество. В недошедшем до нас Житии преподобного Антония сообщалось о том, что Иларион был пострижен самим Антонием. «Про Илариона же митрополита, — писал епископ Владимиро-Суздальский Симон в послании к печерскому постриженнику Поликарпу (это послание легло в основу Киево-Печерского патерика), — ты и сам читал в Житии святого Антония, что им он пострижен был и святительства сподобился»[45]. Надо полагать, что пришедший с Афона Антоний к началу 50-х годов XI века был в Киеве одним из немногих постриженников авторитетной православной обители, да и само поселение его в берестовской пещерке свидетельствует о его знакомстве и, более того, добрых отношениях с будущим митрополитом. Так что выбор Илариона — если действительно Антоний совершил над ним положенный обряд — представляется осмысленным и далеко не случайным.

Но это лишь одно из нарушений устоявшихся правил избрания кандидата на митрополичью кафедру. Гораздо важнее другое: Иларион был избран «изволением» Ярослава и собором русских епископов, причем избран в граде Киеве, в соборе Святой Софии, а не в Константинопольской Агиа Софии, как это было принято ранее, и, кажется, без какого-либо участия константинопольского патриарха и его постоянного совета (Эндемусы)[46]. Несомненно, это нельзя расценить иначе как прямой вызов если не всей византийской иерархии, то, по крайней мере, константинопольскому патриархату.

Причины и значение столь необычного шага историки определяют по-разному. Еще авторы Никоновской летописи, писавшие в XVI веке, попытались обосновать законность и правомерность действий русского князя, вспомнив при этом о «бранях и нестроениях», бывших при Ярославе между русскими и греками: «Ярославу... с греки брани и нестроения быша, и сице Ярослав с епископы своими русскими съвещавше, умыслиша по священному правилу и уставу апостольскому сице: правило святых апостол 1-е: два или трие епископы да поставляють единаго епископа, и по сему священному правилу и уставу божественных апостол съшедшеся русстии епископи поставиша Илариона, Русина, митрополита Киеву и всей Русской земле, не отлучающеся от православных патриарх и благочестиа Греческаго закона, ни гордящися от них поставлятися, но съблюдающеся (остерегаясь. — *А. К.*) от вражды и лукавъства, якоже беша тогда»[47].

Эти рассуждения русских книжников, принадлежавших к кругу московского митрополита Даниила (1522—1539), представляют, конечно, чисто историографический, но не источниковедческий интерес: вопрос о законности поставления русского митрополита собором епископов без санкции константинопольского патриарха приобрел актуальность в XV веке, после установления автокефалии Русской церкви (в частности, он обсуждался на созванном митрополитом Даниилом церковном соборе 1531 года), и потому первый прецедент подобного рода, относящийся ко временам Ярослава Мудрого, не мог не стать аргументом во внутрицерковной дискуссии[48]. Однако ссылки авторов Никоновской летописи на «брани и нестроения» с греками по существу задали тон всей последующей отечественной историографии: поставление на митрополию русина Илариона в обход прав Константинопольского патриархата стало восприниматься как продолжение русско-византийского конфликта, начатого войной 1043 года, и новое проявление стремления Киевского государства высвободиться из-под влияния и опеки Византии[49]. Показательно, например, суждение на этот счет В. Н. Татищева. «По смерти митрополита русского, — писал он, — Ярослав, яко имея со греки великое несогласие, не хотя более патриархом цареградским допустить над Русью властвовать и богатство истощать, велел, собрався епископом русским и по правилом святых апостол избрав, митрополита поставить»[50].

В этих рассуждениях, по-видимому, есть значительная доля истины. Однако необходимо учесть, что к 1051 году русско-византийские отношения успели полностью восста-

новиться. Напомним, что мир между двумя государствами был установлен около 1046 года, после чего дочь императора Константина Мономаха стала супругой князя Всеволода Ярославича, а русские войска в качестве союзников Византии приняли участие в ряде войн, которые вела Империя. Вызов, брошенный Константинополю именно в 1051 году, спустя восемь лет после царьградского похода, должен был иметь какие-то особые причины, и в поисках этих причин нам вновь приходится обращаться не только к внутренним русским делам и не только к отношениям между Киевским государством и Византией, но и к проблемам, волновавшим в то время Византийскую и вообще Восточную церковь.

Совершая поставление митрополита в Киеве, а не в Царьграде, Ярослав и епископы из его окружения явно пытались опереться на древнюю христианскую традицию, восходящую едва ли не к апостольским временам, — подобно тому, как это было в киевских же событиях 1044 года. Согласно установлениям еще Апостольского собора, подтвержденным на последующих Вселенских соборах, в частности Никейском и Антиохийском, для рукоположения епископа, а также митрополита (в случае если он — как это было с Иларионом — не имел еще епископского сана) достаточно было трех или даже двух епископов[51]. Ярослав и его окружение могли исходить также из определений византийского Номоканона (византийского сборника церковных установлений и императорских постановлений, касающихся Церкви). Последний был известен на Руси в славянском переводе в одной из ранних редакций, содержащих исключенные впоследствии новеллы императора Юстиниана, согласно которым избрание епископов предоставлялось клиру и наиболее видным гражданам (в переводе славянской Кормчей книги: «клирикам и первым притяжателям града»), то есть, в понимании книжников древней Руси, прежде всего князю[52]. Таким образом, в действиях русских епископов не было ничего противоречащего канонам, хотя они и опирались на каноническую практику, давно уже отжившую и не соответствующую установлениям более позднего времени. По крайней мере с IX века митрополиты Византийской церкви поставлялись исключительно константинопольским патриархом (это право было предоставлено ему 28-м правилом Халкидонского собора), и киевский акт 1051 года представляет собой исключение не только для XI, но и для IX и X веков. Иногда в этом видят проявление некоего «непросвещенного благочестия» киевского князя[53]. Но возможно и другое предположение: за действиями русских епископов

(несомненно, инициированными Ярославом) крылось сознательное стремление князя использовать в своих интересах противоречия и неясности в многочисленных церковных установлениях на этот счет. Это кажется тем более вероятным, что киевская акция 1051 года вполне укладывалась в русло того самого движения за обновление Церкви, о котором мы говорили чуть выше в связи с преподобным Антонием Печерским. Как показали исследования современного польского историка древней Руси Анджея Поппэ, в монашеской среде Византийской империи, в том числе и на Афоне, как раз в середине — второй половине XI века активно обсуждался вопрос о необходимости возвращения церковным иерархам утрачиваемого ими морального авторитета, а также — вполне в духе киевской акции 1051 года — высказывалось мнение в пользу ограничения прав патриарха на избрание и поставление митрополитов[54]. По-видимому, это должно было привести к значительному повышению роли поместных соборов — коллегиальных органов управления Церкви. В этой связи уместно вспомнить, что и Иларион Киевский в своем «Слове о законе и благодати» подчеркивал роль русских епископов — современников и сподвижников князя Владимира Святославича, сравнивая их, «новых отцов наших», с великими христианскими законотворцами эпохи императора Константина — отцами Никейского собора, прославляемыми Церковью в лике святых: «Тот со святыми отцами Никейского собора полагал закон народу своему — ты же, часто собираясь с новыми отцами нашими епископами, со смирением великим совещался с ними о том, как уставить закон народу нашему, новопознавшему Господа»[55]. Аналогия с временем Ярослава, когда те же епископы, и так же заодно с князем, вершили дела Русской церкви, напрашивалась сама собой. (Кстати говоря, имея в виду отчасти и заголовок настоящей главы, отметим, что слово «закон» в устах Илариона многозначно: это отнюдь не только синоним иудейского вероучения, но и установления верховной власти, обязательные к исполнению для всех христиан, — именно такие законы будет принимать и сам Иларион совместно с князем Ярославом.)

Возможно, сама постановка вопроса о необходимости ограничения патриаршей власти в середине XI столетия была связана с конфликтом между византийским монашеством (прежде всего столичным Студийским монастырем) и занявшим патриарший престол в 1043 году властным и не терпящим прекословий Михаилом Кируларием (некогда претендовавшим даже на императорский титул), будущим инициа-

тором окончательного разрыва с Западной церковью. В таком случае акция Ярослава (или, точнее, епископов из его окружения) была направлена именно против Кируларий, но не против Византийской церкви в целом[56]. Но даже если русские епископы в своих решениях действительно солидаризировались с духовной оппозицией Кируларию в самой Империи, это отнюдь не умаляет значения киевского собора 1051 года. Тем или иным способом, но Ярослав сумел добиться своего, и Русскую церковь возглавил человек, близкий ему духовно, способный проводить в жизнь его политику и к тому же пользующийся в обществе непререкаемым авторитетом не только как выдающийся оратор и проповедник, но и как подвижник в христианском значении этого слова. И до, и после своего поставления на кафедру Иларион сумел показать себя горячим защитником интересов Русской церкви и деятельным помощником киевского князя во многих его начинаниях.

Пожалуй, стоит учесть и такой, отчасти психологический аспект: после заключения русско-византийского союза и установления родственных отношений с правящим византийским императором князь Ярослав имел все основания выступить во внутрицерковных делах в той роли, в какой выступал в делах Православной церкви византийский император. Но последний открыто вмешивался в ход церковных дел и, в частности, без труда добивался избрания нужных ему патриархов и митрополитов византийских провинций. Да и германский император Генрих III как раз в 1046—1049 годах лично занимался подбором кандидатов на папский престол[57]. И потому когда киевская кафедра формально освободилась (а это, по-видимому, как раз и произошло незадолго до 1051 года), Ярослав посчитал возможным обойтись без обращения в Константинополь за новым митрополитом.

Что же касается участников собора 1051 года, тех «честных учителей и владык земли Русской», как называет их Иларион в своем «Исповедании веры», то с уверенностью мы можем назвать по имени лишь одного из них — известного нам Луку Жидяту, епископа Новгородского. Кем были остальные — русскими или греками, неизвестно. Но по крайней мере в отношении Луки можно сказать определенно, что это был человек, всецело обязанный своим возвышением Ярославу и проводивший в жизнь его политику. Если же на киевском соборе присутствовали иерархи-греки, занимавшие те или иные русские кафедры, то они, скорее всего, являлись ставленниками предшественника Кирулария, константинопольского патриарха Алексея Студита

(1025—1043), выходца из Студийского монастыря, а потому едва ли благоволили к Кируларию. Так что поддержка Ярославу и Илариону в их намерении обойтись без вмешательства патриарха, по-видимому, была обеспечена.

О деятельности Илариона после его поставления на митрополию нам известно немного, хотя и в этом своем качестве он оставил память значительно бóльшую, нежели, например, его предшественник Феопемпт. Если не считать предположительного участия Илариона в церковном прославлении князей Бориса и Глеба в начале 50-х годов, источники позволяют говорить о двух его важных акциях: освящении церкви святого Георгия в княжеском Георгиевском монастыре в Киеве и участии в составлении «Устава князя Ярослава о церковных судах».

О первом из этих мероприятий сообщает особое Проложное сказание об освящении церкви «святаго мученика Георгия... иже пред враты Святыя София», читающееся в рукописях Пролога 2-й (распространенной) редакции под 26 ноября: «Блаженный приснопамятный всея Руси князь Ярослав, нареченный в святом крещении Георгием, сын Владимира, крестившего землю Русскую, брат же святых мучеников Бориса и Глеба, задумал создать церковь во имя своего святого — Георгия, и то, что восхотел, то и створил. И когда начали возводить церковь, оказалось мало работающих, и, видя это, князь призвал тиуна и спросил: "Почто не много делающих у церкви?" Тиун же отвечал: "Господине, понеже дело властельское (княжеское. — *А. К.*), боятся [люди], что втуне будет труд их и оплаты лишатся". И сказал князь: "Если так, то вот что сделаю", и повелел куны возить на возах и [складывать] в комары Золотых ворот. И возвестили людям на торгу, чтобы взял каждый по ногате на день, и множество делателей оказалось, и так вскоре закончили церковь. И освятил ее митрополит Ларион месяца ноября в 26-й день, и створил в ней настолование новопоставляемым епископам, и заповедал по всей Руси праздновать память святого Георгия месяца ноября в 26-й день»[58].

Это сказание драгоценно для нас не только тем, что приоткрывает завесу над будничной жизнью Киева Ярославовой поры и — пускай на мгновение — бросает свет на самого киевского князя, изображая его в непривычном для нас ракурсе. Проложный текст позволяет понять, какое значение придавали князь и киевский митрополит Георгиевскому храму. Он должен был стать не просто очередным перлом в

каменном убранстве Ярославовой столицы, но — главное — зримым подтверждением нового статуса Киева как центра Православия, «христоименитого» града. Киев как бы перенимал у Константинополя еще одну святыню, приобретал еще одного небесного покровителя и заступника, причем соименного правящему киевскому князю.

Напомню, что летопись сообщает о строительстве монастыря святого Георгия под 1037 годом[59], однако в этой летописной статье объединены события разных лет, преимущественно второй половины киевского княжения Ярослава. Упоминание Илариона указывает на то, что храм был освящен в 1051—1053 годах, хотя строительство его, вероятно, началось значительно раньше и сильно затянулось.

Внешне храм напоминал Киевскую Софию, хотя и уступал ей размерами[60]. По свидетельству Проложного сказания, он располагался «пред враты Святыя София», неподалеку от Золотых ворот «города Ярослава» (нынешняя Золотоворотская улица Киева). Недалеко от него, южнее центральной площади «города Ярослава», был возведен еще один монастырь с великолепным каменным храмом — во имя святой Ирины, небесной покровительницы супруги Ярослава Ирины-Ингигерд, умершей в 1050 году. Этот собор (неизвестно точно, когда построенный и освященный) был украшен фресками, мозаиками, резными капителями колонн, шиферными плитами — впрочем, обо всем этом мы можем судить лишь по жалким фрагментам, найденным при исследовании развалин церкви еще в XIX веке.

Георгиевский храм предназначался для настолования епископов, то есть стал одним из важнейших храмов всего Русского государства. При личном участии Ярослава и Илариона было установлено празднование святому Георгию 26 ноября, новый русский праздник, вскоре вошедший в общерусские месяцесловы, — знаменитый в будущем осенний «Юрьев день». (До этого память святого Георгия праздновалась на Руси лишь 23 апреля — в весенний «Юрьев день».) Греческие месяцесловы отмечали под этим днем память освящения храма святого Георгия «в Кипариссе» (в Константинополе)[61] — надо полагать, что князь и митрополит сознательно переносили на Русь традицию, сложившуюся в Византии.

Так небесный покровитель князя Ярослава стал небесным покровителем Киева и всей Руси. «Яко звезда на небеси и на земли, явился, Георгий, добрым воином нареченный, — восклицал автор торжественной Службы на освящение киевского храма, которая была составлена, вероятно,

тогда же, причем не без влияния идей Илариона Киевского. — ...Днесь восхваляет тебя весь земной мир, божественными чудесами преисполнясь, и земля радуется... и христоименитые люди града Киева; освящением храма твоего ты радостно возвеселяешься, страстотерпец Георгий... Сосудом избран был ты Святому Духу, угодниче Христов, Его же моли с верою о приходящих во святый твой храм и просящих очистить от грехов, и умирить мир, и спасти души наши»[62].

Наверное, в этом храме звучало и учительное слово самого Илариона, обращенное не только к пастве, но и к пастырям Русской церкви — епископам и священнослужителям. В августовском томе Великих Миней Четьих митрополита Макария (XVI век) сохранился фрагмент какого-то поучения, надписанного именем «Лариона митрополита» («А се от иного слова»); этот крохотный отрывок, всего в несколько строчек, представляет собой настоящий шедевр древнерусской учительной литературы (независимо от того, действительно ли он принадлежал Иларион Киевскому), а потому приведем его целиком и в подлиннике, а не в переводе:

«О сем преподобный отец наш Ларион митрополит глаголет: мнози охотиве и взимаа мзды за чюжаа грехы молитися, от своих не управя. О убогый грешниче! Егда еси херувим и серафим, егда греха не имаши; сам бо грехы многыми оплетен, а еще чюжаа грехи емлеши на погибель души своей. Аще же себе не науча, како можеть иныа научити!»[63]

Имя митрополита Илариона упоминается также в первой, вводной статье «Устава князя Ярослава о церковных судах», принятого, очевидно, в последние годы жизни киевского князя: «Се яз, князь великий Ярослав, сын Володимерь, по данию (здесь: по примеру. — *А. К.*) отца своего сгадал есмь с митрополитом с Ларионом, сложил есмь греческий Номоканон. Аже не подобает сих тяж судити князю, ни боярам, дал есмь митрополиту и епископам»[64]. А далее следует перечень этих «тяж» (правда, различающийся в различных редакциях памятника), судя по которому, под исключительную юрисдикцию Церкви переходила обширная область права, ранее совсем не затронутая княжеской властью, — а именно брачные и семейные отношения.

Как отмечают исследователи, «Устав Ярослава» построен на тех же принципах, что и «Русская Правда», однако оба памятника практически не пересекаются друг с другом. В ве́дении церковных властей прежде всего оказывалась жен-

щина — наименее защищенный член древнерусского общества. Епископский суд рассматривал случаи «умыкания», то есть похищения невесты (наиболее распространенный способ заключения брака в языческой Руси), изнасилования («пошибания»), а также оскорбления словом («Аже кто зовет чужую жену блядью...») — причем во всех этих случаях предусматривалось одинаковое наказание, а размер штрафа, назначаемого как в пользу самой оскорбленной («за сором»), так и в пользу епископа, зависел исключительно от социального положения подвергшейся насилию или оскорблению женщины: «Аже кто пошибает боярскую дщерь или боярскую жену, за сором ей 5 гривен золота, а епископу 5 гривен золота; а меньших бояр — гривна золота... а нарочитых людей — 2 гривны серебра... а простой чади — 12 гривен (кун? — *А. К.*)...» Но точно такие же штрафы Церковный устав предусматривал и в том случае, если, например, дочь по вине родителей не была своевременно выдана замуж: «Аже девка засядет великих бояр, епископу 5 гривен золота; а меньших бояр — гривна золота; а нарочитых людей — 12 гривен; а простой чади — гривна серебра». Необычной и на удивление гуманной даже для нашего времени выглядит и забота о добровольной, а не принудительной выдаче замуж невесты: «Аже девка не восхочет замуж, а отец и мати силою дадут, а что створит над собою, отец и мати епископу в вине (то есть признаются виновными. — *А. К.*)»; и наоборот: «Аже девка восхочет замуж, а отец и мати не дадут, а что створит, епископу в вине отец и мати; также и отрок». Но и родители защищены от насилия со стороны детей, причем защищены уже не только церковным, но и княжеским судом: «Аже сын бьет отца или матерь, да казнят (накажут. — *А. К.*) его волостельскою казнью, а епископу в вине». В традиционном славянском обществе все эти вопросы решались исключительно внутри самой общины, силой традиций и обычая, без какого-либо вмешательства извне, а «Устав Ярослава» переводил их из сферы моральной в правовую сферу.

Подведомственны церковному суду были также разводы («роспусты»), двоеженство, блуд, особенно с родственниками, в том числе и духовными (между кумовьями), — все подобные случаи оговаривались особо и очень подробно. Любопытно, например, что епископский суд рассматривал и те случаи, когда мужчины «бьются *женскы* (то есть поженски. — *А. К.*): или укусит, или одерет (расцарапает. — *А. К.*)». В других случаях мужчин судил княжеский суд по нормам «Русской Правды», но здесь мужи как бы сами поступались своей честью и уподоблялись «женам».

Наконец, Устав четко определял круг лиц, подведомственных исключительно епископскому суду. Это иноки («чернец и черница»), поп, попадья, проскурница (просвирня) — то есть «церковные люди» («тех судити епископу, опрично мирян, и во что их осудить волен»), а также, по-видимому, население тех сел, которые были переданы князем епископским кафедрам и монастырям: «А что деется в домовных людях и в церковных, и [в] самих монастырях, не вступается князь, ни волостель... а ведает их митрополичий волостель...»

«А кто уставление мое порушит, — угрожал в конце судебника Ярослав (или, может быть, от его имени позднейший редактор памятника), — или сынове мои, или внуки мои, или правнуки мои, или от рода моего кто, или от бояр кто, а порушат ряд мой и вступятся в суды митрополичьи, что есмь дал митрополиту и церкви и епископам по правилам святых отец, судивше, казнити по закону. А кто судиться станет со мною на Страшном суде пред Богом, и да будет на нем клятва святых отец 318, иже в Никее, и всех святых»[65].

Установления Ярослава значительно отличались от церковных норм, принятых в византийском Номоканоне, на который как будто ссылались Ярослав и Иларион. К юрисдикции Церкви в Киевской Руси оказались отнесенными такие правонарушения, которые по византийским законам либо были подсудны исключительно светской власти (хотя Церковь и налагала за них епитимии — церковные наказания), либо вообще преступлениями не являлись. Главное же отличие Церковного устава Ярослава от византийского законодательства заключалось в практике взимания штрафов, вир и продаж, с виновных лиц в пользу церковных властей[66]. Ничего подобного византийское церковное право не знало: канонические правила предусматривали только церковно-дисциплинарные средства воздействия на преступивших нормы христианского закона — увещания, епитимии, наконец, отлучение от Церкви. Светская же власть применяла жестокие уголовные наказания, в том числе такие, как смертная казнь или членовредительство, совершенно неизвестные славянскому праву. В этом отношении уместно сравнить наказания, предусматривавшиеся за одно и то же преступление по русским и византийским законам. Так, за «умыкание» девицы Устав Ярослава, как и в других подобных случаях, предусматривал денежную пеню: «Аже кто умчить девку или насилить, аже боярская дочь за сором ей 5 гривен золота... а на умычницех (похитителях. — *А. К.*) по

гривне серебра епископу, а князь казнит (наказывает. — *А. К.*)». А вот установления византийского права, процитированные в славянских «Книгах законных»: «Восхитивший жену... таковой мечом казнен будет, а сподобляющие ему (сообщники. — *А. К.*) бьемы и острижены, носы их урезать»[67]. По мнению современного исследователя древнерусской Церкви Ярослава Николаевича Щапова, можно говорить о вполне сознательном и целенаправленном отказе киевского князя и киевского митрополита от положений византийского Номоканона, хорошо известного в то время на Руси в славянском переводе. Более того, слова вводной статьи Устава: «...сложил есмь греческий Номоканон» исследователь понимает в значении: «*отверг* греческий Номоканон», что для официального княжеского документа, составленного вместе с митрополитом, кажется в высшей степени необычным[68].

Так Русь Ярославовой поры пыталась приспособить и подогнать под себя новые христианские нормы права, найти такие способы разрешения возникавших конфликтов, которые — по крайней мере внешне — укладывались в русло традиционных способов разрешения конфликтов в славянском обществе или тех новых установлений, которые вводились для княжеского суда «Русской Правдой». Конечно, эти христианские нормы очень трудно входили в жизнь. Так, например, христианский брак еще и к концу XI столетия оставался уделом преимущественно князей и бояр, о чем свидетельствует митрополит грек Иоанн. «Одни бояре и князья в церкви венчаются, — сетовал он в 80-е годы XI века вопрошавшему его о разных канонических тонкостях черноризцу Иакову, — простые же люди жен своих, словно наложниц, поимают, с плясанием, и гудением, и плесканием»[69]. (Заметим, кстати, что и Устав Ярослава не требовал непременного соблюдения христианского таинства заключения брака, но даже как будто признавал браки, заключенные по-языčески: «Аже муж с женою по своей воле роспустится (разведется. — *А. К.*), епископу 12 гривен, а будет не венчанный, епископу 6 гривен».) Конечно, едва ли все эти случаи «роспустов», «умыканий» и тому подобных нарушений христианской морали, особенно в среде «простой чади», влекли за собой ответственность, предусмотренную установлениями Ярослава. По-видимому, Устав вступал в силу лишь тогда, когда конфликт выходил за пределы семьи и тяжущиеся стороны сами обращались к епископскому суду. Насколько часты были такие случаи, сказать трудно, но, надо думать, епископы всячески старались сохранить за собой те права и

привилегии, которые предоставляла им княжеская власть, тем более что суммы штрафов, предусматривавшиеся Уставом, в денежном выражении были очень велики и в несколько раз превосходили виры и продажи по «Русской Правде».

Впрочем, говорить всерьез о каком-либо разрыве Русской церкви с Византийской в годы святительства Илариона, конечно же, не приходится. Даже если константинопольский патриарх и не признал прав Илариона на митрополию, едва ли Византия была заинтересована в обострении отношений со своим северным союзником. Напомним, что как раз в середине XI века усилился натиск печенегов на дунайские провинции Империи и именно печенежская угроза стала основой русско-византийского сближения в эти годы. Вероятнее всего, рассуждает по этому поводу современный исследователь, «по византийскому обычаю ставка была сделана на проволочку»: само время должно было привести к восстановлению прежнего способа замещения киевского митрополита[70]. Как мы знаем, расчет константинопольских стратегов вскоре полностью оправдается. Пока же контакты Киева с «Новым Римом» продолжались, как бы мы сказали сейчас, в полном объеме.

Так, именно при митрополите Иларионе в Русской церкви получает распространение так называемое демественное пение, пришедшее из Византии. В «Повести временных лет» об этом ничего не говорится, однако новгородско-софийские летописи рассказывают под 1052 годом о приходе в Киев «трех певцов»: «приидоша из Грек с роды своими»; это-то «демественники-певцы» и «научили в Руси петь в церкви на восемь голосов», различая, по словам В. Н. Татищева, «церковное [пение] от мирских песен, употребляемых ко увеселению»[71].

Свое название демественное пение получило от *доместиков* (или *демественников*), учителей, уставщиков пения. В Константинопольской Софии, например, было два доместика: один стоял на правом, а другой на левом клиросе, и каждый руководил певчими; между ними бывал еще великий доместик, от которого и зависел общий порядок в пении. Такое пение требовало большого искусства, точности и согласованности между певчими, но зато звучало исключительно слаженно, стройно и производило неизгладимое впечатление. Наверное, можно сказать, что реформа церковного пения, начатая в Русской церкви при митрополите

Иларионе, касалась только внешней стороны богослужения — но не эта ли внешняя сторона, красота церковной службы выражает самое существо богослужения как *угождения* Богу, прославления Его премудрости, благости и совершенства? Некогда русские мужи, посланцы Владимира, именно по признаку красоты выбрали для себя христианскую веру («...не знали — на небе или на земле мы, ибо нет на земле... красоты такой», — передает летопись их ощущения после службы в «Великой» Константинопольской церкви); теперь же и сама эта небесная красота византийского распева входила в каждодневную жизнь русских людей, становилась неотъемлемой частью русского богопочитания, приводя в такое же изумление посещавших Русь иноземцев. От тех «богоподвизаемых» греческих певцов, по высокопарному выражению авторов Степенной книги царского родословия, «начало быти в Русской земле ангелоподобное пение, изрядное осмогласие, наипаче же и трисоставное сладкогласование и самое прекрасное демественное пение в похвалу и славу Богу и Пречистой Его Матери и всем святым, в церковное сладкодушное утешение и украшение на пользу слышащим, во умиление душевное и во умягчение сердечное к Богу»[72].

Уже со второй половины XI столетия демественники, уставщики появляются в храмах и монастырях Русской земли — в Киеве, Новгороде и других городах; среди них мы видим отнюдь не греков, но русских, очевидно, успевших усвоить навыки византийского распева[73]. В Киеве же во второй половине XI века существовал особый «двор деместиков», который, по-видимому, был отведен греческим певцам, приехавшим в Киев «с роды своими». Располагался он «за Святою Богородицею»[74], то есть за Киевской Десятинной церковью, и можно думать, что именно этот храм стал главным центром демественного пения в Киевской Руси.

Святительство первого киевского митрополита-русина продолжалось очень недолго: всего три или четыре года. Скорее всего, Иларион покинул кафедру вскоре после кончины князя Ярослава Владимировича в феврале 1054 года; во всяком случае, под 1055 годом в летописях упоминается уже новый митрополит — грек Ефрем[75].

Можно думать, что поставление Ефрема на святительский престол явилось результатом некоего соглашения, компромисса между Константинополем и новым киевским кня-

зем Изяславом Ярославичем. Как мы знаем, Ефрем имел высокий придворный титул, то есть был близок ко двору императора; он также известен как полемист и, несомненно, был знатоком канонического права. О его деятельности во главе Русской церкви нам известно очень немногое, но даже этого, пожалуй, достаточно для того, чтобы увидеть в Ефреме отнюдь не продолжателя, но скорее ниспровергателя церковной политики его предшественника.

Так, именно при митрополите Ефреме подвергся лишению кафедры и трехлетнему заточению под стражу новгородский епископ Лука Жидята — один из вероятных участников собора 1051 года и ставленник князя Ярослава Владимировича. При том же Ефреме и также в связи с «делом Луки» летопись впервые сообщает о применении на Руси обычного для византийского судопроизводства, но совершенно чуждого славянскому обществу членовредительства: как мы помним, после освобождения из-под стражи Луки в Киеве был казнен оклеветавший его холоп Дудика, которому — в полном соответствии с византийскими законами — «устне и нос срезаша и обе руки усекоша». Эта мера находится в резком противоречии с нормами «Устава князя Ярослава» или «Русской Правды»[76].

Говорили мы и о том, что именно Ефрем первым из русских иерархов вступил в полемику с латинянами, став автором антикатолического трактата, получившего широкое распространение в византийской и русской литературе[77]. Это был один из первых откликов на схизму 1054 года — окончательный раскол между Западной и Восточной церквями. Несомненно, после 1054 года ситуация в христианском мире сильно изменилась по сравнению с годами княжения Ярослава — но вместе с тем нельзя не отметить, что резкий тон неприятия западного христианства, который будет звучать и в полемическом трактате Ефрема, и в более поздних антилатинских сочинениях, написанных или переписанных на Руси, чужд духу Иларионова «Слова о законе и благодати» и всей политике князя Ярослава Мудрого.

Наконец, нельзя не вспомнить о повторном освящении Киевской Софии митрополитом Ефремом 4 ноября неизвестного года (об этом также шла речь на страницах книги)[78]. В литературе уже высказывалось предположение: не свидетельствует ли этот акт о признании новым киевским митрополитом незаконными всех тех действий, которые совершались в главном кафедральном соборе Киева при его предшественнике, так и не получившем благословение пат-

риарха, а потому не имевшем права восседать на митрополичьем престоле[79]? Но если так, то разрыв с прежней церковной политикой после смерти Ярослава был осуществлен в Киеве не просто открыто, но демонстративно и притом с явного одобрения князя Изяслава Ярославича.

Что же касается самого Илариона, то о его дальнейшей судьбе мы не можем сказать ничего определенного. Умер ли он еще до 1055 года, освободив тем самым киевскую кафедру, или же покинул ее по какой-то иной причине, неизвестно. Иногда полагают, что после смерти Ярослава Иларион удалился в Антониев монастырь, вернувшись в ту самую пещеру, с которой началась его столь блистательная карьера[80]. Действительно, в написанном печерским постриженником Нестором Житии преподобного Феодосия, игумена Печерского, имеется рассказ о некоем чернеце Иларионе (или Ларионе), бывшем, по словам Нестора, искусным книгописцем: «бяше бо и книгам хытр писати, сий по вся дни и нощи писаше книги в келии у блаженного отца нашего Феодосия»; со слов этого Илариона Нестор и узнал многие подробности из жизни печерского игумена[81].

Рассказывал чернец Иларион Нестору и о своей жизни в обители; жизнь эта была тяжкой и исполненной борьбой с «пронырливыми» бесами, которые «многую пакость» творили ему в келии: «Как только ложился он на своей постели, появлялось множество бесов и, схватив его за волосы, тащили и толкали... И так каждую ночь творили с ним, и, уже не в силах терпеть, пошел он к преподобному отцу Феодосию и поведал ему о пакости бесовской. И хотел перейти от этого места в иную келью; блаженный же стал упрашивать его, говоря: “Нет, брат, не отходи от места того, да не станут похваляться злые духи, что победили тебя... и с той поры еще большее зло начнут тебе причинять, ибо получат власть над тобою. Но да молись Богу в келии своей, и Бог, видя твое терпение, подаст тебе победу над ними”». И лишь после того как игумен перекрестил инока и напутствовал его, тот без боязни вошел в свою келью. «И так в ту ночь лег в келии своей, спал сладко; и с того времени пронырливые бесы не смели приближаться к месту тому, ибо отогнаны были молитвами преподобного отца нашего Феодосия и обратились в бегство».

Однако Нестор нигде даже не намекает на то, что незадачливый инок, столь много претерпевший от «пронырства» бесов, — бывший киевский митрополит. Да и выглядит печерский Иларион явно младше игумена Феодосия, чего нельзя сказать в отношении митрополита Илариона. Так что

поостережемся утверждать, что два этих человека — одно и то же лицо, ибо простого совпадения имен и общего для обоих навыка в книгописании для такого утверждения недостаточно[82].

Может показаться странным, что столь значительные преобразования во внутренней жизни Русского государства падают лишь на несколько последних лет княжения Ярослава Владимировича, когда князь пребывал уже в «маститой старости» и болезнях. Но дело здесь, наверное, не только в том, что эти несколько лет вобрали в себя опыт предшествующих десятилетий христианского развития Руси. Не стоит забывать о неразрывной связи, существовавшей в средневековом обществе между внутренней и внешней политикой: первая чаще всего подчинена второй. Те годы, когда Ярослав был полон сил, прошли в борьбе за киевский престол, в войнах и походах. И только после объединения под своей властью всей Руси и окончательной победы над печенегами Ярослав смог приступить к широкомасштабной программе укрепления и христианского переустройства всего своего государства.

Начиная с этого времени, Ярослав далеко не всегда сам водит свое войско в военные походы, доверяя это сыну Владимиру и киевским или новгородским воеводам. Поход 1047 года, кажется, был для него вообще последним — более летописи не упоминают о его личном участии в войнах, да и вообще о войнах Ярослава: князь решил все те задачи, которые ставил перед собой в предшествующие годы, а на большее у него, наверное, не хватало сил. Если прежде Ярослав каждый год, а то и по нескольку раз в год, совершал поездки из Киева в Новгород и обратно, то в последние годы жизни ему трудно было выдерживать столь долгий и утомительный путь, да и особой надобности в этом не возникало. В последний раз летопись намекает на его присутствие в Новгороде в 1050 году, когда был освящен Новгородский Софийский собор, но и относительно этой поездки можно говорить лишь предположительно. Теперь вместо князя между Киевом и Новгородом снуют княжеские гонцы, а также приближенные к князю бояре, по-видимому, наделенные немалыми полномочиями. (Имя одного из таких посланцев нам уже знакомо — это некий Никола, «пришлец из Киева града, от своего князя Ярослава», оставивший надпись-автограф на стене Софийского собора в Новгороде[83].) Можно думать, что князь по-прежнему часто по-

кидал свой киевский двор, не желая подолгу засиживаться на одном месте, но маршруты его поездок ограничивались ближней к Киеву округой — загородным сельцом Берестовым, княжеским Вышгородом, может быть, относительно недалеким Переяславлем на Трубеже...

И, как это нередко бывает, столь длительное присутствие князя в своем стольном граде оборачивалось существенными изменениями во всем строе жизни его страны. Князь не мог заниматься войнами — но, значит, у него появлялось больше времени для устроения внутренних дел. И если физические силы давно уже оставили его, то дух, воля были по-прежнему крепки. И едва ли мы ошибемся, если предположим, что до самого своего смертного часа князь Ярослав прочно удерживал в своих руках все нити управления государством.

Глава двенадцатая

КРУГ ЗЕМНОЙ. ЗАВЕЩАНИЕ

«В лето 6560 (1052), марта в 3-е, розгремелось в 9-й час дня; было же то на святого мученика Евтропия». Такую исполненную благоговения надпись вывел на стене Киевского Софийского собора, стоя на коленях, некий клирик или прихожанин, современник князя Ярослава[1].

Наверное, это была какая-то необыкновенная гроза, приведшая в трепет жителей Киева. В начале марта гроза вообще в редкость, и потому, прислушиваясь со страхом к раскатам грома, — тем более что шла первая, самая строгая неделя Великого поста, — люди молились, размышляя о том, какое еще наказание может быть ниспослано им свыше. А самые образованные из них, начитанные в боговдохновенных писаниях и житиях святых (к их числу, несомненно, принадлежал и автор софийской надписи), вспоминали Житие святого Евтропия, мученика раннехристианской поры (ум. около 308), память которого отмечалась в этот день. Осужденный на мучения вместе со своим братом Клеоником и Василиском, племянником святого Феодора Тирона (которому и была посвящена первая неделя Великого поста), святой обратился к Богу с мольбой о наказании язычников — и внезапно «загремел гром, заколебалась земля, содрогнулось капище, и правитель со всеми выбежал из храма»[2]. Люди того времени искали некий мистический, сокровенный смысл в подобных совпадениях. Но к кому из правителей Киевской земли мог быть обращен тайный намек? И в чем именно он состоял?

На рис. — крестик домонгольского времени, найденный под Киевом.

Этого, конечно, никто не знал... Но удивительное дело: пройдет два года, и в ту же первую, Федоровскую, неделю Великого поста распрощается с жизнью сам князь Ярослав Владимирович.

Он был уже очень стар, ему шел восьмой десяток лет — возраст почти немыслимый по тем временам, особенно для князя, воина. Один за другим уходили в иной мир близкие ему люди, те, кто был много моложе его. 10 февраля 1050 или 1051 года скончалась княгиня Ирина, с которой князь Ярослав прожил больше тридцати лет[3]. Былые ссоры давно изгладились в памяти, и князь в полной мере ощутил постигшую его утрату. Княгиню похоронили в Киеве, по-видимому, в Софийском соборе[4], где давно уже приготовлено было место для самого Ярослава.

А осенью 1052 года, 4 октября, в воскресенье, в Новгороде умер старший сын Ярослава Владимир. Эта смерть, надо полагать, особенно огорчила князя, ибо именно во Владимире должен был видеть он своего преемника на киевском престоле. Князь Владимир был похоронен в Новгороде, в Софийском соборе, построенном им самим; его провожали в последний путь епископ Лука, новгородские священники и горожане. Ярослав, наверное, так и не смог приехать в Новгород.

Смерть Владимира заставила Ярослава позаботиться об устроении остальных сыновей. Место старшего брата в качестве преемника отцовской власти занял следующий по старшинству Изяслав. Ярослав не стал перераспределять волости между сыновьями, как это некогда сделал его отец. Изяславу остался Туров, в котором он прежде княжил, но вместе с тем он получил и Новгород, «старейший» из всех городов Руси после Киева. Помимо прочего, это должно было означать, что и Киев отойдет Изяславу после смерти отца. Так вскоре и случится. «Изяславу же князю... предержащу обе власти: и отца своего Ярослава, и брата своего Володимира», — запишет в 1057 году диакон Григорий, писец знаменитого Остромирова Евангелия.

Нельзя сказать, чтобы Изяслав разделял политические пристрастия своего отца. В качестве киевского князя он будет проводить политику отличную от политики Ярослава — и мы уже отчасти говорили об этом, когда касались судьбы сподвижника Ярослава митрополита Илариона. То же увидим мы и в Новгороде. Так, например, сразу же после смерти Ярослава Изяслав прекратит выплату новгородской дани варягам, установленной «мира для» еще легендарным Олегом и исправно выплачиваемой и Ярославом, и его сыном

Владимиром. Дань эта была, по-видимому, не слишком популярна в Новгороде, однако Ярослав, до конца своей жизни благоволивший варягам, неукоснительно соблюдал ее, как соблюдал и все другие обязательства, связывавшие его со скандинавским миром, несмотря на то, что роль варягов в политической жизни Руси к концу его княжения постепенно сошла на нет. (Неудачная для русских война с Византией в 1043 году стала последним событием русской истории, в котором варяги приняли участие в качестве самостоятельной политической силы.) В поспешности, с которой Изяслав отменил отцовское установление, наверное, можно увидеть его желание угодить новгородцам, но вместе с тем еще и его желание отстраниться от политического наследия отца. Об отношении нового киевского князя к соратникам и сподвижникам Ярослава свидетельствует, между прочим, и незавидная участь новгородского епископа Луки Жидяты, осужденного митрополитом Ефремом по лживому навету едва ли не с одобрения Изяслава. И Лука окажется далеко не единственным из видных представителей предыдущей эпохи, кто пострадает в начале киевского княжения Ярославова сына.

Как относился к Изяславу сам Ярослав и как вообще складывались его отношения с сыновьями, помимо Всеволода, которого «Повесть временных лет» называет любимцем отца, мы не знаем. Однако Ярослав должен был отчетливо сознавать: распределяя те или иные области среди своих сыновей, ему надлежало руководствоваться не отцовскими чувствами, а исключительно целесообразностью и справедливостью, как они понимались в то время, ибо только это могло уберечь страну от братоубийственной бойни, подобной той, что началась после смерти его собственного отца Владимира. Потому-то Ярослав без колебаний передавал Новгород Изяславу, лишая тем самым отцовского удела своего старшего внука Ростислава.

Все острее ощущая свое одиночество, князь по-особому, наверное, вглядывался в изображение собственной семьи под сводами Киевской Софии. На ктиторской фреске собора он подносил выстроенный им храм Христу, а вместе с ним — по обе стороны от Христа — выстроились члены его семьи, большинство из которых уже не было рядом. И только здесь мог он видеть теперь княгиню Ирину, дочерей — в том числе, покинувших Русь Елизавету, Анастасию и Анну, а также всех своих сыновей, шествие которых к Христу возглавлял со свечою в руке ушедший из жизни Владимир[5]. На этой фреске — судя по копии, снятой с нее еще в XVII ве-

ке и дошедшей до нас также лишь в копии, — сам Ярослав и его супруга были изображены в роскошных византийских одеяниях, очень напоминавших императорские: на плечи Ярослава была наброшена мантия, скрепленная у правого плеча фибулой; орнамент мантии, украшенной драгоценными каменьями, состоял из крупных кругов с изображениями орлов — символов власти византийских василевсов; на голове князя художник изобразил венец — по-видимому, так называемую стемму, которой те же василевсы увенчивали себя[6]. Надо полагать, именно таким — почти василевсом — и хотел выглядеть киевский князь в глазах своих подданных или посланцев иноземных правителей; именно так облачался он в последние годы жизни в особо торжественных случаях. Титул князя, которым владел и он сам, и его предки, наверное, казался недостаточным ему. Современники все чаще именовали его либо *каганом* (как митрополит Иларион в своем «Слове»), либо *царем* или, точнее, *цесарем* — титулом, который в древней Руси прилагался к василевсам — императорам Византийской империи; князь Ярослав, насколько нам известно, первым из древнерусских князей назвал себя так. И, пожалуй, он имел на это право, ибо и вел себя *по-цесарски* — уподобляя свой город граду Святого Константина или поставляя по своей воле святителя на киевскую митрополию (а это в глазах его современников являлось прерогативой императора)[7]. Именно царем будет назван Ярослав и в надписи о его кончине, выведенной на стене Софийского собора, и эта надпись достойно увенчает его долгое киевское княжение.

Но, как бывает всегда, жизнь подавала князю поводы не только для печали, но и для радости. Под 1053 годом летописи сообщают о рождении у него еще одного внука: «У Всеволода родился сын, и нарече имя ему Володимер, от царицы грекини»[8]. Это был первенец князя Всеволода Ярославича, знаменитый в будущем Владимир Мономах. Его появление на свет стало событием долгожданным не только для отца, но и для деда: русско-византийский союз, заключенный Ярославом несколькими годами раньше, давал наконец конкретные, зримые всходы — новорожденный княжич с гордым именем Мономах стал внуком не только самого Ярослава, но и правящего императора ромеев.

Сам князь Владимир Всеволодович напишет впоследствии о себе так: «Аз, худый, дедом своим Ярославом, благословленным, славным, нареченный в крещении Василий, русским именем Володимер, отцом возлюбленным и матерью своею Мономахи...»[9] А явствует из этих слов, между

прочим, что сам Ярослав выбирал для него имя. Может быть, он даже приезжал в Переяславль для того, чтобы принять участие в крестинах своего внука, хотя более вероятно, что Владимир появился на свет в Киеве, где подолгу жил его отец. Имя Владимир, равно как и христианское имя Василий, дано было княжичу, несомненно, в честь его великого прадеда, князя Владимира Святославича, Крестителя Руси. Но, нарекая внука, Ярослав не мог не вспоминать о недавно скончавшемся старшем сыне, новгородском князе Владимире Ярославиче. И если тому не суждено было стать продолжателем его дела, то, может быть, это удастся внуку. Так, уже «на санях сидя», по образному выражению того же Мономаха, то есть готовясь уйти из жизни, князь Ярослав успел передать некий мысленный скипетр власти самому выдающемуся из своих потомков, великих князей Киевских.

Последние годы жизни князя Ярослава очень скупо освещены источниками. В нашем распоряжении имеются лишь отдельные, случайные свидетельства современников или ближайших потомков князя, касающиеся тех или иных эпизодов его биографии. Но тем бóльшую ценность они представляют.

В 1048 или 1049 году с князем Ярославом, уже старцем, встречался упоминавшийся нами шалонский епископ Роже, посланец французского короля Генриха I. Он оставил рассказ об этой встрече; правда, посвящен его рассказ одному-единственному сюжету — судьбе мощей горячо почитаемого на Западе, а также в древней Руси римского епископа Климента, принявшего, по преданию, мученическую смерть около 101 года в Херсонесе. По словам Роже, о судьбе святого Климента ему рассказывал сам «король той страны», то есть Ярослав, которого французский епископ называет то славянским, правда, искаженным, именем — Оресклав, то христианским — Георгий (Георгий Скав, или Склав, что, вероятно, означает «Георгий раб»). Причем рассказывал Ярослав вещи весьма удивительные для своего собеседника.

Так, от Ярослава Роже узнал о том, что некогда «папа Юлий (? — *А. К.*) прибыл в ту область, где покоился святой Климент (то есть в Херсонес. — *А. К.*) для борьбы с ересью, которая процветала в тех краях. Когда, сделав дело, папа из тех краев отправился было назад, явился ему ангел Господень и сказал: “Не уходи, ибо от Господа повелено тебе вер-

нуться и перенести тело святого Климента, которое до сих пор лежит в море"... Папа отправился туда и перенес тело святого Климента и положил его на берег и построил там церковь; затем, взяв от тела часть мощей, увез с собой в Рим. И случилось так, что в тот же день, в какой римский народ встречал с высочайшими почестями принесенные им мощи, могила, оставленная в море, поднялась вместе с дном над водами, и сделался остров, на котором жители той земли построили церковь и монастырь. С тех пор к той церкви плавают на кораблях». Кроме того, «названный король... рассказывал также шалонскому епископу, что в свое время он побывал там и привез оттуда с собой главы святых Климента и Фива, ученика его, и положил их в городе Киеве, где они чтимы и поклоняемы. И даже показывал эти главы упомянутому епископу»[10].

Рассказ епископа Роже — уникальное свидетельство человека, лично общавшегося с князем Ярославом. Но, увы, рассказ этот выглядит путаным и во многом противоречивым. Так, нам ничего не известно о посещении папой Юлием I (337—352) Крымского полуострова и о каком-либо его отношении к останкам Климента Римского, захороненного на одном из затопляемых островков близ Херсонеса (в нынешней Казачьей бухте Севастополя); кажется, во времена Юлия Климент еще не почитался здесь как святой. Судя по всему, Роже приписал римскому первосвященнику те заслуги в восстановлении почитания святого Климента, которые в действительности принадлежали первоучителю славян Константину (Кириллу) Философу — ибо именно Константин, посетив Херсонес во время своей миссионерской поездки в Хазарию, после долгих разысканий обнаружил святые мощи и с великой торжественностью, в присутствии херсонесского епископа Георгия и местных священников, перевез их в город, где положил в одном из храмов. Часть мощей Константин забрал с собой и позже привез их в Рим, где они были положены в церкви святого Климента; спустя немного времени в этой церкви был похоронен и сам первоучитель славян. Об обретении им мощей святого Климента подробно рассказывалось в славянских сочинениях — Житии святого Константина Философа, написанном им самим «Слове на перенесение мощей святого Климента» и Проложном сказании о перенесении мощей святого «от глубины моря в Корсунь», — а также в некоторых латинских памятниках[11]. Но едва ли путаница произошла по вине Ярослава — скорее, можно предположить, что французский епископ, получавший сведения из разных источников — в

том числе, кажется, письменных, не всегда правильно понимал их. Возможно, его ошибка объяснялась как раз тем, что ни в «Слове на перенесение мощей святого Климента», ни в Проложном сказании (с которыми он мог ознакомиться с помощью переводчиков) имя Константина Философа не упоминалось: он сам из скромности умолчал о своем участии в этом событии. Но вот откуда в рассказ епископа Роже попало имя папы Юлия, так и остается загадкой.

Едва ли можно с доверием отнестись и к известию епископа Роже о том, что Ярослав лично привез в Киев главы святых Климента и его ученика Фива. В том, что Роже видел эти святыни в Киевской Десятинной церкви, сомневаться не приходится*. Однако из русских источников («Повести временных лет», памятников «Владимирова цикла», то есть различных вариантов Жития святого Владимира, и так называемого «Слова на обновление Десятинной церкви») мы определенно знаем, что эти святыни были привезены в Киев князем Владимиром Святославичем в 989 году, после завершения Корсунского похода[12]. Получается, что Роже либо вновь не совсем верно понял своих русских информаторов, либо решил несколько переосмыслить события, заодно прихвастнув знакомством с самим «королем той страны». (Менее вероятно, что Ярослав сознательно вводил в заблуждение французского епископа, приписывая себе честь привоза в Киев драгоценной святыни, как иногда полагают[13]: истинные обстоятельства появления мощей святого Климента и прочих «корсунских древностей» в Киеве были слишком хорошо известны киевлянам.)

По словам епископа Роже, киевский князь лично показывал ему главы святых Климента и Фива, хранящиеся в Киевской Десятинной церкви. Но даже если и это не совсем так, готовность, с которой Ярослав откликнулся на его просьбу, очень показательна. Правителю Киева явно льстило то внимание, с каким отнеслись к святыням его города приехавшие издалека гости.

Французского епископа, несомненно, должна была удивить прекрасная осведомленность русского князя относи-

---

* Слова Роже полностью подтверждаются летописью; так, известно, что в 1147 году главой святого Климента поставлялся на киевскую кафедру митрополит Климент Смолятич. Отметим также, что святой Фив, ученик святого Климента, вообще не почитался нигде в христианском мире, помимо Киева и, может быть, Херсонеса и его имя французский епископ мог узнать только на Руси. (Имя Фив присутствует в греческом и славянском текстах Мучения святого Климента, но только вместе с именем другого ученика святого Климента, Корнилия.)

тельно судьбы римского мученика. И это неудивительно. Древняя Русь почитала святого Климента как одного из главных своих небесных покровителей, а его мощи в течение двух веков считались главной христианской святыней Киева. «Присный заступник стране Русской, и венец преукрашенный славному и честному граду нашему... — восклицал, обращаясь к святому Клименту, древнерусский книжник, автор написанного во второй половине XI или в XII веке «Слова на обновление Десятинной церкви», — тобою русские князья похваляются, святители ликуют, иереи веселятся, монахи радуются, люди добродушествуют, приходя с горячею верою к твоим христоносным мощам...»[14] В числе русских князей, «похваляющихся» святым Климентом, несомненно, был и Ярослав Мудрый. Более того, у киевского князя имелись, кажется, особые причины для почитания святого: ниже мы будем говорить о предположении ученых, согласно которому князь Ярослав использовал для собственного погребения вывезенную из Корсуни мраморную гробницу Климента Римского.

Некоторые черты характера Ярослава явственно проступают и в известном нам Проложном сказании об освящении церкви святого Георгия в Киеве[15]. Щедрость князя, заполнившего кунами «комары» киевских Золотых ворот, наверное, немало удивила киевлян. Но эта щедрость имела вполне объективные причины, таившиеся в экономическом процветании Киевского государства в годы княжения Ярослава Мудрого. Его успешная внешняя политика, налаженные им механизмы управления страной и взимания разного рода даней, вир и продаж, а также другие принятые им меры давали ощутимые результаты. Историки с уверенностью говорят о том, что Русь XI века переживала пору настоящего экономического бума[16]. Но при этом очевидно, что и в своем отношении к деньгам Ярослав последних лет жизни претерпел заметные изменения по сравнению с прежним Ярославом, скупость которого не раз подчеркивали как русские, так и скандинавские источники. Отметим, кстати, что установленные им расценки за дневной труд «делателей», занятых на строительстве Георгиевского храма («по ногате на день»), находят прямое соответствие в нормах «Русской Правды»: согласно известному нам «Уроку мостникам», именно такую плату должны были взимать «мостники» и «городники» с тех общин, на территории которых они производили работы. В Киеве по ногате в день платил сам Ярослав, и платил каждому из работников, во множестве притекавших к нему: строительство храма было для него не столько государствен-

ным, сколько личным делом, и он честно брал на себя и выполнял все те обязательства, которые им же были установлены для других.

Наконец, некоторое представление о киевском князе в последние годы его жизни могут дать рассказы памятников «борисоглебского цикла» о посмертных чудесах святых Бориса и Глеба — при всей условности их отнесения ко времени княжения Ярослава и при всей очевидности использования в них привычных агиографических приемов и «общих мест». В них мы видим князя Ярослава искренне заботящимся о церковном прославлении святых братьев, действующим рука об руку с киевским митрополитом, раздающим щедрую милостыню и устраивающим «пир велик» совсем в духе своего отца — «не токмо боляром, но и всем людям, паче же нищим и всем вдовицам и всем убогим», и «празднующе» так «до осьмого дня»[17]. (Между прочим, это едва ли не единственное указание на «пиры» Ярослава в древнерусских источниках — прежде мы встречали упоминания о них только в скандинавских сагах, и участниками этих пиров были почти исключительно иноземные наемники князя.)

Впрочем, среди посмертных чудес святых Бориса и Глеба есть и такое, которое изображает князя Ярослава, пожалуй, не в самом выгодном для него свете. Это так называемое чудо об узниках, которое диакон Нестор относил к последним годам княжения Ярослава Владимировича.

«В некоем граде» (как видно из дальнейшего, в Вышгороде), рассказывается в «Чтении о святых Борисе и Глебе», были мужи, «осужденные от старейшины града того и посаженные в погреб (темницу. — *А. К.*); и много времени провели они в нем... отчего были в печали многой». Несчастные, томившиеся в тяжких железах, призвали на помощь святых Бориса и Глеба, и те не замедлили прийти им на помощь: в одну из ночей они сами предстали перед узниками. «Не бойтесь, мы — те самые Борис и Глеб, которых призываете вы в молитве своей, — обратились святые князья к ним, — и вот ныне пришли освободить вас от скорби той... И потому не сможет никакого зла сотворить вам судия, но отпустит вас с миром». И в тот же миг с узников спали железа, а святые сделались невидимы. Услышав шум, к темнице прибежали стражники. К своему удивлению, они нашли ее разрушенной; узники же сидели свободными, а оковы валялись перед ними. Когда о случившемся узнал «судия» града, то он, придя в великое изумление, «отпустил их с миром и возвестил обо всем том христолюбцу Ярославу». «Тем же

образом многие, бывшие в железах и в погребах, избавились, не только в одном том граде, но и во всех местах», — завершает свой рассказ Нестор[18].

Надо заметить, что в анонимном «Сказании о святых» — еще одном памятнике «борисоглебского цикла» — «чудо об узниках» приурочено совсем к другому времени, а именно к киевскому княжению внука Ярослава, князя Святополка Изяславича (1093—1113)[19], и эта версия представляется историкам более соответствующей действительности (хотя бы потому, что автор «Сказания» ссылается на неких «самовидцев» случившегося чуда). Но даже если Нестор ошибался, относя чудо в вышгородской темнице ко временам Ярослава, его ошибка выглядит очень красноречивой. Очевидно, в конце XI — начале XII века, когда он составлял свой труд, в Киеве хорошо помнили о том, что при «христолюбце» Ярославе в «узах и погребах» томилось немало несчастных, а в таких случаях среди действительных злодеев всегда оказываются люди, невинно пострадавшие или даже не знающие, в чем именно состоит их вина. Да и не Ярослав ли в течение почти двадцати лет удерживал в заточении ни в чем не повинного Судислава, своего брата, а еще раньше предал смерти новгородского посадника Константина? Такие вещи, конечно, не могли быстро забыться.

В целом же последние годы Ярослава протекали относительно спокойно, без внешних потрясений, войн или мятежей. Своим сыновьям он оставлял Русь совсем не такой, какой застал ее в начале своего киевского княжения. За тридцать пять лет его пребывания на престоле разительно изменился не один Киев, главный город его державы, но и прочие русские города, украсившиеся, по выражению западного хрониста, «белой ризой церквей». Единое Киевское государство связывали не только железная воля киевского князя, но и созданная им система государственной власти — принятые им законы и установления, составившие его знаменитый судебник — «Русскую Правду»; целая иерархия княжеских слуг, исполнителей княжеской воли — посадников, судий, вирников, то есть сборщиков княжеской виры, которые в каждом конкретном случае могли действовать уже не по прямой указке князя, но сообразно выработанной им общей политике; наконец, получившая при Ярославе свое оформление церковная организация, возглавляемая киевским митрополитом и епископами. На рубежах Русской земли вырастали новые города и крепос-

ти — в том числе и те, которые были названы именем самого князя, — Ярославль на Волге, Юрьев в Чудской земле, другой Юрьев на Роси. И имя Ярослава, равно как и имя его небесного покровителя, ставшего покровителем всей Руси, — святого Георгия, защищало Русскую землю подобно самым прочным крепостным стенам и земляным валам.

Каждый из этих городов, да и многие другие города Русской земли — такие, как Ростов или Суздаль на востоке, Псков или Новгород на севере, Берестье или Белз на западе, Корсунь или Треполь на юге, — становились этапами его жизненного пути, очерчивая некий земной круг, вобравший в себя всю бурную жизнь князя: его походы, его битвы, его победы и поражения, заключенные им мирные договоры; его доблесть, мужество, его рассудительность, его изворотливость, хитрость, коварство, его жестокость, порой его откровенную трусость — ибо все эти качества он проявлял в своей жизни в избытке. Круг замыкался или, точнее, почти замыкался (ибо если князь появился на свет близ Киева, в сельце Предславино на Лыбеди, то завершал он свою жизнь в ближнем к Киеву Вышгороде на Днепре) — оставляя едва различимый — особенно в масштабах всей огромной Руси — зазор между точкой его прихода в мир и точкой ухода из мира...

По-видимому, еще при жизни князь предоставил уделы своим сыновьям: как мы уже говорили, Изяслав княжил в Турове, а затем еще и в Новгороде, Святослав — в Чернигове и, кажется, во Владимире на Волыни (во всяком случае, именно здесь его застало известие об отцовской смерти), Всеволод — в ближнем к Киеву Переяславле. Трое старших Ярославичей особо были выделены отцом; младшие же, Игорь и Вячеслав, не занимали в его планах подобающего им места. Может быть, это объяснялось слабостью их здоровья: известно, что оба младших сына Ярослава умерли еще молодыми людьми: Вячеслав в 1057 году, а Игорь в 1060-м. В истории Руси они не оставили заметного следа*.

---

* Может быть, поэтому в некоторых источниках сообщается, что у Ярослава было всего трое сыновей, наследников его власти. Так полагали, например, новгородский книжник, автор статьи «А се по святом крещении, о княжении Киевском», включенной в Новгородскую Первую летопись младшего извода (см. ниже), а также автор Псковской Второй летописи («...а у Ярослава 3 сына: Изяслав, Святослав, Всеволод»). Трое сыновей Ярослава известны и по скандинавским сагам;

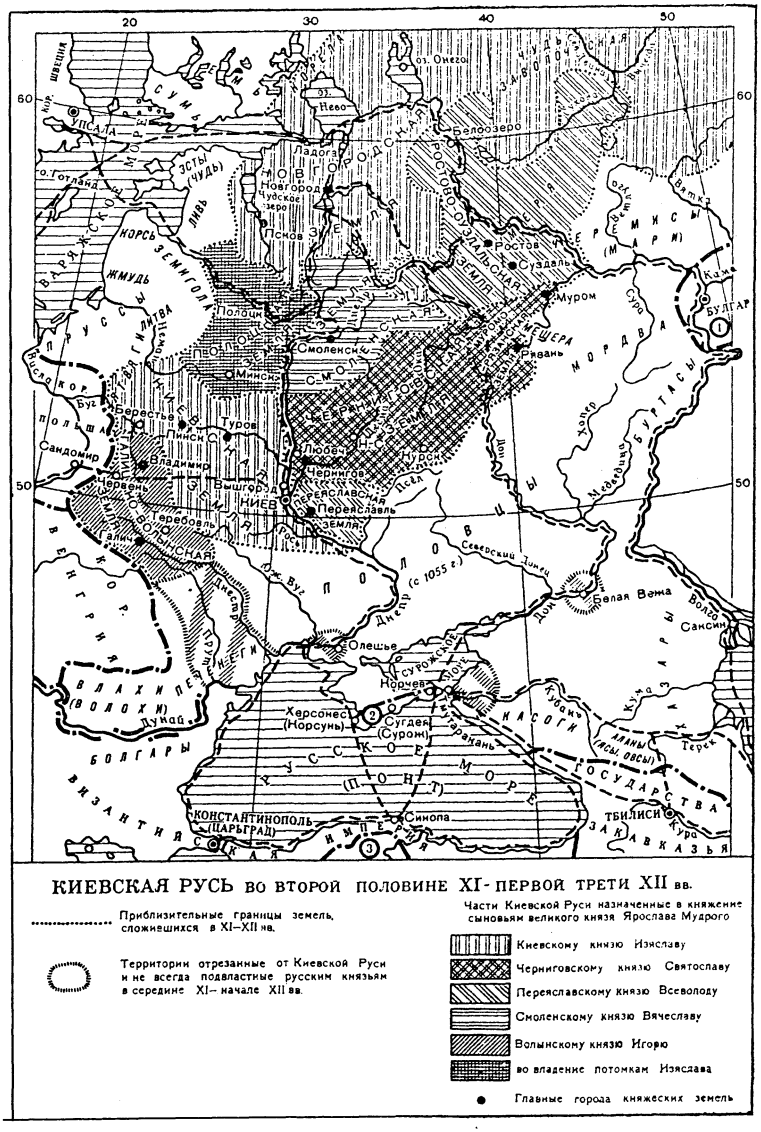
Именно со старшими сыновьями Ярослав принимал важнейшие решения, касавшиеся всего княжеского семейства и всей Русской земли. Так, по мнению ряда исследователей, еще при его жизни и с его ведома трое старших Ярославичей приняли новую редакцию «Русской Правды», введя двойную (в 80 гривен) виру за убийство княжеского слуги (установления самого Ярослава признавали лишь 40-гривенную виру)[21]. Впрочем, «Повесть временных лет» ничего не сообщает об этом, упоминая лишь один съезд сыновей Ярослава, состоявшийся незадолго до смерти киевского князя. И сам этот съезд, и решения, принятые на нем князем Ярославом, оказали огромное влияние на последующие судьбы всего Русского государства.

«Еще когда жив был [князь Русский Ярослав], — рассказывает летописец, — *нарядил* он сыновей своих (то есть дал им *ряд*, установление. — *А. К.*)...» А далее следует текст собственно «ряда» — завещания Ярослава, который, впрочем, киевский летописец едва ли передает дословно[22].

«Се аз отхожу [от] света сего, сынове мои, — обращался князь Ярослав к стоявшим перед ним князьям, самому старшему из которых, Изяславу, было без малого тридцать лет, а самому младшему, Вячеславу, — около восемнадцати. — Имейте в себе любовь, потому что вы — братья, единого отца и матери. И если будете в любви между собою, Бог будет в вас и покорит вам противящихся вам, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и раздорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но пребывайте мирно, слушаясь брат брата...»[23]

Ярослав знал, о чем говорил. В его памяти навсегда остались картины братоубийственной войны за Киев после смерти Владимира Святого, в которой он сам пролил немало крови. И потому Ярослав стремился не допустить повторения этих страшных событий. Не случайно он напомнил сыновьям о том, что все они — дети одного отца и одной матери: для древней Руси это обстоятельство имело особое, принципиальное значение. Мы уже говорили, что родство по матери связывало сыновей особо крепкими узами — а значит, у Ярославичей, в отличие от тех же Владимировичей, не было формальных оснований для вражды друг с другом.

правда, поименно названы в них «Вальдимар», то есть умерший еще при жизни отца Владимир Ярославич, «Висивальд», то есть Всеволод, а также некий загадочный «Хольти Смелый», в котором скорее всего следует видеть того же Всеволода Ярославича[20].



Киевская Русь во второй половине XI — первой трети XII века. Уделы сыновей Ярослава.

«Се же поручаю в свое место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Киев, — продолжал Яро-

слав, — сего слушайтесь, как слушались меня, да будет он вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир (Волынский. — *А. К.*)*, а Вячеславу Смоленск...»

Ярослав назвал лишь главные города княжений своих сыновей, но нет сомнений, что он более точно определил удел каждого из них. Так, в тексте его завещания, как он передан в «Повести временных лет», не упомянут Новгород, хотя мы знаем, что еще при жизни Ярослава этот город получил Изяслав. Более подробно о распределении городов и волостей между сыновьями Ярослава сообщается в Новгородской Первой летописи младшего извода; правда, упомянуты здесь лишь трое старших Ярославичей: после преставления Ярослава «остались трое сыновей его: вятший (здесь: старший. — *А. К.*) Изяслав, а средний Святослав, меньший Всеволод. И разделили землю, и взял больший Изяслав Киев и Новгород и иные города многие киевские во пределах; а Святослав — Чернигов и всю страну восточную и до Мурома; а Всеволод — Переяславль, Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье»[25]. Очевидно, все эти области были прямо завещаны им отцом.

Так трое старших Ярославичей получили уделы в собственно «Русской земле» (в узком значении этого названия), то есть в Поднепровье. Ранее ни Святослав, ни Владимир не выделяли Переяславль или Чернигов — старейшие русские города — в качестве самостоятельных уделов. Ярослав пошел на такой шаг. Ему это было сделать тем проще, что Чернигов уже успел побывать стольным градом державы его брата Мстислава. Но тем самым на старших Ярославичей возлагалась коллективная ответственность за всю «Русскую землю», в том числе за Киев, которую прежде нес один лишь киевский князь. И Святослав, и Всеволод смотрели на стольный город Руси отнюдь не только как на удел своего старшего брата, но прежде всего как на «отчий стол», на который они даже при жизни Изяслава имели особые права.

---

* Упоминание об Игоре отсутствует в большинстве списков «Повести временных лет», за исключением Академического; зато оно имеется в новгородских летописях: Новгородской Первой младшего извода, Софийской Первой и др. Полагают, что слова: «А Игорю Володимерь» были сознательно исключены летописцем при составлении одной из редакций «Повести временных лет» в угоду князю Святополку Изяславичу, удерживавшему Владимир-Волынский за собой и своими сыновьями и опасавшемуся притязаний на этот город со стороны князя Давыда Игоревича, сына Игоря Ярославича, который в обоснование своих прав ссылался на завещание Ярослава[24].

Особенно ярко это проявится в событиях 1069 года: когда Изяслав вместе с дружиной польского князя Болеслава II двинется на киевлян, изгнавших его из города, те обратятся к Святославу и Всеволоду, и князья потребуют от старшего брата примириться с горожанами, явно угрожая ему в противном случае: «Аще ли хочешь гнев иметь и погубить град, то знай, что жаль нам отня стола»; и Изяслав должен будет прислушаться к их словам[26].

Можно думать, что «ряд» Ярослава предусматривал также определенный порядок замещения киевского престола в случае смерти «старейшего» Изяслава. Киевский летописец (в статье 1093 года) приводит слова, с которыми Ярослав незадолго до смерти обратился к своему любимцу Всеволоду: «Сыну мой... Если даст тебе Бог перенять стол мой по братии своей с правдою, а не с насильем, то, когда заберет тебя Бог от жития сего, ляжешь там, где я лягу, у гроба моего, потому что люблю тебя паче братии твоей»[27]. Нечто подобное, наверное, должен был услышать от отца и менее любимый им Святослав: власть старшего брата переходила к следующему по старшинству брату — но лишь «*правдою, а не насильем*», то есть естественным путем, без распрей и раздоров.

Ярослав дал своим сыновьям еще одну заповедь: «не преступать пределов братних». Следить за ее выполнением должен был старший Изяслав, который получил от отца особый наказ. «Если кто захочет обидеть брата своего, — наставлял его Ярослав, — то ты помогай тому, кого обижают». «И так урядил сынов своих пребывать в любви...»

Но этот более или менее четко оговоренный порядок распространялся лишь на ближайшее потомство Ярослава — его внуки, по-видимому, не упоминались в завещании и их права на те или иные земли не оговаривались[28]. Вряд ли это можно поставить в вину Ярославу: очевидно, что о судьбе племянников должны были позаботиться их дядья, князья Ярославичи. Но Русь послеярославовой поры будет знать князей-изгоев — тех несчастливых потомков Ярослава, отцы которых закончат свою жизнь раньше своих братьев. И большинству таких князей-изгоев придется силой доказывать свои права на отцовские и дедовские престолы.

Историки по-разному оценивают смысл и значение «ряда» Ярослава. «Отечески задушевное», это завещание «очень скудно политическим содержанием», — писал, например, Василий Осипович Ключевский[29]. Однако едва ли утверждение выдающегося русского историка полностью справедли-

во. Для современников Ярослава и особенно для его сыновей, то есть для тех, к кому князь непосредственно обращался, смысл «ряда» и заключенная в нем политическая программа были вполне ясны. Программа эта включала в себя два основных и притом явно противоречащих друг другу положения: во-первых, Ярослав точно определял уделы каждого из своих сыновей — и в будущем система этих уделов станет основой политической раздробленности Киевской Руси; а во-вторых, вручал «старейшинство» Изяславу — что должно было способствовать сохранению единства Древнерусского государства. По словам выдающегося исследователя древней Руси Александра Евгеньевича Преснякова, завещание Ярослава представляло своего рода компромисс «для примирения непримиримых начал: государственного и семейно-династического», или, по-другому, «попытку согласовать семейный раздел с потребностями государственного единства»[30]. И, как показала последующая история древней Руси, попытка эта имела определенные шансы на успех — по крайней мере в тех династических рамках, которые отводил своим установлениям сам Ярослав.

Созданная его завещанием политическая система получила у историков название «триумвират Ярославичей». Трое его старших сыновей совместно выступят преемниками его власти — может быть, потому что ни один из них не был в силах взвалить на себя весь груз отцовской власти и отцовской ответственности за всю Русь. И именно тогда, когда они совместно будут проводить в жизнь те или иные политические решения, касающиеся всего Русского государства, они по сути дела будут в точности повторять деяния своего отца — хотя и наполняющиеся иным содержанием и имеющие иные последствия. Мы увидим «такую же борьбу за соединение всех волостей в руках киевского правительства, какую наблюдали и в X, и в первой половине XI века, — писал А. Е. Пресняков, — с той только разницей, что роль “собирателя” земель играет не один князь, а союз трех Ярославичей, и перевес силы на их стороне столь значителен, что возможны иные, менее напряженные приемы борьбы»[31]. Так, после смерти в 1057 году князя Вячеслава Ярославича братья совместно «выведут» с Волыни своего младшего брата Игоря, кажется, даже не спрашивая его согласия на такой переход, а когда спустя несколько лет умрет и Игорь (1060), поделят между собой Смоленск на три равные части. Так же, как некогда их отец, они будут то бороться с враждебным им полоцким князем — на сей раз Всеславом Брячиславичем, то мириться с ним и совместно действовать про-

тив общих врагов. В 1059 году, как бы искупая прегрешение своего отца, трое Ярославичей совместно «высадят из поруба» своего дядю Судислава, просидевшего в заточении 24 года; Судислав будет тут же «заведен к кресту» (то есть даст на кресте клятву не вступаться в свои княжеские права), после чего пострижен в монахи. В 1060 году Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, соединившись с князем Всеславом Полоцким, нанесут сокрушительное поражение торкам, вторгшимся в русские пределы, и это будет самая крупная победа русских князей над кочевниками после разгрома печенегов у стен Киева князем Ярославом Владимировичем в 1036 году. Наконец 20 мая 1072 года в Вышгороде, в присутствии всех трех братьев Ярославичей, состоится торжественное перенесение мощей Бориса и Глеба в новую, выстроенную Изяславом деревянную церковь — и это торжество, освященное киевским митрополитом Георгием, завершит долгий процесс официального причтения невинно убиенных братьев к лику святых, начатый в годы княжения Ярослава. По мнению ученых, тогда же в Вышгороде братья Ярославичи примут новую редакцию «Русской Правды» в том ее варианте, который получит название «Правды Ярославичей», и тем самым придадут более или менее законченный вид установлениям своего отца, имя которого так и останется в заголовке как «Русской Правды», так и других установлений, даже более позднего времени, освящая их своим авторитетом в глазах всего русского общества.

И напротив, когда согласие между братьями сменится открытой враждой — а это произойдет уже на следующий год после вышгородского съезда, в 1073 году, когда Святослав и Всеволод — в нарушение отцовских заповедей — прогонят Изяслава из Киева и старший Ярославич вынужден будет покинуть Русь, — рухнет и вся выстроенная Ярославом политическая система; его последнему оставшемуся в живых сыну Всеволоду (Святослав умрет 27 декабря 1076 года от неудачной операции, а Изяслав погибнет в знаменитой битве на Нежатиной Ниве 3 октября 1078 года) придется столкнуться с совершенно новыми политическими реалиями, и политический кризис Руси конца XI века будет преодолен лишь признанием «отчин» внуков и правнуков Ярослава, то есть отдельных политически независимых княжеств, на которые распадется единая прежде Киевская Русь. Но при этом духовное, а отчасти и политическое единство Руси сохранится и будет отчетливо ощущаться и в период так называемой феодальной раздробленности, и позднее, уже после татарского нашествия, когда окончательно разойдутся исторические

пути Северо-Восточной Руси, оказавшейся под властью Орды, и западнорусских земель, попавших под власть Литвы и Польши. И установления Ярослава, действовавшие на территории всех русских земель еще и в XIV—XV веках, и сохранение и преумножение всей книжной культуры Руси, в становлении которой столь выдающуюся роль сыграл Ярослав, и, наконец, сам текст его завещания, бережно переписывавшийся русскими летописцами на протяжении столетий, в немалой степени будут способствовать осознанию этого единства, которое — несмотря на все перипетии последних десятилетий — мы ощущаем и по сей день.

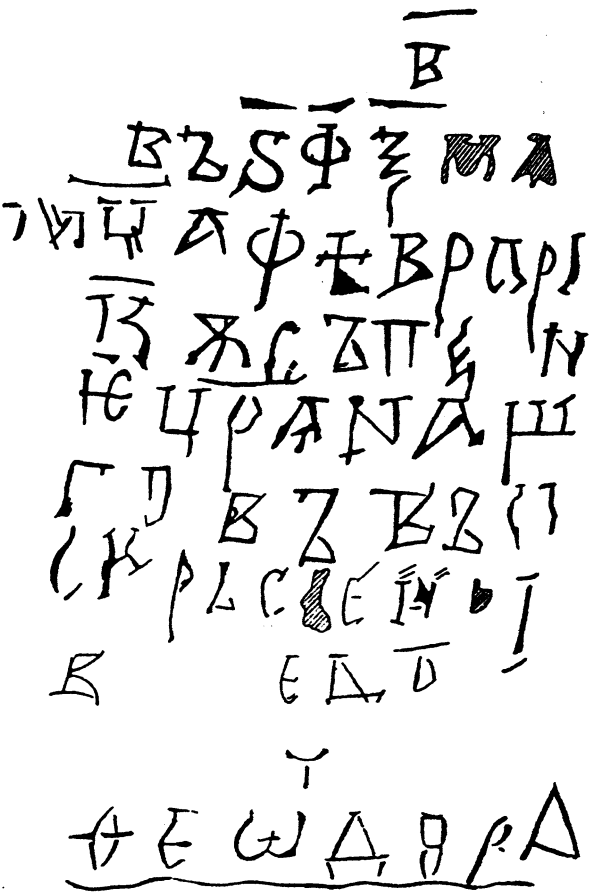
Наконец, нельзя забывать еще об одном — непосредственном и, возможно, самом главном — последствии Ярославова «ряда». Самим фактом его принятия Ярослав сумел уберечь Русь от смуты, подобной той, что вспыхнула сразу же после смерти его отца и деда. Может быть, в его установлениях и не было ничего принципиально нового для Руси («подобный ряд, — писал еще один знаток древнерусского права Серафим Владимирович Юшков, — мог сделать Святослав... такой же ряд мог сделать и князь Владимир и, вероятно, сделал бы, если бы он не начал войны с Ярославом и если бы его не постигла неожиданная смерть»[32]), но, главное, они придали устойчивость и поступательность последующему развитию Русского государства. А это, в свою очередь, самым благотворным образом сказалось на всех сторонах русской жизни.

Впрочем, завещание Ярослава должно было вступить в силу лишь после его смерти. Пока же старшие Ярославичи покинули Киев: Изяслав уехал в Туров или, может быть, в Новгород, а Святослав — во Владимир-Волынский.

Вскоре после их отъезда, в феврале 1054 года, князь Ярослав занемог. «Сам он был тогда болен («самому же болну сущю»), — читаем в летописи, — и, пришедши к Вышгороду, разболелся вельми». Рядом с отцом неотлучно пребывал Всеволод, который, по-видимому, вовсе не покидал Киева: «Изяслав тогда пребывал [в Турове?]*, а Святослав во Владимире; Всеволод же был у отца, потому что любим был отцом паче всей братии и держал его отец всегда у себя».

---

* Указание на Туров имеется только в Ипатьевском списке «Повести временных лет», во всех остальных пропуск: «Изяславу тогда сущю...», без наименования города. В некоторых же летописях (например, Воскресенской, Софийской Первой по списку Царского и др.) текст читается по-иному: «Изяславу сущю тогда в Новегороде»[33].



Граффити на стене Софийского собора об успении «цесаря нашего» Ярослава. Реконструкция Б. А. Рыбакова.

Можно думать, что Ярослав ехал в Вышгород отчасти за тем, чтобы помолиться о здравии у гробниц святых братьев Бориса и Глеба. Это было тем более уместно, что как раз начинался Великий пост — время усиленной молитвы для всякого христианина. Но на сей раз молитва не помогла, как не помогли и все старания лекарей, пользовавших киевского князя. Ярослав угас буквально на глазах своих близких. Что за недуг приключился с ним, мы не знаем, но продлился он очень недолго: «поболев же мало», сообщает Нестор[34]. Там же в Вышгороде 19 февраля 1054 года, в первую субботу Ве-

ликого поста, когда Церковь отмечает память святого мученика Феодора Тирона, князя Ярослава не стало. «Ярославу же приспел конец жития, и предал душу свою Богу в субботу 1-й [недели] поста, [на] святого Феодора» — такую запись читаем в Лаврентьевской летописи, содержащей одну из редакций «Повести временных лет». (В Ипатьевской летописи дата смерти Ярослава названа по-другому: «...месяца февраля в 20, в субботу 1-й недели поста, в святого Федора день»; в Новгородской Первой летописи младшего извода указан месяц, число же отсутствует: «...месяца февраля, в субботу 1-й недели поста, на святаго Федора»; еще короче в Радзивиловской: «...в субботу 1-ю поста, святаго Федора» — но можно думать, что во всех случаях имеется в виду один и тот же день[35].)

По-видимому, уже на следующий день, 20 февраля, в воскресенье, тело князя Ярослава Владимировича, возложенное в соответствии с древним славянским обычаем на сани, было привезено для погребения в Киев. «Всеволод же спрятал (здесь: обрядил, убрал. — *А. К.*) тело отца своего и, возложив на сани, отвез его к Киеву, — рассказывает летописец, — священники же пели положенные песнопения. Плакались по нему люди и, принеся, положили его в раке мраморной в церкви Святой Софии, и плакали по нему Всеволод и все люди».

Уже в наши дни на стене Киевского Софийского собора была обнаружена древняя и, к сожалению, лишь частично уцелевшая надпись, текст которой предположительно восстановлен академиком Борисом Александровичем Рыбаковым, крупнейшим отечественным исследователем древней Руси:

ВЪ 6562
М(ЕСЯ)ЦА ФЕВРАРИ
20 УСЪПЕН
Е Ц(А)РЯ НАШ(Е)
ГО ВЪ ВЪ
(СКРЬСЕНЬЕ?)
В (Н)ЕДЕ(ЛЮ)
(МУ)Ч(ЕНИКА)
ФЕОДОРА

То есть: «В (лето) 6562 (1054), месяца февраля 20, успение царя нашего в воскресенье (?), в неделю мученика Феодора»[36].

Нет сомнений, что в этой торжественной надписи, сделанной каким-то клириком Святой Софии в центральном нефе собора, на третьем от алтаря южном крещатом столбе,

на фреске с изображением святого целителя Пантелеимона и как раз под изображением самого Ярослава на ктиторской фреске собора, идет речь о князе Ярославе Владимировиче. Различия в датах — 19 февраля (первая суббота поста) или 20-е («неделя», то есть воскресенье) — по-видимому, объясняются тем, что в первом случае сообщается о кончине князя, а во втором — о его погребении, или «успении», под сводами собора[37].

Рассказывая о кончине князя Ярослава, летопись не упоминает имени митрополита Илариона. Но если последний был еще жив к этому времени, то именно ему подобало отпевать усопшего князя. Иларион не мог не понимать, что со смертью Ярослава уходит в прошлое целая эпоха в истории Руси, к которой всецело принадлежал и он сам, и многие книжники из его окружения... В этот день, как и в другие воскресные великопостные дни, в церкви звучит литургия святого Василия Великого, более продолжительная по сравнению с обычной, более торжественная и, пожалуй, более соответствующая скорбной и вместе с тем величественной минуте последнего прощания с великим киевским князем, столь много сделавшим для христианского просвещения Руси. Тогда же, на литургии, под сводами собора прозвучали и слова самого Христа, читающиеся в церкви в этот день и обращенные к апостолу Варфоломею; наверное, многим могло показаться, что слова эти прямо адресованы усопшему князю: «...Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (*Ин. 1: 51*). Ибо не встречи ли с ангелами небесными должен был ожидать лежавший в гробу князь?

Кажется символичным и то, что погребение князя Ярослава совпало с празднованием Церковью так называемого Торжества Православия — восстановления почитания икон в Византийской церкви в середине IX века после долгих лет гонений на православных от иконоборцев (это событие вспоминается Церковью в первое воскресенье Великого поста). Русь не знала иконоборчества, восприняв вместе с христианством почитание святых икон. Но Ярослав едва ли не более других князей древней Руси поспособствовал украшению русских, а особенно киевских, храмов, приданию им того внешнего благолепия, которое отличало храмы византийские и которое некогда так потрясло посланцев его отца, выбиравших веру для своего народа. И если Крещение Руси, несомненно, было во многом личной заслугой Владимира Святого, то *Торжество Православия* в русских

землях уместнее всего связывать с именем князя Ярослава Владимировича. И не случайно, говоря именно о годах его княжения, позднейший автор Степенной книги царского родословия, московский книжник XVI века, воскликнет, может быть, с излишней патетикой и явно подражая словам похвалы князю Владимиру из «Слова» Илариона Киевского: «...идольский мрак от нас до конца отгнася и заря благоверия просвети нас; тьма бесовского служения от нас истребися и погибе и солнце евангельское землю нашу осия; капища раздрушишася и святые церкви водрузишася; идолы сокрушишася и святым иконам поклонение утверждащеся; бесы отбегаху и крестный образ грады и места освящаше...»[38]

Судьба останков князя Ярослава Мудрого заслуживает отдельного разговора. Мы уже говорили о том, что киевский князь — как и подобает великим правителям — заранее позаботился о месте своего упокоения. Его мраморный саркофаг должен был внушать потомкам такое же уважение к почившему князю, какое внушал своим современникам сам князь Ярослав Владимирович. Несмотря на все потрясения последующих столетий — почти полную гибель Киева под ударами монголо-татар в декабре 1240 года, годы опустошения и разрухи, когда жизнь едва теплилась в этом некогда великом городе, — гробница Ярослава уцелела в Киевском Софийском соборе, как уцелел — в отличие от Киевской Десятинной церкви — и сам Софийский собор. Весящая шесть тонн и изготовленная из цельной глыбы проконесского мрамора византийскими мастерами, украшенная изумительной резьбой, она, по-видимому, была привезена из византийского Херсонеса еще отцом Ярослава, князем Владимиром Святым. Удивительное наблюдение сделал исследователь древнерусского искусства В. Г. Пуцко: он обратил внимание на полное совпадение узоров на гробнице Ярослава Мудрого из Киевского Софийского собора и на херсонесской гробнице святого Климента Римского, изображенной на миниатюре из так называемого Ватиканского Менология императора Василия II (около 986 года); кажется, в обоих случаях мы видим один и тот же мраморный саркофаг, а значит, киевский князь попросту использовал для своего погребения вывезенную из Херсонеса гробницу с мощами одного из самых почитаемых в древнем Киеве святых, предварительно переложив их в новую раку[39].

До начала прошлого века останки знаменитого киевско-

го князя в Софийском соборе оставались предметом поклонения, одной из чтимых киевских святынь. В январе же 1939 года мраморная гробница Ярослава была вскрыта. Сделано это было, главным образом, с научными целями. В гробнице обнаружили два костяка: один принадлежал мужчине очень пожилого возраста (как показали исследования, не менее 60—70 лет), другой — женщине 50—60 лет; помимо этого, в гробнице нашли несколько отдельных косточек ребенка в возрасте около трех лет. Никаких украшений, драгоценностей или хотя бы остатков одежды (кроме клочка какой-то выцветшей, возможно, шелковой ткани) найдено не было, что неудивительно: за прошедшие века гробница, очевидно, неоднократно подвергалась разграблению и в конце концов была полностью опустошена. Тщательное анатомическое и рентгенологическое изучение мужских останков позволило ученым сделать однозначный вывод: они принадлежат киевскому князю Ярославу Владимировичу[40]; что же касается женского костяка, то он был предположительно определен как принадлежащий супруге Ярослава княгине Ирине-Ингигерд, хотя сегодня на этот счет могут быть высказаны серьезные сомнения[41]. Атрибуция же детских останков, хотя бы даже предположительная, разумеется, невозможна.

Именно на основании найденных останков князя Ярослава мы можем судить о его внешнем облике в последние годы жизни. Это был высокий хромой старец, с трудом передвигающийся с помощью палки, избегающий резких движений, испытывающий боли не только при ходьбе, но и при всякой мало-мальской физической нагрузке. Лицо обычное, славянского типа. Средней высоты лоб, сильно выступающий вперед нос с узким переносьем. Крупные глаза, несколько угловатой формы. Резко обозначенный подбородок; четко очерченный, совсем не старческий рот (Ярослав до конца жизни сохранил в целости почти все зубы)[42]. Тогда же, в 1939—1940 годах, выдающийся советский антрополог Михаил Михайлович Герасимов воссоздал скульптурный портрет князя Ярослава Мудрого, знакомый большинству из нас еще со школьной скамьи.

В позднейшей церковной традиции образ князя Ярослава во многом оказался заслонен образом его отца, Владимира Святого, что, в общем-то, нельзя не признать справедливым. Особенно отчетливо это видно при сравнении различных редакций знаменитого «Слова о законе и благодати»

митрополита Илариона: этот памятник дошел до нас в нескольких редакциях и множестве списков (в настоящее время их известно свыше пятидесяти), однако лишь один — знаменитый Син. № 591 — включает в себя в полном виде похвалу князю Ярославу, составляющую заключительную часть всего произведения[43]; позднейшие переписчики, как правило, исключали ее, приспосабливая памятник к чтению в церкви в день памяти святого Владимира.

Судя же по «Слову» самого Илариона, еще при жизни Ярослава его благоверие и храмоздательство, казалось, подавали надежды на будущее церковное прославление киевского князя. В составе Пролога 1-й, так называемой краткой редакции до нас дошло Сказание об освящении церкви Святой Софии[44], которое в своей основной части представляет собой почти буквальную выписку из летописной статьи 1037 года. Однако само построение проложного текста, введение в него биографических сведений о князе Ярославе Владимировиче (по-видимому, также заимствованных из летописи, а именно из статьи 1054 года) позволяют видеть в этом памятнике подготовительные материалы к будущему Житию самого Ярослава, которое, к сожалению, так и не было составлено.

Книжники более позднего времени неизменно подчеркивали благоверие и христолюбие киевского князя, его очевидные заслуги в христианском просвещении Отечества. Его имя присутствует во многих русских святцах среди имен почитаемых русских святых[45]. В середине XVII века священник церкви Рождества Христова при Троице-Сергиевом монастыре Иоанн Милютин составил «Сказание о благоверном великом князе Ярославе Владимировиче Киевском», которое включил в февральский том своих двенадцатитомных Миней Четьих[46]. Однако официального причтения к лику святых князя Ярослава Владимировича, равно как и канонизации его великого современника митрополита Илариона, так и не произошло ни во времена Московской Руси, ни позднее.

Что же касается княжеской семьи, то почитание великого киевского князя началось в ней, по-видимому, спустя несколько десятилетий после его смерти. Об этом свидетельствует тот факт, что христианское имя князя Ярослава Владимировича — Георгий (или, по-русски, Гюрги, Юрий) — уже к концу XI века становится княжеским именем; первым из русских князей его получил правнук Ярослава Мудрого князь Юрий Владимирович Долгорукий. До середины XII века, помимо имени Юрий, только имена Роман, Давыд,

Василий и Андрей — соответственно, христианские имена Бориса и Глеба, Владимира Святого и Всеволода Ярославича — воспринимались на Руси как княжеские. Широкое распространение в княжеской среде получило и имя Ярослав. Из сыновей самого Ярослава Мудрого только князь Святослав назвал так своего самого младшего сына, появившегося на свет от его второго брака в 70-е годы XI века. Но вот среди последующих правителей Руси имя Ярослав встречается очень часто. И, несомненно, каждый из этих многочисленных в русской истории князей Ярославов никогда не забывал о своем тезоименитстве, а значит, и очевидном духовном родстве с богомудрым и христолюбивым киевским князем, создателем великой Софии и творцом «Русской Правды».

ПРИМЕЧАНИЯ

От автора

[1] Полное собрание русских летописей (далее: ПСРЛ). Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 151 (статья 1037 г.).

[2] *Карпов А. Ю.* Владимир Святой. М., 1997.

[3] ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 139 (статья 1037 г.).

[4] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1: Софийская Первая летопись старшего извода. М., 2000. Стб. 177 (статья 1034 г.).

[5] ПСРЛ. Т. 21: Степенная книга царского родословия. Ч. 1. СПб., 1908. С. 168.

[6] Ср.: *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 78, 193—206. Я не готов принять гипотезу автора о существовании особой новгородской летописи, явно враждебной Ярославу, — т. н. «Остромировой летописи». (Тем более что представление об Остромире как о сыне казненного Ярославом новгородского посадника Константина Добрынича, по-видимому, должно быть оставлено; см. об этом ниже.) Нет у меня уверенности и в существовании созданных в княжение Ярослава особых летописных памятников, вошедших в позднейшие летописи, — например, гипотетического «Древнейшего свода» 1037 г. (его наличие обосновывал А. А. Шахматов) или, тем более, гипотетического же «Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси» (гипотеза Д. С. Лихачева).

Глава первая. Детские годы. Киев

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 300—301.

[2] Ссылаясь на противопоставление в летописной статье 1128 г. Лаврентьевской летописи (см. прим. 1) «Рогволожьих» и «Ярославлих» внуков, исследователи высказывали сомнение в том, что Ярослав вообще был сыном Рогнеды (см., напр.: *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1991. С. 8; *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 275; *он же.* Ярослав Мудрый // Великие государственные деятели России. М., 1996. С. 26). Как мне представляется, противопоставление это, скорее, мнимое: Изяслав был осужден Владимиром и «выделен» им из своего рода; отныне он перестает считаться наследником своего отца, но лишь наследником своего деда по матери, а значит, имя «Рогволожьего» внука принадлежит лишь ему и его потомкам, но не другим сыновьям Рогнеды. К тому же Рогнеда прямо названа матерью Ярослава не только в статье 6488 (980) г., но и в краткой записи под 6508 (1000) г., сообщающей о ее смерти (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 129). В историографии промелькнуло и мнение, согласно которому Ярослав был сыном порфирородной Анны (*Arignon J.-P.* Les relations diplomatiques entre Byzance et la Russie de 860 à 1043 // Revue des études slaves. 1983. Vol. 55. P. 133—135; французский исследователь именно этим объясняет вмешательство Ярослава в 1043 г. во внутренние дела Византии); однако это мнение вопиющим образом противоречит показаниям источников.

[3] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 162. Отметим, однако, что в Проложном сказании об освящении церкви Святой Софии, читающемся в Прологах под 4 ноября, сообщается о том, что князь Ярослав Владимирович прожил 66

лет: «...и бысть всих лет Ярославль 60 и 6» (РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.). № 155. Л. 58; и др.; см. также: *Пономарев А. И.* Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2: Славяно-русский Пролог. Ч. 1. СПб., 1896. С.191; однако указание А. И. Пономарева на будто бы содержащееся в Прологе Син. тип. № 162 чтение: «56 [лет]» (там же) не соответствует действительности: в данном Прологе, как и в других, стоят цифры «60 и 6» — см.: РГАДА. Ф. 381. № 162. Л. 102 об.). Возникает вопрос: нельзя ли поставить указание Прологов в связь с известием летописи о 28-летнем возрасте Ярослава в момент занятия им киевского престола (см. след. прим.)? Но даже при утвердительном ответе на этот вопрос едва ли можно признать приведенные здесь сведения точными.

[4] Цитирую по Радзивиловской летописи (ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989. С. 62). В Лаврентьевской летописи не вполне ясно: «И бы тогда Ярослав Новегороде лет 28» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142). В более поздних летописях вместо цифры «28» читается «18»: так в Софийской Первой летописи (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1), Архангелогородском летописце (ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 26), Ипатьевском списке Ипатьевской летописи (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 129, прим. и). Может быть, чтение Лаврентьевского списка предполагает 28 лет княжения Ярослава в Новгороде или вообще в Северо-Восточной Руси — исходя из сообщения о его посажении на самостоятельное княжение в статье 988 г. и не учитывая ростовского княжения? (См., напр.: *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. 1. М., 1988. С. 311—312, прим. 297.) При таком понимании текста можно было бы придать большее значение цифре «18» и датировать начало новгородского княжения Ярослава 999 г. Думаю все же, что указание летописной статьи 1016 г. надо согласовывать с указанием на возраст Ярослава в статье 1054 г., и, следовательно, первично чтение «38» лет. См. также след. прим.

[5] *Татищев В. Н.* История Российская // *Татищев В. Н.* Собр. соч. (далее: *Татищев*). Т. 2. М., 1994. С. 74, 238, прим. 220; Т. 4. С. 416—417, прим. 161. Цифра «38» читалась в Раскольничем, Голицынском и Хрущовском летописцах, бывших в распоряжении Татищева. Автор ссылается также на некий «манускрипт Оренбургский», в котором рождение Ярослава отнесено к явно неправдоподобному 972 г. (Т. 2. С. 238, прим. 220).

[6] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 80.

[7] См.: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 275—276. Некоторые дополнительные соображения о возрасте Ярослава см. в прим. 13.

[8] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 78.

[9] Ср. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 80, 121. Академический и Ипатьевский списки «Повести временных лет» опускают именно второго, «младшего» Мстиславa (там же. Стб. 80, прим. 21; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 67, ср. прим. 22). А. А. Шахматов обратил внимание на то, что эта поправка неверна, так как известный князь Мстислав Владимирович Тьмутороканский был как раз младшим братом Ярослава; ср.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 136; Повесть временных лет. Изд. 2-е. СПб., 1996. С. 451 (коммент. Д. С. Лихачева). Станислав назван вместо младшего Мстислава в статье 980 г. Софийской Первой, Новгородской Четвертой и др. летописей, а также в приписке к соответствующему тексту Ипатьевского списка «Повести временных лет».

[10] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121; Т. 38. С. 55. Списки «Сказания о святых Борисе и Глебе» устойчиво называют третьим сыном Святополка: *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им (далее: *Абрамович.* Жития). Пг., 1916. С. 27; *Бугославський С. А.* Україно-руські пам'ятки про князів Бориса та Гліба (Розвідка й тексти). У Київі, 1928 (далее: *Бугославський*). С. 116 и др.

[11] *Рыдзевская Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. М., 1978 (далее: *Рыдзевская*). С. 63. Впрочем, о скептическом отношении к отождествлению «Виссавальда» скандинавской саги с князем Всеволодом Владимировичем см.: *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). М., 1993. С. 210—211.

[12] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2: Тверской сборник. М., 1965. Стб. 112—113.

[13] Результаты исследования костных останков князя Ярослава Владимировича опубликованы: *Рохлин Д. Г.* Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 7. М.; Л., 1940. С. 46—57; *Гинзбург В. В.* Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд // Там же. С. 57—66. Исследователи отметили значительные патологические изменения в костях правой нижней конечности. Д. Г. Рохлин полагал, что «перед нами анатомическая картина подвывиха в правом тазобедренном суставе», который, однако, носит не врожденный характер, но вызван бурно протекавшим гнойным заболеванием, перенесенным Ярославом в грудном возрасте; следы гнойной инфекции исследователь обнаруживал в ухе. Более тяжелые изменения обнаруживаются в правом коленном суставе, где, в частности, наблюдается «костное срастание бедренной кости с надколенником (анкилоз) и порочное положение в коленном суставе». Полное разгибание в этом суставе было невозможно: кости находились под углом в 130—135 градусов. Д. Г. Рохлин объясняет это наличием старого околосуставного перелома обеих костей голени (С. 52—55).

Данные современной медицины позволяют значительно скорректировать выводы, полученные в 1939—1940 гг. По моей просьбе результаты анатомического и рентгенологического исследования костей князя Ярослава Владимировича проверил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный травматолог РВСН В. В. Ковтун, специализирующийся, в частности, в хирургическом лечении подобных заболеваний. По мнению В. В. Ковтуна, возможность появления у Ярослава подвывиха в правом тазобедренном суставе в результате якобы перенесенного в детстве острого гнойного заболевания полностью исключена. Налицо типичная картина правостороннего диспластического коксартроза. Учитывая, что костная патология (которой, по современным данным, страдают до 10 % населения), как правило, бывает симметричной, т. е. поражает обе конечности — или справа, или слева, можно предполагать, что Ярослав с детства страдал также недоразвитием и правой верхней конечности. Патологические же изменения в коленном суставе В. В. Ковтун объясняет не полученной травмой (переломом), но развитием основного заболевания. Рис. 12 (*Рохлин Д. Г.* Указ. соч. С. 53) свидетельствует о вероятном врожденном недоразвитии костей правого коленного сустава; признаков последствий травмы не наблюдается. (Устная консультация 4 апреля 1998 г.)

Выскажем также несколько соображений относительно возможности определения примерного времени рождения князя Ярослава Владимировича по данным анатомического исследования его костных останков. Как правило, историки, отмечая, что Ярослав родился позднее 978 г. (летописная дата), ссылаются в том числе и на выводы Д. Г. Рохлина (см., напр.: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 275; *Рапов О. М.* Русская церковь в IX – первой трети XIII в. Принятие христианства. М., 1988. С. 322). Однако выводы Д. Г. Рохлина относительно времени рождения Ярослава не носят строго доказательного характера. Возраст Ярослава определяется им весьма приблизительно: «старше 50 лет» (С. 48). Несколько более определенно пишет В. В. Гинзбург: скелет «принадлежит мужчине очень пожилого возраста (Senilis) около 60—70

лет» (*Гинзбург В. В.* Указ. соч. С. 57). Те же широкие возрастные рамки, в которых возможна датировка, подтверждает и современный специалист в области антропологической реконструкции, судебно-медицинский эксперт С. А. Никитин, оговоривший, правда, приблизительность своих оценок ввиду работы не с оригинальными материалами, а с результатами ранее проведенного исследования (устная консультация 13 мая 1998 г.). Таким образом, антропологические данные сами по себе не опровергают летописную датировку. Вывод же Д. Г. Рохлина о том, что Ярослав «жил... меньше 76 лет (по-видимому, лет на восемь меньше)» (С. 56), вытекает не из антропологического исследования костных останков, а из анализа показаний Тверской летописи: автор исходит из свидетельства летописца, согласно которому «выздоровление Ярослава произошло около 988 г.» (С. 55); «ходить же ребенок начинает или своевременно, или с некоторым опозданием» (С. 53), следовательно, Ярослав родился приблизительно за два года до 988 г., т. е. около 986 г. Но приурочивать выздоровление Ярослава именно к 988 г., наверное, совсем не обязательно.

Скорее, можно отметить другой, относительно датирующий признак. По данным В. В. Ковтуна, болезнь, наблюдающаяся у Ярослава, как правило, проявляется у мужчин в зрелом возрасте — приблизительно в тридцать—сорок лет: именно тогда происходят серьезные изменения сначала в коленном, а затем в тазобедренном суставе, хромота становится заметной и затрудняет движение. По свидетельству летописи, Ярослава называли «хромцом» в 1016 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142). Можно предположить, что к этому времени он уже был зрелым человеком, не моложе тридцати лет, а значит, родился, во всяком случае, не позднее 986 г., а скорее всего, раньше.

И еще одно замечание по поводу статьи Д. Г. Рохлина. Как представляется, выводы автора относительно отдельных черт характера князя Ярослава Владимировича («он отличался живостью воображения, раздражимостью, склонностью к вспышкам и бурным реакциям, но в то же время малой половой возбудимостью»), сделанные на основании особенностей его скелета, прежде всего черепа (С. 48, 56), не могут считаться обоснованными (устная консультация С. А. Никитина).

[14] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 116—117.

[15] См.: *Васильев М. А.* Великий князь Владимир Святославич: от языческой реформы к крещению Руси // Славяноведение. 1994. № 2. С. 38—55.

[16] Киевский синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев. Киев, 1823. С. 50. Впрочем, название «Крещатик» могло появиться и позднее – в связи с совершавшимся здесь ежегодным обрядом водоосвящения.

[17] По мнению этнографа и фольклориста Б. М. Соколова, т. н. «Большой стих о Егории Храбром», повествующий о путешествии по Руси и подвигах святого Георгия (Егория), сына святой Софии и брата святых сестер Веры, Надежды и Любови, есть не что иное, как историческая песнь о князе Ярославе Владимировиче Мудром (в княжении Георгии). См.: *Соколов Б. М.* Большой стих о Егории Храбром. Исследование и материалы. М., 1995 (посмертное издание на основе архивных материалов ученого).

[18] Отдаю предпочтение версии Житий князя Владимира, сообщающих о крещении киевлян в Почайне (см.: Владимир Святой. С. 258 и прим. 16).

[19] Цит. по: Библиотека литературы Древней Руси (далее: БЛДР). Т. 1: XI—XII вв.СПб., 1997. С. 45. Перевод диакона Андрея Юрченко.

[20] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 112—113. Согласно преданию, записанно-

му в XIX в. в Белоруссии, Рогнеда приняла пострижение в Изяславле, в основанном ею монастыре (Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. В. П. Семенова. Т. 9. СПб., 1905. С. 516—518).

Глава вторая. Ростов

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121. Ср. также: ПСРЛ. Т. 9: Никоновская летопись. Ч. 1. М., 1965. С. 57; Т. 2. СПб., 1843: Густынская летопись. С. 259; *Бугославський.* С. 3, прим. 13; 20, прим. 24. Сведения о Позвизде попадают в источники не ранее XVI—XVII вв. и, вероятно, носят чисто легендарный характер.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 129.

[3] ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. С. 128.

[4] *Татищев*. Т. 2. С. 70; Т. 4. С. 142.

[5] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 143; Т. 38. С. 62. В некоторых поздних летописях имя «кормильца» Ярослава названо по-другому — Блуд (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 129; Т. 9. С. 75; и др.), что, казалось бы, позволяет отождествить его с известным Блудом, бывшим воеводой князя Ярополка Святославича, предавшим затем своего князя и выдавшим его Владимиру. Автор Тверского летописца, например, говорит об этом совершенно определенно: «И бе у Ярослава дядька и воевода Блуд старой, иже был Владимиру» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 136). Однако, скорее всего, имя Блуд появилось в результате порчи текста: позднейший книжник, по-видимому, принял имя Буды за описку своего предшественника и заменил непонятное ему слово на хорошо известное и ставшее едва ли не нарицательным имя Блуд.

[6] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 20, 31. Слова «подвластные Олегу» во второй цитате взяты из Ипатьевской летописи (Там же. Т. 2. С. 14, 22).

[7] Например, А. А. Шахматов. См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. Пг., 1917. С. 20, 31.

[8] См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1987. С. 506; *Кучкин В. А.* Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XI вв. М., 1984. С. 57, прим. 18: автор приводит целый ряд сходных названий в восточнославянских землях.

[9] *Леонтьев А. Е.* Археологические памятники ростовской мери // Проблемы изучения древнерусской культуры. М., 1988. С. 6—32; *он же.* Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. М., 1996.

[10] *Леонтьев А. Е.* Некоторые данные о топографии Ростова X—XIV вв. (по материалам археологических исследований) // История и культура Ростовской земли. 1994. Ростов, 1995. С. 37—38.

[11] *Леонтьев А. Е.* Археологические памятники...; *он же.* Сарское городище в истории Ростовской земли (VIII—XI вв.): Автореф. канд. дис. М., 1975; *Дубов И. В.* Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Историко-археологические очерки. Л., 1982. С. 78—87; *он же.* Города, величеством сияющие. Л., 1985. С. 33—60. В XII—XIII вв. на месте городища возникает феодальная усадьба-замок, но ее история никак не связана с предшествующим мерянским поселением (*Леонтьев А. Е.* «Город Александра Поповича» в окрестностях Ростова Великого // Вестник Московского университета. История. 1974. № 3).

[12] *Дубов И. В.* К проблеме «переноса» городов в Древней Руси // Генезис и развитие феодализма в России: Проблемы историографии. Л., 1983. С. 70—82; *он же.* Северо-Восточная Русь... С. 78—87. Другие исследователи отвергают теорию «переноса городов», основываясь на синхронности существования городов и их предполагаемых предшественников (см., напр.: *Петрухин В. Я.* Начало этнокультурной истории Руси IX—XI вв. Смоленск; М., 1995. С. 165; *Даркевич В. П.* Происхождение и развитие го-

родов древней Руси (X—XIII вв.) // Вопросы истории. 1994. № 10. С. 51). Но и сторонники данной теории подчеркивают, что «перенос» нельзя понимать буквально: речь идет о более сложном явлении, чем простое перемещение города с одного места на другое (*Дубов И. В.* Города... С. 12—32).

[13] См. об этом: *Петрухин В. Я., Пушкина Т. А.* К предыстории древнерусского города // История СССР. 1979. № 4. С. 100—12; *Петрухин В. Я.* Начало этнокультурной истории... С. 154—169.

[14] *Мельникова Е. А., Петрухин В. Я.* Формирование сети раннегородских центров и становление государства (Древняя Русь и Скандинавия) // История СССР. 1986. № 5. С. 69—70.

[15] *Леонтьев А. Е.* Сарское городище... С. 22; *он же.* Некоторые данные... С. 37. Высказывалась и прямо противоположная точка зрения: в Ростове видели племенной центр мери, а в Сарском — княжеский погост (*Петрухин В. Я., Пушкина Т. А.* К предыстории... С. 108). Отметим также, что вблизи Сарского городища исследовано временное поселение дружинного типа (условно называемое «Сарским II городищем»), в котором также можно видеть экстерриториальный населенный пункт, место пребывания купцов и дружины (*Леонтьев А. Е.* Археологические памятники... С. 6—32).

[16] Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко / Под ред. Н. И. Костомарова. СПб., 1860. С. 229. Согласно Житию, Константин прибыл в Муром около 1223 г. и только тогда утвердил в городе христианскую веру. Исследователи недоумевают, с каким из известных князей может быть отождествлен святой Константин Муромский; впрочем, распространено мнение, согласно которому в Житии вообще не отражены (или отражены в очень малой степени) муромские реалии. См.: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 287—288; *Дмитриева Р. П.* Житие Константина, Муромского князя, и его сыновей Михаила и Федора // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 286—288.

[17] См., напр., в Проложном житии Бориса и Глеба (1-я разновидность, по классификации Д. И. Абрамовича): «В то же время бяше у него (Владимира. — *А. К.*) Борис, а брату его будущю Ростове, Глебови» (*Абрамович.* Жития. С. 95). Показательно, что преп. Нестор в «Чтении о святых мучениках Борисе и Глебе» вообще ничего не знает о княжении Глеба в Муроме и полагает, что княжич неотлучно находился в Киеве, при отце (там же. С. 7—8; *Бугославський.* С. 187).

[18] *Недошивина Н. Г.* Предметы вооружения из ярославских могильников // Ярославское Поволжье. М., 1963. С. 63.

[19] Ср.: *Кучкин В. А.* Формирование государственной территории... С. 56—57.

[20] О существовании «Чудского конца» в Ростове в XII—XIII вв. свидетельствует Житие преп. Авраамия Ростовского (см. ниже, прим. 30). Название «Чудской конец» просуществовало в Ростове, по крайней мере, до второй половины XVII в. (см: *Титов А. А.* Переписные книги Ростова Великого второй половины XVII в. СПб., 1887. С. 74).

[21] ПСРЛ. Т. 9. С. 64—65.

[22] См.: *Рапов О. М.* Русская церковь... С. 306—308 (автор полностью принимает на веру сказание А. Я. Артынова); *Титов А. А.* Ростовский уезд Ярославской губернии. М., 1885. С. 59; *он же.* Ростов Великий. Путеводитель по городу Ростову Ярославской губернии. М., 1883. С. 52.

[23] Согласно церковной традиции, Леонтий был поставлен на кафедру в 1051 г. См.: *Титов А. А.* Ростов Великий. С. 23; *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. С. 137: исследователь

ссылается на сообщение Киево-Печерского патерика, согласно которому св. Леонтий был «первый престолник» из печерских постриженников; вторым же назван киевский митрополит Иларион, занявший митрополичью кафедру в 1051 г. (ср. *Абрамович Д. И.* Киево-Печерський патерик. Киев, 1931 (далее: Патерик). С. 102—103). Получается, что Леонтий возведен на кафедру не позже 1051 г. Составители печатного Пролога, исходя из того, что Леонтий был *первым* ростовским епископом, относили его поставление на кафедру к 992 г., а преставление — к 993 г. (см. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. М., 1990 (репринт издания 1862 г.). С. 146), что, конечно, невероятно.

Современные исследователи склонны датировать основание Ростовской епархии 70-ми гг. XI в.: 1072—1073 (*Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X—XIII вв. М., 1989. С. 46—47) или 1073—1076 (*Poppe A.* Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. S. 180—181), связывая это событие либо с последствиями антихристианского восстания 1071 г. (Щапов), либо с распадом триумвирата Ярославичей и выходом Ростовской земли из-под власти Переяславля (Поппэ); при этом Леонтий обоими авторами признается первым ростовским епископом. Однако, как мне кажется, гибель св. Леонтия во время восстания 1071 г. остается наиболее вероятной версией (см. ниже), следовательно, к этому времени он уже занимал епископскую кафедру, а сама кафедра существовала..

[24] См.: Древнерусские предания (XI—XVI вв.). М., 1982. С. 127 (подг. текста и перевод Г. Ю. Филипповского). Правда, возникает вопрос: не является ли известие о бегстве Феодора и Илариона из Ростова следствием догадки составителей Жития, не нашедших мощей этих первых ростовских епископов при разборке старого и строительстве нового Успенского собора?

В летописях конца XV в., восходящих к ростовской владычной кафедре, приводится довольно длинный перечень первых ростовских епископов: Феодор, Феогност, Феодор, Иларион, Феогност, Феодор, Леонтий, Иларион, Исаиа и т. д. (ПСРЛ. Т. 18: Симеоновская летопись. СПб., 1913. С. 22; Т. 24: Типографская летопись. Пг., 1921. С. 165). Как видим, Феодор упоминается здесь трижды, Иларион — дважды (вероятно, по ошибке). Откуда заимствовано имя епископа Феогноста (Феогнаста), упомянутого дважды, неизвестно.

Современные исследователи склоны отрицать сам факт существования ростовских епископов — предшественников Леонтия (см. пред. прим.). Я. Н. Щапов, в частности, ссылается на показания Патерика Киевского Печерского монастыря, в котором Леонтий назван «первым престолником» (т. е. первым епископом Ростовским?), а также на статью 1231 г. Лаврентьевской летописи, в которой ряд местных епископов начинается с Леонтия, Исайи и Нестора (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 457). Однако оба аргумента уязвимы. Слова епископа Владимиро-Суздальского Симона из его Послания к Поликарпу (из Киево-Печерского патерика): «... и се бысть первый престолник» (см. пред. прим.) в контексте всего Послания означают лишь, что Леонтий явился первым русским епископом среди постриженников Печерской обители, но не первым на ростовской кафедре. Отсутствие же имен Феодора и Илариона в статье 1231 г., возможно, объясняется тем, что оба они покинули свою кафедру.

[25] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. С. 230; Т. 7. М., 2000. С. 314. Можно предположить, что цифра «168 лет» сориентирована именно на 992 г. как год основания Ростовской епархии. Впрочем, другие летописи называют возраст первой Успенской церкви иначе: 162 года (Владимирский летописец) или 165 лет (Степенная книга: Т. 21. С. 110; Мазуринский летописец:

Т. 31. С. 48). Автор Никоновской летописи называет строителем церкви епископа Илариона (Т. 9. С. 230).

[26] Древнерусские предания. С. 127.

[27] Патерик. С. 102. Житие святого Леонтия ничего не знает об этом и сообщает о преставлении святителя «с миром».

[28] См., напр.: *Воронин Н. Н.* К вопросу о начале ростово-суздальского летописания // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 22.

[29] Житие святого Исаии, епископа Ростовского // Православный собеседник. Казань, 1858. Ч. 1. С. 432—450.

[30] Повесть о водворении христианства в Ростове // Древнерусские предания. С. 130—141 (подг. текста и перевод В. В. Кускова). Время жизни преп. Авраамия не известно. Поздние редакции Жития делают его современником Владимира Святого, но большинство исследователей считают Авраамия деятелем гораздо более позднего времени, причем разброс датировок чрезвычайно широк: от конца XI до начала XIV в. Возможно, стоит принять во внимание свидетельство позднейшей (т. н. Третьей) редакции Жития преп. Авраамия, которая сообщает о том, что мощи святого были обретены «во дни великаго князя Всеволода Юрьевича Владимирскаго, внука Мономахова, в лето 6683 (1175), октября в 27 день» (см.: *Буланина Т. В.* Житие Авраамия Ростовского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. С. 237—239). По-другому, есть основания датировать деятельность преп. Авраамия временем не позднее начала — первой половины XIII в.: именно к этому времени относится прототип металлического креста преподобного, находящийся ныне в Ростовском музее (*Пуцко В. Г.* Крест преп. Авраамия Ростовского // История и культура Ростовской земли. 1994. Ростов, 1995. С. 96—104).

[31] *Тихомиров М. Н.* Древнерусские города. М., 1956. С. 416. Впервые город упомянут как существующий в «Повести временных лет» под 1071 г.; следовательно, на роль его основателя подходит лишь князь Ярослав Владимирович. О различных датировках возникновения Ярославля (в пределах княжения Ярослава Мудрого) см.: *Мейерович М. Г.* Так начинался Ярославль // Вопросы истории. 1978. № 3. С. 208—213.

[32] См.: Ярославское Поволжье; *Дубов И. В.* Города... С. 61—101.

[33] *Максимович Л. М.* Новый полный географический словарь Российского государства. М., 1789. Ч. 6. С. 274; Топографическое описание Ярославского наместничества. Ярославль, 1794. Это предание датирует основание Ярославля временем после 1024 г., когда Ярослав примирился со своим братом Мстиславом.

[34] *Тихомиров И. А.* О некоторых Ярославских гербах // Труды Третьего областного историко-археологического съезда. Владимир, 1909. С. 1—79.

[35] *Воронин Н. Н.* Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 1960.

[36] См.: *Писаренко Ю. Г.* «Охотник на медведя» с фрески Софийского собора в Киеве // Ярославская старина. Вып. 1. Ярославль, 1994. С. 13—17.

[37] *Лебедев А. Н.* Храмы Власьевского прихода г. Ярославля. Ярославль, 1877. С. 6—11.

[38] Там же. С. 5.

[39] Записка архиепископа Самуила «Церкви г. Ярославля в 1781 г.» была опубликована В. И. Лествицыном (Ярославль, 1874).

[40] См.: *Воронин Н. Н.* Медвежий культ... С. 31 (со ссылкой на Б. А. Ларина, исследовавшего язык Сказания по просьбе Н. Н. Воронина).

[41] *Лебедев А.* Сказание о построении Вознесенской деревянной церкви в Ярославле (Из рукописных «Записок Самуила, архиепископа Ростовского») // Ярославские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1876. № 19. С. 145—148. Ср.: *Воронин Н. Н.* Медвежий культ... С. 30.

[42] *Воронин Н. Н.* Медвежий культ... Впрочем, Н. Н. Воронин выделял две части в составе Сказания: первую — о построении Ярославля и Ильинской церкви и вторую — о построении Власьевской церкви. Первая, по его мнению, представляет собой народную легенду, а вторая, скорее всего, является чисто книжным произведением. Самуил объединил эти две части в одно целое, хотя сделал это не слишком умело (там же. С. 36—37). Более вероятно, однако, что сюжет с Власьевской церковью ввел в Сказание служивший в этой церкви А. Н. Лебедев.

[43] См., напр.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в области мифологии (Данные о Велесе в традициях Северной Руси и вопросы критики письменных текстов) // Труды по знаковым системам. Вып. 6 (Ученые записки Тартуского Государственного университета. Вып. 308). Тарту, 1973. С. 46—82 (авторы рассматривают данный памятник едва ли не как единственный текст восточнославянского происхождения, подтверждающий их реконструкцию «основного мифа» славянского язычества — о противоборстве Перуна и Велеса-Волоса); *Дубов И. В.* Города... С. 61—67; *Рапов О. М.* Русская церковь... С. 317—324 (автор, как и следовало ожидать, полностью доверяет данному источнику и даже рассчитывает время происходивших событий — 1006—1007 гг.); *Писаренко Ю. Г.* Неизвестная страница жизни Ярослава Мудрого // Ярославская старина. Вып. 4. Ярославль, 1997. С. 16—23.

[44] *Ленивцев М.* Описание построения города Ярославля и заложения в основание оного церкви во имя Святого Пророка Илии великим князем Ярославом I // Отечественные записки, изд. П. Свиньиным. Кн. 84. СПб., 1827. С. 7—10.

[45] *Львов П. Ю.* Великий князь Ярослав I на брегах Волги. Повесть о построении города Ярославля. М., 1820. См.: *Воронин Н. Н.* Медвежий культ... С. 33; *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К проблеме... С. 58, прим. 34; С. 67—70.

[46] *Львов П. Ю.* Великий князь Ярослав I... С. 46.

[47] Древнерусские княжеские уставы / Изд. подг. Я. Н. Щапов. М., 1976. С. 15. Цитируется Архангельский извод Оленинской редакции (по классификации Я. Н. Щапова).

[48] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121.

Глава третья. Новгород. Мятеж

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 24.

[2] По мнению Д. С. Лихачева, слова «варягом» в данной летописной статье являются поздней вставкой; автор ссылается на чтение Уваровской и сокращенной Кирилло-Белозерской летописей, в которых текст читается следующим образом: «И дань устави по всей земли: Новагорода по 300 гривен, иже и доныне дают». «Киевский князь собирал дань, конечно, для себя и вряд ли мог устанавливать дань в пользу варягов» (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 409—410; ср. также мнение А. А. Шахматова, согласно которому указание на дань варягам является недоразумением, а на самом деле речь идет о дани Новгорода Киеву — *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 330, 305). Но размер дани, идущей из Новгорода в Киев, совершенно иной: 2000 гривен. На мой взгляд, нет оснований сомневаться в возможности установления дани Олегом именно в пользу варягов, при помощи которых он овладел Киевом и другими городами.

[3] См.: Скандинавские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999. С. 505—506 (авторы раздела: Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А.).

[4] *Рыдзевская*. С. 30—31. Цитируется Сага об Олаве Трюггвасоне исландского монаха Одда (конец XII в.).

[5] Там же. С. 33.

[6] Исследователи нередко связывают свидетельство Саги об Олаве Трюггвасоне с данными «Повести временных лет», сообщающей о подчинении «чуди» новгородским князьям. См., напр.: История Эстонской ССР. Т. 1. Таллин, 1961. С. 108. Но название «чудь» отнюдь не всегда означает в летописи эстов; чаще оно применяется для обозначения всех прибалтийских финно-угорских племен, живших к востоку от Эстонии, в том числе и в пределах собственно Новгородской земли, или даже для обозначения всех финно-угорских племен вообще (ср. название «Чудской конец» в Ростове). Чудь, постоянно участвующая во всех делах и походах новгородцев, очевидно, представляет собой финно-угорское население собственно Новгородской земли.

[7] *Янин В. Л., Алешковский М. Х.* Происхождение Новгорода (К постановке проблемы) // История СССР. 1971. № 2. С. 34; *Янин В. Л., Колчин Б. А.* Итоги и перспективы новгородской археологии // Археологическое изучение Новгорода. М., 1978; *Носов Е. Н.* Новгородский детинец и Городище (К вопросу о ранних укреплениях и становлении города) // Новгородский исторический сборник. Вып. 5 (15). СПб., 1995. С. 5—17.

[8] ПСРЛ. Т. 38. С. 16.

[9] Там же. С. 12; Т. 1. Стб. 6.

[10] *Носов Е. Н.* Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990.

[11] См.: *Носов Е. Н.* Проблема происхождения первых городов Северной Руси // Древности Северо-Западной России (славяно-финно-угорское взаимодействие, русские города Балтики). СПб., 1993. С. 59—78.

[12] Новгородские летописи / Изд. А. Ф. Бычков. СПб., 1879. С. 180 (Т. н. Новгородская Третья летопись, или «Летописец церквам Божиим», XVII в.).

[13] *Носов Е. Н.* Новгородский детинец... С. 14.

[14] Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Подг. к изд. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950 (далее: НПЛ). С. 473 (статья «А се Новгородскыи епископы», находящаяся в той же рукописи, что и Комиссионный список Новгородской Первой летописи младшего извода); ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1: Новгородская Четвертая летопись. М., 2000. С. 113, 625. Ср. также: *Хорошев А. С.* Летописные списки новгородских владык // Новгородский исторический сборник. Вып. 2 (12). Л., 1984. С. 140; *Щапов Я. Н.* Государство и церковь... С. 34, 207—208.

[15] *Гордиенко Э. А.* Владычные палаты Новгородского кремля. Л., 1991. С. 11—12; *Носов Е. Н.* Новгородский детинец... С. 14—15.

[16] НПЛ. С. 16 (Новгородская Первая летопись старшего извода). В младшем изводе той же летописи (XV в.) имеется уточнение, согласно которому церковь стояла в конце «Пискупли улицы», «где ныне поставил Сотко церковь камену святого Бориса и Глеба над Волховом» (там же. С. 181), т. е. в стороне от будущей каменной Софийской церкви, вне пределов древнейшего новгородского детинца. Однако современные исследователи считают это уточнение неверным и тенденциозным, имевшим целью подчеркнуть особое значение Борисоглебской церкви в то время, когда составлялась данная редакция Новгородской летописи (*Янин В. Л.* Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М., 1977. С. 123—125).

[17] Но это в позднейших летописях, рассказ которых об этих событиях во многом легендарен. «Повесть временных лет» и Новгородская Первая летопись младшего извода в последний раз упоминают имя Добрыни под 985 г. в рассказе о походе Владимира на волжских болгар (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 84; НПЛ. С. 132).

[18] НПЛ. С. 161: «...и идя к Кыеву, и посади в Новегороде Коснятина

Добрыница». Любопытно, что в перечне новгородских посадников Добрыня вообще оказался пропущен: вслед за первым легендарным посадником Гостомыслом следует «Коснятин» (там же. С. 164, 471).

[19] *Рыдзевская.* С. 53 (из Саги о Харальде Суровом Правителе).

[20] См.: *Мельникова Е. А.* Новгород Великий в древнескандинавской письменности // Новгородский край. Материалы научной конференции. Л., 1984. С. 129—130. Д. С. Лихачев указывает еще на одно толкование: «Поромонь» как заимствование из греческого παραμονγαι, что значит «вахта», «лейб-вахта» (*Лихачев Д. С.* Текстология. Л., 1983. С. 80—81; со ссылкой на: *Stender-Petersen Ad.* Varangica. Aarhus, 1953. S. 118—119).

[21] *Рыдзевская.* С. 92. Цитируется «Прядь об Эймунде Хрингссоне».

[22] *Янин В. Л.* В Новгороде найдена свинцовая печать Ярослава Мудрого // Историческая генеалогия. Вып. 3. 1994. Екатеринбург; Париж, 1994. С. 8—9; *Янин В. Л., Гайдуков П. Г.* Актовые печати Древней Руси. X—XV вв. Т. 3. М., 1998. С. 13—18, 113, 259. Табл. 1 (прорись), 307. Табл. 49 (фото). В. Л. Янин датирует печать предположительно 1019 г., началом киевского княжения Ярослава. Об этом свидетельствует и надпись «князь Руский».

[23] См о специфике этих рассказов: *Рыдзевская Е. А.* Ярослав Мудрый в древнесеверной литературе // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 7. М.; Л., 1940. С. 66—72; *Cross S. H.* Yaroslav the Wise in Northe Tradition // Speculum. 1929. Vol. 4. P. 177—197; Скандинавские источники. С. 507—523.

[24] *Гуревич А. Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С. 71—73; *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 1998. С. 116—120.

[25] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники IX—XI вв. М., 1993. С. 142, 143. Речь не может идти о второй жене Ярослава – Ингигерд, на которой Ярослав женился лишь в 1019 г. (см. там же. С. 193—196).

[26] О некоторых предложениях на этот счет см. прим. 94 к главе 5.

[27] Новгородская Третья летопись, под 6947 (1439/1440) г.: «Того же лета владыка Евфимий позлати гроб князя Владимира, внуку великому князю Владимиру, и матери его Анны, и подписал, и память устави творити на всякое лето месяца октября в 4 день, иже и доныне совершается» (Новгородские летописи. С. 271—272). Схожий текст, но без упоминания имени матери Владимира, читается под тем же годом в Новгородской Первой летописи младшего извода (НПЛ. С. 420) и Новгородской Четвертой летописи (ПСРЛ. Т. 4. С. 436). См.: *Янин В. Л.* Некрополь новгородского Софийского собора: Церковная традиция и историческая критика. М., 1988. С. 134—138. Имя Анна впервые зафиксировано в 1556 г. в одной из грамот царя Ивана Грозного (*Макарий (Миролюбов), архиеп.* Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. М., 1860. Ч. 1. С. 82). Очевидно, что уже при Евфимии это имя было известно, ибо оно необходимо для совершения церковной памяти.

[28] О захоронении супруги Ярослава в Киеве было известно еще в конце XVI в.: так, в 1594 г. гробницу Ярослава и его жены в Киевском Софийском соборе видел немец Э. Лясcота (Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874. С. 17; *Дригалкін В. І.* До біографії князя Ярослава Мудрого // Український історичний журнал. 1970. № 2. С. 95). В январе 1939 г. при вскрытии саркофага Ярослава Мудрого в Киевском Софийском соборе в нем, наряду с останками самого князя, были обнаружены останки женщины, которая тогда же была предположительно определена как супруга Ярослава Ирина-Ингигерд (*Гинзбург В. В.* Об антропологическом изучении... С. 57, 62—64; *он же.* О «мощах» Софийского собора в Новгороде // Новгородский исторический сборник. Вып. 8. Новгород, 1940.

С. 89). В настоящее время, однако, в таком отождествлении появились серьезные сомнения (см. об этом след. прим.).

[29] Противоречия в источниках на этот счет попытался разрешить еще Н. М. Карамзин, предположивший, что в Новгороде похоронена действительно мать Владимира, вторая жена Ярослава Ирина-Ингигерд, принявшая перед смертью монашеский постриг, а вместе с ним и новое имя — Анна (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 2. Прим. 34; *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 108; и др.). Однако это предположение оказывается невозможным. Дело в том, что мощи «княгини Анны» из новгородского захоронения были исследованы в 30-е гг. XX в. В. В. Гинзбургом (Об антропологическом изучении... С. 64—66). Как установлено исследователем, они принадлежат довольно грацильной особе, выше среднего роста (около 161 см), скончавшейся в возрасте приблизительно 30—35 лет. Следовательно, они не могут принадлежать реальной матери Владимира, княгине Ингигерд-Ирине, умершей, во всяком случае, в более зрелом возрасте (она родила первенца в 1020 г., а умерла в 1050-м). Вопрос же о том, кому принадлежит новгородское захоронение, остается открытым. В. Л. Янин склонен считать Анну Новгородскую личностью мифической; по его мнению, приписываемые ей церковной традицией мощи принадлежат на самом деле супруге князя Владимира Ярославича (*Янин В. Л.* Некрополь... С. 139; автор ссылается на сообщение Воскресенской летописи, согласно которому Владимир «положен бысть в Софии великой в паперти и со княгинею», см.: ПСРЛ. Т. 7. С. 232). Однако такое предположение кажется маловероятным: как отмечает сам В. Л. Янин, во 2-й четверти XVII в. захоронение супруги князя Владимира Ярославича Александры существовало отдельно от захоронений самого Владимира и его предполагаемой матери (там же. С. 135, 218, 128). В. И. Дрыгалкин (Указ. соч. С. 93—96) и А. В. Назаренко (О русско-датском союзе в первой четверти XI в. // Древнейшие государства на территории СССР. 1990 г. М., 1991. С. 181—182; *он же.* Немецкие латиноязычные источники... С. 193—196), напротив, признают принадлежность новгородского захоронения первой супруге Ярослава. Ошибочность новгородской традиции, считающей Анну матерью Владимира, объясняется, по мнению А. В. Назаренко, вполне обыкновенными причинами: видя в одном храме захоронения сына Ярослава и его жены, «слишком естественно было заключить, что речь идет о сыне и матери» (там же. С. 195).

К совершенно новым выводам приводят наблюдения С. А. Никитина, установившего совпадение формы черепов князя Ярослава и обеих его предполагаемых жен, Ирины-Ингигерд и Анны (ср. *Гинзбург В. В.* Об антропологическом изучении... Рис. 16, 17). По мнению С. А. Никитина, это свидетельствует о том, что останки обеих женщин, скорее всего, принадлежат не женам Ярослава, но его близким родственницам. Правда, исследователь подчеркнул, что эти выводы пока нельзя считать окончательными, поскольку они основаны на изучении не оригинального материала, а воспроизведенных в журнале иллюстраций не слишком высокого качества (устная консультация 13 мая 1998 г.).

[30] НПЛ. С. 161. То же в особой статье «А се князи Великого Новагорода», читающейся в той же рукописи, что и Комиссионный список Новгородской Первой летописи младшего извода (там же. С. 470).

[31] Если точно следовать тексту перечня, то и рождение Ильи, и его посажение в Новгород, и его смерть придется датировать коротким временным отрезком между уходом Ярослава в Киев (1016 г.) и расправой над Константином Добрыничем (1019 г.). Это, конечно, маловероятно. В. Л. Янин относит княжение (посадничество) Ильи Ярославича в Нов-

городе (оставляя в стороне вопрос о времени его рождения) к 1030—1034 гг. (*Янин В. Л.* Новгородские посадники. М., 1962. С. 48—49). Однако такое предположение кажется крайне неудачным: исследователь ссылается на известие позднейшей Новгородской Третьей летописи о посажении в Новгороде в 1030 г. князя Владимира Ярославича (но отнюдь не Ильи!). Однако текст летописной статьи 6538 (1030) г. Новгородской Третьей летописи не оставляет сомнений в том, что в ее второй части речь идет именно о князе Владимире и о событиях 1034-го, а не 1030 г.: так, в первой части статьи о занявшем епископскую кафедру в 1030 г. (но не рукоположенном в епископы) Ефреме сообщается, что «сей поучив люди 5 лет» (т. е. до 1034 г., согласно принятой в древней Руси системе счета лет); далее, в той же статье, сообщается о поставлении Луки Жидяты — очевидно, что это известие ориентировано на 1034 г., как и в ряде других новгородских летописей. По-видимому, дата 6542/1034 г. пропущена случайно, из-за механической порчи текста в источнике данной летописи. Точно также на 1034 г. ориентировано сообщение о 14-летнем возрасте князя Владимира Ярославича. (См.: Новгородские летописи. С. 179—180.) Немногим более обоснованными выглядят расчеты А. В. Назаренко, согласно которым княжение Ильи пришлось на краткий промежуток между августом 1018 г. и 1019/1020 г. (*Назаренко А. В.* О русско-датском союзе... С. 180). Эти даты также не находят подтверждений в источниках. Наконец, Ю. Г. Писаренко полагает, что Илья был новгородским посадником с 1019 (1020) г. и до вокняжения в Новгороде князя Владимира Ярославича в 1034 (1036) г. (*Писаренко Ю. Г.* Неизвестная страница жизни Ярослава Мудрого).

[32] Датировка этого брака 1013 г. спорна. Однако аргументы, выдвигаемые в ее пользу (в противовес той версии, согласно которой брак Святополка и Болеславны предшествовал русско-польской войне 1013 г.), кажутся убедительными. См.: *Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X — первой трети XIII в. Киев, 1988. С. 21; *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники... С. 169.

[33] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники... С. 140—141.

[34] ПСРЛ. Т. 41: Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских царей). М., 1995. С. 46.

[35] См.: *Сотникова М. П.* Древнейшие русские монеты X—XI вв. М., 1995. С. 193.

[36] *Абрамович.* Жития. С. 6—7.

[37] В большинстве списков «Чтения о Борисе и Глебе» сообщается о том, что Владимир отправил Бориса «на область Владимер» (*Абрамович.* Жития. С. 6; *Бугославський.* С. 185). Исследователи, как правило, принимают это известие как свидетельство того, что Борис был посажен во Владимире-Волынском, и отдают ему предпочтение перед летописным (о посажении Бориса в Ростове). См., напр.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 87—94; и др. Однако, вслед за С. А. Бугославским, я полагаю, что слово «Владимер» оказалось в тексте не на месте и представляет собой прибавление к слову «отец», но не название области (*Бугославський.* С. 187, прим.). Ср.: «...таче посла и́ потом отець и́ на область Владимер, юже ему дасть... блаженыи же Борис много показа милосердие во области своеи...»

[38] В литературе уже давно (по крайней мере с XVII в.) высказывалось предположение, согласно которому Борис и Глеб были сыновьями царицы Анны (см. напр.: *Копанев А. И.* Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие Древней Руси (По материалам Пушкинского Дома). Л., 1972. С. 68; *Татищев.* Т. 1. С. 113; Т. 2. С. 227). По-видимому, в основе такого взгляда лежит представление о молодости обоих братьев (особенно Глеба) согласно агиографическим и иконографическим источникам.

Эту же точку зрения в последнее время обосновывает А. В. Поппэ: по его мнению, «в житийно-летописном предании Борис и Глеб были приписаны матери-болгарыне» с целью «выскоблить» всякую память о потомстве царицы Анны из «династической традиции», ибо именно с царицей Анной можно связывать неудачную попытку Владимира «византизировать» престолонаследие в Киеве (*Поппэ А.* Феофана Новгородская // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 114—117). Такая гипотеза выглядит на первый взгляд весьма заманчиво, ибо хорошо объясняет причины предпочтения, оказанного Владимиром Борису, и позволяет по-новому взглянуть на историю междоусобной войны, развернувшейся после смерти Владимира. Однако, как мне кажется, у нас все же нет достаточных оснований приписывать летописцу *сознательное* искажение фактов в перечислении сыновей Владимира и отвергать *прямое* указание летописи на происхождение святых братьев от матери-болгарыни. Кроме того, мне кажется совершенно невероятным *сознательное* умолчание составителей Жития Бориса и Глеба и летописцев о родстве канонизированных русских святых с византийскими императорами. Что же касается фраз из Службы святым братьям: «...цесарьскыим веньцем от уности украшен» (о Борисе); «кровью своею прапруду носяща, преславьная, и крест в скипетра место в десную руку носящя...» (*Абрамович.* Жития. С. 136, 140), то они, на мой взгляд, — вопреки мнению А. В. Поппэ — однозначно свидетельствуют не о «царственном» происхождении Бориса и Глеба, но об их мученичестве и уподоблении в этом смысле Христу, т. е. Царю Небесному; ср., напр., в Службе св. Георгию из русской ноябрьской Минеи: «По Христе мучен еси и смертью смерти Христове волею уподобльсся, в прапрудьную от крови облачен светло, и скипетром страдания ти украшься и венцем славныимь увязеся...» и т. д. (*Ягич И. В.* Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь. В церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. СПб., 1886. С. 463, 475).

[39] Помимо летописи, об этом свидетельствует диакон Нестор в «Чтении о Борисе и Глебе»: «Пусти же благоверныи князь сыны своя когождо на свою область... а святу сею Бориса и Глеба у себе держащю» (*Абрамович.* Жития. С. 5).

[40] Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон; под ред С. И. Коткова. М., 1971. С. 58; ср. БЛДР. Т. 1. С. 350—351 (перевод Л. А. Дмитриева).

[41] *Абрамович.* Жития. С. 6; *Бугославьский.* С. 183—185.

[42] *Федотов Г. П.* Святые Древней Руси. М., 1990. С. 30.

[43] Правда, нельзя исключать еще одну возможность: Борис и Глеб (или один только Глеб) могли появиться на свет и после брака Владимира с Анной — ведь мы не знаем, насколько бесповоротно Владимир отказался от своего прежнего гарема. В книге «Владимир Святой» я не рассматривал такую возможность, но, пожалуй, решительно ее отбрасывать нельзя.

[44] Сообщая о поставлении Владимиром Бориса «на область», Нестор отмечает: «а святого Глеба у себе остави» (*Абрамович.* Жития. С. 6; *Бугославьский.* С. 185). Правда, Нестор вообще не знает о поставлении Глеба в Муром.

[45] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 130.

[46] Там же.

[47] *Długosz J.* Roczniki. Ks. 1—2. Warszawa, 1962. S. 323—324.

[48] *Абрамович.* Жития. С. 28.

[49] НПЛ. С. 174; ср. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 140.

[50] Отметим, правда, что в приписке к Ипатьевскому списку «Повести временных лет» число иссеченных Ярославом мужей-новгородцев обозначено именно как тысяча (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 128).

[51] «Уже мне мужа своего не кресити», — говорила княгиня Ольга древлянским послам, отказываясь на словах мстить за своего мужа (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 56). Ср. также Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 473 (коммент. Д. С. Лихачева), где приводятся и другие примеры использования подобной формулы.

[52] *Бугославський.* С. 52 (Киево-Печерский список «Сказания о святых Борисе и Глебе»).

[53] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 141; НПЛ. С. 174—175.

[54] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 243—244. Ср.: БЛДР. Т. 1. С. 460—461 (перевод Д. С. Лихачева).

[55] См. об этом: *Буров В. А.* Очерки истории и археологии средневекового Новгорода. М., 1994. С. 6—15.

[56] НПЛ. С. 176—180.

[57] Эта фраза также требует комментария. Слова «правда» и «устав», по-видимому, означают не два разных документа, а один, что специально подчеркивал Л. В. Черепнин: «Правда здесь правовые нормы, на основе которых вершится суд; устав — их оформление в виде юридического сборника и утверждение; грамота — письменный текст. В общем речь идет об одном памятнике — грамоте, содержащей правду—устав» (*Черепнин Л. В.* Из наблюдений над лексикой древнерусских актов (К вопросу о термине «правда») // Вопросы исторической лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 211—218).

[58] НПЛ. С. 175—176. Обычно, ссылаясь на текст Новгородской Первой летописи, говорят о 1016 г. как дате установления «Древнейшей Правды» (см., напр.: *Зимин А. А.* Правда Русская. М., 1999. С. 89; и др.). Но это, по-видимому, недоразумение, ибо конец статьи 6524 (1016) г. Новгородской Первой летописи младшего извода явно имеет в виду события, описанные в «Повести временных лет» под 6527 г., т. е. происходившие в 1019 г. Ср. также в Софийской Первой летописи, где соответствующий текст помещен именно под 6527 (1019) г. (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 133). Следовательно, ссылаясь на текст Новгородской Первой летописи, уместнее было бы датировать установление «Древнейшей Правды» 1019 г.

[59] См.: *Черепнин Л. В.* Русские феодальные архивы XIV—XV вв. Т. 1. М., 1948. С. 240—249; *он же.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 131—139; *Зимин А. А.* Феодальная государственность и Русская Правда // Исторические записки. Т. 76. М., 1965. С. 245—248; *он же.* Правда Русская. С. 89—98; *Свердлов М. Б.* От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988. С. 30—35.

[60] Российское законодательство X—XX веков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 47 (ст. 1). Эти слова («аще изъгои будеть, любо словенин») признаются вставкой в ранее существовавшую норму права, которая и определяла смысл главной правовой реформы Ярослава (см., напр.: *Зимин А. А.* Правда Русская. С. 90—91).

[61] Происхождение этого слова не вполне выяснено. Но можно не сомневаться, что оно означает наемника-иноземца: «колбяги» («кулпинги») упоминаются наряду с «варягами» («варангами») и русами в качестве наемников, состоявших на службе у византийских императоров, в афонских актах второй половины XI в. (Actes de Laura (Archives de l'Athos). Paris, 1970. № 38, 44, 48. См.: *Бибиков М. В.* Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII—XIII вв.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1980 г. М., 1981. С. 88—91; Византийские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 132—133 (автор раздела М. В. Бибиков). Можно, наверное, предположить, что, в отличие от варягов-скандина-

вов, словом «колбяги» обозначали выходцев с южного побережья Балтики, области Колобжега.

[62] Российское законодательство... С. 47. Впрочем, возможен совершенно иной перевод: «...если пострадавший варяг или колбяг, то пусть сам клянется» (ср. БЛДР. Т. 4. С. 491, перевод М. Б. Свердлова).

[63] Там же (ст. 11).

[64] *Зимин А. А.* Правда Русская. С. 96.

[65] Так в Пинежском летописце XVII в.; см.: *Копанев А. И.* Пинежский летописец. С. 68.

Глава четвертая. Борис и Глеб

[1] Об этом сообщают «Чтение о Борисе и Глебе» диакона Нестора (*Абрамович.* Жития. С. 7; *Бугославський.* С. 186), а также Архангелогородский летописец (ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI—XVIII вв. Л., 1982. С. 25, 64). Автор Летописца Переяславля Суздальского сообщает о том, что сразу же после смерти Владимира Святополк «собра воя в Деревех (Древлянской земле. — *А. К.*) и Пиньску и сед Киеве» (ПСРЛ. Т. 41. С. 44). Казалось бы, это вступает в противоречие с известием о пребывании Святополка под стражей и к тому же позволяет сделать вывод о его союзе с древлянским князем Святославом Владимировичем. Однако такой вывод преждевремен. Данная летописная фраза, очевидно, появилась в тексте под влиянием особой редакции «Сказания о Борисе и Глебе», помещенной в том же летописце чуть ниже. Согласно этому источнику, разделяя волости между сыновьями, Владимир посадил Святополка «в Пиньску и в Деревех» (там же. С. 45). Это, в свою очередь, результат механического пропуска в оригинале Сказания, бывшего под рукой летописца. См.: Владимир Святой. С. 350, прим.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 130.

[3] Там же. Стб. 132, 140.

[4] См.: *Пресняков А. Е.* Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 403.

[5] Летописный рассказ: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 132—140. «Сказание»: *Абрамович.* Жития. С. 27—66; *Бугославський.* С. 1—178 (публикация по отдельным редакциям); см. также: БЛДР. Т. 1. С. 328—351 (перевод Л. А. Дмитриева). «Чтение»: *Абрамович.* Жития. С. 1—26; *Бугославський.* С. 179—206. О других источниках см. ниже.

[6] Наиболее обоснованным представляется мнение С. А. Бугославского, согласно которому анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» (в своей основной части — Сказание о смерти святых) появилось во второй половине XI в. (по С. А. Бугославскому, начало второй половины, эпоха Ярослава; но, скорее, все-таки 70-е гг.), а Несторово «Чтение» — в конце XI — начале XII в. (после 1097 г.). См.: *Бугославский С. А.* К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 19. Кн. 1. СПб., 1914. С. 132—143, 156—168 и 168, прим. 3. О других точках зрения и в целом о «борисоглебской» проблематике см.: *Дмитриев Л. А.* Сказание о Борисе и Глебе // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI — первая половина XIV в. Л., 1982. С. 398—408.

[7] Об этом свидетельствует Слово о преп. Моисее Угрине из Киево-Печерского патерика: «...в дьни тыи нельзе бе преходити никамо же» (Патерик. С. 142). Речь, правда, идет о пребывании Моисея в Киеве уже после гибели Бориса, но, очевидно, запрет на отъезд из города был введен Святополком сразу же после смерти Владимира.

[8] *Абрамович.* Жития. С. 10. Те же цифры в Архангелогородском лето-

писце (ПСРЛ. Т. 37. С. 64, 25); в этом памятнике явно ощущается влияние «Чтения» Нестора.

[9] См.: *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года и ее источник (Опыт анализа). М., 1957.

[10] Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви. С. 96—97; Избранные жития русских святых. X—XV вв. М., 1992. С. 52—53. Мощи преп. Ефрема Новоторжского были обретены в 1572 г. При митрополите Дионисии (1584—1587) в Торжке было установлено местное празднование святому и составлена служба ему. Время составления Жития и степень достоверности содержащихся в нем сведений остаются неясными. По свидетельству агиографа, список Жития существовал к началу XIV в. и был увезен из Торжка князем Михаилом Ярославичем Тверским после разорения города в 1315 г. (см.: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых... С. 335—336; *Дробленкова Н. Ф.* Житие Ефрема Новоторжского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 148—150).

[11] *Бугославський.* С. 8 (редакция Торжественника, по классификации С. А. Бугославского).

[12] См.: *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Святой Восток. Ч. 1. М., 1997. С. 244 (со ссылкой на святцы Кирилло-Белозерского монастыря, № 493, XVII в.).

[13] Согласно предположению А. А. Шахматова, здесь отразилась местная легенда, сообщавшая о гибели Бориса не на Альте, но, предположительно, на Дорогожичи, у монастыря святого Кирилла, между Киевом и Вышгородом, где в конце XII в. существовала церковь во имя Бориса и Глеба (*Шахматов А. А.* Разыскания... С. 75—76; см. также *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года... С. 39—40). Впрочем, аргументы Шахматова не выглядят достаточно убедительными.

[14] *Бугославський.* С. 52 (список Контаминированный редакции, по классификации С. А. Бугославского. Скорее, однако, можно сказать, что данный список представляет собой самостоятельный памятник, лишь в своей основе восходящий к указанной Бугославским редакции «Сказания»).

[15] Перевод Е. А. Рыдзевской: *Рыдзевская.* С. 98—100; *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). М., 1994 (далее: *Джаксон. 2*). С. 113—115.

[16] Данная точка зрения сформулирована Н. Н. Ильиным: Летописная статья 6523 года... С. 156—169. Гипотеза Н. Н. Ильина получила широкое распространение в литературе. См., напр.: *Grabski A. F.* Boleslaw Chrobry. Warszawa, 1966. S. 256—267; *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 129—131; *он же.* Русские глебоборисовские энколпионы 1072—1150 гг. // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 121; *Хорошев А. С.* Политическая история русской канонизации (XI—XIV вв.). М., 1986. С. 25—31; *Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X — первой трети XIII в. Киев, 1988. С. 23—25; *Филист Г. М.* История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990 (работа во многом дилетантская, построенная как своего рода судебная реабилитация князя Святополка); *Данилевский И. Н.* Святополк Окаянный // Знание — сила. 1992. № 6. С. 65—73; *он же.* Древняя Русь глазами современников и потомков. С. 336—354. Несколько по-иному интерпретирует источники Н. Ф. Котляр (*Котляр М. Ф.* Чи Святополк убив Бориса і Гліба? // Український історичний журнал. Київ, 1989. № 12. С. 110—122; *он же.* Князь окаянный? // Родина. 2000. № 12. С. 35—39): по его мнению, в борьбе за Киев после смерти Владимира столкнулись Борис и Мстислав Тьмутороканский (последнее, по-

видимому, решительно противоречит источникам), а также Ярослав, уже тогда воевавший с Мстиславом и, возможно, Глебом; во всяком случае ни к смерти Бориса, ни к смерти Глеба Святополк не причастен.

[17] *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков. С. 343, 347.

[18] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 141. И. Н. Данилевский интерпретирует свидетельство Титмара следующим образом: «Святополку удалось вырваться из темницы лишь спустя какое-то время после смерти Владимира, когда владения скончавшегося князя уже были поделены между двумя старшими (?) наследниками». Следовательно, для Святополка исключается «возможность коварного захвата киевского престола и зверского убийства братьев» (Древняя Русь... С. 342—343). Однако из текста источника это отнюдь не вытекает.

[19] *Назаренко А. В.* О датировке Любечской битвы // Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 13—19; *он же.* Немецкие латиноязычные источники. С. 174—176. А. В. Назаренко специально исследовал вопрос о соотношении данных Титмара и русских источников и пришел к вполне обоснованному выводу о том, что они не противоречат друг другу.

[20] Отметим, что сведения Титмара о русской смуте чрезвычайно ценны, но их отнюдь нельзя рассматривать как абсолютно точные и полные. Так, Титмар знает о существовании лишь трех сыновей Владимира: двух из них он называет по именам — это Святополк и Ярослав, имя третьего ему, по-видимому, не известно. Им мог быть Борис, но мог быть и племянник Владимира Брячислав Полоцкий. Если верно первое, то Титмар, сообщая о трех сыновьях, двое из которых, по его словам, делят наследство отца (*Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 141), обрисовывает ситуацию, сложившуюся сразу же после смерти Владимира (и то не вполне точно, ибо Ярослав хотя и владел частью державы Владимира, никак не мог считаться его наследником). Если верно второе (что, на мой взгляд, предпочтительнее) — то речь идет о ситуации, сложившейся уже после гибели Бориса, Глеба и еще одного их брата Святослава, т. е. о втором этапе междоусобной войны, когда наиболее заметными фигурами русской истории стали Святополк Киевский, Ярослав Новгородский и Брячислав Полоцкий. В любом случае сведения Титмара неточны, ибо у Владимира было заведомо более трех сыновей.

[21] См. прим. 6 к главе 5.

[22] Отождествление «Бурицлава» и Святополка было предложено еще первым переводчиком «Эймундовой саги» на русский язык О. И. Сенковским (Eymundar Saga. Эймундова сага // Библиотека для чтения. СПб., 1834. Т. 2. Отд. III. С. 1—71); ср. также: *Лященко А. И.* «Eymandar saga» и русские летописи // Известия АН СССР. VI серия. 1926. Т. 20. № 12; *Джаксон.* 2. С. 162—163.

[23] Например, в Саге об Олаве Трюггвасоне: *Снорри Стурлусон.* Круг земной. М., 1980 (далее: Круг земной). С. 111 и др. («Бурицлав», «конунг в Стране Вендов»; по-видимому, Болеслав смешан здесь со своим отцом Мешко, польским князем, который правил и в стране вендов (Поморье); ср. С. 644). См. также: *Лященко А. И.* «Eymandar saga»... С. 1072. Отметим, кстати, что автор Тверской летописи, опиравшийся на киевские источники, также ошибочно считал Болеслава, правившего «в Лясех великых», сыном Владимира (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 113).

[24] В то же время отметим, что, согласно мнению исследователей скандинавских саг, эпизод с принесением отрубленной головы брата «конунгу Ярицлейву» в Саге об Эймунде может иметь чисто литературное происхождение, поскольку ему найдены аналогии в других скандинавских сагах (*Джаксон.* 2. С. 170, со ссылкой на: *Cook R.* Russian History, Icelandic Story and Byzantine Strategy in Eymundar þáttr Hringsonnar // Viator. Medieval

and Renaissance Studies. 1986. Vol. 17. P. 74; ср. также: Скандинавские источники. С. 515—522).

[25] Д. В. Айналов, изучавший миниатюры т. н. Сильвестровского сборника XIV в. (содержащего список «Сказания о Борисе и Глебе») и Радзивиловской летописи XV в., иллюстрирующие рассказ об убиении Бориса, обратил внимание на деталь, не находящую соответствия в сохранившихся текстах о святых князьях: на миниатюрах убийцы, вернувшиеся к Святополку, протягивают ему красную княжескую шапку убитого ими Бориса, вероятно, в качестве доказательства совершенного преступления (*Айналов Д. В.* Миниатюры «Сказания о св. Борисе и Глебе» Сильвестровского сборника XIV в. // Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук. Т. 15. Кн. 3. СПб., 1910. С. 73—75). М. Х. Алешковский, в свою очередь, высказал предположение, что миниатюры отразили эпизод с принесением Святополку отрубленной головы несчастного князя (как об этом сообщает «Прядь об Эймунде». Этот эпизод восходит «к лицевым рукописям „Повести временных лет" конца XI — начала XII века... Изображение прихода убийц к Святополку уцелело от этих ранних иллюстраций, но само описание прихода убийц было, видимо, сокращено, и иллюстрация к нему стала непонятной, почему и голова Бориса превратилась в шапку» (*Алешковский М. Х.* Русские глебоборисовские энколпионы... С. 120—122). В подтверждение гипотезы М. Х. Алешковского можно было бы напомнить, что в одной из поздних редакций «Сказания о Борисе и Глебе» (по рукописи Киево-Печерской лавры XVII—XVIII вв.) есть упоминание об «отъятии» головы князя Бориса (см. прим. 14). С другой стороны, эпизод с принесением шапки — несомненной регалии княжеской власти — мог появиться под пером миниатюриста и без влияния собственно литературного текста как символическое изображение насильственной гибели князя, носителя власти.

[26] Аргументация И. Н. Данилевского, которой он подкрепляет доводы Н. Н. Ильина и других исследователей, в ряде случаев вызывает недоумение. Так, по мнению названного автора, в летописи имеется скрытая информация, подтверждающая невиновность Святополка. Последний, например, сравнивается с Авимелехом, сыном Гедеона, убившим семьдесят своих братьев. «Однако в Библии упоминается еще один Авимелех, царь филистимлянский, — рассуждает И. Н. Данилевский. — Дважды он... оказался в ложном положении и едва не совершил тяжкий грех. Но не совершил... Интересно, сравнивая Святополка с Авимелехом, сыном Гедеона, летописец помнил об Авимелехе-царе?.. Быть может, сопоставляя Святополка с Авимелехом, летописец давал тем самым двойственную, амбивалентную характеристику, которая позволяла читателю сделать свой выбор?» (*Данилевский И. Н.* Древняя Русь... С. 351). Однако, на мой взгляд, летописец вполне ясно обозначил свой выбор. Помимо прочего, Авимелех-братоубийца приходился незаконнорожденным сыном Гедеону, что означало двойную аналогию с князем Святополком, незаконнорожденным сыном Владимира. Достаточно привести развернутую цитату из летописи: «Се же Святополк новыи Авимелех, иже ся бе родил от прелюбодеянья, иже изби братью свою, сыны Гедеоны; тако и сь бысть» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 146). Совершенно очевидно, что какая-либо двусмысленность и «амбивалентность» в этой характеристике Святополка отсутствуют напрочь.

[27] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. С. 128.

[28] М. К. Каргер отмечал, что «погребения князей около церкви, а не в ней самой, неизвестны» (см.: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. 4. 1940. С. 17). Чтение Лаврентьевской летописи и большинства списков «Сказа-

ния о Борисе и Глебе»: «у церкве святаго Василья» следует предпочесть чтению Ипатьевской летописи: «в церкви святаго Василия» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 121; ср. Стб. 124, где говорится о погребении св. Глеба: «у брата своего Бориса, у церькви святаго Василья»).

[29] *Абрамович.* Жития. С. 39; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 135.

[30] Там же. С. 98. Текст Проложного жития Бориса и Глеба (2-я разновидность, по классификации Д. И. Абрамовича).

[31] Представление о Глебе как о крайне безынициативном и бездеятельном князе может быть поставлено под сомнение в связи с недавней находкой в Швеции, в Сигтуне, древнерусской печати с изображением на оборотной стороне святого Давида и надписью «Давыдъ» (лицевая сторона не сохранилась), которую В. Л. Янин определил как печать князя Глеба Владимировича (*Янин В. Л.* Древнерусские печати из раскопок в Сигтуне // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999. С. 270—274). Принятие этого вывода заставляет по-другому взглянуть на вероятную роль князя Глеба в событиях 1015 г. и, в частности, предположить наличие прямых дипломатических контактов между ним и правителем Швеции Олавом Шётконунгом, будущим союзником Ярослава в войне со Святополком Окаянным. (Между прочим, при таком отождествлении сигтунской печати получает некоторое подтверждение высказывавшееся ранее предположение о недолгом браке князя Глеба Владимировича с сестрой правителя Англии и Дании Кнута Великого (и, соответственно, Олава Шётконунга) Эстред (Астрид)-Маргарет; см. об этом прим. 94 к главе 5.) Однако принадлежность печати Глебу Владимировичу, на мой взгляд, нуждается в дополнительном обосновании. На роль владельца печати, наверное, может претендовать и кто-то из новгородских князей — и здесь прежде всего необходимо вспомнить о князе Глебе Святославиче, занимавшем новгородский престол в 1069—1078 гг. (его христианским именем, по-видимому, было имя Давыд). Отмечу, кстати, что надпись «Давыдъ» на сигтунской печати очень близка по написанию к надписи на известной каменной иконке святого Глеба-Давыда из Тьмуторокани, которая, несомненно, принадлежала тому же Глебу Святославичу.

[32] ПСРЛ. Т. 15. Ч. 2. Стб.130. См. также: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 122, прим. 39 (Хлебниковский список Ипатьевской летописи); *Бугославський.* С. 11 (редакция Торжественника, по классификации С. А. Бугославского), С. 127, прим. 370. В одном из списков XVI в. читаем: «на устье Тверци» (там же. С. 11, прим. 240). Устье Тверцы находится почти напротив устья Тьмаки, но Тверца является левым притоком Волги, а Тьмака — правым. В ряде списков устье «Тьмы» заменяется устьем Смядыни (см. те же издания, разночтения).

По мнению Д. С. Лихачева, в чтении Тверской летописи представлена «местная легенда», носящая «этимологический» характер: река «Томь», как и «Втомичий» монастырь, названа так потому, что «в *томь* месте» надломил себе ногу Глеб (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 472). Но река определенно названа не «Томь», а «Тъма» («Тьма»). Кроме того, событие, о котором идет речь, отнюдь нельзя назвать «незначительным» (вопреки Д. С. Лихачеву); напротив, оно весьма важно для понимания смысла происходящего, поскольку в представлениях средневекового человека знаменовало неизбежную смерть князя Глеба.

[33] Паримийные чтения о Борисе и Глебе уточняют, что последующая трагедия разыгралась «на Днепре, по сю страну Смоленьска» (*Абрамович.* Жития. С. 117), т. е., надо полагать, вблизи правого берега Днепра. В другом списке того же памятника сообщается, что Глеб был убит «выше устья Смядыни» (там же, прим. 8).

[34] *Абрамович.* Жития. С. 7—8, 11—13; *Бугославський.* С. 187, 191—194.

[35] *Абрамович.* Жития. С. 97 (Проложное Житие святого Глеба; 1-я разновидность, по классификации Д. И. Абрамовича).

[36] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 139.

[37] *Татищев.* Т. 2. С. 72.

[38] Там же. С. 239. Татищев ссылался на некий список Степенной книги, где о Святославе читалось: «Бежа во Угры ко отцу своему» (в смысле тестю). Мы знаем, что Святослав был женат (под 1002 г. в Никоновской летописи упоминается его сын Ян — см. след. прим.); однако кем была его жена, неизвестно.

[39] ПСРЛ. Т. 9. С. 68. Согласно Никоновской летописи, Ян родился в 1002 г.

Глава пятая. Война: Святополк Окаянный

[1] «Повесть временных лет» сообщает о выступлении Ярослава из Новгорода в статье 1015 г., той самой, в которой рассказывается о смерти Владимира и убиении Бориса, Глеба и Святослава. Однако собственно военные действия описываются уже в следующей статье – под 1016 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 141), причем известия обеих летописных статей частично дублируются. В Новгородской Первой летописи рассказ о войне Ярослава и Святополка читается под 1016 г. (НПЛ. С. 174—175). А. А. Шахматов предположил, что текст обеих статей «Повести временных лет» читался в рамках единой статьи и лишь позже (и не слишком удачно) был разделен летописцем; сами же военные действия имели место в 1016 г. (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 499—503 и далее). С последним выводом, безусловно, следует согласиться. Дело в том, что решающая битва состоялась в конце осени или начале зимы («бе бо уже в замороз»), а перед тем войска в течение трех месяцев стояли друг против друга на разных берегах Днепра у Любеча. Следовательно, противостояние у Любеча началось не позднее самого начала сентября. Ярослав же мог выступить в поход лишь после получения известия о гибели Бориса, т. е. не ранее первой половины августа. Если мы будем датировать Любечскую битву сентябрем — декабрем 1015 г., то для примирения с новгородцами, перегруппировки войска и похода к Любечу остается неправдоподобно мало времени. См.: *Назаренко А. В.* О датировке Любечской битвы. С. 13—14.

[2] ПСРЛ. Т. 38. С. 62; Т. 2. Стб. 128. (В Лаврентьевском списке вместо 40 000 ошибочно: 40. См.: там же. Т. 1. Стб.141.)

[3] НПЛ. С. 175. В ряде более поздних летописных сводов ошибочно: «варяг 1000 и прочих вои 30 тысящ» (например, в Софийской Первой летописи по списку Царского: ПСРЛ. Т. 39. М., 1994. С. 42; и др.).

[4] *Джаксон.* 2. С. 125, 43; см. также с. 34, 51 и др. Снорри Стурлусон в «Круге земном» и автор «Большой саги об Олаве Трюггвасоне» сообщают о возвращении Свейна из Гардарики в Швецию и о его смерти там (там же. С. 71, 135).

[5] Здесь и далее Сага об Эймунде цитируется в переводе Е. А. Рыдзевской (*Рыдзевская.* С. 89—104) с уточнениями Т. Н. Джаксон (*Джаксон.* 2. С. 104—119).

[6] Эймунд вернулся в Норвегию «немного спустя» после того, как Олав Харальдссон завоевал ее (по хронологии Снорри Стурлусона, автора «Круга земного», это произошло осенью 1015 г.) и расправился со своими противниками. Следовательно, самое раннее время его появления на Руси — начало лета 1016 г. Т. Н. Джаксон датирует прибытие Эймунда на Русь временем не ранее поздней осени 1018 г. на том основании, что в саге перед сообщением об отъезде Эймунда из Норвегии рассказывается о на-

падении его брата Хрёрика на Олава на клиросе в церкви Христа в день Вознесения, после чего Олав отправил его в Гренландию, что произошло, по хронологии «Круга земного», летом 1018 г. (*Джаксон.* 2. С. 161). Однако рассказ о судьбе родичей Эймунда, вероятно, помещен в сагу *попутно*, в качестве иллюстрации властности и жестокости Олава; на его основании не следует делать выводы о последовательности происходивших событий. Точно также, по верному замечанию Джаксон, нельзя основываться на утверждении саги, что Эймунд прибыл на Русь уже после женитьбы Ярослава на Ингигерд (что произошло летом 1019 г.), хотя, согласно прямому показанию саги, прибыв в Хольмгард, Эймунд застает здесь Ингигерд.

[7] *Джаксон.* 2. С. 164.

[8] *Мельникова Е. А.* «Сага об Эймунде» о службе скандинавов в дружине Ярослава Мудрого // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 289—295; см. также: Скандинавские источники. С. 498—507.

[9] Скандинавские источники. С. 506.

[10] См.: *Лященко А. И.* «Eymundar saga»... С. 1072; *Джаксон.* 2. С. 165—166.

[11] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 141.

[12] НПЛ. С. 161.

[13] ПСРЛ. Т. 38. С. 62 (Радзивиловская летопись; в Лаврентьевском списке здесь пропуск).

[14] Об участии волынян в войнах Святополка сообщают польский хронист XVI в. М. Стрыйковский, а также Киево-Печерский список «Сказания о Борисе и Глебе» (*Бугославський.* С. 52). Туровцев (как и волынян) называет в составе войска Святополка В. Н. Татищев при описании событий 1018 г. (*Татищев.* Т. 2. С. 74).

[15] *Татищев.* Т. 2. С. 73—74.

[16] См., напр.: *Лященко А. И.* «Eymundar saga»... С. 1074; *Cook R.* Russian History, Icelandic Story and Byzantine Strategy... P. 69, 71; *Джаксон.* 2. С. 166. Отмечу, что это не обязательно свидетельствует об участии именно Эймунда в битве у Любеча.

[17] Рассказ «Повести временных лет»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 141—142; Т. 38. С. 62. Новгородская Первая летопись младшего извода сохранила два сообщения о Любечской битве — одно краткое: «Бысть сеча у Любца, и одоле Ярослав, а Святополк бежа в Ляхы» (НПЛ. С. 174); а второе пространное (там же. С. 175). Правда, надо учитывать, что концовка этого пространного рассказа воспроизводит концовку рассказа «Повести временных лет» и новгородско-софийских летописей о другой битве между Ярославом и Святополком — 1019 г. Синодальный список Новгородской Первой летописи старшего извода открывается как раз с середины пространного рассказа о Любечской битве (там же. С. 15).

[18] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. С. 135.

[19] ПСРЛ. Т. 23: Ермолинская летопись. СПб., 1910. С. 18.

[20] *Бугославський.* С. 52.

[21] ПСРЛ. Т. 38. С. 62. Так же в Ипатьевской, только там «ввоиде» (в Хлебниковском списке: «въиде») (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 130). В Лаврентьевском и Троицком списках слова «в Киев» пропущены. См. в Лаврентьевском: «Ярослав иде (?) и погоре (единственное число?) церкви» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142).

[22] *Приселков М. Д.* Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 128.

[23] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 142. В подлиннике речь идет о «монастыре» Святой Софии, однако употребление термина «monasterium» для обозначения кафедрального собора не является редкостью ни у Титмара, ни у других средневековых авторов (там же. С. 187—188).

[24] ПСРЛ. Т. 9. С. 75; *Татищев.* Т. 2. С. 74.

[25] *Бугославський.* С. 53: «А Ярослав, одержавши славное звитяжство, тягнул до Киева и опановал его зо всеми пригородками, которому ся доброволне поддавали» (Киево-Печерский список «Сказания о Борисе и Глебе»).

[26] НПЛ. С. 15, 175. Впрочем, как мы уже отмечали, Новгородская Первая летопись не содержит сведений о последующей борьбе Ярослава и Святополка, и, очевидно, конец статьи 1016 г. имеет отношение к событиям 1019 г. — окончанию междоусобной войны между князьями. Так что наделение новгородцев гривнами, вполне возможно, должно быть отнесено не к 1016-му, а к 1019 г.

[27] Новгородская Первая летопись в пространном рассказе о Любечской битве сообщает о бегстве Святополка «в Печенеги» (НПЛ. С. 15, 175). Но здесь следует повторить то же, что было сказано в предыдущем примечании: это свидетельство, очевидно, имеет отношение не к Любечской, а к Альтинской битве. В кратком сообщении о Любечской битве, читающемся в Новгородской Первой летописи младшего извода, как и в «Повести временных лет», говорится о бегстве Святополка «в Ляхы» (там же. С. 174).

[28] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 136. Здесь говорится сначала о набеге печенегов, а затем, «тои весны», — о заложении Ярославом церкви Святой Софии и других памятников.

[29] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 129; Т. 4. С. 108 (в Новгородской Четвертой летописи: «...и всекошася в Киев»).

[30] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 228—230; Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 474—475 (коммент. Д. С. Лихачева). В Новгородской Четвертой летописи (и некоторых других) смешение летописных известий о двух нападениях печенегов на Киев ощущается очень отчетливо: конец статьи 1017 г. («...победи Ярослав печенегы, и отбегоша Сетное (в др. списке: седьмое) и до сего дни») явно восходит к летописной статье 1036 г.: «...и побегоша печенези разно... ови бежаще тоняху в Сетомли (речке под Киевом. — *А. К.*)... а прок их пробегоша и до сего дне» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151). Ср. в Архангелогородском летописце (под 1017 г.): «...и отбегоша; Сетное и до сего дни словет» (ПСРЛ. Т. 37. С. 66).

[31] *Татищев.* Т. 2. С. 74. Бо́льшая часть статьи восходит к Никоновской летописи (см.: ПСРЛ. Т. 9. С. 75); однако Татищев внес в свой источник значительные изменения, попытавшись согласовать несообразности статьи 1017 г. и известные ему факты о построении «города Ярослава» и Золотых ворот в 1037 г. (отсюда, может быть, упоминание о «старом граде», в который Ярослав не пустил печенегов). Источник прочих дополнений Татищева не известен.

[32] Ср. *Джаксон.* 2. С. 166—167 (со ссылкой на: Cook R. Russian History... P. 78—81).

[33] О закладке Софийского собора в Киеве в 1017 г. (вне всякой связи с печенежским набегом) сообщает Новгородская Первая летопись: «И заложена бысть Святая София Кыеве» (НПЛ. С. 15, 180). А. Поппэ особо оговаривает, что слово «заложить» (вопреки распространенному мнению) не всегда означает начало строительства именно каменного храма, но может применяться и к деревянной постройке: *Poppe A.* The Building of the Church of St. Sophia in Kiev // Journal of Medieval History. 7. Amsterdam, 1981 (то же в: *Poppe A.* The Rise of Christian Russia. Lnd., 1982).

[34] ПСРЛ. Т. 9. С. 75.

[35] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 138—139.

[36] О сватовстве Болеслава к неназванной по имени сестре Ярослава (по русским данным, Предславе) сообщают Титмар Мерзебургский (*Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 142) и Галл

Аноним (*Галл Аноним.* Хроника и деяния князей или правителей Польских / Предисл., перевод и прим. Л. М. Поповой. М., 1961. С. 35). Датировка этого сватовства возможна лишь приблизительная. Болеслав был женат четырежды. Сватовство к Предславе могло иметь место не ранее смерти третьей жены Болеслава Эмнильды (но когда она умерла, точно неизвестно) и не позднее января 1018 г. (30 января 1018 г. был заключен мир между Болеславом и Генрихом, скрепленный женитьбой Болеслава на Оде, дочери майсенского маркграфа Эккехарда). Согласно распространенному мнению, Эмнильда умерла после 25 мая 1017 г. (*Balzer O.* Genealogia Piastow. Krakow, 1895. S. 42—43; *Zakrzewski S.* Bolesław Chrobry Wielki. Lwow; Warszawa, 1925. S. 300, 416); но, как показал А. В. Назаренко, в указанных работах данные о Мерзебургском съезде 25 мая 1013 г. (во время работы которого Эмнильда была жива) отнесены к 1017 г. (*Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 196—197). Сам А. В. Назаренко склоняется к тому, что Эмнильда скончалась еще в 1013 г. (там же), хотя считает наиболее вероятным датировать сватовство Болеслава началом или первой половиной 1017 г. В принципе, поправка Назаренко позволяет вспомнить уникальное известие, сохранившееся в «Истории» В. Н. Татищева, о прибытии в 1014 г. к князю Владимиру послов «Болеслава Ляцкого, с ними же быша послы чешские и угорские, о мире и любви, просиша киждо дщери его. Он же обесча Болеславу дать за чешского большую, а за угорского другую, которую вельми любил, и обещал весною съехаться во Владимере граде на Волыни». Обещание не было выполнено из-за болезни, а затем и смерти Владимира (*Татищев.* Т. 2. С. 70). На мой взгляд, однако, решающее значение для датировки сватовства Болеслава может иметь свидетельство Галла Анонима, который прямо сообщает о том, что отказал Болеславу именно Ярослав, что и явилось причиной войны между ними. Это могло произойти не ранее вокняжения Ярослава в Киеве (начало 1017 г.).

[37] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 140.

[38] См.: *Назаренко А. В.* Русь и Германия в IX—X вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 г. М., 1994. С. 5—138.

[39] Об участии Венгрии в антипольской коалиции 1017 г. свидетельствует Титмар Мерзебургский, сообщающий о захвате королем Иштваном (Стефаном) I какой-то крепости на венгерско-польском пограничье (см.: *Zakrzewski S.* Bolesław... S. 286—287). Точная датировка этого события (1017 или 1018 г.) невозможна (см.: *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 160), однако стоит отметить, что в 1018 г. венгры стали уже союзниками Польши (500 венгерских всадников приняли участие в походе Болеслава на Киев) (см. далее).

[40] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 140.

[41] *Королюк В. Д.* Древнепольское государство. М., 1957. С. 160. А. В. Назаренко полагает, что условия мира нельзя назвать выгодными для Польши (*Назаренко А. В.* О датировке Любечской битвы. С. 17), но в самой Германии считали по-другому: сообщая о заключении Будишинского мира 30 января 1018 г., Титмар говорит, что он был заключен на условиях, какие «тогда были возможны, а не на тех, на каких следовало бы».

[42] *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия. IX — первая половина XII в. М.; Л., 1989. С. 75, прим. 27; *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 159.

[43] Предлагаются два варианта перевода данного фрагмента «Хроники» Титмара. Первый, процитированный выше, принадлежит А. В. Назаренко (см. прим. 40). Большинство других исследователей иначе понимают текст: «Ярослав напал на Болеслава... но никак не мог захватить

его [Болеслава] город» (*Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 65); или: «...и ни в чем там не преуспел, чтобы захватить его город» (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 621 (дополн. М. Б. Свердлова); там же дополнительные соображения в пользу именно такого понимания текста). Если принимать перевод А. В. Назаренко, то появляется возможность отождествить с указанным походом на Берестье 1017 г. другой эпизод, о котором также сообщается в «Хронике» Титмара (кн. VIII, гл. 32): «Тем временем Ярослав силой захватил какой-то город, принадлежавший тогда его брату, а жителей увел в плен» (*Назаренко А. В.* События 1017 г. в немецкой хронике начала XI в. и в русской летописи // Древнейшие государства на территории СССР. 1980 г. М., 1981. С. 175—184; *он же.* Немецкие латиноязычные источники. С. 142; ср. С. 158, 183—184).

[44] См., напр.: *Ильин Н. Н.* Статья 6523 года... С. 121; *Королюк В. Д.* Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв. М., 1964. С. 242; *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 75, прим. 27; *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 160.

[45] *Назаренко А. В.* События 1017 г. ...; *он же.* Немецкие латиноязычные источники. С. 160—162; *он же.* Западноевропейские источники. С. 270—274.

[46] Об этом сообщает Титмар (*Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 143). Об участии именно саксонцев в Болеславовом войске свидетельствуют Кведлинбургские анналы (*Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 106).

[47] Relacja Ibrahima ibn Ja'kuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekri'ego / Wid. T. Kowalski. Krakow, 1946. S. 46.

[48] *Галл Аноним.* С. 38.

[49] ПСРЛ. Т. 37. С. 26, 66.

[50] Впрочем, Галл Аноним, рассказывая о сражении между Болеславом и Ярославом на неназванной им реке (по-видимому, о том же сражении на реке Буг), сообщает, что «в одно и то же время король Болеслав вторгся в Русь, а король русских — в Польшу. Ничего не зная друг о друге, они разбили свои лагери каждый на чужом берегу протекавшей между ними пограничной реки» (*Галл Аноним.* С. 39—40). Если принять это известие, то получится, что Ярослав занял левый берег Буга, т. е. действительно, в соответствии с показаниями летописи, «приде к Волыню»; Болеслав же переправился через Буг, оставив войско Ярослава в тылу. В принципе, это не невозможно (вспомним противостояние Ярослава и Святополка у Любеча), но общая легендарность рассказа Галла о русско-польской войне заставляет скептически отнестись к его свидетельству. Кроме того, нельзя исключать, что в данном сообщении польского источника нашли отражения события 1017 г., когда Ярослав вторгся в польские пределы, а Болеслав в ответ занял какой-то принадлежавший ему город (см. выше).

Польские историки попытались более точно определить место сражения: между Корытницей и Кристинополем (*Jakimowicz R.* Szlak wyprawy kijowskiey Bolesława Chrobrego w świetle archeologii // Rocznik Wolyński. 3. Zuck, 1936. S. 77).

[51] Рассказ «Повести временных лет»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142—144. «Хроника» Галла Анонима: *Галл Аноним.* С. 35—38; 39—41. Титмар: *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 142—143.

[52] *Татищев.* Т. 2. С. 74.

[53] Слова Устюжского летописца (ПСРЛ. Т. 37. С. 27, 66).

[54] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 130; Т. 4. С. 108. Автор Тверской летописи называет в числе плененных «на том бою» известного нам Моисея Угрина (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 137). Но это, скорее всего, догадка летописца: из патерикового Слова о преп. Моисее известно, что он был за-

хвачен в плен Болеславом. Однако Моисей мог оказаться в плену в числе приближенных княгини Предславы.

[55] *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990. С. 98.

[56] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 182.

[57] Патерик. С. 146 (Слово о преп. Моисее Угрине). «Сам веси, яко муж мой убиен бысть на брани с тобою», — говорила его вдова Болеславу. Ср. также в Тверском сборнике (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 137): «ея муж, болярин сый Болеславль, убиен на сем бою». (Известие, несомненно, восходит к Патерику.)

[58] См., напр.: *Линниченко И. А.* Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия. Т. 1. Киев, 1884. С. 89. По мнению А. Б. Головко, речь может идти о войне между Ярославом и его племянником Брячиславом, развернувшейся одновременно с войной с Болеславом, и, следовательно, город, о котором упоминает Титмар, принадлежал Брячиславу Полоцкому (*Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша... С. 28). Но это предположение не кажется убедительным. А. В. Назаренко полагает, что в данном фрагменте текста Титмара речь идет о событиях 1017 г., и отождествляет захват Ярославом «какого-то города» со взятием Берестья, о котором сам Титмар говорил выше (см. прим. 43 к данной главе). Это не исключено, хотя в то же время вовсе не обязательно. Отметим, что Галл Аноним также сообщает о движении войск Болеслава и Ярослава навстречу друг другу (см. прим. 50); в ходе этого встречного движения войска соперников вполне могли захватить те или иные города друг друга.

[59] *Jakimowicz R.* Szlak... О взятии Болеславом Луцка сообщает, в частности, М. Стрыйковский.

[60] См., напр.: *Зимин А. А.* Холопы на Руси. М., 1973. С. 46; *Рыбаков Б. А.* Киевская Русь и русские княжества. С. 410—411; и др.

[61] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 200—201.

[62] *Długosz.* 1—2. S. 334. То же в украинском Киево-Печерском списке «Сказания о Борисе и Глебе» (*Бугославський.* С. 53).

[63] Перевод условный; возможно другое толкование: «...милость которого» (т. е. Святополка). Ср.: *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 187.

[64] См.: *Берлин И. З.* Исторические судьбы еврейского народа на территории Русского государства. Пг., 1919. С. 159. Исследователь ссылается также на некий несохранившийся еврейский источник, в котором предположительно сообщалось об изгнании евреев из Киева около 1017 г., хотя, возможно, это известие также восходит к Длугошу. Во всяком случае, около 1017 г. евреи не были изгнаны из Киева, поскольку русские источники упоминают о них в 70-е гг. XI в. и позже. По данным В. Н. Татищева, евреи были изгнаны из Киева при князе Владимире Всеволодовиче Мономахе в 20-е гг. XII в.

[65] *Галл Аноним.* С. 54.

[66] «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI—XIII вв. / Пер. Л. М. Поповой. М., 1987. С. 67—68.

[67] *Линниченко И. А.* Взаимные отношения... Т. 1. С. 95—96, прим. 4; ср. *Gumowski M.* Szczerbiec – polski miecz koronacyiny // Małopolskie Studia Historyczne. 1959. ą 2. Z. 2—3. S. 7—18.

[68] *Бугославський.* С. 53 (Киево-Печерский список «Сказания о Борисе и Глебе»).

[69] См. прим. 45 к данной главе.

[70] По сведениям Длугоша, князь Ярослав, узнав о размещении части войска Болеслава на «зимних квартирах», подступил к Киеву, но вновь был наголову разбит Болеславом (*Długosz.* 1—2. S. 334—335).

[71] *Поппэ А. В.* Митрополиты Киевские и всея Руси (988—1305 гг.) //

Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси. С. 192—193; *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 189—191; и др.

[72] Имя митрополита (или «архиепископа») Иоанна называют «Сказание о чудесах святых князей Бориса и Глеба» и «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора (*Абрамович.* Жития. С. 17—19, 53—55; *Бугославьский.* С. 158 и далее; 197 и далее). Известна также печать с греческой надписью: «Иоанн, митрополит Росии», которая может быть датирована рубежом X—XI вв. (*Купранис А.* Печать Иоанна, митрополита Росии // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции. Вып. 8. Новгород, 1994. С. 205—212). В Никоновской летописи сведения о митрополите Иоанне I появляются с 1008 г. (ПСРЛ. Т. 9. С. 69), однако данные этой летописи относительно первых киевских митрополитов, в целом, не соответствуют действительности (см. об этом в главе 2).

[73] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 141.

[74] Отметим, что ряд русских средневековых источников именует Анастаса «епископом» — так в т. н. Чудовской редакции Жития святого Владимира (*Шахматов А. А.* Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб., 1906. С. 35) и Повести о Николе Заразском (*Лихачев Д. С.* Повести о Николе Заразском. Тексты // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Т. 7. М.; Л., 1949. С. 282).

[75] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 203.

[76] Иногда полагают, что истоки угроз Болеслава надлежит искать в сфере польско-германских и византийско-германских отношений и Болеслав отправлял послов в Константинополь по прямой указке императора Генриха. В то время интересы двух империй – Германской и Византийской — пересеклись в Южной Италии. В течение целого десятилетия (с 1009 г.) южноитальянская провинция Апулия была охвачена антивизантийским восстанием, возглавляемым неким Мелесом (Мело) из Бари, за которым, по всей видимости, стояли папа Бенедикт VIII и император Генрих. В 1017 г. Мелес овладел значительной частью Апулии, но уже в начале 1018 г. византийский император Василий II назначил новым катепаном (правителем) Южной Италии Василия Вайоанниса. Катепан Василий начал действовать с исключительной энергичностью и нанес мятежникам чувствительное поражение. Источники отмечают, что в рядах его армии сражались и наемники-руссы. Отсюда делается предположение, согласно которому целью посольства Болеслава могло стать требование отзыва русского корпуса из Южной Италии (*Грабский А. Ф.* По поводу польско-византийских отношений в начале XI в. // Византийский временник. Т. 14. М., 1958. С. 175—184). Однако это предположение кажется маловероятным, прежде всего потому, что русский корпус в Византии едва ли мог подчиняться Киеву и выполнять требования киевских властей (ср., напр.: *Свердлов М. Б.* Известия немецких источников о русско-польских отношениях конца X—начала XII в. // Исследования по истории славянских и балканских народов: История средневековья: Киевская Русь и ее славянские соседи. М., 1972. С. 154—155; *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 204).

[77] Западные источники упоминают об участии в составе византийских войск, действовавших в Южной Италии в 1025—1027 гг., неких «вандалов», под которыми обычно понимают славян (может быть, в данном случае именно поляков?). Ср. *Грабский А. Ф.* По поводу польско-византийских отношений… С. 184, прим. 2 (со ссылкой на Ст. Закжевского).

[78] «Великая хроника» о Польше… С. 67; *Długosz.* 1—2. S. 335; *Татищев.* Т. 2. С. 239 (со ссылкой на польского историка XVI в. Мартина Кромера).

[79] *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники… С. 138.

[80] См.: *Swerdłow M. B.* Jeszcze o "ruskich" monetach Bolesława Chrobrego // Wiadomości numizmatyczne. T. 13. Sesz. 3 (49). Warszawa, 1969. S. 175—180.

[81] ПСРЛ. Т. 38. С. 62 (Радзивиловская); Т. 2. Стб. 131 (Ипатьевская). Нередко полагают, что рассказ о восстании против «ляхов» и вынужденном отступлении Болеслава из Киева под давлением киевлян ошибочно приурочен летописцем к событиям 1018 г., а на самом деле имеет в виду поход на Киев польского князя Болеслава II Щедрого в 1069 г., о котором летописец говорит почти в тех же выражениях: «И распуща ляхы на покорм, и избиваху ляхы отаи (тайно. – *А. К.*), и возвратися в Ляхы Болеслав, в землю свою» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 173—174) (ср.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 439—440). Летописец действительно при возможности всегда пользуется схожими выражениями, рассказывая об относительно похожих событиях, что нередко приводит к путанице и анахронизмам в повествовании. Но в данном случае, на мой взгляд, трудно подозревать летописца в искажении событий: о наличии какого-то конфликта между Болеславом и Святополком говорит тот факт, что после поражения от Ярослава Святополк не бежал в Польшу и не обратился за помощью вновь к польскому князю, но воспользовался услугами печенегов. Ссылка на Титмара Мерзебургского, упоминавшего о «веселом возвращении» Болеслава из киевского похода (что, казалось бы, противоречит показаниям русской летописи), в данном случае, по-видимому, лишена оснований, во всяком случае, если мы принимаем, что в главе VII, 65 речь идет об особом походе 1017 г., а не о возвращении Болеслава в 1018 г. (о чем Титмар не знал) (см.: *Назаренко А. В.* События 1017 г. ...; *он же.* Немецкие латиноязычные источники. С. 162). Свидетельству русской летописи противоречат и данные Галла Анонима, но польский автор, как мы видели, приводит фольклорную, героизированную версию киевского похода, в которой, естественно, не нашлось места для событий, неприятных для поляков.

[82] См.: *Сотникова М. П.* Древнейшие русские монеты... С. 195—196, 205 и 209.

[83] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 143. В Радзивиловской летописи: «от мужа по 4 куны, а от старост по 5 гривен, а от бояр по 80 гривен» (ПСРЛ. Т. 38. С. 62). «...А от бояр по осмидесять гривен» и в Ипатьевской летописи (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 131).

[84] *Дьяконов М. А.* Очерки общественного и государственного строя древней Руси. СПб., 1910. С. 79; ср. *Ильин Н. Н.* Статья 6523 года... С. 147.

[85] *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 143.

[86] Об этом согласно сообщают русские источники. См. в «Повести временных лет»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 144; Т. 2. Стб. 131; Т. 38. С. 62 (в Лаврентьевском и Ипатьевском списках двойственное число: «сестре его»; в Радзивиловском множественное: «сестры»; в Хлебниковском: «две сестре»). В Софийской Первой и Новгородской Четвертой летописях: «Болеслав же побеже ис Кыева, поволочив Предславу, возмя... и сестры его» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 130; Т. 4. С. 108—109). В Слове о Моисее Угрине из Киево-Печерского патерика: «И възвращься Болеслав в Ляхы, поять съ собою обе сестре Ярославли...» (Патерик. С. 142). Упоминание именно двух сестер Ярослава, вероятно, навеяно известным из летописи фактом существования двух дочерей Рогнеды, единоутробных сестер Ярослава.

[87] Обыкновенно полагают, что обмен женщинами все-таки состоялся, основываясь на том факте, что в Новгородском Софийском соборе существует захоронение, приписываемое супруге Ярослава княгине Анне, «матери князя Владимира Ярославича» (см., напр.: *Назаренко А. В.* Немецкие латиноязычные источники. С. 203). Однако есть серьезные основания сомневаться в том, что новгородское захоронение принадлежит супруге Ярослава (см. прим. 29 к главе 3).

[88] Эту историю рассказывает Снорри Стурлусон в Саге об Олаве Святом, входящей в «Круг земной» (Круг земной. С. 202—203; *Джаксон.* 2. С. 71—72). Хронология событий здесь и далее приводится по Т. Н. Джаксон (*Джаксон.* 2. С. 19—20; см. также: *Назаренко А. В.* О русско-датском союзе... С. 184—186).

[89] Здесь и далее, в основном, по Снорри Стурлусону: *Джаксон.* 2. С. 73—74; Круг земной. С. 233.

[90] Круг земной. С. 238, 229. Эта же разница между Ингигерд и Астрид подчеркивается и в т. н. «Красивой коже», сборнике саг, составленном в первой половине XIII в. (*Джаксон.* 2. С. 51). Впрочем, Адам Бременский утверждал, что и матерью Ингигерд была «славянская девушка из ободритов», т. е. вторая жена Олава Астрид (надо полагать, та самая «рабыня-вендка», которую подразумевают скандинавские саги) (*Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 138).

[91] Любопытно, что Г. В. Глазырина пришла к выводу о недостоверности сообщения Снорри Стурлусона о передаче Ладоги Ингигерд, поскольку, по ее мнению, ни в Швеции, ни на Руси до конца XII в. женщины не имели права владения и распоряжения землей (при том, что, согласно терминологии, использованной Снорри Стурлусоном, Ингигерд получила Ладогу именно в качестве личного дара) (*Глазырина Г. В.* Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд (к вопросу о достоверности сообщения Снорри Стурлусона о передачи Альдейгьюборга / Старой Ладоги скандинавам) // Древнейшие государства Восточной Европы. 1991 г. М., 1994. С. 240—244). Но этот вывод, по-видимому, не имеет отношения к вопросу о достоверности факта передачи Ладоги скандинавам вообще.

[92] Сообщение т. н. Легендарной Саги об Олаве Святом (*Джаксон.* 2. С. 43).

[93] *Джаксон.* 2. С. 74—75; Круг земной. С. 234—235.

[94] А. В. Назаренко выдвинул гипотезу, согласно которой к тому же 1018/19 году относится и заключение русско-датского союза, прямо направленного против Польши и скрепленного предполагаемым браком сына Ярослава Ильи и сестры короля Кнута Маргарет-Эстред (см. *Назаренко А. В.* О русско-датском союзе... С. 167—190). О браке сестры датского короля с неназванным по имени «сыном короля Руси» сообщает Адам Бременский. Согласно его же сообщению, Эстред-Маргарет была замужем еще два раза — за нормандским графом Рикардом II (или, по версии французского хрониста 40-х гг. XI в. Рауля Глабера, за его сыном Робертом Дьяволом, кстати говоря, отцом знаменитого Вильгельма Завоевателя) и за датским ярлом Ульвом; этот последний брак был, по-видимому, единственным продолжительным и дал, по крайней мере, троих сыновей, в том числе будущего датского короля Свейна Эстредсена. Какое место занимал «русский» брак Эстред, не известно, т. е. он мог относиться к любому временному отрезку в рамках 1014—1035 гг. (время правления Кнута в Англии, а затем и в Дании). М. Б. Свердлов полагал, что «русский» брак мог быть первым для Эстред, и датировал его 1014—1015 гг.; мужем Эстред он считал одного из сыновей Владимира Святославича, предположительно Бориса или Глеба (*Свердлов М. Б.* Дания и Русь в XI в. // Исторические связи Скандинавии и России IX—XX вв. Л., 1970. С. 83—85; некоторые дополнительные соображения в пользу кандидатуры Глеба см. в прим. 31 к главе 4). А. В. Назаренко допускает три возможных варианта: либо этот брак состоялся около 1018/19 г., либо примерно в 1026 г., либо после 1026/27 г. (расчеты основаны на приблизительном определении времени двух других замужеств Эстред, также точно не датированных). Последние две возможности отвергаются исследователем

на том основании, что «около 1025—1028 гг. на Руси не было "сына короля", который годился бы в мужья примерно 25-летней Эстред... старший из Ярославичей — Владимир был тогда еще совершенным дитятей». Остается первая возможность (брак около 1018/1019 г.): «в таком случае в качестве предполагаемого мужа Эстред в расчет может приниматься только кто-то из Ярославичей; древнерусские источники предлагают единственную кандидатуру — новгородского князя Ильи Ярославича».

Построения автора, как мне представляется, базируются на очень шатком фундаменте. Во-первых, неверно, будто в 20-е гг. XI в. на Руси не было подходящих кандидатур на гипотетическую роль мужа датской принцессы. Так, например, в источниках упоминается князь Евстафий Мстиславич, сын тьмутороканского (а с 1024 г. черниговского) князя Мстислава Владимировича. Во-вторых, А. В. Назаренко достаточно произвольно сужает первую из предложенных им хронологических возможностей для «русского» брака до 1018/1019 г. Следуя его собственной логике, можно говорить о 1014—1018/1019 гг. В таком случае и кандидатура Ильи оказывается не единственной. Так, теоретически нельзя исключать возможность брака Эстред с кем-то из Владимировичей (например, с теми его сыновьями, о которых нам ничего не известно из древнерусских источников, — Судиславом, Станиславом или Позвиздом); или, например, с возможным сыном Святополка (Святополк вступил в брак с Болеславной около 1013 г., но уверены ли мы в том, что этот брак был первым и что у 35-летнего князя не могло быть относительно взрослого сына?); или с Брячиславом Полоцким и т. д. На мой взгляд, вообще *принципиально неверно* подгонять те или иные сведения о брачных союзах русских князей, содержащиеся в иностранных источниках, под очень ограниченный набор известных нам имен русских князей X—XI вв. Так, например, имя Ильи Ярославича стало известно нам лишь случайно — из списка новгородских посадников; летопись же его не знает. А сколько еще таких имен могло быть упущено в летописном изложении событий?!

Наконец, на мой взгляд, нельзя полностью исключить возможность кратковременного брака с Маргарет самого князя Ярослава. В латиноязычной «Истории Норвегии» (XII или XIII вв.) прямо сообщается о том, что супругой «короля Ярецлафа из Русции» (Ярослава Мудрого) была не дочь, а именно сестра «Олава Свеонского (Шведского. — А. К.) по имени Маргарета» — т. е. Маргарет-Эстред, приходившаяся сестрой не только Кнуту, но и (по матери) Олаву Шётконунгу (*Джаксон*. 2. С. 123; перевод А. В. Подосинова). И хотя рассказ «Истории Норвегии» явно имеет в виду Ингигерд, все же это известие нельзя не сопоставить с приведенным выше известием Адама Бременского. В таком случае не предшествовал ли брак Ярослава с Маргарет (возможно, не первый для новгородского князя) его же браку с племянницей Маргарет Ингигерд? И не Маргарет ли была той самой супругой князя Ярослава, которая попала в Киеве в руки Болеслава Польского? Это обстоятельство, между прочим, могло бы объяснить кратковременность брака: через Польшу Маргарет должна была вернуться к своему брату Кнуту, после чего и вступила в новый брак. Впрочем, все это, разумеется, не более чем рассуждения, которые не имеют и не могут иметь доказательной силы.

[95] *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 138: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 339—340.

[96] *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 340—341; *Матузова В. И.* Английские средневековые источники IX—XIII вв.: Тексты, перевод, комментарий. М., 1979; *Алексеев М. П.* К вопросу об англо-русских отношениях // Научный бюллетень ЛГУ. Л., 1945. № 4.

[97] См. сводку источников в переводе на русский язык: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 338—342; *Матузова В. И.* Указ соч.

[98] См.: *Сотникова М. П.* Древнейшие русские монеты. С. 114—123, 206—215.

[99] ПСРЛ. Т. 37. С. 27, 66.

[100] *Галл Аноним.* С. 36.

[101] Галл Аноним сообщает о преследовании Ярославом польского князя во время отступления последнего в Польшу (см. пред. прим.). Однако описание последовавших за этим событий имеет отношение к начальному этапу войны. Скорее всего, реальными сведениями о каких-либо военных действиях между Ярославом и Болеславом после ухода Болеслава из Киева польский хронист не обладал.

[102] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 144.

[103] В ряде поздних русских летописей о походе Ярослава на Киев рассказывается как раз под 1019 г. (напр.: ПСРЛ. Т. 37. С. 27, 66). Но здесь (как и в ряде других источников) опущен эпизод со вторым изгнанием Святополка из Киева: Ярослав приближается к Киеву, навстречу ему выступает Святополк с печенегами, и происходит битва на Альте. По ней и датируется вся летописная статья.

[104] *Абрамович.* Жития. С. 120. См. также: ПСРЛ. Т. 15. Ч. 2. С. 138—139 (Тверская летопись); здесь, очевидно, известие заимствовано из Паримийного чтения о Борисе и Глебе, но приведено несколько яснее. Впрочем, как полагают, эта подробность в описании Альтинской битвы могла быть заимствована автором Паримийного чтения из летописного описания Лиственской битвы 1024 г. между Ярославом и Мстиславом и, следовательно, не имеет отношения к реальным событиям (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 476; коммент. Д. С. Лихачева).

[105] См., напр. в Новгородской Четвертой и Софийской Первой (ПСРЛ. Т. 4. С. 109; Т. 6. Вып. 1. Стб. 131); в Паримийном чтении о св. Борисе и Глебе. Та же подробность приводится в Новгородской Первой летописи младшего извода (НПЛ. С. 175), но здесь рассказ о битве на Альте присоединен в качестве концовки к рассказу о Любечском сражении.

[106] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 144—146; ср. *Абрамович.* Жития. С. 37—38; *Бугославський.* С. 132—133 («Сказание о Борисе и Глебе»). В Новгородской Первой летописи значительно короче: «...И бысть (Святополк. – *А. К.*) межи Чяхы и Ляхы, ником же гоним пропаде оканныи, и тако зле живот свои сконча; яже дым и до сего дни есть» (НПЛ. С. 175).

[107] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 1. Текст. Пг., 1920. С. 215—216. Ср.: Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 477.

[108] *Абрамович.* Жития. С. 14; *Бугославський.* С. 194. (В некоторых списках вместо слов «в раке» стоит: «в мраке».)

[109] См.: *Ильин Н. Н.* Статья 6523 года... С. 43—44, 156 (со ссылкой на О. И. Сенковского и И. Е. Забелина).

[110] Цит. по: *Татищев.* Т. 2. С. 239.

[111] См., напр.: *Лященко А. И.* «Eymundar saga»... С. 1081, 1086.

[112] Скандинавские источники. С. 515—522.

[113] См.: *Ловмяньский Х.* Русь и норманны. М., 1985. С. 53, прим. 4. О некрополе в Лютомерске см.: *Яжджевский К.* Элементы древнерусской культуры в Центральной Польше // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 213—218.

[114] Позднейший Пинежский летописец XVII в. называет точную дату кончины Святополка, правда, заведомо недостоверную, — 22 марта 6526 (1018?) г. (*Копанев А. И.* Пинежский летописец. С. 70).

[1] *Джаксон.* 2. С. 115.

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 146.

[3] *Рыдзевская.* С. 43, прим. 17. В литературе приводилась еще одна характеристика княгини Ирины-Ингигерд, основанная на изучении женских останков из саркофага Ярослава Мудрого в Киевском Софийском соборе. Приведу цитату: «Взглянув на другой скелет — жены Ярослава, ученый-рентгенолог (Д. Г. Рохлин. — *А. К.*) сказал: "Не хотел бы я жить под ее началом. Ее черепная крышка слишком толста. В минуты раздражения и приливов крови к голове мозг, бессильный расправиться в тесной черепной коробке, причинял острые боли, доводившие ее до бешенства". Ученый-историк, которому Рохлин эту мысль выразил, сказал: "В скандинавских сагах ее, дочь конунга, иначе не называли как злой или бешеной"» (*Поповский А.* Поправки к летописи // Наука и жизнь. 1964. № 1. С. 73). Мне неизвестны подобные характеристики княгини Ингигерд в скандинавских сагах. Не берусь я оценивать и влияние толщины черепной коробки на характер княгини. Отмечу лишь, что принадлежность Ирине-Ингигерд женских останков из саркофага Ярослава Мудрого, как уже отмечалось выше, ныне ставится под сомнение (см. прим. 29 к главе 3).

[4] *Джаксон.* 2. С. 81. В данном случае речь идет о чуде Олава Святого, исцелившего в Новгороде ребенка. Но первоначально мать ребенка пришла за помощью к Ингигерд, очевидно, зная о ее навыках врачевания, и именно княгиня дала ей совет обратиться к Олаву.

[5] Там же. С. 86. Исследователи отмечают, что первая строфа этой висы читается еще в одной рукописи, но там она — вероятно, ошибочно — обращена к сестре Ингигерд, Астрид, будущей жене конунга Олава Харальдссона, которая никогда не бывала «в Гардах», т. е. на Руси. (Там же. С. 187.)

[6] Там же. С. 51.

[7] *Рыдзевская.* С. 43—44. Впрочем, унизительными эти условия выглядят только в интерпретации автора саги; на самом деле, воспитание сына конунга при дворе правителя другой страны — распространенное явление в средневековом обществе.

[8] См.: Скандинавские источники. С. 508—515.

[9] НПЛ. С. 161, 470.

[10] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 172; Т. 4. С. 110; др. В Софийской Первой, Воскресенской и некоторых других летописях этот текст читается под 1019 г.; в Новгородской Четвертой, Никоновской и Тверской — под 1020 г.

[11] Если не считать фразы В. Н. Татищева: «...Константина, посадника новгородского, *за непослушность* повелел сослать в Муром» (*Татищев.* Т. 2. С. 75. Выделено мной. — *А. К.*). Но это, конечно, лишь догадка историка.

[12] *Воронин Н. Н.* Медвежий культ... С. 74.

[13] ПСРЛ. Т. 9. С. 158. Ср.: *Насонов А. Н.* «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951. С. 185; *Кучкин В. А.* Ростово-Суздальская земля в X — первой трети XIII вв. // История СССР. 1969. № 2. С. 80.

[14] Не выглядит удачным и предположение А. В. Назаренко (О русско-датском союзе... С. 180, 189), по мнению которого опала на Константина связана с гибелью новгородского князя Ильи Ярославича (фигуры, напомним, загадочной, а возможно, даже мифической), последовавшей якобы в результате каких-то гипотетических козней сторонников опального посадника. (Напомним, что автор рассматривает Илью в качестве политической фигуры европейского масштаба, главного действующего

лица предполагаемого им русско-датского матримониального союза; см. об этом прим. 94 к главе 5.) Однако никакими сведениями на этот счет мы, естественно, не располагаем.

[15] См., напр.: *Тихомиров М. Н.* Исследование о Русской Правде. М.; Л., 1941. С. 35—40. Вместе с тем нельзя признать удачной попытку В. Л. Янина продлить время посадничества Константина Добрынича до 1030 г., когда, по его расчетам, в Новгороде начинает княжить Илья Ярославич (*Янин В. Л.* Новгородские посадники. С. 48—49; о произвольности этих расчетов см. прим. 31 к главе 3). Но после 1026 г. князь Ярослав едва ли имел возможность перевести своего пленника из Ростова в Муром и казнить его там: до смерти Мстислава в 1036 г. Муром, по условиям Городецкого мира, по-видимому, принадлежал черниговскому князю. Впрочем, и предположение Б. А. Рыбакова, согласно которому расправа над Константином имела место как раз около 1036 г. (*Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 204), также не выглядит убедительным.

[16] Летописи сообщают о пребывании Ярослава в Киеве ко времени нападения Брячислава на Новгород (см. далее).

[17] ПСРЛ. Т. 9. С. 77.

[18] Об этом сообщают как скандинавские источники («Прядь об Эймунде»), так и Ян Длугош (см.: *Długosz.* 1—2. S. 344). О кончине недалеко от Полоцка в начале XI в. некоего исландского миссионера (?) Торвальда, сына Кодрана, сообщает исландская «Сага о крещении»; по словам ее автора, Торвальд был похоронен «в высокой горе вверх по течению Дрёвна (?) у церкви Иоанна Крестителя». См.: Древнерусские города в древнескандинавской письменности. М., 1987. С. 102—103. Что это за гора и река (?) Дрёвн, неясно. Возможно, озеро Дривято у города Браслава. По мнению Т. Н. Джаксон, речь может идти о Масковичском городище близ Браслава, где обнаружены следы пребывания скандинавов (там же. С. 104—105).

[19] *Джаксон.* 2. С. 117.

[20] Там же. С. 119, 117.

[21] Древнерусские города в древнескандинавской письменности. С. 142—143.

[22] Там же. С. 149; *Глазырина Г. В.* Русский город в норвежской саге. К вопросу о достоверности исторических описаний в сагах // Древнейшие государства на территории СССР. 1982 г. М., 1984. С. 48—55.

[23] *Алексеев Л. В.* Полоцкая земля (Очерки истории Северной Белоруссии в IX—XIII вв.). М., 1966. С. 141.

[24] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155.

[25] Там же. Стб. 301.

[26] В т. н. Хронике Быховца сообщается о нападении литовских князей Кернуса и Гимбута (Гимбутаса), сыновей легендарного князя Куноса, на города Завилейский Браслав и Полоцк (ПСРЛ. Т. 32. М., 1975. С. 129; Хроника Быховца. М., 1966. С. 36). Дата набега в Хронике Быховца не приведена, но ее называет Мацей Стрыйковский — 1065 г. (ср.: *Штыхов Г. В.* Города Полоцкой земли (IX—XIII вв.). Минск, 1978. С. 55). Согласно Стрыйковскому, это был первый набег литовцев в русские пределы.

[27] *Алексеев Л. В.* Полоцкая земля. С. 173—174.

[28] В Софийской Первой и некоторых других летописях о войне между Ярославом и Брячиславом сообщается дважды: первый раз под 1020 г. («Того лета победи князь великии Ярослав Брячислав») и затем, уже в виде развернутого рассказа, под 1021 г. (см. ниже). По-видимому, мы имеем дело с дублированием одного и того же известия под разными годами, а не со свидетельством о двух войнах. Заметим, что первое, краткое известие очень близко по содержанию с кратким же известием о победе

Ярослава в Новгородской Первой летописи под 1021 г.: «Победи Ярослав Брячислава» (см.: НПЛ. С. 15, 180).

[29] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 146; Т. 2. Стб. 133.

[30] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 172—173; Т. 4. С. 110—111.

[31] *Dlugosz.* 1—2. S. 344.

[32] Так полагал, например, А. И. Лященко, ссылаясь при этом на показания «Пряди об Эймунде» (*Лященко А. И.* «Eymundar saga»... С. 1084). См. далее.

[33] *Насонов А. Н.* «Русская земля»... С. 85—86, 148—151; см. также: *Алексеев Л. В.* Полоцкая земля. С. 240—241.

[34] *Насонов А. Н.* «Русская земля»... С. 86. Автор отмечает, что еще в XVIII в. от Судомы на юг шла главная почтовая дорога из Новгорода на Великие Луки; возможно, ею пользовались и в древности.

[35] *Рыдзевская.* С. 100—104; *Джаксон.* 2. С. 115—119.

[36] Скандинавские источники. С. 517 (в тексте ошибочно вместо Вартилава назван Бурицлав).

[37] *Джаксон.* 2. С. 170—171.

[38] Так в Лаврентьевском и Ипатьевском списках (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 146; Т. 2. Стб. 134). В Радзивиловском: «И поиде Ярослав к Берестию» (ПСРЛ. Т. 38. С. 63). Как уже отмечалось, существует устойчивое мнение, согласно которому об этом же походе сообщает и Новгородская Первая и др. летописи под 1017 г. (см., напр.: Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 475, 478). Однако поход 1017 г. хорошо вписывается в контекст русско-польско-немецких отношений, как описывает их Титмар Мерзебургский (см. об этом в главе 5). Так может быть, неверная датировка похода на Берестье содержится как раз в «Повести временных лет» и события, на самом деле происходившие в 1017 г., ошибочно отнесены здесь к 1022 г.? Такое предположение также высказывалось в литературе (см.: *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6524 г. ... С. 121; *Кузьмин А. Г.* Начало новгородского летописания // Вопросы истории. 1977. № 1. С. 65 и др.). Но и это едва ли. Как представляется, само положение Берестья на русско-польском пограничье и неустойчивость русско-польских отношений того времени вполне допускают два самостоятельных похода Ярослава на этот город.

[39] *Козьма Пражский.* Чешская хроника / Перевод Г. Э. Санчука. М., 1962. С. 93.

[40] «Сказание о святых князьях Борисе и Глебе» — *Абрамович.* Жития. С. 48—49; *Бугославський.* С. 151 (ср. также: БЛДР. 1. С. 346—347); «Чтение» — *Абрамович.* Жития. С. 14—15; *Бугославський.* С. 194—195.

[41] В ряде летописей, в частности Софийской Первой, о перенесении мощей св. Глеба в Вышгород сообщается в статье 1019 г. — той же, в которой сообщается о победе Ярослава над Святополком (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 132—133). Но это, конечно, объясняется использованием здесь «Сказания о Борисе и Глебе» и не может рассматриваться в качестве точного хронологического ориентира. Ссылаясь на фразу из «Чтения» преп. Нестора: «по лете же едином...», в качестве года перенесения мощей св. Глеба называют 1020 г. (см., напр.: *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913. С. 70), однако не вполне ясно, откуда отсчитывал «лето единое» Нестор. Восклицание автора «Сказания»: «...колико лет лежав тело святого!», по-видимому, надо понимать в том смысле, что тело святого Глеба находилось в забвении в течение продолжительного времени, а следовательно, его перенесение в Вышгород могло состояться не сразу после завершения борьбы между Ярославом и Святополком.

С другой стороны, А. В. Поппэ склонен датировать перенесение мощей св. Глеба временем после 1036 г. — слова автора «Сказания» о

том, что Ярослав «прея всю волость Русьскую», он понимает в том смысле, что Ярослав стал «самовластцем» Русской земли, а это, как известно, произошло после смерти в 1036 (или 1034) г. его брата Мстислава (см.: *Поппэ А.* О времени зарождения культа Бориса и Глеба // Russia Mediaevalis. T. 1. 1973; *он же.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Там же. Т. 8. 1. 1995. С. 34). У меня, однако, нет уверенности в обязательности именно такого понимания указанных слов автора «Сказания»; скорее, речь идет здесь о победе Ярослава над Святополком, после которой Ярослав сел «на столе отьни и дедни», т. е. овладел «волостью Русской» (ср. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 142, 146). Во всяком случае, предложенная А. В. Поппэ более точная дата перенесения останков Глеба со Смядыни — «около 1045 г.» (там же. С. 52) — кажется неприемлемой, поскольку не оставляет времени для забвения могилы святых братьев в Вышгороде, о чем подробно повествуется в «Сказании о чудесах» и «Чтении» Нестора (см. далее).

[42] В «Повести временных лет» и Новгородской Первой летописи младшего извода в рассказе об убиении Глеба кратко сообщается о перенесении впоследствии его мощей со Смядыни в Вышгород, однако без какого-либо упоминания о личном участии в этом князя Ярослава Владимировича (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 137; НПЛ. С. 173, 174).

[43] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 147—148; Т. 2. Стб. 135. Версия Новгородско-софийских летописей: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 173—174; Т. 4. Ч. 1. С. 111—112. Еще одна, сокращенная версия событий содержится в т. н. Владимирском летописце (ПСРЛ. Т. 30. М., 1965. С. 44), но она принципиально не отличается от приведенных выше. Единственное уточнение автора: «...избиваху *старых муж и жен*», по-видимому, представляет собой не более чем расшифровку выражения «*старая чадь, бабы*».

У историков есть сомнения в определении даты этого события, поскольку рассказ о волнениях в Суздальской земле несет в себе черты вставки. (Он вводится фразой: «Ярославу сущю Новегороде...», которая буквально повторяет фразу, читающуюся всего двумя строчками выше и открывающую летописную статью 6532 г.; в Радзивиловском же и Московско-Академическом списках «Повести временных лет» весь этот эпизод с восстанием в Суздальской земле вообще отсутствует — см: ПСРЛ. Т. 38. С. 64.) По-видимому, он имеет новгородское происхождение (ср.: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 376) и соединен с основным текстом статьи именно в связи с пребыванием Ярослава в Новгороде.

По мнению О. М. Рапова, есть основания полагать, что запись о восстании в Суздальской земле была произведена летописцем по т. н. антиохийскому стилю и, следовательно, должна быть датирована не 1024-м, а 1032 г. (*Рапов О. М.* О датировке народных восстаний на Руси XI века в Повести временных лет // История СССР. 1979. № 2. С. 137—140). В подтверждение своей мысли автор приводит данные дендрохронологических исследований, согласно которым именно в 1029—1032 гг. в Восточной Европе наблюдалось «угнетение древесных колец», что говорит о неблагоприятных природных явлениях в эти годы (а именно они и должны были вызвать голод), а также свидетельства западноевропейских хронистов (в частности Рауля Глабера) о многолетнем неурожае и страшном голоде, охватившем в 1032 г. Европу. В принципе, предложенная датировка событий не исключена и, более того, выглядит весьма привлекательной (хотя в случае ее принятия придется ставить под сомнение данные «Повести временных лет» о пребывании князя Ярослава в 1032 г. на юге Руси). С другой стороны, точка зрения О. М. Рапова была подвергнута критике со стороны Я. Н. Щапова, ко-

торый, видимо справедливо, отметил, что летопись характеризует суздальское восстание как явление местного масштаба и не дает оснований заподозрить неурожай и голод на всей территории Руси (что должно было бы следовать из гипотезы Рапова). (См.: *Щапов Я. Н.* Характер крестьянских движений на Руси XI в. // Исследования по истории и историографии феодализма: К 100-летию со дня рождения акад. Б. Д. Грекова. М., 1982. С. 141—142.)

[44] См., напр.: *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1953. С. 263—264; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв. М., 1955. С. 72—81; *Щапов Я. Н.* Характер крестьянских движений... С. 139—140; др.

[45] См.: *Фроянов И. Я.* Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 113—139. По мнению автора, в Суздальской земле во время голода имели место лишь определенные «аграрно-магические ритуалы», не выходящие за рамки «традиций, уходящих в седую древность»; действия же Ярослава отнюдь не преследовали целью наказание волхвов, но стали таковыми только в результате «выдумки летописателя», которому и «поверили новейшие исследователи». (Основные положения этой гипотезы были изложены автором и в более ранних работах. См.: *Фроянов И. Я.* Волхвы и народные волнения в Суздальской земле 1024 г. // Духовная культура славянских народов. Литература. Фольклор. История. Л., 1983.) Критика, которой подвергает автор традиционное для советской историографии понимание суздальских событий как *антифеодального* восстания крестьян, несомненно, справедлива. Однако *полное* отрицание автором какой бы то ни было социальной (не обязательно классовой!) подоплеки суздальских событий, низведение их *только* к ритуальным действиям традиционного характера, по-видимому, нельзя оценить иначе как отрицание очевидного. (Это все равно что отрицать социальную направленность, например, восстания «черных людей» в Москве в 1547 г. на том только основании, что сами «черные люди» объясняли убийства Глинских и их сторонников тем, что будто бы княгиня Анна Глинская со своими детьми «вымала сердца человеческие, да клала в воду, да тою водою ездячи по Москве да кропила», и оттого-де Москва выгорела — эту параллель к суздальским событиям 1024 г. приводит, кстати, и сам И. Я. Фроянов.) Не случайно собственно летописный текст автору приходится интерпретировать отчасти как «выдумку» летописца, а такая оценка источника, как правило, свидетельствует о слабости гипотезы. В ряде случаев аргументация автора вызывает недоумение. Так, например, И. Я. Фроянов пишет о голоде и неурожае, «длившихся несколько лет подряд», ссылаясь при этом на работу О. М. Рапова (С. 124) — но в последней, как мы говорили выше, речь идет о многолетнем голоде и неурожае 1029—1032 гг.; далее же Фроянов утверждает, что целью поездки Ярослава в Суздаль был исключительно сбор дани для предстоящей войны с Мстиславом (С. 130—131) — однако эта война имела место в 1023—1026 гг., т. е. значительно раньше.

[46] См.: *Фроянов И. Я.* Древняя Русь. С. 127.

[47] См.: *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. С. 65—67, ср. С. 49—50 и след. Так, предание, записанное в Галиции в начале XIX в., рассказывает о том, как некогда, в страшный голод, наступивший в результате трехлетней жесточайшей засухи, власти распорядились «всех старых дедов *вытопити*».

[48] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 175.

[49] *Велецкая Н. Н.* Языческая символика... С. 68.

[50] *Кучкин В. А.* Формирование государственной территории... С. 59—60.

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150.

[2] Там же. Т. 9. С. 79; Т. 21. Ч. 1. С. 163.

[3] *Зотов Р. В.* О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892. С. 24; ср. С. 6—7.

[4] Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. Berlin, 1973. P. 354. Цит. по: *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). СПб., 2000. С. 215—216.

[5] См.: *Соколова И. В.* Печати Георгия Цулы и события 1016 г. в Херсоне // Палестинский сборник. Вып. 23 (86). Византия и Восток. Л., 1971. С 68—74; *она же.* Монеты и печати византийского Херсонеса. Л., 1982.

[6] *Соколова И. В.* Печати Георгия Цулы...; см. также: *она же.* Администрация Херсона в IX—XI вв. по данным сфрагистики // Античная древность и средние века. Т. 10. Свердловск, 1973. С. 207—214. Подобное развитие событий не допускает Г. Г. Литаврин: по его мнению, Георгий Цула мог быть назначен на свою должность только императором Василием II; «восстав, он не захватывал эту должность, а, в сущности, отрекался от нее». По мнению исследователя, после разорения Херсонеса князем Владимиром Святославичем в конце X в. в городе резко усилилась оппозиция императору; Василий был вынужден доверить управление города одному из членов рода Цул — и четверть века спустя «этот род — в лице Георгия Цулы — решил править фемой Херсон и Климаты как совершенно независимым от Константинополя княжеством» (*Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 221—222). Кроме того, Г. Г Литаврин категорически отвергает возможность ухода Георгия Цулы в Боспор, отрицая, вслед за А. П. Кажданом, принадлежность ему печати «протоспафария Босфора» (см. след. прим.).

[7] По-видимому, «Хазарией» в XI в. — вопреки мнению Г. Г. Литаврина (ср.: Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 216, прим. 1) — именовали не весь Крым, а только его восточную часть. Это следует, в частности, из греческой надписи на известной печати князя Олега-Михаила Святославича, в которой последний именуется «архонтом Матрахи, Зихии и *всей Хазарии*» (См.: *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси X—XV вв.. Т. 1. М., 1970. С. 26—29); разумеется, князь Олег никогда не претендовал на обладание всем Крымом, владея лишь его восточной частью — Керчью.

[8] Прямо противоположную точку зрения высказывает современный исследователь Тьмуторокани А. В. Гадло: по его мнению, действия византийцев в Крыму в 1016 г. представляли непосредственную угрозу Тьмутороканскому княжеству. В условиях надвигающейся византийской опасности Мстислав должен был принять меры для укрепления своей безопасности — основной такой мерой стал известный из летописи его поход на касогов (см. далее). (*Гадло А. В.* Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Краснодар, 1988. С. 88; *он же.* Этническая история Северного Кавказа X—XIII вв. СПб., 1994. С. 84—85.) Как мне представляется, у нас нет оснований не доверять сообщению Скилицы о *совместных* действиях русских (причем во главе с близким родственником князя Владимира, т. е. отнюдь не простым наемником) и византийцев. Последующая же война князя Мстислава Тьмутороканского с касогами, на мой взгляд, скорее свидетельствует о том, что западным границам Тьмуторокани в это время ничего не угрожало.

[9] См., напр.: *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 77; *Мавродин В. В.* Тмутаракань // Вопросы истории. 1980. № 11. С. 178—179 (впрочем, предположение автора о том, что князь Мстислав, подобно некоторым другим русским князьям, «носил еще и скандинав-

ское имя», кажется не вполне удачным: князь Мстислав Владимирович как раз не обнаруживает ни малейшей связи со скандинавским миром). Г. Г. Литаврин высказал предположение, согласно которому имя «Сфенг» может быть прозвищем (в славянской огласовке), данным Мстиславу греками Херсона после его победы в поединке с вождем касогов Редедей: по-гречески, σφαγιος — «убивающий закалыванием» (*Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 216, прим. 3). Однако едва ли поединок Мстислава с Редедей мог иметь место ранее 1016 г. (см. ниже).

[10] *Гадло А. В.* Поединок Мстислава... С. 87; *он же.* Этническая история... С. 83—84. Впрочем, точная датировка, предложенная исследователем, — 1016—1017 гг. — не выглядит достаточно убедительной: автор полагает, что до своего похода на Русь (1023—1024 гг.) князь Мстислав, согласно свидетельству летописи, должен был успеть не только заложить, но и освятить церковь Пресвятой Богородицы (см. далее), а на это требовалось не менее пяти-шести лет. Однако слова летописца «заложи церковь... и созда ю», приведенные под одним годом, на мой взгляд, не дают оснований для такого категоричного утверждения. Фраза же «В си же времена Мстиславу сущю Тмуторокани», которой открывается летописный рассказ об этом князе, также вовсе не обязательно должна быть приурочена именно ко времени начала борьбы Ярослава за Киев. В Степенной книге касожская война датируется 6501 (993?) г. (ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 163), но это явная описка: очевидно, в подлинной дате 6530 (1022) конечное *л* (30) было прочитано как *а* (1).

[11] См.: *Гадло А. В.* Этническая история... С. 86—88.

[12] *Татищев.* Т. 2. С. 75.

[13] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 146—147; Т. 2. Стб. 134.

[14] Былины Печоры и Зимнего берега. М.; Л., 1961. С. 161; ср.: *Гадло А. В.* К истории Тмутараканского княжества во второй половине XI в. // Историко-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и основные проблемы (Славяно-русские древности. Вып. 1). Л., 1988. С. 201—203.

[15] В русских родословных книгах упоминаются сыновья Редеди («ординского князя Редеги») — Юрий и Роман, которые после победы Мстислава (в источнике: князя Мстислава Владимировича, «сына Мономаха», т. е. Мстислава Великого) над их отцом были взяты русским князем на воспитание и крещены; за Романа Мстислав будто бы выдал замуж свою дочь. К этим сыновьям Редеди возводили свой род некоторые русские дворянские фамилии. Однако это генеалогическое предание вряд ли имеет под собой реальные основания. См.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 2—3. М., 1991. С. 200 (прим. 25 к книге 2).

[16] *Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербенда X—XI вв. М., 1963. С. 206—207.

[17] Так звучит титул тьмутороканского князя на известной печати князя Олега-Михаила Святославича (См.: *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси. Т. 1. С. 26—29).

[18] Слово о полку Игореве. Л., 1952 (Библиотека поэта. Большая серия). С. 53.

[19] *Тихомиров М. Н.* Боян и Троянова земля // Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М.; Л., 1950. С. 175—187. Впрочем, текстуальная близость между «Словом о полку Игореве» и «Повестью временных лет» позволяет сделать и обратное предположение: в данном случае, как и в ряде других, автор «Слова» обнаруживает знакомство с летописью (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 478, коммент. Д. С. Лихачева).

[20] *Ногмов Ш.-Б.* История адыгейского народа. Нальчик, 1982. С. 83—84.

[21] Об этом сообщает Л. Г. Лопатинский. Сам он привел еще одно ска-

зание, в котором якобы фигурирует Редедя — на этот раз в качестве некой женщины-богатырки, также вступающей в поединок с противником. (*Лопатинский Л. Г.* Редедя // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Т. 12. Тифлис, 1891. Тексты. С. 60—65, 100—101; *он же.* Мстислав Тмутараканский и Редедя по сказаниям черкесов // Известия Бакинского государственного университета. № 1. Второй полутом. Баку, 1921. С. 23—29.) Однако, как показали последующие исследователи, текст, записанный Лопатинским, не имеет никакого отношения к «Редеде». Он представляет собой вариант черкесской легенды о богатырке Ляшин (Лашын); название же «Редедя», как имя богатырки, попало в предание явно по ошибке — как позднее (под влиянием знакомства с русской летописью) осмысление припевки к кабардинским свадебным песням: «О редадэ махуэ» (или, точнее, «Оури-дада-махо»; смысл этой припевки не вполне ясен). См. об этом: *Трубецкой Н. С.* Редедя на Кавказе // Этнографическое обозрение. 1911. № 1—2. М., 1911. С. 229—238; *Турчанинов Г. Ф.* Летописный Редедя и черкесское «Редадэ» (К истории одного варианта сказания о Ляшин) // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института. Т. 2. Нальчик, 1947. С. 237—247.

[22] *Трубецкой Н. С.* Указ. соч.; *Турчанинов Г. Ф.* Указ. соч. Выводы исследователей звучат крайне неутешительно: миф о том, будто черкесы или кабардинцы сохранили какие-то воспоминания о Редеде есть «результат простого недоразумения, неверного использования припевки к свадебным песням». См. также: Кабардинский фольклор. М.; Л., 1936. С. 633. (Как указывает М. Е. Талпа, попытка увидеть имя Редеди в имени некоего судьи «Уори-дадэ», персонажа кабардинских сказаний, также несостоятельна. Это важно отметить, поскольку современные исследователи по-прежнему приводят такую параллель, в том числе и ссылаясь на указанное примечание М. Е. Талпы, но трактуя его в совершенно обратном смысле — ср. *Гадло А. В.* Этническая история... С. 74.)

[23] *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X—XIII вв. Каталог памятников (Свод археологических источников. Вып. Е1—47). Л., 1982. С. 115—116. Раскопки производились в 1955 г. под руководством Б. А. Рыбакова.

[24] Об этом писал диакон Нестор в Житии преп. Феодосия: «...и церковь Святыя Богородица възгради... и бысть манастырь славнъ, иже и доныне есть, приклад имыи в сии Печерьскыи манастырь» (Успенский сборник. С. 86).

[25] *Татищев.* Т. 2. С. 76. Это известие читается лишь во второй редакции «Истории Российской»; первая редакция никаких сведений, дополнительных по сравнению с известными нам летописями, не содержит (см. там же. Т. 4. М., 1995. С. 146).

[26] *Гадло А. В.* Этническая история... С. 92.

[27] *Мавродин В. В.* Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 365.

[28] *Джаксон.* 2. С. 21; Круг земной. С. 261.

[29] См.: *Мельникова Е. А.* Русско-норвежский торговый мир второй половины 1020-х гг. // Новгород и Новгородская земля. История и археология (Тезисы научно-практической конференции). Новгород, 1988. С. 75—78; Скандинавские источники. С. 537—541.

[30] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 148.

[31] Конъектура была предложена Н. П. Ламбиным (О слепоте Якуна и его златотканной луде // Журнал министерства народного просвещения. СПб., 1858. Ч. 98. № 4—6. Отдел. 2. С. 74—76). Ее принял затем А. А. Шахматов, а вслед за ним и большинство исследователей. См.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 646; Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 65, 479; др.

[32] См.: *Демин А. С.* «Повесть временных лет» // Древнерусская литература. Восприятие Запада в XI—XIV вв. М., 1996. С. 132.

[33] ПСРЛ. Т. 15. Стб. 144.

[34] *Демин А. С.* «Повесть временных лет». С. 131—132.

[35] Круг земной. С. 238—240.

[36] Так, еще в XVIII в. Якуна пытались отождествить со шведским конунгом Энундом-Якобом, сыном Олава Шётконунга (см.: *Татищев.* 2. С. 240; со ссылкой на Г. З. Байера). Столь же малоправдоподобным выглядит и отождествление Якуна с ярлом Хаконом Могучим (но он умер в 995 г.) или Хаконом Эйрикссоном (но он в те годы, о которых идет речь, находился в Англии, рядом со своим дядей и покровителем Кнутом Великим). Проскользнувшее в литературе указание на то, что Якун (Хакон) упоминается также в Эймундовой саге (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 479; *Демин А. С.* «Повесть временных лет». С. 131), по-видимому, ошибочно: в «Пряди об Эймунде» персонажа с таким именем нет.

[37] В литературе неоднократно предпринимались попытки связать те или иные сюжеты скандинавских саг с событиями войны Ярослава и Мстислава. Так, в одной из древнейших исландских родовых саг, т. н. «Саге о битве на Вересковой Пустоши», сообщаются сведения о некоем исландце Барди, сыне Гудмунда, который, по восстанавливаемой для саги хронологии, приблизительно после 1018 г. отправился на Русь, где находился в течение трех лет; он пользовался здесь почетом и уважением, имел свою дружину, вместе с которой участвовал в походов не названного по имени конунга (Ярослава?). В одном из походов Барди погиб; в целом, сведения о нем неопределенные (*Рыдзевская.* С. 230—232). По мнению Е. А. Рыдзевской, речь может идти о гибели Барди в Лиственской битве 1024 г. А. П. Толочко отмечает композиционную и сюжетную близость с летописным рассказом о войнах князя Мстислава исландской Саги о Бьёрне, в которой, в частности, речь идет о единоборстве Бьёрна с неким «витязем Кальдимаром», близким родичем конунга Вальдимара (князя Владимира Святославича). В этом Кальдимаре, по мнению исследователя, соединились черты князя Мстислава и Редеди. (См. *Толочко А. П.* Черниговская «Песнь о Мстиславе» в составе исландской саги // Чернигов и его округа в IX—XI вв. Киев, 1988. С. 165—175.) Наконец, намеки на взаимоотношения Ярослава и Мстислава находят в сообщении «Пряди об Эймунде» о том, что после смерти «конунга Вартилава» Ярослав правил «один обоими княжествами» (*Джаксон.* 2. С. 119). Но все эти аналогии кажутся слишком общими и, по-видимому, не дают оснований увязывать скандинавские сюжеты именно с событиями войны Ярослава и Мстислава.

[38] Патерик. С. 1—5. В переводе на современный русский язык см.: БЛДР. Т. 4. СПб., 1997. С. 297—301 (перевод Л. А. Дмитриева).

[39] Разумеется, имени Африкан (или чего-то хотя бы отдаленно напоминающего его) мы также не найдем в скандинавских источниках. Возможно, это второе, христианское имя варяжского «князя» (имя Африкан встречается в христианском именослове), а возможно, и прозвище, данное ему в связи с его путешествием в Африку (подобно, например, прозвищу «Гардский», свидетельствующему о частых поездках его обладателя «в Гарды», т. е. на Русь; о визитах скандинавов в первой половине XI в. в Африку мы знаем определенно). Ничего общего со скандинавским именословом не имеет и имя Шимон. Но это уже совершенно определенно христианское имя — Симон. (Первоначальное «Ш» свидетельствует, между прочим, о том, что Симон/Шимон имел какое-то отношение к Прибалтике, может быть, жил некоторое время в славянских («вендских») землях (ср.: *Кузьмин А. Г.* Древнерусские имена и их параллели // Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. М., 1986. С. 652: по мнению автора, имя Шимон, как и большинство «варяжских»/«русских» имен, имеет явно не скандинавское про-

исхождение).) Скандинавским именем назван лишь брат Шимона Фриланд, хотя имя это также не встречается в сагах. В литературе высказывалось предположение, согласно которому имя Фриланд представляет собой не личное имя, но неправильно понятое древнескандинавское friandi-friaendi, т. е. «родственник», «родич» (см.: *Браун Ф. А.* Фриланд и Шимон, сыновья варяжского князя Африкана // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 7. Кн. 1. С. 359—365).

[40] БЛДР. Т. 4. С. 142—159. Ср. также Проложное сказание («Притча о теле и душе и о воскресении мертвых»): Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2. С. 85—87.

[41] См.: *Коваленко В. В., Шекун А. В.* Летописный Листвен (К вопросу о локализации) // Советская археология. 1984. № 4. С. 62—74. Исследования археологов позволили точно определить место сражения — древний город Листвен (построенный в конце X — начале XI в.) находился близ деревни Малый Листвен на реке Белоус (ныне Репкинского района Черниговской области Украины).

[42] Указание на то, что сражение произошло осенью, содержится только в новгородско-софийских (и восходящих к ним) летописях (см., напр.: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 174; Т. 4. С. 112).

[43] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 148—149. Более исправный текст представлен в Радзивиловской летописи: ПСРЛ. Т. 38. С. 64.

[44] *Татищев.* Т. 2. С. 76.

[45] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 174—175; Т. 4. С. 112—113.

[46] См. об этом: *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 223—227, 95—96.

[47] Ioannis Scylitzae. P. 367—368. Перевод по: *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 223—224. По словам Скилицы, Хрисохир явился к Константинополю «после того, как Анна, сестра василевса, умерла в Росии, а до этого ее муж Владимир». Между тем это явная путаница: согласно летописи, Анна умерла в 1011 г., на четыре года раньше своего супруга. Само известие помещено в хронике после изложения событий лета 1022 г. и перед сообщением о несостоявшейся из-за болезни и смерти Василия II военной экспедиции в Италию в декабре 1025 г. (см.: *Васильевский В. Г.* Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. — В кн.: *Васильевский В. Г.* Труды. Т. 1. СПб., 1908. С. 206; *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 224—227).

[48] *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. С. 317; *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 225—226. Однако едва ли уход Хрисохира из Руси мог явиться следствием победы Ярослава в междоусобной войне со Святополком (как полагает Г. Г. Литаврин): между 1019 г. (завершение войны и утверждение Ярослава в Киеве) и 1023—1024 (или 1024—1025) гг. (дата расправы над Хрисохиром по Литаврину) прошло слишком много времени.

[49] *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 227.

[50] В Никоновской летописи рождение Изяслава Ярославича датировано 1025 г. (ПСРЛ. Т. 9. С. 79).

[51] О том, что дело происходило весной («наставшей весне»), сообщается только в «Истории» В. Н. Татищева (*Татищев.* Т. 2. С. 76).

[52] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149.

Глава восьмая. На пути к единодержавию

[1] НПЛ. С. 15—16, 180; ср. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149.

[2] Круг земной. С. 303—335; ср. относительно дат: *Джаксон.* 2. С. 21—22.

[3] Во всяком случае так сообщает в «Круге земном» Снорри Стурлусон. Другие саги напротив называют Астрид в числе тех, кто прибыл к «конунгу Ярицлейву» (*Джаксон.* 2. С. 44).

[4] Круг земной. С. 338—343.

[5] Там же. С. 362—367; ср. С. 651—652, прим. 151, 169, 170.

[6] Там же. С. 341—342, 374; *Джаксон.* 2. С. 81, 83.

[7] Церковь святого Олава в Хольмгарде (Новгороде) упоминается в одной рунической надписи конца XI в. из Упланда (в Швеции). См.: *Мельникова Е. А.* Сведения о Древней Руси в двух скандинавских рунических надписях // История СССР. 1974. № 6. С. 174—178; *она же.* Скандинавские рунические надписи. М., 1977. С. 113.

[8] *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 88. № 3. СПб., 1910. С. 46—47.

[9] *Рыдзевская.* С. 44—45; *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI — середина XIII вв.) М., 2000 (далее: *Джаксон.* 3). С. 57—58.

[10] Скандинавские источники. С. 497—498; *Джаксон.* 3. С. 68.

[11] *Рыдзевская.* С. 45—49; более полный текст Саги о Магнусе по «Гнилой коже»: *Джаксон.* 3. С. 58—64.

[12] Круг земной. С. 377—378; *Джаксон.* 3. С. 61—63.

[13] См.: *Джаксон.* 3. С. 74.

[14] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149. В некоторых поздних летописях чудский поход Ярослава и основание Юрьева датируются 1027 (ПСРЛ. Т. 39. С. 45) или 1029 (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1: Рогожский летописец. Стб. 17) гг.

[15] Круг земной. С. 219—220; ср. *Джаксон.* 2. С. 151—153.

[16] См.: *Труммал В. К.* Археологические раскопки в Тарту и поход князя Ярослава в 1030 г. // Советская археология. 1971. № 2. С. 265—271.

[17] *Татищев.* Т. 2. С. 77.

[18] *Джаксон.* 3. С. 108.

[19] См.: *Глазырина Г. В.* Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996. С. 53, 100.

[20] Ср.: *Рыдзевская Е. А.* Сведения о Старой Ладоге в древне-северной литературе // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 11. М.; Л., 1945. С. 52.

[21] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 176; Т. 4. С. 113.

[22] Так полагает А. Н. Насонов («Русская земля»... С. 93): Железными воротами называется один из проливов близ устья Северной Двины; в том же районе известно еще несколько похожих названий. К этому мнению присоединяется и А. Н. Кирпичников (Ладога и Ладожская земля в VIII—XIII вв. // Историко-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и основные проблемы. Л., 1988. С. 58). Но едва ли можно согласиться с тем, что целью похода Улеба (несомненно, сухопутного) были морские проливы.

[23] П. С. Савельев, Н. П. Барсов и ряд последующих исследователей полагали, что речь идет о местности (урочище) на правом берегу реки Сысолы, в 80 верстах к югу от Усть-Сысольска (нынешнего Сыктывкара), близ селения Водчи, которое еще в начале XIX в. местные жители называли «городком» («кариль») и Железными воротами (*Савельев П. С.* Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. СПб., 1847. С. CXIII—CXIV, прим. 208; *Барсов Н. П.* Материалы для историко-географического словаря России. Варшава, 1885. С. 62—63).

[24] *Татищев.* Т. 2. С. 77.

[25] См., напр.: *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. 1. С. 206; *Кирпичников А. Н.* Ладога и Ладожская земля... С. 58.

[26] См. об этом подробнее: *Карпов А. Ю.* «Заклепанные человеки» в ле-

тописной статье 1096 г. // Очерки феодальной России. Вып. 3. М., 1999. С. 3—24.

[27] НПЛ. С. 18; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 204.

[28] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 277—278; ср.: *Насонов А. Н.* «Русская земля»... С. 80: ссылка на «старых мужей», едва ли не ведет ко временам Ярослава.

[29] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 153—154; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 179—180. Между прочим, направление этого военного похода остается не вполне выясненным. Ряд исследователей полагают, что дружина Владимира направлялась не в собственно Финляндию (Тавастланд), а в Прионежье, где предположительно емь обитала до конца XI в. См., напр.: *Мавродин В. В.* Образование Древнерусского государства. С. 369 (со ссылкой на: *Равдоникас В. И.* Археологические памятники западной части Карело-Финской ССР // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 7. М.; Л., 1940. С. 18); *Насонов А. Н.* «Русская земля»... С. 93: автор связывает с емью Прионежья не только поход 1042 г., но и поход 1123 г., о котором сообщает Новгородская Первая летопись; впоследствии же, в XIII и XIV вв., новгородцы ходили «на емь» уже «за море», т. е. в юго-западную Финляндию (там же, прим. 1). Эта точка зрения опирается в основном на гипотезу И. А. Шёгрена (первая половина XIX в.) о первоначальном восточном обитании еми. В советское время, однако, гипотеза И. А. Шёгрена была подвергнута резкой критике; см.: *Бубрих Д. В.* Не достаточно ли емских теорий? // Известия Карело-Финского филиала АН СССР. Петрозаводск, 1950. № 1; *Шаскольский И. П.* О емской теории Шёгрена и ее последователях // Там же; *Попов А. И.* Названия народов СССР. Л., 1973. С. 87—89. Согласно мнению названных авторов, емь изначально обитала в Финляндии. Современные исследователи полагают, что конный поход Владимира был совершен в центральные районы современной Финляндии с целью обложения местного населения данью (см., напр.: *Кочкурина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н.* Письменные известия о карелах. Петрозаводск, 1990. С. 105).

[30] *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995. С. 224—225. Грамота № 527, стратиграфически датируется 30-ми — 60-ми гг. XI в.

[31] Там же. С. 228. Грамота № 590. Стратиграфически датируется последней третью XI в.

[32] *Королюк В. Д.* Западные славяне и Киевская Русь. С. 271.

[33] *Галл Аноним.* С. 49; «Великая хроника»... С. 68.

[34] *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 117.

[35] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149—150.

[36] Если не принимать дополнений В. Н. Татищева, который гораздо пространнее повествует об успехе похода на Белз: «Ярослав ходил на поляк и, победя, город Белжу и другия, что прежде было Болеслав побрал, взял и, много полона польскаго приведши, по городам поселил» (*Татищев.* Т. 2. С. 77). Возможно, в источнике, откуда извлек это известие Татищев, оказались смешаны походы Ярослава на Польшу 1030 и 1031 гг.

[37] *Джаксон.* 3. С. 114; Круг земной. С. 402.

[38] Annales Hildesheimenses / Ed. G. Waitz // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. T. 8. Hannover, 1878. P. 98. Здесь и далее перевод по: *Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша... С. 36—37.

[39] См.: *Королюк В. Д.* Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв. М., 1964. С. 276—277; *Свердлов М. Б.* Известия немецких источников о русско-польских отношениях конца X — начала XII в. // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и ее славянские соседи. М., 1972. С. 156. Это предположение, однако, категорически отвергает А. Б. Головко (Древняя Русь и Польша... С. 35 и след.). О событиях в Польше в начале 30-х гг. XI в. см.:

Borawska D. Kryzus monarchii Wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI w. Warszawa, 1964.

[40] Говоря о гибели Бесприма в 1032 г., автор анналов сообщает, что произошло это «не без участия... *братьев*» (*Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша. С. 36).

[41] На этот счет мы располагаем лишь косвенными свидетельствами источников. Во-первых, по предположению А. В. Назаренко, именно 30-ми гг. XI в. может быть датирован брак маркграфа Саксонской северной марки Бернхарда на некой русской, о чем сообщается в Саксонской всемирной хронике XIII в.; этой русской, по мнению автора, могла быть либо Ярославна, либо дочь Владимира от его второго брака, а сам брак имел, несомненно, политическое значение (*Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 344—345). Во-вторых, можно отметить смутное и не вполне определенное известие из описания посмертных чудес хильдесхаймского епископа Годехарда, согласно которому около 1032 г. некие «путешественники из Руссии» по какой-то причине оказались недалеко от гробницы блаженного Годехарда, где подверглись нападению разбойников (*Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 204). Мы не знаем, с какими целями оказались в Саксонии русские путешественники; возможно, это были купцы (хотя в таком случае странно, почему автор не называет их именно так), но нельзя исключать, что речь шла о людях, выполнявших некое дипломатическое поручение.

[42] *Головко А. Б.* Древняя Русь и Польша... С. 39.

[43] *Моця О. П.* Население Поросся за даними некрополів // Археологія. 1979. Вip. 30. С. 27—36.

[44] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 146.

[45] *Щапов Я. Н.* Государство и церковь в Древней Руси. С. 43—45.

[46] ПСРЛ. Т. 9. С. 79. Дополнительная подробность о походе на ясов содержится в «Истории» В. Н. Татищева: «Ходи Ярослав на ясы и, взяв их, поселил по Рси (Роси. — *А. К.*)» (*Татищев.* Т. 2. С. 77).

[47] Это имя называет летопись, сообщая о смерти Евстафия Мстиславича под 1033 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150); по сведениям В. Н. Татищева, Евстафий умер «во Тмуторокани» (*Татищев.* Т. 2. С. 77). Необычное имя князя объясняется тем, что оно крещальное, а не княжеское; сама запись, очевидно, извлечена из какого-то церковного помянника. Поэтому, на мой взгляд, безосновательно предполагать какую-либо особую связь Мстислава (проявившуюся якобы через необычное наречение его сына) с Кавказом и кавказскими христианами, ссылаясь на популярность имени Евстафий на Кавказе (ср.: *Гадло А. В.* Поединок Мстислава с Редедей... С. 90—91). Имя Евстафий, очевидно, было дано княжичу в честь святого великомученика Евстафия Плакиды, почитаемого в Византии и на Руси; его Житие (см.: Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 226—245) было известно на Руси, по крайней мере, с XI в. (на него ссылается диакон Нестор в своем «Чтении о святых Борисе и Глебе»), причем со святым Евстафием прямо сравнивался князь Владимир, отец Мстислава (см.: *Абрамович.* С. 4).

[48] На этот счет мы имеем бесспорные свидетельства источников, правда, относящиеся к X в. См. сообщения Масуди (*Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербенда... С. 206) и Константина Багрянородного (*Константин Багрянородный.* Об управлении Империей. М., 1989. С. 177). Ср. *Гадло А. В.* Этническая история... С. 93—94.

[49] *Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербенда... С. 205.

[50] Если не считать известия из «Истории» Ш.-Б. Ногмова, согласно которому спустя некоторое время после поединка «князя Тамтаракая» (Тьмуторокани) и Редеди адыги попытались захватить «Тамтаракай» и призвали на помощь «оссов» (аланов). Последние дали им войско чис-

ленностью «до 6000 отборных людей». Разгромив «область Тамтаракай», адыги и оссы «возвратились в отечество» (*Ногмов Б.-Ш.* История адыгейского народа. С. 84). По мнению ряда исследователей, именно это совместное нападение касогов и аланов на Тьмуторокань после ухода из нее Мстислава стало причиной похода на ясов 1029 г. (*Мавродин В. В.* Образование Древнерусского государства. С. 361; *Гадло А. В.* Этническая история... С. 92). Однако общее недоверие к свидетельствам Ногмова (см. прим. 20—22 к главе 7) не позволяет принять подобное предположение.

[51] «История» была открыта и исследована выдающимся русским ориенталистом В. Ф. Минорским (История Ширвана и Дербенда...).

[52] *Масуд Ибн Намдар.* Сборник рассказов, писем и стихов / Подг. В. М. Бейлис. М., 1970 (Памятники письменности Востока. Т. 30); *Коновалова И. Г.* Восточные источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999. С. 237.

[53] *Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербенда... С. 53—54, 70—71, 153—155.

[54] *Штро В. А.* Дербент и Железные ворота в древнерусской литературе // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Т. 42. Л., 1989. С. 262—267; *Гадло А. В.* Этническая история... С. 95.

[55] Русы, действовавшие в Восточном Закавказье, несомненно, жили где-то поблизости от места событий: они имели возможность вернуться домой и затем, спустя короткое время, вновь предпринять наступление в Закавказье. Кроме того, мусульманский автор постоянно подчеркивает связь русов с аланами и даже аварами-сарирцами (и не только во время набегов 1032—1033 гг., но и ранее, говоря о событиях 80-х гг. X в.). Все это заставляет историков однозначно связывать русов, напавших на Ширван и Дербенд, с Тьмутороканью — единственным оплотом русской власти в Предкавказье и на Северном Кавказе. (См.: *Минорский В. Ф.* История Ширвана и Дербенда... С. 154—155; *Minorsky V.* The Russian Attack on the Caucasus at XI-th Century // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1953. V. 15. № 3.)

[56] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 176; Т. 4. С. 113.

[57] *Живов В., Иванов С.* Царапины на церах // Итоги. 2000. № 38 (224). С. 62—66; *Янин В. Л.* Новгородские сенсации тысячелетия // Мир истории. 2001. № 1. С. 2—4; *Зализняк А. А., Янин В. Л.* Новгородская псалтырь XI в. — древнейшая книга Руси // Вестник Российской Академии наук. Т. 71. 2001. № 3. С. 202—209.

[58] *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 13, 58—59.

[59] *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 217; *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 377.

[60] См.: Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 480 (коммент. Д. С. Лихачева); *Хорошев А. С.* Летописные списки новгородских владык. С. 133—134.

[61] Новгородские летописи. С. 179—180 (Новгородская Третья летопись).

[62] НПЛ. С. 163. В перечне же новгородских епископов, читающемся в той же рукописи, что и Новгородская Первая летопись младшего извода, но ниже, имя Ефрема присутствует, но *епископом*, в отличие от других, он не назван (там же. С. 473). Ср. в Тверской летописи: «А от Акыма (Иоакима. — *А. К.*) 3 лета владыкы не было в Новегороде» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 153).

[63] Традиционная дата основания Юрьева монастыря (1030 г.) основывается лишь на догадке (но не на каком-то извлечении из летописи)

В. Н. Татищева, согласно которому «монастырь Юриев построен во время Ярослава Великаго, когда Юриев Ливонский строен» (*Татищев.* Т. 2. С. 261, прим. 371). В летописях Юрьев монастырь упоминается впервые под 1119 г., когда игумен Кюрьяк (Кириак) и князь Всеволод Мстиславич заложили «церковь камену манастырь святаго Георгия Новегороде» (НПЛ. С. 21, 205). По мнению исследователей, речь идет о заложении каменного храма в уже существующем монастыре; на роль же его основателя претендует именно князь Ярослав Мудрый — единственный из новгородских князей XI в., носивший имя Георгий (во всяком случае, из тех князей, чьи крестильные имена нам известны). См.: *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 102, 450—451; *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси. С. 147—148.

[64] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 161, 162 (статья 1054 г.; в первом случае Игоря упоминает только Московско-Академический список «Повести временных лет»); ПСРЛ. Т. 2. Стб. 151 (под 1055 г.; под 1054 г. имя Игоря также пропущено); см. также: НПЛ. С. 182; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 181—182. Правда, по сведениям В. Н. Татищева, Игорь был младше Вячеслава: о его рождении в «Истории Российской» сообщается под 1036 г., в то время как рождение Вячеслава отнесено здесь к 1034 г. (*Татищев.* Т. 2. С. 77; Т. 4. С. 147, 148). В соответствующем месте статьи 1054 г. Игорь сначала назван после Вячеслава, но затем — перед Вячеславом (там же. Т. 2. С. 81, 82; Т. 4. С. 152). Думаю все же, что данные «Повести временных лет» заслуживают большего доверия.

В. Л. Янин на основании нескольких неатрибутированных печатей предположительно называет крестильное имя князя Игоря Ярославича — Константин (Актовые печати. Т. 1. С. 32—33; Т. 3. С. 24).

[65] *Татищев.* Т. 2. С. 77.

[66] Археология Украинской ССР. Т. 3. Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев, 1986. С. 274—278.

[67] *Комеч А. И.* Спасо-Преображенский собор в Чернигове // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 9—26.

[68] *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X—XIII вв. С. 40.

[69] ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 164.

[70] БЛДР. Т. 1. С. 470—471.

[71] Здесь необходимы некоторые пояснения. Различные списки «Повести временных лет» и более поздние летописи по-разному называют дату смерти князя Мстислава Владимировича. По-видимому, это связано с общей хронологической путаницей в разных списках «Повести временных лет» относительно событий 1033—1036 гг. Так, в Лаврентьевской, Радзивиловской и Московско-Академической летописях под 6541 (1033/34) г. сообщается о смерти Евстафия Мстиславича; 6542 и 6543 гг. оставлены пустыми; под 6544 (1036/37) г. сообщается о смерти Мстислава, переходе всей полноты власти в Руси к Ярославу, его поездке в Новгород, поставлении на новгородское княжение Владимира Ярославича, а на новгородскую кафедру епископа Луки Жидяты, рождении у Ярослава сына Вячеслава, войне Ярослава с печенегами и посажении в поруб брата Судислава (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150—151; Т. 38. С. 65). В Ипатьевской летописи (Ипатьевском и Хлебниковском списках «Повести временных лет») под 6541 г. сообщается о смерти Евстафия Мстиславича; под 6542-м (1034/35) — о смерти Мстислава и т. д. (статья совпадает со статьей 6544 г. Лаврентьевской летописи); статей 6543 и 6544 гг. нет вовсе (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 138—139). В несохранившейся Троицкой летописи, согласно выпискам из нее Н. М. Карамзина, обо всех названных событиях (начиная со смерти Мстислава) сообщалось под 6541 (1033/34) г. (см. *Приселков М. Д.* Троицкая летопись. С. 133—134), что, по-видимому, объясняется пропуском известия о смерти Евстафия Мстиславича (ср. ниже, в Никонов-

ской летописи): вероятно, фраза летописи: «Мстиславич Евстафий умре» трансформировалась в «Мстислав... умре», что могло быть воспринято как заголовок нижеследующего известия. Более поздние летописи дают следующую хронологическую сетку. В Софийской Первой: под 6541 г. смерть Евстафия Мстиславича; под 6542 г. прочие события, начиная со смерти Мстислава; статей 6543 и 6544 гг. нет (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 176—177). В Софийской Первой по списку Царского смерть Мстислава датирована 6542 г., но последующие события (той же летописной статьи) — 6544-м (дата проставлена на полях) (ПСРЛ. Т. 39. С. 45, прим. э). В Новгородской Четвертой смерть Евстафия пропущена; о смерти Мстислава (и прочих событиях того же года) сообщается под 6544 г. (ПСРЛ. Т. 4. С. 113—114). В Московском летописном своде конца XV в. (летопись по Эрмитажному списку) о смерти Мстислава сообщается под 6541 г.; тем же годом датируются поход Ярослава в Новгород, посажение Владимира (известие о поставлении Луки пропущено) и рождении Вячеслава Ярославича; о приходе же к Киеву печенегов и заточении Судислава сообщается под 6544 г. (ПСРЛ. Т. 25. С. 376; также и в некоторых других летописях, например, Типографской — ПСРЛ. Т. 24. С. 52). В Никоновской летописи о смерти Евстафия не сообщается, зато смерть Мстислава (и последующие события) датируются 6541 (1033/34) г.; статьи 6542—6544 гг. оставлены пустыми (ПСРЛ. Т. 9. С. 79). В Тверской летописи: под 6541 г. смерть Евстафия; под 6542 г. сообщается о смерти Мстислава, переходе власти к Ярославу, его поездке в Новгород, посажении на новгородское княжение Владимира Ярославича, а на новгородскую кафедру Луки; под 6544 г. (6543 г. пропущен) — о рождении сына Вячеслава, войне Ярослава с печенегами и заточении Судислава (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 146—147). Соответственно, смерть Мстислава датируется историками либо 1034-м (точнее, 1034/35), либо 1036 (1036/37) г.

У нас есть некоторые данные для того, чтобы выбрать из двух дат одну, а именно ту, которую имел в виду автор «Повести временных лет». Известно, что заточенный Ярославом князь Судислав был освобожден своими племянниками Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами в 6567 (1059/60) г.; «сиде бо лет 20 и 4», — сообщает летописец. Эти данные одинаково приводятся и в Лаврентьевском, и в Ипатьевском и Хлебниковском списках «Повести временных лет», а также в Новгородской Первой летописи (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 162; Т. 2. Стб. 151; НПЛ. С. 17, 183). Некоторую путаницу вносит Троицкая летопись, где об освобождении Судислава сообщалось годом ранее; но в этой летописи вообще все даты за данный отрезок времени оказались сдвинуты на один год. Правда, в Радзивиловском и Академическом списках «Повести временных лет» сообщается о 28 годах заточения Судислава (ПСРЛ. Т. 38. С. 70), но эти цифры, скорее всего, ошибочны, ибо о посажении Судислава в поруб в 6540/1032 г. ни в одной из летописей не сообщается.) Легко высчитать, что летописная запись сориентирована на заточение Судислава в поруб в 6544 г. (согласно принятой в древней Руси системе подсчета лет, из даты 6567 надо вычитать не 24, а 23 года). Следовательно, можно думать, что в оригинале «Повести временных лет» летописная статья, посвященная смерти Мстислава и последующим событиям (включая посажение в поруб Судислава), была датирована именно 6544 г.; путаница в Ипатьевском и Хлебниковском списках (равно как и в последующих летописных сводах) произошла из-за того, что два предыдущих года были оставлены летописцем пустыми, т. е. без записей.

Это не значит, конечно, что сомнений относительно подлинной даты смерти Мстислава у нас нет: слишком уж много событий уместилось в рамках одной годовой летописной статьи 6544 г.; отсутствие записей за два предыдущих года (6542—6543) оставляет возможность для распреде-

ления описанных летописью событий между ними. Как мы увидим, отдельные из этих событий (в частности, поставление на новгородскую кафедру Луки Жидяты, а возможно, и посажение в Новгород князя Владимира Ярославича) в принципе могут быть датированы и временем более ранним, чем 1036 г.

[72] Византийский хронист XI в. Иоанн Скилица сообщает под 1036 г. о кончине «архонтов росов Несислава и Иерослава» и начале правления родственника скончавшихся, некоего «Зинислава» (Ioannis Scylitzae synopsis historiarum. P. 399). Как полагают, это известие в искаженной форме передает факт смерти князя Мстислава Владимировича и перехода всей полноты власти в Руси к Ярославу (а возможно, и факт ареста князя Судислава Псковского). Правда, следует оговориться, что сведения Скилицы о древней Руси, в том числе и приводимые им даты событий, далеко не всегда оказываются точными.

Глава девятая. Киев: под сенью Святой Софии

[1] Издания Жития Феодосия Печерского: Успенский сборник. С. 71—135; Патерик. С. 20—78 (распространенная редакция). См. также: БЛДР. Т. 1. С. 352—433 (перевод О. В. Творогова).

[2] См.: *Склярук В. И.* К биографии Феодосия Печерского // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Т. 41. Л., 1988. С. 320.

[3] См. прим. 71 к предыдущей главе.

[4] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150.

[5] В позднейшей Новгородской Третьей летописи прямо сообщается о том, что Владимир был посажен на княжение четырнадцатилетним (Новгородские летописи. С. 177). Однако значение этого известия едва ли следует преувеличивать. Скорее всего, оно является результатом собственных, весьма несложных хронологических подсчетов новгородского летописца: известно, что в новгородской летописной традиции вокняжение Владимира Ярославича в Новгороде (как и смерть Мстислава и другие события данной летописной статьи) датировано 1034 г. (см. выше); Владимир же, как хорошо известно, родился в 1020 г. (Правда, в самой Новгородской Третьей летописи вокняжение Владимира, как и другие события той же летописной статьи, датируется 1030 г., но мы уже говорили о том, что это должно объясняться механическим пропуском в оригинале рукописи и на самом деле речь в летописи идет о том же 1034 г.; ср. прим. 31 к главе 3.)

[6] О поставлении епископа Луки сообщается в той же летописной статье (под 1036 г. в «Повести временных лет», под 1034 г. в большинстве позднейших летописей). Список новгородских епископов, читающийся в той же рукописи, что и Новгородская Первая летопись младшего извода («А се новгородскыи епископы»), казалось бы, позволяет проверить дату поставления Луки на кафедру, сообщая: «Лука Жидята бысть епископом лет 23» (НПЛ. С. 473; эти же цифры сообщают Софийская Первая летопись, Новгородская Четвертая и некоторые другие источники новгородского происхождения). Сложность, однако, заключается в том, что хотя нам точно известна календарная дата смерти Луки (он умер 15 октября), летописи по-разному называют год, в котором это произошло: 1060 (Софийская Первая, Новгородская Четвертая и др.) или 1059 (Никоновская). Учитывая же, что Лука умер, возвращаясь из Новгорода в Киев, а из киевского заточения он был освобожден в 6566 (1058) г. (НПЛ. С. 183), смерть его можно датировать и октябрем 1058 г. Вычет 23 лет святительства епископа Луки дает и 1036, и 1037, и 1038 гг. Однако вполне

возможно, что в этот расчет не были включены годы, проведенные святителем в заточении в Киеве. Именно так считал, например, автор Тверской летописи: «Се же считает выклад лета, которие Лука на столе был, а тех не считает, что был Лука три лета в Киеве оклеветан, а всех лет его от поставления до смерти 27 (скорее, должно быть: 26? — *А. К.*)» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 153). В таком случае (Тверской летописец датирует смерть Луки 1060 г.) Лука должен был получить кафедру в 1034 или 1035 г. Однако все эти выкладки не могут служить сколько-нибудь убедительным аргументом для уяснения даты поставления епископа Луки. Скорее всего, они принадлежат позднейшим книжникам, высчитывавшим срок святительства Луки на основании имевшихся у них летописных источников.

[7] Так полагал, например, И. И. Малышевский (Евреи в южной Руси и Киеве в X—XIII вв. Киев, 1878 (отд. оттиск из Трудов Киевской Духовной академии); *он же.* Русские известия о евреях в Киеве и южной Руси в X—XII вв. // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев, 1888. Кн. 2. Отд. 1. С. 49—52).

[8] См.: *Евсеев И. Е.* Лука Жидята. Поучение к братии // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 1. СПб., 1894. С. 9—14; *Соболевский А. И.* Заметки о собственных именах. 4. Жидята. — В кн.: *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии // Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1910. Т. 88. № 3. С. 255—256. Так, например, имя Борис Жидославич, или Жидиславич, носил известный боярин князя Андрея Боголюбского.

[9] ПСРЛ. Т. 4. С. 118—120; *Евсеев И. Е.* Лука Жидята. Поучение к братии. С. 14—16; *Бугославский С. А.* Поучение епископа Луки Жидяты по рукописям XV—XVII вв. // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1913. Т. 18. Кн. 2. С. 222—226. Перевод на современный русский язык: Красноречие Древней Руси. XI—XVII вв. М., 1987. С. 40—41 (перевод Т. В. Черторицкой); Златоструй. Древняя Русь. X—XIII вв. С. 152 (перевод мой).

[10] НПЛ. С. 182—183; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 183; Т. 4. С. 118; Т. 9. С. 91.

[11] Российское законодательство... С. 69 (Пространная Правда, ст. 66).

[12] *Столярова Л. В.* Древнерусские надписи XI—XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998. С. 275—276.

[13] См. примеры из Рязанской Кормчей 1284 г.: «близочьство же есть своиство лиць, от браков нам сочтано, проче сродъства»; «близочьство же убо, рекше сватьство...» (Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) Т. 1. М., 1988. С. 231—232; *Поппэ А.* Феофана Новгородская // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 107, прим. 10).

[14] *Поппэ А.* Феофана Новгородская. С. 102—120. Одновременно исследователь показал несостоятельность распространенной гипотезы, согласно которой Остромир являлся сыном бывшего новгородского посадника Константина Добрынича; основанием для этой гипотезы служило то же «близочество» Остромира и Изяслава (но понимаемое как кровное родство). Гипотеза о родстве Остромира и Константина была предложена Д. Прозоровским (О родстве св. Владимира по матери // Записки Имп. Академии наук. 1864. Т. 5. С. 17—26) и принята затем большинством историков.

[15] Имя супруги князя Владимира Ярославича приведено в Росписи новгородских святынь второй четверти XVII в.: «... в той паперти на левой стране... благоверный князь Владимер в каменной гробнице... да (за) стеною, в приделе святаго архидиакона Стефана, великая княгиня его Александра...», а также в «Чиновнике» Софийского собора первой

половины XVII в. См.: *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 218, 128. Отметим, кстати, что высказанное в свое время Н. А. Баумгартеном предположение, согласно которому супругой князя Владимира была немка Ода, внучатая племянница германского императора Генриха III и папы Льва IX (см.: *Баумгартен Н. А.* Первая ветвь князей Галицких: Потомство Владимира Ярославича // Летопись историко-родословного общества. Вып. 4 (16). М., 1908. С. 3—4; *он же.* Ода Штаденская, внучатая племянница папы Льва IX — невестка Ярослава Мудрого // Благовест. Париж, 1930. № 1. С. 95—102; к этому же мнению присоединился и С. М. Каштанов, см.: Была ли Ода Штаденская женой великого князя Святослава Ярославича? // Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. М., 1994. С. 16—19), к настоящему времени можно признать несостоятельным. Ср.: *Назаренко А. В.* О династических связях сыновей Ярослава Мудрого // Отечественная история. 1994. № 4—5. С. 181—194.

[16] Это уникальное известие содержится только в «Истории Российской» В. Н. Татищева (*Татищев.* Т. 2. С. 78).

[17] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 177; Т. 4. С. 114. Очень подробно описан этот эпизод в «Истории Российской» В. Н. Татищева под 1035 г.: «...Тогда новогородцы просили Ярослава, дабы дал им грамоту, по чему судить и дани давать, понеже прежде данная им неспособна. Он же повелел сыном своим Владимиру, Изяславу и Святославу созвать людей знатных в Киев от киевлян, новогородцев и иных городов сочинить закон, еже и учинили им грамоты, как судить и дани давать; и отдавши им, заповедал по всем градом по оной поступать непременно» (*Татищев.* Т. 2. С. 77; ср. также Т. 4. С. 147 — первая редакция «Истории», в которой имя старшего Ярославича, Владимира, отсутствует). Из примечаний В. Н. Татищева (Т. 2. С. 241, 239, прим. 240, 225) видно, что он имел в виду «Правду Русскую», состоящую, по его мнению, из двух «грамот», одна из которых связана с именем князя Ярослава, а другая — его сыновей — Изяслава, Святослава и Всеволода (но не Владимира!). Таким образом, известие о съезде 1035 г., по справедливому замечанию исследователей, «носит все черты его домысла» (*Тихомиров М. Н.* Исследование о Русской Правде. С. 62; *Зимин А. А.* Правда Русская. С. 100—101).

[18] НПЛ. С. 161, 470.

[19] Там же. С. 465.

[20] См.: *Арциховский А. В.* Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 127.

[21] *Буров В. А.* Очерки истории и археологии средневекового Новгорода. С. 6—15 (автор датирует вторую грамоту Ярослава 1035 г.).

Впрочем, историки высказывают и иные мнения относительно содержания второй «Ярославлей грамоты», ссылаясь, в частности, на молчание источников о какой-либо «росписи новгородских даней». «Трудно объяснить бесследное исчезновение подобного важнейшего документа, — писал, например, по этому поводу А. А. Зимин. — ...Да и вообще не сохранилось ни одного акта, который бы устанавливал размер дани, шедшей из Новгорода киевским князьям» (*Зимин А. А.* Правда Русская. С. 131—132). По мнению А. А. Зимина, речь должна идти о т. н. «Поконе вирном» (см. ниже), и именно он читался в тексте той новгородской летописи, к которой восходило известие 1034 (1036) г. новгородско-софийских сводов.

[22] «Покон вирный» составляет 42-ю статью «Краткой Правды» (см.: Российское законодательство. Т. 1. С. 49).

[23] Там же, статья 43-я (Российское законодательство. С. 49).

[24] Согласно мнению М. Б. Свердлова, текст «Краткой Правды» полностью принадлежит времени Ярослава и представляет собой соединение «Древнейшей Правды», связанной с событиями 1015—1016 гг. в Нов-

городе, и домениального устава («Правда уставлена руськои земли»), изданной после 1036 г.; имя же Ярославичей попало в заголовок домениального устава по ошибке (*Свердлов М. Б.* От Закона Русского к Русской Правде. С. 29—30, 84—101).

[25] См.: *Кузьмин А. Г.* Ярослав Мудрый. С. 29.

[26] *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси. Т. 1. С. 16.

[27] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151. Этот текст читается в конце летописной статьи 6544 (1036) г., уже после рассказа о войне Ярослава против печенегов. Но событие приурочено к Пскову, а следовательно, должно было произойти во время пребывания князя Ярослава в Новгороде.

[28] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 2. Стб. 147; ср. ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 172.

[29] ПСРЛ. Т. 4. С. 114; Т. 6. Вып. 1. Стб. 177: «...и всади его в поруб *в Пъскове* до живота его...»; Псковские летописи. Вып. 2 / Подг. А. Н. Насонов. М., 1955. С. 76: «...бяше бо седел [Судислав] *во Пскове* в тюрме лет 24» (Псковская Третья летопись).

[30] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 150—151.

[31] *Татищев.* Т. 2. С. 77—78. В первой редакции «Истории Российской» все эти подробности, дополнительные по сравнению с «Повестью временных лет», отсутствуют, за исключением упоминания наряду с Сетомлью еще и реки Сутени (Т. 4. С. 148).

[32] ПСРЛ. Т. 4. С. 114; Т. 6. Вып. 1. Стб. 177: «Ярослав же... прииде к Киеву весне».

[33] В литературе высказывалось предположение, согласно которому летописное известие о сражении между русскими и печенегами 1036 г. ошибочно отнесено к этому году, а на самом деле воспроизводит события более раннего времени, а именно 1017 г. (см.: *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года... С. 120—123; *Толочко П. П.* Древний Киев. Киев, 1983. С. 74 и др.). (О противоположной точке зрения, согласно которой летописное сообщение о печенежском нашествии на Киев под 1017 г. является ошибочным перенесением сюда известия о войне 1036 г., см. прим. 30 к главе 5.) Однако подобное предположение «в чистом виде» кажется невероятным: достаточно сказать, что после отступления печенегов от Киева в 1017 г. никак нельзя было утверждать, что «прок» (остаток) печенегов «пробегоша и до сего дне»: ведь два года спустя, в 1019 г., многочисленное войско печенегов вместе с князем Святополком вновь вторглось в русские пределы, хотя и не дошло до Киева.

[34] Ioannis Scylitzae synopsis historiarum. P. 373, 385, 397—399. Сведения Скилицы, как всегда, повторяет Георгий Кедрин.

[35] Там же. P. 399. Русский перевод по: *Бибиков М. В.* Византийские источники. С. 137.

[36] См.: *Расовский Д. А.* Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. T. VI. Praga, 1933. С. 7; *Poppe A.* The Building of the Church of St. Sophia in Kiev // Journal of Medieval History. 7. Amsterdam, 1981 (то же в: *Poppe A.* The Rise of Christian Russia. Lnd., 1982). P. 29, 56, n. 55.

[37] *Васильевский В. Г.* Византия и печенеги (1048—1094) // Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Ч. 162. (То же в: *Васильевский В. Г.* Труды. Т. 1. СПб., 1908.)

[38] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 162—163.

[39] *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 138.

[40] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151—153. Приводим лишь фрагмент обширной летописной похвалы князю Ярославу.

[41] См. об этом: *Грабар А. Н.* Крещение Руси в истории искусства // Владимирский сборник. В память 950-летие Крещения Руси. 988—1938. Белград, 1938. С. 74—76 (то же в: Святой Креститель. Зарубежная Россия и Св. Владимир. М., 2000. С. 167—172).

[42] Такой расчет, точно сориентированный на 6537 г. (т. е. 1037-й, согласно антиохийской эре), содержится в краткой статье в составе Геннадиевской Библии 1499 г., озаглавленной «Раздрешение неизреченнаго откровения» и приписываемой знаменитому христианскому писателю III в., автору «Сказания о Христе и об антихристе», Ипполиту Римскому: «...Рече евангелист, яко связа диавола на тысящу лет. Отнеле же бысть связание его? От вшестиа въ ад Господа нашего Иисуса Христа в лето пятьтысющное и пятьсотное и тридесять третьее (далее зачеркнуто. — *А. К.*) да иже до лета шестьтисющнаго и пятьсотнаго и тридесять третиаго, внегда исплънитися тисюща лет. И тако отрешится сатана по праведному суду Божию и прельстить мир до реченнаго ему времени, еже три и пол лета, и потом будет конець» (Библия 1499 года и Библия в Синодальном переводе. С иллюстрациями. М., 1992. Т. 8. С. 508). См. об этом: *Данилевский И. Н.* Замысел и название Повести временных лет // Отечественная история. 1994. № 5. С. 102—103; *он же.* Эсхатологические мотивы в Повести временных лет // У источника. Сборник статей в честь С. М. Каштанова. М., 1997. Ч. 1. С. 207—210. Правда, выводы исследователя представляются излишне категоричными и явно преувеличенными. Так, никаких следов «колоссального по напряжению ожидания заранее рассчитанного конца земной жизни» к 1037 г. русские источники не обнаруживают; совпадение же целого ряда дат, на которое ссылается автор, дела не меняет, поскольку при ближайшем рассмотрении большая часть этих совпадений оказывается мнимой. (Это касается гипотетических и не подтверждаемых источниками дат основания киевской митрополии, составления т. н. «Древнейшего свода» и произнесения «Слова о законе и благодати» Илариона Киевского около 1037 г.) Следует также отметить, что привлечение данных Геннадиевской Библии возможно лишь с существенной оговоркой, ибо очевидно, что данный источник принадлежит совершенно другой эпохе и отражает другой уровень эсхатологических представлений: известно, что новгородский архиепископ Геннадий и его окружение специально и весьма тщательно занимались расчетом даты конца света в преддверие ожидаемого светопреставления в 7000 (1492) г.

В то же время теоретически расчет конца света к 1037 г. вполне мог быть выведен и из эсхатологических сочинений, известных на Руси в домонгольское время. Так, в «Сказании о Христе и об антихристе» Ипполита Римского время царствования антихриста (долженствующее наступить после тысячелетнего царствования Христа) определяется как «пол седмицы», т. е. три с половиной года: «...си суть тысящи и дьвесте и 60 днии, пол седьмицы, яже имать мучитель...»; «и единою седьмици разделившися на дъвое, и мьрзости и пагубе тъгда явивъшеся...» (*Невоструев К. И.* Слово св. Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII в. М., 1868. Тексты. С. 97, 102). Три с половиной года после 1033-го (тысячелетия Страстей Господних) истекали к середине 1037 г. Правда, древняя Русь знала несколько космических эр, по-разному определяющих число лет между Сотворением мира и Рождеством Христовым, а потому точное приурочение всех этих сроков к определенному году от Сотворения мира было весьма затруднительно.

[43] *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 64—69; *Раппопорт П. А.* Очерки истории русского военного зодчества X—XIII вв. (Материалы и исследования по археологии СССР. № 52.) М.; Л., 1956. С. 96—97.

[44] Проложное сказание об освящении церкви святого Георгия издавалось неоднократно по различным спискам. См.: Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2. С. 58—59 (издание А. И. Пономарева); *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. 2. М.; Л., 1961. С. 234; *Жуковская Л. П.* Двести списков XIV—XVII вв. небольшой статьи как лингвистический и исторический источник (Статья Пролога о построении церкви во имя Геор-

гия Ярославом Мудрым) // Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современность. Киев, 1987. С. 40. В книге цитируется список Пролога 2-й (распространенной) редакции второй половины XIV в.: РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.). № 161. Л. 156, содержащий текст, несколько отличающийся от изданных ранее. См. также Приложения в конце книги.

[45] Так именует Золотые ворота Эрик Лясота, посетивший Киев в 1594 г. (Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874. Ч. 2. С. 16—18).

[46] Такими наблюдал Золотые ворота в 1596 г. польский дипломат и историк Рейнольд Гейденштейн (там же. С. 44—45). Согласно бытовавшим в средневековой Польше преданиям, створы киевских Золотых ворот были вывезены Болеславом Великим в Гнезно и помещены в гнезненском кафедральном соборе; говорили, будто на этих воротах виден след от легендарного «щербеца» князя Болеслава. Эту легенду приводит, например, Мартин Груневег, львовский купец-немец, посетивший Киев в 1584 г. На самом деле, гнезненские ворота являются произведением немецких литейщиков и чеканщиков XII—XIII вв. См.: *Высоцкий С. А.* Золотые ворота в Киеве. Киев, 1982. С. 27; *Сагайдак М. А.* Великий город Ярослава. Киев, 1982. С. 24—25.

[47] *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 66—67.

[48] См.: *Высоцкий С. А.* Золотые ворота. С. 16.

[49] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 139 (фраза читается только в Ипатьевской летописи).

[50] БЛДР. Т. 1. С. 50—51 (перевод диакона Андрея Юрченко).

[51] С. М. Соловьев предполагал, что название Лядских ворот образовалось от польского («лядского») квартала, будто бы существовавшего в Киеве (*Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Т. 3. (Сочинения. Кн. 2.) М., 1988. С. 35). Однако никаких следов существования такого квартала в источниках нет. Может быть, ворота получили свое название по тем ляхам, которые были выведены Ярославом из Червенской земли и расселены по реке Роси? «Росские грады» располагались как раз к юго-востоку от Киева.

[52] *Юрченко П. О.* О происхождении названия Лядских ворот в Киеве // Труды III Археологического съезда в Киеве (1874). Киев, 1878. Т. 3. С. 59—61; *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 68.

[53] См.: *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 64—71.

[54] *Толочко П. П.* Історична топографія стародавнього Киева. Київ, 1970. С. 87.

[55] Время сооружения Киевского Софийского собора остается предметом оживленной дискуссии. Исследователи, как правило, принимают в качестве даты начала строительства собора одну из двух дат, называемых в летописях: либо 1017 г. (ее называет Новгородская Первая летопись: НПЛ. С. 15, 180; под 1037 г. сообщение дублируется, однако в Комиссионном списке Новгородской Первой летописи младшего извода имеется уточнение: «...и церковь Святыя Софея *свершиша*», т. е. завершил), либо 1037 г. (дата «Повести временных лет»). Относительно первой точки зрения см., напр.: *Айналов Д. В.* К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сборник в память князя Владимира. Пг., 1917; *Толочко П. П.* До історії будівництва «Города Ярослава» та Софії Київської // Археологія. Т. 22. Киев, 1969. С. 201; *он же.* Древний Киев. С. 71—78; *Логвин Г. Н.* София Киевская. Киев, 1971; *он же.* К истории сооружения Софийского собора в Киеве // Памятники культуры. Новые открытия. 1977. М., 1977. С. 169—186; *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской. (По материалам граффити XI—XVII вв.) Киев, 1976. С. 140—257; *он же.* Светские фрески Софийского собора в Киеве. Киев, 1989. С. 10—30; и др. Крайней точки зрения — о завершении строитель-

ства собора еще при князе Владимире Святославиче — придерживается Н. Н. Никитенко. См.: *Никитенко Н. Н.* Княжеский групповой портрет в Софии Киевской и время создания собора // Памятники культуры. Новые открытия. 1986. Л., 1987. С. 237—244; *она же.* Известия средневековых немецких историков о Софии Киевской в свете новых исследований // Славяне и их соседи. Вып. 9. М., 1999. Аргументы в пользу традиционной датировки строительства Софии Киевской (1037 г.) см.: *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. 2. С. 98—102; *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. М., 1960; *Поппе А.* Заснування Софії Київської // Український Історичний журнал. 1965. № 9 и особенно *Poppe A.* The Building...

Вопрос не может считаться выясненным окончательно, несмотря на новые аргументы, вводимые в оборот, в основном, сторонниками ранней версии сооружения собора. Наиболее серьезным аргументом в пользу ранней версии являются надписи-граффити, обнаруженные на стенах собора и опубликованные в фундаментальном трехтомном исследовании С. А. Высоцкого (Древнерусские надписи Софии Киевской. XI—XIV вв. Вып. 1. Киев, 1966; Средневековые надписи...; Киевские граффити XI—XVII вв. Киев, 1985. С. 20—39). Ряд надписей, относимых С. А. Высоцким к 30-м и 40-м гг. XI в. (№ 99, 2, 1), казалось бы, позволяет с уверенностью говорить не только о существовании собора ранее 1037 г., но и о завершении к 30-м гг. значительной части фрескового убранства (ибо надписи процарапывались по штукатурке, т. е. уже после нанесения фресок). Однако датировка всех трех надписей по крайней мере небесспорна. Прежде всего, из числа аргументов следует, по-видимому, исключить надпись № 99, фрагмент которой: «...волода роди...» С. А. Высоцкий предлагает читать как: «Всеволода роди», видя здесь современную запись о рождении четвертого сына Ярослава Мудрого, появившегося на свет в 1030 г. (Средневековые надписи... С. 9—12). Но это крайне маловероятно: в гипотетической записи о появлении на свет очередного сына князя Ярослава субъектом, или главным действующим лицом, несомненно, должен был выступать родитель, но никак не новорожденный, т. е. можно было бы ожидать надпись типа: «Ярославу (или «у Ярослава») родися сын и наречен бысть Всеволод» или что-нибудь в этом роде, но никак не «Ярослав Всеволода роди», предполагающее осознание значимости новорожденного. (Ср. также: *Поппэ А.* Граффіті й дата спорудження Софії Київської // Український Історичний журнал. 1968. № 9. С. 94—97; *Poppe A.* The Building... P. 34—36; автор предлагает чтения: «Всеволода роди», т. е. «Всеволода родственники», или «у Всеволода родися...») Надпись № 2 из Георгиевского придела Софийского собора, представляющую собой цифры 6540 и 14 (?) без каких-либо буквенных обозначений, С. А. Высоцкий рассматривает как часть греческой надписи (читающейся выше): «[В лето] 6540, 14 [индикта]», означающую 1031/1032 г. (Средневековые надписи... С. 198—201), или (в переводе): «Василий святой, 6540, 14 [индикта]» (Светские фрески... С. 17—18). Это чтение также едва ли приемлемо. Дело в том, что 6540-му году соответствует не 14-й, а 15-й индикт. Автор отмечает это обстоятельство (Средневековые надписи... С. 200), но выходит из положения, предполагая, что запись сделана по ультрамартовскому стилю, поскольку март—сентябрь ультрамартовского 6540 года совпадали с соответствующими месяцами 6539 сентябрьского года; последний же соответствовал как раз 14 индикту. Но индикт высчитывался только по сентябрьскому году! Предположение, будто автор-грек обозначил индикт по одному календарному стилю, а сам год — по другому (причем неизвестному в Византии!), кажется несостоятельным. Может быть, С. А. Высоцкий был ближе к истине, когда в своей ранней работе датировал надпись 6554 (1046) годом? Но, конечно, не в том смысле, что автор надписи якобы забыл, какими буквами обозначается число 54, по-

мня написание чисел 40 и 14 (ср. Древнерусские надписи... С. 16). Возможно, перед нами своего рода хронологический расчет, определяющий число лет (14), прошедших с 6540 (1032) г. и сориентированный в таком случае на 6554 (1046) г. Во всяком случае, датировка надписи (а значит, и завершения росписи Георгиевского придела) 1032 г. противоречит собственному выводу С. А. Высоцкого о завершении строительства и освящении храма только к 1037 г. (ср. Светские фрески... С. 18 и 19). Надпись № 1, согласно чтению С. А. Высоцкого, содержит дату 6550 (1042) год, хотя и записанную не вполне обычно: «В лето 50 [и] 6500-лое» (Древнерусские надписи... С. 15—16). Однако и это чтение не бесспорно. Так, А. В. Поппэ предлагает читать первую букву надписи не как *н* (50), а как *и* (8) (менее вероятно видеть здесь союз и); буква же *л* в окончании –лое (едва ли подходящем к числительному «пятисотое») может читаться как *п* и в таком случае представляет собой цифру 80. Таким образом, надпись № 1 может читаться как «в лето 8 [и] 6580-ое» и, следовательно, датироваться 1080 г. (*Poppe A.* The Building... P. 37). Если же верно чтение С. А. Высоцкого, то начало строительства собора (расписанного уже к 1042 г.) должно быть отнесено ко времени более раннему, чем 1037 г.

Ряд дополнительных аргументов в пользу раннего завершения строительства собора выдвинул А. Н. Ужанков: по его мнению, о том, что собор существовал уже к 1039 г., бесспорно свидетельствует т. н. «Слово на обновление Десятинной церкви», якобы произнесенное в 1039 г. и упоминающее «великую митрополию», т. е. Софийский собор (*Ужанков А. Н.* Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о законе и благодати» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 7. Ч. 1. М., 1994. С. 78—79). Однако аргументация автора, по-видимому, базируется на двойном недоразумении. Во-первых, «Слово на обновление...» не могло быть произнесено ранее 1054 г., поскольку князь Владимир Святославич назван в нем «праотцом» и прародителем ныне правящего князя (см.: *Бегунов Ю. К.* Русское Слово о чуде Климента Римского и кирилло-мефодиевская традиция // Slavia. R. 43. № 1. Praha, 1974. S. 38—39; *Карпов А. Ю.* «Слово на обновление Десятинной церкви» по списку М. А. Оболенского // Архив русской истории. Вып. 1. М., 1992. С. 87, прим. 7; 110). Во-вторых, слова автора, прославляющего святого Климента как присного заступника страны Русской и «венца преукрашенного» «славному и честному граду нашему и велицей митрополии же, мати градом», несомненно, не имеют в виду Софийский собор, но дают греческий эквивалент русскому «мати градом», т. е. подразумевают столицу, в данном случае град Киев. См.: Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 4. М., 1991. С. 548 (примеры, в том числе из «Хроники» Георгия Амартола); *Ягич И. В.* Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь. С. 461—472 (из Службы на освящение церкви святого Георгия в Киеве: «созываеши от первопресьтольного матери градом, Богом спасенего Киева»).

[56] *Логвин Г. Н.* Новые наблюдения в Софии Киевской // Культура древней Руси. Л., 1974. С. 154—160; *он же.* К истории сооружения Софийского собора... С. 180, 178.

[57] БЛДР. Т. 1. С. 50—51.

[58] Эти слова были написаны в 1595 г. Цит. по: *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. 2. С. 107.

[59] См.: *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. С. 99—101.

[60] *Аверинцев С. С.* К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 46.

[61] *Белецкий А. А.* Греческие надписи на мозаиках Софии Киевской // *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. С. 162—166.

[62] *Акентьев К. К.* Мозаики Киевской Св. Софии и «Слово» митропо-

лита Илариона в византийском литургическом контексте // Литургия, архитектура и искусство византийского мира. Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8—15 августа 1991 г.) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа. СПб., 1995. С. 75—94. О смысле посвятительной надписи Киевской Софии см. также: *Аверинцев С. С.* К уяснению смысла надписи... С. 25—49.

[63] Здесь также необходим пространный комментарий. Различные попытки выяснить точную дату освящения Софийского собора предпринимались неоднократно. В основном авторы исходили из имеющихся в русских месяцесловах календарных дат празднования освящения Киевской Софии (4 ноября и 11 мая). Исходя из предположения (или даже уверенности), что освящение храма непременно должно было быть совершено в воскресный день, исследователи называли подходящие годы, в которые одна из этих дат приходилась на воскресенье: 4 ноября 1039 г. (*Шахматов А. А.* Разыскания... С. 415; автор полагал также, что именно Софийский собор имелся в виду в летописном известии о «священии» в этом году «церкви Святой Богородицы» митрополитом Феопемптом), 11 мая 1046 г. (*Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. С. 55; *он же.* Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973. С. 22; *Акентьев К. К.* Мозаики киевской Св. Софии... С. 80), 4 ноября 1061 или 1067 г. (*Приселков М. Д.* Очерки церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. С. 121) и даже 4 ноября 1011 и 11 мая 1018 гг. (*Никитенко Н. Н.* Княжеский групповой портрет... С. 241). Однако все эти хронологические выкладки едва ли можно признать обоснованными: ни канонические установления, ни, главное, древнерусская практика не подтверждают мнения о том, что освящение церквей имело место исключительно в воскресные дни; этот обряд мог быть совершен в любой день недели (см.: *Поппэ А. В.* Русские митрополии Константинопольской патриархии в XI столетии // Византийский временник. Т. 28. М., 1968. С. 93 и др.).

[64] См.: *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Ч. 1. М., 1997. С. 344. Текст Проложного сказания о священии «великой церкви Святая София, иже в Руси» (под 4 ноября) опубликован А. И. Пономаревым (Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2. Ч. 1. С. 190—191) и др.; он чрезвычайно близок к тексту летописной статьи 1037 г. Имя Ефрема читается в месяцеслове т. н. Мстиславова Евангелия 1117 г. (одном из древнейших сохранившихся русских месяцесловов): «В тъ же день (4 ноября. — *А. К.*) священие Святыя Софие, иже есть в Кыеве граде. Священа Ефремъмь митрополитъмь» (*Невоструев К. И.* Состав и месяцеслов Мстиславова списка Евангелия // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. 10. Вып. 2. СПб., 1861. С. 118). Повторное освящение храмов — явление, судя по источникам, распространенное в древней Руси.

Отметим, что в позднейшей Новгородской Третьей летописи освящение Киевской Софии датируется (ошибочно?) 27 или 25 ноября (Новгородские летописи. С. 180).

[65] *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Ч. 1. С. 139. Празднование освящения Святой Софии 11 мая упомянуто в святцах Псковского Апостола 1307 г., еще одном древнем и чрезвычайно авторитетном месяцеслове древней Руси. Однако освящение Софии точно датируется здесь 6460 (952 или 960) г., т. е. временем княгини Ольги. (При этом месяцеслов Псковского Апостола знает и празднование 4 ноября.) Полагают, что это празднование может иметь в виду освящение деревянного храма Святой Софии (при княгине Ольге?) или первое освящение Киевского Софийского собора при князе Ярославе (но в последнем случае необходимо удовлетворительно объяснить появление даты 6460 г., что пока не сделано).

Существенный аргумент в пользу освящения каменного Софийского собора 11 мая привел К. К. Акентьев. Он отметил, что во время праздничного обряда дня обновления (или рождения) Константинополя, празднуемого именно 11 мая, в церкви звучал 45-й псалом, причем стих 5-й этого псалма (непосредственно предшествующий стиху 6-му, воспроизведенному надалтарной надписью Софии Киевской) служил аллилуарием этого обряда. Следовательно, можно полагать, что богослужебный чин «обновления Константинополя» явился одним из источников киевской надписи. Это подтверждается также тем, что аналогичные надписи других крупнейших храмов византийского мира воспроизводили либо Пс. 64: 5, служивший аллилуарием чина освящения храма, либо Пс. 92: 5, служивший прокимном того же обряда (*Акентьев К. К.* Мозаики киевской Св. Софии... С. 80—81).

[66] *Poppe A.* The Building... P. 39; *Акентьев К. К.* Мозаики киевской Св. Софии... С. 84—86.

[67] *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Ч. 1. С. 140. О встречающейся в историографии по недоразумению дате 11 мая см.: *Карпов А. Ю.* Владимир Святой. С. 410—411, прим. 2. А. В. Поппэ полагает, что 12 мая произошло вторичное освящение Десятинной церкви (в 1039 г.), однако это мнение базируется на слишком шатком предположении, что первое освящение храма (при князе Владимире) должно было прийтись на Успение Пресвятой Богородицы — храмовый праздник Десятинной церкви (*Поппэ А. В.* Русские митрополии... С. 91, прим. 27).

[68] См.: Житие Константина Философа: Сказания о начале славянской письменности / Подг. Б. Н. Флоря. М., 1981. С. 72.

[69] См.: *Сапунов Б. В.* Книга в России в XI—XIII вв. Л., 1978. С. 13.

[70] Литература по этой теме чрезвычайно велика. Назову только некоторые работы: *Соболевский А. И.* Особенности русских переводов домонгольского периода // Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т.88. 1910 (то же в: *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980); *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. Исследование и текст. М., 1893; *он же.* Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906; *он же.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Текст, исследование и словарь. Т. 1—3. Пг. — Л., 1920—1930; *он же.* Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922; *он же.* Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе / Подг. материалов М. И. Чернышевой. М., 1994; *Мещерский Н. А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958; *он же.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV вв. Л., 1978; История русской переводной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. СПб., 1995 (автор раздела Д. М. Буланин); *Пиотровская Е. К.* Византийские хроники IX в. и их отражение в славяно-русской письменности («Летописец вскоре» константинопольского патриарха Никифора) // Православный Палестинский сборник. Вып. 97 (34). СПб., 1998; и мн. др.

[71] *Жуковская Л. П.* Сколько книг было в Древней Руси? // Русская речь. 1971. № 1; *Сапунов Б. В.* Книга в России... С. 16—83.

[72] *Левочкин И. В.* Архангельское Евангелие 1092 года среди древнерусских книг XI века // Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. М., 1997. С. 11.

[73] См. прим. 57 к главе 8.

[74] *Жуковская Л. П.* Реймсское Евангелие. История его изучения и текст. М., 1978 (Предварительные публикации / Институт русского языка АН СССР. Вып. 114). Согласно приписке к глаголической (чешской)

части рукописи, ее кириллическая часть («русское письмо») была написана святым Прокопом (ум. 1053), основателем знаменитого Сазавского монастыря, главного центра славянской письменности в Чехии в XI в. Согласно некоторым данным, сам Прокоп был родом из Руси и умер в 1039 г.; по другим сведениям, он родился в Хотуни, близ Чешского брода (в Чехии) (там же. С. 8). Впрочем, эта приписка, сделанная в конце XIV в., свидетельствует, очевидно, о возрастающем почитании в Чехии святого Прокопа, но едва ли отражает какие-то реалии, связанные с происхождением рукописи.

[75] *Миронова Т. Л.* Графика и орфография рукописных книг киевского скриптория Ярослава Мудрого. М., 1996.

[76] Там же.

[77] Остромирово Евангелие 1056—1057 г. Факсимильное воспроизведение рукописи. М., 1988. Л. 294 об.; *Столярова Л. В.* Древнерусские надписи... С. 277—278.

[78] *Столярова Л. В.* Древнерусские надписи... С. 275—277. В качестве курьеза можно упомянуть о гипотезе шведского исследователя А. Шеберга, попытавшегося отождествить новгородского книжника со шведом Офейгром Упиром, известным как автор многочисленных руни-ческих надписей на камнях в Швеции (вторая половина XI в.) (*Sjoberg A.* Pop Upir' Lichoj and the Swedish Rune-carver Ofeigr Upir // Scando-Slavica. T. 28. 1982. P. 109—124).

[79] БЛДР. Т. 1. С. 28—29.

[80] *Черных П. Я.* К вопросу о подписи французской королевы Анны Ярославны // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. Вып. 3. М., 1947. С. 27—31.

[81] *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи новгородского Софийского собора. XI—XIV вв. М., 1978. С. 114—124. В оригинале: «С[в]ятае Софие, помилуи раба своего Николу, пришълъца ис Кыева града от своего кънязя Ерослава...» (Гипотеза автора о тождестве «пришлеца Николы» и известного из источников Николы Чудина, приближенного князя Изяслава Ярославича, а также точная датировка поездки упомянутого в надписи Николы в Новгород 1052 г. не представляется убедительной.)

[82] См.: *Голубинский Е. Е.* История Русской Церкви. Т. 1. 1-й полутом. М., 1901. С. VII—XXII, 701—721 и др.

[83] Успенский сборник. С. 75.

[84] Там же. С. 97.

[85] Патерик. С. 134. Ср.: Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 482—483 (коммент. Б. А. Романова).

[86] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 177; ср. Т. 4. С. 114; и др.

[87] НПЛ. С. 163. То же в списке киевских митрополитов в т. н. Замойском сборнике; см.: *Щапов Я. Н.* Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1986. Вып. 2. С. 139. В обоих случаях Феопемпт («Феопент», «Феопемьт») не только открывает список киевских митрополитов, но и прямо называется «первым митрополитом русским».

[88] *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории... С. 77; см. также: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 44 (с учреждением Киевской митрополии исследователи связывали создание гипотетического митрополичьего свода 1039 г.); *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 307 (историко-литературный очерк Д. С. Лихачева).

[89] См.: *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 25—28; *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси. С. 23—32; и др.

[90] Русский перевод по: *Голубинский Е. Е.* История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 1. С. 216—219. См. также новый, более полный перевод: *Назарен-*

ко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. С. 344. Это известие (читающееся лишь в одной из редакций «Хроники» Адемара) прежде считали добавлением редактора XII в., однако сейчас его относят к творчеству самого Адемара (там же. С. 346).

[91] В этом смысле может быть любопытным сравнение статьи 8 Краткой редакции Русской Правды («А в усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне») и статьи 67 Пространной редакции Русской Правды («О бороде»). Если в «Краткой Правде» (принятой, как мы помним, в связи с событиями 1015 г.) внимание акцентируется на повреждении усов, а упоминание бороды выглядит едва ли не вставкой (поскольку вводится тем же союзом «а», которым открывается текст статьи), то в «Пространной Правде» ус даже не упомянут, зато характер повреждений бороды расписан весьма подробно («А кто порветь бороду, а выиметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривен продаже; аже без людии, а в поклепе, то нету продаже»).

[92] См.: *Поппэ А. В.* Митрополиты киевские и всея Руси (988—1305) // *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси. С. 193—194.

[93] См.: *Чичуров И. С.* Схизма 1054 г. и антилатинская полемика в Киеве (середина XI — начало XII в.) // Russia Mediaevalis. Т. 9. 1. Р. 43—53.

[94] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 208.

[95] *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 64—71.

[96] *Поппэ А. В.* Митрополиты киевские... С. 193.

[97] *Поппэ А.* Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. // История СССР. 1970. № 3. С. 117, прим. 40. Студийский монастырь был посвящен святому Иоанну Предтече.

[98] *Янин В. Л., Гайдуков П. Г.* Актовые печати Древней Руси. Т. 3. С. 27, 261 (№ 41).

[99] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 153. В литературе распространено мнение, согласно которому летописец в своем сообщении под 1039 г. имел в виду освящение Киевского Софийского собора митрополитом Феопемптом (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 415; Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 483 (коммент Д. С. Лихачева) и др.). Однако это мнение, по-видимому, ошибочно: едва ли летописец мог смешать два главных киевских храма его поры. К тому же вторичное освящение храмов было не такой большой редкостью в древней Руси.

[100] См., напр.: *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. 2. С. 11.

[101] Так полагал М. Ф. Мурьянов (О летописных статьях 1039 и 1131 гг. // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 111—114).

[102] См.: *Кузьмин А. Г.* Падение Перуна. Становление христианства на Руси. М., 1988. С. 227.

[103] Имя митрополита Кирилла названо в Симеоновской летописи (ПСРЛ. Т. 18. С. 22) и в списке русских митрополитов, предшествующем Никоновской летописи (ПСРЛ. Т. 9. С. XIII). См. также в каталоге киевских митрополитов (восходящем к Киевскому Софийскому помяннику XVI в.) в Палинодии Захарии Копыстенского (1621 г.) (Русская историческая библиотека. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1878. С. 1008).

Глава десятая. Византийский поход

[1] «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях... С. 69. Как уже отмечалось, факт существования Болеслава Забытого ставится исследователями под сомнение: в частности, полагают, что польский хронист отождествил Болеслава с братом Мешка II Беспримом (там же. С. 210; коммент. Н. И. Щавелевой). Однако известие автора Великопольской хроники находит косвенное подтверждение в том факте, что второй сын Мешка Казимир был еще ребенком отдан в монастырь (об этом, в част-

ности, сообщает Галл Аноним), что едва ли могло иметь место, если бы он был первенцем своего отца (см.: *Королюк В. Д.* Древнепольское государство. С. 173—174; *Balzer O.* Genealogia Piastow. S. 76—81).

[2] *Галл Аноним.* Хроника... С. 50—51. О «гибельном» для христианства восстании в Польше сообщают также немецкие источники, в частности, Хильдесхаймские анналы (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum... T. III. S. 38). О дате восстания см.: *Королюк В. Д.* Летописное известие о крестьянском восстании в Польше в 1037—1038 гг. // Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия. Сб. статей. М., 1952. С. 69—75; *он же.* Древнепольское государство. С. 176—177; *Łowmiański H.* Początki Polski. T. 6. Cz. 1. Warszawa, 1985. S. 67—78.

[3] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149—150. Появление в летописи ошибочной даты кончины Болеслава — 1030 г. — объясняется исследователями по-разному. А. А. Шахматов полагал, что в ее основе лежало гипотетическое чтение несохранившегося Жития преп. Антония об 11 годах, проведенных в Польше преп. Моисеем Угрином, освобожденным, как известно, после восстания (см. ниже) (в восходящем к Житию Антония Слове о Моисее Угрине из Киево-Печерского патерика читаем: «...в пленении страдав в узах 5 лет, 6-е лето за чистоту» (Патерик. С. 148), что могло восходить к чтению: «...в узах 5 лет, 6 лет за чистоту», т. е. всего 11 лет; ср. *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 262—265). Однако это сомнительно уже потому, что в Слове о Моисее имеется ссылка на летопись, но не наоборот. Кроме того, 11 лет пребывания Моисея в плену дали бы 1029-й, но не 1030 г. его освобождения. На мой взгляд, в основе ошибки летописца лежало смешение двух Болеславов (см. след. прим.). Но учитывая польский источник известия о восстании в Польше после смерти Болеслава (а этот источник прямо называет преп. Нестор, ссылавшийся в Житии преп. Феодосия на «княгиню Изяславлюю», «ляховицу», т. е. на польку Гертруду, супругу князя Изяслава Ярославича), можно предположить ошибку летописца при переводе даты из дионисиевской эры от Рождества Христова — 1038 г. — в константинопольскую эру от Сотворения мира; при этом последние две цифры дионисиевской эры — 38 — могли быть восприняты как последние цифры даты от Сотворения мира — 6538 (1038) г. (ср. также: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 249).

[4] Патерик. С. 142—149. Слово о Моисее содержит ссылки на «Летописец», т. е. известную нам летопись, и Житие Феодосия, в котором также сообщается о «мятеже в Лясех», причем со ссылкой на «княгиню Изяславлюю» (см. пред. прим.) (ср. БЛДР. Т. 1. С. 372—373). Последнюю на Руси считали дочерью Болеслава Великого — см.: *Янин В. Л.* Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк // Нумизматика и эпиграфика. Т. 4. М., 1963. С. 143 (со ссылкой на Житие Антония Печерского из Великих Четиих Миней митрополита Макария), хотя на самом деле она была дочерью князя Мешка II и сестрой Болеслава Забытого и Казимира Восстановителя. Возможно, это обстоятельство способствовало смешению двух Болеславов и в летописи, и в Слове о Моисее.

[5] *Козьма Пражский.* Чешская хроника. С. 101—108; см. также: *Галл Аноним.* С. 51.

[6] *Королюк В. Д.* Древнепольское государство. С. 178.

[7] «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях... С. 69—70.

[8] См.: *Влодарский Б.* Ятвяжская проблема в польско-русских связях X—XIII вв. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 116—129.

[9] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 153; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 178 (Софийская Первая летопись); Т. 4. С. 114 (Новгородская Четвертая). То же в Никоновской, Тверской и др.

[10] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 141, прим. 24—25. (Впрочем, слова «...и победи»

в Хлебниковском и следующем за ним Погодинском списках Ипатьевской летописи добавляются к сообщению обо всех последующих походах Ярослава.)

[11] ПСРЛ. Т. 41. С. 55.

[12] *Татищев.* Т. 2. С. 78. В первой редакции труда В. Н. Татищева короче: «Иде Ярослав на ятвяги и победи я, но град не може взяти» (Т. 4. С. 148).

[13] Так в одном из списков Хроники Быховца (ПСРЛ. Т. 32. М., 1975. С. 129, прим. *ц*).

[14] *Галл Аноним.* С. 52.

[15] См.: *Владарский Б.* Ятвяжская проблема. С. 122.

[16] *Татищев.* Т. 2. С. 79.

[17] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 154—155 (под 6551/1043 г.); ПСРЛ. Т. 4. С. 116 (под 1041 г.). В Новгородской Первой летописи младшего извода о возвращении пленных на Русь (но не о браке) сообщается в статье 1047 г. (НПЛ. С. 181); другие летописи называют определенно 1043 г., осень (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 179, и др., схожие с Софийской Первой летописи) или 1042 г. (так в поздней Густынской летописи, испытавшей влияние польских источников: ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 267).

[18] Перевод по: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 346—347.

[19] См.: *Balzer O.* Genealogia Piastow. S. 89; *Королюк В. Д.* Западные славяне и Русь... С. 306. Впрочем. эта дата принимается не всеми исследователями. Польский историк XV в. Ян Длугош датировал бракосочетание 1041 г., и ряд исследователей настаивают именно на этой дате. См., напр.: *Владарский Б.* Ятвяжская проблема... С. 122—123; *Пчелов Е. В.* Польская княгиня — Мария-Добронега Владимировна // Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. Чтения памяти... В. Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 1994. С. 31—33.

[20] *Długosz J.* Roczniki. Ks. 3—4. Warszawa, 1969. S. 34—35. Любопытно, однако, что Длугош называет Марию-Доброгневу то сестрой, то дочерью Ярослава Владимировича.

[21] Имя Мария называет также «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях (С. 70, 211); правда, автор хроники ошибочно считал Марию-Добронегу дочерью некоего мифического русского князя «Романа, сына Одона». Рочник же (летопись) краковского капитула, сообщая о смерти польской княгини под 1087 г., называет ее Добронегой (Monumenta Poloniae Historica. T. 2. Warszawa, 1961. P. 796). Полагают, что имя Мария Добронега получила в Польше (напр.: *Линниченко И. А.* Русь и Польша до конца XIV в. Т. 1. С. 49; «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях. С. 211 (коммент. Н. И. Щавелевой) и др.). Однако у меня нет уверенности, что в первой половине XI в. переход из православия в католичество и обратно обязательно сопровождался переменой имени.

[22] ПСРЛ. Т. 38. С. 66. В Лаврентьевском списке, вероятно, по ошибке вместо «8 сот»: «50 сот» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155, ср. прим. 2).

[23] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 141, прим. 27; ПСРЛ. Т. 41. С. 55.

[24] *Długosz J.* Roczniki. Ks. 1—2. S. 403 (под 1038 г.). На поздних польских источниках, в частности, на «Хронике» М. Стрыйковского, основано, очевидно, и сообщение В. Н. Татищева: «Ходил Ярослав на мазовшаны в лодьях по Богу (Бугу. — *А. К.*), много повоева, и грады раззори, и множество плена взяв, возвратился» (*Татищев.* Т. 2. С. 78; ср. С. 242, прим. 245).

[25] Русские летописи по-разному называют число походов Ярослава на мазовшан и их даты. В Новгородской Первой летописи отмечен всего один поход 1047 г. (НПЛ. С. 181), однако надо учесть, что эта летопись вообще крайне скупо освещает княжение Ярослава. «Повесть временных

лет» сообщает о походах 1041 и 1047 гг. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 153, 155). Новгородская Четвертая летопись знает два похода 1041 г. и поход 1047 г., названный «третьим» (ПСРЛ. Т. 4. С. 116). При этом статья 1041 г. в Новгородской Четвертой летописи совпадает со статьей 1043 г. в Софийской Первой, в частности, именно под этим годом сообщается о походе Владимира Ярославича на греков. Наконец, Софийская Первая летопись упоминает целых четыре похода: в 1041 г., два похода 1043 г. («...в та лета обидяаше Моислав Казимира, и ходи Ярослав двожды на мазившаны в лодиях...») и поход 1047 г., названный, однако, третьим, а не четвертым («иде Ярослав третиее на мазавшаны...») (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 178—180). Что касается двух походов 1043 г., то их появление, возможно, объясняется простой ошибкой: в первоначальном тексте могло стоять не «двожды» («два раза»), а цифра «2», т. е. поход был назван вторым («...ходи Ярослав *второе*...»), т. е. во второй раз (см.: Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 484—485, прим. Д. С. Лихачева). Учитывая сводный характер летописной статьи 1043 г. и помещенное именно под этим годом, но неверно датированное известие о браке Казимира и сестры Ярослава, можно было бы усомниться в мазовецком походе 1043 г. Однако не участием ли в нем объясняется нежелание Ярослава лично возглавить русские войска в походе на Царьград? Наконец, может вызывать сомнение и поход 1047 г., поскольку его появление в летописях теоретически можно было бы объяснить собственными расчетами летописца, основывавшегося на фразах из летописной статьи 1043 г.: «по трех же летех... в си же времена...» Но о походе 1047 г. сообщает Новгородская Первая летопись, в которой статья 1043 г. вовсе отсутствует.

В. Д. Королюк, принимая известие о походе 1043 г., предположил еще один поход на Мазовию — в 1039 г., т. е. тотчас после заключения брака (*Королюк В. Д.* Западные славяне и Киевская Русь. С. 308—321). Под 1038 г. о походе на Мазовию князя Ярослава сообщает Длугош, но его хронология русских событий неверна почти во всех случаях.

[26] *Галл Аноним.* С. 52.

[27] *Щавелева Н. И.* Польские латиноязычные средневековые источники. С. 99; см. также: «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях. С. 70—71. Здесь гетами прямо названы пруссы.

[28] *Влодарский Б.* Ятвяжская проблема... С. 123. В летописях Дрогичин упоминается с XII в.

[29] Анонимный автор «Регенсбургской хроники императоров» (XII в.) сообщает о том, что разбитый в 1044 г. королем Петером с немецкой помощью Аба Шамуэль бежал на Русь (*Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 351). И хотя это свидетельство не соответствует действительности (ибо Аба Шамуэль после битвы при Менфе (1044) попал в плен и был казнен), из него следует, что немецкий хронист (или его источник) считал Русь союзницей мятежного Абы.

[30] *Штернберг Я. И.* Анастасия Ярославна, королева Венгрии // Вопросы истории. 1984. № 10. С. 181.

[31] Цит. по: *Шушарин В. П.* Христианизация венгров // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 182.

[32] Об этом свидетельствует Саксонский анналист: «Король в день святого Андрея держал совет в Альштедте, где принял и послов из Руси с дарами». Цит. по: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 347.

[33] Цит. по: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 349. См. также: *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... Ч. 1. С. 164. О посольстве сообщают также Альтайхские анналы (там же. С. 125). Известие в обоих источниках помещено под 1043 г., но надо учесть, что началом года считалось именно Рождество, т. е. речь идет о самом конце 1042 г.

[34] *Штернберг Я. И.* Анастасия Ярославна... С. 182.

[35] См., напр.: *Котляр Н. Ф.* Древнерусская государственность. СПб., 1998. С. 139—140.

[36] Согласно распространенному в литературе мнению, во время переговоров 1042 г. в Госларе (а может быть, даже и раньше, во время переговоров 1040 г.) русский князь искал сближения с Германией для предстоящей борьбы с Византийской империей — извечным соперником Германской империи в Южной Италии (*Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 349). У меня, однако, есть сомнения относительно того, что в конце 1042 г. Ярослав в действительности замышлял войну с Византией (см. далее).

[37] *Михаил Пселл.* Хронография / Подг. текста и перевод Я. Н. Любарского. М., 1978. С. 95.

[38] См. об этом: *Литаврин Г. Г.* Пселл о причинах последнего похода русских на Константинополь в 1043 г. // Византийский временник. Т. 27. М., 1967.

[39] История Византии. Т. 2. М., 1967. С. 263—268.

[40] *Джаксон.* 3. С. 124.

[41] Круг земной. С. 405, 411; ср. *Джаксон.* 3. С. 115, 125—126.

[42] Советы и рассказы Кекавмена / Подг. изд. и перевод Г. Г. Литаврина. М., 1972. С. 285.

[43] Круг земной. С. 409.

[44] См.: *Литаврин Г. Г.* Пселл о причинах последнего похода русских.... С. 71—86; *он же.* Война Руси против Византии в 1043 г. // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха средневековья. Киевская Русь и ее славянские соседи. М., 1972. С. 178—222; *он же.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 228—276; *Бибиков М. В.* Византийские источники. С. 129—132. О причинах войны см. также: *Shepard J.* Why did the Russians Attack Byzantium in 1043? // Byzantinisch-Neugriechischen Jahrbücher. Bd. 22. Athen, 1978. P. 147—212.

[45] *Крсмановић Б.* Георгије Маниакес, име ΓΟΥΔΕΛΙΟΣ и Пселова «скитска аутономија» // Зборник Радова. Византолошког института. Т. 36. Београд, 1997. С. 233—263; *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 268, прим. 1.

[46] Перевод по: *Литаврин Г. Г.* Пселл.... С. 80—81 (по Георгию Кедрину, копиисту Скилицы).

[47] См.: *Vernadsky G.* The Byzantine-Russian War of 1043 // Süd-Ost-Forschungen. 1953. Bd. 12; *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 69—130; *idem.* La dernière expédition russe contre Constantinople // Byzantinoslavica. T. 32. 1971. P. 1—29, 233—268.

[48] См.: *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 100—101. Впрочем, как представляется, польский исследователь преувеличивает щепетильность в этом вопросе князя Ярослава.

[49] Цит. по: *Брюсова В. Г.* Поражение или победа (О русско-византийской войне 1040-х гг.) // Брега Тавриды. 1991. № 1б. С. 41.

[50] *Stryjkowski M.* Kronika polska, litewska, żmodska, wszystkiéj Rusi. Warszawa, 1980. T. I. S. 159. Стрыйковский дважды сообщает о походе Владимира Ярославича на Царьград (но, очевидно, об одном и том же): в первый раз вскоре после примирения Ярослава со своим братом Мстиславом (т. е. еще во второй половине 20-х гг. XI в.?) — и именно тогда речь идет о Херсонесе, Таврике и т. д.; и во второй — в правильной хронологической последовательности (S. 162). Очевидно, это должно объясняться использованием Стрыйковским как польских источников (в частности, Длугоша, неверно датирующего русские события), так и русских летописей. О претензиях русских на Корсунь сообщается и в позднейших украинских источниках, испытавших влияние польской историографии,

в частности, в «Палинодии» Захарии Копыстенского. См. также: *Брюсова В. Г.* Русско-византийские отношения середины XI в. // Вопросы истории. 1972. № 3. С. 56; *она же.* Поражение или победа. С. 41—42.

[51] *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 236, 246—249.

[52] Там же; *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 109.

[53] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 154.

[54] «Повесть временных лет» называет Ивана Творимирича «воеводой Ярославлим», но содержит при этом явно испорченный текст: «...и взя князя в корабль Иван Творимиричь, *воеводы Ярославля*» (или, как в Радзивиловском списке: «...и взя в корабль князя Иван Творимичь, *и воевода Ярославль*»; ПСРЛ. Т. 38. С. 66). Именно наименование Ивана воеводой Ярославовым (в то время как в другом месте воеводой назван Вышата) привело Д. С. Лихачева к выводу о противоречиях внутри текста «Повести временных лет» и о соединении в ней двух различных источников (Повесть временных лет. Изд. 2-е. С. 483). Однако в более подробном рассказе Софийской Первой и др. близких к ней летописей этого противоречия нет, и Иван Творимирич воеводой не назван; речь идет лишь о том, что на его корабле укрылись и князь Владимир, и Ярославовы воеводы: «...едва Иоан Творимиричь князя Владимера высади в свои карабль *и воевод Ярославля*» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 178). Это чтение представляется более правильным (ср.: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы. С. 364—366).

Не исключено, что Иван Творимирич — одно лицо с Иоанном, боярином князя Изяслава Ярославича и отцом первого печерского игумена Варлаама, упоминаемом в Житии преп. Феодосия.

[55] Имя Вышата встречается, например, в Новгородской Первой летописи, в рассказе под 1186 г. (НПЛ. С. 38, 228); в берестяной грамоте первой половины XIII в. из Старой Руссы (*Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. С. 275, 276). Известен боярин Вышата Жирятинич, родоначальник рода Вышатичей, живший в середине XV в. (*Веселовский С. Б.* Ономастикон. М., 1974. С. 75).

[56] Отождествлению Вышаты, «отца Янева», и Вышаты Остромирича прежде всего противоречит хронология их жизни. Если Янь Вышатич родился в 1016 г., то к этому времени его предполагаемому деду Остромиру должно было быть никак не менее тридцати пяти лет. Между тем Остромир в качестве новгородского воеводы и посадника упоминается под 1057 г. (в приписке к Остромирову Евангелию); еще позже, предположительно, в 1060 г., он возглавлял новгородцев в неудачном походе на чудь (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 182, под ошибочным 1054 г.; в этом походе Остромир и погиб). Едва ли это мог сделать почти девяностолетний старец (см.: *Стендер-Петерсен А. И.* Остромир — Вышата — Янь. Генеалогическая заметка // For Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Hague, 1956. P. 531—539). К этим соображениям датского исследователя можно добавить еще несколько аргументов. Во-первых, в приписке к Остромирову Евангелию диакона Григория упоминаются взрослые сыновья посадника Остромира-Иосифа и его супруги Феофаны, но нет упоминаний внуков (см. прим. 77 к главе 9); вероятно, ко времени переписывания Евангелия их еще не было. Во-вторых, маловероятно, чтобы сын новгородского боярина Остромира (служившего, очевидно, князю Владимиру Ярославичу) мог быть воеводой князя Ярослава Владимировича, т. е. занимать более высокое положение на служебной лестнице; скорее, его можно было бы видеть в окружении того же князя, которому служил его отец, или же в окружении сына этого князя. (И действительно, Вышата Остромирич будет служить князю Ростиславу Владимировичу Тьмутороканскому.) А между тем в статье 1043 г. Вышата упоминается именно как воевода Ярослава. См. также: *Куник А. А.* Рус-

ский источник о походе 1043 г. — В кн.: *Дорн Б. А.* Каспий. О походах древних русских в Табаристан. СПб., 1875 (Приложения к 26 т. Записок Имп. Академии наук. № 1). С. 60; *Приселков М. Д.* История русского летописания. СПб., 1996 (работа издана впервые в 1940 г.). С. 51. Возражения Д. С. Лихачева («Устные летописи» в составе Повести временных лет. — В кн.: *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 121—123; работа впервые опубликована в 1945 г.) не выглядят убедительными: автор исходит из того, что либо наименование Вышаты сыном Остромира, либо указание на возраст, в котором умер Янь Вышатич, является ошибкой, и признает таковой последнее. Между тем признание того, что речь идет о двух разных Вышатах, снимает кажущееся противоречие.

[57] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 281.

[58] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 178—179; Т. 4. С. 115.

[59] Ср. в «Повести временных лет» описание трех рек, вытекающих «из Оковского леса», — Днепра, Западной Двины и Волги: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 7.

[60] *Мельникова Е. А.* Экспедиция Ингвара Путешественника на восток и поход русских на Византию в 1043 г. // Скандинавский сборник. Вып. 21. Таллин, 1976. С. 74—88; Скандинавские источники. С. 525—531. Сага, несмотря на общую фантастичность всего рассказа, содержит и некоторые другие подробности, позволяющие отождествить экспедицию Ингвара с походом 1043 г. В частности, очень показательно упоминание о «греческом огне», разрушившем один из кораблей Ингвара («...и была там медная труба, из которой беспрерывно вырывалось сильное пламя в направлении одного из кораблей. Через некоторое время он загорелся и сгорел дотла»). Е. А. Мельникова (Экспедиция Ингвара... С. 85) не права, говоря, что византийские источники «ничего не сообщают о сожжении кораблей» русских. Как раз напротив: все византийские хронисты (Пселл, Атталиат, Скилица, Зонара и др.) единодушны в том, что использование «греческого огня» стало одной из причин поражения русского флота. Е. А. Мельникова, которой и принадлежит отождествление экспедиции Ингвара с походом 1043 г., отмечает очевидное противоречие этой версии, имеющееся в источниках: исландские анналы датируют смерть Ингвара (очевидно, на основании показаний самой саги) 1041 г. Однако приведенная в саге (причем в двух системах летосчисления) дата сама по себе содержит явные противоречия и потому не может считаться абсолютно точной. Отмечу кстати, что «Серкланд» (земля сарацинов), где, судя по руническим надписям, погибли многие участники экспедиции Ингвара, в соответствии с древнерусскими этногенеалогическими представлениями, может быть отождествлена с землями тюркских народов, в том числе печенегов, торков (гузов), торкменов (турок-сельджуков). (См. о происхождении указанных народов от библейской Сары в летописной статье 1096 г.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 234.)

[61] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 281.

[62] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 178—179; Т. 4. С. 115—116 (в Новгородской Четвертой летописи о походе сообщается под ошибочным 1041 г.). См. также Воскресенскую, Никоновскую и др. летописи.

[63] См., напр.: *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 232—234. В частности, византийскими источниками подтверждается участие в походе варягов, о чем сообщается именно в пространной версии летописного рассказа. Текстологический анализ летописного рассказа также склоняет к мысли о первичности того текста, который сохранился в новгородско-софийских летописях. См. об этом: *Куник А. А.* Русский источник о походе 1043 г. С. 47—60; *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. С. 364—368.

[64] В «Повести временных лет» об этом говорится намного короче;

причем именно здесь хорошо видно сокращение первоначального, более пространного текста. Ср.: «И поиде Володимер в лодьях, и придоша в Дунаи, и поидоша к Царюграду...» Фраза «...и придоша в Дунаи» в «Повести временных лет» не мотивирована, в отличие от новгородско-софийских сводов.

[65] См. об этом, напр.: *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 205.

[66] *Татищев.* Т. 2. С. 78.

[67] Так, в частности, полагает Г. Г. Литаврин (Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 244).

[68] Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. P. 430—435. Здесь и далее цит. близкий к источнику пересказ Г. Г. Литаврина (Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 237—238).

[69] Там же. С. 250—251; ср. *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 110—112.

[70] *Михаил Пселл.* Хронография. С. 95—97.

[71] *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 110—112; *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 251. Так, например, в апреле 1042 г. у новиллиссима Константина, дяди свергнутого императора Михаила V Калафата, было конфисковано 53 кентинария золота (более 380 тысяч номисм), в феврале-марте 1043 г. Мономах конфисковал 180 тысяч номисм из имущества умершего патриарха Алексея Студита.

[72] Материалы по истории Азербайджана из Тарих-ал-камиль (Полного свода истории) Ибн ал-Асира. Баку, 1940. С. 115—116. (Перевод П. Жузе.)

[73] *Михаил Пселл.* С. 94.

[74] *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 250—251; *Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 109—118.

[75] The Chronography of Bar Hebraeus / Transl. by E. A. W. Budge. Oxford, 1932. P. 203; ср. *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 251, прим. 2. (Нападение русов на Константинополь Бар Гебрей ошибочно датирует тем же 1044 г., хотя и не связывает прямо это событие с выселением «иноземцев».)

[76] Месяц называет Иоанн Скилица: «В июле месяце того же индикта (11-го индикта 1043 г.) случилось нападение на столицу народа Рос» (см.: *Литаврин Г. Г.* Еще раз о походе русских на Византию в июле 1043 г. // Византийский временник. Т. 29. М., 1969. С. 105—107). Копиист Скилицы Георгий Кедрин называет июнь (вероятно, простая описка?) (Georgius Cedrenus. II. P. 551; ср. *Литаврин Г. Г.* Указ. соч.). Согласно сообщению арабского историка первой трети XIII в. Ибн ал-Асира (сведения которого, в целом, представляются вполне достоверными), нападение русов на Константинополь произошло в месяце сафар 434 или 435 года хиджры (событие датировано 434 г. х., но 435 г. х. пропущен; см. *Vernadsky G.* The Byzantine-Russian War... P. 51—52). Сведения Ибн ал-Асира могли бы существенно уточнить хронологию русско-византийской войны, однако не вполне ясно, какой год все же имел в виду арабский автор. Датировка похода 434 г. х. вполне согласуется со сведениями византийских хронистов и русских летописей, сообщающих о весне — лете 1043 г. (434 г. х. завершился 9 августа 1043 г. от Рождества Христова). Б. А. Дорн принимал именно эту дату, ссылаясь, в частности, на анонимную персидскую хронику Тарихи Алфи (XVI в.), в которой события русско-византийской войны датируются явно ошибочным 454 г. х., хотя помещены в правильной хронологической последовательности — между 434 и 435 гг. х.; по мнению исследователя, 454 г. объясняется простой опиской, вместо 434 г. х. (*Дорн Б. А.* Каспий. О походах древних русских в Табаристан. С. 43—46). Однако в таком случае упоминание месяца сафар — явная ошибка: сафар 434 г. х. соответствует сентябрю-октябрю

1042 г. Если же мы принимаем дату 435 г. х., то должны существенно скорректировать наши выводы относительно продолжительности пребывания русских у стен Константинополя. Сафар 435 г. х. соответствует 9 сентября — 7 октября 1043 г. Р. Х. Принимая эту дату, Г. Вернадский (op. cit.) полагал, что русы удалились от стен византийской столицы только в сентябре 1043 г. Г. Г. Литаврин подверг это мнение критике, указав, что византийские авторы относят войну к 6551 г. и 11-му индикту, в то время как сентябрь 1043 г. соответствует уже 12-му индикту и 6552 г., поскольку год в Византии начинался 1 сентября (*Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 254—255). Но ведь если мы принимаем 435 г. х., то в любом случае получается, что события, описываемые арабским автором, происходили после 10 августа 1043 г. (начало 435 г. х.) — т. е. имеет место явное расхождение с хронологией Скилицы.

[77] *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 252. Византийцы считали Босфор частью Понта (Черного моря).

[78] День недели — воскресенье — называет Михаил Атталиат. На воскресенье в июле 1043 г. приходились 3, 10, 17, 24 и 31 числа. М. Салямон (К вопросу о дате главного сражения русских с греками в июле 1043 г. // Византийский временник. Т. 33. М., 1972. С. 88—91) находит в тексте Михаила Пселла указания на то, что в ночь битвы небо было безлунным, и предлагает в качестве даты одно из двух воскресений — 10 (новолуние) или 17 июля (первая четверть луны). Однако едва ли слова Пселла о том, что император «в начале ночи» (или, по переводу М. Салямона, «немного ранее (наступления дня)») прибыл в гавань и только утром «торжественно возвестил варварам о морском сражении», надо понимать непременно в том смысле, что прибытие корабля императора осталось незамеченным русскими по причине безлунной ночи. М. Салямон указывает еще один датирующий признак: по его данным, начало бурь на Босфоре (этесий) всякий раз совпадает с восходом Сириуса, а в 1043 г. этот период пришелся на 16—17 июля (см. там же).

[79] *Константин Багрянородный.* Об управлении Империей. С. 57—59.

[80] *Мельникова Е. А.* Экспедиция Ингвара Путешественника...

[81] См.: *Салямон М.* К вопросу о дате главного сражения... С. 89.

[82] Этих «варангов» в качестве наемников в войске грузинского царя Баграта IV (кстати, противника Византийской империи) упоминает под 1046 г. анонимная грузинская «Летопись Картли» XI в. (см.: *Папаскири З. В.* «Варанги» грузинской «Летописи Картли» и некоторые вопросы русско-грузинских контактов в XI веке // История СССР. 1981. №. 3. С. 164—172).

[83] *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 248.

[84] Ср.: *Поппэ А.* К чтению одного места в Повести временных лет // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. 1969. Т. 24.

[85] Материалы по истории Азербайджана... С. 115—116.

[86] ПСРЛ. Т. 9. С. 82.

[87] *Эмин Ф.* Российская история жизни всех древних от самого начала России государей. Т. 1. СПб., 1767. С. 413—422.

[88] Это предположение обосновывается в ряде работ В. Г. Брюсовой: Русско-византийские отношения...; Поражение или победа. Исследовательница привела целый ряд аргументов, однако далеко не все из них могут быть приняты. Так, слова Типографской, Воскресенской и ряда других летописей: «Посла Ярослав сына своего Володимера на греки. В лето 6551. Пакы на весну посла великий князь Ярослав сына своего на греки» едва ли могут быть расценены как свидетельство существования двух отдельных рассказов о двух отдельных походах Владимира. Как показал еще А. А. Куник (Русский источник о походе 1043 г. С. 50), первая фраза

из процитированного текста представляет собой не что иное, как заглавие летописной статьи (подобные заголовки не редкость в летописях XV—XVI вв.); слово же «пакы» (вновь, еще раз), скорее всего, должно быть соотнесено с читающимся в предшествующей статье известием о походе Владимира Ярославича на емь. Дважды приведенное известие о походе на Константинополь в «Хронике» Мацея Стрыйковского мы уже объяснили использованием польским хронистом различных (польских и русских) источников (см. прим. 50), хотя источник сообщения Стрыйковского о претензиях русских на «Корсунь и Таврику» неизвестен. Что касается рассказа Роже Шалонского о якобы привезенных лично Ярославом из Херсонеса на Русь мощах святого Климента (см. об этом ниже), что, по мнению В. Г. Брюсовой, подтверждает факт захвата Корсуни в княжение Ярослава, то этот аргумент, очевидно, надо исключить как не имеющий отношения к данной теме. Ниже я подробно остановлюсь на крайне путаном рассказе Роже; пока же стоит отметить, что факт перенесения и положения в Десятинную церковь мощей святого Климента князем Владимиром Святым не может быть поставлен под сомнение, поскольку, помимо «Повести временных лет», подтверждается древнерусским «Словом на обновление Десятинной церкви» и, что особенно важно, свидетельством Титмара Мерзебургского, назвавшего Десятинную церковь церковью «мученика Христова и папы Климента» — очевидно, по находящимся в ней мощам святого (см. прим. 73 к главе 5). Я не решаюсь затрагивать вопрос о т. н. «корсунских древностях» Новгорода, однако кажется очень вероятным, что их появление здесь (или, вернее, появление названия) можно связывать прежде всего с деятельностью первого новгородского епископа Иоакима Корсунянина (ср.: *Богданова Н. М.* Церковь Херсона в X—XV вв. // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 37—38). Наконец, привлечение позднейших рукописных источников XVIII в. (например, «Книги о церквах Новгорода», которую цитирует исследовательница — см.: Русско-византийские отношения... С. 59—60), на мой взгляд, вряд ли что-то дает, поскольку слишком очевидна их зависимость от «Корсунской легенды» (т. е. летописного рассказа о Крещении Руси).

Единственным источником, полностью подтверждающим гипотезу В. Г. Брюсовой, остается рассказ о византийской войне российского писателя Федора Александровича Эмина (1735—1770). В своем сочинении «Российская история жизни всех древних от самого начала России государей» он сообщает под 1044 г. о том, как брат Владимира Всеволод, узнав о неудаче в Греции, соединился с ним и двинулся на 5 тысячах судах в Византию. Переплыв через Дунай, они «многие разорения греческим царям причинили; потом пошли в Корсунь, и город Феодосию... после пятнадцатидневной осады взяли приступом». Греки были разбиты в двухдневном сражении, и «российские князья простерлись со своим оружием даже до Адрианополя». Греческий царь запросил мира. По условиям договора, россияне получили 80 тысяч гривен. «А одноглазого Вышату выпустили из плену, которого нещастие видя, Владимир простил ему прежнюю измену». В январе 1045 г. послы из Константинополя прибыли на Русь, а затем греческая царица Анна, дочь Мономаха, была выдана замуж за князя Всеволода. (*Эмин Ф.* Российская история... Т. 1. С. 413—421; ср. *Брюсова В. Г.* Поражение или победа... С. 413—422.) Ф. А. Эмин ссылается в своих построениях на некоего «Брунака» — по его словам, древнего литовского хрониста. Такой хронист неизвестен; скорее всего, и он сам, и весь рассказ Эмина — не более чем мистификация.

[89] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 143 (в Лаврентьевской и Радзивиловской летописях, а также в Хлебниковском списке Ипатьевской летописи этой фразы нет; год оставлен пустым).

[90] Сведения на этот счет содержатся в речи знаменитого византийского поэта и государственного деятеля Иоанна Мавропода по случаю разгрома Льва Торника, произнесенной 30 сентября 1047 г. См.: *Каждан А. П.* Иоанн Мавропод, печенеги и русские в середине XI в. // Зборник Радова Византолошког института. Кн. 7. (Melanges G. Ostrogorsky. I.) Београд, 1963. С. 177—184; *Kazhdan A.* Once more about the "ALLEGED" Russo-Byzantine Treaty (c. 1047) and the Pechenegs Crossing of the Danube // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Vol. 26. 1977. P. 65—77 (возражения Дж. Шепарду); *Литаврин Г. Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь. С. 274—275. Исследователи придают также особое значение тому факту, что в мае 1048 г. император Константин Мономах поддержал жалобу монахов русского монастыря Ксилургу на Афоне, который за несколько лет до этого подвергся разграблению со стороны иноков соседнего греческого монастыря. По мнению В. А. Мошина, враждебное отношение к русской обители было связано с войной 1043 г., обращение же к императору (через голову протата Афона) стало возможным лишь после заключения русско-византийского мира в 1046 или 1047 г. (*Мошин В.* Русские на Афоне // Byzantinoslavica. T. IX. Praha, 1947. S. 68—72).

[91] *Васильевский В. Г.* Труды. Т. 1. С. 11—14. О хронологии событий см.: *Каждан А. П.* Иоанн Мавропод...

[92] *Янин В. Л., Литаврин Г. Г.* Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха // Историко-археологический сборник. А. В. Арциховскому к 60-летию со дня рождения. М., 1962. С. 217—221.

[93] *Пселл.* С. 74, 84—89.

[94] *Янин В. Л., Литаврин Г. Г.* Новые материалы... С. 213 и далее; *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси. Т. 1. С. 17—18.

[95] *Татищев.* Т. 2. С. 85: «В то же время преставилась княгиня Всеволода Ярославича, дочь царя Константина Мономаха». Известные нам летописи этого известия не содержат.

[96] Относительно имени супруги князя Всеволода Ярославича и матери Владимира Мономаха мнения историков расходятся. Поздние русские источники называют ее по-разному. В местных смоленских преданиях об иконе Смоленской Божией Матери, принесенной якобы из Царьграда дочерью Константина Мономаха, последняя именуется Анной (см.: *Брюсова В. Г.* К вопросу о происхождении Владимира Мономаха // Византийский временник. Т. 28. М., 1968. С. 128). Однако здесь, скорее всего, отразилось имя царицы Анны, супруги Владимира Святого (в отдельных преданиях речь идет именно о ней). Синодик Киевского Выдубицкого монастыря (известный в выписках или ссылках XVIII—XIX вв.) называет мать Владимира Мономаха Анастасией: «...великую княгиню его (Всеволода) царя греческаго Константина Мономаха дщерь Анастасию и сынов их великаго князя киевскаго Владимира Мономаха, князя Ростислава, княжну инокиню Янку, княжну инокиню Евпраксию...» (см.: *Востоков А. Х.* Описание рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. С. 571—584; *Брюсова В. Г.* Указ. соч. С. 127—135). Однако не исключено, что речь здесь идет о второй жене Всеволода (умершей в 1111 г.), мачехе Владимира Мономаха, имя которой — Анна — называет только Хлебниковский список Ипатьевской летописи в позднейшей приписке (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 273, прим. 14). Во всяком случае, именно она была матерью Ростислава и Евпраксии, а также, вероятно, Ирины. То же можно сказать и о помяннике из Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны (XVII в.), в котором «княгиня Всеволодова», умершая 7 октября 1111 г. (т. е. вторая жена князя) названа матерью Владимира Мономаха и дочерью царя Константина Мономаха (*Кучкин В. А.* Княжеский помянник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны // Древнейшие государства Восточной Европы. 1995. М., 1997. С. 229).

[97] *Джаксон.* 3. С. 125—126, ср. С. 145, 272; Круг земной. С. 410.

[98] *Батюшков К. Н.* Сочинения. Архангельск, 1979. С. 116—117. О других русских переводах и переложениях Вис радости Харальда Сигурдарсона см.: *Джаксон.* 3. С. 255—272.

[99] *Джаксон.* 3. С. 141 (со ссылкой на Г. В. Глазырину).

[100] Там же. С. 103, 109, 115, 126. О датировке брака см. там же. С. 148—150. Об этом браке сообщал и Адам Бременский: «Харольд, вернувшись из Греции, взял в жены дочь короля Руссии Герцлефа» (*Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники... С. 138).

[101] *Лященко А. И.* Былина о Соловье Будимировиче и сага о Гаральде // Sertum bibliologicum в честь президента русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. Пб., 1922. С. 94—36; *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. С. 80—84.

[102] *Джаксон.* 3. С. 254—255.

[103] Там же. По мнению Т. Н. Джаксон, автор «Пряди о Хеминге Аслакссоне», знавший из Саги о Харальде о наличии у Харальда двух жен (см. далее), «попытался внести некоторую ясность в вопрос о мнимом двоеженстве конунга... что ему, впрочем, не очень удалось».

[104] Там же. С. 153—156; см. также: *Глазырина Г. В.* Свидетельства древнескандинавских источников о браке Харальда Сурового и Елизаветы Ярославны // Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные чтения, посвященные 70-летию... В. Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 1988. С. 14—16; *Джаксон Т. Н.* Елизавета Ярославна, королева норвежская // Восточная Европа в исторической ретроспективе. М., 1999. С. 63—71.

[105] Широко распространенное в литературе мнение, согласно которому Елизавета Ярославна после смерти Харальда вышла замуж за датского короля Свейна Ульвссона (Свена Эстридсена), основано на неверном толковании сообщения Адама Бременского, в котором речь на самом деле идет не о Елизавете Ярославне, а о «матери Олава Младшего» (Олава Тихого), т. е. о Торе Торбергсдоттир (см.: *Назаренко А. В.* О династических связях сыновей Ярослава Мудрого. С. 187; *Джаксон.* 3. С. 157).

[106] Точную дату рождения Святополка приводит В. Н. Татищев; он же называет Святополка вторым сыном Изяслава Ярославича: «Новембрия 8 родился Изяславу вторый сын, и нарекли его Святополк, а во святом кресчении Михаил» (*Татищев.* Т. 2. С. 79). Впрочем, В. А. Кучкин обосновывает иное мнение, согласно которому Святополк был старшим среди Изяславичей (*Кучкин В. А.* «Съ тоя же Каялы Святоплъкъ...» // Russia Mediaevalis. Т. 8. 1. 1995. S. 108).

[107] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 282; Т. 2. Стб. 259 (под 6615 г.). О судьбе княгини см.: *Янин В. Л.* Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк. С. 142—164. Имя Олисава названо в надписи-граффити на стене Киевского Софийского собора: «Господи, помози рабе своеи Олисаве, Святоплъчи матери, русьскыи кънягыни...» (*Высоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской. С. 73). Князь Изяслав был женат лишь один раз, следовательно, Олисава и есть та самая княгиня-«ляховица», о которой неоднократно рассказывают русские источники. Впрочем, А. В. Назаренко оспаривает это мнение. Исходя из того, что княгиня Гертруда в принадлежавшей ей латинской рукописи (т. н. Трирской Псалтири, или «Кодексе Гертруды»; см. о ней выше, в предыдущей главе) называет князя Ярополка-Петра своим «единственным сыном» (в то время как Святополк был жив), а также из того факта, что в месяцеслове этой рукописи отсутствует память святой Елизаветы, предполагаемой небесной покровительницы княгини, и в то же время признавая, что сестра Казимира «ляховица» была единственной супругой князя Изяслава Ярославича, исследователь приходит к следующему выводу: мать Святополка Олисава не тождественна Гертруде; она вообще была не законной супругой Изяслава, но

его наложницей, и, следовательно, Святополк появился на свет вне брака (*Назаренко А. В.* Древняя Русь на международных путях. С. 566—570). Гипотеза А. В. Назаренко, несомненно, заслуживает внимания, однако показания русских летописей, по-видимому, противоречат ей. Пожалуй, можно согласиться с тем, что рожденный вне брака (согласно гипотезе Назаренко) Святополк обладал всеми правами князя, но едва ли правами княгини могла обладать наложница Изяслава. А между тем и в граффити Софийского собора, и в летописном известии о ее кончине («...преставися княгиня, Святополча мати») Олисава названа именно *княгиней*. Кроме того, летопись не содержит никаких намеков на то, что Святополк родился вне брака, хотя в других подобных случаях (на которые в подтверждение своей гипотезы ссылается А. В. Назаренко) это обстоятельство отмечено. Что же касается слов Гертруды о Ярополке как о своем «единственном сыне», то и они находят более или менее приемлемое объяснение: учитывая, что в то время, когда составлялся кодекс, Ярополк, по-видимому, перешел в католичество, он мог иметься в виду как единственный сын-единоверец своей матери (*Янин В. Л.* Русская княгиня Олисава-Гертруда... С. 156).

[108] Об этом браке, помимо венгерских источников, сообщает Адам Бременский. Имя русской княгини названо только в «Истории» Яна Длугоша (см.: *Штернберг Я. И.* Анастасия Ярославна... С. 181; здесь же об ошибочном именовании Анастасии Ярославны Агмундой; на самом деле, как показал венгерский исследователь М. Вертнер, появление этого имени представляет собой недоразумение; см. также: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 350—352). В литературе приводится и точная дата заключения брака — 1039/40 г.: сообщается, что у Андрея и Анастасии, помимо двух сыновей, имелась дочь Адельгейда, которая родилась в Киеве в 1040/41 г. (*Штернберг Я. И.* Указ. соч.; со ссылкой на М. Вертнера).

[109] *Шушарин В. П.* Русско-венгерские отношения в IX в. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 154.

[110] См.: *Зотов Р. В.* О черниговских князьях по Любецкому синодику... С. 24: «Помяни Господи... великаго князя Николу Святослава Черниговского и княгиню Килликию...» Очевидно, речь идет именно о первой жене князя, матери его старших сыновей. Известно, что в начале 70-х гг. XI в. Святослав женился во второй раз — на немке Оде, которая родила ему младшего сына Ярослава; однако, согласно показаниям немецкого хрониста середины XIII в. Альберта Штаденского, после смерти Святослава Ода вернулась в Саксонию и вышла здесь замуж, так что ее память никак не могла поминаться в православном русском монастыре (ср. *Розанов С. П.* Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна (1071—1109) // Известия Академии наук СССР. Отдел гуманитарных наук. 1929 (отд. оттиск). С. 621—622; *Назаренко А. В.* О династических связях сыновей Ярослава Мудрого. С. 181). А. В. Назаренко допускает, что Килликия могла быть венгеркой (там же. С. 185, 192, прим. 58), но это допущение основано только на оценке политической ситуации ко времени заключения брака, но не на показаниях источников.

[111] Одна из редакций т. н. «Слова о князьях» (или «Похвалы и мучения святых мучеников Бориса и Глеба») называет возраст, в котором скончался князь Давыд Святославич: 73 года (*Абрамович.* Жития. С. 129). Князь умер весной 1123 г.; следовательно, его рождение должно быть отнесено примерно к 1050 г.

[112] См.: Acta Sanctorum / Coll. J. Bollandus, etc. Parisiis et Romae, 1865.Vol. VIII. T. 2. P. 16 (переводы на русский язык: *Айналов Д. В.* Судьба киевского художественного наследия // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Т. 12. Пг., 1918.

С. 26—28; *Богданова Н. М.* Церковь Херсона в X—XV вв. С. 40, 48—49). Здесь и ниже перевод по: *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 354. В переводе А. В. Назаренко (по изданию: Glossa Remensis ad Psalterium Odalrici // Catalogue général des manuscrits des bibliothčques publiques de France: Départements. Paris, 1904. T. 38. № 15. P. 23) обозначен 1049 г.; в других переводах (по изданию Болландистов) — 1048 г.

[113] *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 353, 355. Свидетельство Клария не имеет точной даты: «В то время...» (речь идет о событиях ок. 1050 г.). В «Хронике» Клария не упомянут Роже; в приписке к «Псалтири Одальрика», напротив, упоминается один Роже, но отсутствуют имена других участников посольства. Все же можно думать, что речь в обоих источниках идет об одном и том же посольстве.

[114] По мнению немецкого слависта Людольфа Мюллера, в состав посольства, сопровождавшего Анну во Францию, входил будущий митрополит Киевский Иларион. Основанием для такого предположения служит то обстоятельство, что в «Слове о законе и благодати» Илариона Киевского (точнее, в «Похвале Владимиру», входящей в «Слово») использована литургическая формула «Христос победи, Христос одоле, Христос въцарися, Христос прославися», популярная на Западе и, в частности, во Франции (Müller L. Die Werke des Mitropoliten Ilarion. München, 1971. S. 80—86; *Мюллер Л.* Понять Россию: историко-культурные исследования. М., 2000. С. 134—140). Однако «Слово» Илариона было произнесено в 40-е гг. XI в. (не позднее самого начала 1051 г.), а русское посольство с княжной Анной, как полагают, направилось во Францию в 1051 г. (эту дату принимает и Л. Мюллер), а вернулось назад еще позже. Это делает предположение исследователя маловероятным.

[115] Венгерские историки указывают, однако, возможные политические мотивы заключения русско-французского династического союза при предполагаемом посредничестве Венгрии. Дело в том, что в конце 40-х гг. XI в. Франция выдвинула претензии на Лотарингию, принадлежавшей Германской империи, и потому проявляла заинтересованность в союзе с Венгрией, которая как раз в это время враждовала с Империей; для координации совместных действий с королем Генрихом Французским Андрей мог поспособствовать его браку с сестрой своей супруги (см.: *Штернберг Я. И.* Анастасия Ярославна... С. 182).

[116] *Татищев.* Т. 2. С. 77.

[117] См. *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 2. С. 207, прим. 42; *Назаренко А. В.* Древняя Русь на международных путях. С. 559—560.

[118] Цит. по: *Пушкарева Н. Л.* Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 23.

[119] *Тимирязев В. А.* Французская королева Анна Ярославна // Исторический вестник. Т. 55. СПб., 1894. Январь. С. 203—204; ср.: *Poppe A.* The Political Background to the Baptism of Rus': Byzantine-Russian Relations between 986—989 // Dumbarton Oaks Papers. 1976. № 30 (то же в: *Poppe A.* The Rise of Christian Russia. L., 1982). P. 232—239.

[120] *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 355—356.

[121] Эту дату обосновывает Кэ де Сент-Эймур, который, кстати, также ссылается на обстоятельства поставления в епископа св. Литберта; см.: *Saint-Aymour Caix de.* Anne de Russie reine de France et comtesse de Valois. Paris, 1896. P. 36—37. (Есть перевод на украинский язык этого исследования, выполненный И. Я. Франко: *Граф де Ке де Сент-Емур.* Анна Русинка, королева Франції и графиня Валуа. Львів, 1909; репринт: Киев, 1991.)

[122] *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 355—356.

[123] Цит. по: *Холодилин А. Н.* Автографы Анны Ярославны — королевы Франции // Русская речь. 1985. № 2. С. 111; и др. (со ссылкой на кни-

гу современного французского писателя и историка Мориса Дрюона: «Париж в царствование Людовика Святого», 1964).

[124] Материалы, посвященные Анне Ярославне, а также тексты всех подписанных ею грамот (за исключением той, что содержит кирилличес-кую подпись; она была обнаружена позднее) см. в издании кн. А. Лобанова-Ростовского: Recueil de pičces historiques sur La Reine Anne ou Agnčs / du Prince Alexandre Labanoff de Rostoff. Paris, 1825.

[125] *Назаренко А. В.* Западноевропейские источники. С. 355—356. Об этом же сообщает и надпись на подножии ее статуи в Санли: «Анна возвратилась на землю своих предков».

[126] В XVII в. в аббатстве Вилье во Франции было открыто погребение, которое поспешили приписать королеве Анне (на гробнице якобы имелась надпись: «Здесь покоится Агнеса, жена некоего Генриха короля»). Однако слово «Regis» («король»), по-видимому, было добавлено позднее, и упомянутая в надписи Агнесса не имеет отношение к русской княжне (см.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 2. С. 208, прим. 42). Относительно имени Агнесса, которым якобы именовалась Анна во Франции, см.: *Saint-Aymour Caix de.* Anne de Russie reine de France... P. 81; *Черных П. Я.* К вопросу о подписи французской королевы Анны Ярославны. С. 29—30. По-видимому, именование Анны Агнессой позднейшими французскими историками объясняется смешением во Франции этих двух имен. Во всяком случае, официально Ярославна называлась во Франции Анной — именно это имя стоит в королевских грамотах и папских посланиях.

[127] НПЛ. С. 181. В «Повести временных лет» этого известия нет. В. Н. Татищев полагал, что речь может идти о литовском Новогрудке или же о Новгороде-Северском, ибо «Ярослав в сие время в Великом Новеграде не был» (*Татищев.* Т. 2. С. 243). Однако историку еще не была известна Новгородская Первая летопись, которая не оставляет сомнений относительно того, какой Новгород имеется в виду.

[128] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 180; Т. 4. С. 116.

[129] См.: *Алешковский М. Х.* Новгородский детинец 1044—1430 гг. (По материалам новых исследований) // Архитектурное наследство. Вып. 14. М., 1962; *Носов Е. Н.* Новгородский детинец и Городище. С. 7. По мнению Е. Н. Носова (впрочем, принимаемому далеко не всеми исследователями), эти укрепления были вообще первыми в Новгороде.

[130] Новгородские летописи. С. 181.

[131] Так, например, в «Родословце» 30-х гг. XVIII в.: «Той Владимир, греков побивши, заложивши в Новеграде церковь соборную Софии...»; в сочинении А. И. Манкиева «Ядро российской истории» (1770) и др. (*Брюсова В. Г.* Русско-византийские отношения... С. 59, прим. 42).

[132] НПЛ. С. 16. В летописи Авраамки (конец XV в.) о пожаре деревянной Софии сообщается под 6550 (1042) г.: ПСРЛ. Т. 16. СПб. 1889. Стб. 41.

[133] НПЛ. С. 181. См. также Софийскую Первую, Новгородскую Четвертую и др. летописи. Впрочем, здесь необходим подробный комментарий. Историки по-разному оценивают степень достоверности обеих противоречащих друг другу версий. Н. Г. Бережков, например, признавал верным свидетельство младшего извода Новгородской Первой летописи на том основании, что приведенная в нем дата хронологически точна (4 марта 1049 г. действительно приходилось на субботу), в то время как дата, названная в старшем изводе, ошибочна: 15 марта 1045 г. — пятница, а не суббота (*Бережков Н. Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 226—227). Перенос текста в более раннюю статью, по мнению автора, объясняется «тем ошибочным соображением, что новая София была воздвигнута вследствие пожара старой...», при этом указание на день недели было сохранено, а дата поправлена «для того, чтобы отно-

шение между элементами полной даты соответствовало тому году, под которым теперь стало читаться сообщение», но при этом в расчет числа месяца вкралась погрешность. Такое предположение, однако, кажется слишком искусственным, тем более что чуть ниже исследователь допускает, что в первоначальном тексте Новгородской Первой летописи старшего извода читалась правильная дата, позже искаженная переписчиком: например, 9 марта вместо 15 (буква «фита» (9) могла быть прочитана как «е» (5) или, точнее, «ei» (15)), а следовательно, основной аргумент, на основании которого отвергается первичность чтения старшего извода, рушится. Свидетельством оригинальности записи старшего извода летописи следует, очевидно, признать и указание на час, в котором произошел пожар (в младшем изводе этого указания нет). Мнение Н. Г. Бережкова оспорил В. Л. Янин. Он обратил внимание на то, что 15 марта приходилось на субботу в 1046 г., и предположил использование в летописи т. н. циркамартовской датировки, т. е. такой, при которой начало мартовского года датируется не 1 марта, а какой-то другой, близкой датой. Следовательно, начало марта 6553 г. соответствует не 1045-му, а 1046 г., и датировка старшего извода оказывается верной (*Янин В. Л.* Очерки комплексного источниковедения. С. 124). Однако здесь надо учесть следующее. Обычно, говоря о циркамартовском годе, принимают, что мартовский год в древней Руси начинали с появления новой луны в первые весенние дни, близкие к весеннему равноденствию (*Климишин Н. А.* Календарь и хронология. М., 1985. С. 259—261, со ссылкой, в частности, на статью 6645 г. Новгородской Первой летописи). Но в таком случае 6654 г. должен был начаться вскоре после 10 марта (мартовское новолуние), и, следовательно, 15 марта относится все-таки к этому, а не предшествующему году. Гипотетически, наверное, можно было бы допустить, что началом года автор летописи избрал, например, Благовещение (25 марта), и, следовательно, пожар случился действительно в субботу 15 марта уже 1046 г. Но в этом случае нам придется признать, что и строительство нового Софийского собора началось после 15 марта 1046 г. (так, кстати говоря, и считает В. Л. Янин: там же. С. 124), причем, конечно, не в ближайшие дни, а по крайней мере по прошествии нескольких недель, а то и месяцев, после расчистки пепелища и подготовки строительных материалов. Но тогда начало строительства Софийского собора должно быть уж точно датировано 6554 (1046/47) г., а между тем во всех списках летописи датой начала строительства назван 6553 г. Наконец, не исключено, что статьи 1045 и 1049 гг. обоих изводов Новгородской Первой летописи сохранили две самостоятельные записи об одном событии, и различие в датировках объясняется использованием различных космических эр (*Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. С. 379). Однако более вероятно, что в статье Новгородской Первой летописи младшего извода использован текст старшего извода (см. также след. прим.); изменение числа месяца в этом случае должно объясняться стремлением летописца выправить имевшуюся у него под рукой дату (древнерусские книжники легко умели определять, на какой день недели падает то или иное число, и постоянно пользовались этим). Что же касается даты старшего извода, то остается предположить порчу текста в оригинале: например, «15» вместо изначально верного «9», что допускал еще Н. Г. Бережков. (В таком случае, кстати, легче объяснить появление даты «4 марта» в списках младшего извода: исправляя цифру «9», новгородский книжник должен был в первую очередь подумать о возможном смешении своим предшественником близких по написанию букв «фита» (9) и «д» (4).)

[134] *Янин В. Л.* Очерки комплексного источниковедения. С. 124. Исследователь отмечает также, что проводившиеся археологические раскопки

участка Борисоглебской церкви не подтверждают наличие под ней первоначальной Софии.

[135] *Брюсова В. Г.* О датировке древнейших фресок Софийского собора в Новгороде (XI — начала XII вв.) // Советская археология. 1968. № 1. С. 106; *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 56—57. Разумеется, эта запись могла быть сделана лишь на завершающем этапе строительства или по его окончании в 1050 г.

[136] Новгородские летописи. С. 181.

[137] *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 57—60.

[138] НПЛ. С. 181 (в старшем изводе Новгородской Первой летописи о завершении работ не сказано); ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 180—181; Т. 4. С. 117. Впрочем, в ряде летописей известие об освящении Новгородской Софии отнесено к 14 сентября 6560 (1552) г. (Новгородские летописи. С. 184; ПСРЛ. Т. 16. Стб. 41). В. Г. Брюсова отдает предпочтение именно этой дате, ссылаясь, в частности, на указание Новгородской Третьей летописи, согласно которому храм строили 7 лет (Новгородские летописи. С. 181), а также на то обстоятельство, что предпразднование Вознесению (но не само празднование!) в 1052 г. приходилось на воскресенье, что якобы более подходит для дня освящения храма (см.: *Брюсова В. Г.* О времени освящения Новгородской Софии // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 111—113). Однако выше мы уже выражали сомнение в том, что день освящения храма в Киевской Руси непременно должен был приходиться на воскресенье (см. прим. 63 к главе 9), к тому же ни в 1050-м, ни в 1052 г., как отмечает сама исследовательница, Воздвижение не приходилось на воскресный день. Что же касается указания на семилетний срок строительства собора, то оно, скорее всего, явилось следствием расчетов книжника XVII в., но не древней Руси. Дело в том, что если бы храм строился с 1045 по 1052 г., то древнерусский книжник, в соответствии с принятой в древней Руси системой расчетов, непременно обозначил бы срок строительства как восемь, но не семь лет, включив в него и год начала строительства, и год окончания работ.Можно думать, наверное, что дата 6560 (1052) г. попала в летописи как дата смерти Владимира Ярославича, похороненного в *новопостроенном* Софийском соборе.

В. Г. Брюсова (указ. соч.) обнаружила в источниках еще одну дату освящения храма — 5 августа 6558 (1050) г.: ее называют святцы рукописного сборника XVII в. (РГБ. Ф. 173 (собр. МДА). № 201. Л. 326 об.). По мнению исследовательницы, вероятно, храм освящался дважды — 5 августа 1050 г. (по случаю завершения строительства) и 13 (?) сентября 1052 г. — во втором случае в связи с украшением храма иконами. Двукратное освящение храма кажется вполне вероятным — подобные случаи хорошо известны в древней Руси. Однако к 1052 г. работы по украшению Новгородской Софии могли быть только начаты (и то предположительно), но никак не завершены (см., напр.: *Брюсова В. Г.* О датировке древнейших фресок Софийского собора...; *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 55 и др.).

[139] *Брюсова В. Г.* О датировке древнейших фресок Софийского собора... С. 105—106.

[140] По мнению В. Г. Брюсовой (О датировке древнейших фресок Софийского собора... С. 105—106), фреска Константина и Елены могла быть создана специально к обряду освящения храма в 1052 г. По-другому, фрески Мартириевской паперти,в том числе и Константина и Елену, датируют временем не ранее 1144 г., когда, по летописи, «исписаша честно притворы вся в Святеи Софии Новегороде» (*Гренберг Ю. И.* «Константин и Елена» Софийского собора в Новгороде (Некоторые выводы из технологического исследования живописи) // Древний Новгород: Ис-

тория. Искусство. Археология. Новые исследования. М., 1983. С. 141—164. Ср. НПЛ. С. 27, 213).

[141] Новгородские летописи. С. 181.

[142] НПЛ. С. 17.

[143] Там же. С. 19, 203; под 6616 (1108/1109) г.; о дате см.: *Бережков Н. Г.* Хронология древнерусского летописания. С. 229; *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 32. А. А. Медынцева, ссылаясь на граффити собора: «Р(а)дко п(и)сал в лето 6620 (1112/1113)» (там же. С. 39), полагает, что работы по росписи храма продолжались еще в 1112 г. Однако эта подпись, равно как и другие (см. ниже), атрибутируется авторам-живописцам лишь предположительно.

[144] Новгородские летописи. С. 181—182; *Брюсова В. Г.* Метрологическая достоверность «Меры Спасову образу» // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 19.

[145] См.: *Брюсова В. Г.* Метрологическая достоверность... С. 18—27. Автор отмечает, что наиболее раннее поновление купольной росписи имело место в XVII в., когда «Сказание о Святой Софии» уже было широко распространено в письменности. Отсюда делается вывод о том, что промеры знаменитой фрески были произведены сразу же после ее создания (по мнению автора, в 1052 г.). Более того, В. Г. Брюсова полагает, что и все «Сказание о Святой Софии» было создано еще в домонгольское время, а именно в конце XI — начале XII в., и даже называет имя предполагаемого автора — новгородский епископ Никита (1096—1108), но этот вывод, конечно, не может быть принят.

[146] *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 34—56. Надписи «ОЛЕНА» и «К...НИН» на фреске святых Константина и Елены, которые были обнаружены в конце XIX в. (ныне утрачены), также свидетельствуют по крайней мере об участии русского художника в создании этой фрески (там же. С. 48).

[147] *Брюсова В. Г.* О датировке древнейших фресок Софийского собора... С. 141; *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. С. 54—57. В последней работе высказано предположение, что вместе с Лукой Жидятой могли пострадать и нанятые им для росписи храма иконописцы, на что косвенно указывает надпись-граффити на лестнице собора: «Гага с Сежиром в беде» (там же. С. 48, 56).

[148] Согласно Воскресенской летописи, Владимир «положен бысть в Софеи великой в паперти и со княгинею» (ПСРЛ. Т. 7. С. 232; ср. *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 139).

[149] НПЛ. С. 420. О предполагаемой матери Владимира Анне, упомянутой в этом летописном сообщении, см. прим. 27—29 к главе 3.

[150] *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 119—140. В Новгородской Четвертой, Софийской Первой и др. летописях под 1178 г. сообщается о смерти в Новгороде князя Мстислава Ростиславича, «внука Юрьева», т. е. Мстислава Безокого: «и положиша его в Святеи Софеи в притворе в Новегороде, в гробници Володимере Ярославича» (ПСРЛ. Т. 4. С. 590; Т. 6. Вып. 1. Стб. 244). В Ипатьевской летописи, вероятно, ошибочно сообщение о погребении в гробнице князя Владимира связывается с другим князем Мстиславом Ростиславичем — Храбрым, умершем в Новгороде в 1180 г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 610). В. Г. Брюсова отмечает, что в XIX в. в Новгороде было известно предание, согласно которому князь Владимир Ярославич был причтен к лику святых еще в древности, причем мощи его открыты спустя сто с лишним лет после кончины — по мнению исследовательницы, предположительно, до 1178 г., когда в его гробницу были положены мощи князя Мстислава Ростиславича Безокого (*Брюсова В. Г.* Поражение или победа. С. 66).

[151] *Янин В. Л.* Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 119—140.

[152] ПСРЛ. Т. 7. С. 232. Впрочем, исследователи сомневаются в реальности существования этого князя. (См., напр.: *Баумгартен Н. А.* Первая ветвь князей Галицких... С. 4.)

Глава одиннадцатая. Между законом и благодатью

[1] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155. В Ипатьевском списке «Повести временных лет»: «...в церкви Святыя Богородица в Володимери» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 143), где предлог «в», очевидно, появился по ошибке, а текст надо понимать в смысле: «в церкви Святой Богородицы Владимировой», т. е. построенной князем Владимиром. В результате, однако, в ряде позднейших летописей (Воскресенской, Никоновской и др.) текст был понят так, будто кости князей положены в церкви Святой Богородицы во Владимире-Залесском (т. е. Владимирском Успенском соборе).

[2] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75. Полагают, что эта фраза могла принадлежать летописцу, писавшему до 1044 г., когда останки Олега были перенесены в Киев (*Шахматов А. А.* Разыскания... С. 415—418; *Приселков М. Д.* История русского летописания. С. 50). Это, однако, не единственно возможное объяснение (ср. *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы... С. 345—347). Помимо прочего, слово «могила», по-видимому, означало прежде всего «могильный холм», но не обязательно собственно захоронение (ср. Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв). Т. 4. С. 555); следовательно, оно могло использоваться по отношению к «Олеговой могиле» и после перенесения останков князя.

[3] См., напр.: *Соколов Пл.* Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. Киев, 1913. С. 44—45; *Щапов Я. Н.* Устав князя Ярослава и вопрос об отношении к византийскому наследию на Руси в середине XI в. // Византийский временник. Т. 31. М., 1971. С. 72—73 и др. С этим, впрочем, не соглашается А. Поппэ (*Poppe A.* Państwo i Kościół... S. 101—102), однако нарушение канонических (и даже догматических) норм в акте 1044 г. кажется слишком серьезным, чтобы оно могло получить одобрение греческого иерарха.

[4] По свидетельству Мацея Стрыйковского, «в Киев явились три архимандрита-чернеца, ученые мужи из Греции», которые и «подняли из могилы кости двух князей» (цит. по: *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 441, прим. 191). Впрочем, источник, а также степень достоверности этого известия польского хрониста XVI в. неизвестны.

[5] См. там же. С. 59, 441; *Щапов Я. Н.* Устав князя Ярослава... С. 72—73. Соответствующее (26-е) правило Карфагенского собора входило в состав греческого Номоканона XIV титулов, хорошо известного на Руси в славянском переводе (см.: *Бенешевич В. Н.* Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. СПб., 1906. С. 397).

[6] ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 166—167.

[7] *Кузьмин А. Г.* Падение Перуна. С. 227.

[8] БЛДР. Т. 1. С. 42—44.

[9] Впрочем, вопрос о времени причтения святых Бориса и Глеба к лику святых решается историками по-разному. Согласно традиционной точке зрения, основанной на показаниях памятников «борисоглебского цикла» (анонимного «Сказания о чудесах», служащего продолжением «Сказания о страсти» святых братьев, и «Чтения» преп. Нестора), канонизация святых имела место еще в первые годы княжения Ярослава, а именно в 20-е гг. XI в. Исходя из того, что перенесение мощей святых в

построенную Ярославом пятиглавую церковь происходило 24 июля, и считая, что торжества могли иметь место только в воскресный день, А. А. Шахматов предложил датировать их 1026 г., когда 24 июля падало на воскресенье; эта точка зрения была принята и другими исследователями (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания... С. 58; *Приселков М. Д.* Очерки... С. 71—72). Это хорошо согласуется также с участием в торжествах митрополита (или архиепископа?) Иоанна; хотя время его святительства остается неизвестным, все же приходится учитывать, что позднейшие летописи (в частности, Никоновская) называют его современником князя Владимира Святославича и упоминают под 1008 г. (см. прим. 72 к главе 5). Современным исследователям, однако, мнение Шахматова не представляется убедительным. Исходя из того, что самостоятельную церковную политику князь Ярослав Владимирович начал проводить лишь после объединения в своих руках всей Русской земли (т. е. после 1036 г.), немецкий славист Л. Мюллер относит канонизацию святых братьев ко второй половине 30-х гг. XI в. По его мнению, митрополит Иоанн был непосредственным предшественником Феопемпта и занимал кафедру до 1039 г.; в промежутке между 1036 и 1039 гг. и следует датировать события, описанные в Житиях (*Мюллер Л.* О времени канонизации святых Бориса и Гле-ба // Russia Mediaevalis. T. VIII. 1. 1995. С. 11).

Совершенно по-иному оценивают события авторы, отрицающие достоверность показаний памятников «борисоглебского цикла». По мнению М. Х. Алешковского и А. В. Поппэ, «первая» канонизация святых братьев при Ярославе едва ли могла иметь место. В реальности Борис и Глеб были причтены к лику святых лишь в 1072 г., о чем сообщается не только в тех же памятниках, но и в «Повести временных лет» (см.: *Алешковский М. Х.* Русские глебо-борисовские энколпионы 1072—1150 гг. С. 104—125; *Поппэ А.* О времени зарождения культа Бориса и Глеба // Russia Mediaevalis. T. I. 1973. С. 6—29; *он же.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Там же. Т. VIII. 1. С. 21—68). Но если первый из названных авторов вообще склонен считать всё рассказанное в Житиях вымыслом (в том числе, кажется, отрицая сам факт существования пятиглавой вышгородской церкви, выстроенной Ярославом; ср. *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет. С. 84—85), то А. В. Поппэ в большей степени обращает внимание на существенные отличия между описанием «первой» канонизации братьев при Ярославе и торжествами 1072 г.: именно во время последних, по его мнению, братья и были по-настоящему причтены к лику святых, в то время как при Ярославе их почитание могло носить лишь местный характер (этот вывод представляется вполне убедительным). Опираясь, в частности, на молчание о Борисе и Глебе Илариона, а также на тот факт, что имена святых братьев появляются в княжеском именослове лишь с середины 40-х гг. XI в. (см. далее), исследователь именно этим временем датирует начало политического и церковного прославления святых. Но в таком случае приходится констатировать, что имя митрополита Иоанна как инициатора их культа оказалось в источниках в результате недоразумения, ошибки или сознательного искажения фактов, поскольку с 1039 г. (а по Поппэ даже с 1036-го) киевскую кафедру занимал грек Феопемпт, а с 1051 г. — Иларион. Между тем удовлетворительного объяснения этому пока не найдено.

Существенное значение для решения вопроса о времени причтения Бориса и Глеба к лику святых может иметь та или иная датировка посвященной им церковной службы, древнейшие списки которой датируются концом XI — XII в. (издания: *Абрамович.* Жития. С. 133—167; *Мурьянов М. Ф.* Из наблюдений над структурой служебных миней // Проблемы структурной лингвистики. М., 1981. С. 263—278: по древнейшему списку

конца XI в. — РГАДА. Ф. 381. № 121. Л. 28 об. — 31; служебная минея на июль). Это сочинение надписано именем «Иоана, митрополита русьскаго». Памятуя об участии митрополита Иоанна в прославлении братьев по памятникам «борисоглебского цикла», заманчиво было бы увидеть в авторе Службы именно Иоанна I, современника Владимира и Ярослава, — в таком случае «ранняя» датировка канонизации братьев получает очень сильное подкрепление. (П. В. Голубовский, а вслед за ним Л. Мюллер находят признаки раннего, до 1072 г., создания службы и в самом ее тексте; ср.: *Голубовский П. В.* Служба свв. мученикам Борису и Глебу в Иванической Минее 1547—1579 гг. // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 14. Вып. 3. Отдел 2. Киев, 1900. С. 125—166). По-другому, Служба могла быть написана митрополитом Иоанном II (конец 70-х — 80-е гг. XI в.) или же имя Иоанна вообще попало в ее заголовок случайно. (Существенно наблюдение А. В. Поппэ: заголовок Службы святым Борису и Глебу не современен ее тексту — автор Службы называет святых в основном их христианскими именами, в то время как в заголовке они упомянуты под княжескими; ср. *Поппэ А.* О зарождении культа… С. 34). Мнение о позднем происхождении Службы аргументировано А. В. Поппэ (там же. С. 31—45), однако вопрос остается открытым; в частности, как мне представляется, исследователем не доказана вторичность Службы по сравнению со «Сказанием о чудесах» и «Чтением» Нестора. Следует учитывать и наблюдение Н. С. Серегиной: корпус песнопений Борису и Глебу только по спискам XII в. ровно в три раза превышает гимнографический стереотип одной службы святому по Студийскому уставу, т. е. перед нами не одна, а три службы, вероятно, созданные в разное время и в связи с разными событиями в становлении культа святых братьев. И если две службы могут быть связаны с перенесениями мощей святых в 1072 и 1115 гг., то третья должна быть составлена *ранее* этих событий; исследовательница склонна связывать ее с творчеством митрополита Илариона (см.: *Серегина Н. С.* Песнопения русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месячный». СПб., 1994. С. 75—101).

В литературе было высказано еще одно мнение: в княжение Ярослава был причтен к лику святых лишь один Глеб; торжества же 1072 г. представляли собой не что иное, как канонизацию Бориса (*Биленкин В.* «Чтение» преподобного Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 47. СПб., 1993. С. 54—64). Первоначальное почитание братьев по отдельности, а также преимущественное почитание святого Глеба примерно до конца XI в. кажутся несомненными (см. об этом прим. 14), хотя ссылки В. Биленкина в этой связи на «Чтение» Нестора, в котором Глеб последовательно именуется «святым», а Борис — «блаженным», по-видимому, несостоятельны: в древней Руси эти определения были равнозначны (ср. *Поппэ А.* О зарождении культа… С. 30—31, прим. 11; в качестве аргумента сошлюсь также на Проложное сказание о св. Глебе из Стишного Пролога XVI в., изданное Д. И. Абрамовичем: «Бысть по убитии *святого* страстотръпца… Бориса посла убиицы ты против *блаженаго* Глеба…», и далее Глеб последовательно именуется «блаженным»; *Абрамович.* Жития. С. 200). При всей внешней привлекательности предложенной гипотезы (ибо находят объяснение соседство в источниках двух рассказов о канонизации святых братьев — при Ярославе и Изяславе, а также некоторые особенности торжественного перенесения мощей 1072 г.) все же трудно объяснить, почему для гипотетической канонизации Глеба был выбран день кончины именно святого Бориса (24 июля). Отмечу, что этот день и позднее именовался «Борисовым»: так называл его не только князь Владимир Мономах (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 249), но и, например, новгородский писец Матфей,

работавший в конце XI — начале XII в. и, кстати говоря, являющийся одним из двух писцов (вместе с Лаврентием) древнейшей рукописи Минеи служебной за июль, сохранившей список Службы святым Борису и Глебу (Каталог славяно-русских рукописных книг XI—XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. Ч. 1. М., 1988. С. 49: РГАДА. Ф. 381. № 125. Л. 64 — Минея служебная за август).

Аргументом в пользу «ранней» датировки канонизации святых Бориса и Глеба можно было бы счесть указание Жития преп. Ефрема Новоторжского на построение им на берегу реки Тверцы Борисоглебского монастыря уже в 1038 г. Однако точные хронологические указания этого позднего Жития не внушают доверия (см. прим. 10 к главе 4).

[10] См.: *Бугославский С. А.* К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 19. Кн. 1. СПб., 1914. С. 134.

[11] Ср. *Поппэ А.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба... С. 50—51.

[12] «Сказание о чудесах» неизвестного автора (или, точнее, авторов): *Абрамович.* Жития. С. 52—66; *Бугославський.* С. 155—178; рассказ о чудесах преп. Нестора: *Абрамович.* Жития. С. 15—26; *Бугославський.* С. 196—205.

[13] См.: *Поппэ А.* О времени зарождения культа... С. 20; *он же.* О зарождении культа... С. 51. Правда, здесь же автор делает оговорку, что «контекст рассказа допускает и другую (с ошибкой в один-два года) возможность: 20 лет отсчитывались от кончины Ярослава». Последнее вполне вероятно: указание на 38 лет жизни Ярослава после смерти отца как будто датирует его кончину 1052 (а не 1054) г.; в таком случае сооружение новой вышгородской церкви действительно последовало ровно через 20 лет.

Отметим также, что рассказ Нестора о чудесах, совершавшихся при вышгородской церкви, можно понять так, что описываемые им события происходили еще до создания Святой Софии в Киеве (*Абрамович.* Жития. С. 20).

[14] Показательно, что ко времени торжественного перенесения мощей в мае 1072 г. тело святого Глеба уже находилось в каменном саркофаге, в то время как тело его брата Бориса оставалось в деревянной гробнице и только во время торжеств 1072 г. было переложено в каменную (*Абрамович.* Жития. С. 56; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 181—182). Если учесть, что в вышгородском храме до конца XII в. хранился и деревянный саркофаг, в котором тело св. Глеба было перенесено со Смядыни (в 1191 г. первоначальные ветхие деревянные раки святых Бориса и Глеба были торжественно перенесены из Вышгорода в Смоленский Борисоглебский монастырь на Смядыни, о чем сообщается в особом Проложном сказании, сохранившемся в рукописи XVI в.: *Абрамович.* Жития. С. 109; ср. *Поппэ А.* О зарождении культа... С. 52—53), то получается, что переложение тела в новый каменный саркофаг произошло не сразу после перенесения останков тела Глеба со Смядыни, а позднее (по предположению А. В. Поппэ, в годы княжения в Вышгороде (до перехода в Чернигов в 1054 г.?) Святослава; ср. *Поппэ А.* О зарождении культа... С. 52). Тот факт, что каменный саркофаг Глеба, когда его вывозили из ветхой деревянной церкви Ярослава, застрял в узких церковных дверях, свидетельствует, по-видимому, о том, что тело Глеба уже находилось в этом саркофаге ко времени построения Ярославом пятиглавой церкви вокруг небольшой часовни с мощами святых, т. е., предположительно, к 1052 г. В любом случае наличие каменной гробницы свидетельствует о религиозном почитании князя Глеба ранее 1072 г.

Исследователи древнерусского искусства отмечают, что до конца XI в. на лицевой стороне «борисоглебских» крестов-складней (так называе-

мых энколпионов, или мощевиков, предназначенных для хранения частичек святых мощей) помещали именно изображение святого Глеба, так что эти кресты правильнее было бы называть «глебоборисовскими» (см.: *Алешковский М. Х.* Русские глебоборисовские энколпионы... С. 104—125; здесь же и другие примеры преимущественного почитания св. Глеба). Показательно также, что когда в 1095 г. частицы мощей святых братьев были перенесены в чешский Сазавский монастырь, местная хроника отметила факт перенесения останков «святого Глеба и его товарища», даже не назвав Бориса по имени (ср.: *Рогов А. И.* Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности. М., 1970. С. 14).

[15] *Абрамович.* Жития. С. 49—50; ср. БЛДР. Т. 1. С. 349 (перевод Л. А. Дмитриева).

[16] *Федотов Г. П.* Святые Древней Руси. С. 51.

[17] См. об этом: *Поппэ А.* О времени... С. 9—14; *он же.* О зарождении культа... С. 56—68. Наречение сына Изяслава Святополком расценивается как доказательство того, что в 1050 г. Борис и Глеб еще не почитались в качестве святых, а та картина событий 1015 г., которую рисуют памятники «борисоглебского цикла», еще не успела утвердиться в сознании русского общества. Это, однако, слишком прямолинейный взгляд. Имя Святополк, хотя и редко, использовалось в княжеском именослове и позднее, когда канонизация святых братьев стала уже безусловно свершившимся фактом: так, это имя носили сын князя Мстислава Владимировича Великого, князь Владимиро-Волынский Святополк Мстиславич, а также туровский князь Святополк Юрьевич, правнук Святополка Изяславича.

[18] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155—156.

[19] См. прим. 114 к главе 10.

[20] Как правило, «Слово о законе и благодати» датируют широким временным отрезком: между 1037 г. (создание, по летописи, Киевского Софийского собора и церкви Благовещения на Золотых вратах, упоминаемых Иларионом) и 1050 г. (смерть княгини Ирины, о которой в «Слове» говорится как о живой). Эта датировка была предложена еще первым издателем «Слова», выдающимся русским археографом протоиереем Александром Васильевичем Горским (Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I // Прибавления к Творениям св. отцов в русском переводе. М., 1844. Ч. 2. С. 206—207) и до сих пор принимается многими исследователями как единственно обоснованная (см., напр.: *Молдован А. М.* «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984. С. 5; БЛДР. Т. 1. С. 480; и др.). Однако датировка эта нуждается в существенном уточнении. С одной стороны, создание Софийского собора и Золотых ворот не ранее 1037 г. ныне ставится многими исследователями под сомнение (см. об этом в главе 9), а потому в литературе предпринимаются попытки датировать «Слово» более ранним временем, чем 1037 г. С другой стороны, в «Слове» имеются более существенные датирующие признаки, не позволяющие отнести этот памятник ко времени более раннему, чем 40-е гг. XI в., причем скорее ко второй их половине, ближе к концу: в «Слове» упоминаются правнуки (во множественном числе!) князя Владимира Святославича, причем не просто появившиеся на свет, но уже более или менее подросшие и, кажется, присутствующие в храме на проповеди: «виждь вънукы твоа и правнукы: како живуть, како храними суть Господемь, како благоверие держать по предаянию твоему, како в святыа церкви чястять, како славять Христа, како покланяются имени Его» (БЛДР. Т. 1. С. 50). Первый из внуков Ярослава, Ростислав Владимирович, появился на свет (по Татищеву) в 1038 г.; следующих пришлось ждать довольно долго (первенцы Изяслава и Святослава родились не ранее середины 40-х гг.). Правда, в 30-е гг. у князя Брячислава Полоцкого,

по-видимому, уже родился сын Всеслав (также правнук Владимира), но он едва ли мог присутствовать на богослужении в Киевском Софийском соборе. Что же касается верхней хронологической границы (1050 г.), то она также требует некоторых пояснений. Летопись сообщает о кончине жены Ярослава 20 февраля 6558 г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 143). Но мы не знаем точно, какой именно стиль использован в данной летописной статье: если это мартовский (т. е. год начинается с марта), то Ирина скончалась в феврале 1051 г.; если же сентябрьский, принятый в Византии, — то в феврале 1050 г. (последнее кажется более вероятным, поскольку именно сентябрьским стилем датирована в летописи кончина самого Ярослава Владимировича). (См. о датировке «Слова» Илариона, напр.: *Müller L.* Des Mitropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962. S. 12—15; *Кузьмин А. Г.* Первый митрополит русин Иларион // Великие духовные пастыри России. М., 1999. С. 48—49; и др.) Итак, «Слово» было произнесено во второй половине 40-х гг. XI в., не позднее февраля 1051 г. — но во всяком случае *до* поставления Илариона на киевскую кафедру (последнее событие летописи датируют 6559 г.).

В литературе предпринимались попытки более точно (вплоть до дня и даже часа) определить время произнесения «Слова» Илариона. Так, Н. Н. Розов обратил внимание на то, что в «Слове» присутствуют реминисценции из Пасхальной и Благовещенской служб, и предположил, что оно было произнесено 26 марта 1049 г., в первый день Пасхи, которая в том году пришлась на следующий день после празднования Благовещения (*Розов Н. Н.* Синодальный список сочинения Илариона — русского писателя XI в. // Slavia. R. 32. Praha, 1963. S. 2. С. 147—148). Эта точка зрения получила широкое распространение в литературе, хотя высказывались и сомнения относительно пасхального характера сочинения Илариона: кажется странным, что в торжественном «Слове», произнесенном на Пасху, ничего не говорится о главном событии этого великого праздника — Воскресении Христовом (см.: *Алексеев А. А.* О времени произнесения Слова о законе и благодати митрополита Илариона // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 51. СПб., 1999. С. 289—291). Предлагались и другие возможные даты. Так, по Л. Мюллеру, «Слово» Илариона (а точнее, «Похвала» Владимиру, которую исследователь считает самостоятельным произведением, лишь позднее соединенным в рукописи со «Словом») было произнесено в день памяти князя Владимира, 15 июля, предположительно, в 1050 г. (*Müller L.* Die Werke des Mitropoliten Ilarion. S. 14—15). К. К. Акентьев видит в речи Илариона праздничную проповедь по случаю освящения Киевской Софии и «города Ярослава» и датирует ее 11 мая 1046 г. (*Акентьев К. К.* Мозаики Киевской Св. Софии и «Слово» митрополита Илариона... С. 84—87). По мнению А. А. Алексеева (О времени произнесения...), «Слово» могло быть произнесено на празднование Рождества Богородицы, 8 сентября неизвестного года; об этом свидетельствует использование в нем образов Агари и Сарры как символов земного и небесного Иерусалима, рабства и свободы, что основано на словах из Послания апостола Павла к Галатам (*Гал. 4: 21 — 5: 1*), которые читаются на литургии Рождества Богородицы. (Другие предлагавшиеся датировки «Слова» — например, 25 марта 1038 г., праздник Благовещения и канун Пасхи (*Ужанков А. Н.* Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о законе и благодати»? С. 75—106) или, тем более, 25 марта 1022 г., Кириопасха (*Никитенко Н. Н.* «Слово» Илариона и датировка Софии Киевской // Отечественная философская мысль XI—XVII вв. и греческая культура. Киев, 1991. С. 51—57) — не могут приниматься во внимание, поскольку противоречат тем данным, которые содержатся в самом памятнике, упоминающем о правнуках князя Владимира.)

Относительно места произнесения «Слова» также существуют разные мнения: в этой связи называются София Киевская (*Лихачев Д. С.* Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1979. С. 39—41; *Белицкая А.* Примечания к переводу «Слова о законе и благодати» // Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 337—338; *Акентьев К. К.* Указ. соч.), церковь Благовещения на Золотых вратах (*Розов Н. Н.* Синодальный список сочинения Илариона... С. 147—148; *Ужанков А. Н.* Указ. соч.), Десятинная церковь Пресвятой Богородицы (*Айналов Д. В.* К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сборник в память святого князя Владимира. Пг., 1917. С. 36; *Müller L.* Die Werke des Mitropoliten Ilarion. S. 14—15). Последнее мнение представляется наиболее вероятным: в своем «Слове» Иларион обращается непосредственно к князю Владимиру, призывая его восстать из гроба и взглянуть на родичей своих, т. е., скорее всего, он держал речь перед гробницей князя.

[21] Возможный источник богословских рассуждений Илариона относительно сравнения «закона» и «благодати» обнаружен: это т. н. «Большой Апологетик» патриарха Константинопольского Никифора I Исповедника (ок. 758—828) (в русском переводе: «Слово в защиту непорочной, чистой и истинной нашей христианской веры...») (см.: *Молдован А. М., Юрченко А. И.* «Слово о законе и благодати» Илариона и «Большой Апологетик» патриарха Никифора // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 1. М., 1989. С. 5—18). Факт знакомства Илариона с традицией, представленной в этом памятнике, приобретает особую значимость в связи с тем, что по крайней мере часть «Большого Апологетика» Никифора была переведена на славянский язык еще в период первых славянских письменных переводов, причем надписана в рукописях именем Кирилла Философа; это т. н. «Написание о правой вере» (см.: *Юрченко А. И.* К проблеме идентификации «Написания о правой вере» // Там же. С. 19—39).

[22] Здесь и далее (как и прежде) «Слово» Илариона цитируется в основном по переводу диакона Андрея Юрченко (см.: Златоструй. Древняя Русь. X—XIII вв. С. 106—125; БЛДР. Т. 1. С. 26—61), в отдельных случаях с некоторыми изменениями. Перевод выполнен по единственному сохранившемуся полностью списку «Слова о законе и благодати» первой редакции (ГИМ. Син. № 591. Л. 168—203) второй половины XV в. Фотовоспроизведение текста: Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1. С. 101—171. Наиболее полное критическое издание «Слова о законе и благодати» (но без «Молитвы» и «Исповедания веры», читающихся в той же рукописи Син. 591 и составляющих своеобразное «собрание сочинений» Илариона): *Молдован А. М.* Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. См. также: *Розов Н. Н.* Синодальный список сочинения Илариона... С. 152—175 (однако, как показал А. М. Молдован, в этом издании имеется много неточностей); Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. 1. С. 13—41 (подг. изд. Т. А. Сумниковой). В последнее время появилось немало переводов «Слова» на современный русский язык — см.: Идейное наследие Илариона Киевского. Ч. 1. С. 45—64 (перевод Т. А. Сумниковой); Богословские труды. 1987. Т. 28. С. 315—343 (перевод А. Белицкой); Альманах библиофила. Тысячелетие русской письменной культуры (988—1988). Вып. 26. М., 1989. С. 153—226 (перевод В. Я. Дерягина и др.);

[23] БЛДР. Т. 1. С. 418. См. по этому поводу, напр.: *Топоров В. Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1: Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 257—340 и след.; *Кожинов В. В.* Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи // Русская литература. 1988. № 12. С. 130—150; *Робинсон М. А., Сазонова Л. И.* Мнимая и реальная историческая действительность эпохи создания «Слова о законе и благодати» Илариона // Там же. С. 151—175.

[24] *Лихачев Д. С.* Великое наследие. С. 34. Очевидное идейное единство всего произведения не позволяет согласиться с гипотезой Л. Мюллера, согласно которой первоначально существовали самостоятельные произведения: 1) «Слово о законе и благодати», 2) подборка цитат из Ветхого Завета о будущем призвании «языцев», 3) «Похвала» Владимиру, которые затем были скомпонованы автором в единое целое и при этом переработаны с добавлением 4) «Молитвы от всей Русской земли», 5) Никейско-Константинопольского Символа веры и 6) собственного «Исповедания веры» Илариона, что и представлено в виде своеобразного «собрания сочинений» в рукописи Син № 591 (см.: *Müller L.* Des Mitropoliten Ilarion Lobrede; *Мюллер Л.* Понять Россию… С. 98—99). В то же время самостоятельное существование «Молитвы» Илариона и «Исповедания веры» не вызывает сомнений (см. ниже).

[25] *Никольский Н. К.* О древнерусском христианстве // Русская мысль. 1913. Кн. 6. С. 13—14; и др.

[26] Ср. *Данилевский И. Н.* Эсхатологические мотивы в Повести временных лет. С. 210 (со ссылкой на Геннадиевскую Библию 1499 г.: «Проповесть ся сие Евангелие Царствиа по въсей въселенней въ сведетельство въсемь языкомь. И тогда приидеть кончина»).

[27] БЛДР. Т. 1. С. 52—57 (перевод диакона Андрея Юрченко); ср.: *Розов Н. Н.* Из творческого наследия русского писателя XI в. Илариона // Dissertationes slavicae. Acta Universitates Szegediensis de Atilla Jozsef. Szeged, 1975. T. 9—10. P. 115—155.

[28] *Срезневский В. И.* Память и похвала князю Владимиру и его Житие по сп. 1494 г. // Записки Имп. Академии наук по ист.-филолог. отделению Т. 1. № 6. СПб., 1897. С. 6.

[29] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151—153.

[30] ПСРЛ. Т. 41. С. 56.

[31] Поздняя афонская традиция, возникшая, по-видимому, не ранее XVIII—XIX вв., утверждает, что произошло это в Есфигменском Вознесенском монастыре. В середине XIX в. в нем была построена часовня в честь преподобного; называлось и имя вероятного наставника преп. Антония в иноческой жизни — старец Феоктист. Однако никаких исторических оснований это предание, по-видимому, не имеет (см.: *Папулидис К. К.* Из истории отношений Киево-Печерского монастыря и Афона: преподобный Антоний Печерский. История и предания // Byzantinorussica / Византиноруссика. № 1. М., 1994. С. 157—160).

[32] «Сказание, что ради прозвался Печерский монастырь» (или «Сказание о начале Печерского монастыря»), читающееся в «Повести временных лет» под 1051 г.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155—160.

[33] Позднейшие печерские источники совершенно иначе, нежели летописное «Сказание о начале Печерского монастыря», излагают историю преп. Антония. Согласно той версии «Сказания», которая читается в т. н. Кассиановской 2-й редакции Киево-Печерского патерика (составленной в 1462 г. печерским уставщиком Кассианом), Антоний дважды покидал Русь и отправлялся на Афон: первое путешествие отнесено ко времени князя Владимира Святославича; вернувшись после пострижения в Киев, Антоний вселяется в пещеру, «юже беша ископали варязи». Вскоре, после начавшейся смуты, Антоний, «видя таково кровопролитие… пакы бежа в Святую Гору»; окончательно он возвращается на Русь после поставления Илариона, и далее текст «Сказания» практически совпадает с летописным (Патерик. С. 16—17 и след.). Еще более поздняя печерская традиция уточнила датировки обоих путешествий Антония. Согласно Густынской летописи, первый раз он вернулся на Русь в 1013 г., в 1017 г. удалился вновь на Афон, а окончательно возвратился в Киев в 1027 г. (ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 261, 263, 266). В позднейших списках печер-

ских игуменов начало подвигов Антония датировано 1012 г., а 1032 г. — уже игуменство Варлаама (Патерик. С. 210). В Кассиановских же редакциях Патерика (1-й, 1460 г., и 2-й) появляется еще одна дата, подтверждающая раннее возникновение обители: в Житии Феодосия, входящем, как известно, в большинство редакций Патерика, проставлена дата пострижения Феодосия, отсутствующая в более ранних редакциях, — 1032 г. (там же. С. 29).

После работ А. А. Шахматова «ранняя» версия происхождения монастыря признается сознательным тенденциозным искажением начальной печерской истории, восходящим к несохранившемуся Житию преп. Антония, которое было известно еще в XIII в. (на него есть ссылки в Патерике), но позже затерялось: по мнению исследователя, в Кассиановской переработке «Сказания о начале Печерского монастыря» использовано именно Житие Антония, причем «Сказание» в этом виде представляет собой более раннюю переделку первоначального текста, нежели тот его вид, который дошел до нас в летописи. См.: *Шахматов А. А.* Киево-Печерский патерик и Печерская летопись // Известия Отделения русского языка и словесности. Т. 2. Кн. 3. СПб., 1897. С. 818—827; *он же.* Житие Антония и Печерская летопись // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 316. СПб., 1898. С. 124—133; *он же.* Разыскания... С. 265—275 (правда, при редактировании тех же «Разысканий...» Шахматов признал, что Кассиан пользовался не Житием Антония и не гипотетической Печерской летописью, также не дошедшей до нас, но лишь выписками из Жития Антония, содержащимися в известных и дошедших до нас сочинениях — посланиях Симона и Поликарпа из Киево-Печерского патерика (см. С. 273, прим. 1) — это, конечно, сильно ослабляет аргументацию исследователя). Однако один из основных постулатов гипотезы А. А. Шахматова был по существу опровергнут С. А. Бугославским, показавшим, что текст «Сказания о начале Печерского монастыря» в летописной статье 1051 г. — первичный и, вероятно, близкий к первоначальному авторскому (*Бугославский С. А.* К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 19. Кн. 3. СПб., 1914. С. 153—160). Более того, текстологический анализ различных редакций памятника позволяет сделать вывод об отсутствии какого-то определенного письменного источника, из которого могли быть сделаны добавления в текст «Сказания» по Кассиановской 2-й редакции: речь идет даже не о вставках в первоначальный летописный текст, а лишь о перемещениях внутри летописного текста (подробнее см. об этом: *Карпов А. Ю.* Когда возник Киевский Печерский монастырь? // Очерки феодальной России. Вып. 1. М., 1997. С. 10—14 и след.). Возможно, распространение «Сказания» — плод самостоятельного творчества Кассиана, использовавшего устные предания, занесенные в Киев непосредственно с Афона, насельники которого во второй половине XV в. были чрезвычайно заинтересованы в усилении связей с православной Русью (см.: *Абрамович Д. И.* Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902. С. 94—95); возможно, у Кассиана был предшественник, который еще до него выполнил всю редакторскую работу, в том числе разбил цельный рассказ о путешествии Антония на Афон и его возвращении в Киев на две части и перенес первую из них на несколько десятилетий вперед.

Что же касается «ранних» дат, называемых печерской традицией, — напр., 1032 г. как года пострижения Феодосия или игуменства Варлаама, — то они оказываются явно несостоятельными. Так, из Жития преп. Феодосия известно, что Варлаам был сыном Иоанна, боярина киевского князя Изяслава Ярославича; следовательно, он не мог прийти в монастырь ранее 1054 г. Косвенные датировки, содержащиеся в Житии преп. Феодо-

сия, не позволяют отнести его приход к Антонию ко времени ранее 1050 г. (см.: *Карпов А. Ю.* Указ. соч. С. 7—8, прим. 9). В то же время появление обеих дат в позднейших печерских источниках давно уже нашло приемлемое объяснение: преп. Антоний умер в 1072-м или в 1073 г.; в летописном же «Сказании о начале Печерского монастыря» имеется явно ошибочное сообщение, согласно которому после переселения в новую пещеру Антоний жил в ней до самой смерти, «не выходя ис печеры лет 40 никдеже» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 158). Очевидно, вычитание 40 лет и дало Кассиану основание назвать 1032 г. (см., напр.: *Кубарев А. М.* Нестор, первый писатель российской истории, церковной и гражданской // Русский Исторический сборник, изд. Обществом истории и древностей российских. Кн. 4. М., 1842. С. 401; и др.). Возможно, сходным образом появилась дата 1027 г. в Густынской летописи: зная об уходе Антония из Киева в 1069 г. (ср. ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. С. 272), составитель летописи вычел 40 лет уже из этой даты и накинул еще два года для иных известных ему событий. О появлении цифры «40» в тексте летописного «Сказания» существуют разные мнения. Цифра эта явно неверна, поскольку известно, что Антоний покидал пещеры по меньшей мере дважды; второй раз в 1069 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 193). Возможно, загадку проясняет В. Н. Татищев, указавший, что в ряде древнейших летописей (не дошедших до нашего времени) стояло не «*м*» (40), а «*и*» (8), «что неосторожностию повреждено» (*Татищев.* Т. 4. С. 422, прим. 187). Палеографически замена этих букв вполне объяснима.

Итак, «ранняя» версия основания Киево-Печерского монастыря явно несостоятельна.

[34] Подробнее см.: *Карпов А. Ю.* Когда возник Киевский Печерский монастырь?

[35] См.: *Мошин В. А.* Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI—XII вв. // Byzantinoslavica. T. 9. Praha, 1947. С. 55—85; *Бибиков М. В.* Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа. С. 96.

[36] Акты Русского на св. Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. № 1; ср. *Мошин В. А.* Указ. соч. С. 66—67. Впрочем, М. В. Бибиков не подтверждает вывод В. А. Мошина о том, что сумма, уплаченная игуменом Феодулом за келии, принадлежавшие некоему Дмитрию Халкею, была столь высока, что могла быть предоставлена монастырю Ксилургу только киевским князем Ярославом Владимировичем (см.: Византийские источники. С. 92—93).

[37] *Порфирий (Успенский), еп.* История Афона. Ч. 3: Афон монашеский. Киев, 1877. С. 165—166, 168—169.

[38] В акте Русского монастыря на Афоне от мая 1048 г. сообщается о нанесенном ранее ущербе пристани и пристройкам, принадлежавшим обители Ксилурга; эти убытки были возмещены (*Бибиков М. В.* Византийские источники... С. 93, 96). По мнению В. А. Мошина, враждебное отношение к русской обители, проявившееся в нападении на пристань, было связано с войной 1043 г. (см. прим. 90 к главе 10). В акте 1048 г. упоминаются игумен Ксилурга Иоанникий и монах Никодим — наряду с игуменом Феодулом (упоминавшимся под 1030 г.) они, возможно, были наставниками или собеседниками преп. Антония.

[39] *Поппэ А.* Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. // История СССР. 1970. № 3. С. 116.

[40] *Соколов И. И.* Состояние монашества в Византийской церкви с половины IX до начала XIII в. (842—1204). Опыт церковно-исторического исследования. Казань, 1894. С. 238—239.

[41] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 159—160.

[42] *Никольский Н. К.* О древнерусском христианстве. С. 1—23.

[43] Там же. С. 14—16.

[44] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155, 156; Т. 2. Стб. 143. Текст приписки: БЛДР. Т. 1. С. 60. В отличие от Л. Мюллера (Иларион и «Повесть временных лет» — в кн.: *Мюллер Л.* Любить Россию… С. 152—156), я не вижу следов использования приписки Илариона в начале летописной статьи 1051 г. и поэтому считаю оба этих известия равнозначимыми. По-видимому, совпадение даты в обоих источниках (хотя дата в приписке к «Слову», возможно, появилась позднее) позволяет считать вопрос о времени поставления Илариона решенным, несмотря на высказывавшиеся в литературе сомнения на этот счет (см., напр.: *Брюсова В. Г.* Когда и где был поставлен митрополит Иларион? // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 1. М., 1989. С. 40—51). Другое дело, что, как уже говорилось выше, время оставления Иларионом берестовской пещеры и начала фактического руководства Церковью и время его поставления на кафедру могло существенно не совпадать.

В литературе встречается еще одна — максимально точная — датировка акта 1051 г.: 9 апреля (*Высоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской. С. 37—38; *он же.* Средневековые надписи Софии Киевской. С. 212—214). Однако эта дата не имеет под собой оснований: граффити Софийского собора: «Месяца априля в 9 день поставлен бысть владыка…» вовсе не обязательно имеет в виду Илариона Киевского. Даже если речь в надписи действительно идет о митрополите, им мог быть любой из киевских святителей; дело в том, что в Древнерусской церкви отчетливо различались хиротонисание (рукоположение) и настолование, т. е. возведение на кафедру (престол); если первый обряд совершался в Константинополе (в случае с прибывшими из Византии иерархами), то второй — а именно о нем сообщается в граффити Софийского собора, — мог быть совершен только в Киеве (см. о тонкостях этих обрядов, напр.: *Евгений (Болховитинов), митр.* Описание Киево-Софийского собора и киевской иерархии. Киев, 1825. С. 15; *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 537—538).

[45] Патерик. С. 102—103; ср. БЛДР. Т. 4. С. 361 (перевод Л. А. Дмитриева). После исследований Е. Е. Голубинского это известие признается недостоверным (*Голубинский Е. Е.* История Русской Церкви. Т. 1. 1-я пол. С. 756—757; Т. 1. 2-я пол. С. 572—573, прим. 2). Однако аргументация Голубинского не носит строго доказательного характера. Исследователь ссылался прежде всего на несоответствие данных Жития Антония времени появления Антония в Киеве. Но если допустить, что между избранием Илариона и оставлением им берестовской пещеры существовал какой-то временной промежуток (а это кажется очевидным), то этот аргумент теряет свою доказательную силу. Представление же о том, что Антоний не имел священнического сана и, следовательно, не мог постригать в иночество приходящих к нему, также является лишь предположением историка: как известно, Феодосия, Варлаама и Ефрема действительно постригал Никон по повелению Антония, но это еще не значит, что основатель обители не обладал таким правом лично. Слова афонского игумена, отправлявшего Антония на Русь: «От тебе мнози черньци быти имуть», — как будто свидетельствуют об обладании Антонием священнического сана.

[46] Поздняя Густынская летопись сообщает об избрании Илариона патриархом Михаилом Кируларием, причем под 1050 г. (ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1843. Стб. 268). В «Палинодии» Захарии Копыстенского (1621) сообщается о том, что митрополит Иларион, как только открылась возможность, «с послушенством своим отозвался до патриарха, за чим от него благословение и отверзение одержал» (цит. по: *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 459, прим. 10). В новгородском же рукописном «Каталоге всех российских архиереев» XVIII в. (РНБ. Соф. № 1417. Л. 7)

сообщается, что Иларион поставлен был «чрез граммату святейшаго Михаила, патриарха Цареградского» (там же; *Брюсова В. Г.* Когда и где был поставлен митрополит Иларион? С. 45). Но все это едва ли не догадки книжников более позднего времени. Из современных исследователей, насколько мне известно, лишь Л. Мюллер полагает, что избрание и посвящение Илариона происходило точно так же, как и всех других русских митрополитов, т. е. константинопольским патриаршим синодом, а все сомнения историков на этот счет основаны лишь на неверном понимании имеющихся источников (*Мюллер Л.* Понять Россию… С. 91—92).

Странная на первый взгляд фраза автора Архангелогородского летописца под 1051 г.: «Постави князь Ярослав Владимерович два митрополита» (ПСРЛ. Т. 37. С. 27), конечно, имеет в виду поставление «2-го митрополита» (после Феопемпта) (ср. там же. С. 67).

[47] ПСРЛ. Т. 9. С. 83.

[48] См.: *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 1980. А потому в высшей степени наивными кажутся предположения о некоем неизвестном нам источнике, из которого авторы Никоновской летописи якобы почерпнули сведения о поставлении Илариона (см., напр.: *Котляр Н. Ф.* Древнерусская государственность. С. 143—144). Свидетельство Никоновской летописи, несомненно, «заслуживает доверия» — но именно как памятник общественной мысли Руси XVI столетия.

[49] Особенно последовательно это мнение проводится в работе М. Д. Приселкова (Очерки по церковно-политической истории Руси. С. 92).

[50] *Татищев.* Т. 2. С. 79.

[51] *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 130.

[52] См.: *Соколов Пл.* Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. С. 42—52.

[53] Там же.

[54] *Поппэ А.* Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. С. 108—124. Исследователь ссылается на анонимный византийский трактат «О правах митрополитов», а также на Житие реформатора Грузинской церкви Георгия Мтацминдели (Георгия Афонского): прибыв в 1060 г. из Афона в Грузию, Георгий подверг осуждению продажу епископских должностей и потребовал — совсем в духе киевского акта 1051 г., — чтобы монарх выбирал на епископскую кафедру достойных кандидатов среди иноков, которые пользуются поддержкой «вдохновленных Богом учителей», т. е. епископов.

[55] БЛДР. Т. 1. С. 48—49.

[56] *Поппэ А.* Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в.

[57] *Поппэ А. В.* Русские митрополии Константинопольской патриархии… С. 95—96.

[58] Цит. по: РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.). № 161. Л. 156 (см. прим. 44 к главе 9).

[59] Это объясняет, почему в позднейших источниках и об освящении церкви святого Георгия сообщается именно под 1037 г. См., напр.: *Серегина Н. С.* Песнопения русским святым. С. 105 (со ссылкой на Стихирарь XVII в.); *Каргер М. К.* Древний Киев. Т. 2. С. 232 (отписка киевского воеводы князя Юрия Петровича Трубецкого к царю Алексею Михайловичу 1674 г.). По сообщению Н. Закревского, в «некоторых старых месяцесловах» освящение «храма святаго великомученика Георгия, иже в Киеве пред враты Святыя Софии» датируется 1045 г. (Описание Киева. Т. 1. С. 265).

[60] *Толочко П. П.* Древний Киев. С. 70.

[61] *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Ч. 1. С. 367.

[62] *Серегина Н. С.* Песнопения русским святым. С. 328—330; см. также: *Ягич И. В.* Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь. С. 461—472. Иногда авторство Службы на освящение церкви святого Георгия приписывают печерскому иноку Григорию, «творцу канонов» (см., напр.: *Игнатия, монахиня.* Труды русских песнописцев в Киевский период // Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 236—237).

[63] *Смирнов С. И.* Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 1912. С. 47—48 (в книге: *Смирнов С. И.* Древнерусский духовник. Материалы. Репринт издания 1913—1915 гг. — издание безобразное в полиграфическом отношении!). Отрывок входит в русскую (?) по своему происхождению статью «А се грехи», представляющую собой перечень грехов. Н. К. Никольский (Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X—XI вв.) СПб., 1906. С. 90) относит этот отрывок к числу сочинений, с большой степенью вероятности принадлежавших киевскому митрополиту. Впрочем, он же отмечает, что та же выдержка находится в «Слове святых апостол и святых отец о церковном приношении», но там Иларион не назван митрополитом («О сем преподобный Ларион глаголеть...»).

К числу сочинений, предположительно принадлежащих Илариону Киевскому, относят также «Послание к брату столпнику» (или «Наказание святого Илариона к отрекшимся от мира»), также надписанное в некоторых рукописях именем «Илариона, митрополита Киевского» (см.: *Петровский М. П.* Поучение, приписываемое Илариону, митрополиту Киевскому // Ученые записки Имп. Казанского университета. Т. 1. Казань, 1865. С. 47—84; *Туницкий Н. Л.* Хиландарский отрывок «Слова к брату столпнику» с именем Илариона, митрополита Киевского // Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. В память столетия Имп. Московской Духовной академии. Ч. 1. Сергиев Посад, 1915. С. 475—482). Об этом памятнике см. также: *Никольский Н. К.* Материалы для повременного списка... С. 91—105; здесь же и о других сочинениях, приписываемых отдельными исследователями киевскому митрополиту.

[64] Полное критическое издание Устава Ярослава по всем его редакциям и изводам см.: Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. / Изд. подг. Я. Н. Щапов. М., 1976. С. 85—139. Ниже в основном цитируется (в упрощенном виде) реконструкция архетипа Устава князя Ярослава по изд.: *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI—XIV вв. М., 1972. С. 293—296. Судя по упоминанию имени митрополита Илариона, Устав принят в 1051—1053 гг. (не позднее февраля 1054 г.) (ср. *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы... С. 301—302). Правда, в одном из поздних списков Устава (т. н. «Свиток Ярославль», переписанный в Витебске в XVI в.) названа дата 6540 (1032) г. (Древнерусские княжеские уставы. С. 138). Эта дата иногда принимается как действительная; см., напр.: *Кожинов В. В.* Творчество Илариона и историческая реальность... С. 130; *он же.* Размышления о русской литературе. М., 1991. С. 102; *Ужанков А. Н.* Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о законе и благодати». С. 90. Думаю, однако, что названная в «Свитке Ярославле» дата не заслуживает доверия. Происхождение же ее весьма прозрачно: как известно, в «Повести временных лет» о церковных уставах Ярослава упоминается в статье 6545 (1037) г. («И бе Ярослав любя церковныя уставы...»); вероятно, именно дата 6545 (1037) г. и была проставлена в ту редакцию памятника, которая отразилась в «Свитке Ярославле». Впоследствии кириллическая цифра «*е*» (5) была прочитана как буква, и вместо записи: «в лето 6545» получилось: «в лето 6540-е». В Летописце Переяславля Суздальского «Суд Ярослава князя, сына Володимирова», помещен под 6543 (1035?) г. (ПСРЛ. Т. 41. С. 53). Но в этом памятнике хронология

конца княжения Владимира и начала княжения Ярослава вообще сбита: так, статья 6543 г. является первой статьей, посвященной Ярославу (этим же годом датируются и смерть Владимира и убийство Бориса и Глеба); соответственно, под этим же годом приведена — хотя и очень краткая — похвала Ярославу: «Сед Ярослав в Киеве и нача церкви строити, и книги переписати от грек, и пети й, и чести й. Отходя Владимир основание положи, а добрыи земледелець землю умягчи, разора; Ярослав же насея книгами и уставление монастырем и святителем дасть оправдания судом с греческаго намаканона». В Устюжской летописи (Архангелогородском летописце) Устав Ярослава датирован вполне правдоподобным 6561 (1053) г. (ПСРЛ. Т. 37. С. 27—28, 67), но на каком основании, неизвестно.

[65] Окончание текста, не включаемое Я. Н. Щаповым в архетип княжеского Устава, цит. по Основному изводу Пространной редакции (Древнерусские княжеские уставы. С. 86—91).

[66] См.: *Щапов Я. Н.* Устав князя Ярослава и вопрос об отношении к византийскому наследию на Руси. С. 71—78.

[67] *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. С. 194.

[68] Там же. С. 305—306; специально об этом: *Щапов Я. Н.* Устав князя Ярослава...

[69] Русская историческая библиотека. Т. 6. Изд. 2-е. СПб., 1908. Стб. 18.

[70] *Поппэ А. В.* Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. С. 121.

[71] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 181; Т. 4. С. 117. В Никоновской летописи о приходе в Киев певцов «из Грек» сообщается под 1051 г. (ПСРЛ. Т. 9. С. 85); в «Истории» В. Н. Татищева — под 1053 г., причем, по его словам, «демественники-певцы» пришли на Русь вместе с митрополитом Георгием (*Татищев.* Т. 2. С. 81). Летопись Авраамки и Устюжская датируют приход певцов 1037 г. (ПСРЛ. Т. 16. Стб. 41; Т. 37. С. 27, 67).

[72] ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 171.

[73] *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. Кн. 2. С. 248—249.

[74] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 55.

[75] ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 183; Т. 4. С. 118. Позднейший новгородский «Каталог российских архиереев» (XVIII в.) сообщает о том, что «Иларион Россианин» «пас Церковь Божию 20 лет и преставися в лето 6579 (1071)», после чего был «положен в Печерском монастыре и крайние его ради добродетели бысть свят и чудотворец предивен»; здесь же сообщается о рукоположении им в 1061 г. новгородского епископа Стефана, а в 1071 г. — новгородского епископа Феодора (*Брюсова В. Г.* Когда и где был поставлен митрополит Иларион? С. 45). Однако названная в источнике дата, скорее всего, появилась в результате собственных расчетов позднейшего книжника, знавшего об участии в 1072 г. митрополита Георгия в торжествах по случаю перенесения в Вышгороде мощей святых Бориса и Глеба и исходившего из того, что Иларион был непосредственным предшественником Георгия (в «Повести временных лет», например, между 1051 и 1072 гг. о митрополитах в Киеве не упоминается).

[76] См.: *Щапов Я. Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978. С. 238—239.

[77] См. прим. 93 к главе 9.

[78] См. прим. 64 к главе 9.

[79] *Поппэ А. В.* Русские митрополии Константинопольской патриархии... С. 94—96; *он же.* Русско-византийские церковно-политические отношения... С. 121—124 (правда, с оговорками относительно шаткости

аргументов). А. В. Поппэ проводит аналогию с киевскими событиями 1156/57 г., когда после отстранения с митрополичьего престола Климента Смолятича новоприбывший из Константинополя митрополит Константин «испровергъши Климову службу и ставления и створивше божественую службу» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 485). Однако следует учесть, что имя Илариона, в отличие от имени Климента Смолятича, присутствует в официальном списке русских митрополитов (см.: НПЛ. С. 163, 473), а это может свидетельствовать в пользу признания Илариона со стороны константинопольского патриарха.

[80] *Розов Н. Н.* К вопросу об участии Илариона в начальном летописании // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 31—36.

[81] Успенский сборник. С. 100; ср. БЛДР. Т. 1. С. 394—395 (перевод О. В. Творогова). В Патериковой редакции Жития Феодосия (по Кассиановской 2-й редакции Патерика) рассказ об Иларионе имеет особый подзаголовок и номер («О Ларионе. 27») (Патерик. С. 48—50).

[82] В свое время М. Д. Приселков высказал чрезвычайно смелую гипотезу, согласно которой после своего отстранения от митрополии Иларион принял схиму в Печерском монастыре с именем Никон и именно он имеется в виду в рассказах летописи, Жития Феодосия и Печерского патерика о печерском игумене Никоне (Никоне Великом) (см.: *Приселков М. Д.* Митрополит Иларион — в схиме Никон как борец за независимую русскую церковь // Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову. СПб., 1911; *он же.* Очерки по церковно-политической истории Руси... С. 181—184). Это предположение получило распространение в исторической литературе, однако оно совершенно невероятно: как показал еще А. В. Королев в своей рецензии на книгу М. Д. Приселкова (Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 53. 1914. Октябрь. С. 397—398), канонически невозможно превращение архиерея в схимника со сменой имени и сохранением священнического сана; а между тем Никон был иеромонахом.

К числу распространенных в литературе относится также гипотеза об участии Илариона в составлении русской летописи (см.: *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 51—62; *Розов Н. Н.* К вопросу об участии Илариона в начальном летописании. С. 31—36). Однако и это предположение остается спорным (ср. *Мюллер Л.* Иларион и «Повесть временных лет» — в кн.: *Мюллер Л.* Понять Россию... 141—164).

[83] См. прим. 81 к главе 9.

Глава двенадцатая. Круг земной. Завещание

[1] *Высоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской. С. 16—18; *он же.* Средневековые надписи Софии Киевской. С. 210, 215—217. Надпись сделана в центральном нефе собора, ниже фрески с изображением святого Пантелеимона, на высоте 1,15 м от уровня пола XI в., т. е., очевидно, коленопреклоненным человеком достаточно высокого роста. Чтение «розгремелось» (предложенное В. Нимчуком и принятое С. А. Высоцким) предпочтительнее других, предлагавшихся в литературе: «розгромле» или «розградиша».

[2] Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих Миней св. Димитрия Ростовского. М., 1902—1911. Кн. 7. Март. С. 74; ср. *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской. С. 216.

[3] Точную дату кончины «княгини Ярославлей», т. е. Ирины-Ингигерд, называет Ипатьевский список «Повести временных лет»: 10 февраля 6558 г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 143). Скорее всего, здесь, как и в случае с записью о

Портрет семьи Ярослава Мудрого
на ктиторской фреске Софийского собора.
Реконструкция В. Н. Лазарева: слева от Христа княгиня
Ирина с дочерьми; справа — Ярослав с сыновьями.

смерти самого Ярослава (см. ниже), использован сентябрьский стиль; следовательно, дата соответствует 10 февраля 1051 г. Софийская Первая летопись называет иную дату — 14 февраля (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 181). Наверное, можно предположить, что дата «14» («*id*») образовалась в результате неверного прочтения буквы «*d*» (в слове «день» под титлом) как цифры «4».

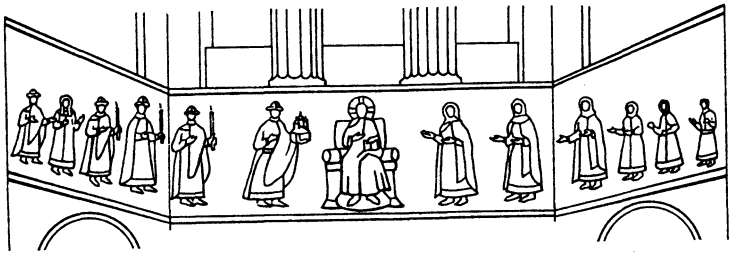
[4] В конце XVI в. в Киеве показывали иностранцам гробницу супруги Ярослава в Софийском соборе (см. прим. 28 к главе 3). О том, что «княгиня Ярославля» Ирина (в тексте ошибочно: Елена) «положена бысть в церкви Святыя Софии вкупе со своим мужем» сообщал и Иосиф Тризна (XVII в.) (*Кучкин В. А.* Княжеский помянник... С. 222). Однако относительно подлинности приписываемых Ирине-Ингигерд останков из гробницы Ярослава в Софийском соборе возникают серьезные сомнения: см. прим. 29 к главе 3. Там же и о «княгине Анне», похороненной в Новгородском Софийском соборе и причтенной в XV в. к лику святых. Память ее совершается 4 октября, вместе с памятью князя Владимира Ярославича, а также 10 февраля, в известный из летописи день кончины княгини Ирины-Ингигерд. (Получившее широкое распространение в литературе мнение Н. М. Карамзина о пострижении княгини Ирины в инокини с именем Анна в настоящее время отвергнуто.)

[5] Ктиторская фреска Софийского собора с изображением семьи князя Ярослава сохранилась лишь частично. На южной стене центрального нефа собора находится знаменитая ныне часть фрески, которая в 1935 г., при реставрации собора, была определена как изображение женской половины семьи Ярослава — его дочерей (этот вывод был подтвержден специальной реставрационной комиссией в 1957 г.). На противоположной северной стене центрального нефа в том же 1935 г. были обнаружены еще две фигуры, входящие в состав той же ктиторской композиции, — предположительно, изображающие сыновей князя Ярослава. Центральная же часть композиции, как выяснилось, располагалась на стенном проеме хоров, который был разобран при перестройке собора (от этой части фрески сохранились лишь два небольших фрагмента с изображением краев одежды). О содержании всей (или почти всей) фрески мы можем судить по сохранившейся в библиотеке Академии художеств в Петербурге копии конца XVIII в. с рисунка голландского художника Абрагама ван Вестерфельда, который побывал в Киеве в 1651 г. На рисунке изображены сам князь Ярослав и его супруга Ирина, а также некая фигура мужчины в царственном одеянии с нимбом над головой, предположительно изображающая отца Ярослава князя Владимира Святославича, которому Ярослав подносит модель выстроенного им храма. Как полагают, фигура Владимира появилась на фреске в XVII в., во время реставрации Софийского собора киевским митрополитом Пе-

Портрет семьи Ярослава Мудрого на ктиторской фреске Софийского собора. Реконструкция С. А. Высоцкого (1-й вариант): слева от Христа князь Владимир и князь Ярослав с сыновьями; справа — княгиня Ольга и княгиня Ирина с дочерьми.

тром Могилой: горячо почитавший святого Владимира и открывший его мощи в Киевской Десятинной церкви, Петр Могила поместил Владимира в центр всей композиции, на то место, где, судя по всему, должны были находиться либо Христос, либо Богородица, которым Ярославу и подобало подносить храм. (См.: *Каргер М. К.* Портреты Ярослава Мудрого и его семьи в Киевской Софии // Ученые записки ЛГУ. № 160. Серия исторических наук. Вып. 20. Л., 1954. С. 142—180; *Лазарев В. Н.* Групповой портрет семейства Ярослава — в кн.: *Лазарев В. Н.* Русская средневековая живопись. М., 1970 (впервые в: Византийский временник. Т. 15. М., 1959). С. 27—54.) Впрочем, это не единственное прочтение рисунка Вестерфельда. По-другому полагают, что святой Владимир и святая Ольга могли располагаться по обе стороны от Христа и выполнять роль своего рода небесных посредников между Ярославом и его супругой Ириной и Христом. (См.: *Висоцький С. О.* Про портрет родини Ярослава Мудрого у Софійському соборі у Києві // Вісник Київського університету. Серія історії та права. 1967. № 8; *он же.* Светские фрески Софийского собора в Киеве.) При этом, однако, нужно учитывать, что ни Владимир, ни Ольга к середине XI в. еще не были канонизированы, а потому их появление в такой роли на фреске вызывает определенные сомнения.

Предложенная М. К. Каргером и В. Н. Лазаревым и получившая широкое распространение реконструкция фрески Софийского собора (В. Н. Лазарев видит на ней пять дочерей и пять сыновей Ярослава, а также его самого и его супругу) имеет, однако, существенный недостаток. Дело в том, что на копии Вестерфельда Ярослав и его сыновья подходят к Христу слева, а супруга и дочери — справа, что полностью соответствует как византийским принципам построения подобных фресок (на которых император *всегда* подходит к Христу слева, т. е. под правую, благословляющую руку, а императрица — справа), так и правилам расположения христиан в православном храме (мужчины *всегда* стоят справа, в южной части храма, а женщины — слева, в северной; о том, что так было и в Киевской Софии, свидетельствует, помимо прочего, расположение женских граффити). (В. Н. Лазарев привел и обратные примеры — см. указ. соч. С. 37, прим. 28, но все они относятся к XIII в.; «на византийских мозаиках, эмалях и изделиях из слоновой кости, — отмечает исследователь, — василевс изображается всегда слева, а василисса — справа».) С. А. Высоцкий (указ. соч.) предложил другую реконструкцию ктиторского портрета: по его мнению, сохранившаяся часть фрески на южной стене центрального нефа собора (известная как портрет дочерей Ярослава) на самом деле изображает мужскую часть семьи, а именно сыновей князя; на северной же стене



Портрет семьи Ярослава Мудрого на ктиторской фреске Софийского собора. Реконструкция А. В. Поппэ: слева от Христа Ярослав с сыновьями и дочерью; справа — княгиня Ирина с дочерьми.

изображены не сыновья, а дочери (всего на фреске, по его мнению, 13 фигур: Христос, Владимир, Ольга, Ярослав, его супруга, четыре сына и четыре дочери). Эта реконструкция получила в последнее время поддержку ряда исследователей. При этом приходится учитывать наблюдение Г. Н. Логвина: во время многочисленных поновлений и реставраций настенной живописи в Софийском соборе в XVII—XX вв. изображения настолько пострадали и столько раз переделывались в зависимости от представлений реставраторов, что в настоящее время «стала невозможной достоверная атрибуция изображенных персонажей» (*Логвин Г. Н.* К истории сооружения Софийского собора в Киеве. С. 175—176). А. В. Поппэ, вопреки С. А. Высоцкому, категорически отвергает возможность размещения на фреске Владимира и Ольги, однако принимает мнение о том, что слева к Христу должен подходить князь Ярослав; согласно предложенной им реконструкции, за Ярославом следуют сыновья и дочь (третья по счету на сохранившейся части фрески), справа же от Христа изображены княгиня Ирина и пять ее дочерей (*Poppe A.* Kompozycja fundacyjna Sofii Kijowskiej. W poszukiwanu układu pierwotnego // Biuletyn historii sztuki. Warszawa, 1968. T. 30. № 1. S. 3—29). Наконец, Н. Н. Никитенко вообще не считает фреску ктиторской, но полагает, что на ней запечатлен обряд освящения собора и изображена семья князя Владимира Святославича, а вовсе не Ярослава (*Никитенко Н. Н.* Княжеский групповой портрет в Софии Киевской... С. 237—244).

[6] См.: *Лазарев В. Н.* Групповой портрет семейства Ярослава. С. 48—54.

[7] Помимо Ярослава древнерусские источники называют «царями» и некоторых других русских князей: Владимира Мономаха, его сына Мстислава Великого, киевского князя Изяслава Мстиславича, Андрея Боголюбского, Рюрика Ростиславича, Романа Мстиславича. По мнению ряда исследователей, можно думать, что появление этого титула связано именно с вмешательством отдельных князей в поставление киевских митрополитов, т. е. узурпацией ими прерогатив византийского императора (*Vodoff V.* Remarques sur la valeur du term "tsar" appliqué aux princes Russes avant le milleu du XV^{e} siecle // Oxford Slavonic Papers. New Series. Vol. 11. 1978. P. 38; *Толочко А. П.* Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. С. 135—138). В отношении Ярослава это предположение выглядит весьма правдоподобным.

[8] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 160; Т. 2. Стб. 149.

[9] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 240.

[10] См. прим. 112 к главе 10.

[11] См.: Сказания о начале славянской письменности. С. 78, 90 (Житие св. Константина), 117—119 (коммент. Б. Н. Флори); *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. С. 148—153 («Слово на пренесение мощей»); *он же.* Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. М., 1911 (Памятники христианского Херсонеса. Вып. 2). С. 108, 126 (Проложное сказание). Об этом же рассказывается в письме лично знавшего Константина Философа римского прелата Анастасия библиотекаря к Гаудериху, епископу Веллетрийскому (*Ягич И. В.* Вновь найденное свидетельство о деятельности Константина Философа, первоучителя славян св. Кирилла // Записки Имп. Академии наук. Т. 72. Кн. 1. Прилож. 6. СПб., 1893. С. 5—12) и в т. н. «Итальянской легенде» — переработке XII в. сочинения епископа Гаудериха об обретении и перенесении в Рим мощей св. Климента (Житие и перенесение мощей св. Климента / Изд. А. Е. Викторов // Кирилло-Мефодиевский сборник, изд. М. П. Погодиным. М., 1865. С. 327—341).

В отличие от А. В. Назаренко, который из рассказа епископа Роже делает вывод о том, что на Руси в середине XI в. было, по-видимому, неизвестно Житие св. Константина Философа (Западноевропейские источники. С. 354—355), я полагаю обратное: Роже воспользовался либо самим Житием первоучителя славян, либо другими указанными выше славянскими сочинениями, посвященными перенесению мощей, но неверно их понял. Более того, закрадывается подозрение: не из упоминания ли в этих памятниках имени Георгия, епископа Херсонесского, Роже сделал вывод о том, что сам князь Ярослав (Георгий) участвовал в перенесении мощей святого Климента?

[12] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 116; Т. 2. Стб. 101; НПЛ. С. 155; *Срезневский В. И.* Память и похвала князю Владимиру и его Житие... С. 7, 10; *Никольский Н. К.* Материалы для истории древнерусской духовной письменности. № I—XXIII. СПб., 1907. С. 14; *Карпов А. Ю.* «Слово на обновление Десятинной церкви»... С. 110. О том, что мощи св. Климента почитались на Руси уже при Владимире, бесспорно свидетельствует Титмар Мерзебургский, назвавший Десятинный храм «церковью мученика Христова папы Климента» (см. прим. 73 к главе 5). Так что свидетельство Роже Шалонского — вопреки мнению В. Г. Брюсовой (Русско-византийские отношения середины XI в. С. 57; Когда и где был поставлен митрополит Иларион? С. 45) — не может быть признано достоверным. Иногда на основании этого свидетельства полагают, что князь Ярослав мог участвовать в Корсунском походе своего отца (см., напр.: Киевская старина. Т. 10. Киев, 1884. С. 534 и след.), однако это противоречит показанию Тверской летописи о том, что Ярослав до крещения пребывал при матери (см. об этом в главе 1).

[13] См., напр.: *Богданова Н. М.* Церковь Херсона в X—XV вв. С. 37.

[14] *Карпов А. Ю.* «Слово на обновление Десятинной церкви»... С. 109; ср.: Златоструй. Древняя Русь X—XIII вв. С. 126 (перевод Ю. К. Бегунова). «Слово на обновление Десятинной церкви» представляет собой распространенную редакцию «Чуда святого Климента, папы Римского, о отрочати», известного в русских рукописях XIV—XVII вв. Памятник был составлен не ранее 1054 г. — поскольку князь Владимир назван в нем «праотцом» и «прародителем» ныне правящего князя, и не позднее конца 70-х гг. XII в. — поскольку читающаяся в нем похвала святому Клименту использована буквально в похвале князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому в статье 6683 г. Лаврентьевской летописи; см.:

«Слово на обновление»:	Лавр.:
«... не постави прекраснаго [солнца на едином месте, а оттуду с высоты вселеную просвещающе, но и въсток, и полудень, и до запад преходити ему, славно дарова на похвалу своему велелепному имени]. Тако и сего церковнаго солнца, своего угодника, нашего же заступника, святаго реку достойно священномученика Климента...» (указ. соч. С. 109).	«...не постави бо прекраснаго солнця на едином месте, а доволеюща и оттуду всю вселеную осьяти, но створи ему всток, полъдьне и запад. Тако и угодника своего Андрея князя...» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371).

[15] См. прим. 44 к главе 9 и прим. 58 к главе 11.

[16] Показательно, например, что число византийских золотых монет, датируемых XI в. и найденных на территории Руси, в десятки раз превосходит число подобных монет за предшествующее и последующее столетия, причем цифры оказываются очень впечатляющими: 140 экземпляров, датируемых XI в., при 8 экземплярах, датируемых X в., и 13 — XII в. (цифры на конец 60-х гг. XX в.; см.: *Кропоткин В. В.* Клады византийских монет на территории СССР. М., 1962. С. 13; *он же.* Новые находки византийских монет на территории СССР // Византийский временник. Т. 11. М., 1965. С. 166—168, 187; *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. С. 269).

[17] *Абрамович.* Жития. С. 19 («Чтение» преп. Нестора).

[18] Там же. С. 19—20.

[19] Там же. С. 60—63. Можно думать, что в основе чуда с узниками лежал реальный случай освобождения из-под стражи благодаря заступничеству святых Бориса и Глеба берестейского князя Ярослава Ярополчича: в 1101 г. он был схвачен своим дядей Святополком Изяславичем и приведен в Киев. «И молися о нем митрополит и игумени, и умолиша Святополка, и заводиша и́ у раку святою Бориса и Глеба, и сняша с него оковы, и пустиша и́» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 274—276; впрочем, спустя немного времени Ярослав Ярополчич бежал из Киева, был вновь схвачен Святополком и опять закован в железа; скончался он в заточении в августе 1102 г.). Вообще же вопрос о соотношении двух версий — «Чтения» и анонимного «Сказания» — именно в этом эпизоде решается исследователями совершенно по-разному; в одних случаях признается первичной версия Нестора, в других — анонимного автора, и в зависимости от этого делается вывод о взаимоотношении двух памятников. Н. Н. Воронин, например, полагал, что автор «Сказания» (предположительно, настоятель церкви святых Бориса и Глеба в Вышгороде, а позднее епископ Переяславля Южного Лазарь) сознательно перенес чудо об узниках, датированное Нестором княжением Ярослава, во времена князя Святополка Изяславича именно под влиянием схожих обстоятельств заточения и последующего освобождения князя Ярослава Ярополчича (*Воронин Н. Н.* «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор // Труды Отдела древнерусской литературы. 1957. Т. 13. С. 11—56).

[20] Псковские летописи. Вып. 2. С. 10; *Джаксон.* 2. С. 75, 157. Личность Хольти проясняется благодаря свидетельству одного из списков Саги об Олаве Трюггвасоне монаха Одда, который называет русского князя Владимира Святославича «отцом Ярицлейва, отца Хольти, отца Вальдимара (т. е. Владимира Мономаха), отца Харальда (т. е. Мстислава Владимировича), отца Ингибьёрг, матери Вальдимара, конунга данов (т. е. датского короля Вальдемара I)») (*Джаксон.* 1. С. 146).

[21] См., напр.: *Зимин А. А.* Правда Русская. С. 99—125.

[22] Как установлено исследователями, в завещании Ярослава в том виде, в котором оно передано в летописи, использовано 28-е вопрошание Анастасия Синаита, включенное в «Изборник» 1073 г. См.: *Franklin S.* Some Apocryphal sources of Kievan Russian History // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1982. Vol. 15. P. 11; *Толочко О. П.* Русь: держава і образ держави. Київ, 1994. С. 15.

[23] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 161—162; Т. 2. Стб. 149—151; НПЛ. С. 181—182. Ср. также в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Ярослав преставися... оставив наследьникы отца своего и приимьникы престола своего сыны своя Изяслава, Святослава и Вьсеволода, — управив им, яко же бе лепо: Изяслава — Кыеве, стареишаго, а Святослава — Чьрнигове, а Вьсеволода — Переяславли, а прокыя — по инем волостьм» (*Абрамович.* Жития. С. 55).

[24] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. XXV.

[25] НПЛ. С. 160 (под 989 г.), 469 (статья «А се по святем крещении о княжении Киевском»).

[26] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 173, 182—183.

[27] Там же. Стб. 216.

[28] По В. Н. Татищеву (Т. 2. С. 81, 83, 245, прим. 263), после смерти Ярослава его внук Ростислав Владимирович получил во владение Ростов и Суздаль — предположительно, согласно тому же завещанию Ярослава. Однако Новгородская Первая летопись называет эти города в уделе Всеволода Ярославича (см. выше, прим. 25), а «Повесть временных лет» не упоминает о каких-либо волостях Ростислава до 1064 г. — начала его княжения в Тьмуторокани. Впрочем, имя Ростислава, княжившего до этого во Владимире-Волынском, могло быть исключено из текста «Повести временных лет» по тем же причинам, по которым в большинстве списков отсутствует указание на Игоря Ярославича (см. выше, прим. 24).

[29] *Ключевский В. О.* Курс русской истории. Ч. 1. (Сочинения. Т. 1.) М., 1987. С. 182.

[30] *Пресняков А. Е.* Княжое право в Древней Руси. С. 34, 35—41. Здесь же исследователь показывает, что завещание Ярослава не стоит одиноко в истории славянских народов: оно схоже с установлениями, принимаемыми и в Чехии, причем практически одновременно с Русью (завещание князя Бржетислава I, 1055 г.), и, спустя 80 лет, в Польше («Тестамент» князя Болеслава III Кривоустого, 1138 г.).

[31] Там же. С. 43; см. также: *Толочко А. П.* Князь в Древней Руси... С. 31—35.

[32] *Юшков С. В.* Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М., 1939. С. 176.

[33] ПСРЛ. Т. 7. С. 333; Т. 39. С. 47. В более поздних летописях (напр., Никоновской, Степенной книге и др.) фраза «Изяславу тогда сущю...» была понята в том смысле, что Изяслав находился в Киеве вместе с отцом (ПСРЛ. Т. 9. С. 86; Т. 21. Ч. 1. С. 171). Так же полагал и В. Н. Татищев (Т. 2. С. 82). О присутствии Изяслава к моменту смерти отца в Киеве и о его участии в похоронах Ярослава можно вывести и из текста «Чтения о Борисе и Глебе» (см. след. прим.).

[34] *Абрамович.* Жития. С. 20.

[35] ПСРЛ. Т. 1. Стб.162; Т. 2. Стб. 150; Т. 38. С. 69; НПЛ. С. 182. 20 февраля как дату преставления Ярослава называют также Софийская Первая, Новгородская Четвертая, Никоновская и др. летописи (см., напр.: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 182; Т. 4. С. 118), а также Проложное сказание об освящении церкви Святой Софии (см. Приложения). В старой историографии (до открытия граффити из Софийского собора, о котором ниже) вопрос о дате смерти Ярослава активно обсуждался (см.: *Куник А. А.* Известны ли нам год и день смерти великого князя Ярослава Владимирови-

ча? СПб., 1896; *Шляков Н. В.* Восемьсот пятьдесят лет со дня кончины великого князя Ярослава I Мудрого (отд. оттиск из Журнала Министерства народного просвещения. 1907, июль). СПб., 1907), причем исследователи акцентировали внимание на противоречиях в датах, приводимых в разных летописях. Между тем противоречия эти, на мой взгляд, мнимые. Все основные привлекаемые летописные своды — Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивиловская и Новгородская Первая летописи — согласно датируют кончину Ярослава первой субботой Великого поста, известной также как Федорова суббота (в этот день Церковь празднует память св. Феодора Тирона); в двух случаях назван также месяц — февраль. Известие датировано 6562 г., однако в летописи использован не мартовский стиль (в этом случае февраль 6562 г. соответствовал бы 1055 г.), а сентябрьский, принятый в Византии, и, следовательно, дата соответствует февралю 1054 г. Действительно, первая (Федоровская) суббота Великого поста пришлась в 1054 г. на 19 февраля. Что же касается указания Новгородской Первой летописи на «[день] святаго Федора», то оно — вопреки мнению отдельных исследователей — имеет в виду, конечно, не календарную память святого Феодора Тирона (17 февраля), а ту же первую субботу Великого поста, т. е. отнюдь не противоречит датировке Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. Единственным действительным противоречием в датировке смерти князя Ярослава является дата 20 февраля, приводимая Ипатьевской летописью и (явно под ее влиянием) Проложным сказанием об освящении церкви Святой Софии и новгородско-софийскими летописями. Однако это внутреннее противоречие статьи Ипатьевской летописи, поскольку дата 20 февраля противоречит приведенному в той же летописной статье указанию на «субботу первой недели поста» (20 февраля 1054 г. соответствует воскресенью). После открытия киевского граффити стал ясен источник этой даты: очевидно, что она заимствована киевским летописцем из надписи на стене Софийского собора (см. о ней след. прим.).

В позднейших источниках приводятся и другие даты кончины князя Ярослава. Так, в Степенной книге царского родословия названо 24 февраля: «...в лето 6562 месяца февраля 24 день в первую суботу поста святыя великия четверодесятьницы» (ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 171). Под тем же числом память «благоверного великого князя Ярослава Владимировича Киевского» отмечена в Минеях Четьих Иоанна Милютина (1646—1654 гг.) (*Барсуков Н. П.* Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 583). Наверное, можно предположить, что дата 24 («*кд*») появилась в позднейших летописях в результате ошибочного прочтения буквы «*д*» в слове «день» (под титлом) как цифры 4 («*д*»). Устюжская летопись называет днем смерти князя Ярослава 17 февраля: «А преставися князь великий Ярослав Владимеровичь 6562, на память Феодора Стратилата (? — *А. К.*), февраля в 17 день» (ПСРЛ. Т. 37. С. 67, 28) (упоминание Феодора Стратилата — несомненная ошибка: его память празднуется 8 февраля и 8 июня; должно быть: «на память Феодора Тирона»). Последнюю дату принимают и некоторые исследователи (см.: *Зиборов В. К.* Киевские граффити и дата смерти Ярослава Мудрого (источниковедческий анализ) // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 11. Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1988. С. 80—94; исследователь находит дату «17 февраля» и в граффити Софийского собора). Однако источник ошибки авторов Устюжской летописи, кажется, ясен: указание на день «святаго Феодора Тирона» без точной даты (как, напр., в Новгородской Первой летописи) привел их к выводу, что князь Ярослав скончался 17 февраля, в календарный день памяти святого. Наконец, в XVII—XVIII вв. днем смерти князя Георгия (Ярослава) Владимировича считали 28 февраля — эта дата названа в выписках из ростовских святцев конца XVII в. Н. А.

Кайдалова, а также в «Книге глаголемой: Описание о российских святых» XVIII в. (*Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 3. М., 1997. С. 574—575).

Псковские летописи датируют смерть Ярослава 6567 (1059) г., причем в Псковской Первой летописи сообщается, что князь был похоронен в церкви Пресвятой Богородицы (т. е. Десятинной) в Киеве (Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 9; Вып. 2. С. 76). Эта ошибка, несомненно, появилась в связи с тем, что в 1059 г. был освобожден из заточения князь Судислав, о котором в тех же летописях говорится, что Ярослав «всади его в поруб в Плескове... до живота *своего*» (там же. Вып. 2. С. 74: Псковская Третья летопись).

[36] Надпись обнаружена выдающимся украинским археологом Сергеем Александровичем Высоцким. См.: *Высоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской. С. 39—41; *Рыбаков Б. А.* Запись о смерти Ярослава Мудрого // Советская археология. 1959. № 4. С. 245—249; *он же.* Русские датированные надписи XI—XIV вв. (Свод археологических источников. Е1—44.) М., 1964. С. 14—16. Прочтение Б. А. Рыбакова безусловно следует предпочесть прочтению, предложенному В. К. Зиборовым: «въ (лето) 6560 [марта] месяца февраря 17 усѣпение царя нашего въ Вышгороде въ суботу 1 недели поста на святаго Феодора» (Киевские граффити...). Исследователь высказывает сомнение в возможности предложенного Б. А. Рыбаковым чтения «въ въскрьсенье», отмечая, что в этом значении в древней Руси употреблялось слово «неделя». Это отчасти справедливо, хотя, например, преп. Феодосий Печерский в своем Послании князю Изяславу Ярославичу «о неделе» приводит оба названия как употребительные: «...неделя... наричется въскресный день» (БЛДР. Т. 1. С. 446). Во всяком случае, предложенный В. К. Зиборовым вариант: «въ Вышгороде» кажется менее удачным: для автора записи «успение» «царя нашего» Ярослава, несомненно, имело место в Киевском Софийском соборе (см. ниже).

[37] В свое время В. Н. Татищев (разумеется, не знавший киевского граффити) объяснял наличие в летописях двух дат — 19 и 20 февраля — тем, что князь Ярослав скончался в ночь с субботы на воскресенье (Т. 2. С. 245, прим. 261). Это мнение развивает и Б. А. Рыбаков (Русские датированные надписи... С. 15). Думаю, что предположение о том, что граффити Софийского собора называет дату *погребения* Ярослава, снимает кажущееся противоречие. В древней Руси слово «успение» означало не только собственно кончину, но и погребение, упокоение, соответствуя в этом значении греческому κηδεια (ср. *Дьяченко Г., прот.* Полный церковно-славянский словарь. М., 1993 (репринт). С. 762). Погребение на следующий день после смерти было, по-видимому, обычной практикой в древней Руси. Так, например, князь Всеволод Ярославич скончался 13 апреля 1093 г., а был похоронен (также в Софийском соборе) 14-го (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 215—216).

[38] ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 170—171.

[39] *Пуцко В. Г.* Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого // Byzantinobulgarica. Т. 8. София, 1986. Подобная практика известна в древней Руси: так, примеры переложения мощей из одной раки в другую и использования старой гробницы для нового захоронения в Новгородской Софии приведены В. Л. Яниным (Некрополь Софийского собора).

[40] *Рохлин Д. Г.* Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого. С. 46—57; *Гинзбург В. В.* Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд. См. также прим. 13 к главе 1.

[41] По мнению современного специалиста в области антропологической реконструкции С. А. Никитина, с большой степенью вероятности можно утверждать, что останки женщины в гробнице Ярослава принад-

лежат его близкой родственнице. См. прим. 29 к главе 3 и прим. 4 к настоящей главе.

[42] *Гинзбург В. В.* Об антропологическом изучении скелетов... С. 61—62.

[43] См.: *Молдован А. М.* Слово о законе и благодати Илариона.

[44] См. Приложения в конце книги.

[45] См., напр., ростовские святцы конца XVII в. в выписках Кайдалова или «Книгу глаголемую: Описание о российских святых» XVIII в. (*Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока. Т. 3. С. 574—575).

[46] *Барсуков Н. П.* Источники русской агиографии. С. 583. Ныне: ГИМ. Син. № 802.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЛОЖНОЕ СКАЗАНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ

Проложное сказание об освящении церкви святого Георгия издавалось неоднократно по различным спискам; см.: Максимович М. А. О построении и освящении киевской церкви святого Георгия // Киевлянин. Кн. 3. Киев, 1850. С. 66—67; Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2: Славяно-русский Пролог. Ч. 1. Сентябрь — декабрь / Изд. А. И. Пономарева. СПб., 1896. С. 58—59; Каргер М. К. Древний Киев. Т. 2. М.; Л., 1961. С. 234; Жуковская Л. П. Двести списков XIV—XVII вв. небольшой статьи как лингвистический и исторический источник (Статья Пролога о построении церкви во имя Георгия Ярославом Мудрым) // Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современность. Киев, 1987. С. 40. Ниже издается список Пролога 2-й (распространенной) редакции второй половины XIV в.: РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.). № 161. Л. 156, содержащий текст, несколько отличающийся от изданных ранее. Сказание читается в рукописи под 26 ноября.

Во тъ же день святаго мученика Георгия священье церкве его иже пред враты Святыя София.

Блаженыи приснопамятныи всея Руси Ярославъ князь, нареченыи святымь крещеньемь Георгии, сынъ Володимерь, крестившаго землю Русьскую, брат же святою мученику Бориса и Глеба, и въсхоте создати церковь во имя свое святаго Георгия, да еже въсхоте, и створи. И яко начаша сдати ю, и не бе у нея многа делатель. И се виде князь, призва тиуна и рече: «Почто не много делающихъ у церкви?» Тиунъ же рече: «Господине, понеже дело властельское есть, бояться, еда туне трудъ подимше, наима лишени будуть». И рече князь: «Да аще тако есть, то азъ сице створю», и повеле возити куны на возехъ и в комары Золотыхъ воротъ. И възвестиша на торгу людемъ, да возметь кождо по ногате на день, и бысть множьство делающихъ, и тако вскоре коньчаша церковь. И святи ю митрополитомь Лариономь месяца ноября 26 день, и створи въ неи настолованье новоставимымъ епископомь, и заповеда по всеи Руси творити память празника святаго Георгия месяца ноября въ 26 день.

ПРОЛОЖНОЕ СКАЗАНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ СОФИИ

Проложное сказание об освящении «великой церкви Святая София, иже в Руси», издавалось неоднократно; см.: Куприянов И. К. Обозрение пергаменных рукописей Новгородской Софийской библиотеки // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. 6. СПб., 1857. Отд. В. С. 305; Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X—XIV вв.) // Там же. Т. 10. СПб., 1863. С. 670—671;

Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2. Ч. 1 / Изд. А. И. Пономарева. С. 190—191 (во всех случаях по пергаменному Прологу Новгородско-Софийской библиотеки XIII—XIV вв.; ныне: РНБ. Соф. № 1325. Л. 42 об.). Это сказание очень близко по тексту к летописной статье 1037 г. и, можно думать, в своей основной части заимствовано из летописи. Ниже издается список Проложного сказания по Прологу 1-й (краткой) редакции на сентябрь — февраль середины XIV в.: РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.). № 155. Л. 57 об. — 58, привлекавшийся в разночтениях к изданию А. И. Пономарева. Сказание читается в рукописи под 4 ноября.

Въ тъ же день священие Святыя Софьи, иже в Руси, юже созда благоверныи князь Ярославъ.

Святая Софии великая церкы священа бысть, юже бе создалъ благоверныи князь Ярославъ и митрополию Святеи Софьи створи и посемь церковь на Златыхъ вратехъ Святыя Богородица Благовещение, иже бе заложилъ град великыи, рекомыи Киевъ, и посемь Святаго Георгия манастырь, тако бо въ крещении наречено имя ему Георгии, тем же во имя свое созда церковь, и Святыя Ириньи церковь созда, яже число лет бысть от начала миру 6500 и 45 (*1037*). И при семь нача вера крестьяньская плодитися и раширяти, и черноризци начаша множитися, и манастыреве начаша быти. Бе Ярославъ любя церкви, и прозвутеры любя повелику, излиха черноризци бе любя, и книгамъ прилежа, и почиташе часто в нощи и въ день, и собра писци многы, и прекладаше от гречьскыхъ книгъ на словеньское писмя, и списа книгы многы, ими же поучающеся вернии людие, наслажающеся божества. Яко се разореть некто землю, другыи же насееть ю, инии же пожинають, ядять пищю неоскудную. Отець бо сего Володимиръ землю разоравъ и омякчи, рекше крещениемь просвети, сии же насея книжными словесы сердце верныхъ людии, а мы пожинаемъ, учение приемлюще книжное. Велика бо полза бываеть от учения книжнаго, книгами бо кажеми и учими есмы пути покаяния, и радость духовную обретаемъ, и въздержаниемь // (*л. 58*) словесъ неполезных. Се бо суть рекы, напаяющи всю вселеную, се суть исходящая мудрости; иже бо книжная словеса часто почитають, то беседують с Богомь или съ святыми мужи, и почитая пророческыя беседы, евангельская учения и апостольская и святыхъ отець, въсприемлеть ползу душа велику. Сии же князь любимъ бе книгамъ и списавъ положи въ Святеи Софьи, юже создалъ и украси златомь, и сребромь и съсуды церковными, и ставя прозвутеры и дьяконы, и дая имъ от имения своего, веля имъ учити люди и приходити часто къ церквамъ. И радовашеся Ярославъ, видя многы церкви и люди крестьяны зело, а врагъ сетовашеся, побежаемъ новыми людми крестьяньскыми. И тако пожи въ благочестьи и предасть душю свою Господеви месяца февраля въ 20. И бысть всихъ лет Ярославль 60 и 6.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

Не ранее 980 — рождение.

989 — принятие крещения в Киеве с именем Георгий.

После 989 — отъезд в Ростов. Начало ростовского княжения.

1000 — смерть матери.

1010 (?) — смерть старшего брата Вышеслава. Переход на княжение в Новгород.

1014 — отказ от уплаты ежегодной дани в Киев. Новгородский мятеж.

1015, 15 июля — смерть отца. Начало княжения в Киеве Святополка Ярополчича (Владимировича).

24 июля — гибель Бориса Владимировича.

Конец июля — начало августа — избиение варягов в Новгороде. Расправа Ярослава с новгородцами на Ракоме. Тайное известие от Предславы о событиях в Киевской земле. Примирение с новгородцами. Принятие «Русской Правды».

5 сентября — гибель Глеба Владимировича.

Конец 1015 — первая половина 1016 — гибель Святослава Владимировича.

1016, осень — начало зимы — победа Ярослава над Святополком у Любеча.

1017, начало года — вступление Ярослава в Киев.

Весна — отражение печенежского набега на Киев. Пожар в Киеве. Переговоры с императором Генрихом II.

Август-сентябрь — поход к Берестью. Начало войны между Ярославом и Болеславом I Польским.

1018, июль — вторжение Болеслава на Русь.

22 июля — поражение Ярослава на Буге. Бегство к Новгороду.

14 августа — Болеслав и Святополк вступают в Киев.

Осень — отказ Ярослава от переговоров с Болеславом. Посольство в Швецию к конунгу Олаву Шётконунгу с предложением о союзе и династическом браке.

1019, весна — поход Ярослава к Киеву. Бегство Святополка в Печенежскую землю.

Лето (?) — женитьба Ярослава на Ингигерд (Ирине), дочери Олава Шётконунга. Поход печенегов на Киев. Победа Ярослава над Святополком и печенегами на реке Альте.

1020 — рождение сына Владимира.

1021 — война с полоцким князем Брячиславом Изяславичем. Расправа в Новгороде с посадником Константином Добрыничем*.

1022 — поход Ярослава на Берестье.

1024 — голод и языческие выступления в Суздальской земле. Расправа Ярослава с волхвами.

Война с князем Мстиславом Владимировичем Тьмутороканским. *Осень* — поражение Ярослава в Лиственской битве. Бегство в Новгород. Рождение сына Изяслава.

1026 — Городецкий мир с Мстиславом. Раздел Руси на два княжения.

---

* По разным летописям датируется 1019 или 1020 годом. Отнесена ко времени после захвата Новгорода князем Брячиславом предположительно.

1027 — рождение сына Святослава.

1029 — поход Ярослава на ясов (?).

1030, начало января — Ярослав оказывает помощь Олаву Харальдссону. Сын Олава Магнус усыновлен князем.

Поход на Белзы и взятие города. Ярослав в союзе с императором Конрадом II оказывает помощь польскому князю Бесприму (или Оттону?) в его борьбе за польский престол.

Рождение сына Всеволода.

Поход на чудь. Основание Юрьева в Чудской земле (нынешний Тарту).

Устроение училищ в Новгороде.

1031 — совместный поход Ярослава и Мстислава на Польшу. Присоединение Червенских градов к Русскому государству.

1032 — начало строительства городов на реке Роси. Основание Юрьева на Роси.

1034—1035 — Ярослав оказывает помощь Магнусу Олавссону в его борьбе за норвежский престол

Около 1034—1035 (?) — рождение сына Игоря.

1036 — смерть князя Мстислава Владимировича*.

Поездка Ярослава в Новгород: Ярослав сажает на новгородский престол сына Владимира и добивается поставления на кафедру епископа Луки Жидяты*.

Рождение сына Вячеслава.

Заточение брата Судислава Псковского.

Нашествие печенегов на Киев. Победа Ярослава над печенегами в битве у Киева.

1037 — летописная похвала Ярославу. Строительство новой киевской крепости, Софийского собора, ряда монастырей. Переводческая деятельность «кружка Ярослава»**.

1038 — поход на ятвягов. Рождение первого внука Ярослава — Ростислава Владимировича.

1039 — освящение Киевской Десятинной церкви митрополитом Феопемптом.

Заключение союза с польским князем Казимиром, женитьба Казимира на Марии-Добронеге, сестре Ярослава.

1040 — поход на литву.

30 ноября — посольство Ярослава прибыло к германскому королю Генриху III.

1041 — поход на Мазовию против мазовецкого князя Моислава.

1042 — поход князя Владимира Ярославича на емь.

25 декабря — посольство Ярослава к Генриху III: неудачное завершение переговоров о династическом союзе.

1043 — война с Византией. Неудачный поход князя Владимира Ярославича на Царьград.

Второй мазовецкий поход Ярослава (?).

Женитьба сына Ярослава Изяслава на сестре польского князя Казимира Гертруде (Олисаве)***.

---

* По сведениям некоторых летописей, 1034 год.

** Разумеется, все эти события отнесены летописью к 1037 году лишь условно.

*** Дата условная.

1043/44, зима — женитьба Харальда Сигурдарссона на дочери Ярослава Елизавете. Ярослав оказывает политическую помощь Харальду в его борьбе за норвежский престол.

1044 — крещение останков князей Ярополка и Олега Святославичей и перенесение их в Киевскую Десятинную церковь.

Второй поход Ярослава на литву.

Ярослав присутствует в Новгороде на закладке новгородских укреплений.

Смерть князя Брячислава Изяславича Полоцкого.

1045 — закладка Новгородской Софии князем Владимиром Ярославичем.

Ранее 1046 — женитьба венгерского принца Андрея на дочери Ярослава Анастасии. Ярослав оказывает военную помощь Андрею в его борьбе за венгерский престол.

1046 — заключение мира с Византийской империей.

После 1046 — женитьба сына Ярослава Всеволода на дочери византийского императора Константина IX Мономаха (предположительно Марии).

1047 — третий (?) поход в Мазовию. Разгром мазовецкого князя Мойслава.

1048 — прибытие в Киев посольства из Франции с предложением заключить династический союз. Беседа Ярослава с епископом Роже Шалонским относительно судьбы мощей святого Климента Римского.

Конец 40-х годов — Иларион Киевский произносит «Слово о законе и благодати».

Начало подвигов преподобного Антония Печерского в берестовской пещере.

1050 — завершение строительства Новгородского Софийского собора.

10 февраля — кончина княгини Ирины, супруги Ярослава*.

1051, весна — бракосочетание короля Генриха Французского и дочери Ярослава Анны**.

Поставление Илариона на киевскую митрополию в обход прав Константинопольского патриархата.

1051—1053 — освящение Киевской церкви святого Георгия. Составление «Устава князя Ярослава о церковных судах».

Около 1052 (?) — возведение вышгородской церкви во имя святых Бориса и Глеба (или святых Романа и Давида). Установление местного церковного прославления святых братьев***.

Приход в Киев «демественников-певцов» из Греческой земли.

1052, 4 октября — кончина старшего сына Владимира в Новгороде. Передача новгородского княжения следующему по старшинству сыну Изяславу.

1053 — рождение внука Владимира (Мономаха).

1054, 19 февраля — кончина князя Ярослава Владимировича в Вышгороде.

20 февраля — погребение в Киевском Софийском соборе.

---

* Возможно, 10 февраля 1051 года.

** По-другому, в 1049 году.

*** Дата выведена искусственно; иначе эти события датируют первой половиной киевского княжения Ярослава.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аба Шамуэль, венг. 338, 341, 520
Абрамович Д. И. 460, 464, 465, 471, 472, 474, 478, 479, 485, 489, 492, 502, 529, 536—539, 543, 554, 555
Абу-л-Фарадж (Бар Гебрей) 360, 369, 524
Авель, библ. 174
Аверинцев С. С. 310, 513, 514
Авимелех, сын Гедеона, библ. 177, 477
Авимелех, царь филистимлянский, библ. 477
Авраам, библ. 404
Авраамий Ростовский, преп. 42, 466
Агарь, библ. 540
Агата, племянница имп. Генриха III 171
Агнесса де Пуатье, жена имп. Генриха III 340
Агнесса, жена некоего Генриха, франц. 531
Адальберт (Войтех), еп. Пражский, св. 135, 330
Адам Бременский 160, 170, 300, 487, 488, 528, 529
Адельгейда, дочь Анастасии Ярославны (?) 529
Адемар Шабаннский 321, 517
Азария, библ. 395
Айналов Д. В. 477, 511, 529, 541
Акентьев К. К. 513—515, 540, 541
Аким, новгородец 388
Александр Македонский 256, 314, 315
Александр II, папа 384
Александр Ярославич Невский, св. 233
Александра, жена кн. Владимира Ярославича (?) 288, 470, 507
Алексеев А. А. 540
Алексеев Л. В. 491, 492
Алексеев М. П. 488
Алексей Михайлович, царь 546
Алексей Студит, патр. Константинопольский 421, 524
Алешковский М. Х. 468, 475, 477, 531, 536, 539
Алиенора, жена графа Рауля де Крепи де Валуа 384
ал-Хайсам бен Маймун, дербендец 269
Альберт Штаденский 529
Альвива, наложница Кнута Великого 247
Альвильд (Альвхильд), мать Магнуса Доброго 244
Анания, библ. 395
Анастас Корсунянин 62, 63, 157, 158, 325, 485
Анастасий Синаит 555
Анастасий библиотекарь 553
Анастасия, жена кн. Мстислава Владимировича 213
Анастасия Ярославна 339, 380, 381, 436, 529, 563
Анастасия, жена кн. Всеволода Ярославича (?) 527
Андрей, апостол 373
Андрей (Эндре), венг. 338, 339, 341, 380, 381, 529, 530, 563
Андрей Юрьевич Боголюбский, св. 40, 41, 507, 552—554
Андрей (Афанасий), митр. Московский 31
Анна, жена кн. Владимира Святославича 13, 20, 21, 26, 30, 31, 52, 55, 89, 287, 335, 343, 373, 383, 459, 471, 472, 499
Анна, жена кн. Ярослава Владимировича (?), св. 67, 469, 470, 486, 534, 550
Анна Ярославна 316, 318, 381—385, 436, 516, 530, 531, 563
Анна, жена кн. Всеволода Ярославича (?) 526, 527
Анна Всеволодовна — см. Янка (Анна)
Антиох, автор «Пандектов» 316
Антоний Печерский, св. 230, 336, 410—415, 417, 420, 542—545, 563
Арнвид Слепой 229
Артынов А. Я. 40, 464
Арциховский А. В. 508
Аскарийа (Аскуйа), сын Фадла, эмира Аррана 268
Аскольд 121
Асткелль (Аскель) 99
Астрид, жена Олава Шётконунга 487
Астрид, жена Олава Святого 168, 244, 250, 253, 487, 490, 500
Астрид, мать Свейна — см. Маргарет-Эстред

Атталиат— см. Михаил Атталиат.
Аттила 18
Афанасий Афонский, св. 411
Африкан, варяг 229, 230. 498,499

Баграт IV, груз. 525
Байер Г. З. 498
Бар Гебрей — см. Абу-л-Фарадж
Барди Гудмундссон 498
Барсов Н. П. 500
Барсуков Н. П. 556, 558
Батюшков К. Н. 375, 528
Баумгартен Н. А. 508, 535
Бегунов Ю. К. 513, 553
Бейлис В. М. 503
*Белецкий А. А.*513
Белицкая А. 541
Бенедикт VIII, папа 485
Бенедикт IX, папа 331, 335
Бенешевич В. Н. 535
Бережков Н. Г. 531, 532, 534
Берлин И. З. 484
Бернхард, маркграф саксонский 502
Бесприм, польск. 258—260, 262, 263, 502, 517, 562 (?)
Бибиков М. В. 473, 509, 521, 544
Биленкин В. 537
Блуд 127, 149, 463
Богданова Н. М. 526, 530, 553
Бодуэн, граф фландрский 384
Болеслав I Великий, польск. 32, 53, 63, 67—70, 77, 90, 94, 102, 103, 113, 122, 130, 134—165, 167, 168, 171—173, 176, 178, 202, 203, 258—261, 264, 325, 329—331, 334, 476, 481—486, 488, 489, 501, 511, 518, 561
Болеслав Забытый, польск. 259, 261, 264, 328—330, 517, 518
Болеслав II Щедрый (Смелый), польск. 153, 334, 335, 380, 448, 486
Болеслав III Кривоустый, польск. 555
Болеслав II, чеш. 135
Болеслав III Рыжий, чеш. 259
Болуш, половец. 299
Борис Владимирович, св. 15, 23, 30, 31, 38, 40, 46, 54, 71—74, 76, 81, 87, 89—113, 121, 174, 175, 178, 204, 225, 329, 396—401, 408, 422, 442, 450, 452, 458, 464, 471, 472, 474—479, 487, 535—539, 548, 554, 559, 561, 563
Борис Всеславич, кн. 192, 401
Борис Вячеславич, кн. 381, 401
Борис Жидиславич, боярин 507
Боян 221
Браун Ф. А. 499
Бржетислав I, чеш. 203, 330, 331, 339, 340, 555
Брунак, литов. (?) 526
Брюсова В. Г. 521, 522, 525—527, 531, 533, 534, 545, 546, 548, 553
Брячислав Изяславич, кн. 16, 53, 117, 121, 180, 181, 189—202, 227, 241, 386, 476, 484, 488, 491, 492, 498, 539, 561, 563
Бубрих Д. В. 501
Бугославский (Бугославський) С. А. 460, 463, 464, 471—475, 478, 480, 481, 484, 485, 489, 492, 507, 538, 543
Буды (Будый) 32, 63, 64, 127, 146—149, 463
Буланин Д. М. 515
Буланина Т. В. 466
Бурицлав 98—101, 103, 104, 117, 120, 127, 132, 178, 476, 492. См. также Святополк Ярополчич (Владимирович); Борис Владимирович; Болеслав I Великий
Буров В. А. 289, 473, 508
Бычков А. Ф. 468
Бьёрн Окольничий (Бьёрн Толстый) 166, 245, 275
Бьёрн, исл. 498
Бьёрн, исл., спутник Эймунда 99, 100
Бьёрн, норвежец 250, 251

Вальгар, дат. 171
Вальдамар, новгородец 247, 248. См. также Владимир Ярославич
Вальдемар I, дат. 554
Вальдимар — см. Владимир Святославич; Владимир Ярославич
Вальдимар, участник экспедиции Ингвара 354, 365, 366. См. также Владимир Ярославич
Варвара, св. 273
Варда Склир 20, 373
Варда Фока 20, 351
Варлаам, иг. Печерский, св. 380, 412, 522, 543, 545
Вартилав — см. Брячислав Изяславич
Варфоломей, апостол 454
Варяжко, воевода Ярополка Святославича 173

Василий II Болгаробойца, имп. 20, 21, 158, 159, 161, 214, 235, 335, 342, 351, 369, 455, 485, 495
Василий II Васильевич Темный, вел. кн. 225
Василий Великий, св. 106, 454
Василий Новый, св. 315
Василий Вайоаннис, катепан 485
Василий Склир 373
Василий Феодорокан, магистр 362, 363, 365, 367
Василиск, св. 434
Васильев М. А. 462
Васильевский В. Г. 298, 499, 509, 527
Василько Ростиславич, кн. 229
Велецкая Н. Н. 494
Вера, св. 462
Вернадский Г. В. — см. Vernadsky G.
Вертнер М. —см. Wertner M.
Веселовский С. Б. 522
Вестерфельд Абрагам, ван 550, 551
Викторов А. Е. 553
Вильгельм Завоеватель 487
Випо (Випон) 259, 260, 262, 263
Виссавальд, конунг 17, 461. См. также Всеволод Владимирович
Владимир Всеволодович Мономах 83, 225, 230, 280, 318, 373, 414, 437, 438, 484, 527, 537, 552, 554, 563
Владимир Святославич, св. 5, 9, 11—23, 25—27, 29—31, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 52—58, 61—77, 80, 81, 87—90, 92—94, 105—109, 112, 117, 118, 121, 124, 139, 148, 154, 155, 157, 159—161, 164, 169, 173, 179, 181, 190, 202, 210—212, 214, 216, 217, 224, 226, 235, 239, 242, 254, 264, 265, 271, 280, 281, 287, 289, 293, 297, 298, 309, 311, 312, 314, 321, 324, 326, 331, 351, 373, 376, 383, 389, 390 (?), 393, 394, 396, 401, 407—409, 414, 415, 420, 422, 424, 429, 436, 438, 440, 445, 447, 451, 454—458, 459, 463, 464, 466, 469, 471, 472, 474—477, 479, 482, 487, 495, 498, 499, 502, 512, 513, 515, 526, 527, 535—537, 539—542, 548, 550—554, 559, 560
Владимир Ярославич, св. 67, 181, 182, 185, 186, 248, 257, 284, 286—289, 317, 318, 328, 348, 350—357, 359, 361, 365—371, 385—392, 432, 435, 436, 438, 445, 469—471, 486, 488, 501, 504—508, 521, 522, 524—526, 531, 533, 534, 550, 561—563
Владислав-Герман, польск. 334, 335
Власий, еп. Севастийский, св. 48
Влодарский Б. 518—520
Володарь Ростиславич, кн. 229
Волчий Хвост 124, 125, 148
Воронин Н. Н. 49, 186, 187, 466, 467, 490, 554
Востоков А. Х. 527
Вратислав, чеш. 335
Всеволод Владимирович, кн. 14—17, 30, 461
Всеволод Мстиславич, св. 504
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, кн. 466
Всеволод Ярославич, кн. 183, 229, 230, 242, 277, 294, 299, 318, 352, 373, 386, 398, 401, 419, 436, 437, 444—448, 450, 451, 453, 458, 505, 508, 512, 526, 527, 555, 557, 562, 563
Всеслав Брячиславич, кн. 192, 194, 200, 299, 386, 390, 401, 449, 450, 540
Всеслав Изяславич, кн. 16, 30, 53, 190
Высоцкий С. А. (Висоцький С. О.) 511—513, 528, 545, 549, 551, 552, 557
Вышата, отец Яня 351—353, 366, 368, 369, 371, 522, 523, 526
Вышата Жирятинич 522
Вышата Остромирич 288, 353, 522, 523
Вышеслав Владимирович 15, 16, 27, 30, 31, 53—55, 63, 561
Вячеслав (Вацлав), чеш., св. 292
Вячеслав Ярославич, кн. 277, 292, 293, 381, 401, 444—447, 449, 504, 505, 562

Гага — см. Георгий (Гага?)
Гадло А. В. 495—497, 502, 503
Гайдуков П. Г. 469, 517
Галл Аноним 142—149, 151, 153—155, 159, 172, 258, 259, 329, 331, 337, 338, 481—484, 486, 489, 501, 518—520
Гарда-Кеттиль 99, 354, 365, 366
Гауденций, еп., польск. 330
Гаудерих, еп. Веллетрийский 553

Гедеон, библ.177, 477
Гейденштейн Рейнольд 511
Геннадий, архиеп. Новгородский, св. 510
Генрих II, имп. 70, 90, 103, 113, 136—140, 142, 158, 259, 482, 485, 561
Генрих III, имп. 171, 260, 331, 339—341, 374, 421, 508, 562
Генрих I, франц.316, 318, 381—384, 438, 530, 563
Георгий, великомученик, св. 23—25, 28, 45, 64, 171, 210, 275, 308, 422—424, 444, 462, 472
Георгий, митр. Киевский 322, 323, 398, 450, 548
Георгий, еп. Херсонесский 439, 553
Георгий Амартол 177, 314, 513
Георгий Кедрин 509, 521, 524
Георгий Маниак 344, 346—350, 358, 359,
Георгий Мтацминдели (Георгий Афонский), св. 546
Георгий Синкелл 314
Георгий Угрин, св. 96, 104, 112
Георгий Шимонович, тысяцкий 230
Георгий Цула, архонт 214—216, 495
Георгий (Гага?), новгородец 391, 534
Герасим, иг. афонский 410
Герасимов М. М. 456
Гертруда-Олисава (?), жена кн. Изяслава Ярославича 318, 336, 518, 528, 529, 562
Гизела, жена Иштвана I 113
Гимбут, литов. 332, 491
Гинзбург В. В. 461, 462, 469, 470, 557, 558
Глазырина Г. В. 467, 487, 491, 500, 528
Глеб Владимирович, св. 15, 23, 30, 37, 38, 71—73, 81, 90, 101, 103, 105—113, 121, 174, 189, 204, 223, 297, 396—401, 408, 422, 442, 450, 452, 458, 464, 471, 472, 476, 478, 479, 487, 492, 493, 535—539, 548, 554, 559, 561, 563
Глеб Всеславич, кн. 401
Глеб Святославич, кн. 217, 256, 381, 401, 478
Глинская Анна, княгиня 494
Годехард, еп. Хильдесхаймский 502
Головко А. Б. 471, 475, 484, 501, 502
Голубовский П. В. 537
Голубинский Е. Е. 319, 516, 545
Гордиенко Э. А. 468
Горский А. В., прот. 539
Горясер 111, 112
Гослен из Шони, франц. 381, 382
Гостомысл 469
Гостята, новгородец 257
Готье, еп. Мо, франц. 381, 382
Грабар А. Н. 509
Грабский А. Ф. (Grabski A. F.) 475, 485
Греков Б. Д. 494
Гренберг Ю. И. 533
Григорий Богослов, св. 395
Григорий VII, папа 380
Григорий, диакон, писец 287, 288, 317, 320, 435, 522
Григорий, «творец канонов», св. 547
Григорий, чудотворец печерский, св. 319
Груневег Мартин 511
Гуго Вермандуа, франц. 383
Гудлейк Гардский 166
Гуревич А. Я. 469

Давид, библ. 310, 311, 397, 409, 478
Давид, стратиг Самоса 236
Давыд Всеславич, кн. 401
Давыд Игоревич, кн. 381, 401, 447
Давыд Святославич, кн. 381, 401, 529
Давыд, венг. 380
Даниил, митр. Московский 418
Данилевский И. Н. 469, 475—477, 510, 542
Даркевич В. П. 463
Демин А. С. 498
Демьян, новгородец 286
Демьянов В. Г. 472
Дерягин В. Я. 541
Джаксон Т. Н. 461, 467, 475, 476, 479—481, 487, 488, 490—492, 497—501, 521, 528, 554
Диоклетиан, имп. 23
Дионисий, митр. Московский 475
Дир 121
Длугош Ян 76, 143, 150, 152, 161, 175, 194, 335, 336, 351, 472, 484, 485, 491, 492, 519—521, 529
Дмитриев Л. А. 474, 498, 539, 545
Дмитриева Р. П. 464

Дмитрий Халкей, инок афонский 544
Добромир, кн. славянский 258
Добрыня Малъкович 12, 27, 63, 468, 469
Дорн Б. А. 523, 524
Достоевский Ф. М. 415
Дригалкин В. І. 469, 470
Дробленкова Н. Ф. 475
Дрюон М. 531
Дубов И. В. 43, 463, 464, 466, 467
Дудика, холоп 286, 287, 430
Дьяконов М. А. 486
Дьяченко Г., прот. 557

Евгений (Болховитинов), митр. 545
Евпраксия, жена князя Всеволода Ярославича (?) 527
Евпраксия (Адельгейда) Всеволодовна 527
Евсеев И. Е. 507
Евстафий Плакида, св. 502
Евстафий Мстиславич, кн. 213, 267, 270, 277, 488, 502, 504, 505
Евтропий, св. 434
Евфимий II Вяжищский, архиеп. Новгородский 67, 392, 469
Елена, мать Константина Великого, св. 388, 389, 391, 395, 533
Елизавета, св. 528
Елизавета (Эллисив) Ярославна 341, 345, 370, 374—379, 386, 436, 528, 563
Елисава, царевна 24
Еловит (Елович) 94
Епифаний Кипрский, св. 395
Ефрем, митр. Киевский 286, 312, 322, 323, 429, 430, 436, 514
Ефрем, митр. Переяславский, св. 323, 380, 412, 545
Ефрем, ученик Иоакима Корсунянина 274, 285, 317, 471, 503
Ефрем Новоторжский (Угрин), св. 96, 475, 538

Жеффрей Гаймар, англ. 171
Живов В. М. 503
Жижка Ян 229
Жузе П. 524
Жуковская Л. П. 316, 510, 515, 559

Забава Путятична, былин. 376
Забелин И. Е. 489
Закжевский Ст. — см. Zakrzewski S.
Закревский Н. 546
Зализняк А. А. 273, 501, 503
Захария Копыстенский 517, 522, 545
Зиборов В. К. 556, 557
Зимин А. А. 86, 473, 474, 484, 508, 555
Зинислав, кн. Русский (?) 298, 506. См. также Судислав Владимирович
Зонара — см. Иоанн Зонара
Зотов Р. В. 495, 529
Зоя, имп. 343—346, 350,

Иаков, библ. 404
Иаков, апостол 408
Иаков мних 393, 408
Иаков, черноризец 427
Ибн ал-Асир 357, 363, 368, 369, 524
Ибрагим Ибн Якуб 483
Иван III Васильевич, вел. кн. 288
Иван IV Васильевич Грозный 31, 279, 469
Иван Творимирич 352, 365, 522
Иван — см. Иоанн
Иванов Вяч. Вс. 467
Иванов С. А. 503
Игнатия, монахиня 547
Игорь Старый, кн. 17, 54, 80, 356, 363, 370, 396, 407
Игорь Ярославич, кн. 277, 381, 401, 444, 447, 449, 504, 555, 562
Идар, адыг. 221
Изяслав Владимирович, кн. 12—16, 30, 31, 53, 190, 459
Изяслав Мстиславич, кн. 322, 552
Изяслав Ярославич, кн. 55, 153, 237, 238, 284, 287, 294, 299, 318, 319, 336, 379, 380, 386, 392, 398, 401, 412, 430, 431, 435, 436, 444—451, 499, 505, 507, 508, 518, 522, 528, 537, 539, 543, 555, 557, 561—563
Иларион (Ларион), митр. Киевский 25, 286, 292, 306, 308, 309, 311, 312, 317, 318, 320, 322, 326, 396, 401—410, 412, 414—424, 428—431, 435, 437, 454, 455, 457, 465, 510, 530, 536, 537, 539—542, 545—549, 559, 563
Иларион, еп. Ростовский 40, 41, 465, 466
Иларион (Ларион), инок печерский, св. 431, 549
Ильин Н. Н. 475, 477, 483, 486, 489, 492, 509

Илья Ярославич, кн. (?) 67, 182, 186, 470, 471, 487, 488, 490, 491
Илья Муромец, былин. 219
Ингвар Путешественник 353, 354, 364—366, 523
Ингибьёрг, дочь кн. Мстислава Владимировича 554
Ингигерд — см. Ирина, жена Ярослава Владимировича.
Ингигерд, дочь Елизаветы Ярославны 379
Иоаким Корсунянин, архиеп. Новгородский, св. 61—63, 273, 274, 284, 285, 503
Иоанн Предтеча, св.324, 517
Иоанн Богослов, св. 42, 403, 407
Иоанн Златоуст, св. 316, 395, 408
Иоанн I, митр. Киевский 156, 157, 322, 397, 401, 485, 536, 537
Иоанн II, митр. Киевский 323, 427, 537
Иоанн Зонара 523
Иоанн Мавропод 527
Иоанн Малала 314
Иоанн Милютин 457, 556
Иоанн Скилица 214, 216, 235, 297, 348, 349, 352, 353, 356—363, 365, 367—369, 495, 499, 506, 509, 521, 523—525
Иоанн Цимисхий 65, 212
Иоанн, отец иг. Варлаама 380, 412, 522, 543
Иоанникий, иг. афонский 544
Иосиф Верещинский, еп. 309
Иосиф Тризна 527, 550
Иосиф Флавий 314
Ипполит Римский, св. 510
Ирина (Ингигерд), жена Ярослава Владимировича 67, 165—170, 180, 182—185, 197—202, 238, 241, 244—250, 255, 275, 288, 340, 345, 354, 377, 409, 423, 435, 436, 456, 469, 470, 480, 487, 488, 490, 539, 540, 549—552, 561, 563
Ирина Всеволодовна 527
Ирина (Кунигунда), жена кн. Ярополка Изяславича 318, 380
Ирод, библ. 177
Исаак, библ. 404
Исайя, еп. Ростовский, св. 41, 42, 465
Искал, половец. 299
Истрин В. М. 489, 515
Иштван (Стефан) I, кор. Венгрии, св. 113, 138, 171, 330, 338, 482
Йазид бен Ахмад, ширваншах 268
Кадлубек Винцентий 149, 337, 338
Каждан А. П. 495, 527
Казимир I Восстановитель, польск. 55, 162, 259, 264, 330, 331, 333—339, 341, 379, 517, 518, 520, 528, 562
Каин, библ. 174, 177
Кайдалов Н. А. 557, 558
Каллисфен, историк 315
Кальв Арнасон 251, 252, 379
Кальдимар (?) 498
Карамзин Н. М. 470, 496, 504, 530, 531, 550
Каргер М. К. 477, 510, 512, 513, 517, 546, 551, 559
Карл Великий 244
Карл, норвежец 250, 251
Карпов А. Ю. 459, 500, 513, 515, 543, 544, 553
Кассиан, уставщик печерский 542—544
Катакалон Кекавмен, визант. 361, 368
Каштанов С. М. 508
Кеген, печенеж. 372
Кекавмен, визант. 347, 521
Кернос, литов. 332, 491
Килликия, жена кн. Святослава Ярославича 381, 529
Кирилл — см. Константин (Кирилл) Философ
Кирилл, митр. Киевский (?) 326, 517
Кирилл, еп. Туровский, св. 231
Кирпичников А. Н. 500
Кларий, франц. 382, 530
Клеоник, св. 434
Климент Александрийский, св. 395
Климент Римский, св. 21, 158, 382, 438—441, 455, 513, 526, 553, 554, 563
Климент Смолятич, митр. Киевский 322, 440, 549
Климишин Н. А. 532
Клосс Б. М. 546
Ключевский В. О. 448, 464, 475, 555
Кнут Великий 170, 171, 180, 227, 238, 243, 244, 247, 252, 253, 340, 478, 487, 488
Князевская О. А. 472
Коваленко В. В. 499
Ковтун В. В. 461, 462
Кожинов В. В. 541, 547

Козма, новгородец 286
Козьма Индикоплов 315
Козьма Пражский 203, 492, 518
Колчин Б. А. 62, 468
Комеч А. И. 504
Коновалова И. Г. 503
Конрад II, имп. 259—264, 276, 331, 339, 562
Константин I Великий, имп., св. 300, 311, 312, 363, 388, 389, 391, 395, 408, 420, 533
Константин VII Багрянородный, имп. 215, 363, 502
Константин VIII, имп. 20, 21, 214, 335, 342, 343, 351
Константин IX Мономах, имп. 327, 342—344, 346—350, 356—360, 367, 369, 371—373, 411, 419, 527, 563
Константин (Кирилл) Философ, св. 312—314, 404, 439, 440, 541, 553
Константин I, митр. Киевский 549
Константин Муромский, св. 37, 464
Константин (Коснятин) Добрынич 63, 121, 163, 181, 185—190, 193, 209, 226, 235, 236, 284, 443, 459, 468—470, 490, 491, 507, 561
Константин Каваллурий, патрикий 367
Константин, новилиссим 524
Копанев А. И. 471, 474, 489
Корнилий, ученик св. Климента Римского 440
Королев А. В. 549
Королюк В. Д. 482, 483, 501, 518—520
Костомаров Н. И. 459, 464
Котляр Н. Ф. (Котляр М. Ф.) 475, 521, 546
Котков С. И. 472
Кочкурина С. И. 501
Красовский И. 304
Крол, новгородец 388
Кромер Мартин, польск. 485
Кропоткин В. В. 554
Крсмановић Б. 521
Кубарев А. М. 544
Кузьмин А. Г. 396, 459—461, 492, 493, 498, 503, 508, 517, 518, 523, 532, 535, 540
Кунигильда, жена Генриха III 340
Куник А. А. 522, 523, 525, 555
Кунос, литов. 332, 491
Купранис А. 485
Куприянов И. К. 559
Кусков В. В. 466
Кучкин В. А. 463, 464, 490, 494, 527, 528, 550
Кушелев-Безбородко Г. 464
Кюрьяк (Кириак), иг. Юрьевский 504

Лаврентий, писец, новгородец 538
Лавров П. А. 553
Ладинский А. П. 384
Лазарев В. Н. 512—514, 550—552
Лазарь, еп. Переяславский 554
Ламберт, сын Мешка I 135
Ламперт Херсфельдский 340
Ламбин Н. П. 497
Ламех, библ. 177
Ларин Б. А. 466
Лебедев А. Н. 49, 50, 466, 467
Лев IX, папа 508
Лев Диакон 64, 65
Лев Торник 372, 527
Левенте, венг. 338
Левочкин И. В. 515
Ленивцев М. А. 50, 467
Леон (Леонтий), митр. Киевский (?) 39, 322
Леонтий, еп. Ростовский, св. 40—42, 464—466
Леонтьев А. Е. 463, 464
Лесков Н. С. 415
Лествицын В. И. 466
Линниченко И. А. 484, 519
Литаврин Г. Г. 357, 361, 495, 496, 499, 521—525, 527
Литберт, еп. Камбрэ 383, 530
Лихачев Д. С. 321, 459, 460, 467, 469, 473, 478, 481, 485, 489, 496, 503, 516, 517, 520, 522, 523, 541, 542, 549
Лобанов-Ростовский А., кн. — см. Labanoff de Rostoff A.
Ловмяньский Х. 489
Логвин Г. Н. 511, 513, 552
Лопатинский Л. Г. 496, 497
Лука Жидята, еп. Новгородский, св. 274, 285, 286, 317, 320, 388, 390—392, 421, 430, 435, 436, 471, 504—507, 534, 562
Львов П. Ю. 51, 467
Любарский Я. Н. 521
Любовь, св. 462
Людольф, герм. 139
Ляпон М. В. 472
Ляссота Эрик 469, 511

Ляшин (Лашын), черкес. 497
Ляшко 94
Лященко А. И. 476, 480, 489, 492, 528

Мавродин В. В. 495, 497, 501, 503
Магнус Олавссон (Магнус Добрый) 185, 244, 246, 249—253, 277, 347, 376—379, 562
Магнус Харальдссон 379
Маймун бен Ахмад, эмир Дербенда 269
Макарий, митр. Московский, св. 424, 518
Макарий, митр. Новгородский 392
Макарий (Булгаков), митр. 464, 470, 504, 535, 545, 546, 548
Макарий (Миролюбов), архиеп. 469
Максимович Л. М. 51, 466
Максимович М. А. 559
Малуша 12
Малышевский И. И. 597
Малъфредь 30
Манкиев А. И. 51, 531
Мансур бен Маймун, эмир Дербенда 269
Маргарет-Эстред (Астрид), сестра Кнута Великого 377, 478, 487, 488
Мария Магдалина, св. 146
Мария-Добронега (Доброгнева) 55, 162, 334, 335, 519, 562
Мария, жена кн. Всеволода Ярославича (?) 373, 563
Мария, дочь Елизаветы Ярославны 379
Марк, апостол 407
Масуд Ибн Намдар 268, 503
Масуди 220, 221, 267, 502
Матильда, жена Фридриха Лотарингского 259
Матузова В. И. 488, 489
Матфей, писец, новгородец 537
Медынцева А. А. 516, 533, 534
Мезере Ф. де 382
Мейерович М. Г. 466
Мелес (Мело), итал. 485
Мельгунов А. П. 49
Мельникова Е. А. 464, 467, 469, 480, 497, 500, 523
Мефодий, еп. Славянский, св. 312—314, 404
Мешко I 134, 135, 142, 476
Мешко II, сын Болеслава I 138, 155, 159, 258—264, 275, 328, 330, 333, 517, 518
Мешко, сын Мешка I 135
Мешко, сын Казимира Восстановителя 335
Мещерский Н. А. 515
Микула (Явдята?), новгородец 391
Минорский В. Ф. 496, 502, 503
Минучихр бен Йазид, ширваншах 268
Миронег, «градник» вышгородский 397, 398
Миронова Т. Л. 516
Мисаил, библ. 395
Михаил IV Пафлагонянин, имп. 343, 344, 347
Михаил V Калафат, имп. 343—347, 524
Михаил, митр. Киевский (?), св. 39, 40, 322
Михаил Атталиат 352, 360, 523, 525
Михаил Кируларий, патр. Константинопольский 420—422, 545
Михаил Константинович Муромский, св. 37
Михаил Пселл 342, 343, 346, 348, 356—358, 360—362, 364, 521, 523—525, 527
Михаил Ярославич, кн. Тверской, св. 475
Моисей, библ. 285, 310, 403
Моисей Угрин, св. 96, 105, 109, 150, 329, 330, 336, 412, 474, 483, 484, 518
Моислав (Мецлав), кн. Мазовецкий 330, 333, 337, 338, 374, 520, 562, 563
Молдован А. М. 539, 541, 558
Монг (Мунг) Варда, экзарх 214, 215
Моця О. П. 502
Мошин В. А. 527, 544
Мстислав Владимирович, сын кн. Владимира Святославича 15, 16, 23, 30, 189, 203, 208—213, 216—226, 228, 232—239, 241—243, 261, 262, 264, 266, 267, 270, 275—283, 293, 294, 296, 298, 308, 321, 327, 341, 447, 460, 466, 475, 476, 488, 489, 491, 493—496, 502—506, 521, 561, 562
Мстислав (2-й?) Владимирович 14—16, 460
Мстислав Владимирович, сын кн. Владимира Всеволодовича Мономаха 191, 387, 496, 498, 539, 552, 554

Мстислав Изяславич, сын кн. Изяслава Ярославича 379, 380,
Мстислав Ростиславич Безокий, кн. 392, 534
Мстислав Ростиславич Храбрый, кн. 534
Мстислава Владимировна 161
Мурьянов М. Ф. 517, 536
Муса, сын Фадла, эмира Аррана 268
Мюллер Л. 530, 536, 537, 540—542, 545, 546, 549
Мюнежжим-баши 268

Навуходоносор, библ. 395
Надежда, св. 462
Назаренко А. В. 469—471, 476, 479—490, 502, 508, 516, 517, 519—521, 528—531, 553
Насонов А. Н. 194, 468, 490, 492, 500, 501
Невоструев К. И. 510, 514
Недошивина Н. Г. 464
Нежко, новгородец 388
Несислав, кн. Русский (?) 297, 298, 506. См также Мстислав Владимирович
Нестор, диакон печерский, св. 6, 71—73, 90, 91, 110—112, 177, 204, 283, 319, 322, 396, 397, 398, 399, 431, 442, 443, 452, 464, 472, 474, 475, 485, 492, 493, 497, 502, 518, 535, 537, 538, 554
Нестор, еп. Ростовский 465
Никита, еп. Новгородский, св. 390, 534
Никитенко Н. Н. 512, 514, 540, 552
Никитин С. А. 462, 470, 557
Никифор I Исповедник, патр. Константинопольский, св. 541
Никифор Кавасила, дука 236
Никодим, монах афонский 544
Никола, «пришлец» из Киева 318, 432, 516
Никола Чудин 516
Николай II, папа 384
Николай, паракимомен 365, 367
Никольский Н. К. 414, 542, 544, 547, 553
Никон, иг. Печерский, св. 222, 319, 320, 412, 545, 549
Нимчук В. 549
Ногмов Ш. Б. 221, 222, 496, 502, 503
Носов Е. Н. 468, 531

Ода, жена Мешка I 135
Ода, жена Болеслава I 137, 140, 482
Ода Штаденская, жена кн. Святослава Ярославича 508, 529
Одальрик, прелат Реймсский 381
Одд, исланд. 468, 554
Одилиен (Одило), польск. 135
Олав Трюггвасон 57, 58, 245, 246, 249, 250, 468
Олав Харальдссон (Олав Святой, Олав Толстый), св. 115, 117, 165—168, 182—185, 227, 238, 243—253, 275, 276, 344, 400, 479, 480, 490, 562
Олав Харальдссон (Олав Тихий) 379, 528
Олав Шётконунг 67, 115, 165—169, 171, 173, 202, 227, 254, 335, 354, 377, 378, 478, 488, 498, 561
Олдржих, чеш. 138, 203, 262
Олег Вещий 33, 54, 57, 121, 435, 463, 467
Олег Святославич, кн. Древлянский 326, 370, 393, 394, 401, 535, 563
Олег Святославич, кн. Черниговский 381, 401, 495, 496
Олисей, новгородец 391
Ольга, св. 12, 17, 36, 80, 195, 311, 389, 394, 473, 514, 551, 552
Остромир, посадник 55, 287, 288, 317, 318, 320, 353, 459, 507, 522, 523
Оттон I, имп. 134
Оттон III, имп. 135, 136, 153, 160, 259, 331
Оттон Белый, герцог Бабенбергский 203
Оттон, сын Болеслава I 140, 258—260, 262, 263, 562 (?)
Оттон, сын Казимира Восстановителя 335
Офейгр Упир 516

Павел, ап. 39, 302, 303, 395, 407, 540
Павел, посадник ладожский 257
Пантелеимон, св. 454, 549
Папаскири З. В. 525
Папулидис К. К. 542
Пашуто В. Т. 495, 499
Петер Венецианец, венг. 330, 338, 339, 341, 520
Петр, апостол 407
Петр, новгородец 388

Петр Могила. митр. Киевский 550, 551
Петровский М. П. 547
Петрухин В. Я. 463, 464
Пиотровская Е. К. 515
Писаренко Ю. Г. 466, 467, 471
Платон, философ 395
Подосинов А. В. 488
Погодин М. П. 553
Позвизд Владимирович, кн. 15, 30, 463, 488
Поликарп Печерский, св. 417, 465, 543
Пономарев А. И. 460, 510, 514, 559, 560
Попов А. И. 501
Попова Л. М. 482, 484
Поповский А. 490
Поппэ А. В. 287, 420, 465, 472, 481, 484, 492, 493, 507, 509, 512—517, 521, 522, 524, 525, 530, 535—538, 544, 546, 548, 549, 552
Порей 353
Поромон, новгородец, ошибочно (?) 64
Порфирий (Успенский), еп. 544
Пото, граф, нем. 381
Предслава Владимировна 17, 81, 82, 91, 105, 109, 136, 137, 150, 153, 154, 161, 334, 335, 481, 482, 484, 486, 561
Пресняков А. Е. 9, 449, 474, 555
Прибывой, польск. 135
Приселков М. Д. 321, 480, 492, 504, 514, 516, 523, 535, 536, 546, 549
Прокоп Сазавский, св. 516
Прозоровский Д. И. 507
Пселл — см. Михаил Пселл
Путша 94, 97, 98
Пуцко В. Г. 455, 466, 557
Пушкарева Н. Л. 530
Пушкин А. С. 220
Пушкина Т. А. 464
Пчелов Е. В. 519

Равдоникас В. И. 501
Рагнар Агнарссон 99, 117, 123, 127, 199, 200
Рагнвальд (Рёгнвальд), исл. 100
Радко, новгородец 391, 534
Рапов О. М. 461, 464, 467, 493, 494
Раппопорт П. А. 497, 504, 510
Расовский Д. А. 509
Рауль Глабер, франц. 301, 487, 493
Рауль де Крепи де Валуа, граф 384, 385
Рёгнвальд Брусасон 248
Рёгнвальд Ульвссон 166—169, 180, 197, 198, 200, 202, 238, 255, 256,
Редедя, касож. 218—222, 496, 497, 502
Рейнберн, еп. Колобжегский 68, 69
Рикард II, граф нормандский 487
Рихеза (Рикса), жена Мешка II 259, 263, 330
Робер Капет 382, 383
Робер, сын Генриха I, франц. 383
Роберт Дьявол, граф нормандский 487
Робинсон М. А. 541
Рогволод, кн. 11, 12, 14, 17
Рогнеда (Рогнедь) 11—18, 26, 27, 30, 31, 52, 55, 154, 459, 463, 486
Рогов А. И. 539
Роже, еп. Шалонский 381, 382, 438—440, 526, 530, 553, 563
Розанов С. П. 529
Розов Н. Н. 540—542, 549
Роман I Лакапин, имп. 356
Роман III Аргир, имп. 297, 342, 373
Роман Сладкопевец, св. 397
Роман Всеславич, кн. 401
Роман Мстиславич кн. 496, 552
Роман Святославич, кн. 381, 401
Роман Ределич (?) 496
Роман, сын Одона, кн. Русский (?) 519
Романов Б. А. 516
Ростислав Владимирович, кн. 220, 288, 353, 392, 436, 522, 539, 555, 562
Ростислав Всеволодович, кн. 527
Рохлин Д. Г. 461, 462, 490, 557
Рыбаков Б. А. 453, 454, 459, 484, 491, 497, 524, 528, 557
Рыдзевская Е. А. 461, 468, 469, 475, 479, 490, 492, 498, 500
Рюрик, кн. 32, 54, 59
Рюрик Ростиславич, кн. 552

Савельев П. С. 500
Сагайдак М. А. 511
Сазонова Л. И. 541
Салямон М. 525
Самуил, болг. 214
Самуил Мирославский, митр. Киевский 49, 51, 466, 467
Санчук Г. Э. 492
Сапунов Б. В. 515
Сара, библ. 523, 540

Свейн Кнутсен 247, 248, 251, 253, 276
Свейн Ульвссон (Эстредсен), дат. 377, 378, 487, 528
Свейн Хаконарссон 115, 116, 479
Свентопелк, сын Мешка I 135
Свентослава, жена Вратислава Чешского 335
Свердлов М. Б. 473, 474, 482, 483, 485, 487, 488, 501, 502, 508, 509, 520
Свиньин П. 467
Святополк Изяславич, кн. 152, 225, 229, 379, 401, 443, 447, 528, 529, 539, 554
Святополк Мстиславич, кн. 539
Святополк Юрьевич, кн. 539
Святополк Ярополчич (Владимирович) (Святополк Окаянный), кн. 15, 23, 27, 32, 53, 59, 65, 68—71, 73, 74, 76, 77, 81—85, 88—98, 101—115, 117, 120—130, 132, 134, 136, 137, 139—143, 145—147, 150—152, 155—157, 159—164, 169, 170, 172—178, 180, 186, 188—190, 195, 202, 231, 325, 401, 460, 471, 474—481, 486, 488, 489, 492, 493, 509, 561
Святослав Владимирович, кн. 15, 30, 103, 105, 112, 113, 474, 476, 479, 561
Святослав Игоревич, кн. 15, 17, 54, 64, 65, 70, 88, 212, 213, 217, 224, 232, 267, 297, 396, 407, 447, 451
Святослав Ярославич, кн. 241, 294, 299, 318, 319, 352, 381, 386, 398, 401, 444, 446—448, 450, 451, 458, 505, 508, 529, 539, 555, 562
Сежир, новгородец 391, 534
Семенов В. П. 463
Сенковский О. И. 476, 489
Сент-Эймур Кэ, де — см Saint-Aymour Caix de
Сергий (Спасский), архиеп. 475, 514, 515, 546, 557, 558
Серегина Н. С. 537, 546, 547
Сигват Тордарсон, скальд 167, 244, 247
Сигрид Гордая (Сигрид Суровая) 17, 377
Сигтрюгг, хёвдинг 244
Сигурд, норв. 57, 58
Силькисив Хакадоттир 378. См. также Елизавета Ярославна
Симон, еп. Владимиро-Суздальский, св. 42, 229, 234, 414, 417, 465, 543
Скилица Иоанн — см. Иоанн Скилица
Склирена, любовница имп. Константина IX Мономаха 373
Склярук В. И. 506
Смирницкая О. А. 262, 375
Смирнов С. И. 547
Снорри Стурлусон 168, 169, 244—247, 252, 345, 347, 375, 476, 479, 487, 500
Соболевский А. И. 500, 507, 515
Соколов Б. М. 462
Соколов И. И. 544
Соколов Пл. П. 535, 546
Соколова И. В. 495
Сокольничек, былин. 219
Соловей Будимирович, былин. 376
Соловьев С. М. 460, 500, 511
Соломон, библ. 311, 313, 408, 409
Соти, швед 354
Сотко (Садко) Сытинич, новгородец 387, 468
Сотникова М. П. 471, 486, 489
София, св. 462
Спиридонов А. М. 501
Срезневский В. И. 542, 553
Срезневский И. И. 559
Станислав Владимирович, кн. 15, 30, 460, 488
Стендер-Петерсен А. 469, 522
Стефан I — см. Иштван (Стефан) I
Стефан, еп. Новгородский 548
Стефан, новгородец 391
Стефан, севастофор 358
Столярова Л. В. 507, 516
Стрыйковский Мацей 178, 351, 480, 484, 491, 519, 521, 526, 535
Стув Слепой, скальд 376
Судислав Владимирович, кн. 15, 30, 143, 203, 254, 281, 293, 294, 298, 443, 450, 488, 504—506, 509, 557, 562
Сумникова Т. А. 541
Сфенг (Сфенгос) 212, 214,216

Талец 94
Талпа М. Е. 497
Татищев В. Н. 14, 31, 32, 51, 113, 122, 127—129, 146, 150, 156, 218, 223, 228, 233, 234, 242, 254, 256, 264, 274, 277, 295, 332—334, 356, 373, 382, 418, 428, 460, 463, 471, 479—485, 489, 490,

496—502, 504, 508, 509, 519, 524, 527, 528, 530, 531, 539, 544, 546, 548, 555, 557
Творогов О. В. 506, 549
Теодрик, монах 116
Тидрек Бернский 191
Тимирязев В. А. 530
Тимур (Тамерлан) 18
Тирах, печенеж. 372
Титмар, еп. Мерзебургский 66, 68—70, 77, 102, 128—131, 135, 137—141, 143, 145, 147, 149—152, 154—159, 164, 258, 263, 476, 480—484, 486, 492, 526, 553
Титов А. А. 464
Тихомиров И. А. 466
Тихомиров М. Н. 466, 491, 494, 496, 508
Толочко А. П. (Толочко О. П.) 498, 552, 555
Толочко П. П. 305, 509—511, 517, 546
Толстой Л. Н. 415
Топоров В. Н. 467, 541
Тора Торбергдоттир 379, 528
Торберг Арнасон 379
Торвальд Кодранссон 491
Торгаут Заячья Губа 166
Торгнир, лангман 166
Торды, исл. 99
Торчин, убийца св. Глеба 112, 297
Трубецкой Юрий Петрович, кн. 546
Трубецкой Н. С. 497
Труммал В. К. 500
Туни, аббат, польск. 158
Туницкий Н. Л. 547
Турчанинов Г. Ф. 497
Тьодольв Арнорсон 262

Удальрих — см. Олдржих
Ужанков А. Н. 513, 540, 541, 547
Улеб, новгородец 256, 270
Ульв, ярл датский 487
Ульв Рёгнвальдссон 255, 256
Ульфхильд (Гуннхильд), дочь Олава Святого 244
Уори-дадэ (?), кабардин. 497
Упырь Лихой 317, 320, 516

Фадл бен Мухаммед, эмир Аррана 268
Фасмер М. 463
Федор Константинович Муромский, св. 37
Федотов Г. П. 73, 400, 472, 539
Феогност (Феогнаст), еп. Ростовский (?) 465
Феодор, еп. Новгородский 548
Феодор, еп. Ростовский 40, 41, 465
Феодор Стратилат, св. 556
Феодор Тирон, св. 434, 453, 556
Феодора, имп. 344
Феодосий, иг. Печерский, св. 229, 283, 319, 320, 404, 412, 413, 431, 543, 545, 557
Феодул, иг. афонский 544
Феоктист, старец афонский 542
Феопемпт, митр. Киевский 282, 320, 322—327, 394, 422, 514, 516, 517, 536, 546, 562
Феофана, жена посадника Остромира 55, 287, 317, 507, 522
Феофано, жена имп. Романа II 287
Феофилакт, митр. Севастийский, Русский (?) 21, 322
Фив, св. 21, 439, 440
Филипп, кор. Франции 318, 383, 384
Филипповский Г. Ю. 465
Филист Г. М. 475
Флоренций Вустерский, англ. 171
Флоря Б. Н. 515, 553
Фома, апостол 407
Фотий, патр. Константинопольский 39, 40
Франко И. Я. 530
Фрейвинд Глухой 229
Фриланд, варяг 229, 230, 499
Фридрих, герц. лотарингский 259
Фроянов И. Я. 494

Хакон Сигурдарсон (Хакон Могучий) 498
Хакон Эйрикссон, ярл 244—246, 498
Харальд Прекрасноволосый 250
Харальд Сигурдарсон (Харальд Суровый Правитель) 248, 262, 341, 344—347, 349, 353, 370, 374—379, 386, 528, 563
Хардакнут, дат. 253, 347
Хеминг Аслакссон 378
Херик, герм. 149
Холодилин А. И. 530
Хольти Смелый 445, 554. См. также Всеволод Ярославич
Хорошев А. С. 468, 475, 503
Хрёрик Хрингссон 117, 480
Хрисохир 235, 236, 499

Хусрав, дербендец 269
Хьялти Скеггьясон 166
Хьяльмвиги, швед 354

Цула — см. Георгий Цула.

Чацкий Тадеуш 153
Черепнин Л. В. 473
Черных П. Я. 516, 531
Чернышева М. И. 515
Черторицкая Т. В. 507
Чичуров И. С. 517

Шаламон, венг. 380
Шаскольский И. П. 501
Шахматов А. А. 321, 459, 460, 463, 467, 471, 475, 479, 481, 485, 486, 497, 503, 514, 516—518, 535, 536, 543, 555
Шёгрен И. А. 501
Шекун А. В. 499
Шимон (Симон), варяг 229, 230, 498, 499
Шляков Н. В. 556
Штернберг Я. И. 520, 521, 529, 530
Штро В. А. 503
Штыхов Г. В. 491
Шушарин В. П. 520, 529

Щавелева Н. И. 484, 517, 519, 520
Щапов Я. Н. 427, 465, 467, 468, 485, 493, 494, 502, 504, 516, 517, 535, 547, 548, 554
Щекатов Аф. 51

Эдуард, англ., сын Эдмунда Железнобокого 170, 171
Эдуард Исповедник, англ. 170, 171
Эдмунд Железнобокий, англ. 170, 171
Эдмунд, англ., сын Эдмунда Железнобокого 170, 171
Эйвинд Турий Рог 166
Эйлив Рёгнвальдссон 255, 262
Эймунд Хрингссон 98—100, 103, 104, 117—120, 123, 127, 132, 133, 178, 180, 195, 197—202, 354, 479, 480
Эйнар Брюхотряс 115, 116, 245, 251, 252
Эккехард, маркграф Майсенский 137, 482
Элинан, еп. Ланский 383
Эмин Ф. А. 525, 526
Эмнильда, жена Болеслава I 258, 482
Энунд-Якоб, швед. 227, 238, 243, 246, 498
Эрес, бонд 58
Эрлинг Скьяльгссон 244, 245
Эстред — см. Астрид
Эстред — см. Маргарет-Эстред (Астрид)

Юлиан Отступник, имп. 177
Юлий I, папа 438—440
Юрий Владимирович Долгорукий, кн. 35, 187, 230, 457
Юрий Дмитриевич, кн. Звенигородский и Галичский 225
Юрий Редедич (?) 496
Юрченко А. И. 462, 511, 541, 542
Юрченко П. О. 511
Юстиниан, имп. 307, 311, 419
Юшков С. В. 451, 555

Ягич И. В. 472, 513, 547, 553
Яжджевский К. 489
Якун (Акун), варяг 228—232, 234, 235, 497, 498
Ян Святославич 113, 479
Янин В. Л. 387, 468—471, 478, 491, 495, 496, 503, 504, 508, 509, 517, 518, 527—529, 532, 534, 535, 557
Янка (Анна) Всеволодовна 373, 527
Янь Вышатич 352, 353, 522, 523
Ярополк Владимирович, сын Владимира Ярославича (?) 392
Ярополк Изяславич, кн.318, 379, 380, 401, 528, 529
Ярополк Святославич, кн. 11, 12, 15, 69, 70, 75, 84, 88, 105, 121, 122, 164, 173, 326, 370, 393, 394, 401, 463, 563
Ярослав Святославич, кн. 458, 529
Ярослав Ярополчич, кн. 554

Arignon J.-P. 459
Balzer O. 482, 518, 519
Bollandus J. 529
Borawska D. 502
Budge E. A. W. 524
Cook R. 476, 480, 481
Cross S. N. 469
Długosz J. — см. Длугош Ян
Franklin S. 555
Grabski A. F. — см. Грабский А. Ф.
Gumowski M. 484

Jakimowicz R. 483, 484
Kowalski T. 483
Labanoff de Rostoff A. 531
Lowmianski H. 518
Minorsky V. — см. Минорский В. Ф.
Müller L. — см. Мюллер Л.
Poppe A. — см. Поппэ А. В.
Saint-Aymour Caix de 530, 531
Shepard J. 521, 527
Sjoberg A. 516
Stender-Petersen Ad. — см. Стендер-Петерсен А.
Stryjkowski M. — см. Стрыйковский Мацей
Swerdłow M. B. — см. Свердлов М. Б.
Vernadsky G. 521, 524, 525
Vodoff V. 552
Waitz G. 501
Wertner M. 529
Zakrzewski S. 482, 485

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

«А се в Новегороде» 289
«А се грехи» 547
«А се князи Великого Новагорода» 470
«А се Новгородскыи епископы» 468, 506
«А се от иного слова» («О сем преподобный отец наш Ларион митрополит глаголет...») 424, 547
«А се по святом крещении, о княжении Киевском» 444, 555
«Александрия» 314, 515
Архангельское Евангелие *1092 г.* 515
Берестяные грамоты 257, 318, 501, 522
Великие Минеи Четьи *митрополита Макария* 424, 518
Вопрошания Анастасия Синаита 555
Выдубицкий синодик 527
Геннадиевская Библия *1499 г.* 510, 542
Граффити Киевского Софийского собора 434, 437, 452, 453, 512, 513, 528, 529, 545, 549, 555—557
Граффити Новгородского Софийского собора 318, 388, 391, 432, 516, 533, 534
Договор Руси с греками *907 г.* 33
«Древнейшая Правда» — см. «Русская Правда»
Духовный стих («Большой стих») о Егории Храбром 23, 462
Житие преп. Авраамия Ростовского 42, 50, 51, 464, 466
Житие преп. Антония Печерского (несохранившееся) 413, 417, 518, 543, 545
Житие преп. Антония Печерского (из Великих Миней Четьих) 518
Житие св. Бориса и Глеба — см. «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе», «Чтение о святых мучениках Борисе и Глебе»
Житие свв. Бориса и Глеба (проложное) 110, 464, 478
Житие св. Василия Нового 315
Житие св. Владимира (различные редакции) 21, 25, 440, 462, 485
Житие св. Вячеслава Чешского 92
Житие св. Глеба (проложное) 479, 537
Житие св. Георгия Победоносца 23, 25
Житие св. Евстафия Плакиды 502
Житие св. Евтропия 434
Житие преп. Ефрема Новоторжского 96, 475, 538
Житие св. Исаии Ростовского 466
Житие св. Константина Философа 439, 515, 553
Житие св. Константина Муромского 37, 50, 464
Житие св. Леонтия Ростовского 40—42, 465, 466
Житие преп. Феодосия Печерского 283, 319, 380, 404, 413, 431, 497, 506, 518, 522, 543, 544, 549
«Закон христианского наказания» 273, 315
Замойский сборник 516
«Златоструй» 316
«Изборник» *1073 г.* 316, 318, 555
«Изборник» *1076 г.* 316
«Исповедание веры» *митрополита Илариона* 416, 421, 541, 542
«История иудейской войны» Иосифа Флавия 314, 515
Канонические ответы *митрополита Иоанна II* 427
«Каталог всех российских архиереев» (новгородский) 545, 548
«Киевский синопсис» 23, 462
«Книга глаголемая: Описание о российских святых» 557, 558
«Книга о церквах Новгорода» 526
Книга пророчеств *Упыря Лихого* 317
«Книги законные» 427
Кормчая книга 419, 535
«Летописец вскоре» патриарха Никифора 515
Летописи:
— Авраамки 531, 548
— Академическая (Московско-Академическая, также Академический список «Повести временных лет») 447, 460, 493, 504, 505
— Архангелогородский летописец — см. Устюжская

— Быховца Хроника 491, 519
— Владимирский летописец 465, 493
— Воскресенская 41, 392, 451, 470, 490, 523, 525, 534, 535
— «Голицынский летописец» 460
— Густынская 463, 519, 542, 544, 545
— «Древнейший свод» (гипотетич.) 459, 510
— Ермолинская 480
— Ипатьевская (также Ипатьевский список «Повести временных лет») 6, 193, 219, 371, 416, 451, 453, 459, 460, 463, 472, 478, 480, 486, 492, 504, 511, 505, 534, 535, 549, 556
— Кирилло-Белозерская 467
— Лаврентьевская (также Лаврентьевский список «Повести временных лет») 160, 192, 237, 453, 459, 460, 465, 477, 479, 480, 486, 492, 504, 505, 519, 526, 553, 554, 556
— Лицевой летописный свод 289
— Мазуринский летописец 465
— Московский летописный свод конца XV в. — см. Эрмитажный список Московского летописного свода конца XV в.
— Московско-Академическая — см. Академическая
— Никоновская 39, 129, 133, 189, 212, 213, 266, 267, 275, 286, 369, 418, 463, 466, 479, 481, 485, 490, 499, 504—506, 517, 518, 523, 535, 536, 546, 548, 555
— Новгородская Первая старшего извода 140, 242, 288, 387, 468, 480, 481, 492, 511, 522, 531—533
— Новгородская Первая младшего извода 67, 77—79, 82, 83, 85, 114, 123, 125, 126, 130, 140, 181, 186, 242, 274, 288, 289, 320, 385, 387, 388, 392, 444, 447, 453, 468—470, 473, 479—481, 489, 492, 493, 503, 506, 511, 519, 520, 522, 531—533, 555, 556
— Новгородская Третья 60, 274, 386, 468, 469, 471, 503, 506, 514, 533
— Новгородская Четвертая 131, 186, 234, 285, 294, 295, 332, 353, 354, 460, 468, 469, 481, 486, 489, 490, 493, 499, 505, 506, 518—520, 523, 531, 534, 555
— Новгородская Карамзинская 285
— Новгородско-Софийский свод — см. Софийская Первая, Новгородская Четвертая
— «Оренбургский манускрипт» 460
— «Остромирова летопись» (гипотетич.) 459
— Переяславля Суздальского летописец 332, 336, 410, 471, 474, 547, 548
— «Печерская» (гипотетич.) 543
— Пинежский летописец 471, 474, 489
— Погодинский список Ипатьевской летописи 519
— Псковская Первая 557
— Псковская Вторая 444
— Псковская Третья 294, 509, 557
— Радзивиловская (также Радзивиловский список «Повести временных лет») 128, 237, 453, 460, 477, 480, 486, 492, 493, 499, 504, 505, 526, 556
— «Раскольничий летописец» 460
— Рогожский летописец 500
— Симеоновская 465, 517
— Софийская Первая 6, 131, 154, 159, 186, 193, 205, 208, 234, 256, 271, 289, 294, 295, 320, 332, 353—355, 365, 388, 428, 447, 459, 460, 473, 486, 489—493, 499, 505, 506, 518—520, 522, 523, 531, 534, 549, 555
— Софийская Первая по списку Царского 451, 479, 505
— Степенная книга царского родословия 6, 31, 212, 213, 279, 395, 429, 455, 459, 465, 479, 496, 555, 556
— Тверская (Тверской сборник) 18, 19, 26, 41, 106, 109, 124, 131, 228, 265, 293, 461—463, 476, 478, 483, 484, 489, 490, 503, 505, 507, 553
— Типографская 465, 505, 525
— Троицкая 128, 480, 504, 505
— Уваровская 467
— Устюжская 143, 156, 172, 460, 474, 481, 483, 546, 548, 556
— Хлебниковская (Хлебниковский список Ипатьевской летописи) 219, 332, 336, 478, 480, 486, 504, 505, 519, 526, 527
— «Хлебниковский летописец» 40

— «Хрущовский летописец» 460
— Эрмитажный список Московского летописного свода конца XV в. 505
Любечский синодик 213, 381, 495, 529
Минеи служебные 472, 537, 538, 547
Минеи четьи *Димитрия Ростовского* 549
Минеи четьи *Иоанна Милютина* 457, 556, 558
Минеи четьи *митрополита Макария* — см. Великие Минеи Четьи
«Молитва» *Илариона*, «митрополита Российского» 406, 416, 541, 542
Молитва Святой Троице 248
Мстиславово Евангелие 514
Мучение св. Климента Римского 440
Надпись на «Тьмутороканском камне» 216
«Написание о правой вере» 541
«Новгородская Псалтирь» (цера) 272, 273, 315, 319, 503
Номоканон 419, 424, 426, 427, 535
«О Борисе, како бе взором» — см. «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе»
Остромирово Евангелие 287, 316, 317, 435, 516, 522
«Палинодий» *Захарии Копыстенского* 517, 545
«Память и похвала князю Русскому Владимиру» *Иакова мниха* 393, 408, 542, 553
«Пандекты» Антиоха 316
Паримийные чтения о свв. Борисе и Глебе 175, 478, 489
Патерик Киевского Печерского монастыря 42, 105, 213, 228—230, 234, 319, 329, 330, 413, 414, 417, 465, 466, 474, 483, 484, 486, 498, 506, 516, 518, 542, 543, 545, 549
— Кассиановская 2-я редакция Киево-Печерского патерика 542, 543, 549
— редакция *Иосифа Тризны* 527, 550
Патерик Скитский 395 (?)
Переписные книги Ростова Великого *второй пол. XVII в.* 464
«Повесть временных лет» 9, 14, 15, 27, 30—33, 35, 39, 42, 51, 59, 67, 74, 77—79, 82, 90, 94, 114, 123—128, 131, 145, 150, 156, 157, 160, 163, 172, 175, 181, 182, 186, 193, 203, 205, 208, 212, 218, 219, 223, 227, 228, 232, 233, 237, 238, 242, 257, 265, 266, 271, 280, 283, 296, 302, 307, 313, 322, 332, 353, 354, 393, 410, 416, 428, 436, 440, 445, 447, 451, 453, 460, 466, 468, 473, 477, 479—481, 483, 486, 489, 493, 496, 504—506, 511, 516, 519, 520, 522—524, 526, 531, 535, 536, 542, 545, 547—549, 555
«Повесть об Акире Премудром» 315
«Повесть о водворении христианства в Муроме» — см. Житие св. Константина Муромского
«Повесть о водворении христианства в Ростове» — см. Житие преп. Авраамия Ростовского
Повесть о Николе Заразском 485
«Повесть об убиении князя Андрея Боголюбского» (летописная) 97, 554
«Покон вирный» — см. «Русская Правда»
Послание еп. Симона к Поликарпу — см. Патерик Киевского Печерского монастыря
«Послание к брату столпнику» *Илариона* 547
Послание преп. Феодосия князю Изяславу «о неделе» 557
Поучение *Владимира Мономаха* 83, 280,
«Поучение к братии» *Луки Жидяты* 285, 286, 507
Поучения преп. Феодосия 319
«Правда Ярослава» — см. «Русская Правда»
«Правда Ярославичей» — см. «Русская Правда»
«Притча о теле и душе и о воскресении мертвых» (проложная) 499
«Притча о человеческой душе и о теле» — см. «Слово о слепце и хромце»
Пролог 422, 457, 459, 460, 465, 511, 559, 560
Пролог Стишной 537
Псковский Апостол *1307 г.* 514
«Раздрешение неизреченнаго откровения» 510

Реймсское Евангелие 316, 515, 516
«Родословец» 531
«Роспись новгородских святынь» 507
«Русская Правда» 84—86, 287, 289—292, 424, 425, 427, 428, 430, 441, 443, 445, 450, 458, 473, 474, 507—509, 517, 561
Рязанская Кормчая 507
«Свиток Ярославль» — см. Устав церковный князя Ярослава
Святцы Кирилло-Белозерского монастыря 475
Святцы ростовские 556, 558
Сильвестровский сборник 477
«Сказание о благоверном великом князе Ярославе Владимировиче Киевском» *Иоанна Милютина* 457
Сказание о начале Печерского монастыря — см. «Сказание, что ради прозвася Печерский монастырь»
Сказание об освящении церкви святого Георгия в Киеве (проложное) 303, 304, 422, 423, 441, 510, 511, 559
Сказание об освящении церкви Святой Софии в Киеве (проложное) 457, 459, 514, 555, 559, 560
«Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси» (гипотетич.) 459
Сказание о перенесении гробниц свв. Бориса и Глеба от Вышгорода на Смядынь (проложное) 538
Сказание о перенесении мощей св. Климента «от глубины моря в Корсунь» (проложное) 439, 440, 553
«Сказание о построении Вознесенской церкви в Ярославле» 49, 466
«Сказание о построении града Ярославля» 45—51, 187, 466, 467
«Сказание о Святой Софии» (Новгородской) 390, 391, 534
«Сказание о Святой Софии» (Цареградской) 311
«Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе» 15, 30, 71, 76, 90, 92—98, 105, 107—111, 174, 176, 177, 204, 322, 397—400, 443, 460, 472, 474, 475, 477, 478, 485, 489, 492, 493, 535—538, 554, 555
— Киево-Печерская редакция «Сказания» 97, 127, 155, 473, 475, 477, 480, 481, 484
«Сказание о страсти святых мучеников Бориса и Глеба» — см. «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе»
«Сказание о Христе и об антихристе» Ипполита Римского 510
«Сказание о чудесах свв. Бориса и Глеба» — см. «Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе»
«Сказание, что ради прозвася Печерский монастырь» (летописное) 542—544
«Сказание, что ради прозвася Печерский монастырь» (патериковое) — см. Патерик Киевского Печерского монастыря (Кассиановская 2-я редакция)
«Слово к брату столпнику» — см. «Послание к брату столпнику»
«Слово на обновление Десятинной церкви» 325, 440, 441, 513, 526, 553, 554
«Слово на перенесение мощей святого Климента Римского» 439, 440, 553
«Слово о законе и благодати» *Илариона Киевского* 25, 306, 308, 311, 317, 396, 402—409, 414—416, 420, 430, 437, 456, 457, 510, 530, 539—542, 558
— Толковая редакция «Слова о законе и благодати» 404
«Слово о князьях» («Похвала и мучение святых мучеников Бориса и Глеба») 529
«Слово о погибели земли Русской» 6
«Слово о полку Игореве» 6, 213, 221, 496
«Слово о преп. Моисее Угрине» — см. Патерик Киевского Печерского монастыря
«Слово о святом Григории чудотворце» — см. Патерик Киевского Печерского монастыря
«Слово о слепце и хромце» *Кирилла Туровского* 231
«Слово о создании великой Печерской церкви» — см. Пате-

рик Киевского Печерского монастыря
«Слово святых апостол и святых отец о церковном приношении» 547
Служба на освящение церкви св. Георгия в Киеве 423, 513, 547
Служба свв. Борису и Глебу 472, 536—538
Служба св. Георгию 472
Степенная книга царского родословия — см. Летописи
Стихирарь 546
Студийский устав 412, 537
«Урок мостникам» — см. «Русская Правда»
Успенский сборник 71, 472, 497, 506, 516, 549
Устав церковный князя Владимира 52, 467
Устав церковный князя Ярослава 292, 422, 424—428, 430, 547, 548, 563
«Христианская топография» Козмы Индикоплова 315
Хроника Быховца — см. Летописи
«Хроника» Георгия Амартола 177, 314, 489, 513, 551
«Хроника» Георгия Синкелла 314
«Хроника» Иоанна Малалы 314, 515
Цера (новгородская) — см. «Новгородская Псалтирь»
«Чиновник» Софийского собора 507
«Чтение о свв. мучениках Борисе и Глебе» *преп. Нестора* 6, 71—73, 90, 92, 93, 105, 110, 177, 204, 322, 396, 399, 442, 464, 471, 472, 474, 475, 485, 492, 493, 502, 535—538, 554, 555
«Чудо святого Георгия о змие и о девице» 24
«Чудо святого Климента, папы Римского, об отрочати» 553
Чудовская Псалтирь 316

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Глава первая. ДЕТСКИЕ ГОДЫ. КИЕВ 11
Глава вторая. РОСТОВ 28
Глава третья. НОВГОРОД. МЯТЕЖ 54
Глава четвертая. БОРИС И ГЛЕБ 87
Глава пятая. ВОЙНА: СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ 114
Глава шестая. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ. НОВГОРОД 180
Глава седьмая. ГОРОДЕЦКИЙ МИР 210
Глава восьмая. НА ПУТИ К ЕДИНОДЕРЖАВИЮ 241
Глава девятая. КИЕВ: ПОД СЕНЬЮ СВЯТОЙ СОФИИ 282
Глава десятая. ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОХОД 327
Глава одиннадцатая. МЕЖДУ ЗАКОНОМ И БЛАГОДАТЬЮ . . 393
Глава двенадцатая. КРУГ ЗЕМНОЙ. ЗАВЕЩАНИЕ 434

Примечания 459
Приложения 559
Основные даты жизни князя Ярослава Владимировича 561
Указатель имен 564
Указатель древнерусских письменных источников 578

Карпов А. Ю.

К 26 Ярослав Мудрый. — М.: Мол. гвардия, 2001. — 583[9] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей; Сер. биогр.; Вып. 808).

ISBN 5-235-02435-4

Время правления великого князя Ярослава Владимировича (1019—1054) справедливо называют «золотым веком» Киевской Руси. Едва ли не единственному из правителей России ему посчастливилось войти в историю с прозвищем «Мудрый» — пожалуй, наиболее лестным и наиболее почетным для любого государственного мужа. Между тем биография Ярослава Мудрого до сих пор не написана. Предлагаемая вниманию читателей книга — первое полноценное жизнеописание этого замечательного человека, основанное на скрупулезном изучении всех сохранившихся источников. В значительной степени она является продолжением книги «Владимир Святой», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» в 1997 году.

УДК [947+957]"10"(092)
ББК 63.3(2)41

Карпов Алексей Юрьевич
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

Главный редактор издательства **А. В. Петров**
Редактор **С. В. Карпова**
Художественный редактор **Н. С. Дементьева**
Технический редактор **Н. А. Тихонова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 28.03.2001. Подписано в печать 26.06.2001. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 31,08+1,68 вкл. Тираж 6000 экз. Заказ 17400.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21. www.mg.gvardiya.ru, ds@mg.gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02435-4